ЭДИШЕР
КИПИАНИ

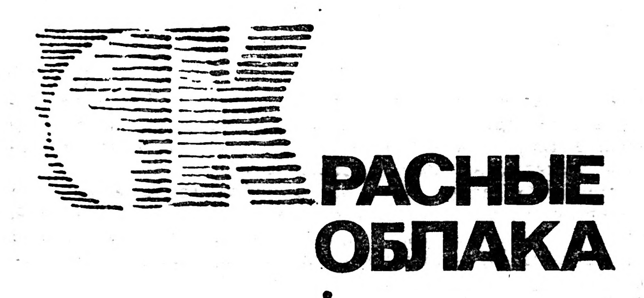


ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ И ЛИТЕРАТУРНЫМ ВЗАИМОСВЯЗЯМ ПРИ СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ





ЭДИШЕР КИПИАНИ



РОМАНЫ
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Перевод
с
грузинского

Тбилиси
«Мерани»
1985

84 Гр7
К42

В книгу известного грузинского прозаика Эдишера Кипиани вошли приобретшие широкую известность романы «Шапка, закинутая в небо», «Красные облака», а также повести и рассказы на тему современности.

В романе «Шапка, закинутая в небо» тепло и лирично описывается любовь, объединяющая двух молодых людей.

Сложные нравственные проблемы ставятся в романе «Красные облака», наиболее крупном произведении писателя.

К $\frac{70303-188}{М604(08)-85}$ 153—85

ЭДИШЕР КИПИАНИ

В своем рассказе «Друзья», написанном в 1958 году, Эдишер Кипиани сделал нас соучастниками трагедии, которую впоследствии реально, уже в связи с ним самим, пришлось нам пережить. Это рассказ о незаживающей ране, оставшейся после смерти друга. Тягостная мысль, завершающая раздумья героя рассказа — молодого литератора Вано, не отпускает нас: «Если бы все близкие и не только близкие пожертвовали Левану хоть частицу своей жизни и благополучия, если бы все выдающиеся врачи или ученые были бы растревожены болезнью Левана, если бы люди собрали все существующие в мире средства... Ведь можно же было? Можно. И Леван сейчас был бы жив... Поразительно, Леван был бы сейчас жив!».

Народная мудрость не зря породила такое многообещающее слово, как «судьба». Мысль о судьбе не притупляет боли, а просто избавляет нас от самобичевания. Эдишер Кипиани прекрасно знал это слово и знал, что оно означает, но упорно не верил в это понятие, когда оно касалось смерти. Смерть вообще, не говоря уже о смерти близкого человека, была для него чем-то настолько нелепым и неприемлемым, что он отказывался ее понимать. В таких случаях ему явно изменяло чувство реальности. На первый взгляд может показаться случайным, что свое последнее произведение «Шапка, закинутая в небо», он написал именно с таким тревожным чувством. Ведь и здесь погибает молодой человек,

и, по глубокому убеждению писателя, все должны чувствовать себя поэтому виноватыми.

Литературная жизнь Эдишера Кипиани исчисляется примерно всего лишь пятнадцатью годами. У него было техническое образование, но сердце его принадлежало литературе. Литература была для него притягательным и магическим миром, но войти в этот мир он долго не решался. На подступах к «большой» литературе он серьезно занялся журналистикой. Нам запомнились многие его очерки о выдающихся деятелях искусства и спорта (первый сборник его очерков «Мяч и поле» вышел в 1954 году).

Так или иначе, тот мир, который именуется творчеством Эдишера Кипиани, уже завершен, и, к несчастью, точка была поставлена слишком преждевременно и неожиданно. Эдишер Кипиани не прожил и полувека. Если же учесть, что его литературный дебют состоялся с некоторым опозданием, то станет еще более ясным, в какой сравнительно короткий срок сформировался этот прекрасный и значительный мир. И еще более пронзительной покажется утрата. А зов писательского призвания все нарастал в нем, был настойчив и серьезен, шел процесс накопления сил и отваги, чтобы перешагнуть заветный порог.

Ему свойственно было работать неторопливо, вдумчиво, наблюдая. Возможно, потому так невелико в количественном отношении его творческое наследие и потому же так значительно то, что он создал и оставил нам.

Эдишер Кипиани вступил в грузинскую литературу в сложный период сдвигов, смещения представлений, возникновения новых тенденций в литературе. Это была середина пятидесятых годов. В эту пору возник и новый подход, новая интерпретация проблемы гуманизма в литературе, и, естественно, прежде всего это должно было отразиться в произведениях советских писателей.

В 1956 году вышел первый сборник рассказов Эдишера Кипиани, который назывался «Высокий потолок». Собранные воедино рассказы писателя оставили приятное впечатление. Гуманизм этих рассказов, глубокий и живой интерес писателя к судьбам «маленьких» людей свидетельствовали о правильной позиции автора, о чувстве высокой гражданственности и сознании своего

патриотического долга, о сердце, преисполненном любви к людям, и что самое важное, этот сборник сразу определил место Эдишера Кипиани в литературе того времени.

Первые шаги молодого писателя, его первая книга получили заслуженное признание и литературной общественности, и широкого читателя. Хотя, справедливости ради, скажем: полного единодушия в оценке отдельных рассказов, вошедших в сборник, не было. Многое еще было сырым с точки зрения художественного мастерства, еще звучали отголоски тенденций минувших лет, вылившиеся в идиллическое, благодушное настроение. И все же это не помешало книжке Э. Кипиани быть одной из первых ласточек в реализации новых литературных тенденций и проблем.

Именно на середину пятидесятых годов и падает начало нового подъема грузинской советской литературы, особенно художественной прозы, когда пришло сильное молодое пополнение, много сделавшее для развития национальной литературы. И одним из достойных представителей этого поколения был Эдишер Кипиани.

Тот путь в литературе, который он избрал для себя, был пройден им с увлечением и полной отдачей. Он не менял позиций, не знал мучительных метаний от одной проблемы к другой, не испытывал внутренних колебаний, которые нужно было преодолевать. Своя манера, свой почерк, своя философия — все будто определилось в нем с самого начала, и все его устремления были направлены на повышение мастерства, и в этом он также преуспел.

К концу пятидесятых годов Эдишер Кипиани уже напечатал лучшие свои рассказы, ставшие значительным явлением и для всей современной грузинской литературы: «Гобой», «Руки», «Тетради в десять листов». Помимо того, что новые рассказы Эдишера Кипиани сами по себе были прекрасными, увлекали и захватывали, они создавали в многообразной, богатой грузинской прозе того времени свой особый, неповторимый мир, по которому безошибочно можно было судить о том, кто его автор.

Эдишер Кипиани был верен до конца своему главнейшему, можно сказать, единственному интересу, за-

ключающемуся в пристальном внимании к жизни простого человека, в желании познать его психологию, убеждения, духовный мир. Эта тенденция обрела свою законченность и замечательное выражение в рассказе «Гобой».

Сколько любви и сочувствия в обрисовке образа главного героя гобоиста Дмитрия, сколько глубокого убеждения в том, что у каждого ремесла и профессии свой смысл и свое назначение, своя неповторимость, и деятельность каждого человека, какой бы незначительной она на первый взгляд ни казалась, не может проходить незамеченной.

Жизнь Дмитрия не изобиловала событиями. Одно и то же изо дня в день и на протяжении десятков лет: размахивая своим гобоем, каждый вечер входил он в здание оперного театра и направлялся к своему месту в оркестре. Дмитрий утешал себя, что в каждом деле есть и монотонность, и однообразие. Но однажды...

Могла произойти беда, но ее не случилось, а к человеку вернулась радость, которую он испытывал лишь в далекие годы юности, пришла уверенность и преисполненность сознанием, что живет он не напрасно.

...Дмитрий спешил к театру, то и дело стороной обходя гуляющих по проспекту или протискиваясь сквозь праздную толпу, не позволяющую ему идти быстрым шагом. Он сошел с тротуара на мостовую, не заметив идущего сзади троллейбуса. В последнее мгновение он успел увернуться, вскочил на тротуар, но вокруг него уже звучали испуганные голоса, собрались прохожие, которым показалось, что его сильно ударило. И в этом уличном гуле из вскриков, вздохов, сочувствия он извлек один отчетливый голос, спрашивавший у кого-то: «Ты знаешь, кто этот человек?» Дмитрий ждал ответа как приговора. И тот же мужской голос пояснил: «Без этого человека в опере не смогут начать «Даиси». Дмитрий так и не узнал, кто произнес эти слова. Но его как будто захлестнула волна огромной радости, она подняла его, понесла... Нет, это было нечто большее, чем радость...

А ведь и в самом деле, вступление к увертюре «Даиси» начинает гобой. Радостное волнение долго не покидало Дмитрия. Как глубоко психологичен и оправдан

конец рассказа, последняя его фраза: «Никто, кроме дирижера, не заметил, что в тот вечер гобой слегка фальшивил».

Какой нужной человеку оказалась эта, как бы брошенная невзначай фраза. И как важно, что такие рассказы будят в нас потребность ободрить, одарить теплом, вниманием окружающих нас людей, поддержать их добрым словом, которое способно и поднять дух, и дать возможность в большей степени ощутить чувство собственного достоинства. А если этими благородными мыслями проникнуто мастерски написанное художественное произведение, то переоценить значение такого рассказа невозможно. «Гобой» — один из лучших рассказов не только в творчестве Эдишера Кипиани, но и во всей современной грузинской прозе.

«Тетради в десять листов» были напечатаны на страницах тогда еще только начинавшего свою жизнь молодежного литературного журнала «Цискари». В этих рассказах, дышащих непосредственностью и чистотой, предложенных читателю в виде ученических классных работ, еще раз с поразительной отчетливостью выступают подлинный гуманистический дух писателя, его безгранично любящее, преисполненное добра сердце, его редкая способность увидеть необыкновенное в обыкновенном течении жизни и показать величие и красоту человеческих взаимоотношений, человеческого сочувствия и пддержки, в общем, всего, что и составляет природу авторской натуры. Кто не имел счастья быть лично знакомым с Эдишером Кипиани, легко может судить о нем, о его характере, убеждениях, мировосприятии по его рассказам, потому что в этом случае между автором и его творчеством не пролегает никакая ощутимая грань, все поразительно тесно сплетено воедино.

В жизни бывает сколько угодно случаев, когда составленные читателем представления об авторе по его героям или по высказанным в его произведениях убеждениям оказываются ошибочными, не соответствующими истинному характеру писателя.

Наряду с этим мы знаем имена и биографии писателей, личные качества которых находились в необыкновенной гармонии с их творчеством. В глубоком единстве находились их высокие устремления, истинная лю-

бовь к ближнему как в жизни, так и в творчестве. Одним из лучших образцов такого счастливого сочетания являются жизнь и творчество Антуана де Сент-Экзюпери. Подобным же образом был и исключительно выразительный и впечатляющий пример нашего друга—грузинского писателя Эдишера Кипиани.

Я не случайно назвал светлое имя Антуана де Сент-Экзюпери, ставшее уже легендой. Пусть это будет неожиданным, но меня не покидает мысль, что у Эдишера Кипиани много общего с ним. Я уже отмечал, что один из моментов их духовного родства — внутренняя цельность и гармоничность, молчаливое, без патетики благородство и подлинная, от природы гуманистичность.

Два совершенно различных мира питают творчество обоих писателей, но одно примечательное свойство — огромное сочувствие и любовь к маленькому, незаметному человеку — делают их похожими. Если бы не было Сент-Экзюпери, мы, наверное, не смогли бы так понять мир чувств и переживаний ночных летчиков, познать их грусть и радость, мучительное чувство одиночества и то ощущение полноты жизни, которое порождает их причастность, их органическая принадлежность к погрузившемуся в ночной покой миру. Если бы не Эдишер Кипиани, для нас остались бы неизведанными пережитое в одиночестве счастье гобоиста, тоска девочки, которая не видела моря, и многое другое. Да, на первый взгляд, масштабы художественного охвата жизни и значимости характеров по внешним признакам сужены у обоих как будто до минимального. Но, проникая в их творчество, мы вдруг начинаем понимать, что они умели из океана больших человеческих переживаний и страстей извлекать и, изумляя, открывать нечто такое, что вдруг делало нас свидетелями проявления на редкость нежной и в то же время мужественной любви к людям.

Можно еще проводить параллели между Сент-Экзюпери и Эдишером Кипиани, но необходимо подчеркнуть одно: сердца обоих были преисполнены любви к людям, хотя они никогда во весь голос не высказывали это наполняющее их счастьем чувство. Но странно, в нас их любовь и их боль отозвались громче, чем бой барабанов.

Возможно, то что я связываю эти два имени, вызовет удивление: Сент-Экзюпери — классик современной мировой литературы, а творческий диапазон Эдишера Кипиани куда уже! Но речь идет не о равноценности двух творческих миров, а о сходстве художественного мышления, интересов, и этот факт не только любопытен сам по себе, но он как бы лучше раскрывает характер творчества Эдишера Кипиани и его значение для грузинской литературы.

«Его, как ребенка, трогает даже выдуманная история», — говорит один из персонажей его рассказа, и говорит будто о нем самом — об Эдишере Кипиани. Многим, наблюдавшим за ним со стороны, сдержанность Эдишера Кипиани казалась вялостью. Только близкие знали, какой напряженной, наполненной жизнью он жил. Задумчивая, грустная улыбка его была не позой, а выражением обычного душевного состояния. И еще в его улыбке наряду с грустью всегда проступала и застенчивость. Будто он был смущен тем, что причастен к тому высокому делу, что зовется литературой, — это было для него свято, — и что обрел звание писателя, звание, перед которым всю жизнь преклонялся.

Ему дорог был и сам творческий процесс и было любимо то, что выходило из-под его пера, — будь оно значительным или рядовым, прекрасно-возвышенным или будничным. Но об этом говорить он не любил. Он всегда только делился радостью, которую доставляло ему творчество других: горячо обсуждал книги — художественные или научные, которые жадно поглощал в невероятном множестве. Это был писатель с редчайшей чертой — абсолютным отсутствием честолюбия и тщеславия, всегда преисполненный искреннего уважения к другим, неизменно всерьез и близко к сердцу принимал успехи коллег — близких и дальних. Его коробило даже малейшее проявление цинизма, злословия, недоброжелательства к другому человеку. Эдишер Кипиани был интеллигентом в самом высоком смысле этого слова. Для него было чуждым и непонятным желание или попытка как-то выделиться, подчинить кого-либо своему влиянию, хотя само собой происходило то, что он своей духовной мощью покорял всех, у кого возникали с ним контакты. От этого человека будто исходил широкий

добрый поток благородства, гуманности, сердечности.

Чистая душа Эдишера Кипиани, неутомимая жажда добра, строгое следование своим жизненным принципам направляли тематику произведений, подсказывали характеры, в которых раскрывались сполна человеческая красота, тепло и величие духа. Это все было продиктовано его писательским призванием, но чувство гражданского долга, потребность абсолютной чистоты в атмосфере общественной жизни заставляли его обратить внимание и на те стороны жизни, которые претили ему.

В своем романе «Красные облака» Эдишер Кипиани один из первых восстал против того зла, которое в нашей общественной жизни завоевывало все большее место. Образ Бенедикте Зибзибадзе — дельца и до мозга костей разложившегося человека — один из самых типичных в современной грузинской литературе, подсмотренных в жизни и глубоко раскрытых. Чувство омерзения, овладевающее писателем от соприкосновения с этой грязью, проступает со всей неприкрытостью и непримиримостью. Борьба добра со злом протекает в романе с необычайной остротой. Хотя борющемуся с несправедливостью молодому журналисту Джаба Алавидзе трудно противостоять опытному Зибзибадзе, поднаторевшему во многих грязных делах, светлый, обнадеживающий символ красных облаков свидетельствует о благополучном исходе этой борьбы.

«Красные облака» были первым романом Эдишера Кипиани. И с удовлетворением следует отметить, что писатель успешно справился со сложной задачей в этом жанре, и этот первенец явно доставил ему радость, хотя роман и дает повод для некоторых замечаний сугубо литературного плана. Роман «Красные облака» интересен не только своим обличительным пафосом и яркими характерами, но и тем, что автор нашел оригинальную композиционную рамку для выражения своих принципов и убеждений. Поиски нового не есть выражение навязчивого желания непременно предложить нечто оригинальное, которое неизбежно становится самоцелью. У Эдишера Кипиани поиски нового, которые так отчетливы и заметны, в этом романе приобретают иной смысл.

Не снизил Эдишер Кипиани обличительную интона-

цию и во втором и последнем своем романе «Шапка, закинутая в небо», хотя в этот роман вошел сполна такой органичный для него романтический и лирический поток, благодаря которому произведение зазвучало в присущей Кипиани тональности.

Роман «Шапка, закинутая в небо» был единодушно оценен как один из лучших романов в современной грузинской прозе. Поначалу его воспринимаешь как произведение детективного жанра. Но постепенно мы начинаем понимать, что это произведение совсем иного характера. Детективный роман преследует цель раскрытия преступления, и если не все, то основное внимание автора сосредоточено именно на этом. И роман Эдишера Кипиани построен на трагическом факте и, следовательно, на упорных поисках преступников и мотивов преступления, но не это определяет истинное лицо произведения.

Несчастье Паата и расследование дела, которое в центре внимания романа, — только средство для высказывания писателем своей точки зрения, своих взглядов на смысл жизни, на назначение человека и его долг, на добро и зло. Во время следствия он знакомит нас с главными героями романа и эпизодическими персонажами — носителями и последователями самых различных, в основном, диаметрально противоположных убеждений. Внутреннее состояние, характер, мировоззрение подростка формируют два совершенно различных обстоятельства, два влияния. И уже от натуры, характера и взглядов самого Паата будет зависеть и линия его поведения, и решения, которые он будет принимать, и образ жизни, который он для себя предпочтет. Из чего складываются эти обстоятельства в романе? С одной стороны, влияние отчима Паата — Иродиона Менабде и круг его друзей, точнее — соучастников, собутыльников, с другой — школа, друзья, учителя, среди которых заметно выделяется классная руководительница Гванца Шелиава.

Если Иродион Менабде со своим окружением описаны Эдишером Кипиани натуралистическими мазками, с беспощадным обнажением их духовного убожества, то образ Гванцы романтичен и возвышен, возведен до символа доброты и человеческой гармонии.

Эта контрастность стиля в изображении различных противопоставленных друг другу жизненных принципов отчетливо подчеркнута в романе. Примечателен эпизод, когда следователь Заал Анджапаридзе в поезде предается раздумьям. Сначала вспоминает Иродиона: будто возникнув перед глазами с испуганным лицом, он произносит фальшивым голосом хитрые и коварные фразы. Заал вспоминает каждую деталь его общения с этим грязным человеком. Потом он быстро прогоняет эти неприятные воспоминания и мысленно оказывается рядом с Гванцей Шелиава. Здесь он уже будто теряет способность к реальному изображению и переносится в мечтах в какую-то сказочную обстановку, в безграничный, бескрайний мир добра и совершенства.

Именно эта доброта и чистота поселились в душе юного Паата. Он пошел в жизни по пути, подсказанному Гванцей Шелиава, и ничто не заставило бы его свернуть с него, если бы он не стал жертвой несчастного случая. Он уже всецело проникнут тем простым и великим сознанием, что только стремление делать добро должно руководить каждым поступком человека и только это возвышает его.

На распутье двух жизненных путей и устремлений, где находился Паата, в свое время пришлось глубоко задуматься и молодому следователю Заалу Анджапаридзе. Один из них ужаснул его, другой же заставил заглянуть в тайники своей души и извлечь оттуда тяжкую человеческую ошибку, которую он допустил в отношениях с Найей. Именно на такое тихое и бесшумное влияние доброго начала перенесен акцент в этом романе, и вторая его часть написана о новых взаимоотношениях Заала и Найи, о завоевании человеческого счастья.

Этот лучший роман Эдишера Кипиани оказался последним. Как говорил Михаил Джавахишвили, «судьбагонительница» настигла его на пути, ведущем к вершинам, и если гибель была неизбежна, то погибнуть на этом пути все же лучше, чем упасть на ровном месте. Тепло сердца Эдишера Кипиани и сегодня согревает нас, ибо перед настоящим чувством отступает и сама судьба.

Г. ГВЕРДЦИТЕЛИ

РОМАНЫ



КРАСНЫЕ ОБЛАКА

Действующие лица

ДЖАБА АЛАВИДЗЕ, ЖУРНАЛИСТ, 24 ГОДА

— Джаба, проснись! Слышишь, Джаба!

Обернув тряпкой половую щетку, Нино обметает потолок. Кое-где по углам завелась паутина, стены покрылись копотью от керосинки, белые шнуры электропроводки усеяны темными пятнышками. В комнате пахнет пылью. «И чего я затеяла сейчас возню с потолком?»— думает Нино.

— Эй, ты, соня, вставай, опоздаешь!

Голос точно рассчитан: не разбудит спящего глубоким сном, не заставит его вскочить с колотящимся сердцем, но достаточно громок, чтобы рассеять сладкую утреннюю дремоту.

Джаба, однако, не спит и даже не дремлет. Он просто лежит с закрытыми глазами, не подавая виду, что проснулся. Когда матери кажется, что ее не слышат или что вокруг никого нет, она любит думать вслух. И Джаба ждет: что сейчас скажет Нино, какое объяснение подыщет его сегодняшней лени?

— Джаба, слышишь, Джаба! Уже девять часов.

Щетка, обернутая тряпкой, обошла стороной четырехугольный кусок потолка над постелью Джабы и направилась к соседнему углу.

— Что с этим мальчишкой, уж не заболел ли?

Джаба сдержал улыбку, чуть приподнял веки, посмотрел сквозь частую решетку ресниц. Голова у мамы повязана косынкой, седины не видно, щеки разрумянились от работы.

«Совсем как девочка, — думает Джаба. — И чего я разревелся т о г д а, что я понимал, несмышленыш? Ведь мне еще и одиннадцати не было! Не пришлось бы маме так мучиться...»

— Джаба, уже девять часов, тебя выгонят из редакции!

Нино перешла к противоположной стене. Здесь щетка ей больше не нужна, она дотягивается до потолка руками.

Комната втиснута в узкое пространство чердака, под самой железной крышей. Потолок покатый, две противоположные стены — разной высоты. У внутренней стены без щетки до потолка не достать, зато у внешней приходится нагибаться, чтобы не удариться об него головой. С этим еще можно бы примириться, но гораздо хуже то, что с весны до середины осени в комнате невыносимо жарко и душно. Дом очень старый, говорят, он построен лет сто тому назад каким-то купцом для своей любовницы. Чердак был предназначен для сушки белья — строители позаботились о том, чтобы на железную крышу его падало как можно больше солнечных лучей и в чердачных помещениях воздух был сухим и раскаленным.

Тридцать пять лет тому назад какой-то студент, один из первых советских вузовцев — выходцев из деревни, набрел на этот чердак и жил там, пока учился. Потом комната переходила по наследству от одного студента к другому, студенческие поколения сменялись в ней. Жили одинокие, селились и семейные — с женами и детьми. Шестым поколением был отец Джабы, а сам Джаба — седьмым и последним. Отец ушел на войну и пропал без вести, а Нино так и осталась на чердаке вместе со своим единственным сыном.

— Джаба, вставай! — снова послышался голос матери. — Нет, тут что-то не так. Мальчишка, наверно, влюблен. Спрошу-ка его, в котором часу он вернулся вчера!

Джаба снова сдержал улыбку, снова приоткрыл глаза, выглянул в узкую щелку между веками. Мать стояла около увеличенного фотопортрета отца, голова ее приходилась вровень с головой мужа, — казалось, они сняты вместе, плечом к плечу, оба одного роста.

«Но отец был высокий», — мелькнуло в голове у Джабы. Он заметил на столе пачку сигарет. Потянуло закурить — но тогда «игре» с матерью пришел бы конец...

Семейный портрет распался надвое, одна половина его обернулась и встала перед другой. Нино достала из передника платок, провела им по коричневой рамке, вытерла стекло. Опустила руки, с минуту всматривалась в лицо мужа, потом вышла из комнаты. За дверью зазвенело ведро. «Сейчас она принесет воду и примется скрести пол», — подумал Джаба.

Он дотянулся до сигарет, закурил. Дел сегодня — невпроворот. А в редакцию можно с утра и не заходить...

...Лет четырнадцать было тогда Джабе, не больше. Соседка заметила его на улице среди подростков, дымивших папиросами, и тут же наябедничала Нино: дескать, ваш Джаба курит с какими-то уличными мальчишками. Джаба сперва только изумился, когда мать, едва он вошел в комнату, молча схватила его и больно отодрала за уши. Обычно Джаба, когда ему угрожала трепка, не давался, убегал, и мать не могла его догнать. Но на этот раз он и не пытался ускользнуть — должно быть, оттого, что не чувствовал за собой вины. И Нино, распалившись, основательно поколотила сына. Джаба всю ночь не мог успокоиться, он плакал — не столько от боли, сколько от обиды. «Я не курил, я только стоял около тех ребят... Я стоял рядом, а они курили...» Но мать не верила ему, а поверила наговорам соседки. Наутро, когда мать обратилась к нему, Джаба опять не смог удержать слезы. Нино поняла наконец, что была неправа, вскипев, побежала вниз, к соседке, и хорошенько отругала сплетницу, из-за которой зря отшлепала мальчика. Соседка надулась, передернула плечами: «Хочешь, чтобы вырос разбойником? Что ж, нянчься с ним на здоровье!»

«Добро бы я в самом деле курил в тот раз с ребятами... После такой жестокой взбучки, пожалуй, в жизни не пристрастился бы к табаку! Но мать наказала меня незаслуженно — и я назло начал курить... чуть ли не в том же году».

Нино жила в ту пору в вечном трепете: что, если

мальчик, не чувствуя над собой твердой отцовской руки, собьется с пути? Ее обуревали всевозможные страхи и подозрения, воображение рисовало ей несуществующие опасности. Однажды утром — он был тогда в третьем или четвертом классе — мать растолкала Джабу, спавшего крепким сном. Объятая негодованием, стояла она над ним, держа в одной руке его короткие штаны, а в другой — две бумажные рублевки, выуженные из их кармана.

— Откуда у тебя деньги? — закричала она, шурша бумажками под самым носом у Джабы.

Каждый день, отправляя Джабу в школу, мать давала ему денег на завтрак, но он не всегда тратил полученную рублевку по назначению. Иной раз, пригласив с собой товарища, он отправлялся в кино, чтобы посмотреть во второй, а то и в третий раз понравившуюся ему картину. Он также любил бродить по просторным залам музеев. Хоть раз в неделю он взбегал на верхний этаж большого музея на проспекте Руставели и подолгу стоял перед витриной с чучелом тигра, убитого в окрестностях Тбилиси. Рядом на стене висела фотография крестьянина, который застрелил тигра, случайно наткнувшись на него в Мцхетских лесах. Этот тигр и восковое изображение революционера полонили воображение Джабы раз и навсегда. Восковая фигура находилась в другом музее. Революционер сидит в тюремной камере, на руках у него оковы, он смотрит на дверь, в которой вырублено узкое, забранное решеткой смотровое окошко. Джаба поднимался на цыпочки и, ухватившись обеими руками за решетку, заглядывал внутрь камеры. Тотчас же его пробирала дрожь: у воскового арестанта было такое выразительное лицо, такие живые глаза, что казалось, он сейчас заговорит, окликнет Джабу.

Однажды Джаба шел с отцом из школы домой. Вдруг он спросил: «Папа, отчего ты не стал революционером?» Отец засмеялся — и потом всю дорогу посмеивался про себя. Вечером, когда Джаба уже был в постели и родители думали, что он спит, отец шепнул маме: дескать, вот какой вопрос задал мне Джаба — и снова засмеялся. Джаба не мог понять — чему папа радуется? А теперь догадывается: отец

впервые почувствовал тогда, что ребенка воспитывает уже не только семья, что вопрос, заданный ему сыном, родился не в домашних стенах, а принесен из внешнего мира. К тому же был в этом вопросе оттенок укора, — заданный девятилетним мальчиком, он показался, наверно, отцу полным особого значения.

Это было раньше, когда отец еще не ушел на войну, а история с обнаруженными в кармане рублевками случилась позднее, уже после его гибели. Одну из этих рублевок Джаба нашел недалеко от своего дома, около кузницы. Другая была получена им от матери и не истрачена. После уроков он играл в мяч со старшеклассниками, вернулся поздно и, пообедав, сразу сел за уроки. А потом лег спать и заснул как убитый...

— Откуда у тебя эти деньги, говори!

Джаба протер глаза, посмотрел на свои штаны, потом на бумажки... И сразу понял, почему так рассержена мама.

— Я нашел рубль... На улице, около кузницы.

— А другой?

— Другой — ты сама мне дала... Я не истратил... Хотел книгу купить.

— Врешь! Врешь и не краснеешь! — Мать уперла руки в бока. — Ну, что мне с тобой теперь делать? Придется позвать милицию, чтобы тебя увели. Будешь сидеть в тюрьме и есть сухой хлеб. Нашел! Этакий счастливчик! Почему я никогда ничего не нахожу?

Мать в тот раз не тронула Джабу — верно, жалко стало: лежит, бедняга, в постели и убежать не может, и спрятаться некуда. К тому же она, должно быть, почувствовала, что Джаба говорит правду. Иначе почему бы она сказала ему напоследок:

— Даже если увидишь, золото валяется на земле — не подбирай! Даже золото, слышишь!

Тот год, по-видимому, был годом находок для Джабы. Не прошло и трех дней, как по пути в школу, в одной из аллей сада Коммунаров, он заметил валявшуюся на земле красную тридцатирублевку. Он уже было нагнулся за нею, как вдруг явственно услышал слова матери: «Даже если золото найдешь, не подби-

рай!» Джаба метнулся прочь от скомканной красной бумажки, словно от спящей змеи. Какой-то бородач, оказавшийся рядом, проследил за взглядом Джабы, увидел деньги, быстро подхватил их, посмотрел на мальчика с какой-то бессмысленной улыбкой и пошел дальше ускоренным шагом.

Вечером, когда Джаба рассказал об этом матери, та только развела руками.

— Ну и врунишка у меня растет, нечего сказать! Как ты только запоминаешь все свои выдумки! Небось сам уже путаешься, где правда и где ложь.

— Но я в самом деле нашел, мама, почему ты не веришь? Вспомнил, как ты мне наказывала: даже если золото найдешь, не подбирай, и послушался, не подобрал. А потом прошел какой-то человек и подхватил бумажку.

— Вранье, выдумки. Ты просто хочешь, чтобы я пожалела — почему у меня не отсох язык, когда я это сказала! Ведь так? Для того все и придумал?!

— Да. Так, — внезапно обиделся Джаба. — Я все выдумал. Хотел, чтобы ты пожалела.

— Угадала, значит? Ты меня не обманешь!

— Да, угадала, — Джаба надулся.

— Вот какой! Нашел деньги — и не взял! Так я и поверила! Да и кто это разбрасывает по садам тридцатирублевки?

— Никто не разбрасывает. Я же сказал — я все выдумал. Чтобы ты пожалела.

— Небось, если б правду говорил, сразу матерью бы поклялся!

— Мамой клянусь, все правда, и ничего я не выдумал! — вскричал Джаба в отчаянии.

— Гм... В саду, говоришь? — на этот раз уже неуверенно переспросила Нино. — Валялись, и ты не взял, да?

— Ну да, сказал же я тебе — какой-то прохожий подобрал...

— Ладно, я не буду на тебя сердиться, давай сюда твою находку, — внезапно сказала мама и невольно взглянула на карман Джабы. — Если ты в самом деле нашел... Чего я на тебя накинулась — ведь не украл же! Не подбери ты — взял бы кто-ни-

будь другой. Покажи деньги, может, они рваные и их нигде не примут...

— Что показать, мама?.. Я же сказал, что вспомнил твои слова, и...

— Я не буду сердиться, давай их... Если ты в самом деле нашел, я сердиться не стану. Как раз хватит нам завтра на обед.

Джабе вдруг стало так жалко мать, что он едва сдержал слезы.

— Мама...

Больше он ничего не смог выговорить, но мать поняла, что все сказанное им — чистая правда.

— Ах ты, дурачок! Вот уж в самом деле дурачок! Что ж ты, неслух, именно в этот раз меня послушался?

Из-за двери послышались мягкие шаги. Джаба поспешно спрятал сигарету в горсти, свесил руку с кровати и закрыл глаза. Мать вошла, поставила ведро с водой на пол. Джаба ждал: вот сейчас звякнет, упав, дужка ведра. Но мать, видимо, так осторожно поставила ведро, что дужка не упала. Джаба почувствовал, мать смотрит на него. «Верно, дым просачивается у меня между пальцев», — подумал он.

— Чаду-то, как от сырых дров... Проснулся, так вставай!

— Ох!.. — простонал Джаба.

— Будешь охать, когда выставят из редакции.

— Ох, ох, мама!.. — Джаба старался стонать как можно жалобней.

— Что, что с тобой? — Нино замерла на месте.

— Сердце... Сердце бьется...

— Боже мой!.. Что мне делать?.. — Нино ударила себя по щеке и бросилась к кровати.

Джаба уткнулся в подушки, задыхаясь от смеха. С минуту он не мог выговорить ни слова.

— Я же сказал только, что сердце бьется... Да что тут такого — я же не мертвец...

Он вдруг сбросил одеяло, вскочил, подхватил мать и закружился с нею по комнате.

— Тише, сумасшедший, стукнусь об потолок! Перестань, а то мне дурно, слышишь? Сейчас же выпусти меня!

— Не выпущу! Я должен тебе отплатить.

— За что отплатить, негодник?

Джаба перестал кружиться. Он держал теперь мать на руках, как ребенка, и смотрел на нее сверху.

— Помнишь, как ты однажды прибила меня ни за что ни про что? Помнишь? Когда Валя наврала тебе, будто я курил, а ты сразу и поверила?

— Почему ты за хорошее не хочешь мне отплатить?

— А потом, в другой раз, помнишь, ты нашла у меня в кармане две рублевки и решила, что я их украл...

— А доброго ты от меня ничего не помнишь? Забыл, как я работала день и ночь...

— Все помню, только сначала расплачусь за все дурное, а там останется одно лишь хорошее.

— «Останется»... — передразнила его Нино. — Лучше бы ты с хорошего и начал!

— Вот и начинаю — с сегодняшнего дня. Так что готовься. За все дурное я уже расплатился с тобой сполна. — Джаба осторожно опустил мать на пол.

— Ну, а если начинаешь, то загляни сегодня в райисполком, может, уже вывесили списки.

— Сегодня не могу, сегодня у меня столько дела... — Джаба принялся за утреннюю зарядку: присел на корточки, распрямился. — Все равно списков еще не будет.

— А я надеялась — встретим Новый год в новой квартире.

— Получим, когда придет наша очередь, — Джаба снова присел и поднялся; он был только в майке и трусах.

— Загляни все же, дружок. — Нино перелила воду из ведра в корыто и прополоскала тряпку. — Неужели тебе не интересно, под каким мы номером в списке?

— Если успею, зайду. Только я уверен, что списки на будущий год еще не вывешены.

— С ног сбилась, бегая в этот жилотдел! — Нино нагнулась, провела мокрой тряпкой по полу.

Джаба выкатил из-под кровати двухкилограммовые гантели. На столике стояло старинное овальное зер-

кало. Проделывая упражнения, Джаба смотрел в него. Тяжесть гирь заставляла выступать новые, незнакомые мышцы на руках и на груди, и Джаба с любопытством следил за их игрой.

— Сегодня опять будем обедать у тети Нато, — сказала мама.

— Я, возможно, не сумею прийти. А ты ступай, а то испечешься здесь. Похоже, что опять будет жара. — Джаба шагнул к низкой стене и, поленившись положить на пол гантели, прикоснулся лбом к потолку. — Ну прямо печка. И это с утра — что же будет днем! — Потом он глянул в окошко, пробитое в потолке: на горе Мтацминда сверкало белизной легкое здание станции фуникулера; казалось, оно посылает городу добавочные лучи.

Это окошко прорезали в потолке два года назад, а до того времени дневной свет не проникал в комнату. Если гасло электричество, приходилось зажигать чадящую керосиновую лампу. Чтобы пробить окно, нужно было получить разрешение. Нино хлопотала пять месяцев, добиваясь его. Окно изуродует фасад здания, нарушит его архитектурный облик; проем в крыше нарушит ее конструкцию, и крыша может обрушиться — каких только возражений не выдвигали в городском Совете. Потом пришла комиссия, изумилась — как можно жить в этом темном чердачном закутке? — и уже сама, без дальнейших просьб и напоминаний, прислала мастеров, которые впустили в комнату солнечный свет. А вскоре после того горсовет предложил райисполкому включить Нино Алавидзе в список граждан, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий, тех, которые должны получить квартиру в первую очередь. Однако прошло уже два года, а фамилия Алавидзе все кружилась, как в водовороте, в списке первоочередников и никак не могла прибиться к берегу...

Джаба перекинул через плечо полотенце и вышел в коридор, чтобы умыться.

Длинная, узкая комната имела две двери, расположенные по диагонали. Одна выходила на чердак, прямо под железную крышу. В знойные летние дни нельзя было прикоснуться снизу рукой к раскаленной

жести. Нино наполняла водой ведра и кувшины и оставляла их здесь на весь день. К вечеру вода нагревалась настолько, что можно было вымыть ею голову или постирать белье. В темных углах между толстыми стропилами, прямо на земляном полу, когда-то плотно убитом, а теперь разрыхленном, превратившемся в толстый слой пыли, были сложены штабелями книги и тетради живших здесь в разное время студентов: конспекты и учебники — руководства по политэкономии и математическому анализу, логике и акушерству, виноградарству и астрономии, — свернутые в трубки листы ватмана с начерченными на них тушью деталями машин и разрезами деривационных туннелей... И все это было густо затянуто тонкой, слежавшейся пылью...

Какое-то странное, необъяснимое любопытство притягивало Джабу к этой свалке отбросов интеллектуального труда. Вооружившись карманным электрическим фонарем, он выходил на чердак и рассматривал кучи запыленных книг и толстых тетрадей, осветив их точно внезапно пробившимся через щель солнечным лучом. Его удивляло — как могли хозяева так безжалостно, так равнодушно выбросить эти конспекты, которые они составляли в течение долгих лет и над которыми проводили бессонные ночи накануне экзаменов? С этими записями ведь была связана каждая минута студенческой жизни, в них отражались каждый пропущенный час занятий, любое впечатление от лекций — невнимательно прослушанной, или неинтересной, или оставившей яркий след.

В прошлом году чердак осматривал представитель пожарной охраны, явившийся в сопровождении управляющего домом. Они обшарили все вокруг, заглянули во все углы. «Гм!» — хмыкал представитель пожарной охраны, качал задумчиво головой, зажигал спичку за спичкой, осматривал закоулки один за другим и все повторял: «Гм!» Потом отряхнул брюки, вернулся в комнату и пригрозил матери: «Если через неделю весь этот мусор будет еще здесь, то не обессудьте, оштрафую!»

Джабе показалось тогда, что у него собираются отнять целый мир, полный всевозможных тайн. Ведь с этими книгами и тетрадями уйдет, потеряется навеки

много такого, чего никто никогда уже не узнает! Похожее чувство испытал он, когда отец пропал без вести, и мама, получив извещение, решила продать деревенский дом с усадьбой. Джабе казалось, что у него отняли самое дорогое — мир его детства, подаренный ему добрым и красивым, высоким человеком со светлыми усами.

— Большой штраф? — спросил Джаба пожарника.

— Когда наложим, узнаете, — усмехнулся тот.

— Ну, а все-таки?

— Вы что, не собираетесь выносить этот мусор?

— Нет! — сказал Джаба.

— А если будет пожар, хоть тогда вынесете?

— Тогда постараемся, — рассердился Джаба.

— Послушай, да ты что, огнепоклонник? — Изменили нервы и представителю пожарной охраны.

С тех пор пожарник больше не приходил к ним, но мать запомнила его предостережение. Опасаясь возможного пожара, она понемногу расчищала чердак, но отобранные ею книги и тетради, прежде чем миновать крутую круглую лестницу, прежде чем очутиться в дворовом сорном ящике, должны были пройти таможенный досмотр у Джабы, и, как правило, Джаба оставлял дома едва ли не половину. Нино считала большой удачей, если ей удавалось вынести связку книг, ускользнув от бдительного ока Джабы.

Сегодня все шло обычным чередом. Нино наполнила книгами большой фанерный ящик, осторожно прошла мимо сына и не без легкого волнения стала спускаться по лестнице.

— Мама! Куда ты несешь этот ящик, мама?! — Джаба швырнул полотенце на перила и пустился за Нино вприпрыжку, так что железная спиральная лестница вся затряслась.

— Вместо того чтобы помочь, ты еще со мной споришь! — опередила Нино его упрек.

— Отчего же не помочь, помогу. Но я ведь просил тебя, мама, не выбрасывать книг, не показав мне! — Джаба ухватился обеими руками за ящик. — Ну и набила!..

Он спустился по лестнице, прошел по тускло осве-

щенному электричеством широкому коридору и повернул налево. Чтобы дойти до мусорного ящика, надо было пересечь весь двор. Джаба двигался быстрыми, короткими шагами, то и дело поглядывая в сторону улицы — он был гол выше пояса и боялся, как бы его не увидели с проходящего трамвая. Наконец он опрокинул фанерный ящик и высыпал книги на землю.

Ни одной книги, ни даже клочка бумаги он не смог выбросить! Фанерный ящик наполнился снова — Джабе показалось даже, что книг стало больше, он с трудом запихал их обратно.

Когда Джаба вернулся в комнату с полным ящиком, Нино не смогла удержаться и расхохоталась. Она расплескала поднесенный ко рту чай и едва сумела поставить стакан на блюдце; она просто задыхалась от смеха. Джаба тоже смеялся, хоть и немного деланно. Он с любовью смотрел на мать, веселому, заразительному смеху которой, казалось, вторила вся комната. Звенели стаканы и тарелки на столе, ржали шкафы, гоготала тахта, гудело пианино, стены деликатно улыбались.

«Услышишь, как она хохочет, скажешь — семнадцатилетняя девушка, — подумал Джаба. — Ах, если бы я мог всегда только смешить маму!»

Джаба отнес ящик обратно на чердак. Вдруг он заметил большую книгу в синей картонной обложке. Почему-то до сих пор он не обратил на нее внимания. Джаба взял книгу в руки и прочел на переплете:

«Тбилисская 206-я средняя школа. Класс 10-б. 1942/43 учебный год».

«Классный журнал! Откуда он взялся здесь, на нашем чердаке?»

Джаба перелистал пожелтелые, пересохшие страницы, обведенные по краю черной каемкой въевшейся пыли.

«Абашидзе Нана.

Болквадзе Тариэл.

Бендукидзе Гайоз.

Гветадзе Тамаз.

Горделадзе Мзия...» — пробежал он глазами список учащихся.

Поперек страниц, вверху, были выписаны вертикальными строчками названия предметов, под каждым из них — дата и урок на тот день:

«9 сентября.

Военное дело — сборка и разборка винтовки.

— Химия — люизит.

Русский язык — «Стихи о советском паспорте».

История — «Отечественная война 1812 года».

«Сорок второй год... мне тогда минуло десять лет. Папа уже был на фронте».

Джаба перелистал журнал; на одной из страниц ему попалась запись:

«Ввиду отсутствия света контрольная письменная работа не состоялась».

Почерк — красивый, твердый, буквы четкие. Запись была сделана, вероятно, преподавателем грузинского языка. Джаба прекрасно помнил те годы — затемнение, гул самолетов, кружащихся над Тбилиси, лучи прожекторов, перекрещивающиеся в небе... Вот еще запись:

«Химия — ввиду отсутствия освещения урок не состоялся».

«Должно быть, этот 10-б занимался в третью смену. Ну да, ведь во многих школах тогда были размещены госпитали!»

Внезапно Джаба почувствовал острый голод. Он бросил взгляд на стол. И не будь стол в эту минуту накрыт для чаепития, долго еще мучил бы Джабу этот голод-воспоминание.

...На большой перемене детям раздавали по два куска черного хлеба — тонких, почти прозрачных. Дети даже придумали такую игру: подносили к глазам эти куски хлеба, точно цветные стекла, и смотрели сквозь них на солнце. Смеху было! Джаба удивлялся тому, что учитель арифметики, самый строгий из всех, наказывал детей за эту шалость больше, чем за незнание урока. Он становился бледным как мел, голос не повиновался ему, и он рукой показывал провинившемуся ученику, чтобы тот вышел из класса. Прошел месяц-другой, и дети в самом деле оставили эту «игру». Впрочем, они уже не успевали донести кусочек хлеба до глаз...

Джаба торопился, но этот истрепанный классный журнал со страницами, тронутыми ржавчиной времени, не отпускал его, как бы обещая открыть что-то тайное и захватывающе интересное... Казалось, вот он перевернет какую-то заветную страницу и вдруг увидит перед собой не список учеников, а сам класс 10-б в полном составе, не фамилии глянут с листа, а живые, незнакомые глаза... Вот, какой-то Шишниашвили Арчил целую неделю не приходил в школу. «Нет. Нет. Нет», — записано подряд против его фамилии. Возможно, ученик заболел. Но вот он пропустил и следующую неделю, опять: «Нет. Нет. Нет». А дальше... Дальше его фамилии вовсе не видно.

Джаба еще раз провел пальцем вдоль списка... Нет, Шишниашвили в списке больше не значился. Исключен за непосещение? Но если он был болен?

Может быть, он умер?

— Джаба, чай остыл! — послышался голос матери.

— Мама, ты этот ящик не трогай, прошу тебя.

— Ладно, только и ты за то исполни мою просьбу. Зайди в райисполком, ведь с утра до вечера мотаешься по городу!

Джаба ел и кивал головой в знак согласия. Нино не замечала этого и продолжала упрекать его:

— Вот женишься и тогда поймешь, что значит не иметь квартиры...

Джаба кивнул еще раз: да, женюсь и тогда пойму.

— Кто за тебя замуж пойдет в эту комнатенку?

— А я и не собираюсь жениться.

— Да у тебя две макушки, милый мой!

— Хотя бы даже и сто.

— Не дай бог!

— Ну, я пошел. — Джаба встал с места. — Не сиди дома, будет страшная жара. Стирку не затевай, если надо, постираешь вечером, попозже.

— Придешь обедать к Нато?

— Успею — приду. А нет, так не пугайся. — Джаба вынул фотоаппарат из футляра и сунул его в карман. — Вернусь поздно, мне сегодня надо очерк написать.

— И что же, ты его собираешься писать вечером или ночью? — пустила Нино пробный шар.

Джаба остановился в дверях.

— Если бы у меня было назначено вечером свидание, то я так и сказал бы тебе, что собираюсь встретиться с девушкой. Повторяю: у меня задание — написать очерк. Вечером в Политехническом институте состоится студенческий бал-маскарад, и я должен присутствовать на нем по поручению редакции.

— Присутствуй, дружок, присутствуй — только там ты не одну, а тысячу девушек встретишь, — улыбнулась Нино.

— Тысячу — да, тысячу девушек я встречаю каждый день.

Джаба посмотрел вдоль улицы, по которой убегали вдаль, под гору, сверкающие трамвайные рельсы. Оттуда медленно поднимался трамвай — квадратный лоб его, приближаясь, постепенно увеличивался. Возле дома Джабы улица круто поворачивала влево. Трамвай обычно замедлял здесь ход, и Джаба пользовался этим, чтобы вскочить в него на ходу, — идти на остановку не было нужды.

Он вскочил на подножку последнего вагона. Опасаясь, как бы милиционер на перекрестке не ссадил его, он нажал плечом и втиснулся в плотную толпу пассажиров на задней площадке.

— Возьмем билет, молодой человек! Ну-ка, там, сзади! Давайте платите за билеты!

Джабе почему-то показалось обидным это шутливое обращение. Вместе с тем он удивился — как его заметил зажатый в своем углу, за всем этим множеством спин и поднятых рук кондуктор.

Рука Джабы с трудом проложила себе путь к карману.

— Будьте добры, возьмите и мне.

Джаба быстро оглянулся. Девушка улыбалась ему — такая хрупкая, такая тоненькая, что казалось удивительным, как она умудряется дышать в этой давке. Из длинного черного рукава пучком розовых лучей высовывались ее худенькие пальцы, и теплое их свечение, казалось, прибавляло блеску никелевым монетам.

Джаба взял у девушки деньги, поднялся на цыпочки, протянул руку над головами:

— Два билета...

Под мышкой у стоявшего рядом пассажира внезапно появилась чья-то рука с обрубленным большим пальцем. Рука высунулась и сложилась лодочкой. Джаба ссыпал монеты в подставленную горсть, рука тотчас же сжалась в кулак и убралась назад, туда же, откуда появилась.

— Что ты меня щекочешь, добрый человек! — рассердился пассажир.

— Прошу прощения. Не могу же я просунуть руку сквозь ваш живот — этак можно и деньги рассыпать! Передайте билеты.

«Наверно, инвалид войны, — думал Джаба о кондукторе-невидимке. — Может, у него и другой руки нет».

Билет попался ему счастливый — номер начинался и кончался пятеркой. Девушка тоже рассматривала свой билет — Джаба заметил, что она с сожалением покачала головой. Он вытянул шею, посмотрел: номер у девушки кончался цифрой шесть.

— Ваш билет — вот этот! — Джаба протянул девушке бумажку.

— Почему?

— Билеты ведь покупал я?

— Ну да, — девушка смотрела на него с недоумением.

— Не мог же я взять первый для себя!

Девушка улыбнулась, обменялась с ним билетами.

Тем временем на площадке появились какие-то бойкие молодые люди. Один из них, вцепившись поднятыми над головой руками в потолочный ремень, повис на нем. Полы его распахнутого черного пиджака реяли, как крылья ястреба, над пожилым человеком небольшого роста. Старику было неловко стоять, он удерживался на ногах только потому, что его подпирали со всех сторон сдавившие его соседи. Внезапно чья-то волосатая рука появилась около его груди. Рука помедлила, как бы поколебалась и вдруг нырнула за пазуху к старику, нырнула так осторожно, словно ее ошпарили и даже легчайшее прикосновение могло причинить ей невыносимую боль.

Джаба заволновался, нащупал у себя в кармане

фотоаппарат. Ему стало ясно, что это за птицы и за какой добычей они охотятся.

«Сейчас обворуют старика... А он, бедняга, ничего не замечает».

Тот, первый, в черном пиджаке, видимо, почувствовал на себе чужой взгляд. Он посмотрел на Джабу ледяными глазами и зловеще улыбнулся. Джаба не выдержал, отвернулся — и вдруг увидел перед собой расширенные от страха глаза девушки, которой купил билет. Они словно о чем-то спрашивали Джабу, девушка как бы чего-то ждала от него.

Джаба криво улыбнулся ей. Улыбка должна была означать, что он ничего не заметил. Это было притворство, от собственной фальши Джаба покраснел и мгновенно облился потом.

— Вы сейчас сходите? — Джаба непременно должен был что-нибудь ей сказать, было просто немыслимо, чтобы он ничего не сказал.

— Прошу прощения... Позвольте пройти... — Это не было ответом на заданный вопрос, девушка точно и не заметила, что Джаба обратился к ней.

«Пырнут ножом? Будь что будет!» — мелькнуло в голове у Джабы, и он быстро повернулся к старику.

Но было уже поздно. Воры прокладывали себе путь к выходу. Вот один спустился на нижнюю ступеньку, изогнулся по-кошачьи всем телом и оторвался от мчащегося трамвая. За ним последовал другой. А старик стоял на месте, погруженный в свои мысли.

На остановке Джаба сошел вместе с девушкой. Его сейчас мучила единственная мысль, одно-единственное желание было у него на свете: лишь бы оказалось, что девушка ничего не заметила, и лишь бы он, Джаба, мог в этом убедиться!

Он прибавил шагу. Девушка испуганно оглянулась и побежала — не очень быстро, делая вид, что она просто торопится.

Джаба чувствовал себя посрамленным. Он остановился, с минуту следил взглядом за девушкой — видел, как она перешла через улицу...

«Испугалась! — подумал Джаба. И вдруг неожиданная мысль всполошила его: — Ну конечно! Она приняла меня за товарища этих воров... за их сообщника!

Заметила, наверно, как улыбнулся мне тот, в черном пиджаке, и как я отвел взгляд — разумеется, чтобы скрыть мое «знакомство» с ним...»

Ах, если бы Джаба мог сейчас нагнать девушку и убедиться, что она ничего не заметила! Чего бы он не отдал за это!

«Отчего мне кажется несущественным любой мой проступок, если только я уверен, что на свете нет ни одного свидетеля моей вины? Эти давешние воры тоже, наверное, живут так, наверно, и у них совесть бывает чиста, если дельце обделано чисто и они уверены, что никто ничего не заметил. Отчего это так? Или, может быть, только я и эти воришки — такие? «Я и воришки»... Великолепный заголовок!»

Джаба шел по направлению к редакции. Он шагал по своей любимой улице, той, которая растила его и росла вместе с ним. Вдоль ряда знакомых домов, которые он мог представить себе с закрытыми глазами один за другим, как буквы алфавита. Но сейчас он ничего не замечал вокруг себя — он точно сидел где-то в полном одиночестве и думал.

«Какой я был храбрый в тот раз, когда сфотографировал арестованных воров в милиции! Вот это был самоотверженный шаг! Ну, какой еще журналист кроме меня осмелился бы на такое?.. И какой очерк я напечатал потом в апрельском номере! Как я бесстрашно обличал уже обличенных воров! Вот это геройство!

Эта девушка думает сейчас, что я вор... Ну и пусть думает... Ничего не поделаешь! Может, я больше никогда ее и не встречу. А все-таки неприятно сознавать, что есть на свете кто-то, хотя бы незнакомый, кого ты никогда не увидишь, но кто думает, что ты трус или, еще того лучше, вор... Ну и как же — пусть себе думает? Это тебе безразлично?

Природа могла бы наделить человеческий разум способностью к более быстрому соображению и расчету, но она предпочла умеренность, середину. Иногда сердце должно опережать разум — это необходимо! Порой, прежде чем мысль успеет мелькнуть в голове, кулак уже должен сам собой нанести удар...»

Тротуар оборвался перед поперечной улицей, сбе-

гавшей с горы, и Джаба очнулся от своих мыслей. Свободно катившиеся по спуску автомобили с трудом притормаживали здесь и преувеличенно медленно, как бы желая показать, — вот, мол, как мы степенно ездим, — вливались в поток движения на проспекте. На этом перекрестке сознание коренного тбилисца автоматически обрывало любую мысль, какой бы она ни была глубокой или, напротив, беззаботно-веселой. Какая-то женщина, едва успев подхватить на руки ребенка, с отчаянным криком бросилась на тротуар. Сам Джаба лишь в последнее мгновение успел убрать ногу из-под колеса чьей-то автомашины. Этот нечаянный кросс заставил его позабыть об истории с ворами в трамвае, и настроение его несколько исправилось.

Джаба шел по широкому тротуару, среди оживленной толпы, и волочил указательный палец по стенам домов. Он никак не мог отвыкнуть от этой любимой игры детских лет, игры, в которой стены зданий были бесконечной дорогой, а палец — летающим автомобилем. По пути летающий автомобиль подстерегали бесчисленные, разнообразные препятствия: водосточные трубы, почтовые ящики, щербатые кирпичи, трещины в витринах, но палец-автомобиль перед каждым таким препятствием разгонялся, взлетал, переносился через преграду и вновь мягко и красиво опускался на дорогу.

Это было в детстве, когда одинаково устаешь от игры в мяч во сне и наяву, когда нос одинаково болит как после настоящей, так и после приснившейся драки, когда ночью, в темноте, едва успеваешь юркнуть в дом, убегая от преследующего тебя чудовища — Маджладжуны, и сразу запираешь за собой дверь, когда знаешь, что ты маленький мальчик, но не знаешь, куда денется этот маленький мальчик, когда ты станешь взрослым.

Сейчас Джаба знает, куда делся, как исчез маленький мальчик, но тело его само, не считаясь с зрелостью разума и души, частенько вспоминает исчезнувшего. И скользит по стенам зданий вдоль улицы палец-автомобиль, с легкостью перескакивает через любые, казалось бы, неодолимые преграды — водосточные трубы и почтовые ящики.

Джаба изменился с тех пор, как начал работать в редакции. Прежде он думал, что может видеть душу любого человека, знакомого или незнакомого, так же ясно, как раскаленную спираль в электрической лампочке. Разумеется, он знал, что на свете бывают люди с темной душой и ледяным сердцем, люди, которые, не сморгнув, могут обречь ближнего на гибель. Но воспринимал он это как-то внешне, словно случайно услышанную страшную историю из тех, что заставляют содрогнуться в первое мгновение, а потом забываются.

Полгода тому назад редактор поручил Джабе присутствовать на судебном процессе и написать отчет-фельетон. Впервые в жизни видел тогда Джаба убийцу. Джаба стоял в зале, битком набитом людьми, и смотрел, как зачарованный, на человека лет сорока, сидевшего на скамье подсудимых.

Все у этого человека было обычное, такое, как у других людей: голова, нос, губы, руки, ноги. Он дышал, моргал, ерзал на сиденье. Преступление его состояло в том, что он убил товарища. Вышел во двор, будто бы для того, чтобы принести дров, достал револьвер, спрятанный в поленнице, вернулся с охапкой поленьев в комнату, подошел к товарищу и всадил ему пулю в сердце. Причиной совершенного им убийства была его жена. Джабе убийца казался таинственным существом, человеком, отличающимся от всех, и поэтому его так удивило, что подсудимый разговаривает, как любой другой, отвечает на вопросы судьи, пользуется теми же словами, какие Джаба употреблял в обычной беседе...

Джаба поднялся в лифте на четвертый этаж. Он опаздывал, однако, по его расчетам, редактора еще не могло быть в редакции. Осторожным, крадущимся шагом двигался Джаба по коридору, словно эта неслышная его походка была верным средством искупить опоздание. Отворив дверь приемной, он улыбнулся девушке-секретарю в знак приветствия и показал глазами на кабинет редактора:

— Пришел?

— И уже справлялся о тебе.

— По какому поводу?

— Не знаю. Сказал, чтобы ты зашел к нему, как только явишься.

Джаба прошел через приемную и отворил дверь кабинета.

— Входи! — сказал редактор, не поднимая головы: он просматривал какой-то материал. — Садись.

Джаба сел, вынул из кармана сигареты. Редактор дочитал материал до конца, написал на первой странице, в верхнем углу: «В набор», спрятал автоматическую ручку в карман и внезапно протянул руку к Джабе:

— Давай!

— Что?!

— Репортаж.

— Батоно Георгий! — Глаза у Джабы полезли на лоб. — Бал-маскарад начнется в восемь часов вечера...

— А мне материал нужен сейчас. Завтра будет готов?

— Обязательно.

«Как будто сам не знает, что маскарад состоится сегодня вечером и что я не мог еще написать ни строчки! Но уж завтра придется непременно сдать репортаж».

— Я думал, вы дадите мне хоть неделю сроку, — признался Джаба. — Я бы тогда все хорошо обдумал...

— Чего там еще обдумывать! — Редактор оттолкнулся от стола, откинулся в кресле.

— Батоно Георгий, если вы постоянно будете меня торопить, я никогда не смогу написать ничего путного.

— Если ты настоящий журналист — напишешь!

— Я же не в газете работаю! Наш журнал выходит два раза в месяц.

— И все же мы постоянно запаздываем...

— По вине типографии.

— Типография считает виноватыми нас.

— А вы — меня.

— Если завтра не положишь репортаж ко мне на стол, буду считать... — Редактор встал, взял со стола макет очередного номера, перелистал его. — Все материалы уже сданы, только твоего не хватает!

— Верно, но ведь студенческий бал-маскарад со-

стоится только сегодня вечером... Не мог же я сделать снимки вчера!

— Ленишься!

— Батоно Георгий, ваш упрек несправедлив. Бал-маскарад должен...

— Оставь в покое этот бал-маскарад. Я говорю, что ты вообще ленишься.

— Так сказали бы прямо, зачем стесняться?

«То есть, иными словами, почему начали издалека?»

— Я вовсе и не стесняюсь.

— Когда это я ленился?

— Всегда. Каждый день, каждую минуту. Тебе двадцать четыре года, ты должен сейчас все крушить на своем пути!

— А иные говорят — не крушить, а строить.

Джаба покраснел — он почувствовал, что не смог скрыть обиды.

— Молодец! Этой беззубой остротой ты выдал себя с головой. Ты сам прекрасно знаешь, что ленишься, но хочешь, чтобы никто другой этого не заметил. А если заметят — ты обижаешься, как будто тебе предъявили какое-то совершенно незаслуженное обвинение. — Редактор помедлил, как бы прислушиваясь к собственному голосу, проверяя правильность взятого тона, и, по-видимому, решил, что переборщил. — Видишь ли, этот упрек относится и ко мне самому, — улыбнулся он. — Вот уже три месяца, как я не брался за перо.

— Батоно Георгий, через год-другой вы убедитесь, что упрек ваш был незаслуженным.

Редактор усмехнулся:

— Год-другой, потом еще год-другой — вот так мы, старики, и стали незаметно стариками... Губительная вещь эта постоянная отсрочка... Ходишь по свету в шестнадцать лет радостный и беззаботный, вся жизнь у тебя впереди, и воображаешь, что будущее твое окажется бесконечным или, во всяком случае, таким долгим, что и представить себе невозможно. Кажется так, наверно, потому, что хотя прошлое бесконечно и его протяженность не умещается в сознании, вся накопленная в прошлом человеческая культура, все бесчисленные научные открытия и произведения искусства

представляются тебе созданными в течение одной человеческой жизни, — ведь все это в твоих руках, служит тебе, так близко к тебе. И возникает иллюзия, что ты и сам за свою жизнь успеешь свершить многое, очень многое, что созданному тобой не будет меры и числа... И вот, ходишь ты в шестнадцать лет по свету и никому не открываешь, что «через год-другой», когда тебе минет восемнадцать, ты сделаешь важное открытие, скажешь нечто, никем не сказанное до сих пор, и эту огромную победу, разумеется, принесет тебе сама судьба, твоя судьба, та, что родилась вместе с тобой и принадлежит тебе одному. Ты не делаешь никаких усилий, не хочешь ударить пальцем о палец: чудо ведь свершится само собой! Не может быть, чтобы в восемнадцать лет ты не заставил весь мир заговорить о себе... Сладкая дрожь пробирает тебя, когда ты предвкушаешь свое торжество... Ты каждое утро красиво причесываешься, надеваешь хорошо сшитый костюм, гуляешь с друзьями, с девушками, бываешь на стадионах, в кино и ждешь часа свой славы. Проходят дни, месяцы, тебе исполняется восемнадцать... и ты веришь, хотя никому в этом не признаешься, что скоро, совсем скоро, в двадцать четыре года, ты сделаешь великое открытие, удивишь весь мир, чудо непременно произойдет, все сложится таким образом, так переплетутся обстоятельства, что ты выдвинешься на самый передний план, люди внезапно заметят тебя и поймут, какой ты изумительно талантливый, убедятся, что никто не равен тебе, как мыслитель, никто не пишет стихи так, как ты, совершенно по-новому, что никто нигде никогда... Ну и вот, тебе уже стукнуло двадцать четыре года, и ты по-прежнему думаешь, что через год-другой...

— Батоно Георгий, когда мне было восемнадцать лет, я мечтал лишь о том, чтобы кончить университет и стать хорошим журналистом.

— Неправда, ты уже на первом курсе собирался удивить весь университет и думал, что первый же твой очерк будет напечатан во всех журналах мира!

Джаба улыбнулся:

— Разве это так плохо?

— Нет, почему же... Но мечте надо и делом под-

собить... Самое удивительное чудо на свете — это когда мысль, мелькнувшая в человеческом уме, бестелесная, неосязаемая мысль, одевается плотью, становится вещественной и занимает место в пространстве. Сколько у меня было в жизни желаний! — Георгий прищурил и без того узкие глаза. — Когда-то я мечтал даже стать дирижером!

— И я! — воскликнул Джаба.

— Похоже, что всякий, кто мечтает о дирижерском пульте, становится журналистом.

Редактор сел за стол и пододвинул к себе пачку свежих газет. Джаба поднялся.

— Напишите, пожалуйста, записку директору какого-нибудь театра, чтобы мне выдали костюм.

— Какой костюм?

— На маскарад не пускают без костюма, и я не хочу на правах корреспондента нарушить общее правило. Кроме того, если я буду в маскарадном костюме, то сойду за участника и меня не будут стесняться...

Георгий достал из ящика блокнот со штампом редакции.

— Напишу тебе записку в театр имени Марджанишвили. Заместитель директора — мой старый приятель.

Тут дверь кабинета приотворилась, и в щель просунула голову девушка-секретарь.

— К вам посетитель, батоно Георгий.

— Кто?

— Не знаю... Говорит, что условился с вами.

— Ну, если уж ты его не знаешь, Лиана... Проси.

В кабинет редактора вошел высокий, красивый человек. Он смущенно улыбнулся, положил большой, туго набитый портфель на пол, снял шляпу и протянул редактору руку.

— Вы... профессор Руруа... — запинаясь, проговорил Георгий.

— Именно... Это я звонил вам нынче утром.

— Очень приятно. Садитесь, пожалуйста.

Но профессор, прежде чем последовать приглашению, подошел к Джабе, поздоровался с ним за руку, потом поклонился Лиане, стоявшей в дверях кабинета. Лишь, после этого, положив шляпу на диван, он сел в кресло перед редакторским столом.

— Да, нынче утром, — почему-то повторил он.

Джаба встал. Лиана вышла, не закрыв за собой дверь: она была очень любопытна.

— Чем могу служить? — Редактор захлопнул дверь кабинета перед носом у Лианы и повернулся к гостю, потирая руки с любезной улыбкой.

— Как вам сказать... — усмехнулся профессор Руруа, прославленный в городе хирург, медицинское светило. — Вот, на старости лет бес попутал... — Он виновато посмотрел на Джабу. — Надеюсь, не станете надо мной смеяться...

— Ну, что вы, как можно! Мы вас слушаем... Так в чем же дело?

— Да, так вот... Я пишу стихи — зачем, сам не знаю... Это у нас, видимо, общее, грузинское... Уж если свихнемся... — Профессор усмехнулся снова, он героически боролся с чувством мучительной неловкости. — Словом, надеюсь, вы меня поймете... Когда на человека накатит... Если уж вы меня не поймете, то...

— Да, да, конечно...

— Гонорар меня совершенно не интересует. — Профессор наклонился, толстый портфель взлетел с ковра на стол, профессор раскрыл его, стал рыться внутри. — Прочитайте, ознакомьтесь и, если понравится...

— Напечатайте! — не выдержал Джаба потока неоконченных предложений.

— Вот-вот, именно это я и хотел сказать, — по-детски просиял профессор.

— С удовольствием. — Голос изменил редактору, прозвучал неуверенно, и он поспешно прокашлялся. — Правда, мы редко публикуем стихи, у нас ведь иллюстрированный журнал... Но тем не менее постараемся, сделаем все, что возможно... — Он протянул руку за стихами, но оказалось, что поторопился: прежде чем отдать редактору толстую тетрадь, профессор раскрыл и перелистал ее.

— Да... Вот это — о моем родном селе... Как давно я там не бывал, если б вы знали... Непростительно! Это — о моей матери, она рано умерла... Это — шутливые стихи, о врачах нашей больницы, мы как-то устраивали домашний, интимный вечер... Ну и

много еще всякой всячины. Вы сами увидите. — Он почему-то поднялся, вручил с торжественным и многозначительным видом тетрадь Георгию и тут же принялся оправдываться: — В общем, это тоже своего рода болезнь, сами знаете — одолеет человека, и кончено, нет от нее исцеления... Засядет в мозгу — не выбросишь и не иссечешь... Совсем как опухоль...

— Только опухоль бывает у одних злокачественной, а у других безвредной, — улыбнулся Георгий.

— Совершенно верно, — со смехом подхватил шутку профессор. — У меня она, без сомнения, злокачественная, мне спасения нет, я обречен.

— Тем более что о лечении, наверно, перед вами лучше не заикаться?

Оба смеялись от души.

— Исследуйте меня, — показал на тетрадь профессор. — Быть может, опухоль окажется в конце концов доброкачественной... Во всяком случае, хоть в добрых намерениях не сможете мне отказать.

— Да, кстати, батоно Михаил, — перестал смеяться Георгий, — недавно прошел слух, будто бы американские исследователи что-то нащупали...

— К сожалению, неправда. Такие слухи распространялись уже не раз.

— Меня очень интересует ваше мнение, батоно Михаил... Ведь сколько уже тайн раскрыто наукой, отчего же именно этот проклятый рак оказался таким крепким орешком?

— Черт побери, если бы я знал ответ на ваш вопрос... Быть может, известные нам сегодня биологические законы действительны лишь в пределах нашего земного мира, быть может, биологии нужен свой Эйнштейн, который откроет всеобщий закон жизни, объемлющий всю вселенную?

— Но болезнь-то эта истребляет жизнь на Земле, а не в космосе!

— Некоторые элементы, — сказал профессор, опершись обеими руками о стол, — были обнаружены сначала на звездах, а уже потом на Земле.

— И все же лучше бы искать здесь, — Георгий постучал пальцем по столу.— Болезнь ведь уводит людей отсюда туда,— тут он показал пальцем на потолок.

Профессор помолчал; улыбка тронула его губы и постепенно разлилась по всему его лицу.

— Прилетят — и поднимут нас на смех, — сказал он шепотом.

— О ком вы?

— О них, — Руруа, в свою очередь, поднял палец вверх, к потолку. — Или мы сами полетим к ним, и когда они познакомятся с нашей медициной...

Георгий пришел в хорошее настроение. Глаза у него заблестели.

— Вы думаете, батоно Михаил, что это случится скоро?

— Вполне вероятно... И тогда я постараюсь скрыть, что я врач.

— Ну, а если на звездах нет цивилизации?

— Невозможно, немыслимо! Так же, как невозможно представить себе, чтобы на Земле жил только один человек... Один-единственный человек, — повторил он задумчиво, поднял бровь и добавил с сожалением, как бы делясь с близкими, домашними людьми постигшим его большим горем: — Ах, какой человек умер у меня в клинике вчера... Какой человек!

В кабинете воцарилось молчание. Руруа пригладил рукой седеющие волосы, и Джаба с удивлением обнаружил, что перед ним стоит совсем другой человек — на лице профессора не было больше ни тени смущения. Казалось, задремавшая было ненадолго глубокая мысль снова выглянула из его светлых, серых глаз.

— Если бы мы сегодня не знали еще электричества, — продолжал рассуждать как бы про себя профессор, — люди не сумели бы догадаться, что поставленная вертикально на крыше дома простая железная палка, громоотвод, является защитой от молнии. И тогда в грозу сгорало и рушилось бы множество домов. Вот такая «простая палка», вероятно, могла бы исцелять рак, если бы... — Профессор умолк, задумался, потом прошептал еле слышно: — Замечательный был человек... — Он долго молчал, словно стоял над постелью тяжелобольного, потом вдруг очнулся, протянул руку Георгию: — Извините меня, я отнял у вас столько времени! До свидания. — Взял шляпу и портфель и быстро вышел из кабинета.

Джаба и Георгий глядели ему вслед с изумлением.

— Кто это был? — Лиана перехватила Джабу сразу за дверью, лицо у нее было озабоченное.

— Профессор Руруа.

— Что ему было нужно?

В приемную вошел заведующий отделом, пожилой, белобрысый человек с маленькими, блестящими глазками; казалось, он нарочно щурит веки, суживает разрез глаз, чтобы собрать всю входящую в них световую энергию в одну точку и лучше рассмотреть того, кто стоит перед ним.

— Джаба, явившись в редакцию, ты должен прежде всего зайти в отдел, в особенности, когда опаздываешь.

— Что-нибудь случилось?

— Заставляешь ждать посетителей.

— А кто там? Я был у редактора, батоно Ангия. Он сам меня вызвал.

— Ах, он сам тебя вызвал?

В отделе стояло четыре письменных стола. За двумя из них сидели литсотрудники. Один читал спортивную газету, другой, откинувшись на стуле и балансируя на двух ножках, старался сохранить равновесие, вцепившись обеими руками в край стола. Третий стол принадлежал Ангии, заведующему отделом. Перед четвертым стоял худощавый, среднего роста человек примерно сорока лет и смотрел сверху на пустой стул так, как если бы хозяин этого стула, Джаба, сидел перед ним и говорил ему интереснейшие, важные вещи.

Это и был посетитель, ожидавший Джабу. В редакции ему дали прозвище «Коньяк». Два года тому назад этот человек принес в редакцию очерк о коньячном заводе. Когда Джаба начал работать в журнале и получил вместе с другими материалами «на заключение» этот очерк, он проверил дату поступления материала и изумился: почему столько времени мучают несчастного автора, почему до сих пор не возвратили ему рукопись? Но когда Джаба познакомился с автором, он все понял. Надо было вовсе не иметь сердца, чтобы ошеломить этого человека отказом — так он волновался за судьбу своего детища, так лелеял каждую

его страницу, таким огромным литературным явлением представлялся ему этот некогда отданный им в верные руки и ныне надежно сохраняемый плод его творчества... И в редакции решили не печатать очерка, но и не отказывать окончательно злополучному автору. Этой смеси доброжелательной лжи и вынужденного милосердия оказалось достаточно, чтобы бедняга перестал отличать иллюзию от реальности. Время от времени он являлся в редакцию, — молча, на цыпочках входил в комнату, уверенный, что смиренная мольба о прощении и без того явственно написана на его лице...

Услышав скрип отворяемой двери, он оглянулся и увидел Джабу. Лицо его просветлело, он отступил в сторону, чтобы пропустить вошедшего на его место за столом.

— Видите ли, редколлегия до сих пор так ни разу и не собиралась... Но на будущей неделе заседание непременно состоится и... — Джаба выдвинул ящик, положил на стол рукопись. На заглавном листе было написано: «Торжество тбилисского коньячного завода».

— Я буду очень вам благодарен... Очень, очень благодарен, — «Коньяк» прижал к груди руку и отступил еще на шаг-другой.

— Дадим прочитать ваш очерк членам редколлегии, и, я думаю, все будет в порядке...

— Я буду очень, очень благодарен. — «Коньяк сразу оживился. — Вы знаете, сегодня пошел третий год с тех пор, как...

— Чем коньяк становится старей, тем он лучше! — воскликнул литсотрудник, балансировавший на стуле.

— Вахтанг! — нахмурясь, Джаба попытался смягчить его грубость. — Эту шутку мы уже слышали от тебя. Я думаю, автору она надоела.

— Разве?

— Вы тоже читали мой очерк? — обратился «Коньяк» к литсотруднику.

— Разумеется — и даже не один раз.

— Ну да, он ведь каждый день под мухой! — засмеялся второй литсотрудник.

«Коньяк» не обратил внимания на его слова. Он

вытащил из-за пазухи пачку исписанных листов и наклонился к Джабе.

— Что это такое? — спросил Джаба не без испуга.

— Ваш экземпляр успел истрепаться, — автор поднес свои губы чуть ли не к самому уху Джабы. — Я переписал наново... Неудобно перед членами редколлегии...

— Ах, вот как... Это вы разумно поступили. Тогда заберите назад старый экземпляр.

Трижды прозвонил звонок. Редактор вызывал Джабу.

— Всего хорошего, — сказал, поспешно встав, Джаба. — Заходите недели через две. Думаю, что...

— Может, лучше зайти через два месяца?

— Нет, почему же, я сказал, через две недели.

— Я приду через два месяца.

— Что ж, прекрасно. Через два месяца все будет совершенно ясно.

Джаба миновал быстрым шагом коридор, пробежал через приемную, не дав Лиане времени раскрыть рот, и вошел в кабинет редактора.

Георгий стоял перед своим письменным столом, недоуменно глядя сверху на выдвинутые ящики.

— Ты взял тетрадь? — крикнул он Джабе, как только тот появился в дверях.

— Какую тетрадь?

— Со стихами профессора.

— Нет, не брал.

— Не брал?

— Нет, батоно Георгий. Зачем бы я взял ее к себе?

— Нет, ты понимаешь? — в изумлении всплеснул руками редактор.

— В чем дело?

— Похоже, что он ее унес. Да что уж там — унес, и все. Нет, ты понимаешь? — Георгий был изумлен и, казалось, даже восхищен поступком профессора Руруа.

На улице было жарко. У подъезда стоял «Коньяк» — в одиночестве и в глубокой задумчивости. Джаба проскользнул мимо него и пошел быстрым шагом по тротуару. На углу Военной улицы рушили дом, по-

строенный в начале прошлого века. От дома оставалась только одна высокая, торчащая стена. На стену был накинут аркан — толстый стальной трос с петлей на конце, привязанный другим концом к бульдозеру. Бульдозер сотрясался, выл, рвался прочь, упираясь, как разобиженный пьянчужка, но стена не пускала его. Стальной трос врезался в нее, ломал, выгрызал ей бока — стена все утоньшалась, перетягивалась в талии и походила теперь на огромную восьмерку.

— Сторонитесь!

— Стой, говорю! Здесь хода нет, слышите?

— Ну-ка, отойдем подальше!

Милиционер поднял руку, и поток автомашин, поднимавшихся с Военной улицы, замер. Любопытные прохожие стояли с вытянутыми шеями, в застывших позах и глядели вверх. Огромная восьмерка переломилась посередине. Верхняя ее часть наклонилась, помедлила, словно выбирая, куда упасть, и рухнула. Цельной, нерушимой стеной, кирпич к кирпичу, такою же, какой простояла столетие с лишком, оставалась она последние свои секунды в воздухе и лишь внизу, на мостовой, распалась на части. «У-ух», — казалось, простонала она напоследок и испустила дух, который отлетел от нее облаком белой пыли. Мелкие обломки кирпича устлали асфальт толстым красным слоем.

Народ, собравшийся было вокруг, разошелся. Многие припустили бегом, спасаясь от пыли.

Джаба печально глядел на обнажившееся пространство, узким, длинным языком протянутое сверху вниз. Этот маленький кусок пространства свыше ста лет ждал возвращения отнятой у него людьми свободы, присущей ему пустоты. И сейчас он казался особенно светлым на фоне неба, словно радовался низвержению и уничтожению стискивавших его этажей.

Джаба любил старинные дома. Красивые, причудливые здания казались ему полными тайны, дразнили и притягивали его, вызывая в нем жажду познания. Подобно тому, как иногда всем телом ощущаешь чужой, настойчивый взгляд, заставляющий тебя обернуться, так и Джаба немедленно чувствовал близость прекрасного здания. Кто выходил на этот балкон, кто стоял в этом парадном десять, двадцать, сто лет тому

назад? Что творилось за этими окнами, какая судьба постигла людей, живших там? Дома помнят все, дома стоят и думают, они все видели, все замечали. А этот дом все успел забыть, он был дряхл и уже еле шамкал, потому его и решили разрушить, и все же Джабо было жаль его.

По вечерам, перед сном, одни и те же картины пробегали перед внутренним взором Джабы. Прекрасная молодая женщина в длинном, узком платье исчезает в темном подъезде. Джаба украдкой смотрит снизу на фасад дома; бледный мальчик появляется на низеньком балконе с железной решеткой и протягивает товарищу, стоящему внизу, на улице, какую-то книгу, которая вываливается у него из рук и падает на тротуар. Джаба не успевает прочесть заглавие книги. А вот еще картина — длинный балкон с деревянными резными перилами, а с перил свисает вниз головой бурая медвежья шкура. Картины эти мерещились Джабе только перед сном, иногда в этом порядке, а иногда — в другом. Он вспомнил, как непривычно забилось его сердце при виде прекрасной незнакомки, как ему хотелось узнать заглавие книги на тротуаре, так и оставшееся навеки ему неизвестным; вспомнил нарисованную его воображением схватку с медведем — выстрел, он отбрасывает разряженное ружье, взбешенный зверь с ревом обрушивается на него...

Джаба мог рассказать с некоторой полнотой лишь свою биографию, ему была известна во всех подробностях жизнь лишь одного человека на земле, а этого было ему слишком мало. Джаба любил дома, потому что они хранили мысли незнакомых людей, их думы, радости и печали; дома таили эти и без того скрытые мысли, еще более маскировали их и разжигали в Джабе жажду сближения со всеми этими людьми. Душа и разум Джабы были готовы к овладению всем бесконечно разнообразным богатством человеческих чувств и переживаний, все его существо бессознательно стремилось к тесному и плодотворному человеческому общению.

Пыль на улице тем временем улеглась. Рабочие выбирали обломки известки и кирпича из желобков

трамвайных рельсов и кидали их в кучи строительного мусора, высившиеся целыми горами среди развалин. Джаба осмотрел свои брюки, стряхнул рукой пыль с волос.

На спуске Элбакидзе он вдруг услышал, как его окликнули по имени. Грохот мчавшегося троллейбуса помешал ему сообразить, с какой стороны донесся голос. Джаба остановился, посмотрел по сторонам, бросил взгляд на окна соседних домов.

«Кто это? Зовет и прячется. Пойду своей дорогой — крикнет снова».

Он шел вниз по спуску, легко, осторожно ступая и напрягая слух, чтобы, услышав зов, сразу установить направление звука, но никто больше не окликал его. Он еще раз оглянулся через плечо и ускорил шаг.

Переходя по мосту через Куру, Джаба вспомнил редакторскую записку, всполошился — не потерялась ли она, обшарил карманы, вытащил листок, развернул его.

«Дорогой Элизбар! — прочел он. — Податель этой записки — сотрудник нашего журнала, молодой, талантливый писатель Джаба Алавидзе. Ему необходим на один вечер какой-нибудь театральный костюм. Прошу тебя устроить это дело. Что это ты совсем забросил наш журнал? С уважением Георгий Накашидзе».

«Писатель! Ну уж... Да еще талантливый!»

Джаба перешел через улицу и уже собирался войти в театр через служебный вход, как вдруг опять услышал свое имя. На этот раз, обернувшись, он сразу заметил среди толпы того, кто его окликнул. Молодой человек бежал по тротуару ровно и неторопливо, как стайер в начале дистанции. Лицо у него раскраснелось от бега. Он остановился, вскинул обе руки вверх в знак приветствия — улыбка, словно луч маяка, попеременно вспыхивала и гасла на его лице.

«Гурам! — сердце у Джабы учащенно забилось. — Гурам! Ух, и давно же мы не виделись!»

Друзья обнялись, неловко, крепко поцеловались. Они хлопали друг друга по спине и смеялись, словно вовсе не умели говорить. Могучее, животное чувство

радости сделало их похожими на первобытных людей. Оба хохотали, размахивали руками и не могли выговорить ни слова.

— Я тебя увидел из троллейбуса, но не смог выбраться... Чуть не от самого Земмеля бегу, люди смотрят и изумляются.

— А я-то не мог понять, кто меня зовет...

— Я нагнал тебя уже на мосту, но на этот раз не окликнул, хотел незаметно подкрасться... Ну, а когда ты свернул к театру, испугался, как бы тебя не упустить.

— Вот и спас меня — еще минута, и я ушел бы в актеры!

Каждое, самое обыкновенное слово звучало сейчас необычно, любая, самая незначительная шутка представлялась вершиной остроумия.

Взволнованный неожиданной радостью, стоял Джаба, не сводя глаз с товарища детских лет. Когда после долгой разлуки встречаешься с человеком, которого любишь, происходит что-то необъяснимое — словно вновь возникают в эфире незримые радиоволны, соединявшие некогда близкие, дружественные души, волны затухшие, ослабленные временем и расстоянием, и город, перерожденный присутствием возвратившегося друга, кажется наэлектризованным снова.

— А знаешь, я, видимо, почувствовал, что ты здесь, — все утро думал о тебе, — сказал с изумлением Джаба.

— Утром я торчал во Внуковском аэропорту.

«Явно я что-то чувствовал», — подумал Джаба.

Случилось что-то важное, что-то в корне переменилось. С этого дня все получит новый смысл. Оттого что Гурам здесь, в Тбилиси, совсем иное значение будут иметь каждое выступление Джабы в печати, каждое его слово, каждый поступок. Внезапно Джабе стало неловко, что он явился в театр за костюмом, и показалось чуть ли не постыдным, что он собирается пойти в этом костюме на бал-маскарад. Он не мог угадать, как отнесется ко всему этому Гурам.

— Окончил? — спросил он друга.

— Нет еще... Осталась дипломная работа. За этим я и приехал. Хочу снимать здесь.

— А потом?

— Там видно будет. Сейчас мне нужен хороший сценарий. Так, на две или три части. Ты случайно ничего не пишешь?

— Я? Ничего.

— Ну да, ты ведь, брат, журналист!

— Так уж и журналист!

— Все говорят. Какого-нибудь интересного материала не встречал? Надо мне просмотреть здешние материалы. Давно я не читал ни одного грузинского рассказа. Появились на горизонте какие-нибудь новые имена, молодые таланты?

— Есть кое-кто. Дам прочесть.

— Помогите мне, а то плохи мои дела. Времени у меня совсем мало. Куда ты сейчас идешь?

— В театр. Поручение из редакции....

— Долго задержишься? Если долго, то встретимся вечером.

— Вечером?

— Что, занят? Ну, тогда позвоню тебе завтра утром в редакцию.

— Ладно.

— А хочешь, я подожду.

— Нет, лучше ступай. Я, пожалуй, здесь задержусь.

— Я бы все-таки подождал, да только вот вспомнил — нужно ведь сразу явиться на киностудию.

— Я позоню вечером.

— Как тетя Нино?

— Ничего, по-прежнему. — Джаба вспомнил, что обещал матери зайти в райисполком.

— Живете все там же, в континентальном климате?

— Да. Только теперь наш чердак прозывается иначе.

— Как?

— Аккумулятором.

— Нет, по-старому лучше. Надо мне зайти к тете Нино. Здесь так все переменилось... улицы совсем другие, ни одна не напоминает о детстве. Кажется, и наш дом собираются сносить. Потом уже и юность не смогу вспомнить. А вы не собираетесь переселяться? Квартиру вам не дают?

— Тебе только улицы напоминают о детстве? —

Собственный голос показался Джабе незнакомым и непривычно печальным.

— И улицы! — поднял указательный палец Гурам. — Ну, я пошел. Смотри не пропадай по своему обыкновению.

— До свидания, — сказал Джаба. — С чего это у тебя седина в волосах?

— Не знаю... Должно быть, женщины... или книги.

— Наверно, женщины, — заключил Джаба. — От книг седеют иначе.

— Такси! Эй, такси! — вдруг закричал Гурам, сорвался с места, не оглядываясь, махнул Джабе рукой и побежал через улицу.

С упавшим сердцем направился Джаба снова к театру. Первоначальный восторг, вызванный встречей с другом, угас. Деловой тон Гурама («Мне нужен хороший сценарий»), рассчитанная по минутам беседа («Я должен зайти в киностудию») почему-то привели Джабу в дурное настроение. Ему показалось, что он сам ничего не представляет собой и неизвестно для чего существует на свете, а то, что он делает, не имеет никакого значения и никому не нужно. Быть может, общение с Гурамом поможет Джабе найти настоящий путь; мнение Гурама, его одобрение или неодобрение, подскажет Джабе, имеет ли какую-нибудь ценность то, что он делает, или Джаба только толчет воду в ступе. У Гурама есть чутье, он отвергает все ненужное, он может привести множество доводов, целые тома, порой в строгом логическом порядке, а порой и беспорядочно, но всегда убежденно, с энергией и огнем, и он докажет товарищу, что тот лишь бесцельно, без пользы слоняется по городу. Или же...

Заместитель директора театра надел очки, прочел записку и удовлетворенно улыбнулся. Это была улыбка примирения на лице несправедливо обиженного человека.

— Корит меня Георгий, почему я забросил ваш журнал. Но я дважды посылал ему рецензии на спектакли — и он ни одной не напечатал.

— Я напомню о них, — ничего иного не смог придумать Джаба.

— Напомните, пожалуйста. Вы ведь работаете в редакции?

— Да.

«Молодой писатель», «талантливый» — ничего этого даже не заметил. Вспомнил только о своих писаниях».

Заместитель директора потянулся к телефону.

— Пусть Никала зайдет ко мне! — сказал он в трубку, потом поднял взгляд на Джабу: — Зачем вам понадобился костюм, устраиваете вечер самодеятельности?

— Нет.

— Интересный журнал «Гантиади», — сказал заместитель директора. — Но театральную жизнь освещает недостаточно.

— Вы правы.

— Вот «Огонек» в каждом номере печатает рецензию на какой-нибудь спектакль. У кого только не берут отзывов — у рабочего, инженера, писателя и тем более...

— У заместителя директора! — сорвалось у Джабы.

Элизбар слегка покраснел:

— Я вижу, вам пальца в рот не клади...

— Ну, что вы, я ничего такого не имел в виду...

Скрипнула дверь, и в кабинете появился высокий, длиннорукий старик. Плечи у него были обвислые, сутулые, отчего, вероятно, и руки казались длинней. Старик остановился перед письменным столом и провел рукой по седой бороде, не глядя ни на хозяина кабинета, ни на посетителя. Глаза его были устремлены в одну точку, он думал о чем-то своем, как если бы приказание явиться в кабинет услышали и выполнили только его уши и ноги.

— Никала, этот молодой человек — из редакции. — Голос Элизбара звучал теперь суховато. — Ему нужен какой-нибудь костюм. Своди его на склад и дай выбрать что-нибудь из того, что осталось от старых спектаклей. Когда принесете назад? — обернулся он к Джабе.

Никала повернулся и вышел из кабинета так же безмолвно, как вошел.

— Ступайте с ним, он вам отпустит, — сказал заместитель директора.

— Большое спасибо. Я непременно напомню редактору о ваших рецензиях. До свидания!

Никала брел по коридору. Потом вдруг повернул назад, задев Джабу, и вышел на улицу. Джаба последовал за ним.

— Какой тебе нужен костюм? — спросил старик отрывисто и почти грубо.

— Все равно. Какой будет впору.

Старик обернулся, смерил Джабу взглядом с головы до ног и ускорил шаг, заторопился, так что Джаба даже немного отстал.

— А тот, что на тебе, чем плох? — услышал Джаба ворчливый голос.

— Поизносился немного, — попытался он отшутиться.

Никала помедлил с ответом.

— Там подходящего для тебя ничего нет, — сказал он наконец и еще раз оглядел Джабу.

«Старик не в духе».

Они обогнули здание театра и вступили во двор, вымощенный гранитными плитками.

— Приходят всякие сопляки, тому подавай костюм Уриеля Акосты... Неучи, невежды... Другая просит платье Маргариты Готье... Ты не обижайся... И непременно, чтобы из последнего действия... Гамлета им нужно... Хоть бы они знали толком, что это за Гамлет, кушанье, питье или человек.

— Я окончил Тбилисский университет. Я не неуч и не невежда.

— И чему же вас там учили — расхищать костюмы из театров?

Джаба обиделся:

— Многому научили. Например, что Гамлет тоже посещал университет — хоть и не в Тбилиси, а в Виттенберге.

Старик улыбнулся:

— Ты не обижайся, сынок... как тебя по имени?

Джаба махнул рукой — дескать, какое значение имеет мое имя? — но все же ответил.

— Ну, так ты не обижайся на мои слова... Ты, похоже, паренек с головой, образованный и поймешь меня. — Старик спустился по каменной лестнице под-

вального этажа, вставил ключ в замочную скважину; отпирая дверь, он смотрел на Джабу. — Приходят дети, несмышленые, требуют: дай то, дай это, иной раз и взрослые приходят, взрослые дети — есть и такие, не слыхал? Ну и жаль мне все это добро, душа болит. — Дверь со скрипом отворилась. — Входи, — сказал Никала и исчез внутри темного подвала.

Джаба протянул руку перед собой, как слепец, и неуверенно ступил вперед. Но тут яркий электрический свет залил просторное, высокое помещение склада. И сразу же сияние алого атласа ослепило Джабу. Прямо перед ним висела пышная, богато расшитая мантия венецианского дожа. За ним выстроились в ряд сенаторы. Выше, между стенами были протянуты выкрашенные в черный цвет трубы. На трубах болтались, как удавленники, шелковые герцоги с белыми, высокими гофрированными воротниками, затянутые в камзолы из черного и зеленого бархата благородные кавалеры и гидальго, графы и маркизы. Ветерок, повеявший в открытую дверь, тронул плащ дожа — плащ зашевелился, зашуршал, следом за ним зашевелились, зашуршали сенаторы, точно покорно соглашаясь с мнением старейшины. Ожило, зашепталось алое атласное прошлое.

Из-под черных рейтуз высунулась голова Никалы:

— Входи, входи смелей!

Джаба шагнул навстречу старику.

— Ну, как не станет жалко, а? — Никала обвел рукой костюмерную. — Ведь я их помню, всех — каждое движение и каждое слово. Помню до сих пор, держу в памяти. Двадцать три года сидел в суфлерской будке, невидимый из зала, и подсказывал. Двадцать три сезона...

— Так долго?

— Начинал я еще при Марджанишвили... А в прошлом году мне говорят: выходи наверх, покажись людям, подыши свежим воздухом. Вытащили из суфлерской будки. Голос мне изменил. Ведь для шепота нужно гораздо больше силы, чем для крика!.. Всех помню, кто только просовывал шею в эти воротники. Сколько раз мороз пробирал меня по коже и даже слезы капали из глаз. Эх, сколько раз мне мерещилось,

что все это: любовь, поединки, смерть — происходит передо мной взаправду, на самом деле... Эх! А тут дыши свежим воздухом. Должно быть, уж теперь настоящая, всамделишная смерть не за горами.

Старик предложил Джабе стул.

— Я говорю: ведь это же музей! А они смеются, то одному выдадут костюм, то другому... Ну, какой тебе костюм, выбирай!

— Я завтра же верну костюм в целости и сохранности.

— Все так говорят.

— А я не просто говорю, я в самом деле верну.

Джаба запрокинул голову и обвел взглядом ряд цветных плащей и камзолов.

— Можно примерить?

— Ну, стоит ли тратить время? Прикинь на глаз и забирай. На вот, держи! — он протянул Джабе длинную железную палку с крючком на конце. — Будешь снимать с вешалки вот этим.

Джаба прошелся до середины ряда. Его внимание привлек шитый золотом мундир военного. Он взялся за нижний край, повернул мундир боком, чтобы стала видна ширина плеч.

— Это Отелло, второе действие. На тебя не полезет, — услышал он голос старика.

— Напротив, с виду даже слишком велик.

— Ну да, это я и говорю...

Джаба улыбнулся. Разве что прославленный венецианский полководец явится собственной персоной — больше, по-видимому, старик никому не даст в руки одеяния Отелло! «Звания выше солдата я от него не дождусь», — подумал Джаба и развеселился. Ему захотелось поболтать.

— Вы правы — мне ли рядиться в одежды знаменитого мавра! На войне я не был, врагов не побеждал... И никого еще не любил. Вот, правда, ревнив я немного.

— Отелло вовсе не был ревнивцем, он был простодушный человек. Будь он ревнив и подозрителен, сладчавая преданность Яго непременно насторожила бы его, — старик вынул из кармана коробку с сигаре-

тами. — Здесь курить нельзя, — как бы напомнил он самому себе и направился к двери.

— Какие тут спектакли? — крикнул ему вдогонку Джаба.

— «Отелло», там подальше — «Гамлет», «Ромео», а вон в самом углу и «Овечий источник». — Никала опустил руку и стал подниматься по лестнице. Сначала исчезла его седая голова, потом сутулые плечи и наконец сбитые каблуки высоких ботинок с резинками.

«Ну вот, я остался один», — почему-то обрадовался Джаба. Он понял, что присутствие старика стесняло его, как бы затуманивало ему взор и сковывало его мысли. Оставшись в одиночестве, Джаба совсем другими глазами взирал на весь этот неподвижный, распавшийся на осколки калейдоскоп. Здесь в каждом куске ткани, в каждой краске и каждой линии был словно зашифрован мир бурных страстей и кипящей мысли. А ключ для разгадки шифра унесли с собой прежние актеры.

Джаба вспомнил, с каким многозначительным смешком старик сказал, что костюм мавра ему не подойдет. Это придало совсем иное направление его мыслям — и бал-маскарад, на который он собирался этим вечером, предстал перед ним совсем в ином свете. Не в маске он должен явиться туда — так теперь думалось ему, — не скрыть свою личность и выдать себя за другого человека, а, напротив, выбрать костюм, в точности соответствующий его сущности, костюм героя, который походил бы на него не только характером и мыслями, но даже внешностью и возрастом. Старый суфлер как бы запретил Джабе тянуться к высотам, которых он не был достоин. И Джабе на мгновение представилось, что он стоит сейчас на распутье и должен выбрать жизненную дорогу, выбрать раз и навсегда, чтобы потом уже не сходить с нее. Благодаря удивительной способности, присущей человеческому мозгу, он вместил в одну беглую, мимолетную мысль сотни воспоминаний, множество хороших или дурных поступков, совершенных им с детства и до нынешнего дня, тысячи упреков, когда-либо обращенных им к самому себе. И наконец перед его внутренним взором встала сегодняшняя встреча с Гурамом — каким бес-

помощным, никчемным, ничтожным почувствовал он себя по сравнению со старым другом! Вспомнились слова редактора о коварстве времени и о славе, которая не приходит сама собой. И Джаба стоял перед костюмами, как богатырь из сказки на перепутье: каждый путь манил его, каждый был соблазнителен, и каждый обещал гибель в конце. Это было ведомо сказочному богатырю, но Джаба знал гораздо больше...

Еще раз окинул он взглядом военное одеяние мавра и махнул рукой.

«Нет, какой уж из меня Отелло».

Он прошелся вдоль другой стены гардеробной. Здесь, словно нарочно подобранные один к другому, висели в ряд темные костюмы.

«Это, кажется, «Гамлет»... Что, если надеть костюм Гамлета? Вдруг мне тогда явится тень моего отца? — Отцовское лицо встало перед ним — неясное, туманное, как на плохо сфокусированном фотоснимке. — Явится и расскажет, как его убили...»

Джаба засмеялся вполголоса, чтобы стряхнуть странное чувство. Он быстро прошел по узкому проходу между двумя рядами пестрых театральных костюмов. Дневной свет не проникал сюда, а электрическая лампочка была чем-то загорожена. Джаба подцепил и снял железной палкой один из костюмов; повертел его перед глазами, потом обеими руками приложил к себе, прикинул. Бархатный красно-коричневый камзол был обхвачен поясом, на котором болталась короткая шпага.

«Возьму этот».

Джаба пошел к лестнице. Никала стоял в дверях, смотрел на двор и докуривал долгими затяжками зажатую между пальцев сигарету.

— Батоно Нико!

Старик спустился по ступенькам.

— Я выбрал.

Джаба поднял вверх костюм, расправил его, показывая Никале.

— Бери, — не сразу ответил Никала, прошел мимо Джабы и исчез среди белых туник. Просторное помещение внезапно погрузилось во мрак.

Когда Никала запер дверь склада и оба они с Джабой вышли во двор, старик еще раз посмотрел на костюм, заложил за спину длинные руки и зашагал по направлению к воротам. Джаба шел за ним со сложенным камзолом под мышкой.

— Зачем это тебе, пьесу собираетесь ставить? — спросил Никала.

— Нет, сегодня студенческий бал-маскарад и...

«Жалеет, что выдал».

— Студенческий? — Старик остановился. — Ты же сказал, что окончил университет.

— Я буду там гостем.

— Ну-ка, дай сюда, — старик пошарил рукой по костюму, нащупал карман и вытащил узкий кусок черной ткани, обшитый кружевом, — маску. — Ну вот, оказалась на месте. Это тоже тебе пригодится.

Он протянул маску Джабе и, снова заложив руки за спину, зашагал дальше по двору.

— Выбрал со смыслом, — усмехнулся он.

— Почему?

— Меркуцио ведь тоже идет в первом действии на бал-маскарад.

— Это костюм Меркуцио?

— Ну да, — сказал старик, вышел в ворота и свернул по улице направо. — Ну-ка, помню ли я еще? «Средь масок — маска! Что ж, коли осудят? Пусть за меня краснеют брови маски!» Смотри, потеряешь шпагу, убью! — внезапно рассердился он.

— Не тревожьтесь, дядя Нико... Я очень, очень вам благодарен.

— Ну, до свидания.

Никала остановился и заключил руку Джабы в свою широкую ладонь. Потом взглянул ему в лицо. В первый раз встретил Джаба его взгляд и вдруг почувствовал, что старик любит его, любит неизвестно почему — только до сих пор не хотел этого показывать, а теперь нечаянно выдал себя.

— До свидания, дядя Никала. Большое вам спасибо. — И Джаба ткнул пальцем в камзол, словно кончиком шпаги: — А о костюме не тревожьтесь, верну в сохранности.

Джаба стоял и смотрел вслед удалявшемуся ста-

рику. Никала шел медленно, так медленно, что не уменьшался по мере удаления, казался все время одинаковой величины, как солнце или луна в небе.

Джаба подцепил пальцем вешалку плаща и метнул его, как лассо, за решетку раздевалки. Старик гардеробщик со сморщенным лицом взял плащ и сунул Джабе в руку заранее снятый с крючка номерок.

Джаба остановился перед зеркалом и окинул себя неодобрительным взглядом: коричневый бархатный камзол, черные рейтузы, короткая шпага... Потом быстро посмотрел по сторонам — вдруг почудилось, что кто-то наблюдает за ним и тихо посмеивается над его нарядом.

В блестящих ступенях широкой беломраморной лестницы, как в зеракале, отражались цветные шары, развешанные по стенам. Воздух, нагретый жаром молодых тел, струями поднимался к потолку, легкие воздушные шары раскачивались и плясали в его струях. А внизу, в зеркале белого мрамора, пляска эта была еще явственней и отчетливей, так как среди переливающихся цветовых пятен то и дело застенчиво мелькали стройные девичьи ноги и уверенно двигались, сопровождая их, как тень, сильные юношеские икры. В пестром мире лестниц, коридоров и стен, подобно ожившим кистям живописца, ищущим каждая свою краску, роилась неугомонная молодая толпа.

Джаба степенно шагал по коридору, как дежурный педагог во время большой перемены; он внимательно всматривался во все окружающее, хотя и ничем наружно не выдавал своего любопытства. Ему хотелось понять, почувствовать, что же это такое — маскарад, угадать, какое он имел значение в старину.

«Интересно, есть ли здесь мои знакомые? Хотя как тут узнать кого-нибудь?»

Он потянулся за собственной маской и убедился, что она осталась в кармане плаща, в гардеробе. Он смутился, закрыл лицо рукой и долго не спускал ее — ему казалось, что человек с открытым лицом должен выглядеть здесь также странно, как прохожий в маске на улице. Настроение у него упало. Вдруг показалось

смешным это его настойчивое желание появиться на вечере непременно в маскарадном костюме.

«Обойду залы, загляну в каждый угол, сделаю снимки и уберусь отсюда».

Крутая, убранная пестрыми бумажными цветами лестница, увела его на третий этаж. Нагнув голову, поднимался он по узким ступеням. На небольшой площадке между этажами, где разбежавшаяся лестница как бы останавливалась для передышки, стояла девушка с белокурыми локонами, в пышной тирольской юбке и бархатном корсаже. На шее у нее висела на розовой ленточке корзинка с цветами. Придерживая корзинку рукой, девушка протягивала с лучезарной улыбкой каждому, кто проходил мимо, цветок. Джаба поднял аппарат к глазам и снял ее на ходу, не задерживаясь, без всякой подготовки, — словно моргнул. Он уже перешел к следующему маршу лестницы, но девушка удержала его и достала из корзинки голубой цветок.

— Благодарю, — сказал ей с поклоном Джаба.

— Это не потому, что вы меня сфотографировали, — зарделась девушка.

— Еще раз — большое спасибо.

Но Джабе и на этот раз не удалось уйти; что-то остановило его, заставило оглянуться. Из-под легкой ткани были устремлены на него два голубых луча девичьих глаз. Девушка была в черной маске, но взгляд был открытый, прямой, не желавший маскироваться. Видимо, девушка не опасалась, что ее могут узнать. Джаба удивился — почему он не заметил девушки до сих пор, если она стояла на площадке? — и ответил на ее взгляд настойчивым пристальным взглядом.

«Кто это?» Он почувствовал, что девушка улыбается ему из-под маски. Потом смелый взгляд ее постепенно погас, она отвела глаза. Снизу поднялись другие девушки, окружили черную маску и увлекли ее за собой наверх.

— Здравствуй, Джаба, — бросила на ходу девушка в черной маске. Она прошла так близко, что Джаба ощутил на лице повеявшее от нее легкое дуновение. От этого голоса, робкого и чуть даже — непредна-

меренно — стонущего, сердце как бы взорвалось в нем и рассыпалось по всему его существу тысячью осколками.

В изумлении стоял он, провожая девушку взглядом. Она была среднего роста, из-под легкой ткани, окутывавшей ее голову, виднелись каштановые пряди. Длинное, до пят, черное платье скрывало ее фигуру. Подруги что-то шепнули ей и украдкой бросили взгляд на Джабу: «Кто это?»

Девушки скрылись из глаз. Джаба взлетел следом за ними на третий этаж. Широкий, ярко освещенный коридор был полон молодежи.

Девушки в черной маске нигде не было видно.

«Вот он, маскарад!»

По одной стороне коридора тянулись двери немых, темных аудиторий. Лишь одна из них была в этот вечер открыта и ярко освещена — там находился буфет, где продавали фруктовые воды и сласти. В другой стене коридора были прорезаны широкие окна, выходившие в двусветный клубный зал, освобожденный для танцев. У окон толпились маски и смотрели сверху, чуть ли не из-под самого потолка, на танцующие пары, скользившие по натертому до блеска паркету. Откуда-то из дальнего угла доносились звуки джазовой музыки, самого же окрестра Джабе не было видно.

«Сниму отсюда — превосходный кадр!» — подумал Джаба и с аппаратом в руках высунулся из окна. Посередине зала кружилась в вальсе единственная пара — все остальные танцоры, выстроившись вдоль стен, смотрели на нее. Был объявлен конкурс и назначен специальный приз за лучшее исполнение вальса.

«Эти двое, наверно, и будут победителями. — Джаба щелкнул затвором фотоаппарата. — Красивее танцевать невозможно!»

Невидимый оркестр играл без перерыва, но до внутреннего слуха Джабы звуки музыки доносились лишь временами — в те минуты, когда нить его размышлений прерывалась, и мозг, прежде чем отдаться течению новой мысли, на мгновение освобождался и воспринимал окружающее; впрочем, мысль его постоянно возвращалась к одному и тому же предмету —

черной маске, мелькнувшей на лестнице и исчезнувшей.

Сухощавая девушка с тоненькими руками остановилась перед Джабой и, не попросив разрешения, приколола к его камзолу четырехугольный кусочек картона.

— Что это такое? — поднял брови Джаба.

— Ваш адрес! Без него вы не можете получить ни одной записки. — Девушка проговорила это с чрезвычайно серьезным видом, был в ее тоне даже оттенок упрека, точно она выговаривала Джабе за очень важное упущение.

Джаба посмотрел на свою грудь. На кусочке картона был выведен номер — 232. Таков был его «адрес». Лишь теперь заметил он, что у большинства присутствующих были приколоты к одежде точно такие же карточки с номерами.

У девушки-почтальона висел на груди «почтовый ящик» — коробка из голубого картона в форме сердца. «От картонного сердца к живым сердцам»... Роскошный заголовок!

— Спасибо, — сказал Джаба девушке. — А я-то удивлялся, почему не получаю писем!

Девушка рассмеялась, кивнула ему и отошла. Но ее тут же остановил юноша, одетый «невидимкой» из романа Уэллса, с лицом, целиком обвязанным бинтами и в темно-синих очках. Юноша опустил в коробку девушки-почтальона сложенную бумажку. Девушка тут же открыла коробку, посмотрела на номер, надписанный на записке, и пошла по коридору, разыскивая адресата. Человек-невидимка прошел медленным, гуляющим шагом мимо Джабы. В выпуклых зеркальных стеклах его синих очков лениво двигались крохотные отражения юношей и девушек в масках — за оправой очков они внезапно вновь увеличивались, точно выпрыгивали из стекол в коридор.

Джаба поленился спуститься на второй этаж, чтобы войти в зал; вместо этого он пробился к одному из окон и снова посмотрел сверху. Танцы уже окончились, хотя оркестр продолжал играть. На клубной сцене вручали награду паре, одержавшей победу. Раздались аплодисменты. Высокий, худой юноша соскочил с

эстрады и помог сойти девушке в белом платье.

— Вот и вышло, как я сказал! — вырвалось громко у Джабы, но никто не обратил внимания на его слова.

На авансцене поставили микрофон. Оркестр переменил мелодию. Хорошенькая девушка с глубоким вырезом на груди и стройными ногами, похожими на два восклицательных знака, опустила микрофон до уровня своих губ и запела. Ей стал подтягивать молодой человек в красном галстуке, с волосами, блестящими от бриолина. Он гнулся в коленях и переламывался в талии, наклоняясь к самому микрофону, чтобы слабый голос его не затерялся в зале. На нем была шелковая рубаха навыпуск, вся в цветных картинках, сюжеты которых Джаба издали не мог разобрать. Певица и певец, высмеивая увлечение всем заграничным, пародировали вопли и хриплые выкрики модных исполнителей западных песенок. «...И поют вот так», — заканчивали они подготовительный куплет, после чего сразу переходили на какую-нибудь из новейших, распространенных зарубежных мелодий. Но эту песенку, исполнявшуюся будто бы в качестве пародии на заграничные эстрадные, джазовые звезды, они исполняли мастерски и с увлечением. «Вот какие хитрюги!» — подумал Джаба.

— Эти выбрали себе самую лучшую личину, — сказал он громко. — Я присудил бы им первый приз на маскараде.

— Поддерживаю! — звонко рассмеялась рядом какая-то девушка, одетая цыганкой, и взглянула на Джабу. — Делают вид, будто высмеивают, а на самом деле...

Девушка оборвала фразу. Два ясных голубых зрачка, выглядывавшие из прорезей маски, застыли, как на картине. Потом картина переменилась — зрачки исчезли за решеткой длинных, изогнутых ресниц и появились снова, став гораздо шире и наполнившись блеском. Из рук у Джабы выпало что-то; он посмотрел вниз — на коленях у девушки голубел цветок, полученный им от «тирольской цветочницы» на лестнице. Джаба совсем забыл, что держал его в руке. «Цыганка» подхватила цветок и протянула ему.

— Оставьте себе, прошу вас! — сказал Джаба и с изящной непринужденностью настоящего гранда склонил голову в знак благоволения.

«Цыганка» не проронила ни слова. Она опустила голову, медленно поднесла цветок к груди, долго смотрела на него — словно собиралась гадать... Потом встала и отошла от окна. «Безвкусно вырядилась», — подумал Джаба, отвернулся и мгновенно забыл всю эту мимолетную встречу.

И опять всплыла в его памяти девушка в черной маске. Вновь прозвенел в ушах ее голос, и по-прежнему взорвалось сердце в груди. И Джабе почудилось вдруг, что он ищет черную маску с незапамятных времен — мудрено ли было забыть о ней за все эти века?

Он стал спускаться по опустевшей лестнице. Не было больше на площадке девушки-цветочницы с корзинкой на розовой ленточке. В четырехугольный колодец лестницы втекали со всех сторон, подобно подземным ручьям, разнообразные шумы — здесь собирались и перемешивались мелодический девичий смех, громкий говор гуляющих по коридорам, гул оркестра — самые высокие и самые низкие, басовые звуки; средние регистры поглощались где-то по дороге и не достигали лестницы.

Добраться до дверей танцевального зала оказалось не так просто; стены длинных коридоров второго этажа были как бы покрыты изображениями веселящихся людей в костюмах разных эпох. Римские легионеры дымили сигаретами, легким, изящным щелчком стряхивая с них пепел; они походили на актеров, болтающих в антракте за кулисами. Беззаботно беседовали мушкетеры, то и дело поглядывая на проходящих мимо девушек. Из-под широких плащей подчеркнуто выпячивались кончики их длинных шпаг.

Тощий юнец с испуганным лицом, завернутый в «барсовую шкуру», сшитую из кусочков черной и белой ткани, помахивая плеткой, шествовал под руку со своей Нестан-Дареджан. Голова его моталась по сторонам, как маятник, — должно быть, очень уж ему было не по себе в присвоенной им роли Тариэля.

Джаба стоял у лестницы и старался незаметно запечатлеть на пленке все, заслуживающее внимания.

«Хоть бы поскорее вручили приз за самый лучший костюм — сниму и уйду».

Но Джаба тут же отве́рг свое решение: никуда он не уйдет отсюда, пока не разыщет девушку в черной маске.

Космонавт в скафандре, подхватив под руку Икара с хрупкими крыльями, что-то нашептывал ему на ухо. Возможно, благодарил его за удачную идею. Джаба взвел затвор фотоаппарата.

— Тина!

— Кто это? Неужели Тенго?

— Он самый.

— Как ты меня узнал?

— Не обижайся, Тина, но... Тебя выдали твои ноги.

— Бессовестный! Посмотрим, какие будут ноги у твоей жены.

— В точности такие, как у тебя... Если только ты пожелаешь.

— Ух, как долго я вас искала! — Девушка-почтальон с мягкой настойчивостью повернула к себе Джабу.— Получайте свои письма.

Джаба глянул на конверты. «232-му», — было написано карандашом на каждом из них.

— Подождать ответа? — Девушка явно придавала большое значение своей деятельности.

— Не надо.

В первой записке было написано: «Пожалуйста, сфотографируйте вашу шпагу и подарите мне снимок на память».

Во второй стояло: «Можете надеть маску — все уже пленились вашей красотой».

«Поддразнивают!»

— Здравствуйте, Джаба!

Радостно ошеломленный, Джаба быстро обернулся. Перед ним стояла та самая девушка в черной маске. На этот раз она была одна, без подруг.

— Откуда вы знаете мое имя? — Джаба не узнал своего голоса.

— Я о вас все знаю. — Электрический свет прони-

кал под вуаль, влажные губы девушки тускло поблескивали.

«Наверно, кто-нибудь из близких знакомых». Джаба безотчетным движением придвинулся вплотную к лицу девушки. Та вдруг звонко рассмеялась,— казалось, на ней лопнуло жемчужное ожерелье и зерна раскатились по каменному полу. Она поднесла к горлу длинные пальцы, словно схватилась за оборванные концы, чтобы рассыпалось как можно меньше жемчужин.

— Не старайтесь меня узнать — все равно не сумеете... Хотя... — Она замолчала, для большей безопасности повернулась так, чтобы на лицо ее падала тень, отбрасываемая Джабой, и продолжала: — Хотя мы еще сегодня встретились на улице.

— Где? Когда?

— Встретились... — повторила девушка.

Джабе показалось вдруг, что все смотрят на них, все прислушиваются, заинтересованные этой необычной беседой, спешат к ним со всех сторон, чтобы не пропустить ни одного слова, ни одного жеста.

— Войдемте в зал, — предложил Джаба.

— Я хочу уйти... Прово́дите меня до выхода?

— Разумеется! — Джаба помолчал. — Но если я вас так и не узнаю, покажете мне свое лицо?

— Нет, нет... Зачем? Я вовсе не подошла бы к вам, если... Ведь мы на маскараде!

— Вы — да, а я — нет, — улыбнулся Джаба, показав на свое открытое лицо. — Кроме того, выйдя на улицу, мы ведь покончим с маскарадом!

Они стояли близко от оркестра. Музыка мешала Джабе, впервые в жизни музыка раздражала его — потому что диссонировала с его мыслями и настроением. Казалось, он прислушивается к какой-то своей внутренней музыке, нащупал лишь самое начало; и в эту минуту он жаждал мертвой тишины, молчания, чтобы он мог отдаться мелодии собственной песни и, быть может, заодно угадать, что слышит девушка.

Рассеянным, безотчетным движением Джаба взял черную маску под руку. Девушка задрожала. Джаба быстро отдернул руку. Так мог бы он притвориться глухим, из жалости сделать вид, что не слышал сорвавше-

гося с уст собеседника слова, в котором тот выдал сокровенную свою тайну.

Джабе чудилось, что со всех сторон на них устремлены из-под масок тысячи глаз — словно нарочно слетелись века, словно намеренно собралось множество людей из всех эпох до и после нашей эры, чтобы увидеть, как сегодня рождается любовь.

— Хоть имя свое назовите! — сказал Джаба.

— Не надо, нет смысла, Джаба... — Девушка запнулась, голос у нее задрожал. — Я всегда о вас думаю, всегда... Это непростительно. И поэтому вы никогда не узнаете, кто я.

— Ничего не понимаю...

— Я мечтала поговорить с вами хоть раз... Быть вот так рядом, близко от вас... До свидания, — она протянула Джабе руку.

— Вы просили меня проводить вас...

— Но ничего не обещала: ни сказать имя, ни открыть лицо...

— Хорошо, я ничего и не прошу. Но могу я знать, зачем вы прячете от меня лицо, если мы каждый день встречаемся на улице?

— Это я встречаю вас, а вы меня — нет.

— Что, понятно, не одно и то же. Но вы, оказывается, все знаете обо мне, я же о вас ничего не знаю... Только слышал ваш голос. Это неравная игра.

— Я не играю, Джаба.

Где, когда он слышал этот голос, эти слова: «Я не играю, Джаба...», «Я больше не играю...»?

Как будто с незапамятных времен было непреложно определено, что Джаба должен явиться на маскарад и встретить девушку, которая так прямо и смело объяснится ему в любви.

«Нет, не то... Почему я не охвачен волнением, не утратил способность соображать? Я совершенно спокоен. Может, оттого, что не вижу лица? Ведь как много могут сказать глаза, как по-разному может изгибаться простая линия губ, сколько чувства и страсти может выразить этот изгиб! И даже больше того — если не видишь губ и глаз одновременно, ничего нельзя понять, ничего нельзя знать о человеке: какие у него мысли? что он чувствует?»

Они уже были внизу, у главного выхода. Девушка подобрала длинную юбку маскарадного платья под легкое, коротенькое пальто и придерживала полы обеими руками, чтобы юбка не вывалилась. Не снимая маски, глядела она через стеклянную дверь на улицу. Изнутри глухо доносились музыка и говор. Здесь, у выхода, шум улицы заглушал неясный гул маскарада.

— Пожалуйста, остановите какую-нибудь машину... Я не могу выйти так на улицу, — она показала на свою маску.

— Так снимите ее, — сказал Джаба невинно, как бы подсказывая девушке то, что ей самой не пришло в голову.

— Тогда останьтесь здесь, а я выйду одна.

«Я должен убедиться — игра это, простое озорство или... или все это всерьез?»

— Неужели вы в самом деле думаете, что я не сумею узнать, кто вы и как ваше имя?..

— Так нужно.

«Если «нужно», то это еще ничего».

— Вы, верно, прочли какую-нибудь книжку... Собственно, дурного в этом ничего нет... Книжку, которая вам очень понравилась. И вам, должно быть, кажется, что сегодня, как в старину, чтобы добраться из города до какого-нибудь горного замка, нужны недели и месяцы, что девушки живут в высоких башнях, башни стерегут воины с копьями... Это немножко смешно, хотя такая игра вам очень к лицу...

— Джаба, я знала, что вы будете сегодня на маскараде... И я так хотела хоть раз в жизни поговорить с вами.

— А во второй раз не хотите?

— Нет... — Девушка запнулась. — Может быть, я позвоню вам по телефону... Когда-нибудь, через год или два...

— Ого! — воскликнул Джаба. — Вот это масштабы!

— Вы... вы смеетесь надо мной.

Джабу тронул ее голос — в нем слышались слезы.

— Клянусь, чем угодно, мне и в голову не приходило насмехаться. Конечно, мне хочется знать, кто вы, — ведь это так естественно. У вас красивый голос, и вы так смело со мной заговорили. Вы даже не пытались

скрыть, что я вам... нравлюсь... или что там еще, не знаю, как назвать... Простите, что я так говорю, но я хочу быть откровенным до конца... Мне именно так показалось. Что же удивительного, если я решил не отставать от вас, пока всего не узнаю? Если вы хотели просто подшутить надо мной — тогда другое дело, так и скажите, и расстанемся на этом, но какой в этом смысл, зачем вам было дурачить меня?

— Джаба, ну представьте себе... — Голос девушки зазвучал вдруг так убежденно, точно она только что открыла большую, важную истину. — Ну, подумайте, Джаба, если бы на мне не было маски и я вела себя с вами вот так, как сегодня, ведь вы никогда, ни за что...

— Ну, дальше?

— Ведь вы ни за что... Какой бы я ни была красивой и замечательной... Ведь я ни за что тогда не могла бы...

— Понравиться мне?

— Вот, машина... Остановите ее, пожалуйста, остановите, прошу вас...

Джаба пересек широкий тротуар, соскочил на мостовую. Но водитель отмахнулся и проехал мимо.

Джаба вернулся к девушке.

«Нет, право, она просто потешается надо мной! Слава богу, я еще не сболтнул ничего такого, чтобы она могла рассказать подругам и вдоволь повеселиться на мой счет».

Девушка стояла перед подъездом.

— Оставайтесь, Джаба. Я поеду на автобусе.

— Как вам угодно. — Ответ был подсказан уязвленным самолюбием, внезапно вспыхнувшим ребяческим мстительным чувством. Джаба протянул девушке руку: — Прощайте.

Девушка окаменела. Из-под черной маски глядели на Джабу испуганные, наверно, расширенные глаза.

— Вы... останетесь? — Она с трудом проглотила слюну.

— Да. Прощайте! — Джаба направился назад, к подъезду. — Мне надо здесь поснимать еще немного, — он вытащил из кармана плаща фотоаппарат и вновь засунул его в карман.

— Вы обиделись!

— Не на что. Каждая девушка имеет право считать

себя писаной красавицей, в особенности ночью, в темноте, — Джаба сам удивился своей грубости.

«Видно, все еще надеюсь — оттого и не щажу ее. «Попытайся разоружить ее таким способом», — продиктовал мне мудрый инстинкт».

— Мне казалось, Джаба...

— Мне тоже всякое казалось...

— Прости меня... Я, конечно, дурочка, да, наверно, настоящая дурочка... Но мне так хотелось, так хотелось...

— Подурачить меня?

— Услышать твой голос... Могло же быть у меня такое желание... Теперь я понимаю, что вела себя очень глупо. Бог знает, что ты обо мне мог подумать...

— И думаю сейчас. Прощайте.

Круто повернувшись, Джаба пошел к дверям.

— Джаба!

Голос сковал его, размягчил каждый мускул его тела.

Из высоких, тяжелых дверей высыпала со смехом и шутками молодежь.

— Кончился маскарад! Маски долой!

Двое молодых людей, юноша и девушка, одновременно открыли лица.

— О, Мзиури!

— Мераб!

Двое других, сняв маски, посмотрели друг на друга, после чего юноша отступил на шаг и с поклоном протянул руку:

— Шота.

— Натела, — улыбнулась девушка.

— А сказала — Пелагея!

Громко разговаривая, молодые люди пошли по улице.

«Сдерну с нее маску!»

Мысль эта вызвала в Джабе необычайное волнение. Он вернулся к спутнице и проговорил с преувеличенной, иронической учтивостью:

— Слушаю вас!

— Не надо обижаться, Джаба! — с трудом выговорила черная маска; тревога и волнение слышались в ее голосе. — Это наша последняя встреча!

— Я ни с кем не встречался и не знаю, на кого и за что я мог бы обидеться. — Джаба не узнавал сам себя.

«Сдерну!»

Он посмотрел вдоль улицы. Бросил искоса взгляд через застекленную дверь на широкую лестницу института. «Разыгрывает меня. Знает меня и хочет поднять на смех. Раззвонит по всему городу».

— Такси, Джаба, вон идет такси! — девушка побежала, забыв о своей маске, не заботясь о том, что может вызвать изумление прохожих.

Такси замедлило ход, но водитель не остановил машины — осоловело глядел он на девушку с черной шелковой маской на лице.

— Еду в гараж! — на всякий случай крикнул он и исчез за поворотом.

Из полутемного переулка показались мужчина и женщина, перед ними брели два маленьких мальчугана, которых, по-видимому, одолевал сон — они едва передвигали ноги. Любое необычное зрелище, которое могло развлечь детишек, было бы для них сейчас настоящей находкой.

Девушка в черной маске поспешно скрылась в подъезде соседнего двухэтажного дома. Джаба вошел вслед за нею. Лишь сейчас почувствовал он, что дрожит всем телом. Этот полутемный коридор с грязными, разрисованными и исписанными стенами, едва озаренный желтым светом тусклой, запыленной лампочки под потолком, как бы приглашал его и давал ему право исполнить свое намерение.

— Джаба! -- в напряженном голосе девушки звучала мольба. — Уходи, прошу тебя. Уходи, а то я сегодня не доберусь до дома.

Джаба подошел к ней, сжал ее руку выше локтя.

— Я ведь уже было ушел... — Во рту у него было сухо, он понял, что не сможет выговорить больше ни слова. С быстротой нападающего боксера он выбросил вперед свободную руку, поддел пальцами кружевную оторочку и откинул маску девушке на затылок.

Девушка вскрикнула, вырвалась из рук Джабы, отпрянула, пошатнулась, но удержалась на ногах. Лицо ее было перекошено от сдерживаемого плача, рот дро-

жал, от уголков губ и глаз разбегались морщины; Джаба не мог определить, хороша она или нет. Это была уже не та, прежняя его собеседница; казалось, «черная маска» исчезла, оставив с Джабой вместо себя кого-то совсем другого. А может быть, она нарочно так сморщила свое лицо, чтобы Джаба не мог ее узнать. Шаг за шагом отступала она, удаляясь от Джабы, и постепенно растворялась в полумраке коридора.

Джаба растерялся. Мысли у него разбежались, способность соображать исчезла. Он лихорадочно искал какое-нибудь разумное — или даже неразумное — решение, но ничего не приходило ему в голову. Он ожидал гнева, упреков, даже пощечины — но не слез, не этих безудержных, безутешных рыданий...

«Наверно, дурнушка».

Девушка забилась в темный угол коридора, лица ее не было видно. Казалось, ею овладел какой-то внезапный острый недуг, выражавшийся в рыданиях. Никогда еще плач не приводил Джабу в такое волнение. Он стоял ошеломленный, не зная, что ему делать, не зная даже, надо ему что-нибудь делать или нет. Маленькая, беспомощная буря бушевала перед ним и, казалось, не собиралась униматься. И Джаба взирал на этот разгул стихии с испугом неопытного моряка...

Говорить что-нибудь, извиняться, раскаиваться, просить прощения не имело уже никакого смысла. Джаба нанес девушке самую тяжкую — незримую рану; ни одному человеку, наверно, не боялась она показать свое некрасивое лицо — только ему одному, Джабе. Так он думал в эту минуту и ненавидел, презирал себя. Он как бы раздвоился; один Джаба был готов наброситься на другого с кулаками — они уже сами собой сжимались, — наброситься и безжалостно отколотить в любом хотя бы самом людном месте, на глазах у целого света: на улице, на редакционной лестнице, на стадионе — где придется; а другой Джаба, его двойник, даже не пытался защищаться, даже не хотел закрыться руками, и это приводило в еще большую ярость Джабу, стоявшего в коридоре.

Внезапно наступившее молчание испугало, заставило вздрогнуть Джабу, как неожиданный оглушительный грохот. Он очнулся от своих полумыслей-полугрез.

Девушка больше не плакала. Повернувшись к Джабе спиной, она отирала щеки платком, не обращая внимания на его присутствие. Потом она застегнула пуговицы пальто и, низко опустив голову, прошла мимо Джабы так, словно он был не живым человеком, а нацарапанным кое-как на стене рисунком. Джаба не нашел в себе силы, не посмел поднять на нее глаза, открыто, прямо посмотреть ей в лицо. Лишь украдкой, исподлобья глянул он на девушку. Она шла с таким видом, словно только что распрощалась с огромным счастьем, но вынуждена продолжать жить, застегивать пуговицы пальто, думать о возвращении домой.

«Точно я ее опозорил!» — жгучим пламенем взвилась мысль; Джаба замер, пораженный неожиданным ощущением.

Он вышел на улицу. Девушка потерянно брела к троллейбусной остановке. «Теперь она и взглянуть на меня не захочет, и близко к себе не подпустит... Но я найду ее, во что бы то ни стало найду, и докажу ей, добьюсь, чтобы она поверила...»

Ему вдруг показалось, что эти мысли, это состояние владели им уже когда-то, что все это было повторением, что он уже однажды обещал себе найти и убедить кого-то в своей порядочности.

Новенький, нарядный желто-синий троллейбус подкатил к остановке и заслонил ожидавших на тротуаре пассажиров. Когда троллейбус отошел, Джаба увидел, что на остановке никого не осталось.

«Девятка... К вокзалу. Непременно разыщу!»

Троллейбус прояснил смутные его воспоминания. Это было не в какие-то давние времена, а сегодня утром. Он взял в трамвае билет для маленькой, хорошенькой девушки. А ей показалось, что Джаба — один из карманных воров, орудовавших в эту минуту в трамвае. И Джаба подумал потом об этой девушке: «Если я ее больше не встречу, она так навсегда и сохранит это ошибочное представление».

Оказывается, это случилось нынче утром! А вечером почти повторилось. Сейчас в городе было две девушки, на протяжении одного дня появились в городе две девушки, которые не думали о Джабе ничего хорошего.

Открытие это повергло Джабу в некоторое изумле-

ние. Как это вышло, почему это должно было случиться? Ведь он так же не собирался в этот вечер нанести оскорбление девушке в черной маске, как не помышлял утром залезть в карман к соседу в трамвае!

Встревоженный, он восстановил в памяти весь сегодняшний день с начала до конца — вернулся к утру, вспомнил, что было днем, повторил мысленно весь свой путь по городским улицам, побывал в редакции. Подумал, что, пожалуй, напрасно дал волю языку, вмешавшись в беседу редактора с профессором Руруа, что не стоило так вольно разговаривать с заместителем директора театра... Мысли эти захватили, опутали его, завладели им...

Ему почудился огромный, на целую газетную полосу, заголовок: «Джаба Алавидзе оправдывается».

«Будем печатать», — сказал редактор.

«Как вам угодно, батоно Георгий, я готов».

Из здания института высыпали толпой участники окончившегося маскарада. Их становилось все больше, оживленная, многолюдная группа постепенно рассеивалась, разбредалась во все стороны. Шагали римские легионеры и французы-мушкетеры, дуэлянты-бретеры, маркизы и виконты, прекрасные леди и их обожатели — вооруженные до зубов, закованные в доспехи рыцари. Точно все они до этой минуты ждали, чем кончится первая встреча Джабы с девушкой в черной маске, а сейчас, разочарованные, спешили домой, каждый в свою эпоху.

БЕНЕДИКТ ЗИБЗИБАДЗЕ,
СОТРУДНИК РАЙИСПОЛКОМА,
47 ЛЕТ

— Проводи меня немного, — Бенедикт сгреб рукой-лопатой Бату за плечи и двинулся вперед, увлекая приятеля за собой.

Пошатываясь, шли они по крутому подъему.

Ярко освещенный проспект остался позади; все бледнее становились отблески его огней. Друзья вступали в царство одиноких недреманных лампочек.

Они возвращались с кутежа в загородном ресторане. Угощал Бенедикт: Бату привел ему новых клиентов. Но гости были незнакомы между собой, и откровенный

деловой разговор за столом не получился. Бенедикт и Бату расстались с собутыльниками минут десять тому назад и продолжали путь к дому вдвоем.

Бенедикт поглядел по сторонам. Улица была пустынна. Лишь лениво выехало из переулка запоздалое такси, чуть задержалось на повороте, как бы оглядело своим зеленым глазом перекресток, и медленно, высматривая и приманивая пассажиров, покатилось вниз, к проспекту.

— Когда принесет? — Бенедикт заглянул в стеклянный глаз Бату.

— Кто? Что принесет? — притворился непонимающим Бату.

— Твой знакомый... Яков Тартишвили... Ну, это самое... — Бенедикт еще раз посмотрел по сторонам. — Деньги.

— Не знаю... Он не сказал.

— Пока не заплатит сполна, я и пальцем не шевельну. Тосты произносить всякий горазд...

— Завтра, думаю, отдаст.

— Как только принесет, доставишь ко мне домой. Три тысячи твои, считай, что договорились.

— Спасибо, Бенедикт, дорогой, большое спасибо! — Бату весь зарделся от радости, казалось, даже стеклянный его глаз особенно ярко засиял в электрическом свете.

— А тот, другой... Говори, что это слова от тебя не добьешься! Весь вечер делал мне знаки, а теперь воды в рот набрал. У Бальзака в одном месте сказано: «Слушаю вас, сударь!» Ну, так вот, я слушаю. Чего другому было нужно от меня — Геннадию или как его там?..

— У Геннадия в доме, по соседству с ним, огромная квартира... За столом неудобно было говорить.

— Ну и что же? — вскричал Бенедикт и воочию представил себе эту огромную квартиру — такую, что и глазом не окинешь, а захочешь обойти — заблудишься.

— И живет в ней только один человек, глубокий старик.

— Ну и что же дальше? — На этот раз мысленному взору Бенедикта представился дряхлый старик, еле держащийся на ногах.

Они прошли еще два шага по тротуару и остановились.

— А дальше то, что этот старик, оказывается, при смерти, не встает с постели и вот уже три недели беспробудно спит.

— Спит?

— Ну да, такая у него болезнь... Летаргия, что ли, называется.

— А живет совсем один?

— Совсем один. Изредка заглядывают к нему соседи.

Бату шагал по подъему бочком, Бенедикт то тянул его вперед, то хватал за руку и останавливал.

— Ну, дальше! Что дальше?

— Ну и вот... Если сумеешь кого-нибудь туда вселить...

— Кого-нибудь вселить... — как зачарованный повторял за ним Бенедикт.

— Словом, если вселишь какого-нибудь своего родственника и к тому же пропишешь его...

— Пропишешь...

— То потом... когда старик умрет... квартира останется тебе.

— Квартира останется тебе!.. То есть мне...

— Ну что, стоящее дельце? — спросил с гордостью Бату.

Бенедикт разволновался:

— А если... если старик не даст согласия?

— Кто его спрашивает — он уже наполовину на том свете, лежит бесчувственный, как бревно... Геннадий скажет соседям, будто старик уже раньше, до болезни, просил найти ему жильца.

— Сколько комнат в квартире?

— Три... Геннадий скажет, будто старик давно хотел взять квартиранта, одинокого, лучше всего студента... Потому что он нуждается в деньгах...

— Как это — нуждается, если он смертельно болен и лежит без памяти?

— Думаешь, есть ему не надо? Он получает искусственное питание, ему делают уколы, врачи у него бывают каждый день. На все это нужны деньги.

— А почему Геннадий сам не хочет взять эту квартиру? — подозрительно спросил Бенедикт.

— Как ты сам не понимаешь? Мне ли тебя учить?.. Да если он к своей квартире прибавит еще такую громадину в том же доме... Уж лучше прямо переселиться в тюрьму, не дожидаясь суда и следствия!

— Да, верно... Ты прав. А у этого старика, — Бенедикт уже ненавидел этого незнакомого, больного человека, — а у этого старика родственников нет?

— Ни души на всем свете! Была жена, да и та умерла недавно, примерно три недели назад.

— Может, он и сам уже умер, — высказал предположение Бенедикт.

— Нынче утром, говорят, был еще жив...

— Геннадий сказал?

— Геннадий. Из этого дельца ты можешь выколотить кругленькую сумму... Тысяч двести, не меньше[1].

— А много ли хочет Геннадий?

— Не говорил.

Голос Бату ласкал слух Бенедикта, как небесная музыка. Толстые пальцы его — на вид их было не пять, а больше — приятно чесались, в особенности большой палец, который так беспокойно ерзал и ворочался в суставе, что было ясно — он уже считает кредитные билеты. Но вот где-то вдали, в пространстве, вспыхнули цифры «200 000», вспыхнули, стали, приближаясь, увеличиваться — и нули легли на его лицо, как очки. И сквозь эти очки Бенедикт увидел с полной ясностью, что ему не следует выказывать особенную заинтересованность в этом деле. Пусть Бату, раз он взялся быть посредником, расскажет Геннадию, что Бенедикт принял сообщение о квартире больного старика совершенно равнодушно. Тогда Геннадий встревожится, засуетится, забегает вокруг Бенедикта, и можно будет отвалить ему куш поменьше.

— Ну ладно... Так я пошел домой, спать хочется, — Бенедикт зевнул во весь рот. — А об этом деле я подумаю. Там посмотрим.

— До свидания... Будь здоров! — опешил Бату.

---

[1] Действие романа происходит до денежной реформы 1960 года.

Бенедикт свернул налево. Почти уже выветрившийся хмель с новой силой разобрал его. Должно быть, подействовал свежий воздух, а может быть, неожиданное волнение. Он брел, как в тумане, по подъему, пробираясь вдоль стен. Вдруг ему показалось, что земля под ним колеблется; он остановился, чтобы не упасть, уперся рукой в стену и посмотрел себе под ноги. На тротуаре шевелилась тень листвы платана, волнуемой ветерком. У Бенедикта закружилась голова, он зажмурил глаза и поспешил убраться от этой подвижной тени. Ему не хотелось думать об огромной радости, которая ждала его в близком будущем, — он боялся, как бы мысли не загнали его в тупик, из которого ему редко удавалось выбраться без помощи Бату.

Ночь была прохладная, но Бенедикт почему-то обливался потом. Крутая улица путалась у него в ногах, мешала ему идти. Наконец он добрался до каменной лестницы, замыкавшей улицу, и судорожно вцепился в железные ее перила, словно она могла вырваться и убежать. Навалившись на поручни всей своей тяжестью, он поставил ногу на первую ступеньку и посмотрел вдоль лестницы вверх, туда, где вырисовывался его дом. Окна были темны: в доме, видимо, уже легли спать. Бенедикт любил, вернувшись домой в поздний час, заставать своих домашних в постели.

Когда-то улица обрывалась здесь, перед лестницей. Но люди пристроили к склону горы наклонную опорную стену, к стене приделали лестницу и таким образом продлили улице жизненный путь. Этой небольшой поддержки оказалось достаточно: улица, миновав стену и лестницу, уже сама продолжила свой бег, увлекая за собой вереницы домов вверх, к Мтацминде, до самой церкви, построенной на ровной площадке под обрывистой кручей. Среди беспорядочно облепивших склон горы, теснившихся друг к другу домишек, жилище Бенедикта выделялось величиной и солидным видом. Благодаря царившей в этом квартале необычной для города тишине, чистому воздуху и горному пейзажу дом был похож на изящную загородную виллу. Бенедикту нужно было только одолеть лестницу и, повернув налево, сделать шаг-другой, чтобы оказаться перед своей парадной дверью. Так всему и предстояло произой-

ти — сегодня, как вчера и в любой другой день, — но пока что Бенедикт находился еще внизу, каменная лестница высилась перед ним, а он медлил, повиснув на перилах, не решаясь сдвинуться с места. Так старый, толстый кот мешкает перед закрытым окном, соразмеряя свои силы, колеблется, неуверенный, допрыгнет он до форточки или нет.

В сказках богатыри преодолевают обычно тысячи препятствий, чтобы проникнуть в неприступную башню и освободить красавицу, томящуюся в плену у злого волшебника. Бенедикту же не нужно было никаких сказок. У него имелась в этой, земной действительности своя неприступная башня, и в башне — красавица, только посаженная туда не волшебником, а им самим, Бенедиктом. Красавицей этой, к сожалению, а может быть к счастью, была отнюдь не жена Бенедикта; красавица эта вообще не именовалась человеческим именем, так как была неодушевленной, более того — множественной, и все ее многочисленные обличья походили друг на друга, как новенькие, хрустящие сто- или пятидесятирублевки. Так оно, собственно, и было — все множество красавиц Бенедикта носило одно и то же общее имя — деньги. Но все дело в том, что, кроме Бенедикта, никто не мог их видеть, ничьему взору они не были доступны. И никто даже не знал о их существовании — лишь книгам, хранимым под девятью замками, доверил Бенедикт свою тайну.

Взгляд Бенедикта приковался к окну его кабинета. За оконными стеклами, поблескивавшими при свете уличных фонарей, угадывались плотно закрытые изнутри ставни. Покой снизошел на душу Бенедикта, сердце его стало биться спокойней, на губах заиграла довольная улыбка. За этими плотными ставнями, во мраке кабинета, безмятежным сном почивали его красавицы-царевны. Им и в голову не приходило, что скоро, очень скоро повелитель их прибавит еще целый сонм, не более и не менее, как двести тысяч гурий, к своему гарему.

Внимание Бенедикта привлек теперь к себе вагончик подвесной канатной дороги, соединявший город с вершиной горы. Он как-то незаметно выплыл из сверкающей глубины города, бесшумно подкрался к дому

Бенедикта, пронесся над самой его крышей и продолжил свой путь вверх, к Мтацминдскому плато. Там, наверху, другой такой же вагон отделился от темной массы горы и устремился вниз, к городу. Темный стальной трос, протянутый в воздухе, закачался, замелькала длинная, отраженная им полоска то ли электрического, то ли лунного света. Вечерами душа у Бенедикта то и дело уходила в пятки: как бы не лопнул трос и вагон, набитый людьми, не свалился прямо ему на голову.

Вот и встречный вагон, соскользнув с горы, пронесся над домом, и у Бенедикта на секунду замерло сердце... Но все и на этот раз кончилось благополучно, вагон затерялся где-то внизу, среди городских огней, и Бенедикт, налегая на перила, двинулся вверх по лестнице. Ступенька застонала под его ногой.

Через десять минут он уже стоял перед своим домом и обеими руками тряс парадную дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. Через большую среднюю комнату он прошел, не зажигая света, лишь на минутку остановился, прислушался к темноте — из соседней комнаты через открытую дверь доносилось тихое, ровное дыхание спящих детей. Вдруг чей-то громкий, сильный вздох пригвоздил его к месту, заставил окаменеть. Лоб у него покрылся капельками холодного пота, тихо, осторожно, чтобы не спугнуть вора, Бенедикт залез рукой в задний карман брюк и двумя пальцами вытянул отуда револьвер. Долго стоял он, затаив дыхание, слившись с темнотой, и ждал, пока вор выдаст себя каким-нибудь неловким движением, нечаянным шумом или шорохом, чтобы выстрелить, уложить его на месте и спасти, вернуть свои деньги. Напряжение становилось невыносимым, Бенедикт чувствовал, что еще немножко—и он не удержится на ногах, рухнет на пол Но тут до его слуха донесся новый вздох — такой же сильный и глубокий, как первый, и Бенедикт догадался, что это вздыхает во сне его жена. На этот раз он таки потерял равновесие, зашатался и ухватился за край стола, чтобы не упасть. Впрочем, буйная радость по поводу того, что тревога оказалась ложной, быстро вернула ему душевный покой и телесные силы. Бенедикт подавил желание завернуть в спальню, поцеловать маленького сына — очень уж был хмелен и побоялся, что

разбудит ребенка. Осторожно пробираясь среди мебели и стараясь не споткнуться, продолжал он путь к своей комнате. Выбрав на ощупь плоский ключ из связки, он отпер дверь, вошел к себе и заперся изнутри. Лишь после этого он зажег настольную лампу и первым делом бросил быстрый взгляд на книжный шкаф. Потом подошел к нему, попробовал дверцу, выбрал из связки другой ключ, хотел было открыть шкаф, но раздумал: сон тяжелил веки, манила постель. Он ограничился тем, что погладил дверцу потной ладонью, потом даже прижался к ней, словно ласкаясь, щекой, дохнул на нее спиртным перегаром — холодное стекло слегка затуманилось... Глаза Бенедикта приковались к нижней полке, где выстроились в ряд новенькие одинаковые тома в зеленых переплетах с вытесненными на них цифрами от единицы до двадцати четырех.

У изголовья кровати, прямо на полу, стояла початая бутылка боржома. Бенедикт сдернул с нее пальцем металлическую крышечку и, запрокинув голову, припал к горлышку бутылки. Хотел было открыть ставни — но даже и это поленился сделать, кое-как, торопливо разделся, откинул угол одеяла, вдруг поскользнулся босой ногой и упал на постель — пружинная сетка кровати заскрипела, разок подкинула его, но тут же покорно прогнулась до самого пола.

Бенедикт сразу почувствовал, что заснуть ему будет нелегко. Стоило ему лечь, как все заботы минувшего дня навалились на грудь, заставили его сердце тревожно забиться. В голове что-то перевернулось, заскользило вбок, пошло кругом. Он приподнялся, сел в постели, взбил подушки, взгромоздил их повыше и вновь зарылся головой. Лучше бы, право, у него вовсе не было головы! Долго ворочался, метался Бенедикт, устраивался то так, то этак, даже попробовал улечься наоборот, головой к ногам, наконец и вовсе отбросил подушку — но ничего не помогало.

Тут он вспомнил вдруг рассказ Геннадия, слышанный за столом, — о каких-то индийских йогах, насильно погружающих себя в сон. Закрыв глаза, они сначала будто бы воображают, что у них исчезли ступни, следом за ступнями — икры, потом избавляются от ляжек, бедер, живота, груди — и засыпают. Бенедикт ужасно

обрадовался, вспомнив этот рассказ, и решил испытать приемы йогов, проверить их на себе.

Он зажмурил глаза, замер и вообразил, что у него нет ступней — да, в самом деле нет... Больше нет... Исчезли, отрублены у лодыжек... Нет ступней... Нет... И вправду — чудо! — как будто отвалились... Ноги оканчиваются лодыжками... Ступней он не чувствовал. «Что за штука! Поразительно!» — подумал он, безмерно удивленный, и тотчас же ступни появились на прежнем месте, словно отросли во мгновение ока. «Тьфу!» — выругался он в душе и только было собрался снова уничтожить свои ступни, как вдруг блестящая мысль мелькнула у него в голове: «Зачем так долго возиться — ступни, лодыжки, от сустава к суставу... Начну прямо с коленей, уничтожу все, что ниже». Подумал — сделал, снова зажмурил глаза и обрек на исчезновение свои икры. Нет больше у Бенедикта ног ниже колен... Потерял на войне... Отрезаны — попал в детстве под трамвай... Хотел вскочить на ходу и угодил под колеса... Нет ног у Бенедикта... Так и родился, безногим... Нет ног... Нет ног... И в самом деле — ног нет, исчезли, не чувствует их Бенедикт... Сейчас он уничтожит и ляжки... До самых бедер... Ну да, так ведь оно и было — трамвай отрезал ему ноги целиком, у бедер... В детстве он перебегал через железнодорожное полотно, и тут как раз налетел поезд... И теперь безногий Бенедикт сидит на тележке, катит себе на колесиках по улице... Исчезли ляжки... И бедра... Исчезли! Ну да, вот, кажется, и кровать разгрузилась, сетка распрямилась, отделилась от пола...

Бенедикт чуть дышит, вот-вот потеряет сознание, провалится куда-то в бездну. Но мрак в пропасти так густ, так плотен, что он не проваливается, не тонет, а плавает над бездной, потому что надо еще... Да, да, надо еще уничтожить живот, вообразить, что исчез живот... Ну-ка... Давай... Нет у Бенедикта живота, потерял на войне, попал в детстве под трамвай, с тех пор так и ходит без живота, не ест, не пьет, потому что не может, нечем...

Бенедикт раскрыл глаза и погладил обеими руками брюхо.

— Черта с два, как бы не так! — прошептал он еле слышно.

Ноги вдруг оказались на месте, отросли в один миг. Кровать опять провалилась под грузом, пружинная сетка коснулась половицы. Нет, ничего не выйдет — какие там йоги, даже сама смерть сейчас не сможет усыпить Бенедикта. Мозг в голове кружится волчком, со свистом и гулом. Вот если бы не было головы... «Ну да, надо было прямо с головы и начать — сейчас я уже спал бы крепким сном!.. Это я из-за духоты не могу заснуть, в комнате спертый воздух», — заключил он наконец.

Воздух был в самом деле спертый — окно в кабинете Бенедикта не открывалось месяцами. Жене его Марго было строго-настрого запрещено в отсутствие мужа проветривать и убирать его комнату. Нарушить этот запрет она не могла, даже если бы очень хотела: рано утром, уходя на работу, Бенедикт запирал дверь своего кабинета и уносил единственный ключ с собой. «Ты, конечно, оставишь комнату по рассеянности открытой, дети заберутся в нее и все перевернут вверх дном», — объяснял он жене.

Бенедикт встал и, отодвинув кровать, освободил себе дорогу к окну. В комнату ворвался струей свежий воздух. Бенедикт накинул на плечи халат, достал из кармана пиджака, висевшего на спинке стула, какую-то бумажку и сел за стол. Это был листок, который сунул ему Бату. На нем было нацарапано: «236. Тартишвили Яков Кириллович, прожив. Пантованская ул., 47».

Бенедикт еще раз зазвенел связкой ключей, выдвинул средний ящик письменного стола, засунул в него руку по самый локоть и извлек из глубины сложенную вдоль тоненькую школьную тетрадку. Это был список граждан, просивших улучшения жилищных условий и взятых на учет в райисполкоме, вернее, не самый список, а снятая с него копия. Бенедикт перелистывал тетрадь, водя пальцем по столбцам номеров: тридцать... шестьдесят... восемьдесят восемь... сто четыре... двести девять... ну вот—двести тридцать шесть — Тартишвили Яков. «Да, этот в самом хвосте. Этот и через три года квартиры не получит. Что ж, разумно действует — ничего не скажешь!»

Бенедикт поставил карандашом значок на полях против фамилии Тартишвили, чтобы впоследствии легко его найти. Отметка напоминала развернутые крылья птицы — конечно, в самом схематическом изображении. Взмах-другой этих крыльев — и подхваченный ими Яков Тартишвили перелетит через страницы школьной тетради, пронесется над фамилиями и именами, над дряхлыми стариками и беспомощными младенцами, над неустроенными семьями и молодыми парами, мечтающими об устройстве семьи, бесшумно проскользнет в начало списка и устремится сверху, как диверсант-парашютист, на кого-нибудь, чтобы занять его место. И все это приятнейшее путешествие — за каких-нибудь пятнадцать тысяч. «Пустяшная цена! — подумал Бенедикт. — Через три месяца у этого Тартишвили будет новая квартира».

Он поводил черным острием карандаша по первой странице. Здесь выстроились в столбец фамилии тех счастливых граждан, которые после долгого ожидания оказались наконец во главе очереди и должны были в самом скором времени получить квартиры.

Но райисполком еще не уточнял, не утверждал на заседании и не вывешивал списка, и поэтому многие даже и не знают, что переместились в самое его начало. И Бенедикт, как глава жилищного отдела райисполкома, разумеется, воспользуется этим.

Кто будет жертвой? Какая фамилия? Чья семья? Заостренный черный карандаш повис, как меч, над списком, потом медленно, грозно опустился и приостановился у оголенной шеи какого-то несчастного — пока еще безымянного...

Нет, Бенедикт не так бессердечен, не так жесток. Бенедикт любит справедливость, но не возьмет греха на душу, хоть и знает, что о нем думают иные... Неправильно думают! Нет, он не питает злобы ни к кому и ни на кого не поднимет руки. Пусть все решают счастье и судьба. Бенедикт не станет вмешиваться, он хочет остаться в стороне. Чему быть, того не миновать!

Бенедикт зажмурился изо всех сил, взмахнул карандашом, как кинжалом, и вонзил его острие в страницу. Держа карандаш неподвижно в этом положении, он

медленно приоткрыл один глаз и сразу же увидел фамилию, одну из букв которой поразил кончик карандаша. Бенедикт мгновенно отдернул руку: «Ну нет, милые мои, этот работает в милиции. Я еще не сошел с ума!» Он снова закрыл глаза и еще раз ткнул карандашом в список. На этот раз он посмотрел сразу. Вот тебе и судьба! «Этот-то ведь уже дал мне деньги — за что его обижать?» Третий кандидат оказался футболистом: «Не то, не то! Этот все начальство на ноги поставит, хлопот не оберешься!»

Греха таить нечего, при четвертой попытке Бенедикт зажмурился не очень плотно, — хотя страницу увидел в тумане и букв различить не мог. Уперев кончик карандаша в самую середину столбца, он открыл глаза. На этот раз кандидатура была как нельзя более подходящая: «20. Алавидзе Нино Александровна, прожив. Дзелквинская ул., 51».

«Помню, помню... Немолодая женщина вдова... Давно не заглядывала, не справлялась, — перед глазами Бенедикта встала хрупкая, небольшого роста женщина с частой сединой в волосах. — Ну, что мне с тобой делать, дорогая? Должен же был кто-нибудь вылететь... Бог свидетель — глаза у меня были закрыты. Кого хочешь спроси».

Бенедикт пошарил на столе, нашел резинку и стер след, оставленный карандашным острием. Потом сложил тетрадку и спрятал ее в ящик письменного стола. Он был чрезвычайно доволен собой. Что там ни говори, а полдела уже сделано. Теперь, как только он получит деньги от Тартишвили, в список очередников будут внесены соответствующие изменения, и дело с концом. Как сладко Бенедикт будет спать сегодня ночью!

«Что делать, дорогая, я не виноват! — Снова встала перед глазами Бенедикта женщина с сединой в волосах. — Подвинулась бы немного в сторону, а то сунулась прямо под карандаш!»

Он подошел к окну и посмотрел сверху на город. Тбилиси сверкал огнями. Вдали, на противоположной окраине города, сияли ярким красным светом прожектора строителей-скоростников. Там, в том районе, возводили многоквартирные дома, радость и надежду Бенедикта.

Вдруг ему почудилась какая-то тень в небе. Он взглянул вверх. Над самым его домом висел неподвижный, темный вагон остановленной на ночь воздушной дороги.

«Тьфу, чтоб вас! Нарочно подстраивают!»

Он закрыл окно, оттащил кровать к дальней стене. Если уж случится такое, если уж вагон упадет, то пусть хоть не прямо на голову Бенедикту. Есть в мире высшая справедливость!

«Нарочно!.. Не иначе, как нарочно».

Он лег в постель, но никак не мог забыть об этом проклятом, висящем над его головой вагоне. Нет, не суждено было Бенедикту Зибзибадзе заснуть в эту ночь!

САМСОН — БЕЛЫЕ ТОЧКИ...

Вначале был хаос, вихревое кружение мрака, безмолвная, бескрайняя чернота. Потом появились белые точки. Они летели издалека — быстро приближались и исчезали. Темнота понемногу рассеивалась, расслаивалась, ночь теряла силы. Кружение стало медленным, ленивым, — казалось, огромный мельничный жернов неторопливо перемалывает белые зерна.

Наконец стало совсем светло.

И он понял, что это — он сам, почувствовал, что снова неразрывно связан с миром, с вселенной, снова кружится в гигантском его хороводе. На этот раз он, видимо, прислушивался к действительной тишине и, если бы удалось открыть глаза, увидел бы настоящий мрак. Но сделать это он не может — не подчиняются веки. И руки тоже не слушаются, нельзя и руками веки разлепить.

Вот уж в который раз он всплывает из темной глуби на свет. И всегда ему помогали белые точки, неожиданно возникавшие на границе мрака и приближавшиеся к нему. Если бы хаос оледенел, если бы безмолвная эта чернота застыла, остановилась хоть на мгновение, он, наверно, уже никогда не смог бы думать о своих веках и руках. А теперь — думает. Знает, что у него есть тело, что он еще жив, знает, потому что ощущает прикосновение чужих, женских рук. Руки ласково прикасаются к нему, дают ему лекарство,

кажется, делают уколы. Сейчас он не может вспомнить, почему приходит к нему эта женщина. Должно быть, придет еще раз — и все станет ясно.

Необъятный мрак, сжатый, тугой, как резиновый мяч, бьется у него в мозгу, резина стремится развернуться, расшириться, и череп его, распираемый изнутри со страшной силой, готов треснуть. Есть только одна щелка в этом темном мяче — и из этой щели вместе с белыми точками вырываются иногда какие-то голоса, выплывают удивительные образы. Кажется, он когда-то слышал эти голоса, видел эти картины, но до сих пор никогда не вспоминал их. А сейчас они сами, без всякого его усилия, оживают в памяти, ему не нужно даже вызывать эти воспоминания, стоит мелькнуть светлой щели, и тотчас же наплывают новые картины и новые голоса.

Вот и сейчас.

...— Помнишь Амвросия Цулая, что работал кочегаром на паровозе, сынок? Он потом под поезд попал, ну, как не помнишь? И осталась после бедняги беременная жена, Федосия, да родители, отец с матерью, старые, совсем расслабленные... Федосия мотыжит кукурузу... Помнишь Федосию, дружок? И всего-то у нее, чтобы прокормиться со свекром и свекровью, одно кукурузное поле. Когда родился ребенок, она уходила в поле вместе с колыбелькой. Заплачет дитя — она подбежит к люльке, даст ему грудь и снова за работу. Должна она платить в год два рубля церковного сбора — за службы, за причастие да за требы. А откуда ей деньги взять, бедняжке? Однажды попадья, жена Тадеоза-попа... Чтоб ему, собаке, гореть в аду! Так вот, попадья Мзеха позвала к себе Федосию: «Знаю я, Федосия, милая, что не сможешь ты заплатить два рубля, неоткуда... Жалко мне тебя, дочка, уж так жалко... Попробую-ка я уговорить отца Тадеоза принять от тебя кур в счет этих двух рублей, по четвертаку за штуку...»

Отец наклоняется, переворачивает в камине обугленную с одного боку корягу и, уткнувшись головой чуть ли не в самый огонь, кряхтя, продолжает:

— Наутро Федосия приволокла к попадье восемь больших кур-несушек... Я смотрел из проулка, видел,

как Мзеха щупала да взвешивала в руке хохлаток и морщилась с недовольным видом: «Ну, уж ладно, дочка, скажу батюшке — авось засчитает тебе кур в долг, спишет с тебя эти два рубля...»

Отец исчез... Потом погасло пламя, камин растаял во мраке. Но голос слышался, еще некоторое время доносился до него... В ту пору ему было лет восемь или девять. На дворе шел дождь, он выковыривал палкой грязь, застрявшую между пальцами босых ног, и швырял ее в камин.

Как явственно встало перед ним далекое прошлое! Он даже словно ощутил жар, излучавшийся камином. Ему было жарко, он тер ладонями разгоряченные, голые икры...

— Самсон, вот ты меня ни во что не ставишь, а Гарриман со мной поздоровался, шапку снял. Так-то, братец! — осклабился верзила сцепщик и подбоченился, встав одной ногой на рельс.

Иваника!

В ту пору Самсон работал в Чиатуре, на железнодорожной станции... Он понял: Чиатура — это рубеж, предел его воспоминаний. Ближе он ничего не может вспомнить. Между Чиатурой и ласковыми руками женщины, приходящей, чтобы ухаживать за ним, — пустота. Нет, не пустота, а черный резиновый мяч, что раздувается день за днем и распирает ему череп. Он горько улыбается в душе. Огромное время, целая долгая жизнь уместилась между чиатурским Иваникой и этими женскими руками, и все это время, вся эта жизнь иссечены из его тела, из его существа, лежат где-то в стороне, отдельно от него. Если бы женщина знала это, она не отходила бы от него ни на минуту... А то он никак не может определить, что же представляется ему при каждом ее прикосновении.

...— Ногу придется отрезать, — говорит профессор.

— Нет, нет! — вскрикивает тетя Самсона. — Зачем мне безногий сын? Нет, боже сохрани!

— Загубишь ребенка!

— Не загублю! Свезу к Турманидзе! — Тетя подхватила мальчика на руки.

— К этому невежественному деревенскому лекарю?

. . . .

Малакия Турманидзе прошелся взад-вперед по своей комнате, остановился:

— Как эта новая игра в мяч называется?

— Футбол, сударь,— ответила тетя Самсона.

— Ах да, футбол... Ну, так пусть я буду невежественный лекарь и деревенщина, если через месяц этот мальчишка не будет играть в этот самый футбол!

Самсон идет перед арбой, направляет быков. На арбе его тетя и его маленький больной двоюродный брат...

Светлая щель в темной резиновой стене расширяется, растет и выплывают оттуда совсем уже неожиданные, давно померкшие картины.

...Во дворе Афонского монастыря яблоку негде упасть. Богатый монастырь, богомольцы здесь живут месяцами, едят-пьют на даровщинку... Народу сегодня собралось со всего света. Толпа замерла, обратилась вся во внимание. Что-то легкое — как бы птичка — ударилось о спину Самсона. Он огляделся — под ногами у него валяется женская перчатка. Она завязана узлом, в узелке — ассигнация, сторублевка. Самсон поднял «катеньку», бросил ее дальше вперед и потом долго еще следил за нею, пока перчатка со сторублевкой, пожертвованием какой-то богатой дамы, не достигла цели, не попала по назначению — в руки священника...

Каким тогда верующим был Самсон! Удивительно...

Все разорвано... Какие-то клочки. Ни одно звено не связывается с другим. Ни один звук не вызывает другого, сходного или соответственного, ни одна картина — другой, последующей или предыдущей. Сознание — как распавшаяся на куски, разорванная в клочья и изъеденная грызунами книга, склеить, восстановить которую, наверно, невозможно.

...На свадьбе разгорелась ссора. Выскочил какой-то одноглазый. Схватился рукой за свой кривой глаз.

— Трех человек я отправил на тот свет и поплатился вот этим глазом! Убью сейчас еще троих, пусть и второй глаз пропадает, придется, видно, остаться слепцом!

Забияки тотчас же прекратили драку. Самсон изумился...

А потом? Что было потом? Чья была свадьба? Почему запомнилась Самсону эта история?

...Кутилы, братья Сакварелидзе, вышли прогуляться на станцию, в Зестафони. Оба пьяны. С ними — доктор, тоже хмельной. Идут в обнимку и напевают. Перед мастерской столяра — гробы, выставленные для продажи. Четыре гроба. Братья подзуживают врача:

— Ты людей лечишь, а этот гробы для них сколотил!

Схватили гробы и отправили все четыре один за другим в реку, в Квирилу... Ребятишки бегут по берегу следом за гробами....

Не выдумывает ли он сам сейчас эти истории? А придумываются ли истории? Возможно это?

...— Был один Иоселиани, дружок, однорукий... Силач такой, что мог поднять и швырнуть человека на целых пять саженей...

Голос Самсона? Ну да, это его собственный голос, это Самсон рассказывает историю своему сыну. Возможно ли — сочинить историю о самом себе?

— Одной рукой? — спрашивает Митуша.

— Одной, конечно, — другой-то ведь у него не было!.. А еще он знал наизусть — не то, что ты! — всего «Витязя в тигровой шкуре». Переписывал от начала до конца, если ему кто закажет. Когда имеретины отправлялись в Картли по торговым делам, горийцы выходили на дорогу, — Самсон затенил глаза рукой, — и если во главе имеретин шел однорукий Иоселиани, они уже остерегались ссориться с ними.

— А если его не было?

— Ну, если не было его, тогда...

Померкла картина. Голос умолк.

Не вспомнилось, что он тогда ответил сыну.

...Кажется, что-то связалось. Сцепились какие-то звенья.

— Что же, что?

Ах да! Однорукий Иоселиани и одноглазый человек на свадьбе, что разнял дерущихся.

Один напомнил ему другого.

Нет — это угроза одноглазого убить трех человек вызвала из забвения историю с гробами.

А за ними всплыл и однорукий Иоселиани.

Сошлось!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОЛЧАНИЕ

ИГРАЙТЕ БЕЗ МЕНЯ

Договорились так: Бенедикт и Бату неожиданно нагрянут в гости к Геннадию. Визит «старых друзей» приведет Геннадия в неописуемый восторг. Вне себя от радости, он созовет соседей, чтобы разделить с ними свое счастье. Иными словами, он устроит пир и пригласит, во-первых, соседку, которая внушает ему наибольшие опасения, Лолу Карамашвили, имеющую виды на квартиру Самсона, и, во-вторых, уполномоченного по дому Гуту Бегашвили. План принадлежал Геннадию. Если бы Бенедикт просто привел свою племянницу-студентку и с помощью Геннадия поселил ее в одной из комнат Самсона хотя бы в качестве временной жилицы, соседи могли заподозрить недоброе и взбунтоваться.

А так все получилось складно.

— Аллаверды к вам! — Геннадий вручил осушенную им чашу — собственно, чайный стакан — Бенедикту и тут же наполнил его темно-красным вином. — Прошу тост! За здоровье родичей.

Это был условный знак. Бенедикт, однако, молчал. Он глядел на скатерть перед собой и с горестным видом качал головой, как бы выражая сожаление по поводу какой-то непоправимой ошибки. Бату насторожился, Бенедикт взял его с собой, как обычно, для

того, чтобы тот при случае подсказал нужное слово и вывел его из затруднения. Таково было молчаливое соглашение между рассеянным монархом и мудрым министром. Министр весь превратился во внимание. Ему почудилось, что повелитель забыл, к какой военной хитрости решено было прибегнуть на этот раз для присвоения чужой территории. Но царь оказался на высоте. Это была тонкая игра.

— Эх, — вздохнул Бенедикт, как бы очнувшись от обуревавших его мыслей, — недостоин я произнести такой тост... Не пойдет мне вино впрок.

— Ну, что вы говорите? — воскликнул Геннадий.

— Нет, недостоин... — махнул рукой Бенедикт и нехотя поднес стакан к губам.

— Слушай, ты так ничего и не скажешь? — испугался Бату: если бы Бенедикт осушил сейчас стакан молча, весь план мог провалиться.

— Что я могу сказать, дорогой мой Бату? Забочусь я о своих родственниках? Помогаю им? Делаю что-нибудь для них? Ничего! — И он снова махнул рукой.

— Ты не только родственникам, ты даже совсем чужим людям охотно помогаешь!

— Тогда отчего моя единственная племянница, дочь моего покойного брата, сиротка моя Дудана ютится в студенческом общежитии? Как я это терплю? Правда, я целый год пытался снять для нее порядочную комнату, но ведь смирился же с неудачей, опустил руки! Ну, так я спрашиваю вас — имел я право забросить мою Дудану? Впрочем, вы-то здесь при чем?.. Извините меня! — Он выпил вино и снова вздохнул.

— Сказал бы мне, я побегал бы, поспрашивал, — сказал с упреком Бату.

— И я ничего не знал... А то уж как-нибудь помог бы вам найти приличную комнату, — сказал Геннадий громко, так, чтобы слышали Лола и Гуту.

— Геннадий! — внезапно вмешался в разговор уполномоченный по дому Гуту Бегашвили, с довольным видом потирая руки. — Мне пришла в голову превосходная мысль.

«Клюнуло!» — подумал обрадованно Геннадий.

— Мы с тобой, кажется, можем сослужить твоему другу службу, — продолжал Гуту.

— Каким образом? — Геннадий сделал вид, что не понял.

— Слушай, да ведь в нашем доме, на четвертом этаже... — Гуту почудилось, что глаза Лолы метнули в него целый сноп искр.

— Не понимаю! О чем ты? — прикинулся дурачком Геннадий.

— Вот что значит не смыслить в житейских делах! Слушай, я тебе о Самсоне говорю. У него же совсем пустая квартира, целых три комнаты!

На этот раз искры, вылетевшие из глаз Лолы, обожгли Гуту щеки. А Геннадий весь размяк от блаженства: как легко и просто он рвал крапиву чужими руками!

— Ну, что ты, Гуту! Старик ведь при смерти!

— Вот потому я и позволил себе сказать, что ты в делах ничего не смыслишь. Умирающему как раз и нужно, чтобы была живая душа рядом.

— Удивляюсь тебе, Гуту! — взорвалась Лола. — На что полумертвому старику, когда он уже, можно сказать, наполовину на том свете, на что такому посторонний человек?

— Пойми ты — прибавится к пенсии плата за комнату, денег будет больше на лечение...

— Мертвецу никакого лечения не нужно. Удивляюсь тебе, нет, право, удивляюсь! — Лола чувствовала, как уплывает у нее из рук предмет ее давних мечтаний — соседская квартира.

— Да послушай, вот моя Лида заходит к старику раз в день...

— И из больницы приходят! — вставил Геннадий.

— Ну да, из больницы тоже приходят... изредка. А племянница уважаемого Бенедикта будет все время при больном... На каком она факультете? — спросил Гуту Бенедикта.

— Э-э... на этом, как его... — Бенедикт бросил взгляд на Бату. — Ну, на этом самом, как его...

— На медицинском! — соврал, не сморгнув, Бату.

— На биологическом, — вспомнил наконец Бенедикт.

— Тем более! — воскликнул Геннадий. — Если девушка учится на медицинском, то уж наверно она коечто понимает в лечении и в уходе за больными.

— Ей-богу, вы хотите свести меня с ума, так уж прямо и скажите! — У Лолы покраснела шея. — Вы мне вот что объясните, пожалуйста, — от кого вы получите согласие на сдачу комнаты, если хозяин уже почти в могиле, глаза у него закрыты, уши не слышат и лежит он в постели без признаков жизни.

— Почему без признаков жизни — пульс бьется, — заметил Геннадий.

— Что же, вы по пульсу определите, сколько он хочет в месяц за комнату? А? Ну, что ты замолчал? От кого получишь согласие, кто будет договариваться с жилицей?

— Согласие я получил уже раньше, — сказал Гуту. — Еще до того, как с беднягой стряслась эта беда, он как-то зазвал меня к себе и попросил найти ему жильца, приезжего студента, а еще лучше студентку. И ключ от квартиры заодно мне вручил. Как тебе известно, присматривает за ним моя жена...

— Ключ вы прибрали к рукам сами, никого не спросясь, — съязвила Лола.

— Придержи язык, сударыня. Ключ в таких случаях должен находиться у уполномоченного по дому.

В эту минуту жена Геннадия, маленькая, пухленькая, с простодушным детским выражением лица, внесла блюдо с вареными каштанами. Дымящееся это блюдо, поставленное посередине стола, подействовало на схватившихся насмерть спорщиков, как брошенный по хевсурскому обычаю между сражающимися женский плат — мандили. Лола и Гуту сразу замолчали, одновременно привстали со стульев, потянулись к блюду и зачерпнули по горсти горячих каштанов.

Это внезапное перемирие пришлось совсем не по душе заговорщикам. «Нашла время, дуреха!» — говорил полный укора взгляд, брошенный Геннадием на жену. Но судьба явно была на стороне Бенедикта. Горячие, только что из кипятка, каштаны обожгли рот Гуту, и он в ярости ударил кулаком по столу:

— Да что это такое, в самом деле? Полуграмотная женщина смеет учить меня, уполномоченного по дому!

Лола в свою очередь вскочила с места, кипя негодованием:

— Знаю я, знаю, что ты за птица и чей ты уполно-

моченный! Знаю, какой червяк тебе грызет нутро! Все знаю, не трудно догадаться! — И она стремительно вылетела из комнаты.

Бенедикт обмяк, как проткнутый мяч, и начал раздуваться сызнова, с самого начала.

— Я покажу ей червяка! — кричал Гуту Бегашвили — по-видимому, разговаривая, он забывал о боли в обожженном рту. — Пусть она лучше за своим мужем присмотрит! — Он вдруг вскочил с места. — Многоуважаемый Бенедикт! Прошу вас, окажите мне милость... Сейчас же, немедлено, приведите сюда вашу племянницу, а все остальное я беру на себя. Очень прошу вас, сделайте это ради меня, глубокоуважаемый... Нет, вы полюбуйтесь на эту...

— Едем! — вскричал Бату; он понимал, что такие чудодейственно-благоприятные мгновения не столь часто выдаются в жизни.

— Мне, конечно, неловко... Я хозяин дома... Но, пожалуй, и в самом деле вам лучше сейчас, сразу... — добавил Геннадий, подмигнув Бату.

Бенедикт встал. За ним поднялись и остальные.

— Так я пойду, уважаемый Гуту, — сказал Бенедикт. — Ради вас я готов. Поеду за моей племянницей. Как она посмела, эта... эта женщина? Как она решилась... перечить вам?

— Привезите вашу племянницу, привезите ее немедля, и пусть эта ведьма, эта Лола или как ее там, увидит, кто я такой и что в моей власти.

— Только из уважения к вам, дорогой Гуту, а то ведь я до завтра и не собирался заняться этим делом... А может, и завтра и даже послезавтра не нашел бы времени... — сказал Бенедикт.

— Куда вы так рано? Посидели бы еще, — прибежала с кухни жена Геннадия со своим простодушно-детским лицом. — Покушайте еще чего-нибудь!

— Возвратятся, и посидят, и покушают, — эту фразу по правилам должен был произнести Геннадий, но его опередил Бенедикт: видно, очень уж торопился и забыл о распределении ролей.

— Если она думает, что я чем-нибудь хуже ее мужа, так ошибается, очень даже ошибается! — никак не мог переварить обиду Гуту Бегашвили.

Бенедикт и Бату сбежали по крутой улице на проспект Руставели. Оба задыхались от нетерпения. Им казалось, что все уже улажено, дело завершено, Дудану прописали в качестве законной жилицы на жилплощади этого больного старика, старик умер, квартира продана и сейчас они считают деньги — каждый свою часть. Бату почудилось даже, что он с завистью смотрит на Бенедикта и Геннадия — их доли оказались больше! Потом он вообразил, что Бенедикт удержал из его доли расходы на похороны старика, и чуть не взбесился из-за этой несправедливости.

Дудану они нашли на спортплощадке студенческого городка.

— Куда я должна идти, дядя Бено?

— Я снял для тебя комнату, — Бенедикт в третий раз поцеловал в лоб племянницу.

— Где, дядя Бено? — Дудана вытащила из рукава майки платочек и отерла лоб.

— В самом центре города! Ну, скорей, одевайся! На что ты похожа в этих брючках!

«Чепуха! Очень даже красиво!» — подумал Бату.

— Дядя Бено, я... я не смогу платить за комнату.

— Никто тебя и не просит. Ну, беги скорей, переодевайся.

— Дядя Бено, мне здесь хорошо. И от института близко.

— Не знаешь ты, каково отдельно жить, не пробовала... Оттого и кажется, что тут хорошо. Ничего, войдешь во вкус.

— Дудана! — позвали с волейбольной площадки. — Будешь играть?

— Подождите, я сейчас! — крикнула в ответ Дудана, потом обернулась к дяде: — Не нужна мне, дядя Бено, отдельная комната.

— Когда дядя с тобой говорит, девочка, ты должна слушаться!

— Слушайся, слушайся! Твоего дядю весь райисполком слушается.

— Ду-да-на-а!

— Иду!

Бенедикт схватил ее за локоть:

— Куда ты, девочка? Да я ради тебя весь город

перевернул! С каким трудом нашел приличную комнату, а ты...

— Да, но, дядя Бено, — прервала его Дудана, — я ведь уже три года здесь живу, что ж вы только теперь...

— Да, да, теперь, именно теперь тебе и нужно особенно много заниматься.

— Ду-да-на-а!

— Слышу!

— Ладно, вещи твои перевезем после. Сначала посмотри комнату, — пошел на уступки Бенедикт. — Будешь жить недалеко от меня, иной раз тете Марго подсобишь в хозяйстве, да и она тебе всячески будет помогать.

«Откажусь, какая бы ни была комната, не буду в ней жить!»

— Дудана, играешь или нет?

— Играйте без меня!

Дудана шла по узкой асфальтовой дорожке между газонами по направлению к белым корпусам общежития и старалась представить себе эту чужую комнату и свою жизнь в ней, одинокую, без товарищей и подруг. Она шла и бессознательно качала головой, как бы говоря в душе: «Нет! Нет!» «Третий, год как я приехала в город, и он никогда не вспоминал обо мне, даже не справлялся ни разу! Что ж ему сейчас приспичило? Наверно, совесть стала мучить. Все-таки я ему племянница, дочь брата...»

Бенедикт не был братом отца Дуданы, даже сводным. Когда их родители — отец одного и мать другого — поженились, оба были разведены, и у обоих было по мальчику от предыдущего брака.

Уполномоченный по дому Гуту Бегашвили дважды повернул ключ в замке и налег плечом на тяжелую дверь. В душный коридор струей ворвалась прохлада — казалось, она ждала, притаившись за дверью, пока ее выпустят. Первой вошла в комнату жена Бегашвили, Лида; она держала в дрожащих руках тарелку с рисовым отваром и столовую ложку. За нею следовал Гуту, потом — Бату, Бенедикт, Дудана; Геннадий замыкал шествие. Оба окна просторного квадратного за-

ла были распахнуты. Старик лежал на тахте. Костлявые, как у скелета, руки его были сложены на животе. Подбородок и скулы торчали, туго обтянутые кожей. Тело занимало под одеялом такой ничтожный объем, что казалось, одеяло расстелено прямо на матрасе.

На стене висел увеличенный фотопортрет пожилой женщины — в рамке, обтянутой черным крепом. Под портрером, на маленьком столике, пестрел ворох красных и белых лент с надписями, снятых с похоронных венков.

Бенедикт чуть не отшатнулся от страха, увидев лицо больного старика. Потом этот страх сменился другим, еще большим: как бы старик не оказался уже мертвым.

Бенедикт панически боялся мертвецов — в особенности, если не исключалась возможность внезапного их воскресения. Этот старик, по словам медиков, был погружен в летаргический сон, и никто не мог предсказать, когда он проснется. А что, если — сейчас? Мог же старик пробудиться именно теперь, в эту самую минуту, и выставить за дверь непрошеных гостей!

Дудана вообразила, как она останется совсем одна с этим наводящим ужас, ни живым, ни мертвым, стариком, и ее охватила дрожь.

— Я здесь не смогу жить, — сказала она.

— Здесь жить вам и не придется,— Геннадий быстрым шагом пересек комнату, раздвинул золотистый занавес на противоположной стене и открыл показавшуюся за ней, низкую, сплошную дверь. За дверью обнаружилась комната поменьше и в ней — кровать красного дерева, шкаф, большое овальное зеркало на стене и четырехугольный стол с оббитыми краями.

— Вот здесь вы будете жить. Рядом еще одна комната. Есть и кухня, и ванная, и все, что нужно.

— Нет, дядя Бено, я здесь не останусь! — И Дудана, в знак того, что даже разговор об этом считает излишним, ушла на висячий балкон.

Балкон выходил на проспект, против оперного театра. Дудана перегнулась через перила и посмотрела вниз. На широком тротуаре, возле угла крутой Чавчавадзевской улицы, стояли группой юноши, грелись на солнышке и беспечно болтали.

«Неужели больше никогда не встречу?..— думала Ду-

дана.— Не может этого быть! Где-нибудь, когда-нибудь встретимся... Я сразу его узнаю».

— Иди сюда, девочка,— послышался голос Бенедикта.

Он молча поднял руку, давая этим Геннадию понять, что за согласием девушки дело не станет: это он берет на себя.

— Все будет оформлено как полагается,— начал Гуту Бегашвили.— Согласуем с домоуправлением, запишем в домовую книгу, а милиция поставит новый штамп прописки в паспорте. Все это я берусь уладить сам. Нет, Лоле Карамашвили и ее мужу не видать этой квартиры, как своих ушей!

Бенедикту, Бату и Геннадию стало не по себе. Все трое переглянулись. Неужели уполномоченный по дому догадывается, какие цели преследует Бенедикт?

— Я вылечу этого почтенного старика!—сказал Бенедикт, чтобы рассеять возможные подозрения уполномоченного.— Как его зовут? Самсон? Ну, так я добьюсь выздоровления почтеннейшего Самсона! Не будь я Бенедикт Зибзибадзе, если не поставлю его на ноги!

...— Считай меня невежественным лекарем и деревенщиной, если этот мальчишка через месяц не будет играть в футбол — сказал Малакия Турманидзе.

И Турманидзе сдержал свое слово — двоюродный брат Самсона остался с двумя здоровыми ногами. Как тетя радовалась!

— Гей! Гей! — понукал быков Самсон; хворостина его со свистом рассекала воздух. Быки тронулись. Жалобно заскрипела арбная ось. «Мылом бы ее надо смазать, пересохла...»

— Смотрите, шевелит губами!— воскликнула Лида.

— Голоден, наверно,— сказал Гуту.— Остыла твоя похлебка, дай уж ему поесть.

— Разве он ест?—изумился Бату.— А я слыхал, тут только искусственное питание...

«Встретимся где-нибудь — в кино или в театре... А может быть, уже встречались, только я его не узнала? — Дудана все смотрела на гуляющих внизу, на проспекте. — Может, он живет здесь, в центре... А я за универ-

ситетом — оттого и не встречались... Может, он работает где-нибудь здесь, поблизости...»

— С чего Гуту так на Лолу взъелся? — шепнул Бенедикт Геннадию.

Геннадий посмотрел на Гуту и Лиду, поднялся на цыпочки и поднес губы к самому уху Бенедикта:

— Нравится она ему. А Лола над ним смеется: дескать, будь тебе хоть двадцать лет, все равно с моим мужем не сравнишься. А мужа двенадцать месяцев в году нет дома — все время в командировке. Понятно?

«Если из этих денег мне достанется десять — мое дело в шляпе. Десять и три — тринадцать... Целое богатство!» — думал Бату, глядя на ноги Дуданы, перегнувшейся через перила балкона.

...Отец Эгнатэ Кубанейшвили, законоучитель, что-то шепнул на ухо после молитвы надзирателю училища. Тот кивнул в знак согласия и подозвал к себе Самсона:

— Пойдешь с отцом Игнатием.

— Слушаюсь.

Эгнатэ шел на крестины. Он завернул в кусок ткани бутылку с елеем и еще какие-то принадлежности и взвалил узел на спину Самсона. Шли лесом, полями. В доме у Тутберидзе готовились к торжеству. Собралось все высшее общество. Белоснежные манишки и манжеты, голые, напудренные плечи дам... У Самсона рябило в глазах. Ребенка погрузили в купель. Самсон читал молитвы по требнику.

— Благословите нашу трапезу, батюшка!

Эгнатэ осенил стол крестным знамением.

Со всех сторон совали ему в карман рясы смятые бумажки.

Ни копейки не дал он Самсону!

Рваные свои башмаки, из которых выглядывали пальцы, Самсон оставил тогда в лесу и вернулся домой босиком...

Ах, какой крепкой и нерушимой была тогда его вера!

Никогда не вспоминалось раньше Самсону это происшествие — почему же он вспомнил о нем теперь? Быть может, он умирает и бог решил напомнить ему в предсмертный час о себе?

— А воду он пьет? — спросил Лиду Бату.

— Как же. Вот покормлю его и дам потом пить. Ему сейчас нужны свежий воздух и легкая пища. А когда он проснется — никому не известно.

— Думаете, проснется?

«...Как ему был к лицу тот черный, старинный костюм!.. Какой у него славный голос! Он-то меня не узнает, даже если будет целый день на меня смотреть. Да и как узнать — ведь он меня видел только в маске! Наверно, он живет где-нибудь здесь, в центральных районах... Может, послушаться дяди Бено, согласиться?.. Этот человек смотрит на мои ноги...»

Бату поспешно отошел от окна и посмотрел на Геннадия и Бенедикта. «Сегодня Яков Тартишвили принесет деньги»,— внезапно вспомнил он и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Который час?

Лида коснулась губ больного тонкой серебряной ложкой. Коснулась слегка, осторожно, потом чуть-чуть надавила. Старик зашевелил губами, как младенец, но не раскрыл их.

— «Вот она пришла! Пришла та женщина... Это ее руки, знакомое прикосновение...»

Все вспомнил Самсон:

«Фати умерла! Моя Фати!»

СОЛНЦЕ ЧУВСТВУЕТ РАССТОЯНИЕ

— Посмотри! — Джаба развернул перед Гурамом классный журнал с пожелтелыми страницами.— Шишниашвили Арчил целую неделю не являлся на уроки. «Нет. Нет. Нет». Видишь? — Джаба перевернул страницу. — Он пропустил и следующую неделю, вот опять: «Нет. Нет. Нет». А теперь посмотри сюда: его больше нет в списке. Вычеркнули.

— Должно быть, призвали в армию,— высказал предположение Гурам.

— Почему же не призвали других?

— Наверно, он был старше своих товарищей.

— В армию его не могли призвать, он еще не окончил школы.

— В ту пору нам приходилось трудно, могли на это и не посмотреть.

— Нет, думаю, скорее всего, он заболел.

Гурам навалился на стол, дотянулся до спичечного коробка на другом краю и зажег потухшую сигарету.

— Ну хорошо, допустим, он заболел. Неужели это сюжет для кинофильма?

— Нет, болезнь, конечно, не сюжет. Ты снимешь фильм об этом классе и этом журнале, о том, как мы наткнулись на него случайно на чердаке, как искали по всей Грузии этих мальчиков и девочек, ставших уже взрослыми... Как нашли их наконец, и что они нам рассказали...

— Художественного фильма не получится,— холодно сказал Гурам.

— Мы же пока ничего не знаем, материала у нас еще нет. Вот, смотри, что я обнаружил сегодня утром. Джаба перелистал журнал, снова положил его перед Гурамом и провел пальцем вдоль страницы.— Читай! Двадцать шестого октября, тысяча девятьсот сорок второго года преподаватель поставил двенадцать двоек по немецкому языку. Ни одной удовлетворительной отметки, не говоря уж о «хорошо» и «отлично».

Гурам посмотрел на приятеля большими, круглыми глазами. Потом пожал плечами.

— Да, понимаю, конечно, случается,— ласково сказал Джаба.— Но почему же именно по немецкому языку?

Гурам чуть заметно усмехнулся. Потом улыбнулся еще раз,— казалось, ему не смешно и он нарочно, усилием воли пытается себя развеселить.

— Ты хочешь сказать, что эти школьники не выучили урока, чтобы отомстить германским фашистам? — На этот раз он громко рассмеялся.— Хитрюги какие, здорово придумали!

— Я готов побиться с тобой об заклад, Гурам, что в конце октября тысяча девятьсот сорок второго года на фронте случилось что-нибудь ужасное, леденящее кровь, и дети, прочитав об этом...

— Я уверен, что и в конце и в начале октября на фронте происходило много ужасного, леденящего кровь. Готов биться об заклад.

— Смейся, смейся... Но я просмотрю старые газеты... Дети узнали из газет о чем-то ужасном... Впервые в своей жизни столкнулись с чем-либо подобным... Фашисты убили кого-нибудь после зверских пыток... Или сожгли деревню...

— Такое ведь делалось каждый день, Джаба!

— Да, каждый день, но дети узнали об этом именно тогда, как ты не можешь понять! Вот эти дети, в эти дни,— Джаба ткнул пальцем в журнал.

— Ну и что? — спокойно спросил Гурам.

— Тебя, собственно вовсе не интересует, «что». Но я убежден, что дети узнали в те дни что-то потрясшее их.

— Какие же это дети — ученики десятого класса!

— Ну ладно. Десятиклассники узнали в тот день или накануне что-то, потрясшее их, и «отомстили», как ты выразился... Выразили свой детский протест, свое возмущение фашистам.

— Вот это уже интересно,— сказал, усмехаясь, Гурам.— Это в самом деле интересно. Но что, если они просто не хотели учить уроки? Постой, не дуйся! Возможно, они в самом деле узнали о каких-нибудь особенных фашистских зверствах, согласен, но использовали это как повод, спекулируя на этом: дескать, вот мы в знак протеста не выучим урока, а учитель немецкого языка, когда мы ему объясним причину, растрогается и не станет нас наказывать. Ну, а преподаватель,— Гурам снова усмехнулся,— вместо того, чтобы оросить журнал слезами, наставил в нем двоек!

Джаба молчал.

— Но твой вариант все же интересен, если это на самом деле так было.

Эта неожиданная сговорчивость насторожила Джабу. Гурам обычно не так легко менял свое мнение.

«Наверно, я несу чепуху, я ведь ничего не смыслю в кинематографии... А Гурам не говорит мне этого прямо, боится обидеть. Вот, признал даже что «интересно» — из деликатности».

— Возможно, для кино это и в самом деле не годится. Видишь ли, я просто вообразил...

Гурам встал, потянулся.

— Не надо воображать,— сказал он и зевнул. Его голос, взгляд, все его тело явственно говорили, что он считает дискуссию на эту тему оконченной.

Джаба увял, остыл, как погасшая головешка, быстро затягивающаяся пеплом.

— А как этот классный журнал попал к вам на чердак? — неожиданно спросил Гурам; он стоял возле пианино и, откинув крышку, разглядывал клавиши.— Во время войны ведь тут жили вы.

— Мама в летние месяцы сдавала комнату. Так она мне сказала, я об этом не знал. — Джабе не хотелось продолжать разговор о журнале, и, чтобы переменить тему, он сказал первое, что пришло ему в голову:—Нодара еще не видел?

— Гагошидзе? — быстро повернулся к нему Гурам.— Как же, видел. Он очень переменился. — Гурам упер ладонь в потолок, потом посмотрел на нее: не запылилась ли?

— В чем переменился?

— Да как сказать... Одурел, что ли.

— Рассказы у него хорошие... Некоторые, по крайней мере.

«Некоторые... Оставляю себе путь к отступлению!»

— Ни одной строчки у него нет стоящей! — решительно рассек пальцем воздух Гурам. — Не знаю, что ты там нашел интересного.

— Ну уж, ни одной строчки... Это ты слишком!

«Почему я не защищаю Нодара до конца? Не уверен сам или мне приятно, что его ругают?»

— Первые рассказы были неплохи. Он прислал мне книгу в Москву, — сказал Гурам. — Но теперь он, видимо, задался одной целью: выколачивать монету («Выколачивать монету!»), печатает огромные, растянутые, холодные, как лед, повести («Последняя повесть была великолепна, Гурам, наверно, ее не читал»). И сам он, как ледышка: согреешь его — растает у тебя в руках, а собственного тепла ему бог не дал.

— Да, он, пожалуй, немного холоден, — сказал Джа-

ба так нерешительно, словно хотел скрыть эти слова от самого себя.

— Ни то ни се, ни рыба ни мясо («Думает по-русски, по-грузински так не говорят»), интересуется только одним: как бы урвать побольше. Попросил я его: может, напишешь для меня сценарий? А он тут же в ответ: а сколько мне заплатят?

— Не знает, сколько, — вот и поинтересовался. Я тоже спросил бы.

— Ты ни о чем подобном не спрашивал. А я ведь и к тебе обращался. Думай, что́ говоришь!

«Думай, что говоришь».

Такая была у Гурама привычка: раздуть до необычайных размеров любую незначительную ошибку или оговорку. Он напускал на себя такой изумленный вид, словно впервые в своей жизни услышал какой-то невероятный абсурд, нелепость, не укладывающуюся в человеческом уме. И выражение его лица бывало таким вызывающе-ироническим, таким уничтожающим, что Джаба сразу чувствовал себя обезоруженным и утрачивал всякое побуждение спорить и даже вообще отвечать. От этого ощущения беспомощности Джаба порой внезапно взрывался и отвечал приятелю грубостью, о чем сам потом долго жалел. Или, если ему удавалось сдержаться, побороть раздражение, он равнодушно соглашался с Гурамом, так как знал, что на каждый новый его довод Гурам обрушится с еще большей яростью, с еще более язвительной иронией, и в конце концов Джабе все равно придется сдаться и во всем согласиться с ним.

— Да, деньги он любит... пожалуй. Скуповат, — сказал Джаба. — Не было случая, чтобы он развязал кошелек, расщедрился на угощение... — Джаба в самом деле не мог припомнить в настоящую минуту ни одного такого случая, так что совесть его была чиста.

— Ну конечно! Так я и думал! — В голосе и во взгляде Гурама больше не было иронии. — Стяжатель! Кулак! Разве ему место в литературе? — Он достал из кармана платок и отер им пот со лба и шеи. — Пойдем на двор, у тебя тут так жарко, что я весь горю.

— Моя комната ни при чем. Ты всегда потеешь, когда поносишь кого-нибудь! — сказал Джаба и понял, что

одна из волн сдержанного им прилива злости все же вырвалась на свободу. Но это была очень слабая волна — она даже не докатилась до Гурама, лишь чуть всплеснула у его ног.

Джаба встал, спрятал старый классный журнал в ящик письменного стола.

«Все боюсь... Боюсь, как бы мое суждение не разошлось с чужим, не выделилось из общего мнения. Неужели это врожденное? Высказываюсь двусмысленно, оставляю себе путь к отступлению... И только на следующий день, когда мнение большинства станет известно, готов объявить свое во всеуслышание, кричать на всех перекрестках... Тут уж я больше ничего не боюсь».

— Идешь? — донесся из-за двери голос Гурама.

— Сейчас.

— Кажется, твоя мама пришла, — сообщил с лестницы Гурам.

— Гурам, Гурам, ты ли это, мой мальчик?

— Тетя Нино! Как я соскучился по вас, тетя Нино!

Джаба услышал, как мама расцеловала Гурама.

— Куда спешишь, побудь у нас еще немножко! Как тебе не стыдно, ведь давно уж приехал, а мне до сих пор на глаза не показался... Входи, входи, дай, посмотрю на тебя при свете!

Оба вошли в комнату.

— Небось жары не выдержал! Отвык от нашей комнаты, — сказала Нино, потом протянула Джабе сумку с провизией. — На, вынеси на чердак.

— Тетя Нино, а я сокрушался, что не увижу больше вашего чердака, думал, что вы давно переехали.

— С таким растяпой, как мой сын, далеко не уедешь...

— Ну, пошли? — сказал Джаба, подхватив под мышку объемистый сверток.

— Погоди, ведь мы с тетей Нино давно не виделись!

— Ступайте, милые, ступайте... Надеюсь, теперь уж ты дороги к нам не забудешь.

Друзья вышли на залитую солнцем улицу. Гурам показал пальцем на липу, раскинувшую свои ветви в соседнем дворе.

— Помнишь, как мы играли в прятки на этом дереве?

— Какое оно тогда было большое... — сказал Джаба.

— А помнишь, — засмеялся Гурам, — как маленький братишка Сурена ударил тебя по голове заржавленной вилкой?

— Бедный Сурен! Он погиб на фронте.

— Знаю.

— А это что такое — помнишь? — Джаба расстегнул сорочку, спустил майку с одного плеча и повернул к приятелю оголенную грудь. Под левым соском виднелось белое пятнышко величиной с кукурузное зерно — след затянувшейся ранки.

— Это пятнышко напоминает мне об одном моем мастерском ударе, господин Д'Артаньян!

— А мне оно напоминает об одной вашей нечестной уловке, господин Рошфор! Я дрался деревянной рапирой с тупым концом, как было условлено. А вы тайком заострили кончик своей и вонзили его в меня. Надеюсь, ваша сиятельная память сохранила эти подробности?

— Глупости ты говоришь! — рассердился Гурам и нарушил всю «игру». — Почему тайком? Я всегда любил острое оружие.

Но Джаба не стал спорить.

— Пустяки, — сказал он. — Даже крови не было.

— Немного вышло.

— Твоя мать научила меня, помнишь, послюнить палец и потереть ранку, — вспомнил Джаба.

— И чтобы слюна была из-под языка...

— Да, из-под языка... Там, наверно, слюна чище. А ты помнишь горшки на этих столбах? — Джаба показал на решетку, которой был огорожен двор; железные прутья решетки перемежались с редкими круглыми каменными столбами; Гурам посмотрел в ту сторону. — В горшках росли цветы.

— Помню, конечно!

— Однажды пришел человек, уселся вон там, на другой стороне улицы, и стал рисовать эти горшки. Мы побежали туда и примостились рядом. Мы тогда были совсем маленькие, помнишь? А художник заговорил с нами, спросил, как наше имя, фамилия, потом вырвал

из альбома два листка, дал нам их и обещал подарить цветные карандаши тому, кто лучше нарисует эти столбы. Помнишь? Мы, наверно, мешали, и он хотел занять нас, чтобы сидели тихо.

— Не помню. Наверно, ты был не со мной, — сказал Гурам.

— Нет, с тобой.

— Не помню. Да я, наверно, в то время уже и не жил здесь!

— Ну, что ты, когда вы переехали, мы с тобой были уже в восьмом классе... Получилось ли у нас что-нибудь и подарил ли художник нам карандаши, я и сам запамятовал. Но что со мной был ты, это я помню очень хорошо.

— Сказочная у тебя память, — Гурам почему-то чувствовал раздражение. — Тебе порой что-то приснится, а ты после думаешь, что это было наяву.

— Возможно, — сказал Джаба. — Но гораздо хуже увидеть что-нибудь наяву, а потом думать, что это приснилось.

Гурам махнул рукой с безнадежным видом, подразумевая, что острота у Джабы получилась тупая.

Некоторое время они шагали молча. Потом Гурам сказал:

— Пойдем к нам, помоешься у нас в ванной. Дома сейчас никого не будет.

— Я не собираюсь купаться.

— Так ты не в баню? А что это за сверток с тобой?

— Это костюм, о котором я тебе рассказывал. Я отнес его третьего дня, но не застал старика костюмера, узнал, что он болен. И хотел оставить кому-нибудь в театре, но никто не согласился. Вот сейчас несу снова сдавать.

Гурам остановился.

— Да, кстати, ты собирался мне рассказать об этом маскараде... Что-то с тобой случилось там интересное — какая-то незнакомая девушка... Так ты мне говорил... Что же было?

— Да ничего... Ничего особенного.

— Как ничего? — Гурам резко повернулся к Джабе и в знак то ли изумления, то ли обиды всплеснул руками. — Что ж, я должен упрашивать тебя, заклинать на-

шей дружбой — ради бога, расскажи, что с тобой было, меня это так интересует, я сгораю от любопытства и так далее?

— Нет, зачем же упрашивать? Если хочешь, расскажу.

«Рассказать? А ведь эта девушка, наверно, никому не рассказала... И, будь она здесь, наверно, попросила бы ничего не говорить Гураму... Рассказать?»

Джаба рассказал все от начала до конца.

— Больше я ее не встречал, — заключил он.

Гурам молча шагал, глядя в землю перед собой, — казалось, он все еще слушает.

— Невероятно! — вынес он наконец свой приговор и взглянул на приятеля.

— Почему невероятно? Что ты хочешь этим сказать? Все так и было, как я...

— Сказка, фантазия... Если хочешь — приму как сказку, а нет, так... — Он покачал головой, всем своим видом говоря: «Не верю».

— Как угодно. — У Джабы рвались с языка резкие слова, но в последнюю минуту он заменил их другими: — Мне безразлично.

— Верю, что все случилось в точности так, как ты говоришь. Но заключения твои фантастичны. Девушка заплакала оттого, что она некрасива, — нет, этому невозможно поверить.

— Она не каждый вечер плачет по этой причине. Случай был особый.

— Видишь ли...Скажи самой некрасивой, попросту уродливой женщине, что она ангел, что ты впервые в жизни видишь такую красоту, — и она ни на мгновение не усомнится в твоих словах... Они все кокетки, все считают себя красавицами.

— Отчего же эта девушка заплакала?

— Почем я знаю? Но такие потоки слез, какие ты мне описал, зря не проливаются.

— Эта девушка так смело заговорила со мной... И почти что объяснилась мне в любви... Так как была уверена, что я никогда не узнаю, кто она. Но я сдернул с нее маску, и бедняжка пришла в ужас от мысли, что она, такая некрасивая, осмелилась заговорить о любви...

— Любая красивая девушка тоже пришла бы в ужас.

— Красивая девушка вообще не заговорила бы со мной, и я не мог бы тебе ничего рассказать. А моя незнакомка, должно быть, готова была провалиться сквозь землю от стыда. Она ждала, что я буду насмехаться над нею, раззвоню об этом происшествии по всему городу.

— Похожа она была на влюбленную? Или тебе показалось?

— Не знаю... Но чувствую, что сейчас она меня ненавидит.

— Нет, тут что-то совсем другое. Только не могу понять, что, собственно, произошло. Пока ты рассказывал, я все ждал: вот сейчас девушка снимет маску, и ты удивишься: «Так это ты, Лия?», или «Это ты, Мзия?», или «Этери», или еще кто-нибудь. Но вышло по-другому. Если ты от меня ничего не скрыл, то, значит, сам в тот вечер не заметил чего-то важного, в чем и было все дело. Некрасивое лицо тут ни при чем. Девушки из-за этого не плачут... Ты дальше пешком?

— Да, пойду потихоньку. — Джаба показал в сторону спуска Элбакидзе.

— А мне надо разыскать тут один адрес... Поручили в Москве передать письмо — до сих пор не собрался. Ну, я пошел. Звони.

Джаба зашагал вдоль высокого деревянного забора, поставленного здесь недавно. Вплотную к забору были проложены мостки. За забором была шахта — здесь строили станцию метро. Время от времени грохот ссыпаемых в огромный бункер влажных скалистых обломков, извлеченных из глубины земли, оглушал окрестность.

Вдруг он услышал, что Гурам зовет его, и обернулся. Гурам торопливо шел за ним вдогонку, знаками показывая, чтобы Джаба остановился и подождал его. Видно, ему очень не терпелось сообщить приятелю только что пришедшую на ум мысль. Он заговорил еще издалека:

— Знаешь, что я думаю? Ты хорошо рассмотрел лицо этой девушки?

— Конечно. Иначе откуда я знал бы, что она некрасива?

— Она ведь плакала. А от этого иной раз и краса-

вица покажется уродом. Кроме того, вы были в темном парадном.

— Ну и что? — Джаба почему-то пришел в волнение.

— Девушка тебя знает.

— Это она мне сама сказала.

— И когда ты сдернул с нее маску, она испугалась, решив, что и ты ее узнал.

— Что я ее узнал? Глупости!

— Возможно, — Гурам повернул назад и быстро пошел прежней своей дорогой, точно хотел наверстать потерянные время и расстояние.

«Все такой же... Только время вставило маленькую коробочку в большую и закрыло крышкой. Пройдет несколько лет, и время вложит эту новую коробочку в другую, еще большую».

И он тут же пожалел, что подумал так о друге детства.

В последние дни Джаба изменился. Что-то тревожило его, а что именно, он не мог понять. Быть может, возвращение Гурама вызвало в нем эту перемену? В течение последних пяти лет они виделись несколько раз, но эти свидания были как две капли воды похожи на встречи и беседы школьных лет; оба, казалось, сохраняли детские заботы и интересы, радовались и огорчались тому же, что в детстве радовало и огорчало их. Но на этот раз Джаба заметил, что Гурам говорил о своей профессии уже не так беспечно и не так вскользь, как раньше. Когда Гурам начинал рассуждать о фильмах, о киносъемке, Джаба чувствовал, что друга его волнует каждое слово, каждая услышанная или высказанная им самим мысль, — словом, что Гурам всей душой полюбил избранное им дело. А для Джабы работа была тем же, чем когда-то школа, только раньше он выполнял домашние задания, а теперь писал очерки и вместо отметок приносил матери зарплату.

Быть может, это головомойка, недавно устроенная ему редактором, привела Джабу в дурное настроение... Да тут еще, заодно к редакторским упрекам, присоединилась встреча с Гурамом... Тот ведь и сам, как воплощенный упрек, предстал вдруг перед Джабой на улице.

А тут еще и третий упрек... от той девушки! Этот, последний укор было труднее всего вынести.

«Я должен найти ее, непременно! Однако с чего это Гураму взбрело в голову, что я должен был ее узнать?»

Никалы и на этот раз не оказалось в театре. «На бюллетене!» — объяснила Джабе дежурная. Ящик ее стола был наполовину выдвинут, а в ящике разложен завтрак — дежурная жевала, не раскрывая рта, и старалась незаметно двигать челюстями. Внезапный телефонный звонок прервал ее занятие. Она поспешно проглотила кусок и подняла трубку.

— Слушаю... — Она не успела вытереть руку и держала трубку двумя пальцами. — Позвоните администратору, пожалуйста...

Окончив разговор, она снова повернулась к Джабе:

— Нет, я не могу оставить костюм у себя, еще, чего доброго, потеряется, и у меня вычтут стоимость... Вот поправится Никала, ему и отдадите.

— Так я, пожалуй, позвоню к вам дня через два-три.

— Да, пожалуйста, позвоните, если даже буду дежурить не я, вам скажут, здесь ли Никала... Чтобы вам зря не приходить.

Выйдя из театра, Джаба завернул в универмаг. Шпага Меркуцио разорвала газету, в которую был завернут костюм, и он попросил у продавщицы в отделе готового платья оберточную бумагу. Девушка в форме с эмблемой магазина положила перед ним на прилавке толстый серый лист. Джаба развернул газету, сложил поаккуратнее бархатный костюм.

— Извините, пожалуйста, где вы это достали?

Джаба обернулся. Дородная женщина с двойным подбородком стояла рядом. Джаба ничего ей не ответил, только нарочно развернул еще раз старинное одеяние, расправил узкие, тесные рейтузы — думал, что женщина разочаруется и отойдет, но не тут-то было.

— Какая прелесть! — Женщина проглотила слюну.— Сколько заплатили? Купили с рук или из-под прилавка? Где?

Джаба огляделся с таинственным видом и шепнул еле слышно:

— У Никалы.

— У Никалы? Что вы говорите! — Женщина сделала вид, что все поняла, повернулась на каблуках и исчезла. Лишь на мгновение вместо двойного подбородка мелькнул перед Джабой ее жирный затылок.

В универмаге было полно народу. Людской говор и шум сливались с голосами радиорепродукторов в однообразное гуденье. Где-то в городе разыгрывалась вещевая лотерея, и диктор, ведущий репортаж, торжественно объявлял номера счастливых билетов, как бы переживая волнение за их обладателей, скорее всего не подозревавших о своей удаче.

А у кассы образовалась длинная очередь. Стоявшие в ней покупатели шумели, возмущались, ругали кассиршу, но та, ни на кого не обращая внимания, проворно нажимала клавиши кассового аппарата, крутила ручку и замирала, к чему-то прислушиваясь. Джаба заметил свисавшую из аппарата, завернувшуюся спиралью ленту необорванных чеков; на каждом стоял номер одного из тех счастливых билетов, на которые выпали крупные выигрыши в денежно-вещевой лотерее. Кассирша составляла для каких-то непонятных собственных нужд список выигрышей, полученный из первых рук. Радиорепродуктор объявлял все новые и новые номера выигрышных билетов, и чековая лента вылезала из аппарата, становилась все длинней, так же как очередь перед кассой.

Было семь часов вечера. Над городом проплывали облака, окрашенные в алый цвет косыми солнечными лучами. Джаба не знал ничего прекраснее — невидимые лучи заходящего солнца скользили в огромной пустыне неба, ничем не выдавая своего присутствия, и вдруг, столкнувшись с белым облаком, вспыхивали алым пламенем, сгорали в жарком поцелуе, словно запевая безмолвную песню о том, что белое облако еще раз утвердило их веру в собственное существование, что, не встань оно на пути, солнечные лучи так и не осознали бы своей красоты, так и стремились бы без цели вдаль в бесконечной, безжизненной вселенной. А тут их вдруг остановила земля, белый ее вздох, и облако нежилось, красовалось, потягивалось в истоме, точно и увертывалось от солнечного луча, и раскрывалось на-

встречу ему, точно и стыдилось этого разлитого багрянца и радовалось.

Завтра в той же части неба, на той же высоте разляжется другое облако, окутается сиянием другого луча. Но сейчас прекраснее этого облака нет ничего на свете!

Когда автобус переезжал по мосту через Куру, Джаба выглянул в окошко и увидел внизу, в речных волнах, отблеск алого неба, — наверно, это было то самое облако.

Он сошел с автобуса у Дворца правительства, пересек проспект и свернул налево. В картинной галерее со вчерашнего дня была открыта выставка, посвященная 39-й годовщине Октябрьской революции. Нынче утром редактор просил Джабу зайти на выставку и наметить картины, репродукции с которых можно было бы поместить на обложке журнала. Джаба не занимался цветной фотографией, съемку предполагалось поручить другому сотруднику.

Джаба шел быстро, перекладывая сверток с костюмом Меркуцио из одной руки в другую. Он хотел прийти домой пораньше и засесть за дело. Завтра он должен был представить редактору план своей работы: на какие темы он напишет очерки, в какие места поедет в командировку. Надо было придумать немало таких тем, чтобы редактор, после тщательного отбора и отсева, оставил хоть две или три.

Он поднял голову — и вздрогнул. Ноги его словно приросли к тротуару. У входа в Парк коммунаров стояли группой парни подозрительного вида. Они вызывающе глядели на Джабу. Видимо, они уже раньше заметили его и, не двигаясь с места, дожидались, чтобы он подошел поближе. Среди них был тот самый вор, которого Джаба снял в управлении милиции полгода тому назад. Фотография эта была напечатана в журнале в качестве иллюстрации к интервью с начальником следственного отдела.

«Узнал! — У Джабы задрожали колени. — Отбыл срок? Так скоро? Или выпущен на поруки — лечиться?» Джабе вспомнились ампулы морфия на столе перед следователем.

Джаба чуть было не повернул назад, сделав вид, будто вдруг решил сесть на троллейбус или увидел зна-

комого на другой стороне улицы. Но что-то помешало ему бежать, он не решился проявить перед самим собой столь очевидную трусость. В особенности же ему не хотелось выказывать страх перед этими парнями — пусть уж лучше его убьют, чем заметят, что он боится.

И Джаба продолжал путь. Он даже поднял голову повыше и заставил себя посмотреть в ту сторону, чтобы сразу пережить минуты страха и покончить с ним. «Это тоже уловка, маленькая трусость», — подумал он.

— Друг... На минутку!

Он повернулся, как зачарованный; не ускоряя и не замедляя шага, подошел к ним. Сердце у него бешено колотилось.

— Афо! — сказал один из компании, приземистый, с выкаченными глазами, и, засунув руки поглубже в карман плаща, мотнул головой в сторону Джабы: — Это он?

— Да, он, я же тебе еще вчера его показывал, — ответил Афо, тот самый, чье фото было напечатано в апрельском номере «Гантиади», и обхватил руками бронзовый пушечный ствол, врытый в землю наподобие столба.

Вдруг Джаба услышал свистящий звук. Приземистый держал в руке длинный, гибкий стальной прут — ружейный шомпол.

«Изобьют в кровь!»

— Пойдем! — сказал приземистый и еще раз взмахнул шомполом — стальной прут со свистом рассек воздух.

Вся компания лениво, вразвалку направилась к воротам сада — никто, видимо, не сомневался, что Джаба пойдет следом.

«За человека считают!»

Джаба прошел мимо пушек. В здании картинной галереи когда-то помещался военный музей. Он был обведен по фасаду решеткой из трофейных пушек, отнятых у неприятеля русско-грузинскими войсками. Решетки давно не стало, сохранились только две пушки. Сколько раз Джаба подростком ходил вокруг них, нагибаясь и разглядывая персидские и турецкие надписи, чтобы вычитать среди вязи букв хотя бы дату.

Он ощутил прилив мужества, поднял голову и, го-

пая, зашагал по дорожке, посыпанной толченым кирпичом.

Компания остановилась у садовой скамейки, заслоненной раскидистыми елями («Это их обычное место»). Приземистый сел. Остальные стояли, поджидая Джабу. Джаба переложил сверток с костюмом из одной руки в другую, достал из пачки сигарету и жестом попросил одного из парней, долговязого и небритого, дать ему прикурить. Мелькнула мысль, что это — подсознательно рассчитанное действие: вечно бодрствующий инстинкт самосохранения пытается нащупать пути к примирению. Вдруг он почувствовал, что у него дрожит подбородок и сигарета предательски прыгает во рту. Он быстро выхватил ее, смял и отбросил в сторону. Рука небритого, протянувшаяся к нему с горящей сигаретой, так и застыла на весу.

— Афо! Начинай, — сказал главарь шайки и слегка похлопал себя шомполом по ноге.

«Только не сопротивляться! Надо уйти живым!»

— Ну, что я скажу этому пижону, Свинка-джан! — пожаловался атаману Афо, сплюнул и подошел к Джабе вплотную, так, что уперся в него животом. Неподвижный взгляд его стеклянных сомнамбулических глаз заставил Джабу вздрогнуть.

Поодаль на дорожке показался пожилой, седой человек.

— Помиритесь, молодые люди, помиритесь, — сказал он с улыбкой и прошел мимо.

— Ну, так действуй! — посоветовал приятелю Свинка.

Афо внезапно ударил Джабу в лицо каменно-твердым кулаком. Удар был коварный и неожиданный. Джабе показалось, что голова у него сразу распухла и продолжает раздаваться вширь. Это было первое, мгновенное ощущение — и тут же что-то теплое залило ему губы: из носу хлынула кровь.

...Афо барахтался на земле; он несколько раз приподнялся, но не мог встать. Сильным и быстрым был ответный удар Джабы.

Вдруг перед Джабой блеснули выкаченные глаза, стальной прут просвистел в воздухе, словно летящая пуля, и обжег ему лопатку. Удар сопровождался натужным выдохом — так ухают, когда рубят топором суко-

ватый пень. Второй взмах, второй удар — такой силы, что рука у бьющего, казалось, оторвется. Чтобы уклониться от третьего удара, Джаба пригнулся, встал на колени.

Тут случилось нечто поразительное. Джаба услышал — глаза у него были зажмурены, — как вся шайка внезапно сорвалась с места и прямо через кусты и газоны пустилась наутек. «Милиционер», — подумал он. Он открыл глаза — вокруг никого: ни милиционера, ни воровской братии. Все исчезли — какая-то неведомая сила подняла на ноги и увлекла прочь даже Афо. В саду царила тишина — только шуршали под коленями у Джабы сухие листья.

Джаба посмотрел вокруг — и вдруг затрясся от смеха. Тотчас же жгучая боль пронзила его. Джаба застонал и осторожно провел рукой по горевшей лопатке. Он стонал и смеялся, смеялся неудержимо, а в глаазх у него стояли слезы от боли. Перед ним на земле сверкала шпага Меркуцио, до половины выскользнувшая из ножен.

Когда Афо ударил его, сверток вывалился у Джабы из рук. Это он ясно помнил. Нанося ответный удар, он наступил на пакет и разорвал оберточную бумагу — костюм развернулся у него под ногами. А когда он присел, чтобы уклониться от удара шомполом, ворам, должно быть, бросился в глаза блестящий клинок на земле у его ног, и они сразу разгадали «коварный замысел» Джабы. Все они, конечно, были с ножами. Но что ножи против чуть ли не метровой шпаги!

«Бедняги! Конечно, это был бы неравный бой!»

Джаба все смеялся — теперь уже тихо, про себя, смеялся от радости. Вот уж в самом деле — счастливое избавление! Он стоял на коленях, словно молясь, и старательно заворачивал в рваную бумагу доспехи храброго Меркуцио.

Дома он нашел дверь незапертой: мама, должно быть, вышла к соседям. Джаба поднял майку и посмотрел в зеркало через плечо на свою спину. Правая лопатка была пересечена прямой, темной полосой. При виде этой вздувшейся полоски Джаба почувствовал боль с новой силой. Он помазал лопатку одеколоном. Рука выше локтя была опоясана другой полоской —

точно красной повязкой. Ее Джаба не удостоил вниманием. Он оделся, зажег сигарету и распахнул настежь окошко в покатом потолке, чтобы запах одеколона поскорее выветрился.

Сейчас придет мама, спросит, был ли он в райисполкоме, узнал ли, когда им дают квартиру. Каждое лето с первыми жаркими днями матерью овладевает переездная лихорадка: все ее мысли заняты новой квартирой, она раздражается по пустякам, жалуется, клянет свою судьбу. Но вот приближается зима, зной и духота на чердаке у них сменяются прохладой, и мама забывает о летних горестях: сидит перед гудящей железной печкой, протянув к огню увядшие руки, и ни о чем не тужит, вполне довольная жизнью, сыном, квартирой... И так до нового лета, до новой жары.

Джаба сел за стол, достал из ящика чистую бумагу. Выставку он не успел осмотреть, не выполнил поручения редактора. Надо хоть составить план работы. Завтра на совещании редактор потребует, чтобы каждый сотрудник представил ему такой план.

Давно уже у Джабы родилась одна идея — наметка репортажа. Что, если проделать с солнцем путь от восточной границы Грузии до Черноморского побережья? Следовать за солнцем и описывать и снимать на пленку все, что встретится по дороге. Корреспондент и солнце вместе пустятся в дорогу из Кахетии, вместе проделают все путешествие и завершат его на западе, у моря. Скорость и маршрут обоих будут одинаковы. Грузия ведь страна одного дня пути, ее всю можно проехать от восхода до заката, хотя, впрочем, для солнца таковы и самые обширные страны мира и даже вся земля. Солнце равно оделяет всех своим теплом и светом, безбрежному морю и маленькому озеру, высочайшей горе и крохотному холму одинаково дарит утро и вечер. И с какой изумительной точностью чувствует солнце расстояние! Не подходит к земле слишком близко, чтобы не сжечь ее дотла, и не удаляется настолько, чтобы земля оледенела. Соблюдает дистанцию солнце, знает, как далеко или как близко от земли надо ему держаться. А люди не знают — и порой отдаляются друг от друга так, что у них леденеет сердце. По пустячному, смешному поводу могут оттолкнуть ближнего...

...Как же все-таки вышло, что он стукнул этого Афо? А ведь решил было твердо, что рукой не пошевельнет, ведь не сомневался, что, если попробует сопротивляться, его убьют. И все-таки ударил! Нет, это не кулак Афо помрачил ему сознание, ответный его удар не был реакцией на острую боль. Низость Афо, лисья его повадка — вот что решило дело. Как подло подобрался он к Джабе, весь разболтанный, расслабленный, словно и руки не мог поднять, словно и не собирался сводить с Джабой счеты, и даже захныкал: «Ну, что я скажу этому пижону?» И вдруг весь собрался, напрягся, как пружина, и выбросил вперед каменный кулак. Вот это коварство, это истинно воровской подвох и вызвали в Джабе взрыв ярости. Афо во что бы то ни стало нужно было показать перед товарищами свое молодечество, он должен был действовать наверняка... Ну и получил сдачи.

...Нет, из «Солнечного репортажа» ничего не получится. Он не представляет себе, как все это осуществить. И все же внесет в свой план — Георгий иногда умеет придать теме неожиданный, удивительный поворот.

О чем или о ком еще можно написать очерк?

Может быть, о профессоре Руруа? Жизненный путь грузинского ученого... Детство... Начало... Революция, победа советской власти в Грузии, первые достижения... Может оказаться интересным... Но может и не оказаться... Обыкновенная, спокойная жизнь без каких бы то ни было событий, ничего лакомого для журналиста. Но вот это... Вдруг забрал стихи, которые сам же принес в редакцию... Почему? Просто так, без причины?

...Нет, дело не только в шпаге, шпага, собственно, тут не главное... «Главное то, что я смело пошел за ними, не испугался и даже сигарету достал — был расположен курить, — а потом мгновенно ответил ударом на удар... Вот они и подумали: «Этот, видно, на все способен». Немножко они, должно быть, трусоваты... Впрочем, они вообще, конечно, трусы, страх ведь, наверно, постоянный их спутник... когда они обделывают свои делишки... Да ну их!..»

Что еще?

«У нас ничего нет о новостройках», — каждый день повторяет Георгий. Но что можно написать о строи-

тельстве? Сдано столько-то квадратных метров жилплощади... Столько-то людей получило новые квартиры... Сухо. Как давеча говорили в автобусе? Джаба ехал по улице Павлова. Длинноносый человек, с темным от загара лицом, смотрел в окно на улицу и рассказывал спутнику:

«Совсем недавно я охотился в этих местах на диких уток. Вон там было болото. Однажды я завяз в грязи — спасибо, крестьяне вытащили».

— Ну и вонищу развел! — услышал Джаба голос матери, вошедшей так, что он не заметил.

— Я расцарапал ногу и смазал ранку одеколоном. — Джаба повернулся к матери вместе со стулом.

— Был у Зибзибадзе?

— Был. Не застал, — еще одна ложь сорвалась с языка у Джабы; он повернулся обратно к столу. — Сказали, что уехал на стройку. Сегодня в райисполком уже не вернется.

— Утром надо к нему явиться. Эти люди больше часу не могут на месте усидеть.

— Завтра непременно пойду. Разбуди меня пораньше.

Нино сняла с швейной машины катушку черных ниток и вышла.

— Что это нынче с тобой — так рано уже дома? — донеслось через дверь до Джабы.

Он встал, еще раз вздернул рубаху, майку и посмотрел в зеркало на свою спину. Полоса вздулась и совсем почернела.

«Завтра, наверно, заболит еще сильней. Не окажись на мне пиджака и плаща — лежал бы я сейчас в больнице».

Джаба закурил сигарету, заложил руки в карманы, вышел в коридор, свернул налево в узкий пожарный проход к чердачному люку-окошку и высунул в него голову. Заречная, левобережная часть Тбилиси была видна отсюда как на ладони. За мутно-желтой Курой убегали вдаль улицы, толпились дома, позолоченные солнечными лучами. Тень от дома Джабы покачивалась внизу, на речных волнах — где-то посередине этой тени, в глубине, качался и сам Джаба. Оглушительно гудела тепловая электростанция на противоположном

берегу, изливая через чугунную трубу в реку кипящую воду. Все новые и новые порции сжатого пара, изрыгаемые трубой, обрушивались, как яростные кулаки, на облака, клубящиеся над поверхностью реки, и рассеивались в пространстве.

Высокая кирпичная труба электростанции навела Джабу на мысль о тбилисских утрах. Сколько раз думал он о человеке, который приводит в действие заводской гудок на заре, сообщая всему свету, что Тбилиси вступил в новый, очередной день своей жизни. Вот об этом человеке можно было бы написать очерк! Как знать — быть может, давать первый утренний гудок считается такой почетной обязанностью, что это дело поручают только избранным, заслуженным рабочим? А может быть, сами предприятия, заводы и фабрики соревнуются, чтобы завоевать право первого гудка? Впрочем, вполне возможно, что гудками ведает автомат, подключенный к часам...

Сколько раз, подростком, Джаба тайком убегал из дому на Куру. Однажды он чуть не утонул, — по счастью, его спас один взрослый парень, вытянул из водоворота, словно головастика, и дотащил на себе до берега. Не случись тогда рядом этот парень, Джабы не было бы в живых. Может быть, среди этих взрослых парней, что ходили на Куру купаться, был и Афо? Может, он даже учил Джабу плавать? Нодар плавал лучше, чем Джаба. А Гурам только плескался у самого берега. Однажды товарищи забросили его школьный ранец на середину реки...

«Классный журнал! — мелькнуло у Джабы в голове. — Почему я до сих пор о нем не вспомнил?»

Он вернулся бегом в комнату и достал из ящика письменного стола старый классный журнал в истрепанной обложке.

«1942/43 учебный год, класс 10-б».

Джаба раскрыл журнал.

«Абашидзе Нана.
Болквадзе Тариэл.
Бендукидзе Гайоз.
Гветадзе Тамаз.
Горделадзе Мзия».

. . . .

«Вот если бы разыскать их всех! Где они, что сейчас делают... Отчего после урока немецкого языка 26 октября 1942 года в журнале появилось двенадцать двоек? Вот это был бы в самом деле интересный очерк».

Задумчиво насвистывая, Джаба уложил бумаги в ящик стола, сел за пианино и начал импровизировать. Впрочем, импровизация становилась все более похожей на какую-то знакомую мелодию. Так бывало всякий раз, когда Джаба принимался «сочинять» музыку.

Никто ведь не помнит своего рождения. А Джаба помнит. Он родился четырнадцати лет, в зале оперного театра, во время исполнения увертюры «Тангейзера». Он сидел вместе с Нодаром в боковой ложе одного из верхних ярусов. Вышел дирижер, поклонился публике, взмахнул палочкой — и Джаба взлетел. Он прошел сквозь стены, как звук через тонкую перегородку, и взмыл в поднебесье. Бесчисленные фонтаны били из земли, нигде не было видно ни домов, ни лесов, ни гор. Белой пеной возносились в небеса кипящие струи фонтанов, и над ними в прохладном тумане плавал Джаба. Откуда-то доносился нежный женский голос. Джаба чувствовал, что обладательница этого голоса следит за ним, и это причиняло ему неизъяснимое наслаждение.

Позднее он рассказал Нодару о своем музыкальном сне наяву. Он боялся, что Нодар посмеется над ним, но ничего подобного не случилось. Как они оба полюбили музыку! Как жалели, что не учились ей с детства. Все больше увлекались они музыкой, и чем жаднее пили ее волшебный напиток, тем сильнее становилось сожаление. Они считали, что им поздно учиться, что музыкантов из них уже не выйдет, нечего надеяться, но потом где-то вычитали, что Вагнер в шестнадцать лет не мог назвать ни одного музыкального интервала, и необычайно обрадовались — решили, что не все еще потеряно. В фортепианный или скрипичный класс их, конечно, уже не могли принять, духовые инструменты они отвергли сами — и в конце концов остановились на виолончели. Соседка, служившая в опере кассиршей, сводила друзей к Капельницкому. Старый музыкант стал проверять у Джабы слух и чувство ритма: постучал карандашом по крышке рояля и велел ему повторить. Джаба в точности повторил ритмическую фигуру. От

усердия он так громко стучал карандашом, что Капельницкий засмеялся и сказал ему: «Из тебя выйдет отличный ударник».

Джаба сыграл одной рукой лейтмотив «Тангейзера». До сих пор ему не приходило в голову подобрать эту музыку на фортепиано; он играл почти все, что слышал и запомнил, хотя и упрощенно, так что настоящий музыкант, пожалуй, только пожал бы плечами по поводу его упражнений, а вот «Тангейзера» никогда не пытался разобрать. И никогда не попытается: его неловкие, медлительные, земные пальцы не смогут воспроизвести эти неземные звуки, поющие в его душе, не смогут воплотить их в физическом явлении. Он не может коснуться бесчисленных пенных струй, взвивающихся к небу, рассыпающихся легким туманом.

В тот вечер, укладываясь спать, он неловко повернулся в постели и чуть не вскрикнул от острой боли: точно его еще раз огрели шомполом по спине. К счастью, он сумел удержаться — не то, наверно, напугал бы маму до смерти.

Он закрыл глаза и сочинил такую историю.

В кафе вошел высокий, худощавый человек в шляпе, с небольшим черным чемоданом в руках. Человек сел за стол, просмотрел меню, позавтракал и ушел. Джабе показалось, что человек этот захватил с собой меню, а вместо него оставил другое. Джаба вскочил, выбежал на улицу за подозрительным посетителем. Незнакомец заметил, что за ним гонятся, и ускорил шаг. Он свернул с проспекта на улицу Джорджиашвили, спустился по ней, пошел по поперечной улице Дзнеладзе, потом нырнул в узкий переулок, ведущий к улице Броссэ. При этом он все время оглядывался назад, и лицо его все больше бледнело от волнения. Вдруг он повернулся и выстрелил в Джабу из револьвера, Джаба повалился на тротуар. Вокруг не было ни души... Еще минута, еще одна короткая минута, и Джаба испустит дух. Он посмотрел на часы: секундная стрелка быстро скользила по кругу, перескакивая от деления к делению. У Джабы перехватило дыхание. С трудом открыл он сумку фотоаппарата и в ту самую минуту, когда убийца готовился скрыться за поворотом, — щелк! — спустил затвор, сделал снимок — и умер. Сбе-

жались люди. Джабу подхватили на руки. Мама рыдала, рвала на себе волосы, плакали Гурам, Нодар, сотрудники редакции, редактор. Джабу похоронили. Прошло несколько месяцев. В редакцию на место Джабы приняли другого. Фотоаппарат Джабы достался новому сотруднику. Тот проявил пленку, оставшуюся в аппарате, напечатал снимки... Последний кадр показался ему любопытным и странным: какой-то человек бежит по улице, в руке у него маленький чемодан. Сотрудник показал фото редактору. Георгий передал снимок в Министерство госбезопасности. Снимок размножили и разослали по всему Советскому Союзу. В конце концов этого человека арестовали в Москве: он оказался иностранным разведчиком, диверсантом. Вслед за ним органы госбезопасности схватили целую банду.

«Джабе Алавидзе за проявленную им храбрость и самоотверженность в деле защиты Родины посмертно присвоить звание Героя Советского Союза».

Георгий задержал печатание подписанного номера «Гантиади», чтобы поместить на первой странице указ о награждении...

Джаба спал. А солнце, вместе с которым он собирался проделать путешествие по Грузии, сияло сейчас над островами Тихого океана и, как всегда, в точности соблюдало расстояние, на котором ему полагалось находиться от земли.

ОБЫКНОВЕННОЕ НАЧАЛО

— Что ты, нельзя упустить ее, может, она больше никогда не попадется мне на глаза! Я уже целую неделю разыскиваю эту девушку. — Гурам задыхался. Он шел быстрым шагом, почти бежал и с трудом удерживался от желания пуститься бегом.

— Смотри, напугаешь ее, закричит, народ сбежится! — предостерегал Джаба протискивающегося в толпе прохожих приятеля, едва поспевая за ним.

— Не успеет испугаться! Ты не знаешь — слово «кино» действует на женщин завораживающе.

— Сказал бы ей в троллейбусе.

— Вот тогда она оказалась бы в неловком положении. Сейчас она одна.

— Нет, не одна — с ней какой-то человек. Наверно, отец.

— Тем лучше. Ну, идем, идем быстрей!

Но тут Гурам вдруг сам остановился — Джаба с ходу обогнал его.

— Стой! — Гурам схватил его за руку.

Джаба посмотрел вперед. Девушка и сопровождавший ее толстый мужчина остановились перед книжным магазином. Мужчина что-то сказал девушке и исчез в магазине.

— Теперь она совсем одна. Подойдем. — Гурам огладил на себе пиджак, провел рукой по волосам и степенным, неторопливым шагом направился к девушке.

— Я подожду здесь.

Гурам нахмурился:

— Перестань ребячиться!

Девушка была очень красива, так красива, что Джаба испугался. Он точно внезапно наткнулся на сказочное сокровище. И желание овладеть кладом пронизало все его существо. Его даже бросило в дрожь, так как он чувствовал, что никакими усилиями не сможет сдержать, усмирить это жгучее желание, и заранее угадывал все опасности, с которыми было сопряжено обладание столь драгоценным сокровищем.

— Извините меня... И не подумайте, пожалуйста, ничего дурного... Я, видите ли, кинорежиссер... — Гурам, обычно не лезший в карман за словом, на этот раз словно проглотил язык: очень уж хороша собой была девушка.

Дудана смутилась. Она окинула Гурама быстрым взглядом с головы до ног, как бы торопясь выяснить, с кем имеет дело, что за человек перед нею. Потом вдруг осознала, что поодаль, в сторонке, стоит еще кто-то, дожидающийся этого кинорежиссера, посмотрела туда и... почувствовала, что у нее подгибаются колени: это был он... тот самый... тот, кого она встретила на маскараде.

— Простите нас за то, что мы позволили себе... Так бесцеремонно, посреди улицы... — собравшись с силами, вновь заговорил Гурам. — Но у нас не было иного выхода... Если вы ничего не имеете против, зайдите на

днях ко мне в киностудию... Спросите режиссера Гурама Тортладзе и...

— В киностудию?

«В киностудию», — отозвалось где-то внутри у Джабы, словно зазвенела резонирующая струна. И он подумал, что никогда, никогда не сотрутся в его памяти этот голос и это изумленное девичье лицо.

— Я собираюсь ставить фильм, — заявил Гурам таким тоном, как будто каждый обязан был с этим считаться. — И думаю, что вы идеально подходите для главной роли.

— Я... я не артистка, — сказала Дудана, как бы сочувствуя Гураму по поводу его невольной ошибки и сожалея, что вынуждена эту ошибку исправить.

— Это не имеет значения. Если хотите, дайте мне ваш адрес, и я сам вызову вас на студию, когда придет время.

— Что вы, как можно, я не могу, я не подхожу, я нисколько...

— И слышать ничего не хочу! Джаба, что ты молчишь, скажи что-нибудь!

Джаба подумал, что Гурам зовет его знакомиться с девушкой. Поведение приятеля казалось ему порядком-таки нахальным. Он подошел и протянул девушке руку:

— Джаба.

Дудана вспыхнула, растерялась, посмотрела куда-то вдаль, мимо Джабы, и подала ему свою:

— Дудана.

— Однако ты не теряешь времени. — В голосе Гурама звучал укор; потом он усмехнулся: — Может, и меня представишь?

— Знакомьтесь! — как бы подхватил шутку Джаба, но тут же криво улыбнулся, покраснел и сказал ворчливым тоном, хотя и сознавал, что объяснения излишни: — Должен же я был сначала назвать себя! Ты сам просил, чтобы я сказал ей...

— Так говори же!

Гурам кокетничал, незаметно — и, быть может, бессознательно — старался выставить себя перед Дуданой в выгодном свете, так, чтобы она поняла и оценила различие между ним и Джабой.

— Что мне сказать, — Джаба вдруг почувствовал,

что вырвался сам у себя из рук и понесся куда-то; и этот несущийся вскачь его двойник бездумно ляпнул:— Спросить меня, так я бы посоветовал ей близко не подходить к киностудии.

Гурам издал какой-то неопределенный звук и чуть не целую минуту сверлил Джабу неподвижным взглядом. Потом махнул рукой, словно отстраняя от себя, как нечто призрачно-нереальное, Джабу с его непрошеным мнением, и повернулся к Дудане:

— Простите его, с ним бывает такое иногда...

— До свидания! — проговорил Джаба, покраснев до ушей, и поклонился Дудане; потом постучал пальцем по стеклышку часов у себя на руке: — Мне пора... Опаздываю в редакцию. — Он круто повернулся и пошел по улице.

У Гурама, казалось, иссякла самая способность изумляться.

Джаба шел, чувствуя на себе провожающий взгляд обоих — Гурама и девушки; ему стоило огромного усилия не сбиться с ноги.

Так было всегда — и так оно сейчас: стоит Джабе — а бывает это в редчайших случаях — противопоставить чужому мнению свое, как ему кажется, что весь мир перевернулся, что он совершил бог весть какой грех и смертельно обидел того, с кем оказался не согласен. А вот с Джабой соглашались, принимали его мнение не часто. Каждый защищает собственную точку зрения, все считают себя оскорбленными, как только натолкнутся на противоречие, — все, кроме Джабы...

Какое удовольствие испытывает Гурам, когда ему поддакивают, даже голос у него становится тверже! И за другими замечал то же самое Джаба. Ну, а ему, Джабе, никто, кажется, не стремится доставить удовольствие. А ведь как, бывает, у Джабы забьется сердце, какое ликование овладевает им, стоит ему получить хотя бы самую незначительную поддержку: «Ты прав, Джаба!» или «Это ты верно говоришь!» Целую неделю потом он вспоминает такие маленькие триумфы. Но подобные минуты выдаются в жизни так редко! Неужели все люди так уверены в самих себе, так дорожат каждой своей мыслью, все равно, правильной или ошибоч-

ной? Если перед Джабой встает истина — он тотчас же готов признать ее, объявить во всеуслышание, что он неправ. Но почему, когда он встречается с заблуждением, у него словно отнимается язык? Почему, если кто-нибудь твердо уверен в своей правоте, Джаба боится поколебать его уверенность? Боится спора, борьбы, столкновения мнений? Быть может, Джаба признает две правды, живет надвое? Одну правду, кажущуюся, провозглашает во всеуслышание, а другую, настоящую, прячет в душе?

«Запрятанная правда... Наверно, потому и бывает иной раз, что меня понесет без удержу! Эта девушка, кажется, чуть с ума не сошла! Что она могла подумать? Небось мечтала с малых лет, что встретится ей на улице кинорежиссер и скажет: прошу вас сниматься в моем фильме. И вот — сбылась мечта, приглашают на главную роль, а тут вдруг встречаюсь я... Отчего я, едва взглянув на нее, уже испугался? Неужели я родился трусом — так же, как иные рождаются храбрецами?»

Джаба ждал лифта. И вдруг перед ним как бы вспыхнули большие синие глаза Дуданы — только Дудана была на экране, в каком-то цветном фильме. Прекрасную дочь султана несут на носилках по городу. Впереди бегут воины-телохранители, размахивают саблями, разгоняют народ, толпящийся на улицах и площадях. Другие воины, лучники, пускают стрелы в окна городских домов, захлопывают ставни, если они где-нибудь приоткрыты. Ни одна живая душа не должна видеть дочери султана, и всякий, кто хотя бы нечаянно бросит на нее взгляд, поплатится за это головой...

«Этот страх, испытываемый мужчиной при виде прекрасной женщины!.. Наверно, истоки его уходят в глубину времен. Прекрасные женщины от века были собственностью сильных: вождей племени, императоров, полководцев... И моим отдаленным предкам любовь таких красавиц доставалась порой ценою жизни. Отчего меня, собственно, взорвало? Как глупо! Может, я просто вдруг застеснялся перед девушкой? Сказал, что не позволил бы ей близко подойти к киностудии, и подумал, что выдал себя этим... Показал, что мне по-

нравилась эта девушка, Дудана... И счел свое самолюбие оскорбленным... Как все-таки смешон мужчина, пугающийся красивой женщины! Это ведь единственное сокровище, присвоение которого никто не поставит тебе в вину. Эта дозволенность, эта свобода, наверно, и рождают страх. Я думаю, что вор так же пугается при виде открытой кассы или беззащитной витрины ювелира, сверкающей золотом и бриллиантами. Его профессия как бы дает ему право завладеть этими ценностями... А самая большая истина — это то, что я сейчас зол на самого себя, на свою глупую бестактность, и выдумываю сам не знаю что...»

Джаба вышел из лифта и направился к своему отделу. В комнате не было никого, кроме Ангии, сидевшего за столом и что-то писавшего.

— У меня к тебе дело, Джаба, — сказал Ангия.

— Слушаю вас!

— Георгий внес две твои темы в редакционный план.

— В самом деле? Какие именно?

— О профессоре Руруа и о старом классном журнале, найденном тобой. На заводе был?

— Был. Закомолдин ушел на пенсию. Ломидзе тоже пенсионер, но регулярно ходит на завод, не может без него обойтись... И думает, что и без него не обойдутся. Я попросил его пойти вместе со мной к Закомолдину, сказал, что хочу снять их вместе для журнала... Они друзья уже сорок три года. Состояли в одной и той же нелегальной организации, потом вместе работали на заводе... И представьте себе, Ломидзе не знал адреса!

— Наверно, побоялся, что по старости не сумеет найти дорогу, и сконфузился.

— Возможно. Впрочем, я не заметил, чтобы его умственные способности были ослаблены.

Джаба вышел на балкон, схватился за железные перила, поднялся на цыпочки и перегнулся через них — осторожно, очень осторожно, так, чтобы, если понадобится, быстро отскочить назад и скрыться, — а перегнувшись, скользнул взглядом по проспекту вдоль здания, до самого книжного магазина.

Перед магазином не было никого.

Бегство Джабы было так неожиданно, что Гурам растерялся. Он беспомощно разводил руками, что-то бормотал, но ничего связного не мог сказать.

— Простите, мне надо сюда, — сказала Дудана и, не поворачиваясь, стала искать за спиной, шаря, как слепец, ручку магазинной двери.

— И у меня тут дело, — Гурам оправился от смущения и следом за Дуданой вошел в магазин подписных изданий, достав из кармана и выставив перед нею подписную квитанцию.

Бенедикт, разговаривавший в это время с продавцом, случайно обернулся и увидел племянницу.

— Что, заждалась, девочка, а? Сейчас освобожусь и пойдем. — Тут он заметил Гурама. — А это кто, институтский товарищ, а? — Под «институтским товарищем» он подразумевал нечто совсем другое. — Здравствуйте, молодой человек.

— Мое почтение.

— Отчего никогда не пригласишь его к нам, хитрушка?

Дудана слегка покраснела.

— Мы, собственно, только сейчас познакомились, — сказал Гурам.

— Только сейчас? Здорово! Я сейчас приду, подождите меня немножко!

Бенедикт не был пьян, но радостное возбуждение переполняло с утра все его существо. Сейчас, в данную минуту, он не помнил причины огромной радости, испытанной утром, но, по-видимому, в высшей степени материальный закон инерции распростанялся и на его бестелесную душу.

Он снова подкатился к светловолосому продавцу.

— Так что ты мне предлагал?

— Можно Джека Лондона вам устроить, если хотите, — шепнул ему продавец.

— Лондон? Это писателя так зовут?

— Именно.

— А сколько томов?

— Восемь.

— Нет, не годится. У меня Бальзак в двадцати четырех томах! Что мне восемь!

— Больше ничего нет. Стендаль вчера кончился.

— А сколько в нем было?

— Пятнадцать томов.

— Жалко, — проглотил слюну Бенедикт. — Ну ладно, черт с ним, выписывай Лондона.

— Сейчас, — улыбнулся продавец и крикнул кассирше: — Валя, один экземпляр Джека Лондона! — И опять Бенедикту: — В кассу, прошу!

Он вышел, чтобы спуститься в склад, но очень скоро поспешно вернулся в магазин.

— На минутку, уважаемый! — И, не дожидаясь Бенедикта, сам подбежал к нему: — Есть, оказывается, Диккенс, в тридцати томах.

— В тридцати? — Лицо Бенедикта расплылось в улыбке, узкие глазки исчезли в складках кожи и погасли. — Что ж ты меня столько мучил, добрый человек, сказал бы сразу! Вот это удача!

Из узенького, как вход в беличью норку, окошка кассы высунулась рука кассирши, длинные вишневые ногти постучали по стеклу.

— Ну как, выписывать Лондона или...

Продавец отдал соответствующее распоряжение.

Бенедикт засунул квитанцию на тридцатитомного Диккенса в карман и, сияя от радости, подошел к молодым людям.

— Идем, Дудана.

— Я думаю, — начал Гурам, когда они вышли на улицу, — ваш отец ничего не будет иметь против...

— Я не отец, а дядя, молодой человек.

— Ах вот как... — Гурам, растерявшись, адресовался прямо к Бенедикту: — Так вот, я думаю, ваш дядя ничего не будет иметь против...

— Чей дядя, дружок?!

— Ах, извините. — И, чтобы загладить невыгодное впечатление, которое могло произвести столь бессвязное начало, Гурам одним духом выложил все: кто он, где работает, какие имеет намерения вообще и в частности относительно Дуданы. — Таково решение киностудии, — добавил он для пущей важности.

— В актрисы решила податься, девочка? — поднял бровь Бенедикт.

— И не думала, дядя Бено.

Мысли Дуданы вот уже полчаса как заняты одним

Джабой. Как в смутном сне, доносятся до нее голоса Бенедикта и Гурама, и отвечает она также как бы во сне.

— Актеры все нищие и голоштанники, — заявил Бенедикт.

Гурам весь внутренне взъерошился, но счел за лучшее сдержаться.

— Нищим не платят по десять и по двадцать за одну роль.

— Чего — двадцать?

— Тысяч.

— Рублей? — Сердце у Бенедикта сорвалось с места и куда-то укатилось; пальцы его, не спрашиваясь хозяина, обшарили карманы, но нигде не нашли папирос.

— Разрешите предложить, — Гурам протянул ему пачку «Примы» и щелкнул зажигалкой.

Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы Бенедикт надел личину.

— Нет-нет, я решительно против... как дядя... Даже если сто тысяч... Деньги не имеют значения.

— Я уверяю вас, что...

Как нелепо все сцепилось и переплелось... Гурам, сам того не желая, причинил обиду Джабе... Или это Джаба обидел его... И эта девушка ведет себя как-то странно, не говорит ни «да» ни «нет», и дядя у нее — фрукт, нечего сказать! А самое главное то, что Гурам пока не снимает никакого фильма и даже не готовится снимать, у него еще нет сценария. Иначе он быстро добился бы согласия обоих — если бы не это обстоятельство, лишающее его доброй половины энергии и напористости, непременно бы добился. А между тем потерять эту девушку равносильно самоубийству. Не сегодня, так завтра или послезавтра наткнется на нее еще какой-нибудь режиссер и уведет бедняжку... Простодушная, неопытная девушка, почти ребенок... Она и не представляет себе, что существуют на свете ложь, честолюбие, эгоизм, не знает, что пламенные слова, расточаемые мужчинами, зачастую идут от ледяного сердца. Вот она — роль для Дуданы: она прекрасно могла бы сыграть самое себя. И Гурам вообразил героиню фильма, которая легко запутывается в паутине затейливо сплетенных «чувствительных» слов и проходит

мимо настоящей, хотя и не изливающейся в словах любви... А рядом — молодой человек, избалованный, живущий в довольстве и даже роскоши, красивый, но пустой, легкомысленный. И вот жертвой этого ничтожного молодого человека оказывается героиня кинофильма...

Гурам искоса глянул на Дудану. Опустив голову, шагала она рядом с ним. Из-под узкой темно-синей юбки попеременно выскакивали стройные ноги, обтянутые блестящим шелком, и, словно застыдившись, поспешно прятались.

— Сам не знаю, зачем я иду с вами, — передернул плечами Гурам. — Разве что запомню, где вы живете... И через месяц побеспокою еще раз, — может, до тех пор передумаете.

— Я совсем для вас не гожусь... Я даже на семинарах заливаюсь краской, когда приходится отвечать лектору... Подруги надо мной смеются!

— А вы все же приходите. Сделаем пробу — если не получится, уйдете, как пришли.

Бенедикт грузно шагал по улице, как бы рассекая воздух перед следовавшими за ним молодыми людьми, и жадно прислушивался к их разговору.

Сегодня у Бенедикта удачный день. Утром явился Бату и отсчитал ему пятнадцать тысяч, присланные Тартишвили. Бату не терпелось получить свою долю, он долго обхаживал приятеля, плел всякую всячину, подъезжал к нему с разных сторон, но тот сделал вид, что торопится на службу, и все старания Бату оказались тщетными, а попросить комиссионные открыто Бату постеснялся. «Погоди еще, как бы не пришлось возвратить деньги хозяину», — сказал под конец Бенедикт и совсем отнял у него надежду.

Но главной, самой большой удачей дня было то, что случилось после.

Был у Бенедикта в отделе молодой сотрудник, инспектор Рамаз Базишвили. Этот молодой человек из кожи вон лез, выслуживаясь перед начальством, — всячески старался попасться руководству на глаза, всюду совал свой нос, выискивая недочеты; вечно ему надо было что-нибудь исправить, переделать, отменить, дополнить, сократить... Словом, разыгрывал из себя

бдительное око райисполкома. А Бенедикту между тем излишняя бдительность сотрудников была вовсе не с руки. Не раз Базишвили, встревая не к месту, заставлял его краснеть на совещаниях. «По-моему, это дело надо решить так-то и так-то, а вовсе не так, как говорит уважаемый Бенедикт», — заявлял он, и председатель райисполкома, а то и секретари райкома порой соглашались с ним. До сих пор Бенедикт терпел бойкого инспектора, но на днях бдительность Базишвили едва не лишила его этих самых сегодняшних пятнадцати тысяч, и чаша терпения переполнилась. Бенедикт изловчился и проделал хитроумнейший фокус с очередью на квартиру: переместил № 20, Нино Алавидзе, на сто двадцатый номер, а № 236, Я. Тартишвили, — на двадцатый! И никто: ни председатель, ни секретарь—не могли уразуметь, как получился у него этот фокус. Только этот молокосос Базишвили поднял переполох, зашумел: «Понял, понял, как это сделано. Этот фокус не трудно разгадать!» — ворвался в кабинет к Бенедикту и заявил, что список перепечатан с ошибками. Хорошо еще, что он ничего иного не заподозрил! С тех пор Бенедикт все ломал себе голову, как отплатить за этот подвох и вообще, как избавиться от ненужного соглядатая. И наконец придумал! Он послал Базишвили в командировку, в Кутаиси. Какой-то пройдоха умудрился получить по квартире в Тбилиси и в Кутаиси, и Базишвили было поручено расследовать кутаисскую половину этого преступления. Разумеется, не это было главной целью Бенедикта. У Базишвили имелись родичи в Гегути, близ Кутаиси, и Бенедикт разрешил ему заехать к ним, провести день-другой в гостях в деревне, а уж потом заняться порученным ему делом. Базишвили угодил в ловушку, не подозревая об опасности, так как сам же раньше просил отпустить его «на один-два дня» в Гегути.

На следующий день Бенедикт отправил в Кутаиси еще одного инспектора: проверить, на месте ли Базишвили, исполняет данное ему поручение или бездельничает, — такой был дан ему наказ.

Так вот, нынче утром второй инспектор положил Бенедикту на стол аккуратную докладную записку. Она пестрела такими выражениями, как «уклонение от исполнения служебных обязанностей», «подозрительное

поведение», «кутежи и веселое времяпрепровождение»... А еще через два часа сам Базишвили с горячим от волнения лицом ворвался к Бенедикту. «Ну, что я могу поделать, милейший, — сказал ему Бенедикт. — Сам ведь знаешь, какая получится история, если я сейчас покрою тебя, не освобожу от работы...» И — освободил.

Так и не уразумел Базишвили, каким образом проделал Бенедикт этот последний чудо-фокус.

Вот почему Бенедикт считает, что сегодня у него счастливый день. Во всем ему нынче сопутствует удача: вот только что спрятал в карман квитанцию на тридцатитомное подписное издание. И тут же познакомился с товарищем Дуданы. Называет себя кинорежиссером, что-то там плетет про киностудию, про двадцать тысяч... Врет небось молодой человек! Просто понравилась ему Дудана, запала в сердце, и он на все готов, лишь бы заинтересовать Бенедикта.

А может, не врет молокосос? А? Не пригласить ли его туда, к Дудане? Заодно покажется с гостем новым соседям — пусть видят, что он прочно здесь обосновался.

— Подождите меня здесь минутку, молодой человек. И ты подожди, — сказал Бенедикт и направился к дверям «Гастронома».

Гурам слегка склонился перед Дуданой:

— До свидания. Я пойду — боюсь, что успел вам надоесть.

— До свидания, — Дудана подала ему руку и вдруг не удержалась, сорвалось с языка: — Какой он, однако, вспыльчивый, ваш друг!

— Джаба? Не придавайте значения... Он сейчас, наверное, сам уже жалеет.

— В самом деле? Он всегда такой? У меня есть одна подруга, она тоже обычно...

— Да, с ним бывает такое... когда он увидит красивую девушку.

Дудана опустила глаза.

— Он, наверно, подумал, что совершил неловкость по отношению к вам, и рассердился на самого себя.

— И правильно подумал. Я на него обиделся. Ведь я прямо-таки дрожал перед вами, так боялся спугнуть, оттолкнуть вас, а он вам ляпнул такое!..

— Но меня это вовсе не испугало!

— Значит, это я на вас страху нагнал?

— Нет, — Дудана смущенно улыбнулась. — Я только сказала, что не испугалась слов вашего друга.

Они всё держались за руки — пальцы их словно не могли разжаться.

«А ей приятно», — подумал Гурам и мельком посмотрел на длинную, узкую руку девушки. По-видимому, он чем-то — выражением лица или невольным движением — выдал свои мысли, так как Дудана тотчас отдернула руку.

— Вы вместе работаете?

Дудана боялась, что Гурам уйдет и она потеряет след Джабы.

— Нет. Джаба журналист.

«Знаю», — подумала Дудана.

— А я думала, он тоже кинорежиссер.

— Джаба работает в редакции.

«Знаю», — снова подумала Дудана.

Вдруг Гурам увидел Джабу — легок на помине, тот словно возник из-под земли. Пересчитывая мелочь на ладони, он медленно приближался к табачному киоску по соседству. Гурам окликнул товарища. Джаба поднял голову, посмотрел на него и одновременно протянул деньги продавцу. Гурам подошел к Джабе.

— Что ты дуешься, точно маленький ребенок? Постыдился бы перед девушкой!

— Вовсе я не дуюсь, — пожал плечами Джаба. — Откуда ты взял? Просто у меня было дело в редакции, а потом я случайно увидел вас с балкона, пошел следом и вот — нагнал.

Это было правдой только наполовину. В редакции у Джабы не было неотложных дел: зайти к редактору, чтобы сообщить, что очерк о старых друзьях-железнодорожниках не поспеет к ближайшему номеру, можно было и в другое время. Из редакторского кабинета Джаба вернулся в отдел и не вытерпел, снова посмотрел с балкона на улицу. Перед книжным магазином попрежнему никого не было, зато под самым балконом он увидел всех троих — Гурама, Дудану и ее толстяка дядю.

И он вдруг подумал, что жизнь идет своим путем, все

стремятся к своим целям, добиваются исполнения своих желаний, каждый устраивает свои дела, все наперед точно рассчитав и запланировав, и только он один, Джаба висит между небом и землей, вознесенный над житейскими радостями и горестями, и равнодушно взирает с высоты на величественное вращение земного шара, а в ответ каждый континент, каждый город, каждая улица злорадно посматривают на него снизу.

Он поспешно сбежал по лестнице и пустился вдогонку за теми, кого только что так изумил своим нелепым поведением.

Дудана смотрела на здание оперного театра. Губы ее были чуть приоткрыты, между ними виднелись блестящие белые зубы. Она старалась скрыть волнение, и от этого еще явственнее выдавала его. Сейчас она была совсем иной, чем прежде, она словно приехала издалека, из чужой страны, и ей казалось, что любому здесь ничего не стоит отгадать самые тайные ее мысли. Она боялась взглянуть в глаза Джабе, боялась выдать какую-то свою тайну. И Джаба явственно ощутил, как приятен был бы каждый шаг на пути к раскрытию этой тайны.

— Может, вы снова познакомитесь? — пошутил Гурам.

— Где-то там на фасаде, говорят, обозначено, когда построен театр. — Дудана, сделав вид, что не слышала Гурама, показала на оперу. — Я все ищу надпись и не могу найти.

«Точно меня вовсе здесь нет!» — подумал Джаба.

Тут Бенедикт, словно выдавив открывающуюся в обе стороны дверь «Гастронома», выкатился на улицу, нагруженный купленной снедью: колбасой, ветчиной, сардинами и сверх того — двумя бутылками коньяка.

Как только появился Бенедикт, Гурам стал прощаться:

— Всего хорошего! Дайте мне ваш адрес, и через месяц я наведаюсь к вам...

— Ни в коем случае, молодой человек! Ни в коем случае! Зря, что ли, я потратился? Я люблю всех товарищей Дуданы, как родных детей. Хотя сама Дудана и не дочь мне, а племянница, но все же...

— Дело в том, что и мы, собственно, не товарищи

Дуданы, — смущенно улыбнулся Гурам. — Мы познакомились всего полчаса тому назад.

— Это не имеет значения. Во время приема, в служебном кабинете, мне бывает достаточно пяти минут, чтобы узнать совершенно незнакомого человека. Не просит ничего? Понятно, что за человек. Просит? Тем более понятно. Ну, пойдемте. Прошу!

— Прошу! — поддержала его Дудана.

Джабе казалось, что каждое слово этой девушки, каждая ее улыбка, каждое еле заметное движение ее головы неповторимо и обладает каким-то особым, глубоким значением. В каждом произнесенном ею слове был заключен как бы не один только прямой его смысл, но и другой, возвышенный, гораздо более глубокий. Как будто Дудана говорила сначала на ином, высшем языке и лишь потом изучила человеческий... Она и сейчас прекрасно помнит тот таинственный язык, но знает, что здесь, на земле, он никому не доступен.

— Дудана живет тут же, над поликлиникой, — сказал Бенедикт. — Правда, нам придется подняться на четвертый этаж...

На лестнице было темно. Гурам чиркнул спичкой. Следом вспыхнула спичка в руках Джабы, спалила свою порцию мрака. Бенедикт шел впереди — его широкая тень стлалась ковровой дорожкой, изламывалась и складывалась между ступеньками. Вот она раскинулась перед чьей-то входной дверью. Джабе почудилось, что тень сейчас постучится в квартиру, но тут спичка погасла. Снова чиркнули спички, и оказалось, что Бенедикт поднимается по следующему маршу. Теперь непосредственно перед ними шла Дудана.

— Вы не боитесь ходить тут вечером? — спросил Гурам.

— Вы меня спрашиваете? — посмотрела сверху Дудана. — Я сюда вечером ни разу не приходила.

— Не приходили одна?

— Вообще не приходила. Я живу у дяди Бено.

Площадка между вторым и третьим этажами была освещена тусклой электролампочкой. Первой под слабыми ее лучами выплыла из тьмы фигура Бенедикта.

«Напою их слегка... Расспрошу поподробней... Пусть

соседи знают, что я не оставляю Самсона без присмотра...»

Бенедикт миновал лампочку и вместе со своими мыслями потонул во мраке.

Теперь Дудана, всплыв из глубины, очутилась в сумеречно-светлом кругу. В волосы ее вплелись золотистые нити.

«Как дяде Бено хочется, чтобы я жила здесь... Догадываюсь, почему он меня тут поселил. Но я не могу здесь оставаться, боюсь этого несчастного старика... И жалко его. Ни за что не поднялась бы сюда сейчас, придумала бы какую-нибудь причину, но тогда и эти... тогда и Джаба ушел бы...»

Гурам не сводил глаз с прямых, стройных ног Дуданы, которые постепенно закрывала, опускаясь сверху, завеса мрака — словно темно-синяя юбка Дуданы понемногу удлинялась до полу.

«Доверчивая, наивная Красная Шапочка... Встречает на проспекте прогуливающегося Волка... Волк облизывается при виде ее: «Здравствуй, Красная Шапочка!» — «Здравствуй, Нугзар... или Отар... или Шота. Или, если угодно, Гурам!» — «Куда ты так поздно, Красная Шапочка?» — «Домой». — «Я провожу тебя». Они идут вместе. «Я люблю тебя, Дудана!» — говорит Волк в сером костюме. Дудана верит ему. И Волк проглатывает ее. Ее веру в добро... Роль наивной, словно с неба свалившейся, девушки... Она играла бы самое себя! То и дело краснела бы, как в жизни... Так же доверчиво, простодушно показывала бы свои круглые коленки».

Гурам замедлил шаг — ступенек больше не было видно.

«Зачем я сюда иду и с какой стати этот чудак пригласил нас? Дудана ведет меня вверх... Ведет и Гурама. Кино — это просто предлог, он еще и не знает, что будет снимать. Но я-то хорош! Сначала по-ребячески надулся, бросился прочь, как ошпаренный. А потом прибежал назад, точно ничего не случилось. Как будто действую не по своей воле, а под чужую диктовку, и стоит Дудане подумать: «Он сейчас сделает то-то и то-то», как я покорно исполняю ее замысел. Какие у нее печальные глаза. Хочется спросить ее, что с ней, вот

сейчас, тут же, при всех спросить, не нужна ли ей помощь. Это и есть любовь?»

Сверху послышался писклявый голос Бенедикта:

— Здравствуйте, доктор, мое почтение. Как наш больной?

— Плохо. К сожалению, ничем не могу вас порадовать, — ответил женский голос.

— Ему сегодня хуже?

— Нет, не хуже — не имею основания так сказать, — но и не лучше.

— Ну, так я полагаюсь на вас. Сделайте все возможное, а я в долгу не останусь.

— Вот это уж совсем ни к чему!

Джаба догнал Гурама, и они вместе дошли до верхней площадки, пропустив спускавшуюся навстречу женщину-врача.

— Привет, Гуту! — воскликнул Бенедикт.

— Здравствуйте, уважаемый Бенедикт!

— Были у больного?

— Лида и сейчас там. Мы помогали врачу... Простите, можно вас на минутку... — Уполномоченный по дому Бегашвили отвел в сторону Бенедикта. — Я оказался в фальшивом положении. Почему ваша племянница не ночует здесь? Вы же видели эту сумасшедшую, Лолу, и, наверно, поняли, на что она способна. Возьмет и напишет жалобу, донос. Она уже ляпнула мне в сердцах, что я придумал всю историю со сдачей комнаты только для отвода глаз, а на деле будто бы сам собираюсь завладеть этой квартирой.

— Конечно, конечно, непременно... Это я виноват, я один, не пускал девочку, она там моей жене помогала... — забормотал Бенедикт. — Как там бедняга Самсон? — Он ткнул пальцем в сторону дверей.

— Доктор говорит, что раз он сохранил способность проглатывать пищу, то и восприятие внешнего мира должно к нему вернуться.

— Что?!

— Так она сказала.

— Зайдем вместе с нами на минуту... Я тут купил бутылочку коньяку...

— Ах, что вы, спасибо... — Гуту вдруг смутился, как маленький ребенок, которому предстоит признаться в

каком-нибудь проступке. Смущение заставило его пальцы застегнуть и снова расстегнуть пуговицу на пиджаке Бенедикта. — Уважаемый Бенедикт, можно такому маленькому человеку, как я, надеяться устроиться на работу в райисполкоме?.. Или еще где-нибудь... А то ведь так и умру уполномоченным — срам, да и только! — Выложив все это, он облегченно вздохнул.

— Посмотрим, посмотрим, приходи ко мне, разберемся! А сейчас ступай и, если Геннадий дома, приведи его.

Бенедикт вошел в комнату. Дудана и оба гостя были на наружном балконе. Лида сидела у изголовья больного и вытирала полотенцем следы супа на простыне. Она посмотрела на Бенедикта и показала на тарелку:

— Больше сегодня не хочет есть. Здравствуйте, батоно Бенедикт.

— Похоже, что помирает бедняга?

— Да, по-видимому.

— Может, уже умер?

— Не думаю. Ложек пять бульону он все же проглотил.

— Ну, больше и я не съедаю, — проговорил про себя Бенедикт и подошел к двери балкона. — Дудана, что ты там делаешь? Нашла время смотреть на улицу. «Накрывай на стол, Нанетта», как говорит Бальзак.

Услышав имя французского романиста, Джаба насторожился.

Все четверо прошли в меньшую комнату. Бенедикт затворил за собой дверь.

— Где это написано у Бальзака, уважаемый Бенедикт? — не вытерпел Гурам.

Бенедикту было приятно такое внимание.

— Страница тридцать первая. Только заглавие повести я запамятовал.

Гурам и Джаба переглянулись.

— Какая у вас, однако, хорошая память!

— Это еще что! — осмелел Бенедикт. — Дудана, нарежь вот это... Вымой стаканы... Попроси у Лиды скатерть... Да, так это еще пустяки, я помню места и почище! Вот, например: «Что с вами? Что случилось?» Помните это место?

— Нет, не помню, — сказал Гурам. — А ты, Джаба?

— И я не помню.

— Или вот еще: «—Ваша светлость!» Помните? Или: «— У него, наверно, есть еще долги!», или: «— Черт побери!», или: «— Никогда!» Могу напомнить еще такое место: Бальзак пишет: «— Садитесь, Шенель!» — страница четыреста первая. Ну, так и вы тоже — садитесь!— Взрыв смеха Бенедикта сдул с поверхности стола рассыпавшиеся крошки хлеба.

— Какая страница, какая? — Гурам достал записную книжку. — Не обижайтесь, пожалуйста, но я проверю. Такая память — просто невероятная вещь.

— Пожалуйста, проверяйте, дорогой, проверяйте. Страница четыреста один. «— Садитесь, Шенель!» Проверяйте на здоровье!

— А какой том?

— Номера тома не помню.

— Ничего, я посмотрю во всех.

— Удивительно! — включился в игру Джаба. — Я помню только одно интересное место.

— Какое? Скажи! — заинтересовался Бенедикт.

— «Ах!»

— Что — ах?

— «Ах!» — говорит у Бальзака героиня, когда ее убивают, — сказал Джаба; через открытую дверь кухни он увидел Дудану: она смотрела на Джабу, укоризненно улыбаясь, и грозила ему мизинцем.

Игривый жест не ускользнул от внимания Бенедикта. Он покраснел и смерил взглядом обоих молодых людей — словно впервые их увидел.

«Шею свернул бы обоим... Ладно, отложим на будущее», — подумал он.

— Понятно, молодой человек, понятно... Ничего, насмешка еще никого не убивала.

— Ну, что вы, какие тут насмешки, уважаемый Бенедикт!

Дудана, испугавшись, как бы не дошло до перепалки, поспешила на помощь.

— Угощайтесь! — сказала она с улыбающимся лицом, расставив на столе тарелки, рюмки, колбасу, ветчину, сардины. Вдруг что-то тихо звякнуло: брошь, которой было заколото у ворота платье Дуданы, отстегнулась и упала на тарелку.

— Откуда это? Чье? — вскричал Бенедикт, хватая Джабу за руку; он завладел брошью и внимательно осмотрел ее.

— Это мне тетя Марго подарила, — тихо сказала Дудана.

— А-а! То-то! А я удивился. — Бенедикт скосил глаза на Дудану, потом поднял бровь высоко в воздух.— Жемчуг! — объявил он торжественно: вот с какой драгоценностью запросто решилась расстаться его жена!

— Искусственный, дядя Бено, — быстро внесла поправку Дудана, чтобы умерить сожаление, испытываемое ее дядей.

— Ну и что ж, какая разница?

— Почти что никакой, — сказал Джаба. — Японцы делают теперь искусственный жемчуг такого качества, что он нисколько не уступает настоящему.

— Делают? А я слыхал, что из моря добывают!— напомнил Бенедикт.

— Верно, вылавливают и морской. Но из ста добытых раковин разве что одна содержит в себе жемчуг. Видно, далеко не каждой приходится за свою жизнь подвергнуться нападению врага.

— Какого врага? — Бенедикт недоверчиво посмотрел на Джабу.

— Чтобы родилась жемчужина, в раковину непременно должно вторгнуться чуждое тело, батоно Бенедикт, — объяснил Джаба с серьезным лицом, чтобы Бенедикт не подумал, что его снова дурачат. — Только раздражение, вызванное присутствием этого постороннего тела, заставляет ее выделять вещество, которое мы называем жемчугом. А японцы вылавливают с морского дна каждую пустую раковину, поднимают ее на поверхность, «привязывают» у берега и раздражают искусственным путем.

— Как раздражают — дразнят, злят? — Бенедикт забыл о еде.

— Не знаю. Должно быть, вводят внутрь песчинку. А раковина обволакивает это зернышко жемчугом.

— Так рождается жемчужина?

— Примерно так.

— На месте японцев я затолкал бы в каждую рако-

вину по мячу для пинг-понга, — сказал Гурам, избегая взгляда Дуданы.

— Что ж, не глупо... Только, может, еще лучше — по хорошему арбузу, а? — засмеялся Бенедикт и сунул руку с зажатой в ней брошью в карман.

«Теперь он сам над нами смеется», — подумал Джаба.

— Ух, чуть было не отобрал у тебя свой же подарок! — спохватился Бенедикт и вернул брошь девушке.

Дудана стояла, придерживая рукой ворот платья. Она отвернулась и пристегнула брошь.

— Угощайтесь, прошу!

Тупой нож не брал ветчину. Джаба тщетно пытался отрезать половину от куска, показавшегося ему слишком большим, и с досадой чувствовал, что привлекает к себе общее внимание.

— Будем здоровы! — сказал Бенедикт, поднимая рюмку с коньяком; вдруг его разобрал смех — он прыснул, коньяк пролился ему на пальцы.

Никто не задавал никаких вопросов — он сам поспешил объяснить: сказал, что вспомнил одну смешную вещь.

А вспомнил он Бату, который принес ему утром деньги от Тартишвили. Как бедняге не терпелось положить в карман свою долю! Не осмелившись прямо заявить свои притязания, он подъехал к Бенедикту таким вот забавным образом. «Мой дорогой Бенедикт, я видел вчера во сне, будто ты дал мне три лимона и сказал: выжми их, и вытечет ровно три тысячи, твоя доля». — «Удивительно, мой милый Бату, просто удивительно, — отвечал Бенедикт, — я видел вчера точь-в-точь такой же сон, только мне помнится, что я дал тебе не три лимона, а один, да и тот ты еле у меня выпросил».

Тут Бенедикту явственно представилось оторопелое лицо Бату, и он не мог удержаться от смеха.

— Что мне делать с этой красавицей, молодые люди, а? — Бенедикт обнял за плечи Дудану. — Не нравится ей эта чудесная квартира, какого труда мне стоило найти что-нибудь подходящее, а она отказывается здесь жить, говорит, что боится оставаться одна.

— Одна? — повернулся к Бенедикту Гурам.

— Я со своей семьей живу в другом месте. Наконец-то я могу вытащить ее из общежития, и вот, артачится, пренебрегает моей заботой.

— Но ведь дедушка здесь живет! — Джаба указал пальцем на дверь.

— Это не мой дедушка, — улыбнулась Дудана. — Это хозяин квартиры.

— Живи у нас, Дудана, тебя же никто не гонит... Только надо иногда, время от времени, ночевать и здесь. А потом, вот как говорит этот молодой человек, заплатят тебе в кино двадцать тысяч, и сможешь нанять квартиру получше. — Бенедикт улыбнулся Гураму. — Хочешь, буду присылать иногда Ромула, чтобы он ночевал у тебя, а? Да что ты боишься этого полумертвого старика, — его же не видно и не слышно... Вообрази, что в соседней комнате вовсе никого нет!

— Ромула не присылайте, — сказала Дудана.

Воздействовать на Дудану надо лаской — это Бенедикт прекрасно понимал. Сердиться, ссылаться на права «заботливого дядюшки» было бы, конечно, бесполезно. С целью такого «ласкового воздействия» на строптивую племянницу Бенедикт велел жене купить для девушки два-три дорогих платья — Марго все сообразила, даже вон подарила Дудане жемчужную брошку, Бенедикт вовсе об этом не жалеет. Если операция с этой квартирой успешно завершится, он сможет купить хоть всю Японию со всеми потрохами. Но только без Дуданы не выгорит дело, рассеется все, как дым! Эта Лола или как ее там подымет такую историю, что только держись! По правде сказать, понятно, что девочка боится оставаться ночью одна в квартире с этим живым мертвецом. Может, первое время Марго здесь с ней поживет — пока девочка привыкнет?.. Этот болтун, что называет себя кинорежиссером... непутевый, видно, парень... Двадцать тысяч! Да он небось и сосчитать до двадцати тысяч не сумеет! Просто понравилась ему Дудана, и врет... Зря потратился Бенедикт на угощение... А девчонка и в самом деле здорово похорошела, вот бы такую жену Ромулу!

О таких вот жизненно важных и волнующих пред-

метах думал Бенедикт, пока не насытился и пока обе коньячные бутылки не опустели.

— Вот сейчас хорошо бы отдохнуть в свое удовольствие, — сказал он и откинулся на спинку стула; стул жалобно заскрипел под ним. — Ну, что стоило господу богу сказать: отдыхайте два дня! — и было бы у нас два выходных. Думаете, кто-нибудь бросил бы реплику: дескать, зачем два дня, уж очень много?

— Тогда он не успел бы сотворить мир, — сказал Джаба. — В пять дней он не мог бы уложиться.

— А что он, собственно, создал на шестой день?

— Человека, насколько мне известно.

— Ну так не создал бы, вот и был бы у нас вечный выходной! — воскликнул Бенедикт. — Нет, в самом деле, одного выходного слишком мало. Что мы, нищие, что ли? Или уж пусть бы человек работал всю жизнь без отдыха, а перед самой смертью, когда он уже соберется вручить богу душу, господь бог и добавил бы ему эти самые неиспользованные воскресные дни. Интересно, сколько получится? Выйдет хоть один год?

— Больше! — сказал Джаба.

— Ну-ка, сделай подсчет, будь другом! Сколько у меня получится выходных дней, если я буду жить до семидесяти лет?

— Отчего же только до семидесяти, живите до ста! — сказал Гурам и вынул записную книжку.

— Нет, сто много, напиши восемьдесят или девяносто.

Гурам рылся в карманах, ища вечную ручку.

— Дай сюда, я подсчитаю, — сказал Джаба и взял у него записную книжку. — Так, значит, девяносто, батоно Бенедикт?

— Черт с ним, пусть будет девяносто.

Джаба погрузился в вычисления. Бенедикт, приподнявшись на стуле, заглядывал ему через плечо. В такой позе он оставался довольно долго.

— Если будете жить до девяноста лет, а дай вам бог прожить и больше, — поднял голову наконец Джаба, — получится у вас тринадцать лет отдыха.

— Тринадцать лет? Вот это да! — Бенедикт грузно плюхнулся на сиденье. — Тринадцать лет только есть,

пить и спать — каково, а? Успеешь выспаться всласть! Правда, тринадцать несчастливое число, но тринадцать лет в Гагре — это вещь, я вам доложу, а?

— Прошу прощения за то, что вывел несчастливое число, — сказал с наивным видом Джаба.

— Не беда! Потом я умру, уйду на вечный отдых, и уже будет не тринадцать, нарушится чертова дюжина. Хе-хе!

— Разумеется, — подтвердил Гурам. — Потом вы будете отдыхать тринадцать триллионов лет.

— И все-таки тринадцать, а? — Бенедикт упер в Гурама испытующий взор. — Даже после смерти не хочешь дать мне успокоиться, а?

— Успокойтесь, батоно Бенедикт, я не хотел сказать вам ничего неприятного, просто к слову пришлось.

— Шучу, шучу, вовсе я не рассердился, — Бенедикт хлопнул Гурама по плечу, потом повернулся к Джабе: — Ну-ка, будь другом, подсчитай, сколько лет отдыха получится у Марго?

— Марго? — Джаба взглянул на Дудану.

— Марго, Маргарита, так жену мою зовут.

— Ах, это ваша супруга... Пожалуйста. Но когда же она умрет?.. То есть сколько лет мне взять для расчета — восемьдесят? Если для вас мы положили девяносто...

— Восемьдесят? Пощади меня, молодой человек! — захохотал Бенедикт. — Или знаешь что? Научи меня, как это делается, и я сам ей подсчитаю. Вот сделает большие глаза! Говорю ей, что жизнь проспит, валяясь в постели, а она не верит! Очень удачно вышло, что я о Марго вспомнил!

— В году пятьдесят два воскресенья. Это число умножаете на количество лет жизни, а то, что получится, делите на триста шестьдесят пять.

— Зачем столько возни? — сказал Гурам, повернувшись к Бенедикту. — Просто разделите количество лет на семь.

— Напиши мне это все, напиши, будь другом, а то забуду. Как ты здорово считаешь! Где работаешь?

— В редакции.

— В редакции?!

Вдруг Джаба заметил, что Гурам настойчиво, не от-

рывая взгляда, смотрит на Дудану. Девушка сидела в застывшей позе, боясь пошевелиться, и, казалось, напряженно думала — словно для того, чтобы орудовать ножом и вилкой, требовалось усилие мысли.

— Дудана, сколько лет может быть этому... этому старику? — внезапно заговорил Гурам, как будто он только потому и глядел на девушку, что собирался задать ей этот вопрос.

— Не знаю,— Дудана задвигалась, подняла голову, словно ее вдруг расколдовали. — Наверно, восемьдесят... или девяносто.

— Это вы о нем? — вмешался Бенедикт, указывая рукой на дверь. — Об умирающем? Да, пожалуй, ему уже под девяносто. Прожил свое, вряд ли бедняга перевалит за девятый десяток.

— Вот если бы бог добавил ему те самые тринадцать лет! — сказала Дудана.

— Ты с ума сошла, девчонка! — рассердился Бенедикт; он, по-видимому, уже слегка захмелел. — Добавить! Как будто годы — фасоль, а бог — продавец в магазине! Да и зачем добавлять, если человек отдыхал чин чином каждое воскресенье?

— Зато, наверно, и немало ночей проводил без сна, — сказал Джаба; он не сводил глаз с Гурама.

— Ну что ж, наверное, проводил, на то он и был железнодорожник. Кому какое до этого дело — кто ему велел работать на железной дороге?

— Говорят, он вел до революции нелегальную работу, это правда, дядя Бено? — спросила Дудана.

— Почем я знаю? Мне и о собственном отце ничего не известно... Не послать ли нам еще за одной бутылочкой, а?

— Нет, спасибо, довольно.

Молодые люди одновременно, словно сговорившись, встали.

— Теперь я знаю ваш адрес, — Гурам протянул руку Дудане. — Подумайте хорошенько, кино — дело серьезное, не стоит им пренебрегать... Через неделю я зайду к вам за ответом.

— Через месяц! — поправил его Джаба.

Гурам бросил на него быстрый взгляд. Джаба отвел глаза.

— Куда этот Гуту запропал, хотел бы я знать?— сказал, ни к кому не обращаясь, Бенедикт и вышел в большую комнату.

БЕССМЕРТИЕ В ЖЕСТЯНОЙ КОРОБКЕ

Нино плакала. Она сидела на черной клеенчатой тахте, чинила распоротую подкладку пиджака Джабы и всхлипывала, как ребенок. Джаба растерялся: что делать, как успокоить маму? Обычно он завтракал в полдень в буфете при типографии, в нижнем этаже, а сегодня решил сбегать домой: точно сердце почуяло...

Оказалось, что мама побывала нынче утром в райисполкоме, у заведующего жилищным отделом Зибзибадзе. Махнула рукой на Джабу, решила не дожидаться, пока он удосужится туда сходить, и отправилась сама. Зибзибадзе принял ее очень учтиво, объяснил, что списки еще не вывешены, но что он, из уважения к сединам Нино, чтобы не заставлять ее приходить лишний раз, посмотрит, как обстоят дела. Он тут же достал списки, посмотрел, встал, протянул ей руку: «Поздравляю, ваша очередь сто двадцатая, в будущем году наверняка получите квартиру». Маму словно громом поразило, разволновалась ужасно: «Как же так, была пятьдесят седьмая, а теперь сто двадцатая? Странный у вас счет, не может этого быть, наверно, тут какая-то ошибка!» — «Нет, гражданка,— отвечал Зибзибадзе, — никакой ошибки тут нет, не вы одна — в этом списке иные переместились из третьего десятка в четвертую сотню. И напрасно раздражаетесь, хоть к своим сединам имейте уважение! Вот мы уменьшили нашу армию на миллион двести тысяч человек — что ж, этим людям, отдавшим родине столько сил, не нужны, по-вашему, квартиры? Вы вот свободно разгуливаете по всему нашему чудесному городу, развлекаетесь, в цирк, наверно, даже ходите, а сколько людей бедствует, мучается в тяжелых условиях, — их судьбой вы не интересуетесь?..» — «Пусть помучается, как я мучаюсь, тот, кто этот список кроит и перекраивает, — не выдержала мама, — пусть ему придется так же тяжко, как мне, у меня муж погиб на войне, пропал без вести, и с тех пор я моему

сыну отец и мать, семье и дому хозяин и хозяйка, ограда и защита. И уж сумею защититься от вас, дать вам отпор, какой подобает!..» Тут Зибзибадзе рассвирепел, стукнул по столу кулаком, кричит: «Я не знаю, что там случилось с вашим мужем, будь он таким уж героем, вас не оставили бы до сих пор без квартиры. И вообще, не указывайте мне, я свое дело знаю. Бенедикт Зибзибадзе не привык допускать ошибки».

Услышав имя «Бенедикт», Джаба сразу насторожился. Он заставил мать подробно описать внешность заведующего жилотделом и с трудом удержался от изумленного возгласа, когда сообразил, что этот разговор состоялся у его матери, возможно, с дядей Дуданы.

Словно его грубо встряхнули, чтобы вывести из мечтательной дремоты и мистифицировать чудовищным вздором, словно какие-то злые, коварные силы пришли в действие, чтобы связать, соединить несоединимое и несопоставимое: глаза Дуданы, прозрачные как родник с мерцающими на дне цветными камешками, и этот душный чердак, жилище Джабы; слезы матери и пошлого толстяка, дядю Дуданы, волшебное воспоминание о вчерашней встрече и список у Зибзибадзе, где значится среди других фамилия Джабы...

Разум отвергал, нарочно окутывал мраком эту двойную реальность, чтобы во мраке потонула, скрылась от взора неприятная ее часть и чтобы после тайком вытащить на свет желанную половину. Это ему отлично удавалось, и перед Джабой вставала, как бы выхваченная из тьмы ярким лучом, Дудана — то улыбающаяся, то печальная, то изумленная, но не имеющая никакого отношения к чердакам и пошлым дядям, к житейским нуждам и заботам о завтрашнем дне.

Мысли его как бы текли рекой в знакомом ложе — они словно уже когда-то прошли по этому руслу и влились в обширное море, заключавшее в себе все его будущее. А потом испарились с поверхности моря, чтобы выпасть дождем в верховьях и снова спуститься по прежнему руслу. И поэтому Джаба знал в точности весь путь до самого моря, каждую излучину, каждый приток, каждый перекат или водопад. Он твердо знал, что ему суждено до самой смерти любить Дудану и что Дудана всегда будет ему верна.

Он изумлялся тому, что одна-единственная встреча, один взгляд на эту девушку породил в нем такую глубокую веру. Со вчерашнего вечера что-то в мире изменилось, случилось чудо, он набрел на истину, в свете которой никакая мечта не казалась ему несбыточной.

А слезы матери влились в это море мысли; вначале пресное, оно стало соленым, вздулось, вышло из берегов и выбросило Джабу на сушу, на земную твердь, где люди возникли в незапамятные времена и существуют миллионы лет, но до сих пор не научились жить в покое, не нашли общего языка, и до сих пор один почему-то считает себя достойнее другого, третий хочет быть богаче четвертого, пятый и шестой постоянно следят друг за другом, и ни один из них не позволит себе ни на минуту задремать из страха, что другой тем временем подстроит ему каверзу. Почему это так, отчего человечество за всю свою невообразимую долгую историю не сумело наладить свою жизнь? Джаба проникал воображением в головокружительную глубь времен, выстраивал одну над другой, как ступени лестницы, тысячи династий, могучих государств, великих цивилизаций, прославленных народов, знаменитых деятелей. И всем, всем предъявлял один и тот же укор: почему до сих пор властвуют на земле алчность, коварство, предательство, война?.

...Вот и сегодня утром телетайпы Грузтага передали сообщение из Москвы: неоколониалисты угрожают Египту нападением, они стремятся завладеть Суэцким каналом, чтобы присваивать получаемые от него прибыли. А между тем Суэцкий канал расположен на египетской территории и принадлежит независимому Египту...

«Что этому Бенедикту нужно от нас? Зачем он нас обманывает? Почему отнимает то, что принадлежит нам по закону? Что-то нечистое у него на уме...»

Джаба подошел к матери, поцеловал ее.

— Хоть бы ты написал что-нибудь об этом человеке, Джаба! Не зря же работаешь в редакции...

Нино говорила так тихо, что Джаба, казалось, слышит ее мысли.

— Напишу, мама, непременно напишу! Вот уви-

дишь, весь райисполком вверх дном поставлю! — Джаба надел пиджак. — Доведу дело до конца, все сделаю сам — тебе и пальцем не придется пошевелить.

Нино посмотрела на сына, словно хотела проверить — говорит ли он не всерьез, бросает слова на ветер или в самом деле принял решение, достойное мужчины.

На улице Джаба забыл обо всем — о династиях, о войне, о Египте, о матери. На улице он вспомнил о Дудане. Прошло двадцать четыре часа с той минуты, когда он познакомился с Дуданой. Был тот же час, стояла такая же солнечная погода.

Ему казалось, что он случайно наткнулся на прекрасный, зеленый остров, не обозначенный на картах. Джаба первый заметил его, сразу почувствовал, что это — остров сказочных сокровищ, и испугался, что потеряет его из виду и потом не найдет к нему дороги или что тем временем другой завладеет островом и сокровищем. Но в то же время он чувствовал, что долго еще не осмелится пристать к вожделенному берегу, и лишь издали впивал благоухание нетронутой земли, дышал пьянящим воздухом, овеивавшим остров.

И он упрекал себя: почему вчера не смотрел на Дудану все время, не отрывая взгляда, почему не сказал ей, что красота ее поразительна, что подобной красоты он не встречал никогда? Сейчас он жаждал видеть Дудану, как слепец жаждет света. Он пытался представить себе, где сейчас Дудана, что она делает, что говорит, о чем думает. Сблизятся они с Дуданой или не сблизятся, не играло роли: он знал, что всегда будет любить эту девушку, был твердо уверен, что не может перестать ее любить. Даже после смерти любовь Джабы не могла исчезнуть, так как она возникла и существовала как нечто независимое, отдельное от него и от предмета его любви. Джаба вспоминал всевозможные мелочи — как он не удержался, начал вышучивать Бенедикта и Дудана погрозила ему мизинцем, не указательным пальцем, а мизинцем, чтобы смягчить упрек. Ничего, ничего больше не нужно было Джабе — только видеть Дудану, видеть каждый день и доставлять ей радость.

Он верил, что Дудана подчиняется совсем иным, не

здешним законом, смотрит на мир совсем другими, не земными глазами. О, лишь бы она почувствовала, что он, Джаба, знает это, что он с первого взгляда все понял,—все, что другие никогда не уразумеют. А временами его обжигало ревнивое подозрение, и сердце его словно улетало куда-то, как брошенный мяч. Ему вдруг чудилось, что он сочиняет сказку, которая давно уже стала былью для кого-то другого, кто давно уже, раньше Джабы, сочинил похожую или еще лучшую сказку и сам же превратил ее в действительность.

И теперь Дудана не станет слушать сказку Джабы или послушает и рассмеется! — для нее в этой сказке нет ничего нового или удивительного... Возможно, Джаба и не рожден для Дуданы — но он жаждет хоть умереть за нее! Но в этом он не мог никому признаться, об этом он не решился бы даже подумать в чужом присутствии, даже в присутствии друга. Он и самой Дудане не мог об этом сказать. Но ведь чтобы таить в сердце свою любовь, чтобы никогда ничего не говорить о ней Дудане, он все-таки должен был видеть Дудану, видеть каждый день!..

— О чем задумался?— сказал Ангия.

Джаба поднял голову; он сидел в редакции, за своим столом.

— Ни о чем, — он улыбнулся с беспечным видом и достал из кармана самопишущую ручку.

— Молодец, это не всякому удается. А все же—о чем?

— Да ни о чем, батоно Ангия.

— Настроение, бывает, портится от безденежья.

— Что ж... Не без того.

— Ну, а еще что? — Ангия смотрел на него испытующе.

Дверь отворилась, на пороге показался Георгий.

— Здравствуйте! — Он не стал входить в комнату. — Джаба, пойдем со мной, приехал этот москвич.

— Какой москвич? — спросил Ангия.

— Из «Родной страны».

— Из журнала «Родная страна»? Тот, что на днях прислал телеграмму?

— Тот самый. Корреспондент, — сказал Георгий.— Он в Тбилиси впервые, и я хочу дать ему в провожатые Джабу.

— А чего ему надо, что его интересует?

— Журнал собирается посвятить Грузии несколько страниц. Корреспондент походит по городу, снимет, что понравится. Так ты зайди ко мне, Джаба.

Георгий ушел. Джаба убрал бумаги в стол и последовал за ним.

— Входи, Джаба! — сказал редактор; потом повернулся к гостю: — Познакомьтесь, это наш литсотрудник, к тому же и ваш коллега, мастер фотографии. Он будет вашим гидом.

Высокий молодой человек быстро поднялся с места, сжал руку Джабы, энергично потряс ее, — так, что даже встряхнул при этом головой, — и представился:

— Очень приятно. Виталий Печнев. — Потом снова сел и, повернувшись к редактору, продолжал прерванный разговор: — И вот, представьте себе, этого смертельно раненного человека все-таки доставили в госпиталь... Санитары были обязаны это сделать. У несчастного при взрыве танка оторвало обе руки и обе ноги, все тело было обожжено, почти обуглено, но сердце все еще билось, он был жив. Его положили в морг, считая, что до завтра он все равно умрет... Это из записок одного английского журналиста, — пояснил Виталий, обращаясь к Джабе, — вы послушайте, очень интересно. Но на следующий день сердце раненого все еще билось. Врачам это показалось невероятным — у бедняги оставался только небольшой участок кожи на груди, все остальное было сплошной ожог. Он не видел, не слышал, не говорил. Ну, тут стали всеми способами поддерживать в нем жизнь — пошли уколы, искусственное питание... Проходили дни — сердце все работало,— Виталий щелкнул зажигалкой, оживил погасшую сигарету. — И вот, на рождество... Мы не опаздываем? — внезапно повернулся он к Джабе и поглядел на часы.

— Нет, нет. Продолжайте, — ответил вместо Джабы Георгий.

— На рождество сестра милосердия обходила больных, поздравляла их, оделяла подарками. Остановилась она и возле этого обожженного, безрукого и безногого раненого. Остановилась и, ничего другого не сумев придумать, начертила пальцем крест на его груди.

И вдруг раненый пошевелил головой. Сестра изумилась, побежала сообщить врачам. И врачи заключили, что раненый мыслит, мозг его работает, только у него не сохранилось, так сказать, никаких средств коммуникации, чтобы установить связь с окружающими людьми. И вот, послушайте теперь, какая у них родилась блестящая идея. Они пригласили знатока азбуки Морзе, посадили его у кровати раненого, и тот три месяца обучал несчастного морзянке: нарисует на здоровом участке кожи букву и тотчас же — ее соответствие точками и тире. Когда обучение было завершено, раненому под голову поместили кнопку электрического звонка, а может быть, вместо звонка подключили лампочку. И раненый «заговорил». Сообщил свое имя, фамилию, откуда он родом, как его ранило, как санитары подняли его и понесли. Звенел звонок и рассказывал биографию человека... Правда, интересная история? — Виталий вдруг поднялся. — Ну, а теперь идем. Машина уже пришла?

— Ждет у подъезда.

— Значит, эти снимки я вам оставляю?

На столе были разложены цветные фотографии — виды Черноморского побережья, озеро Рица, теплоход «Грузия»...

— Да, оставьте. Мы покажем их нашему художнику и...

— ...И отберете то, что вам пригодится. Этот, этот и этот. А эти вам не подойдут, я их заберу. Очень хорошо. — Виталий уложил снимки в портфель. — Ну, пока, всего хорошего, — Виталий пожал руку всем по очереди. — Ах да, мы же с вами едем вместе! — воскликнул он, уже сжимая руку Джабы.

Виталию Печневу хотелось запечатлеть на фотопленке весь Тбилиси, все интересное в нем.

— Кто знает, когда мне удастся приехать сюда еще раз, — говорил он Джабе в машине. — Скоро будем праздновать полуторатысячелетие Тбилиси, снимки пригодятся и для этого случая. Я решил никогда не пропускать ничего интересного, чтобы потом не жалеть, отчего я не снял такой-то пейзаж, такую-то улицу или такое-то здание. А ведь не раз приходилось об этом жалеть — как порой жалеешь после смерти близкого человека, что не проявил к нему больше внимания...

— С чего начнем? — спросил Джаба. Он волновался, как человек, который собирается прочитать ребенку интересную книгу и боится, что она не произведет на ребенка такого же глубокого впечатления, какое произвела когда-то на него самого.

— Мне все равно!

— Старый Тбилиси, крепость Нарикала, дом, в котором останавливался Пушкин...

— И то, и это... Все хочу сфотографировать.

— Музей искусств, старинное ювелирное искусство...

— Непременно! И картины Пиросманашвили — хочу сделать с них репродукции.

— Новая набережная, здание ИМЭ, гидроэлектростанция посреди города, мцхетский цветовод...

— Да, мне говорили о нем... И к Чабукиани я хотел бы зайти. Говорят, он ставит «Отелло»? Не представляю себе «Отелло» в балете.

— Одного дня на все это не хватит.

— Сколько успеем, столько и сфотографируем.

Усталые, но веселые, к вечеру они вернулись на проспект Руставели, отпустили машину и зашли в магазин минеральных вод. Виталий был чрезвычайно доволен минувшим днем. «Проявлю в Москве заснятую пленку, и еще раз проживу весь нынешний день»,— говорил он. Джаба смотрел на фотоаппарат «Линдхоф», свисавший с плеча гостя, — коробку, в которой был заключен один тбилисский памятный день.

В заключение сегодняшнего путешествия они посетили завод шампанских вин. Там им предложили для дегустации различные сорта вина, и они, пожалуй, немного перебрали.

— Боржомская вода — это напиток богов! — говорил Виталий, медленно отпивая из стакана, испещренного белыми пузырьками; потом поднес, как ребенок, к уху наполовину опорожненный стакан. — Шипит! — улыбнулся он. — В Африке или, кажется, в Австралии есть одно племя... Когда человеку этого племени захочется пить, он сначала посмотрит по сторонам, убедится, что поблизости нет врага или зверя, а потом сунет голову целиком в воду и пьет. Я бы именно так пил боржом.

— Как — засовывают голову в воду всю целиком?

— Ну да, так что ничего уже не видят и не слышат. Если в это время к пьющему подберется зверь — прощай!

— Ну, если звери будут дожидаться таких удачных минут, то передохнут с голоду.

— Верно, — улыбнулся Виталий. — Например... Налейте мне, если можно, еще стакан... Спасибо. Например, египтяне никогда не засовывают голову целиком в Суэцкий канал, они пьют воду обыкновенным способом, но империалисты почему-то думают, что Египет ничего не видит и не слышит и надеются застигнуть его врасплох.

— Думаете, они начнут войну?

— Не знаю... Пока, пожалуй, они больше пугают, но мой дядя уже готовится в путь.

— Ваш дядя?

— Он лоцман. Англичане собираются отозвать всех лоцманов-иностранцев с Суэцкого канала, чтобы расстроить его работу. Возможно, что уже и отозвали.

— И на смену отозванным едет ваш дядя?

— Да, и с ним многие другие. Он уже собирался на пенсию, но тут его вызвали.

Виталий поблагодарил продавщицу минеральных вод, поправил галстук перед узким, высоким стенным зеркалом. Оба вышли из магазина.

— Затевать войну из-за денег, из-за прибылей? — сказал с презрением в голосе Джаба. — Нет, уж лучше, по-моему, пусть бы войны начинались из-за прекрасной женщины, как в старину.

— Суэц для колониалистов не только деньги и прибыль. Вместе с каналом они потеряют влияние в арабских странах.

— Это все из той же песни. Война — из корысти?

— Очень уж прозаической вы изображаете войну.

— Очень... Бедняжка война! Обидели!

Проспект сиял огнями. Ночь как бы плавала на поверхности этого моря света, где-то между крышами и звездами, не достигая улицы. Воздух был напоен нежным запахом блеклых листьев. С горы Мтацминда сбегали сломя голову крутые улочки и, с трудом сдержав свой разбег, останавливались перед самым проспектом.

На перекрестках было прохладно, и прохожие не задерживались здесь, как обычно, встречая знакомых.

— Ну вот, а эту прелесть я и забыл снять! — Виталий, поставив ногу на низенькую ограду газона, смотрел на здание оперы.

— Снимете завтра утром.

— Театр вечером получается лучше. Посмотрите, сколько народу перед входом! — Виталий достал фотоаппарат, поднес его к глазам, потом несколько раз переменил место. — Ничего не выйдет! — сообщил он наконец Джабе. — Эти чертовы провода лезут в кадр, куда ни стань. Придется попробовать сверху.

— Сверху?

— Ну да, — Виталий обернулся, посмотрел на пятиэтажный дом, высившийся перед ними. — Завтра к началу спектакля приду сюда и поднимусь на крышу. Сейчас неохота, устал.

Джаба вдруг почувствовал слабость во всем теле. Они стояли перед домом Дуданы.

— Ну, пока, Джаба, пойду теперь к себе... Большое вам спасибо, вы потеряли из-за меня целый день. Что говорят грузины при прощании?

— Мшвидобит.

— Значит, мшидоби, Джаба.

Джаба засмеялся.

— Ладно, завтра научите! — Виталий пошел по улице и уже издали, обернувшись, махнул на прощание рукой.

Джаба стоял прикованный к месту. Украдкой оглядывал он этажи, балконы дома — вскидывал и сразу опускал голову. Вдруг он понял, что не удержится, поднимется туда. Совершенно явственно вообразил, как Дудана открывает перед ним дверь. Сердце у него на мгновение перестало биться.

«Пусть думает, что я невежа, тупица, бестактный болван... Пусть думает что угодно... Лишь бы ее увидеть».

В парадном на этот раз, кажется, было светлей. Медленно шагал он по ступенькам, не веря, что слышит звук собственных шагов. По лестнице поднимался как бы кто-то другой — невежа и тупица.

«Притвориться, что я пьян... пьяней, чем на самом деле? Еще испугается! Может, ее и нет дома... Не ночует здесь... Сама ведь говорила!»

Мысль эта придала ему смелости. Он постучится и, не дождавшись ответа, уйдет. Потом когда-нибудь расскажет ей, как приходил в гости. Дудана, разумеется, будет изумлена.

«Как, сразу, на другой день?»

«Да, на другой день.»

«Будь я дома, все равно не впустила бы».

«А я и не стал бы врываться... Посмотрел бы на вас и ушел».

«Ну, а как объяснили бы, зачем пожаловали?»

«Придумал бы что-нибудь... Спросил бы, не забыл ли у вас вчера фотоаппарата».

Джаба стоял перед высокой дверью из темного дерева. Из-за двери волнами, приглушенно доносился женский смех. Замирала одна волна и тотчас набегала другая. Джаба протянул было руку к двери — и вновь опустил ее. Так он стоял, не решаясь постучаться. Вдруг он подумал, что совершает страшную глупость: гораздо проще прийти сюда завтра вместе с Виталием — и случайная встреча состоится почти наверняка. Можно будет попросить Дудану как-нибудь поснимать проспект с ее балкона. Все получится совершенно естественно и обойдется прекрасно. Надо только потерпеть до завтра. Обрадованный этой мыслью, он повернул было назад, как вдруг услышал щелканье ключа в замке. Кто-то отпирал изнутри входную дверь. Джабе послышался голос Дуданы.

«Откроет и вскрикнет от неожиданности... Бог знает, что может подумать».

Он бросился к двери и постучал в нее громко, нетерпеливо, как бы уже не в первый раз.

Ключ замер в замке.

— Кто там? — послышался неуверенный женский голос.

— Мне нужно Дудану... Она дома?

— Дудана! Дудана! — Голос отдалился от двери. — Дудана, тебя кто-то спрашивает.

У Джабы дрожали колени.

Дверь приотворилась, выглянула Дудана. Наверно,

она ожидала увидеть кого-то знакомого; при виде Джабы выражение лица ее сразу переменилось.

— Ах!.. А я думала...

— Здравствуйте, Дудана.

— Здравствуйте... Мне показалось...

— Извините, что беспокою вас в неурочный час...

— По... пожалуйте! — Она распахнула дверь перед Джабой. За дверью жались к стене две другие девушки.

— Спасибо, Дудана... Я, собственно, думал, что вас нет дома, и потому...

Девушки засмеялись.

— Войдите, — голос у Дуданы стал совсем спокойным.

«Боже, как она красива! Я совсем забыл, что она т а к красива».

— Нет, нет, спасибо... Видите ли, вчера... Не оставил ли я у вас вчера крышки от объектива? Извините, что я...

— От объектива?

— Ну да, от фотоаппарата. Круглая, черная крышка из пластмассы...

— Не знаю, — Дудана посмотрела назад, в неосвещенную комнату. — Может быть, и оставили, я поищу... Входите.

— Дудана, я пошла. Значит, завтра в семь часов продолжаем! — сказала светловолосая девушка с узкой талией и стройной, высокой шеей.

— А ты, Натела? — Дудана схватила за руку вторую девушку. — Ты-то ведь остаешься? Куда же ты?

— Я через полчаса вернусь.

— Вовсе ты не вернешься, знаю... Дядя убьет меня, если я и сегодня тут не переночую.

— Вернусь, вернусь, не бойся. Только прогуляюсь немного, — Натела окинула Джабу быстрым взглядом.

От Джабы не укрылось смущение Дуданы.

— До свидания. Если эта крышка обнаружится у вас... Я загляну в другой раз... Или оставлю вам номер телефона...

— Подождите немного, я сейчас поищу. Натела, Мари! — многозначительно окликнула Дудана подруг.

Девушки, тем временем уже дошедшие до лестницы, что-то шепнули друг другу и вернулись.

— Войдите! — успокоилась Дудана. — Я тут же и поищу.

Они прошли через большую, неосвещенную комнату в меньшую, где жила Дудана.

Джаба тотчас же вспомнил Гурама.

— Зачем ты заставила нас вернуться? Знаешь ведь, что это дурная примета, — сказала с упреком Натела и не спеша направилась на кухню — познакомила Джабу со своими стройными ногами и гибкой фигурой.

«Очень приятно... Джаба Алавидзе».

— Вода не идет! — сообщила из кухни Натела.

Мари в свою очередь повернулась на каблуках и, словно передразнивая Нателу, так же лениво, вразвалку, двинулась к кухонной двери.

«Алавидзе Джаба... Очень приятно познакомиться».

Дудану позвали на кухню.

— Извините... Я сейчас.

Дудана была красивее обеих.

На столе лежал раскрытый «Анатомический атлас». Толстые листы его изогнулись, и можно было видеть сразу несколько таблиц. Разрез человеческого тела — кровеносная система; другой разрез — нервные волокна; сердце — аорта, наполненная алой, насыщенной кислородом кровью; вены — с синей кровью, отравленной углекислотой.

Видимо, девушки не знали, с какой готовностью проводила звук кухонная дверь. Джаба услышал:

— Кто это?

. . . .

— Почему мы его не знаем? И почему ты нас с ним не знакомишь?

. . . .

— Ну, а все-таки, кто это такой? Ты что-то скрываешь, Дудана!

. . . .

— Он в тебя влюблен?

. . . .

— У-у, как покраснела! Видно, дело плохо.

. . . .

Когда девушки, смеясь, с невинно-равнодушным ви-

дом вернулись в комнату, Джаба чуть было не ляпнул, что все слышал.

— Простите меня, я совсем забыла познакомить вас с моими подругами, — сказала Дудана.

— А я уже познакомился с ними,— сказал Джаба.

— Когда? — У Нателы был изумленный вид, она приготовилась услышать что-то сенсационное.

— Я знаю, что вы — Натела, а вы — Мари, что обе учитесь на третьем курсе биологического факультета, что вы, Мари, собираетесь уйти домой, а вы, Натела, вернетесь через полчаса и останетесь ночевать у Дуданы. Довольно?

— Довольно! — засмеялась Мари. — Пойдем, Натела, здесь, оказывается, о нас все известно.

Девушки попрощались с Джабой. Дудана на этот раз их не удерживала.

— Не оставляйте Дудану до моего возвращения, а то она от страха сойдет с ума, — сказала Натела и пошла на цыпочках через большую комнату, то и дело поглядывая на постель больного. — А вдруг он сейчас вскочит?

Дудана быстро вернулась. Она старалась не смотреть на Джабу.

— Сейчас поищу, — сказала она, оглядывая пол.— Вы сидели вчера вот здесь.

Она посмотрела под стол, потом, наклонившись, стала шаг за шагом обходить комнату.

— Я и на балкон вчера выходил.

Говоря это, Джаба явственно слышал частое дыхание девушки. «Побаивается меня. Не доверяет. Как-никак я чужой, что она обо мне знает? Вдруг я решу выкинуть этакое коленце?!»

И ему внезапно стало стыдно за то, что он мучает Дудану без нужды, просит ее отыскать то, чего не терял,— и Дудана послушно ищет то, чего не может найти. Девушка, повернувшись к нему спиной, нагнулась в дальнем углу и подняла что-то с пола. Полоска белой кожи между чулками и юбкой, мелькнувшая на мгновение перед Джабой, словно обожгла ему глаза. Он быстро отвернулся и стал глядеть в стену. Сердце его, казалось, вот-вот выломает грудную клетку. Оно на мгновение останавливалось, словно отступа-

ло назад для разбега, с силой ударялось о ребра, и так все снова и снова... От смущения Джаба стал перелистывать «Анатомический атлас», как будто хотел с его помощью разгадать причину своего волнения.

«О Дудане я не должен так думать, о ком угодно можно так, только не о Дудане, Дудана не из здешнего мира...»

Дудана выпрямилась.

— Поищу теперь на балконе.

— Дудана... Я ничего вчера не терял.

— Не теряли?!

— Я подумал — наверно, она одна, и ей страшно, — потому и пришел. Тебе ведь в самом деле было бы страшно здесь одной?

— Да, было бы страшно.

— Ну, а теперь... если Натела не вернется?

— Тогда я уйду к дяде Бено.

— Он такой страшный, этот старик?

— Кровать заслонили ширмой, и я его больше не вижу. Теперь мне жалко.

— Старика?

— Да. Ведь он жив — и ничего не видит, не слышит, не может пошевелиться. Вот теперь его даже отгородили ширмой. А может быть, он все чувствует, понимает? Как подумаю об этом, мне становится жалко.

— А если жалко, то уже не может быть страшно.

— Я, кажется, больше и не боюсь. А дядя Бено дожидается его смерти, чтобы завладеть квартирой.

— Как?

— Я говорю, дядя Бено ждет смерти старика, чтобы забрать эту квартиру.

Джаба почувствовал: этого Дудана никому на свете не могла бы сказать — только ему, Джабе, открыла тайну, одному Джабе принесла ее в дар или в жертву. А может быть, она просто хотела придать себе таинственности, показаться ему интересной оттого, что знает такие интересные вещи?

— Откуда ты это знаешь, Дудана?

— Знаю. Слышала краем уха его разговор с приятелем.

— Где работает твой дядя?— Джаба замер в ожидании ответа.

«Неужели тот самый?»

— В райисполкоме.

«Так и есть. Он».

— И что же — ты узнала об этом и ничего ему не сказала?

— Конечно, сказала. Он сначала нахмурился, а потом захохотал. Долго смеялся... Назвал меня дурочкой и объяснил, что старается ради меня одной, хочет, чтобы квартира мне досталась.

— Может, в самом деле так?

— Нет.

— Тогда почему ты ему помогаешь? Ты ведь невольно оказываешься его пособницей! Зачем ты здесь живешь?

— Потому что... — Дудана покраснела. — Потому что... Я здесь еще не жила, я завтра вернусь в студенческий городок.

— А если он все-таки старается для тебя?

— Не знаю... Может быть...

Он сидел рядом с Дуданой и тосковал по ней. Как хотелось Джабе сказать ей об этом! Мог ли он подумать, что будет разговаривать с ней о таких пустяках?

— Жаль, что со мной нет фотоаппарата... Я непременно снял бы тебя сейчас, так ты... такая у вас удачная поза.

— Да, сейчас бы фотоаппарат... — просияла Дудана. — Я так люблю сниматься!

— В самом деле? Тогда прикажите — и я приду вас снимать в любое время, когда хотите.

— Вы, наверно, очень хорошо снимаете.

— Не так уж.

— А как у вас получились снимки в прошлый раз?— Дудана опустила голову и стала теребить бахрому скатерти.

— Когда?— поднял брови Джаба.

— На маскараде! — Дудана вскинула быстрый взгляд на Джабу и снова опустила голову.

— Откуда ты... Откуда вы знаете? Вы были там?

Дудана встала, подошла к окну. На подоконнике лежала стопка книг. Она выбрала маленькую, тонкую книжку, раскрыла ее. Потом направилась к Джабе с книгой в руках. Все это медленно, молча, как бы исполняя какой-то обряд.

— Так откуда вы знаете, что я фотографировал на маскараде? — Джаба не сводил глаз с опущенных ресниц девушки.

Дудана положила перед ним раскрытую книгу, а сама так же безмолвно и неторопливо вернулась к окну.

Джаба посмотрел на книгу. На развороте, между страницами лежал сухой цветок, голубой и прозрачный, так что под ним можно было различить печатные буквы.

— Что это за книга? — Джаба посмотрел на обложку.

Дудана стояла у окна спиной к Джабе. В руках у нее была еще одна раскрытая книга, от которой она не отрывала глаз.

«Что это с ней?»

...И вдруг он вспомнил.

«Она сохранила подаренный мною цветок!»

— Так это была ты, Дудана?

Дудана не обернулась — только медленно наклонила голову; блестящие волосы ее зашевелились, заколебались — и снова застыли.

«Она сохранила подаренный мною цветок!»

Быстрая, прохладная река подхватила и унесла Джабу.

— Ты была в костюме цыганки, верно?

Вновь зашевелились, заколебались светящиеся волосы.

«Она сохранила подаренный мною цветок!»

Джаба качается на волнах, увлекаемый потоком.

— Ты смотрела сверху на зал... А в зале танцевали. Так, правда?

Дудана снова наклонила голову.

Поток низвергается водопадом с головокружительной высоты, а вместе с ним и Джаба.

В дверь постучали.

Дудана подбежала к столу (это была Дудана?), схватила тоненькую книжку с заложенным между страницами цветком, куда-то спрятала ее и вышла. Джаба посмотрел на окно, перед которым всего минуту тому назад стояла спиной к нему Дудана. Вон там, на том месте...

По улице не шел, а плыл восторг, воплощенный восторг с горящими светло-карими глазами. Подобно сказочным золотым птицам, пели электрические лампочки уличных фонарей, платаны, сойдя со своих мест, бежали бок о бок с ним и приглашали его на танец... Рядом, скрытое в непроглядном мраке, казалось, шумело море, оно озарялось порой сиянием разбивающихся о скалы шумных волн, и кружевная оторочка из пены и брызг скользила, уносилась вдоль берега. По небу, словно заплаканный ребенок, бежало курчавое облачко, а большой желтый мяч луны, выпавший у него из рук, катился в противоположную сторону... И Джабе казалось, что он вращает землю своими легкими шагами, как цирковой акробат, бегущий по арене на большом золотистом шаре.

Он учтиво здоровался со всеми встречными, которым случалось нечаянно бросить на него взгляд. Прохожие останавливались и подолгу удивленно смотрели на него. А он, довольный своей шалостью, весело смеялся в душе. Как он любил всех этих незнакомых, изумленных людей!

Какие бездонные глубины возникли в его душе! Какие необычные события совершались там, сколько радости и страдания слилось воедино — это был целый огромный мир, который целиком заполняла Дудана; она была всюду — то улыбающаяся, то опечаленная, со склоненными ресницами...

Живым пожаром был сейчас Джаба, и ему не хотелось думать, что он когда-нибудь погаснет, он желал пылать вечно, неугасимо, жаждал жить беспокойной жизнью бушующего пламени и поведать всем, что творится в самой сердцевине пожара.

Он вспомнил, с какой иронией спросила Натела, вернувшись к Дудане: «Ну как, нашли крышку от фотоаппарата?» — «Нашли!» — ответила Дудана. Джаба не задерживался больше у нее, тотчас же ушел и вот бродит по улицам, как бездомный. Ему кажется, что, если вернется домой, тесный чердак не позволит ему отдаться течению мыслей, духота наведет на него дрему, и он сразу заснет, а заснуть он сейчас боится не меньше, чем умереть: ведь во сне он не сможет думать!

Он завернул в Кировский парк, пошел по аллее и остановился над обрывом. Внизу, под отвесной скалой, пролегала набережная; было прохладно. Джаба наклонился, сорвал былинку, растер ее между пальцами и понюхал: острый запах травяного сока ударил ему в ноздри. Запруженная Кура вздулась и была похожа на толстую, темную, набрякшую жилу. Посещение Дуданы представлялось Джабе давним, далеким сном. «Слово за словом» вспоминал он минувший день, перелистывал его, как любимую книгу, с самых первых страниц, как бы не зная, чем окончится недочитанная история, нарочно медлил, не спешил к развязке, к той минуте, когда он войдет в комнату Дуданы...

Вдруг среди этих приятных мыслей зазвенела диссонирующая струна, которую он не замечал до сих пор и случайно зацепил пальцем.

Перед его взором возникла девушка, плачущая в полутемном парадном. Гурам, наверно, был прав, — что-то ускользнуло тогда от внимания Джабы, какая-то мелочь, а может, и что-либо важное, значительное. Оттого все и осталось загадкой.

Он вспомнил тот день. Вспомнил, как появились внезапно в городе две живые души, две девушки, которые не думают о Джабе ничего хорошего.

«Так до сих пор и считают меня: одна — карманником, а другая — нахалом».

Джаба лег на траву и посмотрел на небо. Потом закрыл глаза и сочинил следующую легенду.

...Пионеры города Керчи отправились в туристский поход... Первый привал — в поле, близ полуразрушенного укрепления, оставшегося от Отечественной войны. Пионеры располагаются здесь, чтобы позавтракать.

— Эй, сюда, ко мне! — кричит один из мальчиков и машет рукой товарищам.

Пионеры бегут к нему. Мальчик, сидя на корточках, указывает на компас, который лежит на земле перед ним. Стрелка компаса ведет себя крайне странно — беспокойно колеблется, не может остановиться.

— Запомните направление стрелки, — говорит мальчик.

Он переносит компас на другое место. Стрелка ус-

покаивается и, лениво повернувшись, указывает на север.

— Видишь? Ну-ка, еще раз!

Компас возвращают на прежнее место, и стрелка снова теряет покой под действием какой-то неведомой силы.

— Магнитная аномалия! — высказывает предположение одна девочка.

— Наверно, тут под землей залежи железной руды.

— Отодвиньте в сторону рюкзак.

— И ледоруб тоже.

Оба названных предмета убирают. Стрелка, однако, не успокаивается.

Подходит пионервожатый.

— Что случилось, ребята?

— Мы нашли железную руду! Вот здесь. — Первый мальчик хлопает ладонью по земле.

— Именно здесь? В этой самой точке? — улыбается пионервожатый.

— Стрелка колеблется только здесь!

— Давайте сюда ледоруб.

Пионервожатый копает землю ледорубом, копает... Слышен звон — ледоруб ударился о металл. Из ямы выгребают землю. На дне ямы — ящик из толстой жести, покрытый ржавчиной. Его извлекают. Все удивлены. Осторожно открывают крышку. В ящике оказывается любительская кинокамера и две серебристые алюминиевые коробки — плоские и круглые.

— Не открывать! — кричит пионервожатый. — Может быть, там пленка, нельзя ее засветить.

Находку доставляют в Керчь. Из Керчи камеру и серебристые диски отправляют в Одесскую киностудию. Здесь пленку проявляют и печатают с нее позитив. Это — кадры Отечественной войны, снятые неизвестным кинооператором. На экране то самое поле, на котором пионеры нашли аппарат, то самое укрепление, только вокруг него и на всем поле идет жаркий рукопашный бой, сражение не на жизнь, а на смерть. Наступают, надвигаются грозные фашистские танки, постепенно редеют ряды защитников укрепления.

Советские воины сражаются, как герои, и погибают в неравном бою все до одного. Ни в Одессе, ни в

Керчи не удается опознать никого из них. Пленку размножают и экземпляры рассылают по всему Советскому Союзу. Один экземпляр попадает в Тбилиси. Джаба присутствует на просмотре. Когда на экране появляется его отец, он громко вскрикивает. Все оборачиваются к нему... Отец дерется храбро, как лев. Вот он свалил одного фашиста, другого, третьего... Четвертый выпускает автоматную очередь прямо ему в грудь. Отец падает навзничь, в последний раз видит небо над собой. Это небо где-то сливается с небом его города, с небом всех городов и сел. Глаза у отца закрываются. Герой умирает.

...Джаба открыл глаза.

Улыбнулся.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Встреча начинается с рукопожатия. Бату садится против Бенедикта. Ему не хочется кашлять, но он кашляет. Между ними четырехугольный письменный стол. Бенедикт молчит. Он не выговаривает Бату за то, что тот явился в райисполком, не напоминает о заключенном между ними условии, что его, Бенедикта, и Бату никто не должен видеть здесь вместе. В особенности возмутительно, что Бату приурочил свой визит как раз к приемным часам Бенедикта, когда столько посетителей ожидает своей очереди в коридоре, но Бенедикт и об этом не говорит ни слова. Бенедикт знает, что заставило Бату нарушить запрет, что привело его сюда, в служебный кабинет приятеля. Незваный гость начинает беседу издалека. Поговорив о посторонних предметах, он спрашивает шутливым тоном, «не стряслась ли беда», не случилось ли чего-нибудь с тем умирающим стариком. Бенедикт высказывает предположение — или надежду, — что пора уже, пожалуй, готовиться к поминкам. И заодно рассказывает приспешнику, что побывал на кладбище в Ваке и договорился с могильщиком, закрепил за стариком превосходное место у самой дороги; пусть никто не думает, что Самсон — одинокий, всеми забытый и покинутый человек, Бенедикт его похоронит с большим почетом, чтобы никто не усомнился в его, Бенедикта, правах на квар-

тиру. Бату одобряет эти предосторожности, но со своей стороны добавляет, что не следует и перебарщивать, потому что именно чрезмерная забота Бенедикта о чужом покойнике может заставить иных заподозрить, что дело нечисто. При этом Бату устремляет на Бенедикта пристальный взгляд обоих глаз, здорового и стеклянного, стараясь угадать, насколько тот оценил его совет. Но ни один глаз не доставляет мыслительному центру Бату необходимой информации, ни один не успевает прочесть промелькнувшую на лице Бенедикта мысль: «Уж не думаешь ли ты, мой дорогой Бату, что тебе перепадет кусочек из того, что я заработаю на этом старике?»

Дверь открывается, в кабинет входит сотрудница райисполкома:

— К вам корреспондент, просит принять.

Бенедикт бледнеет от волнения, потом краснеет, вскакивает со стула и наказывает сотруднице, чтобы та попросила корреспондента подождать, Бенедикт сейчас освободится. Если бы кто-нибудь знал, как давно Бенедикт ждет этой минуты! Как он жаждет увидеть в газете свой портрет или если не портрет, то хоть фамилию. И вот совершенно неожиданно, так просто и обыденно сбывается его мечта... А этот чертов Бату и не думает уходить!

— Ну, так не буду больше докучать тебе, мой Бенедикт, рассчитайся со мной, дай денег, сколько следует, и я пойду, — говорит Бату.

— Что тебе дать?— переспрашивает Бенедикт, выпучив глаза от удивления.

— Три тысячи... Мою долю.

— Во-первых, откуда ты взял, что три тысячи? А во-вторых, деньги у меня дома.

— Рассчитайся со мной, Бено!

— Слушай, ты видишь, сколько в приемной народу? Время ли сейчас...

— Без денег я не уйду отсюда, Бено.

— Не уйдешь добром — так велю вывести. Уж не думаешь ли, что тут...

— Именно это я и думаю.

Дверь открывается снова, входит та же сотрудница и докладывает Бенедикту:

— Корреспондент говорит — если вам сейчас некогда, то он зайдет в другой раз.

— Нет, пусть подождет, я сейчас его приму! — Бенедикт взмахивает руками. — Попроси его потерпеть еще две-три минуты! — Как только женщина скрывается за дверью, он открывает несгораемый шкаф, отсчитывает десять сторублевок и, скомкав, сует их в руку Бату.

— Три тысячи, Бено...

— Больше у меня здесь нет.

— Три тысячи, говорю.

Бенедикт колеблется, на лбу у него выступают капельки пота. Одним глазом он смотрит на дверь, другим на Бату. А внутренний взор его не отрывается от сейфа. В уме Бенедикт то вынимает из шкафа деньги, то прячет их обратно в шкаф. Наконец он решается, отсчитывает вторую тысячу и на этот раз запихивает ее Бату в карман.

— Все, я с тобой в расчете. Уходи теперь, будь другом, а вечером встретимся где-нибудь.

— Бенедикт, не хватает еще тысячи рублей. Так вот во сколько ты ценишь свое слово?

— Не хватает? Да здесь даже слишком много! Я еще расквитаюсь с тобой за этот грабеж! А теперь ступай!

— Грабеж?.. Грабеж, говоришь? Ах вот ты как! Ну, тогда мне совсем ничего от тебя не нужно, ни копейки! На, подавись! — истерически выкрикивает Бату, швыряет деньги в лицо Бенедикту и убегает.

В дверях стоит какой-то юноша и улыбается Бенедикту. Где-то Бенедикт его видел... Ах да, это приятель Дуданы. В чем дело? Где же корреспондент?

— Прошу.

— Здравствуйте, уважаемый Бенедикт.

— Одну минуту!

Бенедикт высовывает голову в коридор. Тотчас же к нему устремляется поток ожидающих приема: точно весь коридор качнулся в сторону Бенедикта.

— Товарищ Зибзибадзе, вот я принес разрешение...

— Эту справку не принимают...

— Завтра к вам можно прийти?

— Я только на две минуты, уважаемый, ровно на две минуты!

— Батоно Бенедикт, вам обо мне звонили, я...

Но Бенедикт ищет взглядом корреспондента...

— Здесь должен быть кто-то из редакции...

Он вдруг соображает, что этого не надо было говорить вслух, что корреспондент уже у него в кабинете, это он, тот самый молодой человек: сказал же он давеча, что работает в журнале. Бенедикт поворачивается на каблуках и исчезает за дверью, бросив просителям следующую загадочную фразу:

— Ничего не могу сказать... Или завтра.

Да, этот юноша — корреспондент; вон у него и фотоаппарат в руках. Все понятно. Дудана! Разумеется... Ладно, не многого он добьется!

— Здравствуйте, молодой человек!

— Здравствуйте, дядюшка Бено.

Джаба держится неуверенно. Он явился сюда с двумя противоположными, исключающими одна другую миссиями. Всю дорогу от редакции до дверей кабинета Зибзибадзе он был представителем своего возмущения и протеста, доверенным лицом, чья задача — уничтожить, растоптать этого наглеца, вызвавшего слезы у его матери, оскорбившего память его отца. Если это огорчит, обидит Дудану — что ж, он не мог, не имел права с этим считаться. Он должен был дать понять или даже прямо сказать этому господину, что он, Джаба, работник прессы и не оставит дела без последствий, вынесет на свет все, что здесь творится.

— Слушаю, молодой человек. Слуга покорный! — говорит Бенедикт.

А потом случилось нечто странное: стоило Джабе войти в кабинет, как это доверенное лицо, этот представитель его возмущения и протеста, вдруг испуганно сжался, превратился в крохотного лилипута и исчез, провалился в щель паркета. А вместо него внезапно возник прибывший с миссией дружбы и доброй воли, ищущий любых возможных путей к примирению полномочный посол с непроницаемой дипломатической улыбкой на лице — возник и развалился в кресле, заложив ногу на ногу.

С чего начать? Ляпнуть первое, что придет на ум?

— Как поживаете, батоно Бенедикт?

— Спасибо, неплохо. Можно бы и лучше, но... Хе-хе.

— Крепко вы нас подпоили в прошлый раз.

— Ну, вас подпоить не просто... А я вот быстро пьянею.

Что бы еще сказать?

— Дядюшка Бено, вы тогда подписались на Диккенса в книжном магазине... Не знаете ли, вышел уже первый том?

— Не знаю... Не заходил в магазин.

— Чтобы не отрывать вас от дела, скажу прямо, что мне нужно. Хочу написать очерк о вас... о вашей работе. Для нашего журнала, для «Гантиади».

— О моей работе?! — для виду изумляется Бенедикт, от волнения он не замечает, как подсекает подножкой собственный стул и упирается коленями снизу в письменный стол, так что даже слегка приподнимает его. — А точнее, что именно вас интересует? — спрашивает он таким тоном, точно ему давно наскучили эти корреспонденты, от которых отбоя нет.

Выясняется, что редакцию интересуют масштабы жилищного строительства в районе, она хочет знать, насколько удовлетворяется потребность населения в жилье, какие намечаются перспективы, строятся ли в районе здания для каких-либо учреждений общегородского значения и многое другое в этом роде.

Самый длинный и исчерпывающий из ответов Бенедикта состоит не больше чем из пяти-шести слов. Джаба, положив перед собой блокнот со штампом журнала («Редакция «Гантиади». Литературный сотрудник») быстрой рукой записывает «ответы».

«Пусть этот листок напоминает мне о том, как я из корыстных побуждений, чтобы получить квартиру, вошел в сделку со своей совестью и предложил в качестве взятки свои услуги журналиста...»

Бенедикт давно умолк.

— Имеет ли район договор о социалистическом соревновании с другими городскими районами? — спрашивает Джаба и, дождавшись, чтобы Бенедикт заговорил, продолжает писать в блокноте:

«...Как я рассердился на самого себя, но понял, что уже поздно, что придется разыграть до конца роль занятого своим делом корреспондента. Пусть этот листок напомнит мне также о том, что больше всего в

эту минуту я боюсь, как бы в самом деле не напечатать чего-нибудь об этом человеке, как бы он не вытянул-таки из меня «журналистскую взятку». Сейчас, в эту минуту, я сам не могу объяснить себе свое поведение, не знаю, отчего, вместо того, чтобы выразить ему свое возмущение, неожиданно завел с ним дружеский разговор:

1) потому, что он дядя Дуданы, или

2) потому, что хочу его умаслить...»

Молчание заставило Джабу поднять голову.

— В четвертом массиве потрескались стены у вновь построенных домов. Не скажете ли чего-нибудь по этому поводу?

— Виновные понесли наказание. Райисполком, разумеется, здесь ни при чем. Дело в том, что...

«...Или, наконец, 3) потому, что не уверен, в самом ли деле он взяточник и мошенник. Никаких доказательств у меня нет...»

— Как, согласны?

— Простите, что вы сказали?

— Что, если нам взглянуть на строительство? Возьмем такси, через четверть часа будем на месте.

— С удовольствием...

Джаба вырывает исписанный листок из блокнота, складывает его вчетверо и прячет во внутренний карман пиджака.

— Уважаемый Бенедикт, когда будет вывешен список получающих квартиры? — Это не мысль: Джаба говорил это вслух.

Бенедикту задают такой вопрос сотни раз на дню. Он отвечает автоматически:

— До весны ничего не будет.

Он собирает бумаги на столе, прячет их в ящик.

— Сколько всего кандидатов в списке?

— Как сказать, — Бенедикт думает, что это очередной вопрос корреспондента. — Списки разные. Едем? — Бенедикт готов, он позванивает связкой ключей. — Как раз застанем на месте главного инженера.

— Меня интересует список тех граждан, которые должны получить квартиру в первую очередь. Я имею в виду наиболее нуждающихся.

Бенедикт заглядывает Джабе в глаза, удивленный его

вызывающим тоном: уж не разнюхал ли чего-нибудь этот корреспондент? Откуда? Бату?..

— Да, существует и такой список.. — Голос просачивается через губы Бенедикта, как вода через песок.

— Не помните ли, кто стоит в этом списке под сто двадцатым номером?

Глаза у корреспондента смеются, на губах его играет многозначительная улыбка. Он явно хочет показать Бенедикту, что все знает... Бенедикт прекрасно помнит женщину под номером сто двадцать... Ту, что разругалась с ним здесь, в кабинете, третьего дня.. Из-за того, что Бенедикт переместил ее в конец списка, отодвинул ради пятнадцати тысяч Якова Тартишвили... Так вот зачем явился этот корреспондент! Разыграл Бенедикта, посмеялся над ним в свое удовольствие и сейчас собирается его погубить.

— Не могу же я все помнить! — разводит руками Бенедикт; он смущен и нервничает. — Достанем список, посмотрим.

Он выдвигает ящик стола, шарит в нем, достает сколотые листы. Теперь он ищет названный ему номер — ищет долго...

— Э-э-э... Номер сто двадцать... Донадзе, Зинаида Порфирьевна... — лжет Бенедикт: он хочет убедиться — известно ли корреспонденту что-нибудь конкретное, или он хочет свалить Бенедикта в яму на основании простых сплетен?

— Порфирьевна? — удивляется корреспондент; улыбка, однако, не сходит с его лица. — Может быть, Александровна? Ну-ка, посмотрите еще раз.

Конечно, Бенедикт пропал. Этот молодчик все знает.

— Ах, извините. Я... я по ошибке прочел номер сто восьмидесятый. Совершенно верно. Александровна. Алавидзе Нина Александровна.

— Которая, — продолжает за него Джаба, — несколько месяцев назад находилась почти в самом начале списка.

Бенедикта прошибает пот. Он вдруг чувствует, что теряет в весе. Почему-то закрывает окно. Потом подходит к двери, убеждается, что она заперта. И наконец останавливается перед несгораемым шкафом.

— Трех будет достаточно? — обращается он к Джабе. — Тут же, сейчас...

«Две — Бату, три — этому, десять останется», — быстро подсчитывает он в уме.

Но Джаба не слышит его, пропускает мимо ушей это предложение. Он удивлен — почему фамилия «Алавидзе» ничего не говорит дядюшке Бено? И вдруг догадывается: да ведь этот человек не знает его фамилии, быть может, даже имени не помнит!

— Батоно Бенедикт, Нина Александровна — моя мать. Поняли теперь, в чем дело?

— Мать?! — Бенедикт застывает с раскрытым ртом.

— Да, мать. И мы уже десять лет ждем квартиры. А теперь, когда подошла наша очередь, кто-то перебросил нас в самый хвост. Мама была у вас тут давеча... И даже, кажется, поспорила с вами... Очень прошу вас, батоно Бено, как-нибудь... Маму жалко, а то бы...

«У-ух! — загудело в голове у Бенедикта. — У-ух! Чуть было не влип — и в какую лужу! Так вот, оказывается, в чем дело!»

Он отходит от сейфа. Три тысячи спасены. Да что три тысячи, он сам спасен, а чуть было своими руками не накинул себе петлю на шею! Все ясно — ясно как день! О Бенедикте будет напечатано в журнале, а он за это устроит квартирные дела корреспондента.

Бенедикт хлопает Джабу по спине, ласково встряхивает его.

— Постараюсь, постараюсь, молодой человек, все это в наших руках. Можешь об этом не заботиться, делай себе свое дело.

Потом медлительным, степенным шагом, сразу обретя утраченный было вес, ощутив всю силу земного притяжения, подходит к столу, запирает ящик и указывает Джабе на дверь:

— Едем, а то никого уже не застанем на строительстве. Снимать фотографии в кабинете нет смысла.

— Разумеется, на строительстве снимать лучше, — говорит Джаба.

— Шесть домов строится по нашему заказу, общей

сложностью на сто сорок четыре квартиры... Э-э-э... Когда выйдет этот... этот журнал, в котором....

— В октябре или в ноябре.

— Не скоро... Доживу ли еще до тех пор? Хе-хе...

РОМУЛ И РЕМ

— Вставай, сударыня, не время спать! Познакомься с молодым человеком. Это товарищ Дуданы, сотрудник журнала и мой друг. А может быть... а? Как знать — может быть, станет когда-нибудь больше, чем другом, хе-хе.

Казалось, женщина поднялась вместе с тахтой — такой большой показалась Джабе Марго. Она часто моргала, протирала глаза, извинялась и шарила ногой по полу, ища шлепанцы. Посмотреть вниз она почему-то стеснялась.

— Ну, просто кукла с закрывающимися глазами! Жаль, нет у меня девочки, некому забавляться такой игрушкой. Ляжет — глаза сами собой закрываются, встанет — открываются. Ну-ка, Марго, угости нас хорошим ужином!

— Сейчас, сейчас... Мы тоже еще не ужинали.

Женщина-тахта выкатилась в галерею. В комнате сразу стало пусто.

— А мы — вот сюда. Пойдем, покажу, какой у меня сынок.

Когда с фотосъемкой на строительстве было покончено, безмерно довольный Бенедикт пригласил Джабу к себе домой поужинать. Это показалось Джабе столь неожиданным, что он даже вскрикнул: «Что вы, как можно, зачем?» — и невольно попятился, точно Бенедикт собирался схватить его за руку и потащить за собой. Приглашает, — значит, считает ровней себе, так подумал Джаба. Значит, по его мнению, мы — одного поля ягодка, тянем одну и ту же лямку, жаримся на одной сковородке! В голову бы не могло прийти Бенедикту зазывать к себе в гости корреспондента, не считай он, что имеет к тому достаточное основание.

— Не думай, что я всякому окажу такое уважение, не отказывайся, смотри, обижусь, — настаивал Бенедикт.

А Джаба, словно не рассчитывая на силу слов, мотал головой, отмахивался руками от его уговоров.

— Может, и Дудана сейчас у меня, — закинул наконец самую надежную сеть Бенедикт, и Джаба тотчас же с головой и ногами запутался в ней.

Он ни разу не забился, не попытался высвободиться. Притихнув, следовал он покорно за коварным рыболовом, надеясь хоть одним глазом, прежде чем испустит дух, увидеть сказочную деву-русалку.

Но вот они вошли, захлопнулась входная дверь, проснулась Марго — и Джаба понял, что Дуданы здесь нет. В этом затихшем, безжизненном доме сила притяжения земли, казалось, была в десять раз больше обычной, Джаба чувствовал, как она сковывает ему ноги. Входная дверь, захлопнувшаяся за ним, когда он вошел, обломала легкие крылья радости, на которых Джаба парил над землей. Внезапно все потеряло смысл или, вернее, все получило правильный свой смысл, обрело свое истинное наименование. Джаба укусил себя за палец — на самом деле, а не иносказательно — и посмотрел на след этого ребяческого бунта возмущенной души — цепочку влажных ямок, оставленных зубами. Ямки постепенно исчезали, заполнялись непривычной к страданию и боли, ищущей лишь наслаждения плотью.

«Я ни единого слова не напишу об этом человеке — даже если мы с мамой останемся вовсе без крыши над головой. Но если так, то почему я не убегаю отсюда? Что меня здесь удерживает? Любопытство, одно лишь любопытство! Мне интересно, сделает ли этот человек что-нибудь в благодарность за мою услугу. Я хочу убедиться сам, на своем опыте, правда ли при помощи подкупа обделываются дела».

И Джабе показалось на минуту, что он стал невольным участником событий, скрытых от простых смертных, окутанных покровом тайны, и что скоро, совсем скоро он сорвет этот покров, выставит на позорище эти уродливые явления и проснется в одно прекрасное утро знаменитым журналистом.

Но откуда-то из глубин его души доносился до него далекий, приглушенный голос, — словно кто-то стоял за запертой дверью и стучал в нее кулаками, кричал, предостерегал, твердил, что прибывший с миссией друж-

бы и доброй воли, ищущий всевозможных путей к примирению посол лжет, обманывает Джабу, ссылаясь для отвода глаз на какое-то там любопытство, какие-то покрытые тайной события и дела, которые будто бы должен вынести на свет Джаба. А Джаба спышал все это и, однако, не открывал двери, убаюкиваемый обычной, коварной надеждой, что «в любую минуту, как только захочет, может ее отпереть».

Коридор упирался в низкую молочно-белую дверь. Джабе бросился в нос запах масляных красок. Бенедикт повернул ручку, потряс ее.

— Заперся! Что это за манеру завел парень — запираться! — Бенедикт постучал. — Он ведь у нас художник, боится, как бы его не отвлекли от работы!

Он постучал еще раз.

— Ромул! Ромул!

И вновь за этим призывом последовал стук.

Послышалось щелканье ключа в замке: мягкий металлический звук. Дверь расслабилась, как бы свободно вздохнула, но не отворилась.

— Войдем, — сказал Бенедикт и толкнул дверь.

Джаба впервые увидел юношу в ту самую минуту, когда тот, вернувшись в свой рабочий угол, к мольберту, взял кисть и провел на холсте красиво изогнутую линию. Он оглянулся, лишь когда отец сказал ему:

— Ромул, познакомься с нашим гостем.

Юноша, не протягивая руки, слегка поклонился Джабе. На лице его выразилось легкое удивление, — вероятно, гость отца показался ему очень уж молодым. Он молча вернулся к своей работе и, видимо, тут же забыл обо всем на свете, кроме своей картины, красок и кистей. Юноша — лет семнадцати-восемнадцати на вид — был одет в темно-серую рубашку навыпуск с засученными рукавами. У него были золотистые, волнистые волосы, нежная, белая кожа, покрытая легким пушком, и ярко-красные девичьи губы.

«Выйдет не меньше милиграмма чистого золота». Джаба вспомнил прочитанное где-то когда-то: «Знаете ли вы, что... волосы желто-золотистого цвета содержат...»

Круглый стол был покрыт красной бархатной ска-

тертью. На столе стояло серебряное блюдо с фруктами. На свежевымытых янтарно-желтых грушах и плотных, тяжелых виноградных гроздьях еще блестели капельки воды. С краю лежало наполовину очищенное яблоко; небольшой нож был оплетен завившейся лентой яблочной кожуры, — казалось, невидимая рука продолжает чистить плод.

Молодой художник уже почти закончил этот оживленный им натюрморт. Однако с других его работ, прислоненных к стенам или просто сваленных на полу, смотрел на зрителя совсем иной мир. На прямоугольной жестяной пластине черными буквами по белому фону было выведено: «Берегись автомобиля!» На другой, поменьше — «Проф. Ч. В. Эркемлидзе»; на третьей — «Посторонним вход строго воспрещается». Большая вывеска гласила: «Косметический кабинет».

— Мой Ромул работает в рекламном цехе, — говорил Бенедикт; заложив руки за спину, смотрел он на стену, увешанную работами сына, и, казалось, пытался угадать впечатление, произведенное на гостя всем этим художеством. — Заказы приносит домой, рисует здесь. Хвалят его очень, очень им довольны.

...На вывеске были изображены рядышком две шляпы, надпись — «Головные уборы»... Еще одна — «Мережки и плиссе».

— Он берет и частные заказы. Если кому-нибудь понадобится, твоему редактору или... Скажем, дощечку с фамилией для входной двери, то пожалуйста...

Слева у стены была прислонена вверх ногами еще одна работа — большой плакат на щите. Джаба наклонился вбок, скосил шею; маленький мальчик на плакате бежал по улице за мячиком, выкатившимся из ворот, бежал, не замечая мчащейся прямо на него машины. Джаба выпрямился, мальчик и мяч взлетели к небесам, машина перевернулась.

— А это, — Бенедикт показал пальцем на натюрморт, — один мой приятель, директор ресторана, был у нас третьего дня и попросил, чтобы Ромул нарисовал что-нибудь ему на память. Это мы рисуем бесплатно.

«Мы рисуем!»

С тех пор как Джаба и Бенедикт вошли сюда, сын ни разу не взглянул на отца, не проронил ни слова. Эта

комната была как бы частной мастерской, а молодой человек в ней — станком, по желанию включаемым и выключаемым рукой хозяина. Джаба не хотел, не мог поверить, чтобы этот живой станок, этот белокурый робот не был наделен хоть искрой человеческого таланта. Оживший натюрморт на мольберте оправдывал его ожидания — и он искал среди сваленных по углам, прислоненных к стене ремесленных работ произведения тей дней и минут, когда в душе этого юноши пробуждался художник.

— А как же, ведь моему сынку уже восемнадцать лет.

«Моему станку».

— Должен же он что-нибудь вносить в дом!

Джаба вспомнил горку в столовой, ломившуюся от хрусталя, сервант, уставленный серебром, полы в пушистых коврах. В эти комнаты больше ничего уже нельзя было внести, даже самую малость: не хватило бы места. И Джаба подумал, что все эти богатства, пожалуй, нарочно выставлены напоказ: вот все наше достояние, как бы говорили хозяева, мы очень гордимся, а если бы было еще, то и остальное выставили бы. А между тем настоящая казна запрятана под матрасами, замурована в стенах, погребена в подполье. В этом доме прикладывали копейку к копейке, дух стяжания и накопления царствовал в нем. Джаба чувствовал это даже здесь, в этой живописной мастерской, — запах масляных красок, от века связанный с бедностью, не мог ослабить впечатление.

— На что ему Академия художеств, — говорил Бенедикт. — Он и так лучше всех рисует! Зачем ему зря тратить время?

Джаба не помнил, задавал ли он какой-нибудь вопрос относительно Академии художеств. По-видимому, задавал.

— Даже стула порядочного нет, гостю сесть не предложишь, — сказал Бенедикт.

Он попробовал прочность старого стула, видимо оставшегося от прежней, более простой обстановки, убедился, что тот крепко стоит на ножках. На стуле лежал большой альбом в черном переплете; Бенедикт снял его со стула, сказал Джабе: «Садись!» Не зная,

куда деть альбом, он собирался было положить его на пол.

— Спасибо, садитесь вы сами! — Джаба безотчетным движением взял у Бенедикта из рук альбом. Из-под запыленного переплета виднелись уголки листов; стараясь не запачкать пиджак, Джаба осторожно приподнял пальцем толстый переплет — и вздрогнул. Он увидел самого себя — словно не на альбомный лист смотрел, а в родник. Потом, сообразив, в чем дело, вынул из альбома круглое необрамленное зеркальце и положил его на полку.

— Сейчас он получил заказ на неоновую рекламу для парфюмерного магазина. Хочет купить мотоцикл — только мне ничего не говорит. Правда, Ромул? Хе-хе... Я тебе покажу мотоцикл!

Золотокудрый робот безмолвствовал. Лишь когда он наклонялся в сторону, чтобы смешать краски на палитре, раздавался легкий скрип половицы под его ногой.

Джаба перелистывал альбом — листы в нем были чисты. Лишь поближе к концу попался ему первый рисунок, — видимо, он держал альбом перевернутым. На рисунке была изображена по пояс молодая женщина или девушка, снимающая — а может быть, надевающая — рубашку; обе руки ее были подняты, скрывая лицо. На другом листе были нарисованы стройные женские ноги — одна нога выпрямлена, другая согнута и чуть отведена вбок.

«Наверно, эскиз для рекламы чулок», — подумал Джаба.

Следующий рисунок сразу приковал к себе его внимание то ли гармоничной композицией, то ли законченностью исполнения, то ли еще чем-то неуловимым. Это была опять девушка — на этот раз спящая. Тело ее было закрыто тонкой простыней, какую набрасывают обычно на себя на юге в душные, жаркие ночи. Из-под простыни высовывалась по щиколотку голая нога, и благодаря этому вся простыня казалась как бы прозрачной, невидимой. Девушка лежала на боку; от крутого, несколько подчеркнутого изгиба бедра растекались, как от водораздельного хребта, два потока линий. К лицу женщины, к разметавшимся по подушке волосам бежали нежные, мягкие, притушенные контуры, а к голой

ступне стремились в вихревом движении чувственные, взволнованные, резкие кривые.

«Так нарисовать без натуры невозможно», — мелькнуло в голове у Джабы. Он посмотрел на юношу и сказал:

— Замечательно! — Ромул быстро обернулся, увидел раскрытый альбом и окаменел. — Это в самом деле превосходно! Батоно Бенедикт, Ромул непременно должен поступить в Академию художеств.

— Ты думаешь? — донеслось откуда-то снизу; Джаба посмотрел туда: Бенедикт, присев на корточки, пытался вытащить застрявшую между половицами красную резинку.

Вдруг альбом выхватили у Джабы из рук — так грубо, что он даже пошатнулся. Около него стоял Ромул; белые как мел щеки юноши медленно заливались багрянцем, глаза блуждали, тонкие ноздри раздувались. Он учащенно дышал. Сознание Джабы тотчас же забило тревогу, требуя немедленного выяснения причины этого внезапного взрыва.

— В чем дело — я что-нибудь испортил? — криво улыбнулся Джаба.

«Стыдится? Того, что рисует обнаженное тело? Но ведь он художник...»

У Ромула дрожали руки, казалось, он сейчас выронит альбом. Он взглянул в лицо Джабе и опустил голову.

«Прощения просит!»

— Ну-ка, покажи, что ты там нашел замечательного? — с трудом распрямился Бенедикт и тут же зажмурил глаза. — Черт побери, голова закружилась. — Он потер лоб ладонью, потом повертел пальцем перед носом. — Сумеешь эти круги изобразить, художник, а? — И он раскрыл глаза, улыбаясь своей шутке.

— Я сказал, что ваш Ромул прекрасно рисует, превосходно. Он должен непременно поступить в академию, из него выйдет настоящий художник.

«Или там еще что-нибудь нарисовано, чего он не хочет показывать?»

— Он и сейчас настоящий художник. Не был бы настоящим, так и денег ему не стали бы платить.

Ромул что-то искал на столе, на полу, на полках. Он закрывал и раскрывал альбом несколько раз в сильном волнении. Наконец он заметил круглое зеркало на полке, схватил его, вложил в альбом. Потом поднялся на цыпочки — над головой у него показался черный четырехугольник и на нем четыре длинных, бледных, словно написанных белилами пальца, — заложил альбом на самую верхнюю полку — белый рисунок пальцев стерся с четырехугольника, белила пролились вниз.

«А может, отец не должен видеть, кого он нарисовал?»

Юноша вернулся к мольберту, взялся за кисть.

— Почему Марго нас не зовет? Верно, готовит что-то особенно вкусное в честь гостя, — сказал Бенедикт. — Я голоден как волк.

Он вдруг потянулся к серебряному блюду на столе, выхватил из горки фруктов покрытую блестящими водяными капельками грушу и, вонзив в нее зубы, откусил едва ли не половину. Струйка густого сока потекла у него по подбородку. Джаба похолодел, чуть было не закричал: «Что вы делаете!» Рука Ромула застыла в воздухе; он обернулся, вырвал из пучка кистей самую большую, намешал красок на палитре и широкой красноватой полосой замазал янтарно-желтую грушу на холсте. Бенедикт усердно работал челюстями.

Настоящая и нарисованная груши исчезли одновременно. Бенедикт выдернул из завитков яблочной кожуры фруктовый нож, подцепил им вторую грушу, разрезал ее и протянул половину Джабе.

— Он же не сможет их написать!.. — вскричал Джаба, указывая обеими руками на картину.

Взгляд у Бенедикта на мгновение остановился.

— Фу, черт... Извини меня, Ромул, сынок! Подумай-ка, а? Совсем забыл!.. Убью Марго! Морит голодом столько времени! — Он сложил вместе две половинки плода и поставил его обратно на поднос; груша повалилась набок и вновь распалась надвое. — По-моему, так она получится еще лучше, а, Ромул? Посмотришь — слюнки потекут... Что ты делаешь, дурень?!

Ромул лихорадочно водил кистью по холсту — не водил, а бил ею, мазал, пачкал холст, — живой натюрморт умирал на глазах... Вот он исчез, сгинул — оста-

лись на холсте, как после мощного взрыва, лишь цветные лохмотья, клочья краски.

— Слушай, Ромул, ведь я же сказал, что ошибся, прощенья прошу, — никак не мог прийти в себя Бенедикт.

Ромул отшвырнул кисть в сторону, встал на цыпочки, снял с полки черный альбом и пошел к двери.

— Дурень, да я тебе десять тонн груш куплю вот сейчас, сию же минуту... Что случилось особенного?

— Пойду вымою руки.

Наконец-то услышал Джаба голос Ромула! Он подумал, что, вероятно, и эта короткая фраза брошена в знак извинения перед гостем. Иначе юноша ни за что не нарушил бы, видимо, клятвенно обещанного кому-то молчания.

— Поди, дружок, поди, вымой, — сказал Бенедикт вслед выходящему сыну. — Ну, слыхано ли, так разъяряться? Ничего не поделаешь, мальчишек в таком возрасте трудно обуздывать. Каждый день ругаемся. Не знаю, как быть... Может, женить пора? Я-то сам женился в двадцать девять лет... И жена на пять лет меня старше. А до тех пор я ни о чем таком и не думал, глаз на девчонок не поднимал, делом был занят... «Не нужно, говорит, мне заработанных мной денег, и от тебя ни копейки не хочу». — «А чего же ты хочешь?» — спрашиваю. «Хочу, говорит, быть свободным». — «Без денег, — отвечаю, — будешь рабом». — «Раб, говорит, я сейчас». Но почему он раб, не мог мне объяснить, не знает он, что это значит... Не поймешь его никак! Сначала и слышать не хотел, когда я предложил устроить его в рекламное ателье, долго упрямился, потом в один прекрасный день вдруг согласился и с тех пор работает днем и ночью, как каторжный. Часть денег я откладываю для него — видно, хочет что-то купить. Думает, я так и дам ему, без всяких вопросов!.. Теперь я за младшего мальчика все тревожусь — как бы не вырос такой же неслух... Твердят: способности, талант, а на что мне его талант, если человека из него не получится? Думаешь, я не видел, как он вырвал у тебя из рук альбом? Я только притворился, будто ничего не вижу и не слышу... Наверно, и ты был такой сумасшедший в восемнадцать лет? — улыбнулся Бенедикт.

— Я и сейчас такой.

— Ну, тогда помоги тебе бог! — Бенедикт умолк, потом вдруг схватил серебряное блюдо и протянул его Джабе: — Давай, угощайся, фрукты не для того существуют, чтобы с них картины рисовать!

Марго попросила у гостя и мужа «еще полминуты терпения». Бенедикт повел Джабу в свой кабинет. Вытащив из кармана английский ключ, он отпер дверь и пригласил гостя войти. Прелый запах отсыревшей штукатурки бросился Джабе в нос. Бенедикт растворил окно. Джаба стоял у письменного стола и разглядывал книги на полках книжного шкафа.

Бенедикт усмехался в душе: ведь из ящика этого самого письменного стола достал он давеча тетрадку, чтобы одним росчерком пера решить участь этого молодого человека! Мог ли тогда подумать Бенедикт, что пострадавший явится к нему сам, собственной персоной, чтобы попытаться изменить пути судьбы!

«Посмотрим, — думал Бенедикт. — Увидим».

Джаба тоже в свою очередь усмехнулся в душе: на полках в шкафу он заметил тома собрания сочинений Бальзака. «Так вот откуда он черпает свои цитаты!» Рядом с книжным шкафом, на стене, висела надпись — кусок белого картона с черными буквами: «Книги не просите, лучше жизнь возьмите!» Должно быть, писал Ромул под диктовку отца.

— Диккенс здесь уже не поместится, батоно Бенедикт, — Джаба попробовал открыть шкаф, но дверца была заперта.

— Новый шкаф куплю или... Хе-хе, ну-ка посмотри в эту штуку! — Бенедикт держал в руках бинокль. — Только с обратной стороны. — И сам поднес бинокль к глазам Джабы.

Шкаф убежал куда-то вдаль вместе со стеной, пол стал покатым, глаз Джабы едва доставал до противоположного конца кабинета.

— Удивительно, правда? А? Поместится здесь хоть сто шкафов или нет? — Бенедикт отобрал у гостя бинокль и сам посмотрел в него. — Это у меня еще из деревни. Когда я впервые приехал в Тбилиси, мне еле удалось достать комнатку в восемь квадратных метров. Я был в ней, как рука в перчатке. Жены тогда у меня

еще не было. Возьму, бывало, этот вот бинокль, посмотрю с обратной стороны — и на душе станет легче, дух переведу... И мечтаю, все мечтаю.

— Что ж, сбылись ваши мечты, вон какая у вас большая квартира!

— Да нет, до того, что видно было в бинокль, ей еще далеко. — Бенедикт принял серьезное выражение лица, и Джаба почувствовал, что сейчас он скажет что-то особенно нелепое. — Как вы думаете — по-моему, нет на свете другого такого удивительного изобретения, как бинокль. Куда там телефон или, скажем, фуникулер! Посмотришь в стеклышки — и крохотная комнатка превратится в целый дворец. Или, если угодно, самолет пролетит у тебя над самой макушкой. А то еще вон та женщина, в окне напротив, вдруг окажется носом к носу с тобой. Поразительное изобретение...

В дверь постучали.

Это был Ромул — он передал от хозяйки приглашение к столу.

— Пожалуйте, пожалуйте, заморила я вас голодом, но зато вот... — встретила их в дверях столовой Марго.

За столом уже сидел маленький, хорошенький мальчик, весь потный и запыленный, — видимо, он только что прибежал со двора, набегавшись всласть, и сейчас с аппетитом уплетал горячий хачапури, обжигая себе пальцы и губы.

— Это мой младший сын, Рем, — сказал Бенедикт. — Ну-ка, Рем, подай дяде руку.

— Какой же славный мальчик, умница! — сказал Джаба и погладил ребенка по голове.

Мальчик не обратил на него никакого внимания.

— А я новую загадку знаю, — сообщил Рем отцу.

— Ну-ка, что за такая загадка? Задавай, а потом мою отгадаешь, — вступил с ним в разговор Джаба.

— Что такое — камень как камень. — Рем проглотил кусок, поднес ко рту целый хачапури, но удержался, не откусил и докончил загадку:

Что такое — камень как камень,
А ходит, шевелит ногами.
Не корова, а травку жует,
Не курица, а яйца кладет.

Что это такое? — И тотчас же набросился на хачапури.

— Почем я знаю? — улыбнулся Бенедикт. — Сейчас нам недосуг загадки отгадывать. Если не курица, так, наверно, гусь или утка.

— Нет, нет! — обрадовался Рем. — Ты не говори, если отгадаешь, — предупредил он старшего брата.

— Может быть, черепаха? — подмигнул ему Джаба.

— Да, черепаха... — Мальчик был явно огорчен, что загадку разгадали, и взгляд у него погас. — Хоть бы черепахи вовсе не было на свете, — внезапно сказал он.

— Почему?

— Кому я ни загадал загадку, все сразу сказали — черепаха.

— Садитесь, садитесь, батоно, вот здесь вам будет удобно, — пододвинула Джабе стул хозяйка; потом повернулась к Бенедикту: — Отчего так долго нет Дуданы?

Джаба явственно почувствовал, чуть ли не увидел, как он изменился в лице.

— А ты ее ждала к обеду? — спросил Бенедикт.

— Да, она хотела выкупаться, так заодно уж и пообедала бы у нас.

— Ромул, — обратился к сыну Бенедикт, — знаешь, тебе и сегодня придется ночевать у Дуданы, а то она боится...

Джаба заметил, как вздрогнул юноша, как вспыхнули у него щеки, и вновь сознание его забило тревогу.

— Дудана сказала, чтобы я не приходил. У нее будут ночевать подруги.

— Она так сказала? А ты все же пойди к ней, вдруг подруги не явятся — что тогда? Пойди, пойди на всякий случай... Ну-ка, положите себе для начала вот этого, батоно Джаба, кладите, кладите смелей...

Только из-за Дуданы — ни из-за кого и ни из-за чего больше! — пришел Джаба сюда, домой, и на службу к Бенедикту. Только ради Дуданы!

Сила земного притяжения, казалось, вдруг исчезла, крылья, обломанные входной дверью этого дома, выросли снова.

«Я должен уйти. Сейчас я встану и уйду. Они ошалеют, сойдут с ума, но я должен уйти!»

Он украдкой посмотрел в сторону двери, и глаза его встретились с искрящимися глазами Ромула.

АВТОБУС С КОСИЧКАМИ

Вначале был хаос, вихревое круженье мрака. Потом появились белые точки. Мрак постепенно испещрялся ими, точек становилось все больше. Ночь теряла силу, мир как бы наполнялся светящейся пылью.

И вдруг стало светло.

Старик понял, что это — он сам. Это ему чудились и вихревой мрак, и белые точки. Он догадался, что еще жив и что если бы мог открыть глаза, то увидел бы настоящую темноту или настоящий свет. Но открыть глаза он не мог. Он не чувствовал своих рук, не знал, где они... Белые точки были его спасением: это они неизменно помогали ему.

Наверно, скоро коснутся Самсона женские руки и всё, всё всплывет в его памяти.

Он вспомнил!! Фати умерла! Самый близкий, любимый человек, его жена, его подруга. Две недели тому назад ее похоронили, а что было потом, он не помнит... Вернулись домой, товарищи подняли чарку за упокой... Может, с тех пор прошло уже два года?

Что, если и Самсон умер?

Быть может, это и есть смерть? Не видишь самого себя, не ощущаешь собственного тела, только вспоминаешь стародавние истории, прожитую жизнь... Но не можешь мыслить, связать одно с другим... Быть может, смерть такова? Что ж, хорошо, если так, если можешь хоть вспоминать. Может, после смерти Самсона прошла уже тысяча лет? Но тогда оставался бы один лишь скелет, а скелет ничего не мог бы вспомнить. Чего только не говорили люди: одни — будто бы душа человеческая после смерти пойдет либо в рай, либо в ад, другие — что после смерти настанет блаженная потусторонняя жизнь... А иные доказывали, что т а м ничего нет, только вечное безмолвие и небытие. Оказывается, и те, и другие были неправы: не оказалось после смерти ни того, ни другого, ни блаженной потусторонней жизни,

ни вечного небытия. Просто вспоминаешь всю прожитую жизнь — обрывками, вперемешку, но вспоминаешь. Этого живым не понять... Только детей жалко, вот почему оказывается, особенно большое несчастье — смерть маленького ребенка... Оттого, что маленький ребенок мало что может вспомнить после смерти, почти что ничего... Разве что куклу, или мячик, или конфету... Вот оно, оказывается, почему так жалко, когда умирают маленькие дети? Смерть ребенка — это и есть настоящая смерть. А как Митуша? Двадцать лет прожил единственный сын Самсона, не очень-то много у него накопилось воспоминаний... И погиб он так давно, что теперь уже небось вспоминает в который раз одни и те же вещи! Быстро истощился, верно, у него запас воспоминаний, короткую прожил жизнь бедный мальчик. Охотно подарил бы ему свои воспоминания Самсон, отнял бы у себя и отдал бы сыну, чтобы тот подольше жил после смерти. Жаль, что это невозможно... Интересно, вспоминает ли Митуша, как он лишился жизни, кто застрелил его, где это было?.. Незадолго до его гибели Самсон получил от полковника поздравление по поводу награждения Митуши орденом. Митуша вел самоходное орудие, на него напали фашисты, а он, схватив орудийный снаряд, вышиб им дух из двух немцев. Обо всем этом подробно рассказал в своем письме полковник. А сам Митуша написал позднее отцу, что уничтожил двух врагов снарядом, даже не выстрелив им...

Почему Самсон не вспоминает своей собственной смерти? Как он скончался и какая болезнь доконала его? Да нет, наверно, он еще не умер! Не будь он жив, как он мог бы чувствовать прикосновение заботливой женской руки, уколы, еду во рту?.. Но так, должно быть, думают все покойники, хватаются за соломинку, всячески стараются уверить себя, что они еще живы. Не будь Самсон мертвецом, перед ним вставало бы не только давнее прошлое — он знал бы, где находится, разговаривал бы, вставал бы, испытывал бы боль, мог бы радоваться. Но ничего похожего нет — ему мерещатся только стародавние картины без всякой связи друг с другом. Ни один голос не вызывает в памяти другого, ответного голоса, ни одно воспоминание

не имеет продолжения. Сознание — словно изодранная в клочья книга.

Сжатый, стиснутый, как резиновый мяч, необъятный мрак бьется, пульсирует у него в мозгу, распирает изнутри череп. Есть только одна светлая щелка в этой сплошной черноте, и через эту щель всплывают картины былого, врываются забытые голоса:

...— Самсон, вот ты меня ни во что не ставишь...

Ах, это Иваника, верзила Иваника, сцепщик!

Как это было? Когда Иваника в первый раз приехал в Чиатуру? Самсон тогда работал стрелочником. Обрадовались встрече давно не видавшиеся соседи.

Посидели за чаркой, кутнули.

И захмелели.

Самсону надо было идти на дежурство. Он встал, пошатываясь, из-за стола, отыскал свой фонарь, взял петарды, цветные флаги.

— Это что у тебя за знамена? — спрашивает Иваника.

Совсем тогда еще был молодой Иваника.

— Этим я, дру... дружок, — сказал порядком уже хмельной Самсон, а ежели что слу... случится, могу поезд остановить.

Как тогда смеялся Иваника!

— Что ты за такой богатырь, чтоб поезда останавливать? Да и слыхано ли, тряпками поезд задержать?

— А н..., не веришь, так по... побьемся об заклад!

И поспорили.

Шел скорый поезд, которому полагалась стоянка только на больших станциях.

Самсон поднял красный флажок, и—чш-ш-ш, пс-с-с— поезд резко затормозил с разгону, замедлил ход, стал.

— Го...говорил я тебе! — сказал торжественно Самсон и хлопнул Иванику по спине. — Ну что — проспорил?

С поезда соскочил начальник железнодорожного участка Орловский, машинист, ревизор, соскочили перепуганные пассажиры, подбежали к двум приятелям:

— В чем дело? Что случилось?

— Ни... ничего... Не пуг...гайтесь... — икая, отвечал Самсон. — Вот Иваника по...поспорил со мной, что я не

с...смогу оста...ановить поезд... А я и ос...становил... Он д...думает, железная дорога — это иг...грушки...

Самсона сняли с должности, перевели на расчистку дороги.

Расширяется, увеличивается понемногу светлая щель во мраке, сквозь нее виден двор Новоафонского монастыря... И завязанная узлом женская перчатка ударяется в спину Самсона.

...— Чтоб попу Тадеозу, собаке, гореть в аду! — слышится Самсону голос отца.

В ту пору Самсон был подростком. Во всей деревне имелся один-единственный аппарат для опрыскивания виноградных кустов. И пользовались им по очереди — то в одном конце деревни, то в другом. А поп Тадеоз брызгал слюной, проклиная крестьян, призывая на их головы гнев господень, суля им вечные муки на том свете: «Слыханное ли, дескать, дело — ядом травить виноград? Да как я отравленное вино потом святить буду?»

Но крестьяне не слушали его, знай себе лечили виноградники купоросом, чтобы их не съели вредители, не источила гниль, чтобы снять урожай и продать кувшин-другой вина. Как-то вечером отец Самсона вернулся домой, улыбаясь, и весь вечер качал головой да смеялся про себя.

— Что с тобой? Смеешься, как дурачок! — спросила удивленно мать.

— Да вот, шел по дороге мимо усадьбы Тадеоза и слышу шорох в винограднике. Думаю, уж не скотина ли к попу в лозы забралась, зайду, посмотрю. Зашел и застиг самого Тадеоза на месте преступления. Знаешь, что он делал? Ходил, вскинув на спину аппарат, между лоз и качал ручку вверх-вниз, брызгал купоросом на кусты, да так усердно, что борода у него стала голубой от раствора. «Что это вы делаете, батюшка?» — спрашиваю...

Этой истории Самсон еще ни разу не вспоминал.

И вот что удивительно: в последнее время, как только он погрузится в воспоминания, как только из-под темного жернова посыплются белые точки и станет светло — доносятся до него незнакомые голоса, где-то рядом заливаются веселым смехом, разговаривают

то громко, то шепотом; а порой слышится только один голос, звонкий, как колокольчик, девичий или юношеский. И Самсон не может разобрать, из прошлого доносятся эти голоса или звучат сейчас.

Он уже привык к этим молодым голосам и смеху, привык и даже ждет их с нетерпением... Весь напрягается от ожидания, так что даже дыхание у него становится прерывистым, и ему приятно это мучение.

Гудули! Где ты был, Гудули?

Гудули Маргания, старый товарищ и друг Самсона, его ровесник, работал в газетном киоске на тбилисском вокзале. Бывало, Митуша спрашивал его:

— Вы в самом деле разносили газеты, дядя Гудули?

— Как же, разносил и на улицах ими торговал.

Помнишь, Гудули?

Гудули улыбается, кивает.

И тут же раздаются рядом те молодые голоса, звонкий, как колокольчик, смех... А потом все смешивается, сливается в общий, неясный шум...

— Извините, — говорит Гудули. — Я товарищ Самсона, пришел его проведать.

•

— Нет, дочка, он безнадежен... Если бы ему суждено было выздороветь, он давно пошел бы на поправку! — Старик медленно спускается по лестнице, крепко вцепившись в перила, скользя по ним сжатой ладонью.

— А врач не теряет надежды... Он приходил вчера, — говорит Дудана. — Бывали, оказывается, случаи, когда эта болезнь продолжалась целые годы.

— Чем такая болезнь лучше смерти? — Старик опечален. — Сперва гибель сына подкосила беднягу — кое-как оправился, вернулся было к жизни, а теперь схоронил жену, и это окончательно его сразило. Если он на этот раз встанет с постели, это уж будет настоящее чудо...

Они вышли на улицу.

— Ну, будьте здоровы, молодые люди, — старик пожал руку Дудане и Джабе. — Если чудо все-таки совершится и бедняга очнется, сообщите мне, очень прошу вас, немедленно сообщите, не поленитесь. Найдете меня на вокзале, спросите Гудули Маргания, всякий покажет.—Старик, не дожидаясь ответа, повернулся,

заложил одну руку за спину и, раскачивая другой в такт необычайно быстрым для его возраста шагам, пошел по улице, потом вдруг остановился, обернулся: — А вы кто, его соседи?

— Да... Нет... Мы... — смешалась Дудана.

— Так не поленитесь, сделайте доброе дело, — повторил старик и продолжал свой путь.

Оставшись с Джабой вдвоем, Дудана почувствовала вдруг смущение и озабоченно огляделась по сторонам — не попасться бы на глаза кому-нибудь из знакомых! Она волновалась, не зная, что теперь будет, куда Джаба предложит пойти, что они станут делать, о чем разговаривать. Она боялась, как бы Джаба не сказал чего-нибудь... не сказал сразу, вдруг, сейчас.

— Джаба, ты слышал, как скрипнула кровать? — Лицо у Дуданы было встревоженное.

— Чья кровать — больного?

— Когда этот старик вошел в комнату, — Дудана показала на Гудули Маргания, успевшего уже отойти на порядочное расстояние, — когда он вошел и спросил Самсона, мне показалось, что кровать скрипнула. А тебе? Тебе не показалось?

— Нет, — сказал Джаба. — Не показалось. Она действительно скрипнула.

— Ох, Джаба, не надо!.. — вскричала Дудана.

— Что тут такого? Человек жив — нет-нет да пошевелится, как же иначе?

— Он до сих пор не шевелился... Ни разу... Я боюсь, я сегодня не останусь тут ночевать — вдруг он встанет и спросит меня: «Кто ты? Откуда ты взялась?» Ох, вот теперь я в самом деле испугалась.

— Ну, разумеется, спросит! И выгонит тебя, а следом за тобой и Ромула.

— Ромула? Ты знаком с Ромулом? Каким образом? И откуда ты знаешь, что... что Ромул...

— Вчера я был у твоего дяди, Бенедикта.

— Зачем?

— Я заходил к нему на работу, по редакционному делу. Потом он пригласил меня в гости. Я думал, что встречу тебя там... Он сказал Ромулу — сегодня ты должен ночевать у Дуданы.

— Бенедикт не дядя мой, Джаба. Мой отец и он сыновья разных родителей.

— Тем более!

— Что — тем более?

— Ничего...

— Мне так жалко Ромула,— продолжала Дудана.— Он еще совсем мальчик, а дядя Бено уж заставляет его работать.

— Да, он еще совсем мальчик, но рисует уже очень хорошо, в особенности... Очень, очень хорошо рисует.

— У дяди Бено денег куры не клюют, и все же он заставляет Ромула работать. Ромул такой способный и не учится. Ничего из него не выйдет.

— Откуда ты знаешь, что у твоего дяди много денег?

— Знаю, они мне такое дорогое платье купили...

— А я два раза слышал, как скрипнула кровать, — вдруг переменил тему Джаба.

— Хочешь меня напугать? — вздрогнула Дудана. — Напугать хочешь, да?

— Помнишь, когда ты смотрела фотоочерк о маскараде в принесенном мной журнале... И вдруг узнала себя на одном из снимков и захлопала от радости...

— Ну? — Глаза у Дуданы расширились.

— Вот тогда и скрипнула кровать в первый раз.

— Я сегодня не буду здесь ночевать, вернусь в общежитие или.. Как знать, может, когда у меня собирались подруги и мы так громко разговаривали и смеялись, он тоже шевелился и скрипел кроватью, или когда мы крутили пластинки и танцевали...

— Ромул тоже трусишка, как ты?

— Наверно. Он целыми ночами не спит. Я проснусь утром, а он уже на ногах. Непременно вернусь в общежитие.

— Не возвращайся!

— Почему?

— Мне кажется, что самое лучшее лекарство для твоего старика — это шум.

— О таком лекарстве я еще никогда не слыхала, — засмеялась Дудана.

— Это самое старое и самое целебное средство.

Сейчас, например, мне и самому требуется это лекарство.

— Шум?

«Твой голос!»

— Шум, беготня, движение. А то я закис — все сижу неподвижно за столом в редакции...

— А ты умеешь бегать? Перегонишь меня? — с лукавым блеском в глазах спросила Дудана.

— Тебе я дам двадцать метров форы и догоню на одной ноге.

— Ты так думаешь? Посмотрим. Я пробегаю сто метров в пятнадцать секунд.

— Пробегала, наверно, когда тебе было пятнадцать лет. Теперь тебе понадобится двадцать две секунды.

— Ничего подобного! Мне двадцать один год.

— А мне — двадцать четыре, Джаба Алавидзе, журналист, очень приятно познакомиться.

— И мне тоже!

— Как поживает ваше высокостуденчество?

— Так же, как ваше высочество... То есть как ваше журналистичество!

— Ух, как здорово звучит! Я посоветовал бы вам устроиться на работу в редакцию, стилистом.

— В редакции работает один мой знакомый молодой человек, который закис от неподвижного сидения за столом.

— Этот молодой человек жаждет видеться каждый день с одной девушкой, хотя знает, что не имеет на это права, и очень интересуется, будет ли иметь его когда-нибудь.

— Джаба, Джаба! — вскричала Дудана. — Ну-ка, покажи мне на фасаде оперы дату, когда она выстроена? А то я все смотрю с балкона, ищу... — Дудана повернулась лицом к театру.

Джаба посмотрел на позолоченный солнцем фасад... Положить руку на плечо Дуданы он не осмелился.

— Видишь три больших круга? — Он показал рукой. — В углах над крайними кругами, повыше, маленькие кружки...

— Не вижу.

— Их нелегко различить среди орнамента. Приглядись получше.

— Не вижу, Джаба.
— Большие круги видишь?
— Да.
— А внешние круги?
— Вижу.
— Над ними, по диагонали, — маленькие кружки, в левом вырезано «18», в правом — «87», то есть 1887 год.
— Наверно, у меня глаза не годятся, не вижу. — И, словно для того, чтобы тут же опровергнуть свое утверждение, подняла на Джабу взгляд, который перевернул ему душу.
— Тогда я сделаю снимок и потом покажу тебе дату на фотографии. — Джаба вытащил из кармана пиджака фотоаппарат.
— Да, кстати, третьего дня какой-то парень поднялся на крышу нашего дома и снимал оттуда здание оперы. Сказал, что он из Москвы, из журнала...
«Виталий!»
— Потом он попросил разрешения пройти на наш балкон и снимал еще оттуда.
«Потом он снял тебя».
— Потом он снял меня. Записал адрес и обещал непременно прислать снимок. Такой славный...
— А ты ему тоже понравилась?
— Не знаю, — застыдилась Дудана.
— Этот парень — мой друг.
— Как ты можешь знать?..
— А что тут знать? — он мой друг, и все.
— Да нет, почем ты знаешь, кто...
— Накануне вечером он как раз хотел снять театр с крыши вашего дома, но отложил на следующий день. Он гость нашей редакции.
— Правда, Джаба? Тогда скажи ему, пожалуйста, чтобы он не забыл прислать мне фото...
— Непременно, — Джаба поиграл фотоаппаратом. — Ну, так я уж не буду тогда тебя снимать. Я собирался сегодня тебя фотографировать, но с Виталием состязаться не берусь...
— Что ты, что ты, непременно, очень тебя прошу! Ты уж наверняка отдашь мне снимки. Будешь меня снимать, Джаба, да? Будешь?

— Куда мы пойдем? — Джабе была приятна настойчивость Дуданы.

— Куда?.. Знаешь что — пойдем в Ботанический сад или... — Дудана была одета в зеленое, тесно облегающее фигуру платье, она была похожа на высокий, живой стебель, — и на этом стебле, казалось, только что распустились два синих глаза. — Или на Мтацминду — хорошо, Джаба? — Синие цветы на мгновение исчезли и потом расцвели еще пышней. — Но, может быть, ты не хочешь? Или у тебя нет времени?

— Идем! — сказал Джаба.

Они пошли по людному проспекту. Удивительно мягкий, солнечный день выдался в это воскресенье — наверно, один из последних теплых дней осени. Тротуар был густо усеян желтыми листьями платанов, и тбилисцы с удовольствием шагали по щиколотку в этом сухом потоке, зачарованные шуршащим звуком собственных шагов, живо напоминающим о позабытых сельских тропинках. Если бы на минуту остановился и замер весь городской транспорт, если бы выключить все серебристые рупора-репродукторы на столбах, то тихий, нежный лесной шорох провеял бы по проспекту.

Джаба потрогал у себя в кармане единственную десятирублевку. Впереди была остановка такси — он боялся, что там окажется свободная машина и Дудана захочет проехаться. Десятки было недостаточно, чтобы подняться на Мтацминдское плато. Можно было бы доехать на такси до нижней станции фуникулера, но как быть, если потом Дудане захочется газированной воды или мороженого?

— Иди сюда, я кое-что тебе покажу, — сказал Джаба, подхватив Дудану под локоть, и увлек ее по направлению к старинному подъезду с чугунными узорчатыми решетками.

— Куда ты меня ведешь?

— Сейчас узнаешь.

Они остановились на пороге. Узор мраморного мозаичного пола в парадном был составлен из восьмиугольных звезд. В плиту у самого порога были вделаны желтые, медные, стертые до блеска буквы: «Andreoletti», — так звали итальянца, некогда владевшего фабрикой изразцов.

— Закрой дверь!

— Зачем? — удивилась Дудана.

— Закрой, и поймешь.

Дудана схватилась за ручку и потянула ее к себе; тяжелая дверь медленно повернулась в петлях и вдруг запела — послышался негромкий мелодичный звук. Дудана выпустила ручку двери и посмотрела на Джабу удивленными, улыбающимися глазами.

— Что это?

— Ну-ка, попробуй сказать, какие это две ноты? — Джабе не хотелось сразу раскрывать секрет.

Дудана пожала плечами, покачала головой — что означало: «Не знаю».

— Ми и ля, кварта, — сказал Джаба. — Этим интервалом начинается «Интернационал». — Джаба пропел начало «Интернационала».—А также марш из «Аиды».— Он пропел и эту мелодию. — И гимн нашей родины тоже. Кварта вообще — интервал, создающий мужественное, героическое настроение. Поэтому композиторы часто используют его в маршах и гимнах. Передача окончена. Следующую передачу слушайте в пятницу, в одиннадцать часов тридцать минут.

— Вопросы присылать можно?

— Пожалуйста, присылайте.

— Первый вопрос: почему поет дверь?

— Здесь мы имеем дело с совершенно случайным явлением, так сказать, индустриально-стихийным. Поют верхняя и нижняя петли двери.

— Вопрос второй: откуда вы знаете, что это ми и ля?

— Запомнили, сбегали домой и проверили на пианино.

— У вас есть дома пианино?

— Да, — старое, расстроенное, но бессмертное.

Дудана засмеялась.

— Кто обнаружил эту поющую дверь?

— Я. Это мое первое открытие, сделанное еще когда я был школьником.

— Разве у вас есть и второе?

«Второе мое открытие — это ты!»

— Да, есть и другое. Я думаю, что когда человек счастлив или когда он полон решимости и готовится

совершить какой-либо героический поступок, его нервы настроены по квартам и все его тело поет.

— Это уже получилась следующая передача. Как быстро наступила пятница!

— Что делать! Когда слушатели проявляют такой интерес...

— Джаба, скажи мне, почему же все-таки поет эта дверь?

— Случайное сочетание подходящих величин... Благодаря весу двери петли напрягаются и, подобно натянутым струнам, вместо режущего скрипа издают музыкальный звук.

— Ты коренной тбилисец, Джаба...

— Имею честь.

— Ты знаешь даже, в каком доме как скрипит парадная дверь... Ты живешь недалеко отсюда?

— Как ты догадалась?

— Ты сказал, что сбегал домой и проверил на пианино....

— Да, отсюда до нас близко. Свернешь сюда, пойдешь прямо, потом повернешь еще раз и сразу наткнешься на мой дом.

— Джаба, расскажи еще что-нибудь... Чего я не знаю...

Джаба быстро повернул голову и взглянул на Дудану. Удивительно, как он весь встрепенулся от ее голоса, от этих простых слов: «Расскажи еще что-нибудь... чего я не знаю». Как от этих совсем простых слов у него забилось сердце! Словно они жили на разных краях света и вдруг, как в сказках, оказались рядом. Это было как бы волшебное заклятие, произнесение которого делало любимым; Дудана все вспоминала, искала эти слова, проходили годы, столетия... И вот сейчас совершенно случайно нашла их, вспомнила. И Джаба тотчас же очутился около нее и увидел наяву любимую девушку, являвшуюся ему до сих пор лишь в мечтах.

— Расскажи что-нибудь, Джаба... Больше ты ничего не знаешь?

— Я знаю такое... Хватит на всю жизнь и еще останется, что сказать.

— Ну, так начинай сразу.

У Джабы ослабели колени; это говорила не Дудана,

а какая-то другая девушка, живущая у нее в глазах. Он взял Дудану под руку, и словно вся его кровь перелилась в жилы девушки, разлилась по всем капиллярам ее тела и вернулась к Джабе. И принесла с собой ее тайну — радостно-волнующую тайну Дуданы.

Дудана толкнула тяжелую дверь с железным орнаментом, дверь волшебного дворца, и дверь запела, зазвенели две ноты — два человеческих существа, захваченные волшебником в незапамятные времена и превращенные в звуки.

Дверь остановилась. Умолкла ее песня, и в то же мгновение вышли из дворца девушка-красавица и стройный юноша — через тысячу лет волшебник вновь превратил звуки в людей, потому что был один из прекраснейших дней со времени сотворения мира.

— Знаешь что? — сказал Джаба. — Я расскажу одну сказку.

— Сказку?

— Да, сказку. Сочиненную мной. Так слушай. Жила-была маленькая девочка...

Дудана кивнула, как бы давая свое согласие на то, чтобы в сказке была маленькая девочка.

— Такая маленькая, что едва дотягивалась до подоконника и потому видела в окно только небо. По утрам она улыбалась солнцу, махала рукой проплывающим в вышине облакам, и взгляд ее делался грустным оттого, что она не могла с ними поиграть. Вечерами — то же самое, она по-прежнему видела только небо, потому что была слишком маленькая и едва доставала до подоконника, она смотрела на сверкающие звезды, на месяц, то острый, как серп, то круглый, и ей казалось, что на свете ничего нет, кроме бесконечного, беспредельного неба. Единственный, кто входил к ней в комнату, был дождь; невозможно описать, как радовалась девочка дождю, — она подставляла щеки под крупные капли, врывавшиеся в окно, играла с дождевыми струями, а потом, когда дождь уходил, выжимала воду из платья и длинных кос. И она думала, что путь дождя ниже ее дома продолжался также в небе.

Шло время. Девочка понемногу росла. И уже могла положить подбородок на подоконник.

А в одно прекрасное утро девочка проснулась, под-

бежала к окну и не могла удержать крик восхищения: она увидела, что небо подпирают снизу горы, а на склонах гор растут всевозможные пестрые цветы, увидела шелестящие деревья, кусты, бабочек, перепрыгивающих с ветки на ветку птиц...

— И маленьких девочек, — сказала Дудана.

— Нет, — покачал головой Джаба. — В моей сказке только одна девочка.

— И больше никого? И мальчика нет?

— Больше никого. Только девочка и фонтан.

— Фонтан?

— Да. Слушай дальше.

Не помня себя от радости, девочка уселась на подоконнике, посмотрела вниз — и вдруг глаза у нее расширились от удивления. В красивом парке внизу она увидела дождь, который струился снизу вверх. Никогда не видала девочка ничего подобного. Это был совсем необычный дождь — гораздо более сильный и красивый, чем тот, что приходил к ней в гости; он сверкал и переливался всеми цветами радуги в солнечных лучах, и девочке очень, очень захотелось с ним поиграть.

Фонтан в свою очередь увидел девочку, был очарован ее прелестью и к тому же почувствовал, что ей хочется с ним играть.

И фонтан потянулся кверху, взмыл ввысь, так что его пенистая струя поравнялась с окном, и сказал девочке:

«Иди сюда, ко мне».

Девочка сначала испугалась, не могла сразу решиться. Потом поставила на струю одну ногу, а вслед за ней и другую.

Фонтан ушел вниз — струя стала постепенно понижаться, и вскоре девочка очутилась в парке.

И начался самозабвенный, головокружительный танец. Фонтан подбрасывал девочку вверх и ловил ее в воздухе. А девочка то обвивалась вокруг него, как плющ, то замирала, прильнув к нему, то вставала одной ногой на голову струе. Увлеченно, самозабвенно танцевали фонтан и девочка. И танец этот доставлял девочке такое наслаждение, что она потеряла голову и забыла всё на свете — небо, сверкающее солнце, белоснежные облака...

Вдруг откуда-то сверху, с горного склона, послышался слабый голос:

«Девочка! Иди сюда, девочка!»

— Кто ее звал? — не вытерпела Дудана.

— Именно этот вопрос задала девочка фонтану. Фонтан отвечал:

«Ах, то один полуразвалившийся водоем. Не обращай внимания!» И подбросил девочку высоко в воздух.

Но зов повторился. На этот раз в нем слышалась мольба.

«Девочка! Иди сюда ко мне, девочка!»

«Я пойду», — сказала девочка и посмотрела на склон горы.

«Чего тебе там нужно? Это же просто старая развалина, полуразрушенный водоем», — повторил фонтан.

«Я должна пойти. Я никогда не видела водоема».

Девочка взбежала по склону и остановилась около водоема. Это был круглый, каменный бассейн, врытый по пояс в землю. Вода в нем была мутная и чуть колебалась. На поверхности ее плавали сухие листья и обломанные ветки. От бассейна, у самого его основания, отходила железная труба, которая тут же терялась в земле.

«Это ты меня звал?» — спросила девочка.

Ей не хотелось, чтобы оказалось так.

«Да, — вздохнул водоем. — Это был я».

«И что же — ты такой некрасивый?»

«Да, такой некрасивый».

«И всегда такой грязный?»

«Да, — простонал водоем, — всегда такой грязный».

«И всегда неподвижный?»

«Да, всегда неподвижный».

Голос водоема звучал все глуше и глуше — он явно стыдился своего уродства.

«И ты, наверно, не умеешь танцевать?»

«Не умею, девочка... Но все же останься со мной, и...»

«Не останусь, не могу!» И девочка посмотрела вниз, туда, где взвивался к небу, сверкая всеми цветами радуги, фонтан.

«Останься, умоляю тебя! Ко мне еще никогда не приходила такая славная девочка, как ты!» — сказал водоем.

«Не останусь, я хочу танцевать».

«Я совсем один, я всеми брошен и позабыт, — продолжал водоем. — Останься со мной».

«Нет, я должна идти. Я хочу играть с фонтаном!» Девочка повернулась и побежала вниз по склону.

Водоем жалобно застонал. Стон его перешел в рыдание. Вдруг он умолк. И какой-то странный вздох, полный злобы, вырвался у него.

А внизу, в парке, самозабвенно танцевали фонтан и девочка.

«Посмотрим, посмотрим!» — угрожающе забулькал водоем, и вдруг большой ржавый кран на железной трубе повернулся со скрипом.

Внизу, в парке, у фонтана подкосились колени, струя его понизилась, но он продолжал увлеченно танцевать с девочкой.

Тр-р-р... Хр-р-р... — раздался снова скрип крана, и фонтан стал вдвое меньше ростом. Хр-р-р... Фонтан приник к земле и наконец исчез.

«Хе-хе-хе», — захохотал водоем.

— Ах, какой злой! — сказала Дудана.

— Постой, послушай дальше...

Девочка стояла в недоумении перед бассейном и искала глазами фонтан. Потом обошла вокруг бассейна, заглянула внутрь, посмотрела на небо, но нигде не могла найти сверкающего красавца-фонтана.

Слезы брызнули у девочки из глаз. Она горько плакала, заливаясь слезами.

«Ха-ха-ха», — хохотал водоем; но вдруг до его слуха донеслись рыдания.

Он сразу затих, словно онемев, и долго молчал. Сердце у него разрывалось от жалости к девочке.

«Эх! — вздохнул он наконец. — Нет, этого я не вынесу... Не могу... Эх...»

— И снова открыл кран? — не терпелось узнать конец Дудане.

— Да...

— Или ты это сейчас придумал?

— Нет, не придумал, так было с самого начала...

Большой ржавый кран пошевелился, сперва чуть повернулся — словно водоем еще колебался, — а потом громко заскрипел.

Тр-р-р... И фонтан высунул голову из-под земли.

Хр-р-р... И фонтан встал во весь рост.

И снова привольно взвился к небу фонтан, снова подхватил хохочущую от радости девочку, подбросил ее в поднебесье.

«Эх!» — глухо вздохнул еще раз водоем и умолк.

Поверхность воды в нем постепенно понижалась, вода уходила вглубь, все шире становилась мокрая полоса на его каменной стене.

Девочка и фонтан по-прежнему самозабвенно танцевали.

— Глупый! — воскликнула Дудана.

— Кто?

— Водоем.

— А сначала сказала, что злой, — заметил Джаба.

— Когда он не давал воды, то был злой.

— А когда воскресил фонтан — глупый?

— Да, потому что... — Дудана запнулась, потом продолжала решительно: — Эта история вообще не должна была случиться, и он тогда не сделал бы зла... И глупости тоже.

— Не должна была случиться, но случается.

— В сказках.

— И в жизни тоже.

— Сядем в автобус? — остановилась Дудана. Они были около кинотеатра «Руставели».

— Если ты не устала, пойдем лучше пешком.

«В автобусе нам придется молчать».

— Пойдем. Ты в самом деле сам сочинил эту сказку? Да? А кто ты, Джаба... Кем ты хотел бы быть, водоемом или фонтаном?

— Не знаю. Я пока еще не знаю, кем я родился.

— А все-таки?

— Не знаю... — развел руками Джаба.

— А я бы полюбила фонтан. Он сам заметил девочку, поднялся к ее окну, сам попросил ее пойти с ним играть...

— А если водоем не даст воды?

— Даст. Я сделаю так, что даст, — сказала Дудана

так, как если бы сама себя хотела уверить в этом, и вдруг спросила Джабу: — Гурам очень обижен на меня?

«Что-то случилось!»

Мысль эта молнией мелькнула в сознании Джабы. Теперь надо было держаться так, чтобы Дудана не поняла, что он ничего не знает.

— Нет, не очень.

— Значит, все-таки обижен?

— Да, хотя, собственно...

«Почему она вдруг заговорила о Гураме? Что-то случилось — что-то такое, что мне следует знать, а я не знаю».

— Но ведь я правильно поступила, Джаба, да?

«Видимо, правильно поступила».

— Разумеется.

«Отказалась играть в фильме, что ли?»

— Как же он... как он тебе рассказал?

— Да видишь ли... наверно, так, как все и было.

— А все-таки?

— Лучше я послушаю тебя и скажу, если Гурам соврал.

«Откуда взялось это словечко? Почему, собственно, Гурам должен был бы врать?»

— Нет, начни ты. Что он сказал? Что не знал, который час?

— Нет, этого он не говорил.

— Что был пьян?

— Нет.

— Ну, а что же?

— Не сказал.

«...Может, что-нибудь более важное?.. Неужели Гурам...»

— Тогда давай я расскажу: он приехал ко мне в институт на машине...

— Не рассказывай, Дудана.

Девушка посмотрела на него с удивлением.

— Не рассказывай: Гурам ничего мне не говорил, я ничего не знаю.

— Ничего не говорил?!

— Мы с ним ни разу за это время не виделись.

— Тогда почему ты не хочешь меня слушать?

— Ладно, слушаю.

Дудана опустила голову и замолчала. На проспекте, казалось, только и был слышен стук ее каблуков.

— Куда мы идем? — спросила Дудана, ни к кому не обращаясь.

— Поднимемся на Комсомольскую аллею или в Ботанический сад. Там хорошо фотографировать.

— Джаба, ты правда сам придумал эту сказку?

— Да, кажется, придумал.

— Как она пришла тебе в голову?

— Я сидел в саду перед фонтаном и...

— И писал?

— Нет, размышлял.

— О чем?

— Обо всем. О себе...

— И что же?

— Потом какая-то девушка остановилась рядом и долго смотрела на фонтан.

— И тебе стало завидно?

— Да, немножко.

— На тебя она не смотрела? Совсем?

— Нет.

— Джаба!

— Да?

— Если девушка сама обратит на тебя внимание, тебе она понравится?

— Не знаю.

— Нет, не то что обратит внимание, а если ей захочется всегда быть с тобой?

— Если это будет хорошая девушка — да! — Быстрая, прохладная река подхватила Джабу, он куда-то мчался, покачиваясь на ее волнах, так, что у него захватывало дух...

— Джаба... Ты только не смейся... Не будешь смеяться? Мне еще никто никогда не говорил, какая я. Я о себе ничего не знаю. То есть не знаю, какой меня находят другие... Джаба, скажи мне, какая я, — только откровенно, ничего не скрывай.

— Ты очень хорошая девушка. Наверно, гораздо лучше, чем даже я думаю.

Дудана улыбнулась. Улыбка долго не сходила с ее лица.

— А теперь спроси ты.

— Что спросить?

— Спроси: «Какой я?»

— Какой я, Дудана?

— Ты очень хороший, Джаба.

Оба засмеялись.

— Крепко мы похвалили друг друга, — сказал Джаба.

— Третьего дня я сидела в комнате одна и думала...

— Почему одна? Там же был еще этот старик в своей постели.

— Ох, Джаба, не напоминай мне об этом старике... Так вот, я сидела и думала: как странно, что мы так быстро, чуть ли не с первого раза освоились друг с другом, сблизились... Какая тому причина?..

— С кем ты сблизилась?

— Мне кажется, что мы уже очень давно знаем друг друга. А на самом деле нет еще и месяца. Потом я догадалась — если бы ты не пришел к нам в тот вечер... Когда ты будто бы что-то потерял... Если бы ты не пришел в тот вечер, я... Я никогда, ни за что не показала бы тебе цветка. Как-то нечаянно получилось... Этот цветок я приняла от тебя, как дань восхищения, громко, во всеуслышание провозглашенную хвалу. Я ведь не знала, не ждала, что встречу тебя еще когда-нибудь. Ну и так как хвалу можно сохранять, я ее и сохранила.

— А Гурама ты почему обидела — уж не явился ли он без дани и хвалы? — Джаба криво улыбнулся; шутка не могла скрыть тайную его мысль, он покраснел, понял, что выдал себя. И почувствовал, что от любого ответа Дуданы скрытый смысл его вопроса станет еще ясней. Внезапная случайность вывела его из затруднения. — Дудана! Дудана! Смотри, смотри скорей!

По проспекту мчался голубой автобус. Обе его дверцы были закрыты. Из передней свисали две пушистые толстые косы: дверца, захлопнувшись, прищемила их, и они остались снаружи. Автобус летел, а две каштановые косы с белыми бантами развевались по ветру.

— Как, наверно, сейчас заливается смехом обладательница этих кос! — сказал Джаба.

— Ну да, смехом... Скорее, наверно, слезами — от боли и от страха! — возразила Дудана.

— А пассажиры кричат водителю: «Открой дверь!»

— Одни кричат: «Открой!», а другие, наборот: «Не открывай, вывалится!» — и, ухватив девочку, держат ее изо всех сил.

— Да, там внутри спорят, а того не видят, как красив автобус с бантами!

— Похож на разряженного, разубранного коня, правда?

— Ты когда-нибудь носила косы?

— Нет... Некому было их заплетать.

Автобус скрылся за поворотом.

— Пойдем скорей, а то набегают тучи, — Джаба посмотрел на небо,— этак мы не сможем фотографировать.

И Джаба вспомнил одну из первых своих работ, напечатанных в журнале, — фотоинформацию о киносъемочной группе на подъеме Бараташвили: серебристые отражатели для подсветки, погашенные «юпитеры», загримированные актеры с кофейно-коричневыми щеками и алыми губами. И режиссер, нетерпеливо дожидающийся появления солнца, чтобы начать съемку.

И снова перед глазами у него встало лицо Гурама.

НЕБО И РЕЖИССЕР

— Джаба, проснись, Джаба!

Сквозь сон слышит он голос матери, но не может понять, откуда, с какой стороны доносится зов.

Джаба плывет в непроглядном мраке; он держится на поверхности, потому что не двигает ни руками, ни ногами и боится пошевелиться, чтобы не провалиться на самое дно.

— Чей это жакет?

Отворилось маленькое окошко — словно какая-то сила распахнула его снаружи, — и в сознании Джабы разлился яркий свет.

«Я спал», — подумал он.

Он хотел открыть глаза, но было почему-то удивительно трудно разлепить веки. Только брови вздергивались квехру, тщетно усиливаясь увлечь веки за собой.

Сначала он вспомнил фото, напечатанное в «Гантиади». В галерее на хорах среди толпы девушек в масках

сидит Дудана; она смотрит через окно галереи вниз, в зал для танцев. Это фото послужило ему поводом еще раз зайти к Дудане. Потом пришел проведать больного тот старик Гудули, так, кажется, его имя? Просил известить его, если что случится... Потом Дудана хотела, чтобы Джаба был фонтаном из его сказки... Сколько он сделал снимков на Комсомольской горе! Хоть бы хорошо получилось!

— Напечатай все, Джаба, я потом сама выберу.

Издали доносился шум водопада.

— Спустимся туда, — сказал Джаба.

— А если пойдет дождь? Мы не успеем добежать до укрытия.

Между невысокими холмами открывался через узкий пролом в отвесных скалах вид на ущелье Ботанического сада. Пролом был огорожен чугунной решеткой, чтобы никто случайно не свалился с обрыва. Джаба попросил Дудану стать перед этой решеткой, а сам присел и навел аппарат на фокус. Потом чуть отступил и вдруг, в эту самую минуту, увидел... Под платьем у Дуданы явственно обрисовывались две темные колонны... Внизу, вырвавшись из-под края юбки, как два луча из облаков, они упирались в землю. А Дудана стояла, прислонясь к решетке, и, ни о чем не догадываясь, улыбалась. И тогда Джаба подумал: «Нет... О любой другой можно — т а к, а о Дудане—нельзя... Дудана совсем иная...» Да, кажется, так все и было. Теперь он проявит пленку, и если объектив тоже увидел те две колонны, то он не сможет показать снимок Дудане.

— Где тот снимок? Почему ты его не напечатал? — скажет Дудана с упреком.

— Не вышел...

— Что ж как раз этот и не получился? Он, наверно, был бы лучше всех.

Дудана открыла маленькую, продолговатую сумочку и тут же закрыла ее. Щелкнул замочек.

— Зеркальце пропало. Где я могла его потерять, не пойму.

— Ты потеряла зеркальце?

— Неважно. Потерять — это ничего, плохо, когда разобьется.

— Ты потеряла зеркальце? — повторил Джаба.— Когда ты его потеряла?

— Проснись, ленивец! Думаешь, сегодня опять воскресенье?

— Я не сплю... Сейчас! — пробормотал Джаба, не раскрывая глаз.

Потом они сели в автобус и стали спускаться по извилистому шоссе в город. Смеркалось. Дудана сказала: «Будь у меня косы с бантами, высунула бы их в окно, чтобы развевались на ветру». А Джаба думал о потерянном зеркальце. Потом вспомнил Гурама. Весь вечер ему хотелось вернуться к прерванному разговору, но он удержался. Зачем спрашивать? Дудана сама должна была сказать. Джаба не будет вмешиваться... Наверно, она думает, что Джабе все известно, потому и не говорит. Пусть думает! Наверно, и Гурам так полагает... Пусть.

— Джаба, у кого ты отобрал этот жакет?

«Какой жакет?» — думает Джаба.

Они сошли с автобуса в начале улицы Давиташвили и двинулись пешком по спуску. И тут Джабу окликнули:

— Молодой человек! На минутку!

Следом за ними шел какой-то старик. Джаба не сразу узнал его.

— Так-то вы держите слово, молодой человек?

— Ах, дядя Никала! Извините меня, дядя Никала, но вы были больны... Я звонил каждый день.

— Сдал бы кому-нибудь другому!

— Никто не захотел принять, дядя Никала. Сказали принести, когда вы выздоровеете.

— Значит, вот так, на улице, надо тебя ловить? Здравствуй!

— Здравствуй, дядя Никала.

— Здравствуйте, барышня! Так вот, ты же знаешь — за этот костюм я в ответе.

— Ну, что вы, дядя Никала, как можно... Завтра же принесу!

— Посмотрим. Я уже два дня, как вышел на работу... Жду.

— Дядя Нико, эта девушка... С этой девушкой, дядя Никала, я познакомился на том самом маскараде.

— На каком таком маскараде? — нахмурил брови старик.

— В институте... Для которого мне нужен был костюм...

— А-а... О-о... — просветлело лицо у Никалы.

— Слушай, это же женский жакет, откуда он у тебя?

Джаба открыл глаза.

— Я заходил к товарищу, мама... А пока шел к нему, вымок под дождем. И его мать дала мне свой жакет. Как ты узнала, что он женский?

— А своего у товарища ничего не нашлось? С чего это ты напялил жакет его матери? А что он женский, видно само собой: пуговицы слева.

— Что ж мне делать, если жакет — матери моего товарища?..

— Это жакет молодой женщины. Для женщины в летах цвет слишком яркий.

— А мать моего товарища молодая.

На улице Джапаридзе их настиг дождь. Улица Мачабели, улица Кирова, площадь Ленина, проспект Руставели... Небо щедро изливало на землю теплую воду, с древесных ветвей стекали журчащие ручейки, водосточные трубы пришли в исступление — словно в кои веки дождались желанного пиршества и вот заливались самозабвенной песней во все свои ржавые жестяные глотки. Влажный занавес опустился во всем пространстве между ярко освещенными домами, и от этого вечерний сумрак казался еще плотнее и гуще. От светящихся молочных шаров, свисавших гирляндами с белых столбов, поднимался клубами пар. Дудана торопливо шлепала по воде, мотая головой, чтобы смахнуть с лица капли дождя, и то и дело проводила языком по мокрым губам. Мокрое ее платье совсем, казалось, позабыло о своем назначении и уже не скрывало ее тела, а, напротив, с беззастенчивой откровенностью воспроизводило каждый его изгиб. Девушка время от времени с трудом отдирала платье от плеч, от шеи, от груди — но мокрая ткань тотчас же снова со скульп-

турной четкостью вылепляла ее крепкую грудь. Джаба шел, нагнув голову, и твердил про себя: «О ком хочешь можно так думать, только не о Дудане...»

— Жар у тебя, что ли, дружок? Что ты там бормочешь?

— Ты это мне, мама?

...В парадном дожидался Дуданы Ромул — сжавшись и втянув голову в плечи, однако почти сухой. Видимо, он пришел раньше, чем хлынул ливень. Джаба пошел с Дуданой до ее двери, но заходить не стал — Дудана вынесла ему свой жакет.

Тем временем дождь перестал. Джаба не пошел домой, он долго еще бродил по улицам, перекинув жакет Дуданы через руку.

...В парадном дожидался Дуданы Ромул. Он должен был ночевать у Дуданы, чтобы она не боялась одна... Как он метался тогда, ища круглое зеркальце, а когда нашел его на полке, сразу успокоился. На что художнику зеркало? Нужно, конечно, нужно... И этот рисунок... Спящая девушка... Неужели? Глупости! Чепуха! Дудана должна понять, что Джаба любит ее...

— Ты не болен? — спросила мама.

Джаба очнулся. Мать положила руку ему на лоб. Эта маленькая рука показалась ему удивительно холодной.

— Который час?

— Начало десятого.

Джаба вскочил. Вдруг у него закружилась голова. В ногах не было силы. Истаявшим, жалким и беспомощным показалось ему собственное тело. Оно словно утеряло вес и не могло опереться на ступни, чтобы твердо встать на полу. Джаба подождал, но слабость не проходила. Тогда он испугался, что упадет и напугает маму.

— Кажется, в самом деле у меня температура. Наверно, простудился вчера. — И он вернулся к постели.

Нино уже разыскала термометр — встряхивая его по пути, она спешила к Джабе.

— Никогда меня не слушаешься!.. На, поставь. Ку-

да вас, однако, занесло — неужели негде было укрыться от дождя?

«Вас!»

— Кстати, если эта госпожа так уж тебя любит, неужели она не могла дать тебе обсушиться?

«Не успокоится, пока все не выведает!»

— Она и сама промокла, мама. Может, тоже сейчас лежит в постели.

Нино выпрямилась, посмотрела сыну в глаза.

— Ага! Значит, ты в самом деле был с женщиной? Вот и проболтался. Кто она такая?

— Мы с ней товарищи, мама. Что тут особенного, если погуляли вместе?

— Ну конечно, ничего особенного. Так кто же она, каких родителей дочь?

— Просто одна девушка, мама,— улыбнулся Джаба.

— Знаю, знаю, какая это, верно, девушка...

— А что, разве нельзя, чтобы тридцатипятилетняя женщина была девушкой? — Джабе хотелось поддразнить мать, чтобы потом, сказав правду, успокоить ее.

— Я тебе покажу тридцатипятилетних, негодник! Уши оборву! — Нино потянулась к его уху; Джаба ускользнул, метнувшись к стене.

— Мама, термометр! Мама!

— Завтра же приведи жену, негодник! Шлянье с потаскушками до добра тебя не доведет!

— Мама! — закричал Джаба и вскочил, сел в постели; термометр вывалился у него из-под мышки и полетел на пол. — Сейчас же извинись!

Нино окаменела от изумления.

— Что это с тобой?

— Сейчас же извинись! — Лицо у Джабы перекосилось, он весь дрожал.

— Перед кем мне извиняться, дубина, перед тобой? — У Нино трясся подбородок, она сдерживала слезы. — Эх! — махнула она рукой, и мучительная дума избороздила морщинами ее лицо; она наклонилась, стала подбирать с пола обломки разбитого термометра. — Ну и молодца же я вырастила! И на тебя-то мне надеяться? Из-за какой-то... какой-то девчонки требуешь извинений от родной матери...

— Отчего у тебя сорвалось это слово? Как ты мог-

ла подумать, что я знаюсь с потаскушками? Почему, мама, почему?..

Нино не ответила ему; она молча вышла на чердак, под железную крышу, и выбросила в мусорный ящик обломки термометра. Когда она вернулась в комнату, Джаба лежал на спине и смотрел в потолок.

— Ни на грош благодарности не видела я от тебя. Работала как вол, была тебе и матерью, и отцом, всю жизнь тебе отдала — и вот теперь должна извиняться! — В голосе Нино зазвенели слезы, сдерживаемые до сих пор.

— Мама!

— Я тебе не мать! Себя не жалела, вырастила этакого огромного зверя, и вот, должна у него же просить прощения! Требует, чтобы я стала на колени перед какой-то... какой-то...

— Надо было вырастить не зверя, а человека!

— Ты и в самом деле не человек!

— Да, не человек! Да, да, не человек!— Джаба снова сел в постели. — Что я за человек — всего боюсь... Никому не смею высказать правду в лицо!

— Какую правду?

— Обыкновенную.

— Как, и друзьям?.. Гураму не можешь сказать правду?

— Не могу.

— И Нодару не можешь?

— Не могу.

— А другим? Товарищам, сослуживцам?

— Нет, не могу. Когда они лгут, когда они лицемерят, когда они хвастаются... Напротив, я даже всячески помогаю, чтобы их ложь больше походила на правду, поддакиваю им, чтобы они лгали охотно и смело, не стыдясь! И всячески приукрашиваю эту ложь, чтобы самому в нее поверить.

— Почему же ты так поступаешь?

— «Почему, почему»... Если все сказать человеку откровенно в лицо, придется разругаться, поссориться с ним. Иначе у меня не получится. А я не хочу оттолкнуть, потерять его...

— Не хочешь потерять друга?

— Да, не хочу.

— На меня ты, однако, сразу набросился, накричал!
— Ты — моя мать, ты меня простишь.
— Вот так же ты и с любым должен схватиться, если уверен, что прав.
— Почему ты научила меня молчать, мама, почему воспитала меня таким?
— Я тебя не воспитывала.
— Кто же, если не ты?
— Не знаю. Я тебя таким не воспитывала, и отец твой — тоже.
— Чему же ты меня учила? Скажи, чему ты меня учила?
— Я учила тебя всему хорошему. — Нино отвернулась и проговорила тихо: — Проси у меня прощения!
— Ладно... Прошу прощения.
— Скажи как следует!
— Прости меня, мама, я напрасно погорячился. Как-нибудь я покажу тебе эту девушку, и тебе самой станет стыдно того, что ты сказала.
— Тогда я охотно перед тобой извинюсь, а пока что я не знаю, кто она... Я учила тебя человеческому отношению к людям, учила честности и искренности!
— Но ведь я не всегда бываю искренним!
— Это не моя вина.
— Почему я бываю неискренним?
— Дома, в семье, от меня ты мог научиться только хорошему. Чего ты нахватался вне дома, я не знаю... Где я теперь найду так сразу термометр?
— Мама, позвони в редакцию... Кто бы ни подошел к телефону, скажи, что я болен, пусть передадут редактору.
— Я пойду в поликлинику, вызову врача.
— Не надо мне никаких врачей. Укроюсь потеплей, полежу сегодня в постели и завтра буду здоров. Не вызывай врача.
К вечеру ртутный столбик в термометре поднялся до сорока градусов.
Светловолосая, полненькая женщина-врач долго осматривала Джабу.
— Ну-ка, милый, кашлянем разок, вот так... Теперь кашлянем и не будем дышать... Так... А теперь дышите, глубже, еще глубже, еще... Теперь перевернемся

лицом вниз... Поднимем майку... Постойте, я сама подниму... Это что такое? — внезапно вскричала женщина-врач.

Джаба явственно представил себе, какое у нее сделалось изумленное лицо при виде синих кровоподтеков на его спине. Он с усилием поднял голову, посмотрел на врача и приложил палец к запекшимся, белым от жара губам. Нино была в коридоре, наливала в умывальник воды.

— Это не имеет отношения, — улыбнулся Джаба врачу и уронил голову на подушку.

...Он уснул... Холодный фонендоскоп скользнул ему под майку — это было последнее, что он почувствовал наяву.

— Батоно Георгий! Батоно Георгий!

— Войди, Джаба. Что случилось?

— Здравствуй, батоно Георгий.

— Здравствуй, Джаба. Садись. Ну как, поправился?

— Поправился. Я был простужен, лежал в жару...

— Да, я слышал, как ты меня звал. Высокая у тебя была температура?

— Высокая.

— Джаба, ты должен был написать очерк про старый классный журнал... Как у тебя с ним дело? Ты собирался разыскать тогдашних школьников, тех, что записаны в журнале. Журнал при тебе? Ну-ка, покажи его. О, в самом деле, какие все славные ребята, красавцы! Дай-ка я устрою перекличку, и мы сразу увидим, кто из них на месте.

— Читайте, батоно Георгий. Я буду отвечать — кто есть и кого нет.

Зазвонил звонок, возвещающий начало урока. Джаба встал. Георгий знаком приказал ему сесть и стал вызывать по журналу:

— Любовь!

— Здесь.

Георгий взглянул на Джабу; смотрел долго, словно не веря его ответу. Потом вернулся к журналу.

— Надежда!

— Здесь.

— Страх!

— Здесь.

Георгий опять посмотрел на Джабу, потом укоризненно покачал головой.

— Выгоню из класса!

— За что, учитель?

— Выгоню... — Георгий снова склонился над журналом.

— Воля!

— Нет.

Георгий задумался.

— Мужество?

— Нет.

Учитель бросил журнал на стол.

— Сегодня урока не будет. Джаба Алавидзе, выйди из класса!

— Я сделаю укол... Скоро станет легче, Джаба, — сказал женский голос.

— Перевернись, сынок... Еще немножко... Вот так. Ты ведь не спишь?

— Не сплю... Дай мне пить.

— Спокойно, вы ведь не маленький! Будет немножко больно... Чуть-чуть...

— Можно дать ему воды?

— Можно.

Через окно в покатом потолке смутно виднелось белое здание станции фуникулера на горе Мтацминда. Первый луч восходящего солнца, высланный вперед, как вестник, робко золотил угол многоколонного здания. Крыши домов, рассыпавшихся по склонам Мтацминды, еще тонули в сумраке. Быстро светало. Небо словно изо всех сил терло глаза, стараясь получше рассмотреть город.

Джаба давно уже не спал. Наверно, его разбудило громкое дыхание матери. Через никелированную спинку кровати он видел маленькие ноги Нино. Мама была в чулках — видимо, провела ночь без сна и лишь под утро прилегла отдохнуть.

Джаба боялся пошевелиться — как бы не скрипнула кровать и не разбудила маму. А между тем он чувст-

вовал сильную боль ниже поясницы, словно там после укола осталась иголка от шприца.

Жар прошел; голова у него была легкая и как бы пустая. Он упирался в подушку затылком, чтобы почувствовать ее тяжесть. Он думал о виденном сне — и ему казалось, что это был не сон, что все это случилось наяву, только он почему-то этого тогда не заметил. Он перебирал в памяти детские и отроческие годы, пытаясь найти в них опровержение того, что слышал во сне. Он копался в воспоминаниях детства, как в куче заброшенных, сваленных в углу сарая игрушек, словно хотел найти игрушку, которую любил когда-то больше всех. Была в этой куче большая, круглая луна, которую он обнаружил на небе в один теплый вечер и от изумления раскрыл рот, но не осмелился попросить маму снять ее с неба, так как почувствовал, что маме пришлось бы надолго и очень далеко уйти за этим красивым мячом. Был здесь запах сухих кукурузных стеблей, доносившийся до него из глубокого колодца времени, были журчание речки, боль от вонзившейся в пятку колючки, из-за которой он плакал навзрыд, сверкающий глаз паровоза и неожиданный, устрашающий его рев... И вот наконец он увидел эту самую любимую свою игрушку. Сердце у него забилось: как давно он потерял ее, и даже не помнит, как потерял, — кажется, ее украли... Вот оно, самое лучшее воспоминание! Это отец. Вишневые блестящие кубики в петлицах, широкий кожаный пояс с массивной медной пряжкой... Папа, бывало, снимал его, складывал пополам и щелкал им в воздухе... Джаба приблизился к самой любимой своей игрушке и услышал:

— А Джаба мальчик что надо, Нино. Думаю, что я не ошибаюсь — из него вырастет хороший человек.

Джаба лежал тогда в этой самой никелированной кровати и делал вид, что спит. Его так обрадовали слова отца, что он долго еще не мог заснуть — то закрывал, то открывал глаза и играл с неясными, ожидавшими своего осуществления в далеком будущем мечтами.

Откуда-то, то ли из соседней комнаты, то ли с улицы, доносились позывные московской радиостанции. Джаба прислушался.

И еще одна картина встала у него перед глазами:

...Папа крутит ручку патефона. Джаба смотрит в серебристую мембрану и хохочет: оттуда глядит на него смешной человечек с широким и плоским носом. Он весь как-то причудливо изогнулся — и стена за ним тоже выгибается, как картонная. Потом этот смешной кривуля мальчик исчез за пеленой тумана. Джаба провел пальцем по затуманенной мембране — и человечек протянул навстречу ему крохотный пальчик.

Отец перебрал пластинки. Долго смотрел на одну из них, потом поставил ее на патефон. Диск завертелся, и вдруг смешной, плосконосый человечек в мембране застыл с расширенными глазами, прислушиваясь к удивительным звукам, — словно карлика, бродившего по лесу, околдовал щебет сказочных певчих птиц. Покачивалась изогнутая, серебристая трубка мембраны и уводила смешного человечка в неведомые чащи. Где-то играли на свирели, и лес подхватывал ее мелодию, разнимал ее на части, потом вновь соединял их и ранил сердце плосконосому человечку. Потом опять запела свирель — она пела все тише, все глуше и, наконец, обессилев, совсем замолкла. И внезапно гром аплодисментов, сменивший музыку, заставил Джабу очнуться от грез.

Отец встал, снова завел патефон, переставил мембрану на пластинке — и опять раздалась овация. Папа прислушивался, словно хотел узнать среди аплодирующих кого-то знакомого. О Джабе он совсем позабыл... Потом он еще раз сыграл аплодисменты, и еще, и еще раз... А Джабе хотелось слушать свирель.

В комнату заглянула мама. Руки у нее были по локоть в белой мыльной пене.

— Поставь что-нибудь интересное, Виктор, что это за грохот!

— Иди сюда, посмотри! — Папа не улыбался. — Иди сюда, — повторил он настойчиво и снял пластинку с диска патефона.

Мама подошла, стараясь не дотронуться до него руками, покрытыми мыльной пеной.

— Что там?

— Читай! — сказал отец и поднес к ее глазам пластинку.

Мама прочла:

— «Палиашвили. Даиси. Увертюра. Записано в Москве, во время Декады грузинской литературы и искусства».

— Датико был тогда там, на этом концерте, — сказал отец. — Это он аплодирует вместе с другими.

— Слава богу, температуры, кажется, больше нет! — Мама убрала руку со лба Джабы и ласково потрепала его по груди под одеялом.

— Мама!

— Небось проголодался?

— Мама, почему ты продала наш патефон?

— С чего это ты вспомнил? Деньги были нужны, вот и продала.

— А пластинки?

— Часть тоже продала, а остальные валяются там, — Нино показала на чердак.

— А если они испортятся?

— Так побереги их, если жалко.

— Мама, почему после дяди Датико не осталось детей?

— Да вот — не осталось... Он недолго прожил с женой. А что, он тебе приснился? — Мама присела на край постели.

— Да.

— И каким же ты его видел во сне? — В голосе Нино прозвучала тревога.

Джаба улыбнулся:

— Ты думаешь, раз мне приснился умерший человек, я и сам должен скоро умереть, да?

— Ночь я провела вчера — врагу не пожелаю! У тебя воспаление легких.

— Никакое не воспаление.

— Спрячь, спрячь руку под одеяло! Осмелел! Ну, так как же тебе приснился твой дядя?

— Он мне не снился, я неправду сказал.

— С чего же ты его вспомнил?

— Не знаю... Вспомнил — и все. Это ведь непроизвольно.

Нино собралась за покупками. Она высыпала из карманов Джабы мелкие деньги на ладонь, потом попро-

сила у сына разрешения зайти в редакцию, — может, дают зарплату? Джаба замотал головой: неудобно, сами принесут, незачем напоминать.

Когда Нино ушла, Джаба встал, шатаясь, подошел к платяному шкафу из светлого дерева, долго копался в каких-то бумагах, наконец развернул пожелтелый, ветхий листок, пробежал его глазами... Это была выданная в годы войны справка о том, что его отец пропал без вести.

Потом Джаба включил радио.

«...Лейбористы потребовали от Идена заявления о неприменении силы...» — услышал Джаба. Он посмотрел в зеркало и поспешил обратно, к постели. Здорово он осунулся за одни сутки!

«...Лидер оппозиции Гэйтскелл задал Идену вопрос: «Готов ли премьер-министр сделать от имени правительства заявление о том, что Великобритания не оккупирует силой зону Суэцкого канала?»

Иден уклонился от прямого ответа.

«Что касается обязательства не применять силу для разрешения вопроса о Суэцком канале, — заявил Иден, — если речь идет об абсолютной гарантии, то ни я, ни какой-либо другой британский министр, выступающий с этой трибуны, не можем дать такую гарантию».

Джаба смотрел на репродуктор. Лицо Идена, знакомое по газетным фотографиям, встало у него перед глазами. Джаба попытался вообразить Идена произносящим эти слова в палате общин. Премьер-министр Великобритании, разумеется, не задавался мыслью о том, как через несколько дней неизвестный ему молодой человек в далеком Тбилиси вздрогнет, слушая его ответ.

«...После выступления Идена, — продолжал диктор, — было проведено голосование. Поправка лейбористской оппозиции, осуждающая политику правительства, была отвергнута 321 голосом против 251».

Джаба быстро произвел в уме вычитание.

Депутаты парламента разместились наподобие цифр примера по арифметике в школьной тетради: в верхней части зала — первые 321, под ними — 251 и ниже всех, в самом конце, — 70, остаток, полученный после вычитания.

Этот затянутый во фраки остаток был весьма и весьма доволен законами арифметики.

«...По центральным улицам Лондона прошли колонны демонстрантов. Они несли плакаты с лозунгами: «Не допустим войны из-за Суэцкого канала!» На митинге перед университетом выступили секретарь Британского комитета защиты мира Рой Горр и пастор доктор Томас».

«Хемие — Химия», — мелькнуло в голове у Джабы. Это было слово, в связи с которым Джаба впервые узнал о Египте. И с тех пор навсегда запомнил древнюю страну пирамид и фараонов.

А потом была «Аида», «ослепительно блистательная» опера Джузеппе Верди. Очень любил Джаба это невесть где вычитанное выражение и то и дело повторял его, так что даже надоел товарищам. И еще впечатляло его «молчание Радамеса». Оправдай себя, говорят жрецы Радамесу. Следует пауза, потом глухой гул раскатывается в оркестре и постепенно замирает. В этом месте Джаба, если с ним не было никого из своих, оборачивался к незнакомым соседям и шептал: «Радамес молчит. Оркестр изображает молчание Радамеса». Он не мог утерпеть, чтобы не сказать этого кому-нибудь, — так восхищало его, что даже молчание в музыке передается звуками.

«...Египет готов отразить любую агрессию, откуда бы она ни исходила... Суэцкий канал принадлежит Египту, и мы не уступим никому ни одной пяди египетской территории...»

«...На лицах у египетских зрителей был написан восторг. Они без конца заставляли итальянских певцов повторять арии, дуэты, ансамбли оперы Верди. Премьера «Аиды» в Каирском оперном театре затянулась до утра...»

Потом была новая встреча со страной пирамид — на этот раз в книге. Джаба до сих пор явственно помнит последнюю ее страницу: два сплетенных мертвых тела на поле битвы, два грузина — один в богатой арабской одежде мамелюка, другой в мундире венецианского гвардейца.

Потом Джабе вспомнилась отметка «отлично» в его зачетной книжке. Университетская аудитория. Идет эк-

замен, товарищи его уже взяли билеты и корпят над ответами, то и дело заглядывая в учебники диамата, спрятанные в партах.

Преподаватель. Приведите пример перехода количества в качество, только, пожалуйста, чтобы про воду и лед я больше не слышал!

Джаба. Я приведу другой пример.

Преподаватель. Слушаю вас.

Джаба. Во время египетских походов Наполеона мамелюки были озадачены одним обстоятельством...

Молодой преподаватель удивленно поглядел на Джабу, потом подавил эту непроизвольную реакцию, откинулся на спинку стула и незаметно зевнул.

Преподаватель. А именно?

Джаба. Любой мамелюк в схватке один на один легко одолевал французского солдата... Два мамелюка также справлялись с двумя французами, трое — с тремя... Но двадцать мамелюков ничего не могли поделать с двадцатью французами и, как правило, оказывались побежденными...

Преподаватель. Каким же новым свойством обладали двадцать французов? Что это за качество, которого не было у одного или двух?

Джаба. Дисциплина, военная дисциплина: четкий строй при атаке и порядок при отступлении, взаимная страховка и помощь. Это у мамелюков было отработано далеко не так точно и детально, как у солдат Наполеона.

Джаба перевернулся на другой бок. Он лежал, скинув до пояса одеяло, ему было прохладно и хорошо.

«А как обстоит дело теперь?» — казалось, экзамен продолжался и тот же преподаватель задал ему следующий вопрос.

«Теперь... все как раз наоборот».

«А именно?» — зевнул преподаватель.

«Теперь так выросло число миролюбивых стран... стран — сторонниц мира... что количество их переросло в новое качество...»

«И что это за новое качество?»

«Сила!»

«Довольно, дайте вашу зачетную книжку!»

Джаба приложил ладонь к своему лбу. Темпера-

тура у него снова поднялась! Он закутался потеплее в одеяло.

Придется ли ему когда-нибудь увидеть пирамиды? Пустыню, политую кровью грузин-мамелюков, остров Фарос и знаменитый маяк? На Дудане будет накинуто длинное белое покрывало. Араба-проводника поразит ее красота. На каждое слово Дуданы, на каждый ее вопрос он будет отвечать поклоном до земли. Потом он предложит совершить по пустыне прогулку на верблюдах. Серебристый смех Дуданы отразится от источенных камней пирамид, и у мумий забьются давным-давно остановившиеся сердца. Джаба подведет Дудану к стене древнего храма и покажет ей высеченные на камне грузинские буквы:

«Дудана».

От удивления Дудана станет еще прекрасней, еще пленительней, и Джаба совсем потеряет голову.

«Кто это написал, Джаба?» — спросит наконец Дудана.

«Я».

«Когда?»

«Тысячу лет тому назад, во время моего первого путешествия».

«Ты уже тогда любил меня?»

«Я всегда любил тебя... Я единственный человек на земле, который знает, каково будет его последнее слово перед смертью».

«Что это за слово?»

«Дудана!»

Днем болезнь, затаившись, дремала, как бы собираясь с силами для новой атаки. Вечером Джаба снова метался в жару. Ему пригрезилась Дудана — она стояла на подножке вагона мчащегося поезда. На толстой косе у Дуданы — большой белый бант. Коса и бант развеваются в воздухе, у Дуданы перехватывает дыхание от встречного ветра. Вот коса зацепилась за ветку дерева, бант остался на ветке. Вокруг дерева толпится множество людей — все смотрят вверх, на бант, белеющий среди листвы. Никто не понимает, как очутился бант на дереве. Со всех концов света стекаются люди, чтобы посмотреть на это чудо... Дудана ле-

жит обнаженная на постели, в руках у нее маленькое зеркало, в котором она видна вся от макушки до кончиков ног. Потом она накрывается одеялом, и в комнату входит Ромул. Он уносит зеркало. И вот Ромул — в другой комнате, увешанной и заставленной картинами; он смотрит в зеркало и рисует Дудану. Дудана мечется в зеркале, но не может убежать, рамка ее не выпускает. Ромул рисует...

Джаба размахнулся и ударил его по лицу — и тут же улыбнулся, так как Ромул ничего не заметил.

«Да,— сказал Ромул, — я знаю, что ты все видел, но мы ведь уже не дети!»

«Да, мы взрослые», — согласился Джаба.

Через день Джабе стало лучше. Пришла Лиана, принесла зарплату. Она таинственно улыбалась, словно что-то скрывала от него. «Какая оригинальная комната,— говорила она, рассматривая покатый потолок. — Как раз подходящая для тебя, то есть для такого чудно́го парня, как ты». — «А чем я такой чудной?» — спросил Джаба. «Всем, — ответила она и захихикала. Потом забила отбой: — Я шучу, сказать-то мне нечего, вот и выдумываю, болтаю, что на ум взбредет. Впрочем, как нечего? Георгий велел передать, что завтра непременно зайдет тебя проведать. И другие тоже придут, а сегодня в издательстве совещание».

Нино, убрав с письменного стола книги, гладила на нем белье. Она то и дело украдкой поглядывала на Лиану, но вскоре сообразила, что это — не «та самая» девушка, и потеряла к ней интерес. Теперь она нетерпеливо дожидалась ухода гостьи, чтобы отправиться на базар.

«Не хочет показывать, что мы сидели без денег»,— догадался Джаба.

Перед тем как попрощаться, Лиана вытащила из сумочки плитку шоколада; на обертке был изображен заяц на задних лапах.

— Ешь, набирайся сил, — законфузилась она и положила шоколад на стул.

— О-о... Принеси ты это позавчера — я и вовсе не заболел бы! Спасибо, Лиана.

Лиана ушла. Тотчас же вслед за нею заторопи-

лась мама. Но Джаба оставался один не более десяти минут.

Дверь заскрипела — сначала на пороге показался Гурам; он молча вздернул брови и поднял руку в знак приветствия, потом отступил назад, в коридор, уступая кому-то дорогу.

— Входи!

Джаба сразу догадался по голосу и по выражению лица Гурама, кого тот привел с собой; сердце у него учащенно забилось, мысли разбежались.

— Можно? — услышал он знакомый голос, и вместе с этим голосом как бы донеслось до него благоухание Дуданы, прежде чем она показалась сама.

Дудана, по-видимому, ожидала, что застанет у Джабы множество людей — родных и друзей больного. То ли она удивилась, что в комнате было пусто, то ли сама комната показалась ей очень уж необычной. Направившись к Джабе, она нагнулась, словно ей нужно было пройти через низкую дверь, потом невольно посмотрела на потолок, улыбнулась своей ошибке и протянула Джабе руку издалека, так что у того оказались в горсти лишь кончики ее пальцев.

Вслед за Дуданой вошел Нодар — загорелый, веселый. От смущения, вызванного радостью свидания с другом, он позабыл все подобающие случаю формулы приветствия и попросту расцеловал Джабу, а потом дружески потрепал его за вихор. У Джабы на мгновение улеглось волнение, вызванное появлением Дуданы.

— Где ты пропадал, что тебя не было видно, Нодар?

— В отличие от ласточек, он на лето улетает в теплые страны, а осенью возвращается, — Гурам подал стул Дудане и сам сел рядом с нею.

— На море был? — спросил Джаба Нодара. — Садись на постель, ничего, садись!

— Да, и на море, — сказал Нодар, избегая взгляда Джабы; он так соскучился по любимому товарищу, что стеснялся посторонних, как ребенок незнакомого гостя.

— А еще где?

— Джаба, ты наверняка простудился в тот вечер,— сказала Дудана.

— Где он мог еще быть — разве не догадываешься?— улыбался Гурам. — С тех пор, как он начал работать, жажда сжигает его внутренности — жажда нефти.

— Да, в тот вечер, Дудана... Я думал, что и ты заболела, и очень тревожился.

— Но я же сразу все переменила... — простодушно воскликнула Дудана и поднесла к губам маленький, почти прозрачный платочек.

— Ну, а жажду нефти грузинские геологи утоляют вином, правда, Нодар?.. Что ты переменила, Дудана? Что-нибудь на себе или сама переменилась?

— Гурам, — засмеялся Джаба, — мне кажется, это ты переменился.

— Верно, — подтвердил Нодар. — Выпил немножко коньяку и...

— Так точно — это мы спрыснули сценарий.

— Твой? — Джаба направил на Нодара указательный палец. — Значит, заставили-таки написать?

Нодар утвердительно кивнул и одновременно пожал плечами: дескать, написать-то я написал, а что вышло, не знаю.

— Это то самое пианино? — услышал Джаба мелодичный голос Дуданы.

— То самое... — Джаба быстро обернулся к Гураму: — О чем сценарий?

— О Дудане! — сказал Гурам. — О чем еще он может быть?

— Перестань, Гурам! — сказала с укором Дудана.

Но Джабе показалось, что она сопротивляется не очень энергично.

— Ну, а все-таки, что за сценарий?

— Почти как у Боккаччо, — Гурам бросил взгляд на Дудану. — Мессира Гвидо посылают в деревню на строительство дороги. Там он встречает монну Лалдомину и, плененный ее красотой, воспламеняется желанием разделить с нею ложе. Однако, увидев, что невинная девушка доверилась ему как брату и даже не подозревает об опасности, Гвидо отпускает ее из леса домой нетронутой и преисполняется чувством глубокой любви к ней.

— Нодар? — Джаба бросил взгляд на приятеля.

— Примерно так, — сказал Нодар.

— Не примерно, а в точности.

— Но там же нет никакого леса! — воскликнула Дудана.

— Тебе уже дали прочесть? — удивился Джаба.

— Да, она прочла, но не одобрила роли, — скорбно покачал головой Гурам, вид у него был такой, точно с ним случилось большое несчастье.

— При чем тут это — одобрила, не одобрила... Гурам, я же сказала, что не могу пропустить занятия в институте. И, самое главное, какая из меня актриса?

— Если ты откажешься, — внезапно распалился Гурам — впрочем, Джаба видел, что горячность его была притворной, — если ты откажешься, я вообще не буду ставить этот сценарий... От лекций ты оторвешься ненадолго, всего на какой-нибудь месяц... Зато станешь известной, потом тебе поручат и другие роли... Это будет рассказ о большой любви, которая облагораживает человека, заставляет его забыть все грязное и низменное, освобождает от животных инстинктов, духовно возвышает. А кроме того, неужели тебе не нужны деньги? Разве ты так богата? Нодар, скажи что-нибудь, а то я возьму да и сниму сказку Джабы о любви девочки и фонтана... Не читал ее?

Джаба весь зарделся; взгляд его натолкнулся на вопрошающие глаза Дуданы.

— Сними! — воскликнула Дудана. — Это такая славная сказка!

— А будешь в ней играть? — тотчас же отозвался Гурам и уперся в нее настойчивым взглядом, точно прицелился из пистолета.

— Откуда вы узнали, что я заболел? — подчеркнуто громко спросил Джаба.

— Гурам позвонил тебе в редакцию, — сказала Дудана.

Джабе вдруг почудилось, что участие Дуданы в фильме вовсе не так уж необходимо Гураму, что все эти переговоры — просто повод для продолжения знакомства.

«А они уже на короткой ноге,— мелькнуло у него в голове. — «Воспламеняется желанием разделить с

нею ложе». Как он мог выговорить эти слова при Дудане?»

Дудана смотрела на дверь чердака. Наверно, думала, что за этой дверью — вторая комната, а за нею, возможно, и третья. Гурам проследил за ее взглядом.

— Пойдем, покажу. Ты и не представляешь себе, где сейчас находишься! — Гурам поднялся и поддел Дудану под локоть, чтобы и она встала.

— Где же мы находимся?

— Пойдем, пойдем, ты и не воображаешь.

У Джабы выступил на лбу холодный пот; перед глазами у него встала проржавленная железная крыша, разбросанные по чердаку, набитые пыльными книгами ящики, керосинки, перекрещенные чердачные балки, земляной пол — словом, все, что через минуту должна была увидеть Дудана.

— Нашел, что показывать, — буркнул про себя Нодар. Дудана быстро и легко встала, подошла к застекленной двери, посмотрела через нее, откинув занавеску, и тотчас же вернулась назад.

— Джаба! — Она стояла у изголовья его постели, не собираясь садиться. — Джаба, ты что-то, оказывается, обещал моему дяде...

— Что я обещал? — удивился было сначала Джаба.

— Не знаю, он не сказал, что именно.

...Тут Джаба все вспомнил — и у него сразу испортилось настроение. Он понял: Дудана, конечно, знает, что́ он обещал Бенедикту...

— Ах, да! Твоему дяде... Бенедикту... Но видишь ли, я заболел и... — Джаба стал вдруг ненавистен сам себе.

Лишь теперь ощутил он со всей ясностью, что Дудана находится здесь, у него на чердаке; и звук падающих капель воды только сейчас дошел до его слуха. В коридоре из стенного умывальника с убийственной регулярностью капала в эмалированный таз вода. В глаза ему бросилась лопнувшая клеенчатая обивка на тахте и желтые стружки под этой черной клеенкой.

Вдруг ему пришло в голову, что Гурам, пожалуй, нарочно привел Дудану.

«Пойдем, посмотри, где мы находимся... Ты и не воображаешь!»

«...Разделить с нею ложе».

Через сколько лет близкого знакомства Джаба мог бы осмелиться произнести при Дудане подобные слова?

— Куда ты дел жакет, уважаемый товарищ? — вопрос был неожиданным; встретив оторопелый взгляд Джабы, Гурам прибавил ядовито: — Что это ты завел манеру разгуливать по улицам в женском жакете?

«Рассказала ему! Зачем?»

Нодар смотрел на Гурама так, словно видел его впервые. Взгляд его светло-карих глаз стал неподвижным от какой-то новой и неожиданной мысли.

— Я пойду, — сказала вдруг Дудана, подошла к туалетному столику и, нагнувшись, посмотрела в зеркало.

— Что так спешишь, Дудана?

— Мне пора. У меня собрание в институте. Джаба, извини, что я пришла к тебе без гостинца.

Дудана подняла руки, чтобы поправить волосы, и все тело ее словно устремилось вверх вслед за руками, ноги напряглись, как натянутые струны.

— Никуда ты не уйдешь, прежде чем не дашь мне ответа! — заявил Гурам.

— Я пока что хожу туда, куда хочу, и тогда, когда мне заблагорассудится, — улыбнулась Дудана.

Гурам раскинул руки театральным жестом.

— Вот, вот... Это самое! Именно такой характер я хочу создать в моем фильме. А она...

— Но это вовсе не были слова наивной девочки,— заметила Дудана. — Мне даже стало стыдно своей грубости.

— И это тоже я? — Гурам выбросил вперед руку, указывая на Дудану, застыл в напряженно-одеревенелой позе; потом, словно расколдованный по истечении назначенного времени, вдруг обмяк и как будто даже стал ниже ростом. — Ну что, небось самой стало стыдно?

— Не понимаю, Гурам, что ты, собственно, хочешь доказать? — Это у Джабы получилось, пожалуй, немного запальчиво.

— Прежде всего, что ты совершенно лишний в этом разговоре!— бросил Гурам.

— Кто же с тобой спорит? — Джаба попытался вернуться к спокойному тону.

— Боюсь, что ты сам здесь лишний, Гурам! — вырвалось у Нодара; он не смог удержаться и бросил при этих словах быстрый взгляд на Дудану.

Мысли молодых людей сразу направились по новому руслу.

— Возможно. Но я сделаю все возможное, чтобы оказаться необходимым, — Гурам зажег потухшую сигарету.

— А может быть, все уже решено в небесах, только мы ничего не знаем?

Один лишь Джаба не смотрел на Дудану.

— Придет время, и я спрошу небеса, — сказал Гурам.

— А ты, Джаба, ты уже спрашивал небо? — улыбнулся Нодар.

— Хотел спросить, — Джаба подтянулся к изголовью постели, но оно закрылось тучами, полил дождь...

Дудана насторожилась.

— Это из жалости к тебе, Джаба, поверь мне, потому что ответ разбил бы твое сердце, — сказал Гурам.

— Ты в этом уверен?

— Мы, кинорежиссеры, хорошо знаем небо и его повадки. Такова ведь судьба кинорежиссера: вечно сидеть и смотреть на небо в ожидании солнца.

— Ну и как — есть надежда?

Дудана прошла быстрым шагом через всю комнату и остановилась перед дверью.

Молодые люди спохватились. Лишь теперь сообразили они, что намеки, которыми они обменивались, были совершенно прозрачными для Дуданы. И Гурам, чтобы сразу проверить, так ли это, спросил ее невинным тоном, как бы продолжая обычный, ничего не значащий разговор:

— А ты что скажешь, Дудана?

— О чем?

— О солнце, — Гурам посмотрел на товарищей,— о небе...

— Я скажу, что солнце восходит не для кинорежиссеров, а прежде всего для тех, кому холодно... кому холоднее всех.

— А если солнце не знает, кому холодней?

— Солнце знает все, — большие глаза девушки остановились поочередно на каждом. — Обо всем догадывается! До свидания! — Она вдруг вернулась, наклонилась к Джабе и шепнула ему на ухо: — Поправляйся скорей.

Дудана ушла.

— А теперь говорите, кто из вас влюблен в эту девушку? — Нодар прошелся по комнате, сел за пианино.

Все молчали. Нодар поднял крышку инструмента и стал наигрывать одной рукой.

— Ни один? — Нодар посмотрел на приятелей. — Или оба? — Не дождавшись ответа, он вернулся к клавиатуре; играл он тихо, неуверенно, как бы нащупывая забытую мелодию.

Гурам снова вынул из кармана пачку сигарет. Джаба протянул руку за сигаретой. Гурам, чиркнув спичкой, дал ему прикурить. И тут у Гурама невольно вырвалось:

— Джаба влюблен! — После этого молчать уже не имело смысла. — Но он, видите ли, застенчив. И долг друзей — не оскорблять его стыдливости.

— Это никого не касается! — Джаба сел на постели; он слегка побледнел. — Меня интересует сейчас одно: часто тебе приходилось рассыпать перед Дуданой жемчужины вроде сегодняшних?

— Если не ошибаюсь, ты, кажется, меня бранишь?

— Ты сказал при Дудане — «воспламеняется желанием разделить с нею ложе». Меня интересует, как это ты набрался смелости?..

— При чем тут смелость? — изумился Гурам. — Так в сценарии.

— Но ты прекрасно знаешь, что то же самое можно выразить другими словами!

Нодару наконец удалось подобрать мотив — это была меланхоличная мексиканская песня. Он тихо наигрывал мелодию.

— Ты, кажется, в самом деле болен! — нахохлил-

ся Гурам. — Почему я должен был искать другие слова, когда Дудана трижды читала сценарий!

— И там в точности так написано? Нодар?!

— Не-ет, не та-ак!—пропел Нодар на мотив мексиканской песни; ему хотелось разрядить напряженную атмосферу.

— В конце концов, Дудана ведь не маленький ребенок! Не в первый же раз она слышит... — У Гурама было лицо несправедливо наказанного человека.

— Вот об этом я тебя и спрашиваю: в первый раз она слышала от тебя такое или ты и раньше услаждал ей слух?..

— Удивительный человек, право! Ты, кажется, принимаешь Дудану за десятилетнюю девочку? Думаешь, она сейчас побежит к матери и спросит: мама, мама, что значит разделить ложе?

— Но ведь ты сам утверждаешь, что Дудана — невинная и простодушная девушка, ведь, по твоим словам, именно это и очаровало тебя, поэтому ты и предложил ей играть в твоем фильме — играть самое себя!

Нодар встал, поставил перед собой стул и оперся о его спинку обеими руками.

— Разрешите мне высказать свое мнение, — начал он, пародируя официальный тон оратора, вещающего с кафедры; на этот раз он заботился не о разрядке напряженности, а о том, чтобы смягчить смысл своих слов. — От меня, как от писателя, отличающегося острой наблюдательностью и вооруженного богатым жизненным опытом, не ускользнула ни одна психологическая деталь разыгравшегося инцидента,— да, надеюсь, что не ускользнула. Как показывает статистика, вы, Джаба и Гурам, всего три или четыре раза встречались до сих пор с Дуданой. Это обстоятельство...

— Устраиваете надо мной товарищеский суд? — холодно усмехнулся Гурам.

— Это обстоятельство, говорю, наводит меня на мысль, что Гурам едва ли уже заводил с этой прелестной девушкой вольные разговоры. Хотя, возможно, такое желание у него и было. Почему? Это мы выясним ниже. Удивительная вещь эти вольные разговоры, эти сальности...

— Или это настоящий суд? — вновь холодно улыбнулся Гурам. — Делать вам нечего! — Он махнул рукой.

— Удивительная вещь, говорю, эти сальности,— продолжал Нодар. — Сначала вот так, в дружеском кругу, перед милой девушкой, они как бы случайно срываются с языка — в деловом разговоре, будто бы между прочим, без особого значения... А потом, посмотришь, можно их повторить и оказавшись с этой девушкой наедине, так как уже обретено на это право, и — верный психологический расчет! — девушка не сможет возмутиться, не решится ответить резкостью, потому что прецедент имел место... А терпимость к вольным речам — плодородная почва, на которой могут взойти весьма вольные дела и поступки. Вот какая, товарищи, удивительная вещь сальности. По-видимому, мы имеем дело с подобным случаем: Гурам попробовал почву...

— Может быть, отложим судебное заседание, — прервал его Гурам, — поскольку другая сторона, которая могла бы внести ясность в дело и заставить почтеннейшего обвинителя укоротить свой язык, покинула зал?

— ...Попробовал почву, на которой впоследствии попытается взрастить плоды, — заключил Нодар.

— И вообще, могу я вас покинуть? — Гурам встал и посмотрел на часы. — Я совсем было забыл, что в половине шестого должен быть у директора киностудии! — Однако он не смог сохранить до конца личину спокойствия и в самую последнюю минуту, перед тем, как уйти, внезапно взорвался: — Сплетники вы, бабы, вот что! А ты, Джаба, действительно болен, только твое место не дома, в постели, а там, — он ткнул большим пальцем назад через плечо, — в больнице за Курой, в психиатрической!

— Что с тобой, что ты раскричался? — забормотал Джаба; ему стало не по себе, он подумал, что, пожалуй, они с Нодаром хватили через край.

— Скажи, что с тобой, а я себя чувствую превосходно!

— Ну хорошо, считай, что все это было шуткой!

— Хо-хо-хо, как ты блестяще вывернулся! Ну, про-

сто гениальный психолог. — Тут он обернулся к Нодару: — А ты тоже хорош фрукт!

— Ко мне не цепляйся, — бросил ему Нодар.

— Может, я еще должен прощения попросить? — Джабу разозлило это «блестяще вывернулся».

— А ты сомневаешься? Разумеется, должен, если хочешь, чтобы я счел тебя в своем уме!

— Ну, тогда, значит, мы с тобой встретимся в той самой лечебнице, над Курой.

Гурам круто повернулся и ушел, хлопнув дверью.

Нодар и Джаба долго молчали.

— Нодар! — сказал наконец Джаба, не сводивший глаз с двери. — Не почудилось ли мне все это?

— Не думаю.

— Боюсь, что на этот раз, впервые в жизни, я был неправ перед Гурамом.

— Почему?

— Может, я чересчур подозрителен, может, у Гурама не было ничего плохого в мыслях, может, Дудана ему совершенно безразлична...

— Но тогда...

— Мне пришло это в голову потому, что я никогда не видел Гурама таким рассерженным. Он был действительно всерьез рассержен. Я ведь его знаю...

— Всякий человек сердится действительно и всерьез, когда ему говорят в лицо неприятную правду.

— Нехорошо получилось, — сказал Джаба.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФОТОСНИМКИ

На стенах тесной, как вагонное купе, фотолаборатории развешаны фотографии: уходящая куда-то ввысь, в небеса, лестница и на ступеньках — распростертый ничком Эдип-Закариадзе, Вивьен Ли в фильме «Мост Ватерлоо», Радж Капур, депутат Французского Национального собрания Эдгар Фори с супругой возле храма Светицховели, футболист Пайчадзе лицом к лицу с вратарем противника и вокруг — сбегающиеся со всех сторон защитники. Этот последний снимок Джаба особенно любил, так как при взгляде на него живо вспоминал пережитую некогда минуту восторга.

На стадионе «Динамо» в Тбилиси шла спартакиада.

Состязания продолжались допоздна. Смеркалось, стало холодно, опустился туман. Стадион тонул во мгле. У Джабы было место на южной трибуне, хорошо освещенной лучами прожекторов. Атлеты, рассеявшиеся по всему полю, были похожи в тумане на призраков; они бегали, прыгали, метали ядро и диск в ожидании вызова.

Вдруг удивительно красивое движение человеческого тела привлекло к себе внимание Джабы. Под трибунами, по полю, бежал юноша, необычно высоко вскидывая голые колени. Корпус его был отклонен назад, правую руку он держал около уха, словно прислушиваясь к свисту встречного ветра, левая, протянутая вперед, с обращенной кверху ладонью, как бы молила небо о победе. Это было похоже на восторженный дикарский танец, взрыв безудержного ликования в ту ошеломляющую минуту, когда человек впервые неожиданно прошел по земле на двух ногах... Джаба с минуту глядел в недоумении на поле, не понимая, что происходит. Тут в пронизанной электрическим светом мгле над стадионом блеснуло летящее копье — и затерялось вдали. Лишь тогда догадался Джаба, что «пляшущий дикарь» был метателем копья. Само копье, спортивный его снаряд, Джаба проглядел в тумане — и исчезновение этой «лишней» детали превратило обычное движение атлета в акт искусства. Наверное, так в давние времена из битвы родился танец. Заметь Джаба сразу копье, вряд ли он обратил бы внимание на этого спортсмена. Должно быть, вообще в искусстве «копья» не должны бросаться в глаза — достаточно, чтобы они подразумевались. На фото с футболистами, висевшем в лаборатории, не было видно мяча — и поза Пайчадзе также казалась выхваченной из какой-то воинской, героической пляски.

Джаба положил на доску увеличителя лист белой бумаги и сфокусировал четырехугольное изображение негатива. Потом зажег красный фонарь и вскрыл черный пакет с фотобумагой.

«Как много лишнего сказали мы друг другу позавчера!.. Все излишнее, чрезмерное уродует жизнь — лишние слова, даже лишние деньги! А чрезмерная любовь? Излишняя скромность вовсе не достоинство —

так говорил Георгий... А излишнее молчание? Молчание есть молчание — ничего не слышно. Возможно ли, чтобы неслышное было не слышно еще больше?.. Это уже не молчание. Это умалчивание».

Листы фотобумаги постепенно темнели в проявителе — так сгущается темнота в зале театра: оставалась освещенной лишь сцена — общий вид одной из городских новостроек, огромный подъемный кран и солнце, как бы подвешенное к его стреле, а на первом плане, перед только что законченным жилым корпусом, — заведующий жилищным отделом райисполкома Бенедикт Зибзибадзе.

Джаба представил себе, как он входит с Дуданой в новую квартиру. «У меня просто сердце оборвалось, Джаба, когда я в первый раз пришла туда, на твой чердак. Помнишь этот день? Мне стало так неприятно...»— «Что за глупости, — говорит ей Джаба, — разве я мог обречь тебя на жизнь в этой трущобе? Мы сами, может, и выдержали бы, но ребенок... Одного жаркого лета, одного лета на нашем душном чердаке было бы достаточно, чтобы ребенок расхворался». «Довольно вам разговаривать, — сказала мама. — Помогите мне внести вещи».

«Я сам ужаснулся тогда, Дудана, и очень рассердился на Гурама — зачем он тебя привел?.. Если б не это, если б ты не побывала у меня, я еще долго мог бы скрывать от тебя свою бедность».

«Да, Джаба, мы с тобой не могли бы пожениться... Не потому, что я разлюбила бы тебя, а просто мы бы измучились... Вместо счастья получилось бы у нас одно страдание».

«Вот почему я опубликовал это фото. Ты понимаешь — у меня не было другого выхода. Я боялся потерять тебя! Ведь ты могла за это время встретить кого-нибудь еще... У тебя такое доверчивое сердце, такой кроткий характер!»

«Все понимаю — иначе, конечно, ты ни за что бы этого не сделал! А впрочем, почему ты так огорчаешься? Погляди вокруг, чего только не творят, на что только не идут иные!»

«Но я только ради тебя решился на такой шаг — в первый и последний раз...»

«А если снова появится необходимость? Ради меня, только ради меня?..»

«Нет уж, больше никогда... Хватит одного раза».

Джаба бросил мокрые отпечатки в раковину и открыл кран. Внушительная фигура Бенедикта прогнулась под струей воды. Бенедикт скользнул в сторону. Теперь струя била ему в лицо.

«Куда отдать снимки? Георгию не посмею показать — ему, наверно, известно, что это за птица. Придется отнести в какую-нибудь газету. А может, и в газете всё знают о Бенедикте? Вздор!.. Если бы все всё о нем знали, как он мог бы сохранить свою должность? Наверно, пока о нем никому ничего не известно... Ну и... я тоже ничего не знаю».

«Дядя хочет прибрать к рукам эту квартиру, потому и меня поселил здесь!» — всплыли в памяти слова Дуданы.

Вспомнил Джаба и того полуживого старика, похожего на привидение, вылезшее из-под одеяла. Казалось, он возник под одеялом, вырос там, высунул голову, а теперь умирает, сморщивается, усыхает и не сегодня-завтра снова скроется под одеялом, исчезнет в складках постели.

«Я ничего не знаю. Я совсем ничего не знаю. Я сделал фотоочерк о работе райисполкома, о жилищном строительстве в нашем городе. Ведь радость моей матери чего-нибудь да стоит!»

— Никуда я эти снимки не отнесу! — сказал он вслух, словно споря с кем-то.

«Никуда! Сам-то я ведь знаю, что я все знаю. Вот сейчас разорву их».

В дверь постучали.

— Это я, Лиана. Тебя к телефону, Джаба.

— Скажи, чтобы позвонили через десять минут, сейчас я не могу подойти, — сказал ей Джаба через дверь.

Он закрыл воду, разостлал на столе газету и разложил на ней отпечатки для сушки. Потом включил электрокамин, чтобы воздух в комнате нагрелся, и, выходя, погасил свет.

В коридоре он увидел Печнева. Виталий шел ему навстречу, читая на ходу какой-то листок, который дер-

жал перед собой обеими руками. Он двигался так медленно, словно нес стакан, полный воды до краев. Джаба нарочно остановился на пути у него посередине коридора. Виталий подходил все ближе и наконец остановился перед самым носом у Джабы, но и тогда не поднял головы. Лишь на мгновение вскинул он взгляд, переворачивая листок, но тут же снова уткнулся в него. Наконец он очнулся, испустил радостное восклицание, обнял Джабу и стал его трясти.

— Джаба, дорогой! Где ты?.. Я сегодня улетаю, пришел, чтобы проститься. Приходил третьего дня — мне сказали, что ты болен. Я уже собирался домой к тебе заглянуть...

— А сам ты где пропадал?

— Я чуть не всю Грузию объездил — был в Кутаиси, в Местии, в Боржомском ущелье. Вот, перед самым отъездом получил письмо от жены.

— Зайдем ко мне, — Джаба направился вместе с гостем к своему отделу.

— В Москве, оказывается, уже снег! — сказал Виталий, глянув на письмо.

— Жена пишет?

— Нет... Смотри!

Виталий развернул письмо и поднес его к глазам Джабы. Это был двойной лист из школьной тетради; на последней странице был нарисован кривой, кособокий многоэтажный дом с высоким шпилем, увенчанный огромной пятиконечной звездой. Окна были высотой в три-четыре этажа, звезда не уступала по величине всему зданию. Внизу, у подножья дома, тянулись гуськом такие же кривые, причудливо изогнутые коробки — должно быть, троллейбусы и автобусы. Длинноногие, как аисты, человечки без труда могли бы перешагнуть через любой из этих автобусов. Но главное было то, что весь рисунок, от звезды на шпиле до мостовой, был испещрен частыми точками.

— Это мой малыш, Вася, рисовал, — широко улыбался Виталий. — Жена ничего о погоде не пишет — я по рисунку догадался, что в Москве настала зима.

— А может быть, молодой товарищ изобразил прошлогодний снег? — улыбнулся Джаба.

— Нет, в прошлом году он был еще мал... И кроме того, товарищ рисует только с натуры.

Они вошли в отдел.

— Тебе звонили, Джаба, — поднял голову Шота.

— Кто?

— Не знаю. Голос мужской. Через десять минут позвонят снова.

— Мужской?

— Может, рядом стояла женщина, а мужчина звонил для маскировки, — сказал Вахтанг обнадеживающе.

— Садись, Виталий. В котором часу вылетает твой самолет? Познакомься, это мои друзья, сотрудники нашей редакции.

— В пять часов... Мы уже успели подружиться, — Виталий улыбнулся Шота и Вахтангу.

— Я поеду с тобой в аэропорт!

— Не стоит беспокоиться.

— Ты и цветные снимки делал?

— Да.

— Нам что-нибурь пришлешь?

— Пришлю. Я уже договорился с товарищем Георгием. Джаба, мне нужна твоя помощь. Знаешь, я ведь не успел отснять Тбилиси! Что я скажу нашему редактору? В ноябрьском номере специально оставлено место...

— Как не успел? Да мы же в тот раз ходили по городу до позднего вечера!

— И снимали старый город. А нельзя же давать в журнале одну старину, надо рядом напечатать и снимки нового Тбилиси. Что мне скажут в редакции? Как теперь быть, не знаю... Во всяком случае, мне крепко попадет, это ясно.

У Джабы екнуло сердце; словно электрическим током ударила его мелькнувшая мысль — и в эту самую минуту в комнате возник Ангия. Он смотрел на Джабу исподлобья, как бы ожидая, какой ответ даст тот московскому гостю.

— Из-за этого я и зашел сюда сегодня, Джаба. Выручи меня! — Виталий оперся о стол локтями. — Дай мне, что у тебя найдется.

— У меня?.. — Джаба невольно бросил взгляд на

Ангию. — Да у меня ничего стоящего нет, я... Мои снимки для вашего журнала не годятся...

— Дай мне то, что у тебя есть. Проявлю пленку, сделаю отпечатки так, что пальчики оближешь!

— Я?..

Ангия смотрел в сторону, как бы не слыша их разговора. Но Джаба явственно чувствовал, как тот наставил уши.

— Ладно, посмотри, и если что-нибудь тебе понравится...

— Выкладывай! — обрадовался Виталий. — Я скажу своим, что нашел у вас превосходные фото, — зачем мне было снимать те же сюжеты сызнова? — Виталий посмотрел на часы. — Ну, давай, высыпай на стол!

— Здесь у меня ничего нет.

— Где же — дома?

— Нет...

Зазвонил телефон. Вахтанг поднял трубку.

— Сейчас, — сказал он. — Джаба, кажется, это тот самый.

Когда Джаба подошел к телефону, трубка была в руках у Ангии — лежала на его вытянутом, указательном пальце наподобие коромысла весов и чуть заметно покачивалась.

— Слушаю! — сказал в телефон Джаба.

— Здравствуйте, молодой человек! — послышался веселый тенорок. — Что это вы пропали, разве можно так?

— Кто говорит?

— Ваш слуга покорный.

— Простите, не узнаю.

— И неудивительно — исчезли, позабыли нас совсем. Так-то вы, молодые, умеете слово держать?

Джаба понял, кто с ним говорит.

Ангия весь расплылся в улыбке. На лице его было написано блаженство. Казалось, он с замиранием сердца прислушивается к какой-то опьяняюще-прекрасной мелодии.

— Здравствуйте... Вот теперь я вас узнал.

— Наконец-то! Здравствуй еще раз... Тут твой во-

прос решается, а ты разгуливаешь себе без забот! Дудана тебе ничего не говорила?

— Дудана? Нет.

— Вы сами напортили себе дело. Если твой отец был офицер, да еще погиб на фронте, что ж вы не проследили, чтобы вас внесли в список военнослужащих?

— Там у вас знали... Там все знали, мама ведь постоянно ходила...

— «Знали, знали»... Я должен был об этом знать, лично я, дружок. Знаешь, как сказано у Диккенса: «Напрасно миссис Спригтс стояла в дверях».

«Уже получил Диккенса», — мелькнуло в мыслях у Джабы.

— Ну, так вот, мой мальчик, — продолжал Бенедикт. — Я все устроил, вас перевели в список военнослужащих. Теперь дело пойдет быстрей, только мне нужны кое-какие сведения, от тебя лично! Хе-хе... Так что заходи.

— Непременно, уважаемый Бенедикт... — Как у него сорвалось с языка это имя! Глаза у Ангии так и сияли. — Непременно! Большое вам спасибо.

— А когда же я тебе спасибо скажу? — Бенедикт умолк.

Долго звенела, шипела онемевшая телефонная трубка; вся телефонная линия между редакцией и кабинетом Бенедикта терпеливо ждала, готовая передать ответ Джабы.

— Вы... Вам-то за что меня благодарить...

— Вот именно — не за что, это меня и заботит, — расхохоталась телефонная трубка.

— Скоро... Через месяц, — Джабе показалось, что он весь сжался, стал совсем маленьким — как тот человечек, что глядел на него в детстве из серебристой патефонной мембраны, — и кружит между ботинками Ангии, поднимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до телефонной трубки.

Джаба вернулся к своему столу.

— Джаба, дорогой я опаздываю! — Виталий еще раз посмотрел на часы. — Если можешь дать мне снимки, доставай их.

— Идем!

Когда он направился к дверям, Ангии уже не было на месте.

В фотолаборатории было почти жарко. Виталий брал с газетного листа один за другим уже высохшие, выгнувшиеся отпечатки, расправлял их на краю стола и рассматривал, приговаривая: «Замечательно!.. Именно то, что нужно!.. Превосходно!.. Как по заказу!..» Отобрав пять снимков, он протянул Джабе авторучку:

— Надписывай: кто такие, где находятся, что делают. Как можно подробнее.

Джаба молча повиновался.

— Только по-русски!

— Разумеется.

Рука у Джабы дрожала.

Виталий раскрыл портфель и положил туда фотографии.

— Вот так! — Потом достал из кармана пиджака письмо жены и присоединил его к снимкам. Джаба заметил это его движение.

— А я думал, письмо от твоего дяди.

— Дядино письмо ждет меня, наверно, дома в Москве.

— Он уже уехал?

— Жена пишет, что уехал. Водит сейчас по Суэцкому каналу суда всех стран мира.

— Поддержали мы Насера на славу.

— Поддержка и помощь нужны ему будут теперь,— сказал Виталий. — Войска интервентов высадились на Кипре.

— Войска?

— Ну да. Повод: как бы израильская армия не причинила ущерб иностранцам, живущим в Египте... Да, кстати, Джаба, ты должен дать мне и негативы этих снимков.

— Негативы дать не могу! — сказал Джаба упрямым тоном.

— А если понадобится изменить формат? Должен же я сделать другие отпечатки...

— Негативы не могу дать, — повторил Джаба твердо.

— Ладно, ничего не поделаешь... Знаю я психоло-

гию своих коллег: состаришься, будешь обладателем богатого архива, правда? И все журнальные и газетные редакции будут обращаться к тебе — так? Знаю. Понимаю.

«Кто их примет в Москве, эти снимки! — думал Джаба. — Напечатаны отвратительно... Какой редактор их одобрит? Да еще для журнала, издающегося на всех главных языках мира!»

Эта крохотная надежда оживила его — словно застоявшаяся в сердце кровь прорвала запруды и с веселым рокотом устремилась по жилам.

Они остановились на верхней площадке лестницы, крепко пожали друг другу руки.

— Так я тебя жду! Смотри, непременно позвони мне, когда приедешь.

— Счастливого пути! И передай привет супруге.

— Благодарю, непременно передам.

Не успел, однако, Виталий добежать до конца первого марша лестницы, как остановился, хлопнул себя по лбу и повернул назад. Джаба пошел ему навстречу.

— В чем дело? Забыл что-нибудь?

Виталий раскрыл портфель и достал оттуда фотографию Дуданы.

— Эта девушка живет против оперы... Я обещал ей... Наверно, думает сейчас: ну и врали эти московские корреспонденты! Имени не помню. Очень прошу, если сумеешь найти ее, передай. Она живет в том самом доме, из которого я снимал оперный театр. Правда, настоящая красавица?

— Я знаю эту девушку, — сказал Джаба.

— Вот и хорошо! Так, пожалуйста, передай ей снимок. До свидания!

Он еще раз пожал Джабе руку.

Джаба не вернулся в редакцию. Ему захотелось побродить по улицам. В первый раз держал он в руках портрет Дуданы. Теперь он мог смотреть на нее целый день... Ему чудился в глазах Дуданы немой вопрос — казалось, она давно уже ждет ответа, и во взгляде ее все нарастает удивление, вызванное молчанием Джабы. Вопрос был такой простой, а Джаба не мог на него ответить! Потом он прочел в глазах Дуданы упрек — ему

показалось даже, что она погрозила пальцем: как тебе не стыдно!

«Откуда ты знаешь?» — спросил Джаба.

«Знаю!»

«Это пустяки, Дудана, это ничего не значит!»

«Для меня значит».

«Я даже лица этой женщины не помню... Клянусь тебе, это не было изменой!»

«Все вы, мужчины, противные!»

Позавчера, впервые выйдя из дому после болезни, Джаба отправился в театр имени Марджанишвили, чтобы наконец возвратить дяде Никале костюм. Около памятника Руставели он встретил Нодара и Гурама. Они расцеловались с Джабой, как после долгой разлуки. Оба были под хмельком — сказали, что завтра уезжают в Имерети, выбирать место для съемок. Потом подхватили Джабу под руки с обеих сторон и поволокли его в сторону ближнего ресторана-погребка. Но Джаба заупрямился, сказал, что непременно должен отнести сегодня костюм в театр. «Ну ладно, — сказали они, — тогда мы пойдем с тобой и подождем, пока ты кончишь свои дела, а уж после ты будешь нашим пленником».

Джаба вошел во двор театра, а Нодар и Гурам остались ждать его на улице. Дверь подвала, где находилась костюмерная, была открыта. Джаба заглянул в нее, никого не увидел и, пригнувшись, стал спускаться по ступенькам. Посередине лестницы он остановился. В дальнем конце между двумя пестрыми рядами театральных костюмов дядя Никала отряхивал веничком алый плащ венецианского гранда. Джаба собирался было окликнуть его или кашлянуть, но тут Никала пошатнулся, еле удержался на ногах. Потом он взмахнул веничком, как шпагой, и до Джабы донесся хриплый, гневный голос:

Я на ноги его гляжу, но, право,
Не вижу дьявольских примет... А впрочем,
Сейчас увидим, дьявол ты иль нет:
Нечистому не повредит оружье.

И дядя Никала ткнул своей шпагой-веничком в чер-

ные рейтузы. Потом обернулся назад и, видимо от имени этих рейтуз, воскликнул:

Я ранен... Но убить меня не смог он!

— Хе-хе-хе,— хихикнул старик с довольным видом.

Потом продолжал голосом первого персонажа:

Меня не огорчает это.—

Он закашлялся.

Я хочу,
Чтоб ты остался жив.

Кашель одолевал его, он долго не мог остановиться.

Я убедился,
Что мертвые — счастливцы!..

— Хе-хе,— снова хихикнул он, махнув рукой, и, вспомнив про алый плащ, снова стал водить по нему веничком.

Джаба осторожно, на цыпочках вернулся наверх, так, чтобы оказаться вне поля зрения Никалы, и во второй раз, громко насвистывая, сбежал по ступенькам в подвал. Старик, прищурясь, посмотрел в сторону двери:

— Кто там?

— Это я, дядя Никала, я принес костюм. Простите меня за опоздание, на этот раз разболелся я...

Дядя Никала ни за что не хотел отпускать Джабу. Он был сильно навеселе. Откуда-то появилась непочатая бутылка водки. В кармане серого плаща, валявшегося на стуле, обнаружился сверток с нарезанной колбасой. Вот только хлеба нет, — извинился дядя Никала. А когда Джаба извинился со своей стороны и сказал, что не может остаться, что его ждут на дворе товарищи, дядя Никала разворчался: «Хочешь, чтобы я, старик, побежал приглашать их? Пусть сами спустятся сюда, ко мне в гости». — «Но мы торопимся», — сказал Джаба. «Не я же должен идти к ним, — стоял на своем старик,— пусть пожалуют сами. Неужели они

настолько не понимают, неужели они такие невежи?»

Гурама и Нодара не пришлось долго уговаривать — как только Джаба упомянул о водке и об «интересном старике», оба в обнимку спустились в подвал.

Расшатанный стул послужил столом для импровизированного пира; Нодар сбегал на угол — добавил к угощению две бутылки водки, хлеба и сыру. Пошли тосты — за Грузию и грузинское искусство, за великих режиссеров и артистов. Гураму чрезвычайно нравился «оригинальный антураж» этого застолья, он объявил, что непременно снимет документальную ленту о костюмерной и о дяде Никале, Нодар пил то за один костюм, то за другой и осушал чарку за чаркой. Джаба был очень доволен в душе тем, что, по-видимому, доставил друзьям удовольствие. Дядя Никала робко бормотал: «Сейчас я представлю вам сцену...», «Я прочитаю монолог», но никто его не слушал. Наконец Гурам объявил себя тамадой, предложил выпить за здоровье дяди Никалы, а потом провозгласил тост за любовь. У Джабы запечатлелось в памяти каждое его слово:

— Да здравствует любовь, да здравствуют женщины!— сказал Гурам.— Дядя Никала, я и Джаба дружим с одной девушкой... Джаба, за здоровье Дуданы, дядя Никала, за здоровье Дуданы Капулетти! *Она уж больше не дитя, чтоб падать — Ничком: она теперь уже девица — И если упадет, так только навзничь...* Припоминаете, дядя Никала?

— Убью!.. — Джаба захлебнулся от собственного крика, вскочил на ноги.

Нодар с трудом поднялся с табурета и встал между товарищами.

Лицо Джабы приняло землистый оттенок. Даже сейчас, при воспоминании об этой минуте, краска сбежала с его лица.

— Если ты еще раз посмеешь сказать такую мерзость...— кулаки у Джабы сжались сами собой.

Гурам долго глядел Джабе в лицо, потом махнул рукой с безнадежным видом:

— Ты... Ты так до сих пор ничему и не научился... Шуток не понимаешь...— Он еще раз махнул рукой:— Да что с тобой разговаривать!

— Отцепишься ты когда-нибудь от этой девушки или нет?! — продолжал кипятиться Джаба.

— По... поцелуйтесь! — потребовал дядя Никала.— Здесь, у меня, и такие вещи.... Поцелуйтесь!

— Мы помиримся, дядя Никала, — сказал Гурам.— Мы каждый день так ссоримся.

— А ну-ка вставай! Это я тебе говорю, слышишь?

— Я, дядя Никала? — удивился Гурам.

— Да, ты... И стань рядом с Джабой!

Все трое изумленно смотрели на него — уж не собирается ли старик выставить их?

— Выйди вперед! — приказал старик Гураму, а сам, присев на корточки, как ребенок, спрятался за стулом. — Повторяй за мной!— И тут раздался его громкий шепот: — Клянусь достоинством своим и честью...— Звук был ясный, каждое слово слышалось четко, молодым людям казалось, что Никала шепчет им прямо на ухо.

Они смущенно улыбались, не зная, как отнестись к причуде старика.

— Повторяй, говорю!— сказал громко Никала и снова зашептал:— Клянусь достоинством своим и честью...

— Клянусь достоинством своим и честью,— повторил Гурам, взглянув с улыбкой на товарищей.

— Что никакая женщина, хотя бы...

— Что никакая женщина, хотя бы...

— Она была прекрасна, как богиня...

— Она была прекрасна, как богиня...

— Пленяла дух и волновала сердце... — Дядя Никала был явно в ударе.

— Пленяла дух и волновала сердце...

— Нас никогда не сделает врагами!

— Нас никогда не сделает врагами!

Никала перевел взгляд на Джабу и сделал ему знак бровью и подбородком:

— Клянусь!

— Клянусь!— повторил Джаба.

— А теперь садитесь. Ну что — хороший у нас получился спектакль?

Все смеялись.

— Дядя Никала, — спросил Гурам. — А что это за пьеса?

— Старая-престарая,— движением руки старик как бы подкрепил свои слова. — Незапамятных времен. Акт первый.

— Дядя Никала, но ведь если герои не нарушат клятвы, никакой драмы не получится!

— В том-то и дело, что нарушат,— старик посмотрел на Гурама, потом на Джабу и наконец остановил взгляд на Гураме. — Я имел в виду не только женщин. — Дядя Никала совсем протрезвел, так что Джаба даже подумал — не притворным ли было его опьянение? — Ничто никогда не должно встать между вами, вы должны любить друг друга так, чтобы самой жизни друг для друга не пожалеть... Потому что вы — не только вы, Джаба и Гурам и еще Нодар... Из таких, как вы и... как эту девушку зовут?

— Дудана,— подсказал Нодар.

— Из таких, как вы и Дудана, состоит народ. Вы не просто «вы», кроме имени и фамилии есть у вас еще один священнейший адрес — ваш земля. Поняли?

— Понял, дядя Нико.

— Ну, а теперь ступайте! — сказал неожиданно старик и с трудом поднялся с места.

На Плехановском проспекте Нодар объявил, что пойдет домой. Джаба хотел присоединиться к нему, им было по пути. Но тут Гурам многозначительно подмигнул товарищу. Нодар заметил это, но не подал виду и ушел один.

А дальше было все то, что было. Гурам позвонил из автомата каким-то девицам. Джаба вспоминает весь этот вечер, как туманный сон, — многое вообще не удержалось в памяти. В ушах у него еще остается разнузданный, беззастенчивый женский смех. И, кажется, одежда его до сих пор сохранила щекочущий запах каких-то чужих духов. Джаба помнит, как ему было стыдно — стыдно перед всей улицей, когда он, втянув голову в плечи, шагал рядом с теми девицами. Помнит он, как, словно убегая от преследования, бежал вверх по лестнице. Ступеньки гнались за ним, каждая дверь пыталась схватить его за руку, но он ускользнул ото всех — от ступенек, от дверей, от широко раскрытых

любопытных глаз электрических лампочек — и скрылся в темноте, в комнате Гурама. А потом пришла ее величество страсть...

Джаба сунул руку в карман и нащупал портрет Дуданы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОССТАНИЕ

ПРОСТОЕ СТЕКЛО

— Слушаю,— донесся из телефонной трубки женский голос.

Джаба весь внутренне напрягся.

— Попросите, пожалуйста, Тамилу.

Сейчас его спросят, кто он такой, кто вызывает Тамилу. Джабе было очень неловко. Правда, ответ у него был наготове — он назовется товарищем Тамилы; но именно это и смущало его: Тамила была лет на пять, на шесть моложе Джабы.

— Подождите немного, я посмотрю, дома ли она.

Трубка оказалась удивительно чувствительной. Джаба услышал тот же голос, зовущий в отдалении: «Тамила! Тамила-а!.. Нет ее? Где ж она? Пусть спустится, ей звонят».

Прошло две минуты или два года; Джаба плотно притворил дверцу автомата, но уличный шум все же проникал внутрь. «Хоть бы трамвай не прогрохотал, пока я буду разговаривать!» Потом он услышал в телефон звук шагов. Потом — голоса: «Кто это, тетя Тео?»— «Один красавчик». Смех. «А вдруг он совсем не красивый?»

— Слушаю.

— Здравствуйте, Тамила.

— Здравствуйте. Кто говорит?

— Догадайтесь.

— Не узнаю.

— Должны узнать! Вы ведь все знаете обо мне.

— Ты, Тенго?

— Нет... Вы о Тенго все знаете?

— Тенго... Почему ты изменяешь голос?

— Я не Тенго. Я тот, кого вы встречаете на улице каждый день.

— Каждый день?

— Да. А он вас никогда не может встретить.

— Как это понимать?

— Когда-то и я не понял... Потом мне объяснили: потому что вы меня знаете, а я вас нет.

Наступило молчание.

— Скажите, кто вы, или я повешу трубку.

— Я позвоню еще раз.

— А я не подойду к телефону.

— В конце концов подойдете.

— Вы думаете?

— Через год или два... Может быть, я позвоню вам снова, — сказал Джаба, четко выговаривая слова.

— Через два года?— засмеялась Тамила.

«Никак не вспомнит! — удивился Джаба. — Может быть, это не она?»

— У вас такой голос, словно вы в маске,— сказал Джаба и замер, прислушиваясь.

— Вы ошибаетесь, я...

— Я в самом деле ошибся. Я хотел сказать — такой голос, словно с вас кто-то сорвал маску.

Молчание пугающе затянулось.

— Не вешайте трубку! — закричал Джаба, так как телефон издал подозрительный звук. — Не вешайте, я еще не успел попросить прощения!

Тамила вновь поднесла трубку к уху.

— Что вы сказали?

— Тамила, я хочу извиниться, я хочу сам, своими руками надеть вам на лицо маску, которую так грубо сорвал в тот вечер... Тамила, я...

— Джаба? — сказала Тамила.

— Да, Джаба.

— Джаба!.. Так ты меня знаешь, Джаба? — У Тамилы задрожал голос.

— Выходит, что знаю, Тамила, оказывается, знаю. Я хочу попросить у тебя прощения...

— Джаба, ты меня не знаешь!

— Ну, как же не знаю — ты Тамила, Тамила, Тиканадзе.

— Джаба, ты просто узнал, как меня зовут, узнал имя и фамилию девушки, которая так глупо заговорила с тобой на карнавале...

— Нет, Тамила, я тебя знаю, я все вспомнил, это вышло благодаря чистой случайности.

— Какой случайности?

— Тамила, я сейчас не могу об этом, я звоню тебе с улицы... Тамила, я ведь был вожатым твоего пионеротряда, правда? Был или нет?

— Был, Джаба... Ты помнишь меня? В самом деле помнишь?

— Тамила, мне нужно тебя видеть! Только где и когда, не знаю.

— Значит, помнишь меня, Джаба? Тогда почему не узнал меня в тот вечер?

— Тамила, когда я могу тебя видеть?

— Я сейчас иду в университет... — Голос у нее был такой, что казалось, что она сейчас заплачет.

Джаба ждал, но она больше ничего не сказала.

— Я знаю, ты на меня обижена, но я должен встретиться с тобой.

— В шесть часов у меня кончаются лекции, — сказала Тамила и всхлипнула («Кто это довел тебя до слез, убью негодника!» — послышался в трубке женский голос). — Это я так, тетя Тео, я не плачу. — Тамила засмеялась.

— Знаю, ты учишься на первом курсе, на факультете иностранных языков... Я все знаю — вот только не знаю, где с тобой встретиться.

Тамила помолчала — должно быть, соображала, как лучше сказать... Потом, ничего не придумав, просто повторила:

— В шесть часов у меня кончаются лекции...

«Стесняется соседей».

— Хорошо, Тамила, я приду. До свидания. И про-

шу прощения у вашей соседки... Значит, пока, Тамила, до шести часов, верно? — Джаба все не мог расстаться с телефонной трубкой.

Он вышел из будки автомата. Куда теперь идти? Он был в нерешительности. В начале улицы Меликишвили, рядом с школой, сносили старый дом. Густая туча пыли стояла над всем этим участком, — казалось, ветхое здание целиком обратилось в пыль и поднялось в воздух. Джаба поглядел вдоль улицы, представил себе, как вечером пройдет по ней до конца и станет у ворот Университетского сада.

«А Гурам сразу почувствовал, догадался. Поразительный у него нюх! А я-то словно ослеп в тот вечер! С чего это Тамила показалась мне дурнушкой? Наверно, оттого, что плакала и лицо у нее сморщилось. А впрочем, я ведь толком и не успел ее разглядеть!»

Джаба покрутил в руках старый классный журнал. Эх, не оправдал этот журнал его надежд — и какую печальную вещь узнал он от этой женщины — единственной из списка, кого удалось разыскать: ни одного из бывших учеников 10-б класса 206-й школы не осталось в живых, все погибли на фронте—все до одного...

До шести часов оставалось еще очень много времени.

«Профессор Руруа! — мелькнула у Джабы мысль.— Пойду сейчас к нему — зачем откладывать! Редактор уже напоминал мне».

Георгий сказал Джабе: «Профессор Руруа вернулся из Лондона, он был там на симпозиуме хирургов. Возьми у него интервью: три-четыре страницы текста и одно фото».

В дверях больницы «Скорой помощи» Джабу остановил старик швейцар.

— Я из редакции, мне нужно повидать профессора Руруа,— объяснил Джаба.

— Профессор был сегодня с утра и ушел. Сейчас он или в институте, на лекциях, или дома.

— Позвоните ему, пожалуйста, — Джаба показал на телефон.

— Это вы мне? — Швейцар испуганно прижал обе руки к груди.

— Ну, так я позвоню сам.

— Только не говорите, что от меня... Послушайте, вот что, — как бы вдруг вспомнил он. — Профессор живет в ста шагах отсюда, вон там, на Крыловской, в доме сорок один. Ступайте прямо к нему на квартиру!

Джаба вышел на улицу.

— Только, может, они сейчас обедают, время неудобное...— сказал вдогонку ему швейцар; потом добавил:— Не говорите, что узнали адрес от меня, ладно?

— Непременно скажу... Откуда бы иначе я мог узнать?— улыбнулся ему издалека Джаба.

Швейцар улыбнулся в свою очередь и, успокоившись, скрылся за дверью.

Джаба быстро взбежал по широким мраморным ступеням, как бы приветственно раскинувшим руки перед гостями. «Доктор М. Руруа» — было написано на медной дощечке. «Давно здесь живет», — подумал Джаба и нажал кнопку звонка.

Дверь открыла немолодая женщина в косынке; в руках у нее была тряпка, желтая от паркетной мастики. Джабе бросился в нос запах скипидара.

— Профессор принимает с семи часов.

— Он дома?— обрадовался Джаба.

— Дома, но...

— Я не пациент, я из редакции...

— Не знаю... — пожала плечами женщина. — Подождите.

Джаба остался один. Вдоль коридора были расставлены стулья, в глубине стоял круглый столик из красного дерева, а на нем — пепельница, графин с водой и стакан. На противоположной стене жужжал электросчетчик, белый диск вертелся с необычайной быстротой. Пока Джаба успел прочесть шестизначное число, последняя цифра выросла на три-четыре единицы. Очевидно, было включено все, что можно включить в сеть: холодильник, утюг, нагревательные приборы... Хозяйство у профессора было, по-видимому, большое.

Первой вышла из кабинета женщина в косынке, а вслед за нею показался, застегивая по пути пуговицы пиджака, высокий красивый человек. Джаба шагнул, улыбаясь, навстречу ему и пожал протянутую руку.

— Пройдите сюда, пожалуйста, — посторонился, пропуская Джабу в дверь кабинета, профессор Ру-

руа. — Катя, если у вас есть время, бросьте, пожалуйста, это письмо в почтовый ящик, — он протянул женщине конверт.

— Сейчас?

— Да, хорошо бы... Пожалуйте!

«Не узнал меня»,— подумал Джаба и вошел в кабинет.

Посередине комнаты стоял большой рабочий стол. На нем четырехугольными башнями высились штабеля книг. Книги валялись также повсюду на полу, зато полки, доходившие до самого потолка, были наполовину пусты. За столом в глубине кабинета висел на стене большой портрет профессора.

— Извините, у меня тут беспорядок, — сказал профессор и поставил для Джабы стул возле стола.— Я решил просеять свою библиотеку. Многие книги устарели. Вот, просматриваю, откладываю, а выбросить жалко.

— Любите, как старых друзей! — вставил Джаба.

— Вернее, как старых учителей... Вы из какой редакции?

— Из журнала «Гантиади». Простите, что я...

— О, «Гантиади» я выписываю, хороший журнал. И с редактором вашим я знаком. Он сейчас в Тбилиси?

— Да. Простите, что я пришел без предупреждения.

Передайте ему от меня привет.

«Не помнит меня. И о тогдашних своих стихах забыл».

Профессор прислушался к шагам в коридоре.

— Одну минуту! — Он встал, выглянул в коридор. — Катя, выйдите, пожалуйста, на Плехановский и бросьте письмо там. — Потом вернулся к столу, улыбаясь:— Когда я рылся тут в книгах...

— Да?— приготовился слушать Джаба.

Профессор опустился в кресло, провел рукой по густым волнистым волосам, отчего блестящий высокий лоб его как бы померк на мгновение.

— Перед войной, в тысяча девятьсот сороковом году, привезли ко мне в больницу шофера, молодого парня, лет двадцати — двадцати одного. Я тогда работал в Авлабарской больнице. Парень свалился вместе

со своей «эмкой» с моста в реку. У него была повреждена селезенка — я ее вырезал.— Михаил Руруа разговаривал с Джабой, как со старым знакомым, словно они давно уже рассказали друг другу все, что могли рассказать, и вот теперь он, Руруа, может наконец сообщить приятелю что-то новое и интересное. — Долго лежал у меня этот шофер. А когда выписывался, заглянул ко мне в кабинет и сказал: «Доктор, я по профессии шофер и менять профессию пока не собираюсь. Если я и моя машина вам когда-нибудь понадобимся, черкните мне, и я тотчас же явлюсь». На столе у меня лежала открытка. Я записал на ней адрес. С тех пор прошло шестнадцать лет. И вот сегодня, перекладывая книги, я обнаружил эту открытку. Долго я не мог понять — кто это, чей адрес?.. Потом все вспомнил.

— И послали открытку?— Джаба невольным жестом показал на коридор.

— Послал!— Руруа переплел руки и завертел большими пальцами. — Вот сейчас и отправил. Решил произвести опыт — написал, что еду с семьей в деревню на виноградный сбор, что мне нужна машина и что прошу его явиться сюда, на Крыловскую, сорок один, послезавтра, ровно в десять утра. Посмотрим, что из этого выйдет... — Глаза у профессора блестели, как у озорного мальчишки.

— Непременно приедет... Если не переменил адреса.

— И если не погиб на войне. Увидим!

— Батоно Михаил, можно, я позвоню вам через несколько дней? Меня очень заинтересовала эта история.

— Сделайте одолжение! А то я сам вам позвоню.

Наступило молчание.

Джаба нащупал в кармане свой корреспондентский блокнот, представил себе вытисненные на нем типографские буквы: «Журнал «Гантиади». Литсотрудник» — и почему-то постеснялся вынуть его. Он решил, что запишет все потом, вернувшись домой.

— Батоно Михаил, когда вы вернулись?

— Из Англии? Прилетел позавчера.

— Вы удовлетворены вашей поездкой?

— Весьма. Интересная страна. Замечательный народ.

— И я люблю этот народ... Его историю, его литературу — в особенности.

— Очень интересная страна, — повторил Михаил Руруа.

— Сейчас, когда вы это говорите, в вашей памяти оживает, наверно, множество впечатлений!

— Да, вспоминается много разного. Больше хорошего. Но, к сожалению, и плохое тоже.

— Говорят, Британия готовится к хирургической операции в политике, — улыбнулся Джаба и сам же изумился витиеватости этого неожиданно вырвавшегося у него выражения.

— Что вы сказали! — приподнялся в кресле профессор.

— Будто бы она собирается ампутировать у Египта Суэцкий канал! — Джаба испытывал какое-то смутное удовольствие от этой медицинской терминологии, выражавшей как бы уважение к авторитету профессора Руруа; словно для того, чтобы доставить удовольствие хозяину дома, надо было говорить на его профессиональном языке.

— Ах вот что,— поняв мысль собеседника, Руруа вновь откинулся на спинку кресла. — Да, не прочь бы ампутировать, но пациент категорически протестует против операции, а в этих случаях, как известно, хирургическое вмешательство запрещено.

— Тем не менее оно происходит.

— Международное законодательство предусматривает наказание за это. А кроме того, если уж следовать вашей аналогии, — профессор посмотрел на Джабу, и тот весь сжался от смущения, — если уж следовать вашей аналогии, то ведь интервенты собираются иссечь, так сказать, вполне здоровый орган из столь же здорового тела и пересадить его в свой организм. А такие опыты в медицине пока что обычно оканчиваются неудачей — думаю, что и в политике тоже.

— Биологическая несовместимость! — воскликнул Джаба.

— Так точно. А в данном случае — социальная несовместимость. Природа упрямо защищает выработанные и установленные ею законы. Шутка ли сказать —

в течение миллионов лет она примеряла, отбирала, ставила миллиарды опытов, чтобы утвердить наиболее рациональный вариант и тем обеспечить собственное бессмертие. Не так легко она отступится от своего закона! Представьте себе на мгновение, что человеческий организм без всякого сопротивления, безболезненно принимал бы пересаженный ему орган другого человека — будь то конечность, почка или еще что-нибудь. Тогда ведь он не оказывал бы сопротивления и любым бациллам и вирусам, всевозможным смертоносным микробам! Человечество сразу после своего возникновения было бы уничтожено множеством разнообразных болезней. По-видимому, то же самое относится и к сфере общественной жизни. Если ты чужд народу, если ты не служишь его идеалам, если ты как бы пересажен из иного социального организма, то ты не приживешься и не сможешь процветать на новой почве.

— Батоно Михаил, значит ли это, что вы считаете заранее обреченными на неудачу любые попытки преодолеть биологическую несовместимость между тканями различных организмов?

— Нет. Я верю, что если ты пытаешься для продления человеческой жизни, и жизни вообще, внести поправку в законы природы, то природа «не рассердится» на тебя за это: ты ведь делаешь ее же дело. Хотя, возможно, она и не будет тебе содействовать.

— А мне думается, что «рассердится», батоно Михаил. Она ведь, как вы сказали, примеряла, отбирала на протяжении миллионов лет, чтобы найти рациональный вариант, — как же она теперь сдастся, уступит в споре?

— Но ведь, сдавшись человеку, наивысшему своему творению, она уступит не кому иному, как самой же себе! Однако она не дает человеку готовых формул — пусть он помучается, испытает тысячу разных путей, прежде чем разгадает тайну. Тогда человек и сам вырастет, усовершенствуется, поднимется выше еще на одну ступень. А духовный прогресс имеет конечной целью опять-таки непрерывность, бесконечность жизни. Таков неизменный и постоянный алгоритм природы: «мыслящая машина», не только воссоздающая, но и развивающая себя. Но если человек, это высшее тво-

рение, свихнется и сам же породит опасность исчезновения жизни на Земле, тогда... Вот, например, атомное ядро... Гений человека сумел расщепить его. Но когда были изготовлены эти чудовищные атомные бомбы...

— Ну, что тогда? Что сделала природа? — невольно улыбнулся Джаба.

— Тогда природа начертила на каждой двери круг,— профессор Руруа сделал кругообразное движение указательным пальцем.

— Какой круг?

— Помните сказку об Али-Бабе и сорока разбойниках? Разбойники решили убить Али-Бабу. Атаман посылает в город одного из своих приспешников, чтобы тот разыскал дом Али-Бабы и потом, ночью, привел туда товарищей. Разбойник находит после недолгих расспросов нужный дом и, чтобы не спутать его с другими похожими домами, рисует мелом круг на воротах. Верная служанка Али-Бабы замечает метку и, сообразив, что это не к добру, чертит такие же круги на воротах всех домов в квартале. Ночью разбойники прокрадываются в город, чтобы умертвить Али-Бабу, и находят условный знак на всех воротах. Они не знают, в какой из домов ворваться, и уходят, не исполнив своего намерения. Али-Баба спасен.

— Я понял, что вы хотели сказать, батоно Михаил, — кивнул Джаба. — Вы почти отождествили природу и человека. Но ведь тогда и созданные человеком общественные формации и их эволюцию придется считать задуманными природой!

— Если рассуждать логически, получается так.

— Но ведь люди часто ведут себя неестественно, несогласно с природой!— Джаба посмотрел на свои руки с пальцами, пожелтевшими от фотографических растворов.

— К сожалению, очень часто.

— Для того, чтобы хорошо жить, иные вредят другим, крадут, лгут.— Джаба вынул коробку сигарет и протянул ее профессору Руруа.

— Спасибо, я не курю.

— Никогда не курили?

— Два месяца, как бросил. Врачи запретили.

— Вы и друг другу запрещаете?

— И друг другу, и остальным. — Профессор проследил взглядом за извилистой струйкой дыма, поднимавшейся к потолку. — Вы что-то начали говорить?

— Я говорил, что иные люди поступают не по природе: воруют, обманывают, думают одно, а говорят другое. А называются детьми природы.

— Для того и повелела природа своим детям объединиться в общество, чтобы можно было обуздывать таких извращенных людей. Природу не устраивает процветание небольшой группы, ее первая и главная цель — счастье и процветание всего человечества, чтобы жизнь на Земле существовала возможно дольше или даже никогда не прекращалась.

— Но ведь счастье и процветание — удел далеко не всего человечества!

— Это значит, что природа еще не достигла своего идеала.

— Батоно Михаил, — в голосе Джабы прозвучала почтительная нотка,— я совсем не ожидал, что буду беседовать с вами на подобные темы.

— И я тоже.

— Я понапрасну отнял у вас время.

— Я так не думаю.

— Если вы разрешите, я задам вам несколько вопросов.

— Пожалуйста.

— Помните ли вы вашу первую операцию?

— Я окончил высшее учебное заведение в Ленинграде. Когда я вернулся в Грузию, меня послали в провинцию. Я сам этого просил, я хотел работать в своих родных краях.

Из коридора послышался детский плач. Профессор прислушался. «Папа! Папа!» — всхлипывал ребенок.

— Нана-а! Нана-а! Что это с ней случилось? — Михаил Руруа поднялся с места, но не успел он дойти до дверей, как в кабинет вбежала маленькая девочка. Румяные щечки ее были мокры от слез, она то и дело шмыгала носом.

Протянув вперед указательный палец, девочка направилась к отцу; заметив Джабу, она сразу перестала

плакать, оглядела с любопытством незнакомого гостя, а потом повернулась к профессору, подняла палец вверх и горько пожаловалась:

— Я пальчик порезала... Пальчику больно.. Ой-ой-ой...— и капризно застучала башмачками об пол.

Вслед за девочкой вошла в кабинет, смеясь, темноволосая женщина в очках; в руках она держала ножницы и бинт.

— Ничего не могу поделать, Миша. Требует, чтобы непременно сам папа перевязал ей палец, — сказала женщина; потом поздоровалась с Джабой.

— Ну-ка, покажи, что у тебя там, шалунья? — сказал девочке профессор. На крохотном, пухлом, как юная древесная почка или цветочный бутон, пальце блестела алая бусинка — капелька крови. — Ты опять играла с шприцем, да?

— Не-ет, я об гитару уколола-ась.

— Ну ничего, не плачь, ступай, мама тебя перевяжет. Мне некогда. — Профессор погладил дочку по голове.

— Мама не умеет, не уме-ет...

Джаба улыбнулся.

— Тяжелая вещь — популярность, — пошутил профессор.

— Миша,— сказала женщина в очках, бросив взгляд на Джабу,— бери с собой гостя и пойдем обедать. Пожалуйте!

— Спасибо,—Джаба посмотрел на часы. — Я спешу.

— У нас тут маленькое дело, закончим и придем,— сказал Руруа.

Женщина ушла.

— На чем я остановился? Да, так я начал работать в той самой деревне, где родился и вырос.— Профессор перевязал девочке палец:— Ступай теперь, ты нам мешаешь.

— Это все? И только?— надула губы Нана. — А здесь? — Она обхватила запястье пальцами другой руки.

— Так ты не сможешь рукой пошевелить.

— Смогу!

Профессор сделал еще несколько оборотов бинта, пропустил его конец между пальцев девочки, обвязал

вокруг запястья, затянул узлом, обрезал ножницами конец.

— Так хорошо?

Нана смотрела, как зачарованная, на свою руку, обернутую белой марлей. Казалось, ей подарили новую игрушку. Она закружилась на одной ноге и, высоко подняв руку, вылетела из кабинета.

— Не пообедать ли нам сначала, а потом...

— Благодарю вас, батоно Михаил, но я в самом деле не располагаю временем. — Как бы в подтверждение своих слов Джаба еще раз посмотрел на часы.

— Ну, словом, когда я начал работать в деревне, моей первейшей задачей, моей мечтой было, чтобы мои земляки, мои деревенские знакомцы, друзья и родичи, те, с кем я вырос бок о бок, с кем не раз работал вместе в поле или ходил на мельницу с мешком зерна за спиной, те, кто помнили меня мальчишкой-свинопасом, чтобы все они поверили в мои врачебные знания и в мое искусство, чтобы они без страха доверяли мне свою жизнь и ложились ко мне на операционный стол. Этого было нелегко добиться, но время и знания сделали свое... Первой моей операцией было удаление воспаленной слепой кишки. Более сложные болезни, чем аппендицит, начинающему хирургу не дают лечить.

— Вы волновались?

— Разумеется. Если оператор равнодушен во время операции, то он не хирург, ему лучше бросить скальпель и заняться чем-нибудь другим. Волнение даже обязательно. Если операция тебя не волнует, ты не должен ее делать, так же как поэт не должен писать стихотворение, если не испытывает волнения.

— Какая была ваша самая сложная операция? — поспешно задал новый вопрос Джаба.

— Самые сложные операции чрезвычайно просты, так как состоят из простых деталей, мелочей. Если эти детали тебя не затрудняют, если ты знаешь, где, как, на сколько разрезать, как накладывать шов, с каким интервалом делать стежки, то и операция не покажется тебе трудной, потому что все это и есть хирургия. Владение этими деталями, знание этих мелочей, дает тебе возможность делать большое дело — сохранять

жизнь людям. — Руруа говорил, одновременно разбирая, раскладывая, перемещая книги на столе.

Джаба раскрыл фотоаппарат, встал, раздвинул как можно шире занавеси на окнах.

— Вы, пожалуйста, продолжайте, батоно Михаил, я слушаю,— и он поднес фотоаппарат к глазам.

Джаба сидел в саду перед университетом и смотрел на циферблат электрических часов. Было уже около шести. Большая стрелка медленно поднималась, приближалась к вертикали, казалось, распрямляется человек с тяжелым грузом на плечах. Приглушенный звонок, донесшийся изнутри здания, возвестил окончание лекции. Джаба испугался, что и на этот раз не узнает Тамилы. Он искал встречи с ней не только для того, чтобы извиниться, — в этом он давно уже сам себе признался. Какое-то неодолимое, непонятное любопытство владело им. Дудане он, разумеется, расскажет впоследствии всё: как он сорвал с незнакомки маску на студенческом балу, как потом потерял эту девушку из виду и лишь случайно напал на ее след. Нисколько не удивительно, что ему захотелось встретиться с нею еще раз. Он должен попросить прощения за свою давешнюю дерзость — это тем более уместно, что он знает теперь, кто эта девушка, он вспомнил Тамилу. Оказалось, что незнакомка училась с ним в одной школе! Джаба расскажет Дудане, как любила его тогда маленькая Тамила. Стоило ей завидеть Джабу во дворе или в школьном коридоре, как она забывала игру, подружек и со всех ног бросалась к нему. Вся раскрасневшаяся, в радостном смущении она обвивала тонкими руками талию Джабы и потом всю перемену не отходила от него. А иногда сам Джаба бежал навстречу девочке и подхватывал ее. «Джаба-вожатый, будет у нас сегодня сбор?», «Джаба-вожатый, когда мы пойдем на экскурсию?»

А потом Тамила исчезла, Джаба не помнит, когда, в каком году,— точнее, в каком учебном году. Должно быть, она вдруг, за одно лето выросла, и Джаба больше не узнавал ее, а Тамила была по-прежнему рядом, в той же школе, только теперь уже стеснялась к нему подходить. Наверно, так оно и было, иначе куда

же могла пропасть эта девочка с золотистыми волосами?

Высокая, тяжелая дверь университета не успевала захлопываться на пружинах — один за другим выходили из корпуса студенты и направлялись через сад на улицу. Джаба всматривался в толпу молодежи, не замечая юношей, словно по широким ступеням спускались одни лишь девушки, и слыша только перестук женских каблуков. «Не проглядеть бы ее!» «Из тебя получился бы великий корректор. Какой талант ты губишь!» — смеется обычно тетя Анико, корректор редакции, когда Джаба обнаруживает в верстке пропущенную опечатку. «Как бы сейчас не проглядеть, — думал Джаба. — Где-то тут теперь должен мелькнуть вопросительный знак».

— Здравствуй, Джаба!

Прежде чем он успел обернуться, каким-то чудом в ушах у него зазвучала слышанная на студенческом балу танцевальная мелодия: память, оказывается, сохранила ее и дожидалась подходящей минуты. Но вот Джаба обернулся, и мелодия умолкла, исчезли вокруг деревья, здания, люди — всё заслонило взошедшее перед Джабой маленькое сердце с двумя светло-серыми сияющими глазами.

Это была Тамила. Перед Джабой стояло олицетворение счастья; он ни на мгновение не усомнился: это могла быть только она.

— Джаба!— сказала Тамила так, словно ее спросили: «А ну-ка угадай, кто это?» — и она угадала. Она смотрела на Джабу, словно ища в его глазах, в его напряженной улыбке что-то потерянное, забытое, ища настойчиво, но осторожно и не без опаски.

— Тамила... — пробормотал Джаба. — Только сейчас я узнал тебя.

Тамила кивнула, как бы охотно прощая ему эту вину.

— Ты такая же, как... Похожа на маленькую Тамилу.

— А в тот вечер не была похожа?

— В тот вечер — нет. Было темно. Ты плакала...

— Да, я плакала.

— Никогда больше не плачь! Если тебе захочется плакать... если так обернется дело — сообщи мне, и я сделаю что-нибудь такое...

— Чтобы я не заплакала?

— Да. Так я искуплю свою вину.

— Всегда тебе сообщать?

— Нет, только первые сто лет.

— Ох! Не хочу!

— Хочешь плакать?

— Не хочу быть столетней старухой.

— Если никогда не будешь плакать, то и не состаришься.

Беседа, казалось, налаживается, — все легче, свободней сыпались слова — так перед ливнем все чаще падают дождевые капли.

— Как я мог быть таким слепым — не узнать тебя под маской!

— Ты не мог меня узнать, Джаба. Оттого я и заговорила так смело с тобой, что была уверена: ты меня не узнаешь. И не ошиблась.

— А почему ты заплакала? Ведь испугалась, что я тебя узнал, правда?

— Нет,— Тамила прищурила глаза, она по-прежнему с любопытством рассматривала Джабу, а Джаба поминутно ерошил и приглаживал свои волосы. — Я заплакала потому, что испугалась.

— Вот я и говорю...

— Я заплакала потому, что испугалась, — повторила Тамила тоном, означавшим, что ее неправильно поняли, и отвела взгляд.

Джаба понял.

Тамила направилась к калитке. Они вышли на улицу. Встречный ветер доносил до Джабы слабый запах, исходивший от Тамилы, незнакомый и приятный. Джаба удивлялся — почему Тамила не спрашивает, как он вспомнил, как разыскал ее, от кого узнал номер телефона? Тамила шла впереди. Чтобы встречные думали, что с ней никого нет? А может, это делалось не для всех встречных, может, ей нужно было ввести в заблуждение кого-то одного?

Они перешли на другую сторону улицы Меликишвили и зашагали по широкому тротуару вдоль глухой, вы-

сокой стены винного завода. Оба молчали. Вот сейчас, в эту минуту должно было родиться слово, искреннее и смелое, чтобы развеять это мертвое молчание и проложить дорогу другим, робким и стыдливым словам. Одно лишнее безмолвное мгновение могло сейчас разлучить их, развести в разные стороны. Они были как бы заключены внутри холодного кома молчания, катящегося и быстро растущего.

— Тамила!— Джаба взял девушку под руку.

Словно раздутые ветром, вспыхнули искры в глазах Тамилы.

— Да?..

— Знаешь что? Хочешь я буду твоим папой?

Эти неуместные, нелепые слова были вызваны воспоминанием о школьных временах, когда разница в возрасте между ними бросалась в глаза, и смущением от мысли, что разница эта, возможно, и сейчас оставалась очевидной.

— Как славно!— засмеялась Тамила.

— Значит, с этой минуты я твой папа.

— А я — твоя младшая дочь.

— Почему младшая?

— Потому что у меня есть старшая сестра.

— Нет, я буду только твоим папой.

— Хорошо.

— Если тебя кто-нибудь обидит — позови меня, а я уж сумею тебя защитить.

— Хорошо, непременно позову.

— И если тебе чего-нибудь захочется, скажи мне, я тебе куплю.

— Как хорошо!— хлопнула в ладоши Тамила.— Что же ты мне купишь?

— Что угодно... Например, дремучий лес или пещеру. Туда я не буду стесняться приходить, чтобы повидать тебя.

— А почему ты должен стесняться?

— Никто ведь не знает, что у меня такая большая дочь и что я это скрываю!

— Ах, да, я совсем забыла. А в кино ты меня будешь водить?

— Буду, если тебе не надоест ходить всегда с папой, — сказал Джаба так печально, словно он в самом

деле был отцом Тамилы и страдал из-за ее равнодушия.

— Какой у меня будет молодой папа! Мои подруги сойдут с ума! Пожалуй, они в тебя влюбятся.

— Но я буду только твоим папой. А ты хочешь быть моей дочкой?

— Хочу.

— Будешь меня во всем слушаться?

— Не знаю,— Тамила кокетливо покачала головой и глянула искоса на Джабу. — А надо ли, чтобы я была совсем-совсем послушной? Вряд ли тебе будет интересно с такой дочкой!

Улица постепенно исчезала, растворялась в вечернем сумраке. Город сомкнулся вокруг них, сжался, превратился в кусок тротуара. И этот обернувшийся тротуаром город при каждом шаге стлался им под ноги. Но тут вдруг разом вспыхнули все уличные фонари и лампионы, и тротуар вытянулся, простерся в бесконечную даль, растекся в разные стороны. Из мглы выступили другие, подобные ему, тротуары, каменные дома, улицы, сверкающие трамвайные рельсы. Электрический свет принял город под свое покровительство.

— Пойдем пешком?

— Знаешь, как я далеко живу?

— Знаю. На улице Гоголя.

— Ах, да, кстати!— Тамила приостановилась. — Почему ты не рассказываешь, как...

— Сейчас расскажу. — Джабе был приятен вопрос, но в голосе Тамилы он не почувствовал того глубокого интереса, которого ожидал. — Тамила, мы с тобой встретились благодаря вот этому журналу. Если бы не он...

И Джаба подробно рассказал всю историю — как он нашел у себя на чердаке старый классный журнал с фамилиями мальчиков и девочек, учившихся пятнадцать лет назад, как ему захотелось познакомиться с ними и написать о них очерк, как это его намерение было одобрено редактором и как, наконец, спустя долгое время он отправился на поиски...

Два дня тому назад Джаба сунул под мышку старый классный журнал и явился в Центральное справочное бюро города Тбилиси. Выбрав наудачу фами-

лии двух учеников из списка, Джаба попросил разыскать их адреса. После получасового ожидания четырехугольная заслонка окошка справочного бюро поднялась, и перед Джабой блеснули пять малиновых ногтей.

— Не проживают, дорогой, — услышал он беззаботный голос.

Заслонка опустилась. Перед ней на окошке остался листок, на котором фамилии бывших учеников были перечеркнуты толстыми линиями. «Так и Арчил Шишниашвили зачеркнут в журнале», — вспомнил Джаба и почувствовал страх. Источник страха был где-то тут же, рядом, — в журнале, в голосе женщины, на пропыленных полках архива за деревянной заслонкой. Джаба перевернул листок, написал на нем две другие, так же наудачу выбранные из списка фамилии, подумал: «Обозлится? Пускай!» — и осторожно постучал в окошко.

Заслонка тотчас же поднялась. Алые ногти сначала исполнили перед Джабой изящный танец, потом вдруг разъярились и стали как будто еще алей и, наконец, сверкнули молнией, словно превратившись в один раскаленный уголек.

Еще через двадцать минут терпеливого ожидания Джаба услышал ответ:

— И эти не проживают!

Из окошечка приглушенно доносилось: «Не знает даже отчеств и еще в претензии... Я совсем не обязана...»

— Об остальных ты не справлялся? — спросила Тамила.

— Да уж не захотелось спрашивать.

— Надо было дать весь список.

— Очень уж надолго бы дело затянулось.

— Что ты сделал дальше?

— Отправился в Республиканский военный комиссариат. Оказывается, надо было сразу туда обратиться.

— И что же?

Они шагали по мосту. Джаба шел слева от Тамилы, чтобы загораживать ее от ветра. Тамила нагнула голову и прижалась к Джабе.

— Ни одного не оказалось в живых, все погибли на фронте... Восемнадцать ребят! В классе было только

четыре девочки. Мне дали адрес Мзии Горделадзе. Она тоже воевала — была медсестрой на Кавказском фронте. Чудом спаслась от смерти — вернулась с серьезным ранением, изуродованная, так и не вышла замуж.

У Мзии Горделадзе дрожали руки — она старалась скрыть дрожь, но пожелтевшая страница журнала, уголок котсрой она сжимала двумя пальцами, выдала ее.

— Тариэл... Гайоз... Наш учитель Ноэ... Арчил,— бормотала Мзия, казалось, она видит всех их перед собой живыми.

Они стояли посередине комнаты. Мзия держала в руках деревянную лопаточку — когда пришел Джаба, она была на кухне и так, с лопаточкой, выбежала, чтобы ему открыть. Джаба незаметно переменил место: чтобы замаскировать свое намерение, вынул сигарету, щелкнул зажигалкой, затянулся и сделал еще шаг в сторону — теперь ему не была видна изуродованная щека Мзии, белые шрамы, подобием жуткой улыбки протянувшиеся до самого уха. Он видел лишь уцелевшую половину лица, чистый профиль, красивый разрез глаза, в углу которого дрожала от собственной тяжести большая слеза.

— Боже мой, могла ли я подумать, что мне доведется еще держать в руках этот журнал! — говорила Мзия. — Смотрите! — Голос ее вдруг повеселел на мгновение. — Смотрите: «Мзия Горделадзе — алгебра — отл.». Каким образом журнал оказался у вас?

— Я и сам хорошенько не знаю. Однажды летом, оказывается, мама сдала комнату...

Мзия посмотрела на Джабу. Слеза в уголке глаза набухла, оторвалась и покатилась по щеке.

— В первый год войны к нам поступил новый преподаватель немецкого языка. Не помню, из какого города он приехал. Может, это он жил в вашей комнате?

— Преподаватель немецкого языка?— Джаба схватил журнал.

— Да... Но зачем он унес домой классный журнал?

Теперь они оба держались за журнал. Джаба поспешно перелистывал его.

— Где-то здесь, на одной из страниц, почти всему

классу выставлены двойки по немецкому языку. Вот, нашел. Какое число? 26 октября 1942 года... Что случилось в этот день?

Мзия отвернулась, вытащила из рукава платья маленький платочек и поднесла его к губам.

— Глупые мы были! — сказала она, словно сердясь на себя. — Ужасно глупые!—Но неожиданно расцветшая на влажном от слез лице улыбка говорила о другом: как бы издали, сквозь толщу лет любовалась Мзия этой совершенной в далеком прошлом «ужасной глупостью». Она всхлипнула, потом улыбнулась снова, с виноватым видом: — Простите, мне трудно сдерживаться. Видите ли... Видите ли, был у нас один товарищ, Арчил Шишниашвили...

— Знаю! — Джаба постучал пальцем по журналу.

— Такой тихий-тихий, спокойный,.. Но замечательный, лучше всех в классе, такой... такой... ну, просто слов нет! И он тайком ушел на фронт, добровольцем.

— Ушел на фронт? Так вот почему он не ходил на уроки!— Джаба снова показал на журнал.

— И вот он погиб...

— Погиб!— Джаба был изумлен. — А я думал... Когда увидел его фамилию зачеркнутой... Я думал, что он заболел и умер.

— Нет, он погиб. В первом же бою. И Расс вычеркнул его из списка! Такой тихий... тихий... Лучше всех в классе...

— А кто был Расс?

— Наш преподаватель немецкого языка. Михаил Расс. Он вычеркнул Арчила из списка. — Еще одна крупная слеза вздулась в уголке глаза Мзии. — Весь класс это узнал. И другие классы вместе с нами перестали готовить его задания, не ходили к нему на уроки. В коридоре вывесили плакат: «Расс — предатель, фашист». Он скоро оставил школу, сам, по собственной воле... Помню, как он спускался по лестнице, так и стоит перед глазами до сих пор... Директор выходил из себя, наказывал нас, оставлял в классе после уроков, убеждал, кипятился: что вы делаете, как смеете, он ваш учитель, не фашист же на самом деле! Но Расс

ушел сам. Бедняга — ведь это страх перед гитлеровцами, перед фашистами, привел его к нам, страх его гнал через Кавказский хребет! А мы...

— В эту самую минуту,— Джаба остановился. — В эту самую минуту, Тамила, дверь отворилась и вошла младшая сестра Мзии, Марина Горделадзе.

— Моя подруга, — сказала спокойно Тамила. — Я все знаю, Джаба. — Она улыбнулась.

— Все знаешь? И то, что она сказала: «Я о вас слышала от моей подруги Тамилы Тиканадзе»,— тоже?

— Да, Джаба, знаю. Но я хотела услышать от тебя самого.—Тамила прошла мимо освещенной витрины, под лучами световой рекламы, и бледные розовые буквы скользнули по ее лицу. — Сегодня на лекции мы с Мариной долго разговаривали обо всем этом. Тебе неприятно?

— Нет, но...

— Ты очень, очень хорошо рассказал... Как мне жаль Мзию, поверить не можешь. Знаешь, какая она хорошая?

— Догадываюсь.

— Видел ты ее портрет на стене? Правда, она была раньше красивая?

— Да, видел. А сама она все время закрывала щеку рукой.

— Она и при мне сначала закрывалась, бессознательно. Потом привыкла ко мне, перестала. Ты собираешься написать о ней?

— Если справлюсь. Это надо очень хорошо написать.

— Я смотрю на Мзию, и мне чудится: кто-то в припадке безумия изуродовал прекрасное изображение.

— И мне пришло в голову нечто в этом роде. Я подумал, что вижу лицо сфинкса, одна половина которого говорит о войне, а другая о жизни.

— Вот об этом и напиши.

— Это, пожалуй, выйдет чересчур высокопарно, с претензией...

— Ну и пусть! Лишь бы ее оправдать.

— Да, если оправдать — тогда не плохо. Но наперед трудно знать, сумеешь ли...

— Надо знать!

— Как будто знаешь, но все же боязно, не чувствуешь уверенности.

— Вот это плохо. А в претензии, по-моему, нет ничего плохого.

Они шли по Плехановскому проспекту. Тамила улыбалась своим мыслям.

— Помнишь, как ты однажды грохнулся в коридоре школы? Бежал по натертому паркету, поскользнулся и упал навзничь, ударился спиной. Ученики сбежались со всех сторон, а ты долго не мог вздохнуть, все стонал: «Оставьте меня!», когда тебя пытались поднять на ноги.

— Не помню.

— А помнишь, как ты дал мне ноты, нацарапанные карандашом, и сказал, что сам сочинил эту музыку? Велел мне разобрать дома и сказать, понравилось или нет.

— Не помню, Тамила... И что же, разобрала ты эти ноты?— Джаба прислушался к своему голосу и почувствовал вдруг, что тайное обаяние, запрятанное где-то в глубине существа Тамилы, покоряет его. Душа этой девушки была как алмаз с множеством граней, но она почему-то скрывала от Джабы свое ослепительное сверкание и притворялась простым стеклом.

— Да, разобрала. Мелодия была простая и что-то мне напоминала. Я долго после того напевала ее про себя, а потом забыла.

— Наверно, я в шутку сказал, что сам ее сочинил.

— Может, ты в самом деле разыграл меня, а я не догадалась, думала, что песня в самом деле твоя... А теперь я пойду, Джаба.— Голос у Тамилы внезапно изменился.

— Куда?— удивился Джаба; он проследил глазами за ее взглядом.

У входа в кинотеатр «Ударник» стояла группа парней, беззастенчиво пялившихся на Джабу и его спутницу.

— Тебе непременно нужно уйти?

— Да, Джаба, непременно.

— Или... Или это я непременно должен тебя оставить?

— Я должна уйти, Джаба.

— Может, кто-нибудь другой не желает, чтобы...

— Кто другой? — не дала ему договорить Тамила.

— Не знаю. До свидания, Тамила.

— До свидания. Спасибо, Джаба! — Тамила быстро повернулась и смешалась с толпой.

МЕСТОИМЕНИЯ

Самсон задыхается от смеха. С чего ему вспомнился этот случай? Даже своей Фати не рассказывал о нем Самсон! Вполне возможно, что Фати и не поверила бы ему!

Самсона назначили в Аликатэ, дежурным по станции. И вот он выехал из Тбилиси в Азербайджан. В вагоне не нашлось места, чтобы прилечь, — Самсон примостился в уголке, стащил фуражку с головы и, прислонившись к стене, заснул. А когда проснулся — шапка была полна медных и серебряных монет. Вернуть? Но кому? Надрываться, доказывать во всеуслышание, что он не нищий, не попрошайка? Совсем уж выставишь себя на посмешище...

Смеется Самсон, хохочет — зашелся от смеха, не может слова выговорить... «Дурная это примета, много смеяться — не к добру: будет неприятность».

И вспоминается ему другая история, действительно неприятная. 1914 год. Эшелон новобранцев — вагоны набиты битком, бедняг везут на фронт. А Самсон чуть было не завернул их прямиком на тот свет, не дав побывать в бою, пороху понюхать... А какие статные были ребята, красавцы на подбор! Иные, наверно, уцелели на той войне, да и на этой и превратились в дряхлых стариков, таких же, как Самсон. А он чуть было не истребил всех до одного! Случилось все так: начальник станции заболел, помощник был в отпуску; Самсон сразу отправил телеграмму в управление, чтобы ему прислали сменщика, но ответа не получил ни в тот день, ни на следующий. Он послал еще три телеграммы одну за другой, но напрасно ждал отклика: управление хранило молчание. Сорок восемь часов не смыкал глаз и оставался на ногах Самсон — принимал и отправлял поезда, раз даже чуть не попал под колеса

проносившегося мимо станции паровоза — хоть убей, не вспомнит, как поднял руку, чтобы передать жезл: кожа совсем утратила чувствительность, ему казалось, что он постепенно окаменевает и вот-вот гранитной глыбой рухнет на землю.

На третий день утром, в восемь часов, он заснул, сидя за своим столом в кабинете дежурного.

Позвонили с соседней станции, сообщили, что идет военный эшелон; надо было переключить жезловый аппарат и пропустить его. Станционный сторож, старик-азербайджанец, оказал Самсону медвежью услугу: пожалел его, не разбудил, сам поговорил с соседней станцией; потом переключил аппарат, освободил жезл, перевел стрелки и открыл семафор третьего пути. А на третьем пути стояли два товарных вагона, рабочие производили погрузку... Лишь перед самыми стрелками заметил машинист военного эшелона, что путь занят, дал тревожный сигнал. А Самсону приснился человек с искаженным от страха лицом, зашедшийся в отчаянном вопле... И тут он проснулся. Вскочил, закатил в сердцах пощечину бледному, дрожащему сторожу — ударил старого человека! Машинисту удалось все же остановить поезд — в каких-нибудь пяти саженях от тех товарных вагонов. Из состава высыпали солдаты, офицеры, выскочил сам полковник. Целая толпа ворвалась к Самсону в кабинет, — наверно, растерзали бы его живьем, ничто бы их не остановило, если бы...

Почему-то в это жуткое мгновение в памяти Самсона ожила картинка из давнего прошлого. Когда ему было лет десять, он как-то положил перед проходом поезда на рельсы большую медную монету, и когда состав миновал это место, не было на пятаке больше ни двуглавого орла, ни надписи: монета превратилась в тоненький горячий медный листок, обжегший ему пальцы. Удивительно, что Самсону вспомнился этот случай именно сейчас, когда он, зажатый в угол кабинета, окруженный разъяренными солдатами, ждал с пересохшим от страха ртом лютой расправы... Разумеется, его растерзали бы на части, если бы...

Если бы внезапно не вскочил на стол офицер железнодорожного батальона и не закричал: «Стойте, братцы, он не виноват, стойте! Я понял, что тут произошло!»

Этот офицер спас Самсона. До сих пор стоят у Самсона перед глазами его густые, желтые, прокуренные усы. Потом все вместе, с помощью солдат, откатили эти два вагона в тупик... Эту историю Самсон не утаил от Фати, рассказал ей еще до венчания. Эх, Фати... Вот, оставила Самсона одного на старости лет! «Фати, помнишь, как мы венчались?» — «Как не помнить, Самсон!» — «Помнишь тот вагон?» — «Очень прошу, никому не рассказывай, на смех поднимут!» — «Почему, Фати, что в этом смешного? Обыкновенная церковь, только в вагоне, раскатывает на колесах взад-вперед...» Эх, Фати! Не вовремя ушла... Остался Самсон один-одинешенек в этом огромном мире.

Самсон открывает глаза. В комнате темно. Вдруг он вспоминает, что и вчера раскрыл глаза — не во сне, а наяву. И удивился, что не увидел длинного ряда составленных вместе столов. «Должно быть, соседи успели разобрать по домам после поминок».

С улицы доносится шум автомобилей. Проспект, должно быть, ярко освещен. Неужели он так мало спал? С кладбища вернулись в семь вечера... А что было потом? Совсем ничего не помнит Самсон — как он поднялся по лестнице, как вошел в квартиру. Не помнит людей за столами — здесь, в этой комнате. Что с ним стряслось? Наверно, стало дурно. Проклятая старость! Не выдержал! Надо было ему осушить стакан за упокой бедной Фати... Эх, не вовремя она его покинула...

«Но почему я не помню, как шел по лестнице?»

Самсон слышит звонкий женский смех. Кто-то смеется в соседней комнате. «Должно быть, Лида. Вот что такое мы, люди, — грош нам цена! Сегодня только вынесли покойницу из дома — и вот, уже...»

К женскому смеху присоединился мужской: Самсон явственно его слышит. «Заткнуть бы хоть уши! Что это, право, не звери же мы в самом деле, ведь еще утром здесь стоял гроб с покойницей!»

Женский голос стал напевать.

«Нет, это не мыслимо! А Фати так любила Лиду! Это невообразимо... Может быть, это не Лида, а кто-нибудь другой? Но кто бы это ни был...» Постой, постой, уж не во сне ли опять Самсон? Проверим... Руки свести вместе он не может. Ногой пошевелить тоже.

Только глазами моргает. Что, если его разбил паралич? Эта мысль словно таилась в засаде, в темноте, и как только Самсон прошелся поблизости, набросилась на него, напугала, вогнала в дрожь, словно маленького ребенка. Да, глазами он моргает. И только.

Самсон втягивает воздух во всю глубину своих легких и чует аппетитный запах какого-то сдобного печенья.

Он бодрствует. В этом нет никакого сомнения. Никогда во сне он не чувствовал запахов. Позвать Лиду? Неловко. Стыдно станет Лиде, захочет сквозь землю провалиться. Но что это за бесстыдство — напевать здесь, сейчас. Дала бы хоть остыть покойнице в земле!

— Лида!— наконец не вытерпел, вспыхнул Самсон.

Но вместо крика из глотки его вырвался лишь слабый хрип. Даже если бы Лида сидела тут же рядом, и то она могла бы не услышать. «Бессовестная, бесстыжая! Не считает ли она и меня за мертвеца? Вот скажу ее мужу — шкуру спустит с негодницы!»

Пенье смолкло.

— Джаба,— сказала Лида, — я полагаюсь на твои часы. Смотри, как бы мне не опоздать.

— А на меня ты не полагаешься?

— А это кто? Какой там еще Джаба?

Самсон еще раз обводит взглядом комнату — потолок, стены. Вон какой-то портрет виднеется на стене, стекло блестит под пробившимся с улицы светом; Самсон не различает лица, но догадывается: это портрет Фати, должно быть повешенный здесь соседями. Два окна, дверь, ведущая на балкон. Да, он у себя, в своей квартире. Но кто такой Джаба?

Самсон закрывает глаза, чтобы убедиться, что они в самом деле были открыты. Теперь он напрягает слух. Он не будет думать ни о чем — совсем ни о чем. Любопытно — послышатся ли ему какие-нибудь разговоры?

— Эти фото никуда не годятся. Я сделаю новые отпечатки.

— Что ты, Джаба, мне они очень нравятся.

— Правда нравятся, Дудана?

«Дудана? Нет, я все же, видимо, сплю. Мне опять что-то снится. Но кто это такие — Дудана, Джаба? По-

чему я не вспоминаю их лиц? Верно, я знал их когда-то... Но когда?»

— Если бы я отнесла в киностудию вот это фото, снимок твоего приятеля-москвича, Гураму не понадобилось бы даже пробы, — смеется Лида.

«Не Лида, а... как ее зовут? Дудана».

— Дудана, ты в самом деле едешь? А как дядя Бенедикт — отпускает тебя? Я все еще не могу поверить, что ты уезжаешь.

— Дядя Бенедикт ничего не знает. Он думает, что я собираюсь на экскурсию, с нашими студентами.

— Мне от этого ничуть не легче.

— Поеду я, Джаба. А то как бы Гурам не обиделся. Да и что тут особенного, поездка ведь всего на неделю.

— Хотя бы и на неделю. Дело не в этом.

— А в чем?

— Во мне.

Долго дожидался ответа девушки Самсон. «Наверно, это все, что я помню. Должно быть, когда-то слышал этот разговор — вот так, случайно подслушал, не видя, кто говорит».

— Ты не хочешь, чтобы я поехала?

Ага! Вот и вспомнил Самсон! Да, так она сказала: «Ты не хочешь, чтобы я поехала?» Разве не Фати это сказала? Ну конечно, Фати!

— Мне кажется, вопрос этот лишний, Дудана..

— Я поеду, Джаба... Пожалуйста, прошу тебя, не...

«Как расслабляет, обезоруживает, отнимает волю этот голос! Мужчина не может противиться, когда его так просят... Не может, если любит».

Самсон погружается в сон и сразу лишается слуха. Да, когда-то Фати упрашивала его именно так: «Я поеду, Самсон, пожалуйста, прошу тебя, позволь...» — слышится ему, но это уже мысль, мысль во сне, оставшаяся от мгновений бодрствования. Долгий, долгий сон переплелся с минутной явью, но такой смутной, туманной, такой безжизненной была эта явь, что Самсон не ощутил возвращения к действительности, не узнал привычного мира и вновь выпал из него, отдался сонным волнам реки воспоминаний. Чего только не несли эти волны! Чего только не несли, не мчали эти волны —

голоса людей и животных, паровозы с прицепленными к ним длинными составами, перепачканных в саже машинистов; и сам Самсон плыл по реке, десять, двадцать, сто Самсонов — молодые, в летах, улыбающиеся, разгневанные; кружились в волнах книжки — учебники четырехклассной школы, красные отблески огней семафора на рельсах...

Сейчас река воспоминаний несет вагон, из дверей которого вырывается сладковатый запах ладана...

— Разорву я эти фотографии!— Джаба сгреб в кучу разбросанные по столу фотоснимки.

— Что ты делаешь, Джаба! Я обижусь, Джаба, клянусь тебе, я обижусь.

Уже напрягшиеся было руки Джабы стали вдруг словно тряпичными. Дудана отобрала у него снимки.

— Ах, как мы с тобой здесь хорошо получились... Не всякий поймет, как снято. Можно подумать, что с нами был еще кто-нибудь.

— По-видимому, я только мешаю моему фотоаппарату. Самые лучшие снимки он сделал без моего участия!

— Вот этот тоже хорош, и этот — водопад чудесно вышел, больше, чем он есть на самом деле.

Самсон больше не слышит молодых голосов из соседней комнаты. Самсон бежит вдоль железнодорожных путей с фонарем в руках и что-то про себя бурчит. Холодно. Темная ночь. Лишь вдали, в сотне саженей от станции, виднеются красные хвостовые огни почтового поезда. Так быстро промчался почтовый поезд перед платформой, что Самсон не успел передать жезл на паровоз и теперь бежит вдогонку поезду, чтобы вручить его машинисту и заодно сказать ему пару крепких слов, — ведь на этом перегоне остановки почтовому поезду не полагается! Машинист рассыпается в извинениях, но что от них толку! Поезд уходит, Самсон возвращается и видит в темноте три тени, три человеческих силуэта, плывущих в сторону станции.

Это оказались мать Самсона, его сестра и Фати, его невеста. Обрадованный Самсон высоко поднимает фо-

нарь и всматривается в лица женщин. Фати опускает глаза, стыдливо улыбается.

— Разве ты знал, что мы приедем с этим поездом?— спрашивает мать.

— А я и не знаю, поезд случайно остановился,— смеется с многозначительным видом Самсон, смеется так, чтобы правду приняли за шутку. Что тут особенного, грех невелик, можно позволить себе маленькую невинную ложь, чтобы покрасоваться перед Фати.

— Ну, спасибо тебе, что остановил, а то пришлось бы торчать на соседней станции, дожидаясь встречного, — говорит мать. — Но какой же ты упрямый, Самсон! Приехал бы домой, в деревню, сыграли бы свадьбу на славу! А то заставил нас, трех женщин, сорваться с места, отправиться за тридевять земель... Разве это дело?

— Не отпустили меня, мама...

— Церковь отсюда далеко? — спрашивает сестра.

— Церкви тут нет.

— А как же...

— Православная церковь есть только в Баку, а ближе нигде.

— Что ж, мы в Баку поедем? — воскликнула Фати.

— Зачем? Вызову церковь, прикатит сюда и обвенчаемся.

— Ты шутки с богом не шути, Самсон, — предостерегающе говорит мать и входит в кабинет дежурного по станции вместе с будущей снохой.

— Я и не шучу. Это его самого на шутки потянуло — никогда на поездах не разъезжал, так вот решил теперь покататься.

— Ты что, басурманом заделался? — прикрикнула на него сестра.

— Заботится господь бог о бедных железнодорожниках, а как вы думали?

— Если б заботился, не было б здесь темно, как в преисподней!— шепчет Фати.

На глазах у женщин, к великому их изумлению, Самсон составляет телеграмму, в которой просит управление железной дороги прислать такого-то числа передвижную церковь.

Мать крестится.

— Что это такое, Дудана? — воскликнул Джаба; в руках у него была тоненькая тетрадка, раскрытая посередине. — Ты получила двойку?

Дудана расчесывала перед зеркалом волосы; густые пряди падали ей на грудь. Заметив тетрадку в руках у Джабы, она быстро направилась к нему.

— Брось, не смотри... Этот лектор вечно мне ставит двойки. — Тетрадь была по латинскому языку. — И ставит зря.

— Как это — зря?

— Ну да, по пустякам. Я спутала местоимения — приняла латинское «ego» за русское «его», первое лицо за третье... Велика важность — мог бы догадаться, что это механическая ошибка.

— Что, что? — удивился Джаба. — По-твоему, если перепутаешь местоимения, это не важно?

— Нисколько!— улыбнулась Дудана, поддразнивая Джабу.

— По-твоему, «ты» все равно, что «я»?

— Все равно! — снова улыбнулась Дудана.

От этого невинного шутливого спора в душе Джабы вдруг воздвиглось сказочной башней до самых небес потрясающей важности признание. И Джабу охватило волнение, так как он понял, что сейчас, сию минуту эта башня из слов предстанет перед Дуданой.

— Если «я» и «ты» — означают одно и то же, тогда...

...Вагон-церковь стоял в станционном тупике. Бог пребывал на колесах, словно опасался поставить стопу на землю. Он как бы держался, по народному поверью, за железо, чтобы сатана не подступился к нему. Бог пребывал на колесах и дожидался сотворенных по образу и подобию своему.

Дьякон, покадив ладаном, изгнал из вагона запах мазута, родственный адской вони смолы и дегтя. Священник облачился.

Начальник станции и стрелочник были шаферами. Присутствовали на венчании и другие железнодорожники. Фати, поддерживаемая с обеих сторон, с трудом поднялась по лестнице в вагон. Она все смотрела на свое белое подвенечное платье — как бы оно не за-

пачкалось. Внутри все было устроено, как в настоящей церкви: образа, свечницы, алтарь, иконостас...

Священник затянул трехколенную ектенью:

— Благословен господь наш в вышних ныне и присно и во веки веко-ов...

— Ами-инь! — подтянул ему дьякон.

— Если «я» и «ты» — одно и то же, тогда слушай...— Джаба был бледен; лицо Дуданы смотрело на него из зеркала.— Ты... уже давно любишь меня, Дудана!— Джаба тщетно старался скрыть напряженной улыбкой сотрясавшее его волнение. — Ты не можешь жить без меня, ни минуты не можешь.— Дудана застыла в зеркале; рука державшая гребенку, как бы тщетно пыталась вспомнить, что она делала мгновение тому назад.— Ты безумно, ты страстно любишь меня, Дудана, но до сих пор не смела мне признаться. Сейчас, когда ты это говоришь, у тебя дрожит голос.—В зеркале показалась спина Дуданы.—Ты тоскуешь по мне, даже когда ты со мной. Ты больше не можешь молчать, Дудана... Ты не собиралась заговаривать со мной о любви, хотела, чтобы я сам догадался, но...

«Джаба!— как бы простонали глаза Дуданы. — Джаба, помоги!.. — Стон перешел в отчаянный крик.— Спаси меня, Джаба!»

Но тут большие синие глаза внезапно умолкли, и в то же мгновение опаляюще-яркое пламя обожгло влажные губы Дуданы.

...— Паки и паки миром господу богу помолимся-я!— продолжал священник.

— Господи, поми-илуй! — басил дьякон.

— Спаси и помилуй и избави нас от всяческия напасти, господи, милостию твоею...

— А-ами-инь!

Священник пропустил тропари, и импровизированный хор возгласил: «Исайя, ликуй!..»

И Дудана все глубже погружалась в это жгучее сияние, влеклась к нему сама... словно хотела достичь истока этих испепеляющих лучей...

...Потом, лет через сорок, когда Самсону пришла пора выйти на пенсию, он не смог найти свидетельство о венчании — исчезла бесследно бумага, выданная вставшим на колеса богом. Тем, у кого была на иждивении жена, пенсия назначалась в большем размере. И вот Самсон, которому уже минуло семьдесят, подхватил под руку Фати и потащил ее в загс, расписываться. Уж и потешались над ним сослуживцы, то-то было смеху...

Дудана сбежала стремглав по лестнице, вылетела на улицу. Казалось, она вырвалась из горящего дома, охваченная пламенем, и в смятении, в ужасе мчится невесть куда, ища спасения...

Джаба очнулся, только когда автобус совсем опустел; он незаметно доехал до конечной остановки — площади Ленина. Было половина двенадцатого ночи. Пустынная улица внезапно заполнилась толпой зрителей, высыпавших из театра.

Вдруг Джаба заметил поодаль Ромула. Заложив руки в карманы, юноша брел нетвердой походкой по краю площади. «Подвыпил! — подумал Джаба. — Куда это он держит путь?» Его потянуло поболтать с Ромулом: быть может, узнать какие-нибудь новости. Не прошло и часа, как он расстался с Дуданой, и он уже тревожился, хотел что-нибудь услышать о ней.

Ромул остановился перед парфюмерным магазином, прислонился к дереву и посмотрел через площадь, на здание «Пассажа». На остановке такси выстроилась длинная очередь. Владельцы индивидуальных машин выжидающе замедляли ход перед усталыми от долгого стояния людьми. «Возьму машину, отвезу его домой», — подумал Джаба.

Он подошел поближе. Ему показалось, что Ромул плачет, так у того блестели глаза. «Куда он смотрит?» Джаба проследил за взглядом юноши, и вдруг сердце у него заколотилось. Это невозможно, невероятно, наверно, это мерещится ему! Над зданием «Пассажа» вспыхнули изогнутые зеленые нити световой рекламы; на фоне темного неба возник профиль Дуданы. Потом в руках у Дуданы появился желтый флакон — очевидно, с

духами. Дудана долго нюхала его, томно опустив ресницы; потом все исчезло.

— Ромул!

Юноша вздрогнул, словно его застигли на месте преступления, и вскинул на Джабу испуганный взгляд.

— Здравствуй, Ромул!

— Извините, не узнаю́! — усмехнулся юноша, видимо успокоившись. — Нет, не узнаю́. — Он многозначительно хихикнул, как бы говоря: в этом нет ничего удивительного. — Я, кажется, немного пьян.

— Ромул, я Джаба... Помнишь — ты еще писал натюрморт?

Ромул посмотрел в сторону, потом быстро повернул голову к Джабе:

— Натюрморт? Тот, что съел мой отец? Помню.

— Вот именно... — Джаба засмеялся. — Ты куда — домой? — Он сделал вид, что хочет только заполучить попутчика.

— Нет! — Ромул пошатнулся, ухватился за дерево, чтобы удержать равновесие. — Пока еще не домой.

— Хороший вечер! — Джаба посмотрел на небо.— Как поживает твой отец?

— Отец? Какой отец?

— Твой. Уважаемый Бенедикт.

— Уважаемый? В первый раз слышу! — сказал со смешком Ромул.

— Ромул, так не следует говорить об отце!

— Об отце Горио...

— При чем тут Горио?.. Идем, Ромул, нам по пути.

— Горио ни при чем? В нем-то и все дело! Все дела. Ин-те-ресные дела... Если заглянуть внутрь...

— Пойдем, уже поздно! — Джаба не вдумывался в смысл пьяной болтовни Ромула, так как в эту самую минуту перед его глазами снова вспыхнул над зданием «Пассажа» зеленый профиль Дуданы; в руках у нее появился желтый флакон, Дудана, казалось, наклонилась к нему, понюхала.

— Не понимаете? И я сначала не понимал...— продолжал Ромул, покачиваясь. — А сейчас я твердо знаю, что в «Отце Горио»... внутри, между страницами... лежат сторублевки, сторублевки, сторублевки... Да, он из Бальзака при вас не цитировал?

Джаба сразу все понял.

— Ну как же, цитировал.

— Во всех двадцати четырех томах, откройте любую страницу... Всюду сторублевки, сторублевки! Впрочем, я вру, я мерзко вру — местами попадаются и пятидесятирублевки... Как же, я вас прекрасно помню. Мы и у Дуданы встречались. — Ромул бросил украдкой взгляд на зеленую рекламу, потом с подчеркнутым безразличием повернулся к «Пассажу» спиной. — Теперь настала очередь Диккенса,— лицо его выразило отвращение, — знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса. Теперь уже в Диккенсе будет дело... будут дела... Внутри Чарльза Диккенса, — он вдруг прыснул, отрывисто расхохотался. — Если узнает... убьет!

— Кто? — спросил Джаба с невинным видом.

— Никто... Я просто так. Зато он каждую строчку наизусть... Надо же, считая деньги, иной раз и передохнуть! Нельзя ведь все считать, пока дух из тебя вон! Остановится, проглядит строчку, другую и снова за счет. Если бы люди всегда считали таким манером... Возникла бы великая цивилизация... Величайшая цивилизация...

— Я ничего не понимаю, Ромул!

— И не нужно! Это все бред... Я болтаю вздор...— Он вдруг переменил тон:— Посмотрите, в чем я хожу!— Он вывернул полы заношенного пиджака. — Есть у вас сигареты?

Джаба достал из кармана пачку.

— Моего младшего брата...

— Помню его,— улыбнулся Джаба.

— Разве вы его знаете?

— Видел у вас, за обедом.

— Моего младшего брата зовут Рем. Смешно, правда? Ромул и Рем. Как это случилось, я не помню, — знаю только, что мы очутились в волчьем логове и кормимся волчьим молоком...

Джаба положил юноше руку на плечо, притянул его к себе.

— Зато ты потом уйдешь, Ромул, и основешь великий город, новый, победоносный город!

— Не смейтесь! Хватит с меня моего смешного имени!

— Я и не думал над тобой смеяться! Я верю в это.

— Правда, верите? Почему же именно город?

— Так говорит история.

— Сейчас не история. Сейчас просто осенняя ночь...— Ромул искоса глянул на «Пассаж»; у Дуданы еще не было в руках желтого флакона. Вот он вспыхнул, Дудана наклонилась, понюхала. Исчезла.

Ромула словно пригнетала к земле тяжесть собственного тела; он казался теперь совсем пьяным — ссутулясь, бессильно свесив руки, он пошатывался, переминался с ноги на ногу и смотрел в землю — точно собирался схватиться с ней врукопашную.

— Люблю, люблю Дудану! О, как я ее люблю,- сказал он неожиданно.

— Кого? — У Джабы кровь похолодела в жилах.

— Дудану...

— Знаю, — холодно сказал Джаба.

— Неправда! Этого никто, никто не знает.

— Знаю,— Джаба обернулся.— Я видел, как ты смотрел на эту рекламу,— в это мгновение как раз погас зеленый профиль Дуданы,— и догадался, что ты ее любишь.— Джаба был изумлен собственным спокойствием.

— Так вы догадались, батоно Джаба! Правда, догадались? Как я ее люблю, о, как я ее люблю... — Ромул закрыл лицо обеими руками.

— А Дудана знает об этом?

— Вы разве знакомы с Дуданой?

— Ты же сам сказал, что встречал меня у Дуданы.

— Да, да, верно... Батоно Джаба, имею ведь я право любить Дудану? Имею я право или нет?

— Дудана знает?

— Не знает! И не достойна знать! — внезапно рассердился Ромул.

— Почему? Чем она провинилась?

— Не достойна, не достойна!..— В голосе Ромула прозвучали слезы. — Потому что она очень хорошая, очень, о-чень... — Ромул умолк и прислонился всей тяжестью к витрине комиссионного магазина; Джаба подставил руку, чтобы он не проломил зеркального стекла. — Это по моему эскизу, — он показал пальцем на световую рекламу.— Теперь ее распространят всюду, по всей Грузии!

Джаба посмотрел на «Пассаж». Разговаривая, они незаметно отошли от места, где стояли, и теперь профиль Дуданы был наполовину заслонен домами — виднелись только лоб и волосы.

— Я сразу понял... Ты ведь художник и работаешь в рекламном ателье. Не трудно было понять. — Джаба чувствовал, как стучит кровь у него в висках.

— Батоно Джаба, правда, нет другой такой девушки, как Дудана?

— Думаю, что нет... Во всяком случае, я не встречал.

— В самом деле не встречали. И я тоже не встречал... Батоно Джаба...

— Не говори мне «батоно».

— Батоно Джаба... Уважаемый Джаба... Вы не знаете, какая она чудесная... красивая... Вы не знаете, не знаете, никто не знает!

— Я знаю.

— Не хочу Дуданы, не нужна мне Дудана, она у меня дома под замком!

«Рисунки!» — мелькнуло у Джабы.

— Но если кто-нибудь посмеет влюбиться в нее, если кто-нибудь прикоснется к ней... Убью, в землю затопчу! Разве я не прав, батоно Джаба?

Если бы не этот внезапный взрыв, быть может, Джаба ничего и не сказал бы. Но это уж было слишком. Это было унизительно — его словно ударили по лицу, словно и впрямь втоптали в землю.

— Слушай, Ромул...

— Разве я неправ? Разве...

— Я люблю Дудану.

Выражение лица Ромула изменилось не сразу. Он словно все еще спрашивал Джабу: «Разве я неправ? Неправ?», словно отказывался осознать слышанное, но не сумел отмахнуться от признания Джабы, впустил его в сознание; у него как бы вдруг открылись глаза — и рука сама собой сжалась в кулак.

Удар пришелся по адамову яблоку; у Джабы перехватило дыхание, он закашлялся. Воображение, распаленное нестерпимой болью, рисовало одну за другой картины «избиения до смерти» этого «негодного мальчишки»: Ромул с разбитой в кровь физиономией, Ро-

мул со стиснутым пальцами Джабы горлом, полупридушенный, еле хрипящий, — но разум отверг все эти картины. Джаба схватил юношу за лацканы пиджака и притянул его вплотную к себе так, что тот едва мог пошевелиться.

— Убирайся! Отстань! Прочь от меня! — хрипел Ромул и весь извивался, пытаясь выскользнуть из рук Джабы.

Джаба оттолкнул его с силой — Ромул ударился о каменную стену, упал. Поднявшись, он даже не взглянул на Джабу, отвернулся и побрел к площади. Поравнявшись с «Пассажем», он остановился и посмотрел наверх. Но его так шатало, что казалось, он продолжает идти.

Уличные фонари были уже погашены, здание тонуло в сумраке. Обольстительный профиль Дуданы висел в небе — словно новое созвездие, образованное слетевшимися отовсюду и слившимися в сплошные линии зелеными звездами.

Джаба увидел, как затряслись плечи Ромула. Безотчетное чувство толкнуло его к юноше.

Ромул стоял, прислонившись лбом к стволу дерева, обхватив голову руками, и, всхлипывая, отрывисто бормотал:

— Какой я дурак... какой дурак... Зачем я тебя ударил? Ты любишь Дудану? Ну и что же — зачем я тебя ударил? Она такая хорошая... Дудана... Такая хорошая...

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРА

«Дорогой Джаба!

Предупреждаю: то, что я собираюсь тебе написать, либо очень важно, либо глупо до крайности. Я еще сам не знаю, серьезно все это или мне в голову приходит всякий вздор. Здесь никто не может ответить на этот вопрос — только один человек способен разрешить мои сомнения, но его я не стану спрашивать.

Заранее прошу тебя: не сердись и не думай, что я попросту обрадовался случаю сунуть нос не в свое дело.

Ты, наверно, ждал, что мы скоро вернемся. И недоумевал — уехали на несколько дней, чтобы выбрать место для съемок, и так задержались! А потом, когда за нами поехала и Дудана, должно быть, совсем сбился с

толку, заподозрил, уж не морочат ли тебя друзья, и терялся в догадках: зачем нам мог понадобиться этот обман?

Но дело в том, что мы с Гурамом и не думали тебя обманывать. Когда мы приехали сюда (потом, при встрече, я опишу тебе здешние места), нежданно-негаданно настала такая теплая, солнечная погода, что Гурам решил вызвать из Тбилиси съемочную группу и приступить к работе. Ты понимаешь — если и дальше будут стоять такие погожие дни, мы можем покончить с натурными съемками уже в этом году и останется только отснять в Тбилиси павильоны. В противном случае пришлось бы отложить натуру до будущего лета.

Сейчас мне захотелось разорвать этот листок и вообще не писать тебе, ни о чем не рассказывать — так мне это трудно. Но я должен тебе написать, быть может, это большая бестактность, быть может, я поступаю дурно и в конце концов рассорю близких друзей, но я *должен* тебе написать.

Джаба, я не знаю, насколько тебе дорога Дудана. Ты не говорил мне об этом. Возможно, и не хотел говорить. Но я помню твои глаза, полные печали, твои глаза, полные тревоги, твои глаза, полные восхищения, когда ты, во время твоей болезни, смотрел на Дудану, впервые пришедшую к тебе, в твою комнату. Помню, как ты яростно напустился на Гурама, когда он позволил себе в присутствии Дуданы вольные выражения. А там, в подвале у старика суфлера, помнишь, ты его чуть было даже не ударил — помнишь? Таким разгневанным, мечущим громы я никогда тебя не видел раньше. И я подумал, что мой добрый друг, мой Джаба, пожалуй, не на шутку влюблен. Многое еще вспоминается мне, но сейчас не время об этом. Словом, у меня есть все основания полагать, что Дудана тебе небезразлична. Тем более оснований у Гурама — он ведь, наверно, помнит больше всяких деталей, он чаще присутствовал при твоих встречах с Дуданой.

Твоя «решительность» мне хорошо известна, знаю я, какой ты «смельчак», в особенности с девушками. Не только мне, не только Дудане, ты и самому себе, наверно, не признаешься в том, что любишь. Не признаешься потому, что любовь для тебя—нечто святое, не-

прикосновенное. Не думаю, чтобы тот, давешний тоскливый огонь в твоих глазах был зажжен просто видом хорошенькой девушки.

Я не оговариваю Гурама перед тобой. Даже если бы ты не был знаком с Дуданой, даже если бы ты никогда ее в глаза не видел, я все равно написал бы тебе это письмо, так скверно, так некрасиво ведет себя твой друг.

Думаю, ты не забыл, по каким соображениям решил Гурам поручить Дудане главную роль в фильме. Он высказывал в беседе с нами свои взгляды — ты их, наверно, помнишь. Вероятно, не забыл ты и содержания моего сценария. Дудана не актриса, говорил мне Гурам, но ее наивность, ее доверчивость, ее легкий, уступчивый нрав, ее необычайная, мягкая женственность и, одновременно, ее сексуальная инфантильность (вдумайся, чего стоит одно только это выражение!) отражаются, как в зеркале, в характере героини сценария. И поэтому, утверждал Гурам, достаточно, чтобы Дудана играла самое себя, и мы можем считать, что нашли для заглавной роли все равно что опытнейшую актрису. Я знаю, он и тебе говорил все это, говорил не раз, и не два, и наконец в силу многократных повторений эта пресловутая наивность и доверчивость Дуданы так засела у него в голове, что... Не знаю, как тебе сказать... В самом сознании Гурама, в его психике помимо его воли произошло некое изменение, сработала какая-то обратная связь, его подсознательная логика, подобно вычислительной машине, вынесла определенное решение — такая программа в нее не была заложена, но анализ фактов подсказал машине совершенно новую задачу и возможности ее решения... И вот, машина действует, на глазах у меня решает эту задачу — и я не имею права ее выключить или разнести вдребезги.

Я чувствую себя доносчиком, мне стыдно, но как я взгляну тебе в глаза потом, при встрече, если скрою сейчас все это? Гурам как будто совсем потерял представление о действительности. Он не помнит, кто такие он сам и его друзья, забыл, что живет среди людей,— словно все население земного шара состоит из него и Дуданы. Я убежден, что у него не было никакого заранее обдуманного замысла, что он не составлял наперед никаких коварных планов. Он действует бессознательно

или подсознательно. Но в результате получается так, как будто у него были и заранее обдуманный замысел, и хитроумно составленный план.

Гурам совершенно правильно понял и оценил характер Дуданы. Верно, что Дудана ребенок, наивное дитя; она ничего не понимает в житейских делах, ее может обвести вокруг пальца каждый. Но в то же время она женщина, красивая, очаровательная женщина. И, если мне не изменяет чутье, у Гурама возникло безотчетное желание, своего рода педагогическая мания: познакомить Дудану с радостями любви.

И Гурам начал сам играть роль инженера из сценария — только не перед камерой, а в жизни. И с той разницей, что герой фильма забывает свои нечистые замыслы, как только видит, что девушка доверчиво отдается в его руки, не ожидая ничего дурного, как только убеждается, что она по самой своей природе верит в существование лишь доброго начала в людях. Побежденный, обезоруженный этой детски-невинной чистотой, герой без памяти влюбляется в героиню. В этом и заключается мысль сценария: высокая душевная красота отметает грязь, разоружает зло. А с Гурамом получилось как раз наоборот: именно эти возвышенные качества женской души, с которой ему пришлось иметь дело, натолкнули его на грязные помыслы. Мысль о том, что всякий легко может обмануть Дудану, завладела им полностью — и он решил сам стать таким обманщиком. Каждый вечер, после съемок...»

Кто-то постучал снаружи в дверь фотолаборатории. Прежде чем вскочить на ноги, Джаба успел прочесть еще несколько слов: «...как только закатится солнце, они исчезают...»

Джаба торопливо запихнул письмо в карман. Зажег красный свет, погасил белый. Потянулся за высохшей свежепроявленной пленкой, снял ее с проволоки. Стук повторился.

— Кто там?

— Открой. Это я.

В лабораторию скользнул Ангия. Маленькие его глазки словно иголками обкололи все темные углы комнаты.

— Что ты сидишь взаперти?

— Я всегда, работая, запираю дверь, батоно Ангия, чтобы кто-нибудь нечаянно не засветил мне фотоматериалы.

Сердце в нем вдруг встрепенулось; только сейчас, в эту минуту, понял он, что хотел сказать Нодар.

Письмо от Нодара было для Джабы неожиданностью, хотя когда-то, в давние школьные годы, они во время каникул писали друг другу через день. И сейчас Джаба накинулся на письмо товарища, как измученный жаждой человек на воду. Читая, он вспоминал самое первое письмо, полученное от Нодара, — на восьми страницах. В ту пору их письма были заполнены в основном новыми анекдотами, содержанием прочитанных книг и пересказом виденных кинофильмов.

В том первом, детском письме Нодар писал о Людовике Тринадцатом; где-то он прочел о том, как строго воспитывал французского наследного принца отец его Генрих Четвертый. Людовику было всего два года, когда его высекли в первый раз. И впоследствии за каждую шалость, за любое проявление детского упрямства его наказывали розгами. После смерти Генриха Четвертого малолетний принц взошел на трон, но при дворе продолжали придерживаться раз заведенного обычая и без стеснения подвергали порке юного венценосца...

И вот — последнее письмо Нодара; Джаба не сразу вник в его содержание, не сразу схватил главное в нем, лишь сейчас, в эту минуту, внезапно пронизало его ощущение, что в письме содержится какая-то чудовищная, безобразная нелепица... Понемногу смысл письма становился ему все яснее. Далекий, зловещий голос слышался все ближе, капля за каплей вливался яд в его душу, и каждая капля была быстрее, стремительнее и тяжелее предыдущей.

Джаба вдруг вспомнил Виталия — как он стоял здесь, в этой фотолаборатории, как рассматривал снимки, только что напечатанные Джабой, потом уложил их в свой портфель... Унес...

Одна капля догнала другую, другая — третью, они слились в тонкую струйку яда, потом струя превратилась в ручей, речка вздулась, и вся эта ядовитая муть

затопила душу, закружилась водоворотом — воронка втянула письмо Нодара, увезенные Виталием фотографии, они исчезли в глубине и всплыли потом поодаль, замаранные, обросшие тиной... А поток все прибывал, вливался в самую середину омута с грозным гулом...

Джаба поднял голову. Ангии не было в лаборатории.

Он запер дверь. И как бы повернул ключ также и в мозгу, наглухо запер все мысли, кроме одной — о письме. Тут же, у дверей, он вновь развернул листок и вновь впился глазами в первые строки. Это была попытка обмануть себя — будто он еще ничего не знает, будто при первом чтении он еще ничего не понял. Но теперь уже каждое слово в отдельности кричало ему в самое ухо, буквы, вскинув руки, беспокойно подскакивали на месте, звали Джабу, предупреждали его о чем-то страшном, остерегали, сочувствовали ему. И каждая точка, казалось, завершала собой не очередное предложение, а некую прекрасную мечту.

Прочитав еще раз то, что уже было прочитано, Джаба сел и почему-то погасил свет — так его уединение, казалось, было полней. Он поднес письмо к красному фонарю. Глаз постепенно привыкал к слабому освещению, и на бумаге понемногу вырисовывались слова.

«...Каждый вечер, после съемок, как только закатится солнце, они исчезают. Правление колхоза предоставило нам, съемочной группе, старое школьное здание. Мы с Гурамом живем вместе в одной комнате. Мне обычно не удается заснуть до его возвращения. Он раздевается и ложится в постель, не зажигая света. И мне кажется, что не зря, — боится, как бы я чего-нибудь не заметил по его лицу.

Иногда я думаю — может, мне все это мерещится? Может, я слишком предан тебе и от этого раздуваю в целую историю безобидные вещи? Может, я смотрю на горы с слишком далекого расстояния, и они кажутся мне пустынными и некрасивыми, а на самом деле они покрыты густыми лесами, в лесах журчат родники и сладко поют птицы? Иными словами, может, Гу-

рам любит Дудану, любит больше, чем самого себя, — вот что я хочу сказать.

Прерываю письмо на минуту.

Я увидел через окно Гурама и Дудану — они появились во дворе. Я испугался, как бы Гурам не зашел в комнату, спрятал письмо под разбросанными по столу листами сценария и сделал вид, что работаю. Но они не вошли в дом, а расположились на скамье против моего окна и заговорили со школьным сторожем. Сегодня пасмурно, съемок нет, мы все свободны. Дудана в белом свитере, на плечах у нее накинут пиджак Гурама. Гурам поднимает с земли желтый лист платана, кладет его себе на кулак и бьет сверху ладонью другой руки. Лист лопается с громким звуком. Дудана слушает старика сторожа и время от времени кивает, как бы поддакивая. Я написал «поддакивая», и вдруг это слово показалось мне некрасивым, грубым — даже захотелось зачеркнуть...

Когда Дудана двигается, вся ее стройная фигура, ее изящная голова, ее длинные руки от плеч до кончиков тонких пальцев становятся вдвое красивей — так хорошеет под ветром густолиственное дерево. Ты знаешь это ее движение — когда она поднимает руки к голове и поправляет себе волосы? Следил ли ты когда-нибудь в такую минуту за ее пальцами, как бы ищущими что-то?

Гурам опять положил на кулак желтый лист и хлопнул по нему ладонью. Дудана вздрогнула, обернулась к нему, что-то говорит — должно быть, бранит его за то, что напугал ее. Гурам смеется, довольный собой, наклоняется, поднимает с земли еще один лист...

Как мне хочется отодрать его сейчас за уши! Только чтобы он при этом понял, за что его наказывают.

Джаба!

Дудана заметила меня и показывает знаком, чтобы я спустился во двор. Посмотрела на мое окно, почувствовав, что я пишу о ней? Так или иначе, я должен выйти. Так что извини — вообще извини за все.

Я собирался вернуться в город, но, подумав, остался здесь. Мне кажется, что мое присутствие хоть немного связывает Гурама. Скоро он сам собирается в город — отснятая пленка давно отправлена на студию,

наверно, уже и позитив изготовлен, надо его посмотреть. Я приеду вместе с Гурамом. Во всяком случае, ко дню твоего рождения постараюсь быть в Тбилиси.

Дудана машет мне рукой и зовет меня! Так странно мне слышать свое имя — точно это сочетание звуков и не имя вовсе!

Прости меня.

Твой Нодар».

ТАНЕЦ АНИТРЫ

— Лиана?! — Джаба выбегает в коридор навстречу первой гостье, обнимает ее за плечи, притягивает к себе.

Лиана приподнимается на цыпочки и целует Джабу в щеку.

— Поздравляю, Джаба!

С ее плаща стекает струйками вода; на полу обрисовывается мокрый круг. Потом Лиана делает шаг в сторону — и плащ начинает чертить новую окружность.

— Ты помнишь мой день рождения, Лиана? — Джаба потирает влажные руки, чтобы они скорее высохли.

— Помню.

— Заходите, пожалуйста! — доносится из комнаты голос Нино.

— Почему же ты не сказала мне в редакции?.. Ничего, заходи так, разденешься в комнате.

— Потому что ты сам ничего мне не сказал, — говорит с упреком Лиана.

— В редакции я никому не говорил, я и не собирался справлять свой день рождения.

— Войди, Лиана, войди, пол для того и существует, чтобы его пачкали, — встречает гостью Нино.

— Но мне позвонили: дескать, не отвертишься, все равно придем, так что готовься.

— Кто позвонил?

— Друзья. Вот-вот придут, мешкать нет времени. Мама тут наскоро что-то устроила.

— Великолепное угощение! — Лиана обходит вокруг стола и садится.

Нино видит мокрые следы ее туфель на полу.

— Ах, бедная девочка, да ты, кажется, и ноги промочила. Сейчас я найду тебе какую-нибудь обувь на смену! — И Нино заглядывает под никелированную кровать.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, мне ничего не нужно.

— Вот туфли... Для тебя, конечно, простоваты, но все же лучше не рисковать простудой.

— Большое спасибо.

— Что нового в редакции? — спрашивает Джаба. — Я сегодня ушел раньше времени.

— Да ничего... Письмо редактора ты видел?

— Нет! Пришло письмо?

— Я думала, ты знаешь.

— Что он пишет?

— Это просто открытка. Привет всем нам.

— А кому адресовано?

— Конечно, Ангии. Не мне же! На днях я так накричала на этого самого Ангию, что...

Джаба улыбается.

— За что накричала?

— Он этого заслуживал.

— А все же? Скажите, если не секрет.

— Я, говорит, посмотрел твою анкету, ты училась в музыкальной школе и исключена из шестого класса. Что ты такого, говорит, натворила, в четырнадцатилетнем возрасте? А сам так гадко улыбается...

— Насколько мне известно, ты два года лежала в гипсе.

— Да.

— И что же ты сказала Ангии?

— То, что сказала!

— Мама зовет из коридора:

— Джаба, гости пришли, встречай.

Первым всплывает из колодца витой лестницы Нодар. В каждой руке у него по две бутылки шампанского. Похоже, что он уже навеселе.

— Зачем это? — показывает на бутылки Джаба; они целуются.

— Смотри, чтобы они ничего не заметили! — говорил Джабе на ухо Нодар.

Нодар уже виделся с Джабой после возвращения

из экспедиции. С Гурамом и Дуданой Джаба еще не встречался. Женские каблуки равномерно, как часы, отстукивают на железных ступеньках оставшиеся до встречи секунды. Джаба растерян. Он не знает, как себя вести: устремиться навстречу с приветственным возгласом или оставаться на месте и хранить молчание. (Дудана подает ему руку, Дудана целует его, Дудана похудела, Дудана красит губы, Дудана забыла о Джабе, он для Дуданы ничего не значит. Ему все показалось... «Я должна скоро уйти», — говорит Дудана...)

Появляется Гурам. У него тоже по две бутылки шампанского в каждой руке.

— На лестнице мужчина должен идти впереди. Поздравляю! — Он целует Джабу. — Хотя ты этого не заслуживаешь. Почему не приехал?

За спиной у Гурама стоит Дудана. В эту минуту все ее внимание обращено на Джабу. В эту минуту белозубая, сверкающая улыбка Дуданы принадлежит только ему. В глубине зрачков Дуданы взрываются маленькие мины — и весь их жар и свет изливаются на него одного.

Она поздравляет Джабу с днем рождения и неловко сует ему в руку что-то твердое и плоское.

— Напрасно беспокоилась! — У Джабы пересыхает во рту, он машинально сует подарок в карман брюк и только потом догадывается, что это металлический портсигар.

— Какой роскошный стол! Ты больше никого не ждешь, Джаба?

— Никого. Давайте садиться.

Нино не сводит глаз с Дуданы. На лице у нее играет блаженная улыбка.

— Как вы сумели добраться сухими? — спрашивает она.

— Наверно, приехали на машине... Это Лиана, мы вместе работаем. Познакомьтесь! — говорит Джаба нетвердым голосом.

Нодар садится за пианино, откидывает крышку и наигрывает какую-то песенку.

— Вспоминаешь, Джаба? — спрашивает он, не оборачиваясь.

— Вспоминаю, только сейчас не время...

— Но я правильно играю?

— Даже сам автор пришел бы в изумление, — хихикает Гурам.

— Ты-то что понимаешь! — отмахивается от него Нодар.

— Что слышу, то и понимаю.

— Нодар очень музыкален, — объявляет Дудана. Нодара как бы обессиливает ее внимание. Он перестает играть и отходит от пианино.

Гурам, заложив руки в карманы, вытягивается с вызывающим видом перед Джабой и показывает взглядом на Дудану:

— Ты что не возвращаешь этой барышне ее жакет? Из-за меня она мерзла в деревне! Решил сохранить вещицу на память?

— Это неплохая мысль, — Джаба старается не раздражаться.

— Я и не помнила об этом жакете! — смеется Дудана.

Джаба замечает, как рождается и растет в глазах матери новая мысль — глаза расширяются, не вмещая нежданную радость. Нино виновато смотрит на сына, взглядом просит у него прощения.

— Ах, да, кстати, Джаба, новость... Какая новость!— восклицает Дудана. — Я совсем было забыла... Старик ожил, ты знаешь, пришел в себя! — Дудана подбегает к Джабе, останавливается перед ним с возбужденным видом, и, словно позабыв по пути все, что хотела сказать, молчит, растерянно ищет слова.

— Может, нам всем выйти? — говорит Гурам.

— Мой старик, Джаба, помнишь, больной, полумертвый старик... Ожил, понимаешь, воскрес! Хорошо, что я не ночевала там вчера, а то бы умерла со страху... Сегодня утром зашла к нему Лида, она всегда заходила к нему перед тем, как уйти в больницу... Ты помнишь Лиду, соседку? Так вот, она вошла и чуть не упала в обморок: старик ей улыбался... И даже засмеялся — не бойся, говорит, Лида, я жив. Лида выскочила с криком из комнаты, объявила всем соседям... Позвонили в больницу, приехали сразу два профессора и еще много врачей — сказали, что очень, очень

редкий случай. А потом предупредили всех соседей... Какая удивительная история, правда, Джаба? Бедный старик! — На лбу, на щеках, вокруг глаз Дуданы появляются предательские морщины, она готова заплакать. — Предупредили всех, чтобы никто ничего не объяснял старику, врач сам ему все скажет. И теперь у нас дежурят врачи, чтобы никто не проболтался старику, он ведь не знает, что спал два месяца, и это может на него плохо подействовать. Бедняга думает, что заснул накануне вечером, сказал: «Хорошо, что вчера на похоронах нас не застиг дождь». У него умерла жена два месяца назад, тетя Нино, вечером после похорон это с ним и случилось... Представляешь себе, Джаба? Я так рада, так рада...

— Да, но почему ты мне не рассказала? — говорит с упреком Гурам.

— Я же говорю — забыла совсем... Да ты и не знал этого старика.

— А с Джабой старик имел честь быть знакомым?

— Об этом человеке я читал месяц тому назад в газетах, — вспоминает Нодар.

Джаба говорит на ухо Дудане:

— А знаешь, ведь этого старика вылечил дядя Бенедикт.

Он улыбается. Дудана смотрит на него с недоумением.

— Да, да, его воскресили ты и твои подруги. Ваше присутствие, ваш смех, песни... Уверяю тебя!

— Садитесь за стол, дети! За разговорами не мудрено и проголодаться.

— Давайте в самом деле за стол, а то Нодар уже все подчистил, — Гурам садится первый. — Кто поменьше ростом — с той стороны, а кто повыше — со мной, чтобы во время тостов, вставая с места, не стукаться о потолок.

Но все уже заняли места — справа от Гурама Лиана, слева Джаба, против них Нодар и Дудана.

— Нас так мало? — разводит руками Гурам. — А галдеж был такой, что я думал... — Он поворачивается к Лиане: — Извините, пожалуйста, к вам это не относится.

Тамадой избирают Гурама. Он встает и осушает большой стакан «за друга детства». Желает ему больше смелости, дерзания на поприще журналистики, хвалит его первое художественное произведение и обещает «воплотить в кино эту прелестную сказку»; при этом он то и дело посматривает в сторону Дуданы. Торжественным тоном увещевает он Джабу: мы должны заботливо относиться к нашей дружбе, любить нашу взаимную любовь, а не то она незаметно уйдет, исчезнет, покинет нас.

Потом поднимается Нодар.

— Джаба, помнишь дядю Никалу? Помнишь, что он нам говорил? Ну, так вот — пусть будет по его слову. — Нодар осушает стакан до самого дна, лицо у него очень серьезное.

— Что за усердие! — смеется Гурам. — Оставь в стакане хоть столько, чтобы ангел в нем ноги омыл.

— Который из ангелов?

— Все равно.

— Ах, все равно?

— Джаба, живи долго и счастливо, — говорит Дудана. — И снимай меня почаще, много раз. Знаешь, Джаба, я по тебе соскучилась, — на щеках у Дуданы загорается и медленно гаснет тусклый румянец.

— И я по тебе очень соскучился, Дудана.

— Ого, тут выясняются интересные вещи... Ну-ка, второй стакан, скорей, и мы узнаем все до конца!— Веселость Гурама кажется даже чрезмерной.

Нет ничего драгоценнее жизни, — думает Джаба. Ведь он не мог бы услышать эти слова, если бы не родился на свет! Какая простая, элементарная — и какая великая истина! Словно вдруг распахнули множество невидимых окон и в застывшую душу ворвался чистый воздух, теплый и мягкий — и Джаба сразу почувствовал удивительную легкость... Воздушная волна подхватила его, и он всплыл, как прозрачный шар. Смехотворными кажутся ему письмо Нодара и его фантастические подозрения!

Лиана не сводит глаз с Дуданы. Она почему-то погрустнела.

— Джаба, будь здоров, желаю счастья... Я бы и

дня не оставалась в редакции, не будь там тебя... и нашего редактора, Георгия.

— Спасибо тебе, Лиана, спасибо, уважаемый тамада, спасибо, Дудана, спасибо, Нодар.

Нино подносит бокал к губам:

— Будь здоров, сынок.

— Какая у тебя красивая мама, Джаба, — говорит Дудана и улыбается Нино.

— Какая уж красота в мои годы — вон, у Джабы пробивается седина!

Нино подходит к шкафу, выдвигает ящик, роется в нем, находит искомое.

— Вот, детка, какой я была в вашем возрасте, — и кладет перед Дуданой фотографию.

— Ах, какая красавица! — Дудана прижимает ладони к щекам.

На фотографии — овальной и чуть пожелтелой — ослепительно лучится лицо молоденькой восемнадцати-девятнадцатилетней девушки; широкополая соломенная шляпа бросает косую тень на лоб и глаза. Нечто давнее, ныне исчезнувшее, нечто преходящее, но вечное запечатлено на фотобумаге.

— В ту пору приехал в город какой-то шляпочник-итальянец, — застенчиво улыбается Нино. — Попалась я ему где-то на глаза, а он в это время оборудовал рекламу для своей мастерской. Так вот, он пришел к моему отцу и попросил...

«Соперничает с Дуданой», — улыбается в душе Джаба.

Портрет переходит из рук в руки.

— Равной по красоте девушки я сегодня в Тбилиси не знаю, — объявляет Гурам. — Тетя Нино, вы и сейчас лучше всех! — Он встает и раскидывает руки.— За тетю Нино, за святую Нино, за просветительницу Джабы и его друзей... Тетя Нино, всякий раз, как я вспоминаю вас — без бокала в руке, без вина, — всякий раз я благословляю вас и желаю вам счастья... А я часто вспоминаю вас, тетя Нино. Рано вы овдовели и измучились в этой комнате, я знаю, но вот уже и Джаба стал на ноги, он что-нибудь устроит, будет лелеять вашу старость, невестку вам приведет... А то —

разразится новая тайна, и останется много пустых домов, — смеется Гурам.

— Какое филигранное остроумие! — качает головой Нодар. — Любой англичанин умер бы от зависти!

— Не дай бог, сынок, чтобы остались домá и не стало людей! Нет, мы с Джабой уж лучше так перебьемся.

— Кстати, я совсем забыл, — Гурам ставит стакан на стол. — Вы знаете, что империалисты напали на Египет?

— Когда?

— Я слышал по радио, как раз, когда собирался сюда. Бомбили Каир, Порт-Саид, Суэц...

Джаба быстро встает и включает репродуктор.

Из репродуктора несется звенящая мелодия военного марша. Торжественные аккорды рассекают песчаную бурю в пустыне; вой ветра не в силах заглушить музыку.

— «Аида»! — говорит Лиана.

— Похоже, что в самом деле напали, — качает головой Джаба и возвращается к столу.

— Музыке веришь, а мне нет? — оскорбляется Гурам.

— Ничего удивительного, — успокаивает его Нодар.

— Очень тебя прошу, выключи.

— Пусть играет — от тамады мы ничего лучшего не услышим, — продолжает язвить Нодар.

— От тамады вы только что слышали тост за тетю Нино. Прошу поддержать.

Нодар встает.

— Этого можно было ожидать, — говорит Джаба.— Наши газеты предчувствовали это. То высадили войска на Кипре. То печатают оккупационные деньги. То перекрашивают танки под цвет пустыни...

— А заодно с танками и собственные сердца, — подхватывает Нодар, — чтобы замыслы их гармонировали с нубийскими песками. За ваше здоровье, тетя Нино.

Звуки оркестра похожи на гром, закутанный в бархат. Египетский царь Рамфис призывает воинов к мщению. Богиня Изида назвала жрецам имя угодного ей полководца — это Радамес. Тот возносит благодар-

ность богам: исполнилась его мечта. Войска приносят клятву: «Грудью защитим священные берега Нила». Джаба вспоминает: на сцене тбилисской оперы в это мгновение обычно освещается прозрачный задник — и перед глазами зрителей открывается равнина с пирамидами, полная воинов-копьеносцев.

Джаба не слышит, что говорит Нодар и все остальные. Ему кажется, что музыка звучит над всей египетской землей. Огромный репродуктор, величиной с целый небосвод, висит над Египтом. Джаба — там, около репродуктора, он управляет звуком, постепенно усиливает его, и незримые волны музыки повергают на землю вражеские самолеты. Египтяне поражены искусством Джабы.

Грохот грома — не музыкального, а настоящего — рассеивает его грезы. Мама стоит на стуле с тряпкой в руках и затыкает щели в оконном переплете, через которые капает вода.

— Я был сегодня в Рустави — светило яркое солнце. А в Тбилиси, оказывается, в это время шел дождь, — говорит Нодар.

— Облака еще не знают, что там построен новый город, — улыбается Дудана.

Сверкает молния. Водяная пленка снаружи на оконных стеклах на мгновение вспыхивает белым пламенем. Гром катится по небесной крыше, как бы ища отверстия, чтобы низвергнуться на землю.

— Что за напасть! — говорит Нино. — Столько лет живу на свете, а такого весеннего грома в октябре никогда не слыхала!

— Не только вы, тетя Нино, но и я не упомню, — пытается острить Гурам.

— Именно в октябре, как известно, разразился самый сильный весенний гром в мировой истории, — застенчиво улыбается Лиана.

— Неплохое сравнение для начинающего журналиста... Пользуюсь случаем и поднимаю бокал за ваше здоровье.

— Я не журналист.

— Тем более... Нодар, Дудана, за здоровье Лианы, нашего нового друга. Поблагодарим Джабу за ваше знакомство с нею. Кстати, Джаба, ты меня еще не по-

благодарил, а я ведь познакомил тебя с Дуданой.

— Ты нас познакомил? — говорит Дудана язвительно. — Да мы гораздо раньше встретились на маскараде.

Гурам на мгновение задумывается — по лицу его пробегает тень.

— Джаба... Так это с Дуданы ты сорвал маску? Это она так безутешно рыдала? — И он указывает пальцем на Дудану.

— Сорвал маску? С кого, Джаба? — изумляется Дудана.

— Пока ни с кого...

— Как это — ни с кого? Сам же рассказывал — вы были в полутемном подъезде, и девушка расплакалась... Если это была Дудана... Дудана, это была ты?

— Джаба, ты правда сорвал с кого-то маску,— Дудана смотрит в лицо попеременно то Джабе, то Гураму, — или вы меня разыгрываете?

— Вздор, чепуха! Но кое с кого я сорву маску рано или поздно, — Джаба бросает быстрый взгляд на Нодара и опускает голову.

— С кого же это, интересно узнать? — Это голос Гурама.

— С одного близкого мне человека...

— И что же скрывает один твой близкий человек под своей маской?

— Лживое сердце, а может быть, и предательство.

В комнате воцаряется молчание.

— А что нарисовано на маске?

— О, это старое, избитое, фальшивое художество: дружба, любовь, беззаветная преданность...

— Может, ошибаешься? Насколько я помню, ты не очень разбираешься в изобразительных искусствах,— Гурам начинает злиться.

— Верно. И сейчас учусь — чтобы получше разбираться.

— Ты никогда не научишься. Лучше поверь мне: эта маска — настоящее, великое искусство.

— Дай бог, но...

— Но что?!

— Маска остается маской.

Дудана старательно крошит кожицу мандарина на тарелке.

— Может, у тебя самого, Джаба, лицо закрыто маской, да притом еще ты забыл вырезать отверстия для глаз?

— Надоели вы с вашими масками! — кричит Нодар. — Тост объявлен, пьете, так пейте — чем эта бедная девушка виновата?

— Правильно, пьем, и будем пить, чем Лиана виновата? За ваше здоровье, Лиана, милая, будьте счастливы, — Гурам поднимает высоко бокал.— Благодарю Джабу за то, что он познакомил нас... Но и ты, Джаба, поблагодари меня за то, что я познакомил тебя с Дуданой.

— Гурам! — восклицание Дуданы раздается, как звук пощечины, она вскакивает. — Если ты не перестанешь, я уйду.

Нодар сует стакан в руку Дудане:

— Когда произносишь тост, да еще стоя, надо держать бокал в руке.

Дудана садится.

— «Второе действие. Покой Амнерис, — доносится из репродуктора. — Рабыни украшают египетскую царевну драгоценностями. Входит Аида. Мучительное подозрение с новой силой овладевает царевной Амнерис — неужели Аида тоже любит Радамеса? Сейчас она испытает ее и, быть может, добьется признания».

Входит Нино, по пути выключает репродуктор. Радио умолкает.

— Мама, хлеб!

— Чего вы все молчите? — останавливается вдруг Нино.

— Гурам обдумывает новый тост и просил не мешать ему, — говорит Нодар.

— Я уже обдумал тост. За твое здоровье, Нодар.

— Постой, постой. Сначала дай нам выпить за Дудану.

— Поставь, пожалуйста, на стол, доченька, — Нино передает Дудане поднос с хлебом, потом кладет ей руки сзади на плечи и спрашивает: — На каком факультете учишься, милая?

— На биологическом.

— Она учится на факультете благотворительности и готовит реферат на тему: «Красивые глаза и их непроизвольное использование».

— Что с тобой сегодня, Гурам?

«Сегодня!»

— Не смейте обижать эту красавицу, я запрещаю!— говорит Нино и улыбается.

Все пьют за здоровье Нодара.

— Нодар, благодарственную!

— Уже выпил.

— До дна!

— Ты же сам сказал — надо оставить столько, чтобы ангел мог в чаше ноги омыть.

— Но не утопиться! Допей, допей до конца... Объявляю конкурс на лучший тост, — Гурам наполняет шампанским чайный стакан.

— Ну, ты, наверно, его уже обдумал!

— Обдумайте и вы.

— А какой будет приз победителю конкурса?

— Победитель получит право поцеловать, кого ему захочется.

— Я не согласна, — говорит Дудана.

— Почему ты думаешь, что победитель выберет именно тебя? — иронически говорит Гурам.

— А почему ты думаешь, что окажешься победителем? Может, я как раз и скажу самый лучший тост! Я не согласна, и Лиана тоже.

— Конкурс не состоится! — объявляет Нодар поспешно, точно боится, что ему припишут горячее желание победить в таком конкурсе.

— А из кого состояло бы жюри? — говорит Лиана. — Кто определил бы победителя?

— Тетя Нино, разумеется, — взмахивает рукой Гурам. — Ведь вы бы взялись быть судьей, правда, тетя Нино? И я уверен, что вы присудили бы первое место мне, потому что я сказал бы: друзья, за этим столом сидят две девушки и три парня, незамужние и неженатые. Да здравствуют те пять неизвестных, два парня и три девушки, которые станут нашими мужьями и женами, и да здравствует тот чудодейственный закон природы, в силу которого незнакомые между собой люди находят друг друга и вступают в вечный

союз. Вот что я собирался сказать — вы ведь присудили бы мне первое место, правда, тетя Нино?

— Как знать? Надо же было бы сначала выслушать и других!

— Ну-ка, Нодар!

— Если бы конкурс не сорвался, я сказал бы...

— Ты, брат, сам и сорвал конкурс!

— Дудана его сорвала... Я сказал бы: да здравствуют те минуты, когда мы думаем о счастье других, заботимся о других, и чем больше будет таких минут, тем счастливее будет мир. Ну, каково, тетя Нино?

— Прекрасно, мой мальчик! Джаба, теперь твоя очередь, не посрами!

Джаба немедленно начал:

— Если бы конкурс не сорвался, я сказал бы, что все это глупости, товарищи, и на что нам эти выдуманные конкурсы, когда вся наша жизнь и без того есть конкурс, грандиозный конкурс, жюри которого время и сама же жизнь, и добавил бы: да здравствует это мудрое и беспристрастное жюри, да здравствуют те праведные люди и высокие цели, которые одержат победу на этом конкурсе. И еще я мог бы сказать: да здравствует солнце, оно так удивительно точно чувствует расстояние и никогда не удаляется от земли настолько, чтобы земля оледенела. Давайте же будем, точно как солнце, чувствовать расстояние между собой.

— Тост Джабы самый лучший! — не может удержаться Дудана.

— Не жалеешь ли, что помешала конкурсу состояться? — вызывающе спрашивает ее Гурам.

— Нет... Не жалею, — Дудана быстро встает, идет к Джабе, наклоняется над ним и целует его в щеку.

— О, это уже своеволие, сорвала, восстановила, присудила...

Дудана смущается, краснеет, не знает, как поступить. В растерянности она наклоняется к Нодару и целует его тоже. Потом обходит вокруг стола и целует Гурама и Лиану.

— Справедливость как будто восстановлена, — говорит Нодар. — Но последние три премии имели целью лишь замаскировать первую и настоящую.

Улыбка скользит по губам Дуданы, но Джабе кажется, что Дудана с трудом сдерживает слезы.

«Поразительно! Что-то происходит, и я ничего не знаю, догадываюсь и стараюсь не догадаться... Как давно я не видел Дуданы! Если бы мы встретились наедине, быть может, она и дала бы мне понять... Или сказала бы напрямик, если ей есть что сказать. Мы так внезапно расстались в тот вечер... Как она мгновенно изменилась у меня на глазах... То был, наверно, первый ее поцелуй».

— А теперь за здоровье Лианы! Лиана...

— Но ведь уже пили за мое здоровье?!

«...Словно от этого поцелуя проснулся и заработал дремавший до того мотор в Дудане. Взмахнули невидимые крылья, но не было воздуха, чтобы оттолкнуться и взлететь. И Дудана убежала...»

— Почему больше никто не пришел из редакции, Джаба?

— Должно быть, не знали...

«Так это все было или я выдумываю? Что, если я сам всему причиной? У меня ведь тоже кружилась тогда голова».

— На портрете вам лет восемнадцать, тетя Нино?

— Семнадцать или восемнадцать.

— Значит, вы на этом фото моложе меня.

«Нет, так нельзя. Люблю я Дудану? Люблю, я знаю, что люблю. Что из этого следует? Я должен встать и сказать об этом прямо. Всем сказать. Что мне скрывать? Так и сделаю: встану и скажу. Но есть что-то непонятное, неуловимое... Порой оно, кажется, вот-вот сложится в мысль, мелькнет, но тут же исчезнет. Чем-то пугает меня Дудана, словно...»

— Джаба, что ты замолчал?

— Пей, друг!

— Джаба все еще думает о результатах конкурса.

«...Словно я невесть какой мудрец, прозревающий будущее, и словно я знаю, что женщина с таким голосом, такими глазами, таким телом... Обладательница этого голоса... Почему-то особенно голоса... через десять—пятнадцать лет превратится в другую, такую-то и такую-то женщину. И я больше не буду, не смогу ее любить. Почему так должно случиться? Нет, так не случится. Это

просто страх, и больше ничего. Страх перед ответственностью».

Молния заглядывает в комнату, как сияющий, расшалившийся ребенок, и, словно испугавшись чужих людей, мгновенно исчезает.

Слепящий свет прерывает течение мыслей Джабы и заставляет его зажмуриться.

— Вот это да! Хоть бы мы не были под самой крышей! — восклицает Гурам и, нагнув голову, обхватывает в ожидании грома затылок руками.

Раздается оглушительный грохот, могучие громовые раскаты, как бы предназначенные планете большего размера, чем Земля. Боязливая улыбка удивительно красит Дудану. Это — новое, еще ни разу не замеченное Джабой выражение ее лица.

— Эта трагедия разыгралась на высоте примерно тысячи метров! — говорит Нодар, глядя на часы на своем запястье.

— Но закончилась где-то на земле!

— Иначе она и не могла бы называться трагедией.

Джабе кажется, что оба они пьяны — и Нодар и Гурам. Джаба и сам захмелел. В голове у него шумит. Очень уж быстро пьют. И какие большие стаканы! Да нет, не кажется — они в самом деле пьяны: шампанское уже все выпито! Джаба встает и приносит коньяк.

— О-о, вот это я понимаю! — радуется Гурам. — А то мне становится грустно, когда я не вижу на небе звезд! — Он поднимает бутылку с коньяком над головой и смотрит на нее снизу, затенив глаза ладонью.

— Ну что, пасмурное небо? Какая нас ждет завтра погода?

— Самое большее, через полчаса прояснится, — Гурам постукивает пальцем по бутылке.

Нодар пододвигает стул к окну, становится на него.

— Хочу посмотреть на крыши при свете молнии.

— Если бы ты был хорошенькой девушкой...

Нодар прижимается лбом к оконному стеклу, отгораживается ладонями, как рамкой, от комнатного света. Между небом и землей протянулся бесчисленными серебряными струнами дождь — и все эти струны звенят на один голос; над мокрой блестящей жестью крыш зыблется прозрачное марево.

— Гроза поздней осенью, зима без снега... Все переменилось, — бормочет Нодар.

Сверкает молния. Нодар быстро подносит к глазам часы, смотрит на секундную стрелку, считает про себя:

— ...Шесть, семь, восемь, девять...

Раскаты грома сотрясают крышу.

— Это случилось немного подальше, товарищи, на высоте больше трех тысяч метров.

— А на этот раз с каким жанром мы имели дело?— спрашивает с насмешкой Гурам. — Трагедия это была или комедия?

— Буффонада.

— А по-моему, — Гурам показывает на стул, — это ваше новое слово в воздушной акробатике, господин клоун!

— Что вы говорите, господин опилки!

Дудана звонко смеется.

— Объявляю новый конкурс!

— Мама, дай маленькие рюмки!

— Объявляю новый конкурс, и на этот раз не позволю его сорвать.

— Ты тамада или шахматный журнал?

— Победителем будет тот, — Гурам не слушает Нодара, — кто предложит самый лучший и притом самый короткий тост за Дудану, — кто уложится в минимальное количество слов. Запомните: кому понадобится для этого меньше всего слов. Никакой награды, никакого приза, жюри — сама Дудана.

— Тост из одного слова допускается?

— Даже совсем без слов, если сумеешь.

— Тогда, позвольте я скажу! — поднимает палец, как ученик в классе, Нодар; он все еще стоит на стуле.

— Первым буду говорить я, а ты слезай и садись на место. — Гурам протянул руку через весь стол, стукнул стаканом о стакан Дуданы, как бы требуя ее внимания. Все слушают затаив дыхание. Гурам выжидает несколько мгновений, как опытный актер, потом начинает — чуть ли не после каждого слова он делает паузу, как если бы уже кончил говорить:— Твоя... божественная красота... Дудана... отняла у меня... дар речи... я не могу... сказать... ни одного слова.— Гурам садится, чрезвычайно довольный собой, всем своим видом пока-

зывая, что ожидает взрыва восторженных аплодисментов.

— Прекрасно! — оправдывая его ожидания, аплодирует Лиана.

— «Ни одного слова»! Но чтобы сказать это, тебе понадобилось шестнадцать слов, — заявляет протест Нодар.

— Попробуй уложиться в пятнадцать!

— Очередь за Лианой — что она все сидит и молчит?

— Кто, я? Но мне это очень трудно. Женщина не может сказать о женщине так, как...

— Будет принято во внимание!

— Не знаю, что и сказать, — Лиана подносит к губам фужер с лимонадом.

— Не пейте, сначала скажите тост.

— Я в тостах ничего не понимаю... Ладно, скажу: Дудана, завидую вашей красоте, потому что я женщина, и радуюсь, что вы так красивы, потому что и я женщина. Ух, сколько слов получилось!

— Победила Гурама! Явно победила! — кричит Нодар.

Сверкает молния. Нодар подносит часы к глазам, считает секунды.

— Гурама она, может, и победила, но меня вогнала в краску,— говорит зардевшаяся Дудана.

— Джаба, слушаем тебя. Или ты ничего не придумал?

— Раскаты грома.

— Три тысячи пятьсот метров, — после недолгого молчания объявляет Нодар, как спортивный комментатор на стадионе.— Джаба, извини меня...

— Сколько метров проходит звук за одну секунду?— спрашивает Нодара Гурам.

— Триста пятьдесят, насколько мне помнится.

— А я-то удивлялся!

— Чему?

— Тому, что так быстро распространяются сплетни...— Гурам намеренно обрывает фразу, чтобы вызвать следующий вопрос.

— Какие сплетни?

— А сплетникам работа — одно удовольствие: сболтнешь что-нибудь и сиди себе, ни о чем не заботься: са-

ма разойдется по всему городу,— в глазах у Гурама на мгновение загорается злость.

— Между прочим, вычислено, — Нодар наконец слезает со стула,— что правда распространяется с точно такой же скоростью.— Он садится за стол.

— Возможно. Но чтобы сказать правду, надо сначала знать ее.

— Наверно, знают, — шепчет Нодар так, чтобы было слышно Джабе; потом, спохватившись, что его мог слышать и Гурам, добавляет громко: — Быть может, знает правду тот, кто ее говорит?

— «Быть может»! — сардонически хихикает Гурам.— Точный синоним слова «правда». Ты часто употребляешь его в своих рассказах?

Джаба встает и включает радио, чтобы прекратить спор.

«...Как сообщает корреспондент агентства Юнайтед Пресс из Каира, произведено девять налетов на Каир, три на Александрию и по одному на Порт-Саид, Измаилию и Суэц...— слышится голос женщины-диктора.—Налеты произведены также на казармы египетской армии и на склад в дельте Нила... Разрушен Ферданский мост на Суэцком канале. В Александрии взрывом авиабомбы разрушена церковь...»

Все сразу умолкают. Комната словно вымерла.

Нодар машинально смотрит на свои часы; отяжелевшие от хмеля веки у него слипаются — он с трудом держит глаза раскрытыми.

— А эта трагедия, — шепчет он, качая головой, — разыгралась на расстоянии примерно трех миллионов метров...

Его шепот подчеркивает напряженное молчание. Гурам быстро встает и выключает радио.

— Не устраивай мне тут панихиды!

— Пусть Джаба предложит тост за Дудану, — еле слышно, точно напоминая самой себе, говорит Лиана.

— Пусть. Слушаем, Джаба.

— Я не могу...

— Как это так? — напускаются на него.

Джаба сопротивляется, не хочет говорить. Наконец уступает и встает. Нино настороженно слушает.

— Не знаю, что сказать Дудане в двух словах...

— Без предисловий!

— Когда Дудана уехала из Тбилиси, мне показалось, что в городе остались одни мужчины и на каждом шагу...

— Стоп! Ни слова больше...

— Очень хорошо!

— ...А то все испортишь.

Джаба покорно садится и вдруг вспоминает Тамилу. Улыбающееся лицо девушки встает перед его глазами — почему-то в рамке, как портрет. Видение то вспыхивает, как светлячок, то меркнет, затуманивается и наконец исчезает. Рамка остается пустой.

В городе оставалась Тамила!

— А теперь моя очередь, — не соразмерив голоса, кричит Нодар. — Внимание, я произношу тост в честь Дуданы. Прошу всех слушать и сосчитать, сколько мне для этого понадобится слов.

Нодар садится за пианино и играет известную оперную арию. Всем известна эта мелодия, — наверно, и слова тоже. Джаба напевает в душе: «Я вас люблю любовью нежной, без вас не мыслю дня прожить...» Вдруг он задумывается, всматривается в затылок Нодара, словно хочет взглядом проникнуть внутрь его черепа и прочесть, узнать все, что там скрывается. Потом переводит глаза на длинные, худые пальцы Нодара, вспоминает строки его письма...

Нодар обрывает мелодию на середине и встает.

— Мне кажется, победитель — я. Обошелся без единого слова.

— Нодар, не вставай, поиграй еще, — просит Дудана.

— Это был не тост, а объяснение в любви, — оспаривает победу, а заодно и обесценивает оригинальность соперника Гурам.

— Поиграйте, пожалуйста, Нодар, — присоединяется к просьбе Лиана.

— Что сыграть? — возвращается к пианино Нодар.

— Что хочешь.

— Нового я ничего не знаю. Все, что играю, выучил в детстве. Да и то больше подбирал на слух, — благосклонно соглашается на просьбы Нодар. — Вам сейчас хочется потанцевать, чарльстон и тому подобное... А я умею играть только вот этот танец, — и он начинает «Танец Анитры».

Дремучий лес, полный странных, чуждых звуков, встает перед Джабой — чуждый мир, полный чуждых людей, живущих по чуждым законам... Все странное, чуждое... Точно музыка эта создана во времена какой-то древней, погибшей цивилизации.

Нодар с трудом справляется с быстрой частью — неловкие пальцы не слушаются его, замедляют темп пьесы; но играет он точно. И вдруг Джаба передергивается от неприятного чувства — словно он услышал какое-то очень огорчительное известие. Он невольно приподнимается на стуле, собираясь окликнуть Нодара, и вдруг слышит тихий голос Лианы:

— Неверно! Это место неверно! — Лиана указывает пальцем на пианино.

— Маэстро!— говорит Гурам. — Тут говорят, что вы неправильно играете.

— Абсолютно правильно! — не оборачиваясь, отражает нападение Нодар и повторяет спорный отрывок. — Вот так. Ни одной ноты нельзя изменить.

— Не так! — Джаба подходит к пианино.

— Абсолютно правильно! — беззаботно повторяет Нодар.

Лиана пожимает плечами. Потом, в знак того, что это невозможно слушать, мотает головой и закрывает глаза.

— Подайте мне знак, когда он кончит, — сгущает ситуацию Гурам, закрывая ладонями уши.

— Я когда-то играла эту вещь, — с сожалением говорит Лиана.

— Вы играете? — спрашивает Дудана.

— Очень плохо. Все перезабыла.

Гурам отнимает ладони от ушей, хотя и без того прекрасно слышал их разговор.

— Ну-ка, Лиана, растолкуйте Нодару, что такое музыка!

Нодар внезапно перестает играть и поднимается с места. При первом же его слове становится заметно, что он обижен.

— Садитесь за пианино, Лиана, и, если вы сыграете это место иначе, пусть мне тут же на месте отрубят голову.

— Нет, нет, я ничего не помню.

— Играйте, играйте, — Гурам хватает Лиану за локоть и силой поднимает ее со стула. — Играйте!

Лиана подходит к инструменту и, подумав, возвращается к столу, разводя руками: дескать, рада бы сделать всем удовольствие, но не могу, все забыла. Гурам настаивает, сажает ее за пианино. Лиана некоторое время молча рассматривает клавиатуру, как бы предварительно выбирая нужные ей клавиши, потом нерешительно начинает. Она играет все уверенней, все смелее. «То место» на этот раз звучит ясно, логично, прозрачно — правильность его не внушает сомнений. Нодар краснеет.

— Вот, кажется, так. — Лиана, закончив пьесу, встает из-за пианино.

От насильственного смеха Гурама все вокруг словно искажается.

— Ну что, посрамлен, Нодар? Рубить тебе голову? Дайте нож, тетя Нино, да поострей, чтобы он не мучился. Слушай, разве Григ тебе товарищ, дружи со своей ровней, пой вместе с нами «Бурдючок мой, бурдючок»!

Нодар пристыжен и озадачен. Кто-то безжалостно ввел его в заблуждение. И сейчас он узнал правду. Медленно поворачивает он лицо к Джабе — словно силится что-то вспомнить, словно просит друга: объясни, в чем дело, ты ведь должен знать!

Внезапное воспоминание кольнуло Джабу в сердце. «Это я его обманул!»

Он идет к двери, выходит в коридор, делая вид, что ему там что-то нужно.

— Не скучайте, я сию минуту вернусь.

— Куда, Джаба? — окликает его Гурам.

— Сейчас приду!

Джаба сворачивает в узкий пожарный проход и останавливается перед незастекленным чердачным люком. Свежий воздух остужает ему пылающие щеки. Пьянящий запах озона вызывает какие-то далекие воспоминания. Дождь перестал, но временами еще сверкают молнии, тускло озаряя город. Вода бесшумно бежит по желобу вдоль края крыши и исчезает в водосточной трубе. Внизу под лучами ярких лампионов набережной блестит река.

Джабе вспоминается комната Нодара. Там стояла большая фисгармония с широкими, обтянутыми резиной

педалями. Играя, надо было все время качать педали, чтобы подавать воздух в инструмент, иначе он умолкал. Оба, и Джаба и Нодар, учились музыке на этой фисгармонии. Нодар играл гораздо лучше, зато Джаба помнил больше мелодий. В тот день... Кажется, это было вечером... Нодар подбирал «Танец Анитры» — они несколько раз слышали эту пьесу по радио и на концерте... В комнате были и другие их товарищи. Джаба сейчас не может вспомнить, кто именно, — они учились тогда в седьмом или восьмом классе. Кажется, были и девочки. Играли в шахматы. Нодар подбирал «Танец Анитры». И как раз в «этом месте» спросил Джабу, что дальше, как продолжается мелодия. Джаба не помнил! Но в комнате были другие, среди них, кажется, и девочки, и всем было известно, что у Джабы необычайный слух, что ему достаточно один раз услышать мелодию, чтобы запомнить ее навсегда. И часто товарищи, учителя, родственники высказывали сожаление, почему он не учится музыке. Такая была слава у Джабы.

А «этого места» он не знал!

И Джаба соврал. Сочинил на месте какое-то примитивное продолжение и пропел его. Никому не пришло в голову усомниться в правильности мотива — настолько все верили в слух и музыкальную память Джабы.

Нодар, как и все, поверил и подобрал эти несколько музыкальных фраз. И с тех пор, оказывается, играет этот отрывок так, как подсказал ему Джаба. Десять лет Нодар считает правдой эту ложь. Сколько раз, должно быть, смеялись люди в душе над Нодаром, слушая «это место», но ничего не говорили ему — так уверенно и с таким подъемом перевирал он всем известную пьесу.

Глупости! Джаба сейчас пьян, и все представляется ему искаженным, преувеличенным. Что случилось — Нодар неправильно играет «Танец Анитры». Мир от этого не погибнет! Джаба хоть сейчас напомнит ему, как все это вышло, признается в своей лжи. Нодар поймет его, они посмеются. Это все неважно...

Но тогда что же встревожило Джабу и выгнало его в коридор?

Джаба не помнил о своей лжи! Вот в чем дело! Сам-то он потом выучил «Танец Анитры», а о том, что обманул Нодара, забыл. Может быть, это не единственная его

ложь, может, он не раз обманывал — и не только Нодара? И ни об одной своей лжи не помнит...

Оказывается, Джаба вовсе не знает сам себя! Не знает, почему, с каким намерением он поступает в этот раз так, а в другой раз — иначе! Вот что ужасно — ужаснее ничего быть не может!

Эти мысли отравляют Джабе настроение настолько, что ему противно возвращаться в комнату. Он хотел бы тут же, сейчас вспомнить каждый минувший день, каждую встречу с близким или чужим, далеким человеком. Но ведь даже если непрерывно думать столько лет, сколько он себя помнит, Джаба все равно не вызовет в памяти всего, что было, не извлечет из этого хаоса двух последовательных дней, которые он мог бы восстановить во всех подробностях. В его памяти, оказывается, есть пустоты, воздушные ямы. Сегодня одна такая яма заполнилась воздухом, и Джаба чуть не задохнулся, потому что воздух этот принес с собой из прошлого отзвуки лжи... Что же будет, если заполнятся и остальные ямы?

За спиной у него кто-то стоит. Джаба быстро оборачивается.

— Что ты здесь делаешь? Молишься?

Это Гурам.

— Гурам!— Джаба еле различает в темноте лицо товарища. — Гурам, я люблю Дудану... Я женюсь на ней... Завтра же!

И Джабе сразу становится легче.

Он должен был тут же, немедленно объявить всем что-то огромное и важное и этой своей предельной правдивостью искупить любую свою прошлую вину — не только «ту» ложь, но и все другие, угнездившиеся в щелях множества забытых дней... Любую прошлую ложь, невосстановимую в памяти. Должен был, чтобы перечеркнуть все это, открыть огромную правду, таившуюся в его душе и поэтому до сих пор как бы не существовавшую.

— Почему ты мне об этом говоришь? — слышит он погасший, злой голос Гурама.

— Как почему? — теряется Джаба. — Ты мой друг, должен же ты...

— Совета спрашиваешь? — словно выговаривает ему Гурам.

— Нет...
— Я не советую!
— Не понимаю...
— Не стоит!
— Гурам...
— Она не стоит того! Недостойна...
— Гурам, ты...
— Она тебя недостойна.
— Ты понимаешь, что ты говоришь?
— Очень хорошо понимаю. Ты сейчас пьян. Я тоже... Поговорим в другой раз.
— Ты слышал, что я сказал? Я люблю Дудану, Дудана станет моей женой. Ты слышал?
— Слышал, но этого не будет. Этого не должно быть.
В коридоре появляется Нодар. Он уже в плаще. У него нетвердая походка.
— Джаба, ведь я правильно играл? Вы чего-то схитрили, надули меня, правда?
— Нет.
— Договорились потихоньку и смошенничали, сыграли что-то другое, решили, что я пьян и не разберусь,— верно?
— Да нет же, слышишь, нет! Гурам, ты говоришь, что Дудана...
— А я и вправду не сообразил. До сих пор не могу понять, что там вставила Лиана...
— Нодар, замолчи! — кричит Джаба. — Ты неверно играл, это я тебя обманул... Когда-то давным-давно.
— Ничего не понимаю! — Нодар трет себе глаза, точно таким способом можно прочистить память. — Здорово ты напился, несешь околесицу! Когда и в чем ты меня мог обмануть? Ты меня не обманешь!
Коридор оживляют девичьи голоса.
«Уходят?»
Джаба останавливается у лестницы.
— Лиана, Дудана, это еще что такое? Кто вам позволил уйти?
— Хозяин сам подал знак.
— Дудана!
— Шучу! — Дудана наклоняется и двумя руками, снизу вверх, оглаживает чулок. Длинная, стройная нога как бы возникает между ладонями.

Лиана спускается по лестнице. За спиной у Джабы стоят Нодар и Гурам, перед ним — Дудана. Надо их остановить, задержать. Если все они сейчас покинут Джабу, с ним стрясется какая-то беда — он это чувствует. Его словно обвинили в чем-то и не хотят слушать его оправданий; словно все уверены, что он, Джаба, все равно не сумеет оправдаться.

Перед ним, на верхней ступеньке лестницы, стоит Дудана, за его спиной, в темноте, — Гурам и Нодар. Три огромные загадки, запутанные, головоломные.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ

Джаба потянул к себе медную ручку двери гостиницы «Интурист». Он ошибся: дверь открывалась внутрь. Швейцар, низенький человек с припухшими глазами, сняв форменную фуражку, щелчками сбивал с нее соринку. Услышав скрип отворяемой двери, он быстро надел фуражку, молча поклонился Джабе и показал на гардероб, приглашая его раздеться. Но Джаба не собирался в ресторан, он посмотрел в правый угол вестибюля, на полукруглый прилавок журнального киоска, и спросил швейцара, прежде чем тот успел опустить протянутую руку:

— Где продавщица, совсем ушла?

— На перерыве, сейчас придет, — ответил швейцар скучным голосом, внезапно утратив всю свою приветливость; но вот дверь снова скрипнула, он сразу оживился и быстрым, энергичным кивком приветствовал вошедших в вестибюль трех мужчин. При этом фуражка свалилась у него с головы; он потянулся одной рукой за ней, другой указывая вошедшим на гардероб: пожалуйте, раздевайтесь. Потом отряхнул фуражку, поднес ее чуть ли не к самому носу и сложил пальцы для щелчка...

С этой минуты Джаба уже не помнит швейцара. С этой минуты он уже ничего не видел и не слышал, потому что в глаза ему бросился — на полках, за прилавком с газетами — тот самый журнал.

«Родная страна» — было выведено белыми буквами на красной с синим обложке. Джаба невольно отвел взгляд; он почувствовал, что не в силах смотреть. И в то же время его сжигало желание схватить журнал, пе-

релистать, проверить — в самом деле напечатано там его фото или все это вздор, выдумка?

Вчера он не был в редакции — позвонил Ангии по телефону от соседей, сказал, что пишет по распоряжению редактора «интервью с профессором Руруа», и попросил разрешения не являться на работу. «Трудись, милый Джаба, трудись, — ласково сказал ему Ангия. — Ты человек талантливый, из тебя выйдет хороший журналист. И вообще ты прекрасно делаешь свое дело». Джаба улыбнулся этой похвале.

Зато сегодня утром он пришел в редакцию первым. Накопились негативы, надо было печатать — и он заперся в фотолаборатории. (Сейчас он вспомнил, что двери его квартиры и фотолаборатории открываются наружу.) Когда он, закончив работу, вышел с довольным видом, насвистывая, в отдел, Вахтанг, сидевший уже за своим столом, поднял голову и вместо обычного «Здравствуй» сказал:

— Поздравляю, Джаба!

Он сплел руки и потряс ими, имитируя рукопожатье.

— Спасибо, Вахтанг.

Вошел Шота с гранками будущего номера. При виде Джабы он широко улыбнулся и воскликнул:

— Ну, брат, поздравляю! Угощение за тобой!

— Спасибо, Шота, непременно... Но я ничего такого не намеревался, все вышло совершенно случайно...

— Случайно ничего не бывает.

«Обижаются, что не пригласил их на день рождения... Наверно, Лиана рассказала... — подумал тогда Джаба.— Надо было позвать!»

Он вспомнил, что не успел утром позавтракать, и пошел в буфет, на третий этаж. На лестнице он встретил корреспондента Грузтага, Тархана Санакоева, застенчивого, смуглого молодого человека. Тархан Санакоев почему-то питал к Джабе глубокое почтение и всякий раз, когда подвертывался случай, заводил с ним разговор. Так было и в этот раз: Тархан пошел навстречу Джабе с распростертыми объятиями:

— Браво, браво! Молодец, брат, поздравляю от души!

«А этот с чем меня поздравляет? Ему тоже известен день моего рождения?» — изумился Джаба.

— Спасибо, Тархан, как ты узнал, что...

— А чего тут, брат, узнавать, своими глазами, брат, видел... Ну вот, брат, ты и вышел на большую арену!

— На какую арену? Ты что-то путаешь...

— А как же, брат, — большая арена, так это, брат, называется.

— Джаба! Джаба! Джаба! — донеслось сверху.

На площадке четвертого этажа, над лестницей, стояла Лиана.

— Скорей, тебя просят к телефону. Скорей!

Джаба повернул назад и взбежал по ступенькам. Почему-то ему показалось, что звонит Дудана. На ходу он вспомнил о Тархане и, не останавливаясь, обернулся к нему:

— Не пойму, с чем ты меня поздравляешь... Какая там арена?

Тархан крикнул ему вдогонку:

— Журнал! — и пальцем начертил в воздухе четырехугольник.

— Ничего не понимаю!— Эти слова Джаба проговорил, уже стоя перед Лианой. — Кто меня просит? — И он быстро направился к редакции.

— Голос женский.

«Дудана!»

— И утром тебе тоже звонили, — Лиана шла за ним следом.

— Кто?

— Сказали — из райисполкома... Ты в это время был в фотолаборатории.

— Из райисполкома? — Джаба остановился, словно наткнувшись на невидимую стену, и застыл на месте. Словно только сейчас услышал он последнее восклицание Тархана и увидел его палец, чертящий линии в воздухе. Неприятная догадка мелькнула у него в мозгу, казавшееся невозможным представилось вдруг действительностью, и он попытался усилием воли стряхнуть это наваждение. Волнами накатывалась на его сознание одна и та же упорная мысль, и Джаба изо всех сил боролся с нею, отбивался, чтобы не погибнуть.

— Скорей, а то повесят трубку... Куда ты? Звонят по редакторскому телефону.

Джаба повернул к приемной.

«В первый раз звонит. Кто это?»

Он взял трубку.

— Слушаю!

— Здравствуйте, Джаба. Поздравляю! — Голос был нежный, негромкий; Джаба представил себе полудетские, влажные губы. — От души поздравляю, Джаба.

— Кто говорит? — И встревоженно, так как ответ последовал не сразу: — С чем поздравляете?

— Я о вас все знаю, мы еще сегодня встретились на улице! — послышался ясный, звонкий, как пенье дрозда, девичий смех.

«Тамила?»

— Так раньше было, Джаба, а теперь и вы все знаете обо мне. Узнали? Это я, Тамила.

— Здравствуй, Тамила.

— Я так обрадовалась, что в московском журнале напечатали ваше фото...

— Спасибо... — прошептал Джаба — где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что ответ неуместный, нелепый.

— До свидания, Джаба.

— Будь здорова.

— Джаба, знаешь что? У меня есть к тебе просьба. Нет ли у тебя стихов Галактиона Табидзе или Важа Пшавелы? Я перезабыла после школы все стихи, какие знала. Так хочется восстановить в памяти...

— Есть. Могу одолжить.

— До свидания, Джаба.

Он повесил трубку. Первым его желанием было броситься на улицу, чтобы убедиться в незыблемости земли под ногами и неба над головой.

— Ах да, Джаба, совсем забыла! — встала у него на дороге Лиана. — Поздравляю тебя, ребята мне сказали, что...

— Оставьте меня в покое! — закричал Джаба, отмахиваясь.

Лиана так и осталась с раскрытым ртом.

Джаба обыскал весь проспект Руставели, но ни в одном киоске не оказалось одиннадцатого номера «Родной страны». Он рад был бы обойти весь город, все самые дальние районы, лишь бы убедиться, что журнала нет нигде. Безотчетная, бессмысленная надежда росла

в нем после каждого отказа, и, лелея эту надежду, он вспоминал все новые и новые киоски.

— Что вы хотели? — услышал он вдруг и вздрогнул.

Продавщица журнального киоска «Интуриста» подняла загородку, прошла за прилавок и повернулась к Джабе лицом.

— Дайте мне вон тот журнал... Когда вы его получили?

Он боялся перелистать номер — только посмотрел цену.

— Сегодня утром.

— Нигде, кроме вашего киоска, его нет! — Джаба рассматривал разложенные на прилавке иностранные журналы, как бы выбирая, что еще купить, потом молча отошел от киоска.

— Деньги забыли! — крикнула вслед ему продавщица.

Джаба резко обернулся — почему-то ему показалось, что он забыл заплатить.

— Извините, я...

— Ну, что вы, это вы меня извините! — Продавщица положила Джабе сдачу в протянутую ладонь. — Копейка остается за мной.

— Стоит ли об этом... Простите! — Джаба дошел до входной двери и остановился.

Ему хотелось остаться одному, запереться где-нибудь, лишь тогда он осмелится перелистать журнал. Он боялся выйти на улицу: встретится какой-нибудь знакомый, охотник поболтать, возьмет у него из простого любопытства журнал, раскроет и...

«Завернуть в газету? — подумал Джаба, но не двинулся с места. — Продавщица, наверно, думает, что я не могу забыть ту копейку».

«Зайду в сад за картинной галереей! — подумал он, и тотчас явственно послышался ему свист шомпола, рассекающего воздух, перед ним промелькнули одно за другим лица воров, которые хотели избить его в отместку за то, что он напечатал в журнале портрет одного из них. На этот раз он имел дело с великодушным вором: «Этот руки мне будет целовать за свое фото в журнале...»

Ему хотелось насмехаться над самим собой, унижать себя.

Он уже собирался выйти на улицу, но тут из ресторана в вестибюль ввалился какой-то сильно подвыпивший толстяк. Дверь распахнулась, выпуская его, и качнулась назад, внутрь ресторана, — она открывалась в обе стороны. Джаба увидел в глубине зала затылок Бенедикта, сидевшего за столиком. Сердце у него замерло.

Дверь продолжала раскачиваться, но колебания ее становились все меньше, и она с каждым разом отсекала по куску от того столика: вот уже виден один Бенедикт... пол-Бенедикта... одна его рука...

Джаба не то что развернул журнал, а яростно рванул обложку, чуть было не оторвал ее.

Это было тут же, на второй странице. Развернутый на целую полосу, красовался один из тех фотоснимков, которые Джаба дал Виталию. К стреле огромного подъемного крана привешен на двойном тросе стальной крюк. На острие крюка насажено солнце, крюк как бы стаскивает его с неба. Группа глядящих вверх рабочих с поднятыми руками усиливала эту фотометафору — переселение солнца на землю. На переднем плане — Бенедикт; он тоже смотрит вверх и улыбается. Под снимком подпись: «Еще 70 000 квадратных метров жилой площади получат к новому году трудящиеся столицы солнечной Грузии. На снимке: сотрудник райисполкома Б. Зибзибадзе (справа) на новостройках Тбилиси. Фото Д. Алавидзе».

Как ловко и хитро обманул он себя тогда. Ум его заранее рассчитал каждый ход операции самовнушения, чтобы отвести глаза совести, чтобы достоинство считало себя сохраненным, а чести казалось, что не сдана ни одна высота. Ну конечно, он не мог отказать Виталию и только потому послал с ним в Москву свои снимки; и, конечно, в душе был уверен, что редакция не примет таких посредственных отпечатков. Оттого он и отказался дать Виталию негативы, что боялся, как бы в самом деле не опубликовали фотографию Бенедикта в «Родной стране» («Боже, сохрани!» — подумал он тогда, даже в мыслях хитрил с самим собой!). Как будто он не знал, что Виталий, если будет нужно, изготовит превосходную репродукцию с любого плохого отпечатка, уве-

личит, отретуширует... Как будто он не понимал, что снимок эффектный и придется по вкусу любому редактору!

Ну вот, то, чего добивался Джаба, у него в руках; он достиг всего, к чему стремился. Теперь он без всяких затруднений получит новую квартиру — притом гораздо лучшую, чем мог бы надеяться, — и приведет в нее Дудану. Никого и ничего больше не будет он стесняться! Единственный опекун и попечитель Дуданы без всяких возражений согласится на этот брак. И Джаба скоро забудет, что по его вине размноженная типографским способом ложь разошлась среди сотен тысяч читателей, что хищник, взяточник, преступник представлен людям, как строитель народного счастья!

И Джаба удивлялся: неужели это дело его рук, неужели это фото на обороте обложки журнала порождено его волей? Если бы Джаба не родился, если бы его вовсе не было на свете, жизнь шла бы своим путем, все было бы так же, как сейчас, только вот эта фотография не была бы напечатана. Существование Джабы оказалось причиной этого обмана. А если каждый сотворит по одной такой «маленькой» лжи?

Как бережно, должно быть, ретушировал художник этот фотоснимок! Как тщательно очищали в типографии клише! Метранпаж, сосредоточенный, перепачканный типографской краской, отирал рукавом пот со лба...

Как будто бы что особенного? Некий корреспондент в личных, корыстных целях изготовил и опубликовал в столичном журнале фото нечестного гражданина — велика важность! Но если сказать иначе: молодой журналист поднимает на щит преступника, маскирует его тайную деятельность, помогает ему прятаться от всевидящего ока закона, — что ж, ничего особенного?

Ему неудержимо захотелось тут же немедленно излить всю свою горечь и злобу, освободиться от этой затхлой мути, накопившейся в душе. Желание — это незримое и бестелесное существо — схватило Джабу и повлекло его вперед.

— Стойте, молодой человек! — преградил ему путь швейцар. — Я же сказал вам, что нужно раздеться! Входить в ресторан в верхней одежде не полагается.

— Я на минутку, сейчас вернусь, — Джаба отстранил

швейцара, возможно испугавшись, как бы не утихла его злость. — Оставаться не собираюсь.

Бенедикт стоял перед столиком спиной к Джабе, со стаканом в руках, — по всей видимости, произносил тост.

Джаба остановился около него. Его губы и гортань, по таинственному звуковому рецепту, который выписывается сознанием особо для каждого случая, уже приготовили вызывающе-ироническое «Привет!», но стоило ему поднять взгляд, как он застыл, опешив на месте.

— Извините... Я ошибся... — Голос изменил ему; сконфуженный, он поспешно отошел от стола.

— Пожалуйте, посидите с нами! — проявил ни к чему не обязывающее гостеприимство незнакомец, которого Джаба принял за Бенедикта, принял потому, что знал: Бенедикт сегодня уж конечно расположен пировать, вот и утром звонил из райисполкома, — должно быть, хотел и Джабу прихватить с собой...

Джабе стало так неловко перед этим незнакомым человеком, что он не повернул назад, а пошел дальше между столиками в глубь ресторана, как если бы в самом деле искал кого-то...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЗВЫШЕНИЯ

— Чей это портрет напечатали, а? Ну-ка, Бату, приглядись хорошенько, может, вспомнишь, кто это? Что-то мне это лицо кажется знакомым!

— Ну-ка, покажите, батоно Бено! — Журнал в который раз переходит из рук в руки, и в который раз возобновляется приятно-щекочущая душу игра. — О-о, вот это настоящий человек! По правде говоря, я его не знаю, но что из того — с первого взгляда видно, какая это замечательная личность! Этот человек не забудет старого друга, поделится с ним последним куском! Вот, батоно Геннадий, присмотритесь хорошенько к портрету — разве я неправ? Жаль, что я с ним не знаком, жаль... Хотел бы я быть его другом! — с сожалением качает головой Бату. — Может, вы знакомы с этим товарищем, батоно Геннадий?

Бату передает Геннадию журнал через стол обеими руками, точно блюдо с кушаньем.

Геннадий уже сыт по горло этой игрой, но что делать — Бенедикту она доставляет огромное удовольствие. Со скрипом и грохотом, как вращающаяся сцена в театре, поворачивается Бенедикт вместе со стулом к Геннадию и, уставившись на него с разинутым ртом, ждет: что тот скажет в ответ. И Геннадий повторяет в десятый раз:

— Этот товарищ? Постой, постой! — Он подносит журнал к глазам и внезапно, как бы от неожиданной догадки, приходит в волнение: — Послушай, я, кажется, где-то его видел... Ну да, и притом совсем недавно! Да он же сейчас проходил здесь, поблизости. — Геннадий как бы случайно бросает взгляд в сторону Бенедикта и расплывается в улыбке: — А-а, так вот же он! Это, оказывается, вы, уважаемый! Извините нас, извините, мы тут болтаем, судачим о вас, а вы-то, оказывается...

— Ах, так это вы? — поднимается с места Бату. — Мы счастливы, что вы случайно оказались около нашего стола, извиняемся и просим разрешения познакомиться с вами.

Бенедикт делает вид, будто он в самом деле незнаком с Бату. Ему стоит большого труда сохранять серьезное выражение лица:

— Я... Меня зовут Бенедикт... Мне... — Тут фантазия ему изменяет, он разражается хохотом, хлопает Бату по ляжке. — Ах ты дурачина этакий, ха-ха-ха...

— Хе-хе... — смеется Бату.

— Хо-хо... — смеется, разумеется, в свою очередь и Геннадий.

Игра окончена.

Пир продолжается. Дедовские застольные обычаи отброшены, забыты — до них ли сейчас? — все здравицы, все славословия сегодня адресуются Бенедикту.

— Бенедикт Варламыч, — поднимает стакан Геннадий, — еще раз за ваш успех! Эта история будет еще иметь продолжение!

— Будет! — поддакивает Бату.

— Этого без внимания не оставят — шутка ли, в московском журнале... Варламыч, а этот парень оказался парень что надо, а? Придется вам выдать за него племянницу.

— Выдам! И квартиру устрою! Все сделаю.

— Какая все-таки сила любовь!

— Эх, не провались то дельце, был бы я сейчас совсем счастлив! — мечтательно качает головой Бенедикт.— Сплоховал наш Геннадий, хе-хе... — Он хлопает Геннадия по спине.

— Вы и сами не могли предполагать, что труп оживет, Варламыч! — пожимает плечами Геннадий.

— Да, да... Ты подумай, какие деньги я вогнал в этот мешок со старыми костями.

— Не обижайтесь, но если б вы не поселили там вашу племянницу, может, старик и не пошел бы на поправку.

— Как это так? — хмурится Бенедикт.

— К ней ходили подруги... Я же рядом живу! Веселились, пели, играли, танцевали — сами понимаете, молодежь... Словом, не дали минуты спокойной, чтобы помереть.

— Ты же сам мне посоветовал поселить там племянницу! Ты и этот вот...

— Я-то при чем, Варламыч! — защищается Бату; стеклянный глаз его гневно сверкает.

Бенедикту почему-то кажется: левый глаз у Бату стеклянный, значит, и левое ухо у него глухое. Поэтому он то и дело хватает Бату за подбородок, выворачивает ему шею и говорит в правое ухо, хотя сидит слева.

Бату высвобождает подбородок. Бенедикт вздыхает:

— Эх, какой покойник... Да что покойник, доброго ему здоровья, покойнику... Какой лакомый кусок выпал у меня изо рта! Сколько я денег потратил на этого старичину! За квартиру платил я, эту девчонку, племянницу мою, — между нами говоря, какая она мне племянница, ее отец, мой брат, не был мне даже и сводным братом, — так вот, эту мою племянницу я кормил, поил, одевал на мои деньги. Раза два и на ее друзей потратился. И за могилу для старика я заранее заплатил — этакий простофиля! Эх, деньги, деньги, сколько денег уплыло зря... Ничего не поделаешь, видно, нет мне удачи!

— Чего нет? — переспрашивает Геннадий.

— Удачи, говорю, мне нет — не везет!

— Напротив, очень даже везет! — Геннадий хочет

утешить Бенедикта, рассеять его досаду. — Напротив, все получилось удачно. Вы не представляете себе, какую яму рыли мне мои соседи! Помните эту женщину, Лолу? Она каждый день бегала в юридическую консультацию. И юрист ей сказал: если судебно-медицинская экспертиза установит, что преступные действия совершены во время летаргического сна пострадавшего, то это вдесятеро отягчает вину подсудимого.

— Что ты говоришь! — На мгновение Бенедиктом овладевает страх, взгляд его мечется, — словно он не знает, с какой стороны ожидать удара по голове.

Бенедикт встает, кряхтя и отдуваясь, словно накачивая свои мышцы, подходит к стеклянной стене ресторана и пытается задернуть занавес. Но занавес не поддается. Бату спешит на помощь; теперь они тянут оба.

— Не сорвите с колец! — остерегает их Геннадий.

Через стеклянную стену ресторана открывается движущаяся панорама: набережная и мутная река. Крепость Нарикала на горе словно приподнялась на цыпочки, чтобы достать взглядом до всех окраин разбежавшегося вширь города.

Каждый, кто проходит по улице мимо стеклянной стены, невольно заглядывает в ресторан. Именно поэтому хочет Бенедикт задернуть занавес.

Гул пролетающего самолета на мгновение заглушает шум ресторанного зала.

— Это ТУ-104, это ТУ! — кричит Бату и смотрит через стекло вверх, на небо. Около него собираются официанты: всего два месяца, как между Москвой и Тбилиси курсируют реактивные самолеты.

Бенедикт приставляет к глазам руки, свернутые в трубочки наподобие бинокля, нацеливает взгляд на самолет, качает головой:

— Что за изобретение, просто диво!

— Да, да, — подхватывает Бату. — Подумай, за два часа долетает до Москвы!

— Что долетает? — удивляется в свою очередь Бенедикт. — Бинокль?

Они возвращаются к столу. Бенедикт забыл на мгновение про журнал с его портретом. При виде раскрытого журнала, лежащего на столе, у него сладостно сжимается сердце.

Пирушка продолжается. Собутыльники опустошают уже третью бутылку коньяка «Энисели». Бенедикт пригласил сегодня сюда своих друзей, чтобы держать с ними совет. Последние события возбудили в нем новые надежды. И он сразу созвал советников. А они молчат! Не так просто заранее предвидеть, угадать, какой именно кабинет озарится светом, внезапно воссиявшим над головой Бенедикта.

Одно лишь фото в журнале! И уже все вокруг относятся к тебе с удесятеренным уважением, мало того, с подобострастием.

Какой-то старик остановился снаружи, перед стеклянной стеной ресторана, и без всякого стеснения смотрит внутрь. Что за беззастенчивость! Приятные мысли Бенедикта рассеиваются, все удовольствие испорчено...

— Откуда взялся этот попрошайка?— Бенедикт встает еще раз и направляется к окну, чтобы задернуть занавес перед носом у наглеца; но занавес непокорен попрежнему, он ни во что не ставит ярость Бенедикта.

А старик, небритый, с морщинистой шеей, стоит за стеклом, на тротуаре, и смотрит на их стол. Бенедикт для него словно и не существует. Лицо у старика такое, точно он испытывает сильную боль и безропотно терпит ее. На левой руке у него висит деревянный ящик с рукояткой. Старик стоит, отклонившись вправо, — видимо, ящик тяжел.

— Чего тебе надо, эй! — кричит Бенедикт и, не рассчитывая, что его услышат, сердито жестикулирует.

Старик опускает голову, медленно отворачивается от витрины и уходит. В эту самую минуту Бенедикт слышит голос Геннадия:

— Это отец. Это, кажется, мой отец! — Геннадий подбегает к стеклянной стене и стучит по ней всей пятерней.

Старик останавливается, всматривается в Геннадия. Судя по выражению его лица, боль, которую он терпит, усиливается.

— Слушай, это правда твой отец? — восклицает Бенедикт. — Так давай хоть выпьем за его здоровье!— И он делает знак Бату, чтобы тот принес рюмки.

Все трое держат в руках рюмки с коньяком и делают знаки старику, мотают головами, как глухонемые.

— За здоровье твоего отца, Геннадий! — начинает Бенедикт; потом глядит на улицу, поднимает рюмку:— Ваше здоровье, батоно... Как его зовут?

— Алексий, — осклабившись, подсказывает Геннадий.— Не слыхали про Алексия-столяра? Такого мастера нигде не сыщешь! Пусть будет здоров мой отец!

Все трое поднимают рюмки еще выше и чокаются со стеклянной стеной.

— Знаменитый у тебя отец...

Весь ресторан смотрит на них. На улице перед витриной собирается народ.

Старик медленно отводит взгляд, смотрит себе под ноги, мотает головой, как бы борясь с какой-то мыслью или желанием. Потом мотает головой еще энергичнее, перекидывает тяжелую ношу на другое плечо и быстро уходит.

— Солидный человек, по всему видно, — говорит Бату.

— Почему не живет у тебя? — спрашивает Бенедикт.

— Не пойму... Сами знаете — стариковские причуды... Родился в этом районе и никак не может с ним расстаться. И клиенты его тут знают...

— Ну, хоть выпили за его здоровье, сделали доброе дело. — Бенедикт доволен.

Пирушка продолжается до поздней ночи. Нагрузившись до отказа, они наконец выходят на улицу. Целуются слюнявыми губами, клянутся во взаимной дружбе. Приятели провожают Бенедикта до самого дома.

Он находит дверь своего кабинета незапертой и холодеет от страха. Он воочию видит вора, оттопыренные карманы которого битком набиты его, Бенедикта, деньгами. Так, застыв на месте, стоит Бенедикт целую вечность. Потом вдруг вспоминает: может быть, уходя сегодня утром, забыл запереть кабинет — очень уж торопился.

Наконец Бенедикт решается войти и тотчас же бросается к книжному шкафу. Торопливо просматривает он тома Бальзака — первый, шестой, пятнадцатый, последние... Все в порядке — этот Бальзак порядочный, честный писатель, слава богу! И все же сомнение грызет Бенедикта, он проверяет все остальные тома, страницу

за страницей. Нет, нет, он и в самом деле честный человек, этот писатель! Пощупаем теперь Диккенса... Этот, кажется, тоже парень что надо. В первом томе до сотой страницы были сплошь заложены полусотенные бумажки — все нетронуты, все на месте. Уберег Диккенс. Во второй том Бенедикт не закладывал ни рубля — и ничего не нашел. Чему тут удивляться?

Как всегда, пролистывая страницы, он увлекся чтением.

«Глава XII

Повествующая о весьма важном поступке мистера Пикквика: событие в его жизни не менее важное, чем в этом повествовании».

«Ну-ка, посмотрим, что отсюда можно запомнить!»— подумал Бенедикт.

«Помещение, занимаемое мистером Пикквиком...»

«Не годится».

«Всякому, кто был знаком с этими правилами...»

«Тоже не годится. Слишком длинно».

«— Вы совершенно правы, — сказал мистер...»

«Это же есть и у Бальзака! Пойми теперь, кто у кого украл!»

«— Вы избавитесь от множества хлопот, не так ли?— продолжал...»

«Вот это хорошо. Это действительно хорошо... Значит, как это?

«— Вы избавитесь от множества хлопот...» Да, да, именно так».

«Как говорит Диккенс в одном романе, друзья, вы избавитесь от множества хлопот... Хе-хе!»

Бенедикт водворяет книги обратно на нижнюю полку и запирает шкаф. Потом проверяет запоры: нет, разве что топором изрубят, иначе ни за что не открыть.

«Диккенс в одном месте пишет, мой милый Бату: «Вы избавитесь от множества хлопот». Догадываешься, что я разумею? Хе-хе...»

Он берет журнал, рассматривает свое фото. Вдруг озорная мысль вызывает улыбку на его губах. На цыпочках выходит он из кабинета, осторожно, стараясь не произвести ни малейшего шума, проходит в спальню. Из кухни проникает сюда через маленькое оконце слабый

свет, он тускло озаряет толстую, белую руку Марго. Супруга Бенедикта лежит лицом к стене и ровно, спокойно дышит во сне. Бенедикт знает: до самого утра, пока не проснется, Марго не перевернется на другой бок. Он ставит развернутый журнал прямо перед ее лицом, прислонив к стене. Как только Марго раскроет глаза, она сразу увидит портрет Бенедикта. И от радости вскрикнет, да, наверно, так, что разбудит мужа.

Бенедикт возвращается в кабинет, запирает дверь, подходит к раскрытому окну, срывает с початой бутылки боржома крышечку и пьет прямо из горлышка. Толстая шея его изгибается все больше, все выше задирается бутылка, и вдруг вода попадает ему в дыхательное горло. Точно семечко красного перца обжигает ему глотку. Бенедикт заходится кашлем и отирает навернувшиеся слезы, ища взглядом вагон воздушной дороги наверху, над своим домом.

Но вагона нет! В эту ночь вагон остановили немного ниже, у станции. Что это значит? Может, теперь, когда увидели журнал, постеснялись — решили оказать уважение?

Чрезвычайно довольный, Бенедикт ложится в постель. Он счастлив. Сон скоро смежает ему веки и вместо этой злосчастной жизни, полной битв и треволнений, предлагает феерическое сновидение.

...В трубке огромного бинокля летит самолет. В самолете сидит Бенедикт. Вверху, над ним, — круглый просвет: небо. Все там представляется уменьшенным — луна, созвездия. Внизу, под ним, — круглое, прозрачное море. Оно велико само и все увеличивает. Камешки на дне выглядят валунами, мелкие рыбешки превратились в китов, ракушки возвышаются, как горы.

Раковина! Жемчужная раковина!

Охваченный радостью, Бенедикт выпрыгивает из самолета. Сначала он летит вниз головой, потом нижняя часть туловища опережает верхнюю, и он переворачивается. В ушах у него свистит ветер, дыханье перехватывает, сердце вот-вот выскочит из груди и улетит прочь от хозяина. Бенедикт вцепляется в сердце обеими руками, раскрывает рот во всю ширь, чтобы хватило воздуха. Вот он ныряет в море, опускается в глубину, касается ногой дна — столбом поднимается ил, вода за-

мутняется. Бенедикт ничего не видит вокруг, на зубах у него хрустит песок. Понемногу муть оседает на дно, но море еще не стало прозрачным. Бенедикту застилает глаза туман, и сквозь него он смутно различает огромную раковину. Неописуемая радость охватывает его. Но к радости примешивается страх. Он смотрит вверх, в вертикальный колодец бинокля. Самолет успел подняться до самых облаков; хорошо, что в нем не заметили, как выпрыгнул Бенедикт.

Он делает вид, что не видит раковины, плывет в другую сторону, но каким-то образом все же приближается к ней. Как бы только не спугнуть ее! Раковина замерла, распялив огромный рот, — наверно, отдыхает после обеда. Раковина — недотрога, она отвергает все и всех, если в рот к ней попадет чужеродное тело, она немедленно обволакивает его своей драгоценной слизью, наращивает слой за слоем. Сладкая дрожь пробирает Бенедикта, он ведь знает, что эта слизь потом превратится в жемчуг...

Что бы такое забросить внутрь раковины? Камешек? Но камешки только сверху казались большими, а сейчас видно, что они крохотные. Поймать рыбку? Нет, тоже мала. Да кроме того, превратится в жемчужину и скользнет прочь, уплывет, поминай как звали. Неожиданная мысль приятно будоражит его: здесь, в море, сейчас самое большое существо или тело — сам Бенедикт! Поразительно, но это так.

Он осторожно, неслышно приближается к раковине. Останавливается перед нею. Зажимает в кулаке указательный палец другой руки и что есть силы вытягивает его. Слышится треск сустава. Удлинился ли палец хоть немножко? И то хорошо! Он со всяческими предосторожностями протягивает палец и сует его в рот раковине. Шарит внутри, щекочет, раздражает моллюска, а самому страшно. Вдруг вспышка яркого света ослепляет его. Он догадывается, что случилось: палец стал жемчужным!

Вокруг Бенедикта толпятся его враги. Их становится все больше. С завистью смотрят они на Бенедикта, подступают ближе, ближе — сначала робко, потом все смелей, берут его в кольцо. У каждого в руках — цепи, они собираются заковать Бенедикта, и каждому не тер-

пится первым напасть на него. Весь город здесь... Но вот Бенедикт грозит им жемчужным пальцем, и враги, ошеломленные, потрясенные свершившимся чудом, исчезают, рассеиваются как дым.

Бенедикт улыбается. Раковина восхищена его храбростью, кивает ему, зовет. Обрадованный Бенедикт засовывает в ее пасть всю кисть до запястья, и сияние жемчужной перчатки озаряет все вокруг. Бенедикт взволнован, весь дрожит от нетерпения и вдруг прыгает головой вперед внутрь раковины. Какое блаженство! Удобно разлегшись, Бенедикт попивает приятную на вкус, как боржом, морскую воду и чувствует, как все тело его покрывается слоями жемчуга. Подумать только — жемчужина весом в сто семнадцать кило! Да на это можно всю Грузию купить!

Жемчужные носки понемногу поднимаются к коленям, жемчужные рейтузы достигают поясницы. Вот слой драгоценной слизи залепил ему уши — Бенедикт ничего больше не слышит: ни шума моря, ни далекого гула самолета в трубке бинокля над головой, Бенедикт оглох! К черту, лишь бы...

Жемчуг наслаивается ему на глаза, тяжелит ему ресницы, вокруг воцаряется мрак. Бенедикт ничего не видит — Бенедикт ослеп. К черту, лишь бы...

Но вот жемчуг заливает ему ноздри, залепляет рот — Бенедикт задыхается, мечется, корчится, Бенедикт хрипит... Вот наконец последний вздох, и сердце у него разрывается. Бенедикт умирает — и успокаивается. Он безмерно счастлив оттого, что смог вытерпеть эту муку и не соскреб с лица, с губ драгоценный жемчуг.

Вдруг он просыпается. Недоуменно оглядывает он стены комнаты, постепенно осознает, где он, понимает, что все, происшедшее с ним, было сном... Глаза у него наполняются слезами, он плачет оттого, что остался жив!

Господи, много ли убыло бы у тебя, если бы Бенедикт в самом деле умер? Большая ли была бы потеря?

Никакой!

— Освободите меня от работы! — Джаба встал, но не ступил ни шагу; обгоревший кончик длиной в полпальца отломился от его сигареты и осыпался пеплом на пол.

Георгий сидел, опершись локтями о стол и щелкая друг о друга коричневыми пластмассовыми заушниками своих очков. Морской загар придавал ему новое, незнакомое выражение; глаза на бронзово-коричневом фоне лица выглядели больше и ярче. Джабе казалось, что вот, все в его жизни переменилось, и, конечно, не мог не перемениться и Георгий. Представлялось невозможным, чтобы тот, прежний Георгий услышал от него эту исповедь.

Джаба не выдержал молчания.

— Освободите меня, батоно Георгий. Я напишу заявление...

Редактор поднял голову. Вокруг его плотно сжатого рта явственно обозначилась бледная полоса.

— Если бы освобождение от работы могло тебе помочь, то...— как бы невольно вырвалось у Георгия, и на лице его появилась улыбка, которая должна была смягчить горькую правду. — Ты нуждаешься сейчас в освобождении совсем иного рода. Садись! — Он бросил невольный взгляд в сторону двери, но вспомнил, что она была заперта, — без разрешения Лианы никто не мог войти. — Ты кому-нибудь все это рассказывал?

— Никому.

— А мне почему выложил?

— Кому же еще было рассказать? — искренне удивился Джаба.

— Вот уже одна причина: у тебя нет друга, — Георгий откинулся на спинку кресла. — Если бы у тебя был друг, ты постыдился бы, подумал — что он скажет?— и не поступил бы так.

— Не в этом дело, батоно Георгий. Друг у меня есть, и не один... Я сам не знаю, как все это получилось. Любопытство одолело, интересно было попробовать, узнать — правда ли так бывает в жизни, в действительности?..

— Значит, ты хотел проверить, правда ли есть зубы у волка?

— Батоно Георгий!

— Я не насмехаюсь, — Георгий отрицательно помахал пальцем. — Как будто бы ничего особенного не случилось — ну, выставил какого-то жулика честным человеком. От этого государство не развалится... Сегодня не развалится! — Георгий вновь взмахнул пальцем.— Но давай затеним рукой глаза и посмотрим вдаль. Тебе твой недостойный поступок принес определенную выгоду: без всякого труда, без всяких усилий с твоей стороны ты обеспечил свое маленькое личное благополучие. И взамен ты осчастливил того, кто подарил тебе это счастье, и в государстве, не обижайся, но появился еще один пройдоха... Твой коллега увидел, как легко ты добился желаемого, перенял твои приемы — и вашего полку прибыло, прибавился еще один бессовестный человек. Так один тянет за собой другого. — Георгий помолчал одно мгновение. — Ладно, оставим высокий стиль... У этого твоего Бенедикта, по твоим словам, спрятаны дома миллионы, награбленные у народа... Он продает гражданам то, что государство дает безвозмездно, то, что родина дарит своим детям! — Георгий снова помедлил немного. — Успокойся, и слушай меня с вниманием. Будь на твоем месте другой, я не стал бы с ним разговаривать, надрал бы ему уши и выгнал бы его взашей. А тебе я говорю все это в надежде, что не зря трачу слова. Я хочу, чтобы ты понял тут же, сейчас, что ты сделал. Когда-нибудь попадется тебе на пути споткнувшийся, как ты, человек, и будешь знать, как к нему отнестись, что сказать. Надеюсь, ты будешь так же возмущаться, как я сегодня из-за твоей немыслимой безответственности. Ты сейчас не смеешь взглянуть мне в глаза, обливаешься холодным потом — и я этому рад. Хочу верить, что ты не притворяешься. Кто-нибудь другой на твоем месте мог бы и притвориться, это вполне возможно. Бывает — человека мучают угрызения совести, мучают, как невыносимая боль, которую необходимо немедленно унять; но это может быть эгоистическим побуждением — просто знаешь, что стоит покаяться, и боль исчезнет. А тебе только этого и нужно.

На днях, когда мы слушали правительственное заяв-

ление, — Георгий показал жестом на репродуктор, — ты попытался скрыть свое волнение неуклюжей шуткой: «Он погиб совсем молодым, двадцати пяти лет, в битве за Суэцкий канал». Сейчас ты улыбаешься, но тогда ты был потрясен. Знаешь, почему? Потому, Джаба, что ты чувствовал: если дойдет до дела, ты не будешь сидеть сложа руки. Ты таков, Джаба, так задуман природой. Я заметил, что ты взволнован, и меня это не огорчило. Ты гражданин. Я верю, что стремление к жизни в обществе, к общественному бытию свойственно человеку. В тебе это стремление выражено ясно и сильно. Поэтому я доверяю тебе. Доверяют и другие — многие и многие незнакомые с тобой люди, — потому что твои статьи и фотоснимки публикуются в нашей прессе. Вся наша пресса служит одной, объединяющей и ведущей нас, великой идее. Естественно, поэтому, что мы должны быть очень осторожны: каждую букву, каждую запятую в наших писаниях мы обязаны тщательно взвешивать. Мы должны постоянно помнить, что каждое наше слово принимается на веру, что нашим мнением безоговорочно руководствуются люди, живущие за тысячи километров отсюда, люди, которых мы, возможно, никогда не встретим в жизни.

Джаба слушал, опустив голову и теребя в руках какой-то сложенный листок. Бумажка была измятая, протершаяся на сгибах почти насквозь; Джаба то складывал, то разворачивал ее. Голос Георгия временами доносился до него глуше, еле слышно, — должно быть, в эти минуты Георгий отворачивался к окну.

Бумажку Джаба обнаружил сегодня утром, роясь в карманах пиджака. Лишь прочитав до половины, он вспомнил, что это за листок. Джаба сделал эту запись в кабинете Бенедикта, когда брал то злосчастное «интервью». А сейчас он теребил бумажку в руках в надежде, что редактор обратит на нее внимание, спросит, что это такое, и тогда запись, быть может, послужит Джабе хоть малым оправданием.

На листке, вырванном из редакционного, со штампом, блокнота, было написано: «Пусть этот листок напоминает мне о том, как я из корыстных побуждений, чтобы получить квартиру, вошел в сделку со своей совестью и предложил в качестве взятки свои услуги жур-

налиста, как я рассердился на самого себя, но понял, что уже...»

— Джаба, ты слушаешь меня?

— Слушаю, батоно Георгий. — Джаба вздрогнул и уставился в лицо редактору.

— Что это такое? — Георгий показал на бумажку.

— Ничего... — Джаба спрятал бумажку в кармане пиджака.

— Если тебе наскучили мои наставления...

— Что вы, батоно Георгий!— Джаба встал и снова сел.

— Я сейчас думаю вслух и хочу поделиться с тобой моими мыслями — вместе с тобой подумать о тебе. У тебя есть собственные взгляды. Когда ты остаешься наедине с листом бумаги и никто, кроме тебя самого, с тобой не спорит, ты высказываешься свободно и смело. Но стоит появиться перед тобой противнику, и ты бросаешь оружие, словно заранее уверен, что будешь побежден в споре; почему-то тебя сразу подавляет, обессиливает противоположное мнение, и ты торопишься сдаться, подчиниться ему. Умение приспособляться к среде — это ты знал, наверно, еще в школе — есть великое благо, дарованное всему живому природой. Способность эта позволила человеку выжить, победить в борьбе за существование. Но она, эта способность, в одинаковой мере позволяет человеку приспособиться к жестоким холодам и к общественному злу. Природа, видимо, допустила какую-то ошибку — кто не ошибался на этом свете? — Георгий улыбнулся, заметив, что Джаба принял и это последнее замечание на свой счет.— Так вот, не каждого человека одарила высокой душой и острым разумом природа — иные сохранили первобытные, животные инстинкты. Чтобы исправить эту ошибку, лучшие ее сыны боролись на протяжении столетий... и борются сейчас. И ты тоже должен бороться.

Перед глазами у Джабы встал дядя Никала — почему-то именно теперь вспомнился ему старый суфлер. Дядя Никала как бы разговаривал с Джабой, Нодаром и Гурамом в своем полутемном подвале, только Джаба не слышал сейчас его слов, не мог восстановить их в памяти. Ему очень понравилось в свое время то, что гово-

рил дядя Никала, но он как бы оставил слышанное, забыл там, в подвале, не взял с собой.

— Ты еще молод,— продолжал Георгий,— и последствия твоих сегодняшних и вчерашних поступков еще ждут тебя впереди, в твоем будущем. Плоды еще зреют, но ты уже не в силах изменить эти последствия: что посеяно, то должно взойти. От тебя с нынешнего дня будет зависеть только...

В дверях кабинета показалась Лиана.

— Батоно Георгий, — она пожала плечами, показывая этим, что должна была войти, не могла не войти,— батоно Георгий, вас спрашивает заместитель министра внутренних дел.

Джаба вскочил.

Георгий протянул руку к телефону.

— Нет, нет, батоно Георгий, он здесь! — показала пальцем на приемную Лиана.

Георгий в несколько шагов пересек кабинет и широко распахнул дверь:

— Войдите, батоно Леван, прошу вас...

За дверью послышался четкий военный шаг. Георгий отступил в сторону, и в кабинет вошел высокий человек в ловко сидящей форме. Переступив порог, он сразу снял фуражку и пожал руку редактору.

— Извините за беспокойство, — сказал он. — Извините, — повторил он, заметив, что редактор не один, и протянул руку Джабе: — Кебурия.

— Алавидзе! — прошептал Джаба.

— Это наш сотрудник, — пояснил Георгий. — Садитесь, батоно Леван, прошу вас.

Заместитель министра сел, провел рукой по чуть серебрящимся волосам, окинул взглядом комнату. Потом посмотрел на Джабу и слегка повернул стул к нему.

— Что нового, батоно Леван, надеюсь, все спокойно в городе? — улыбнулся Георгий и, словно спохватившись и спеша исправить нечаянную ошибку, добавил быстро и четко: — То есть в республике?

— К сожалению, не все и не совсем спокойно — именно потому я и пришел к вам, — Кебурия расстегнул среднюю пуговицу своего кителя и сунул руку за пазуху. — Немало еще зла творится, — он достал из кармана сложенный вдвое бумажный лист, расправил его. —

Именно потому я и пришел. Вот это надо напечатать. Прочитайте, и, если вы ничего не будете иметь против, я дошлю вам и фотодокументы. Без фотоматериалов публикация не имеет смысла. Оттого я и решил обратиться к вам, в «Гантиади».

— Зачем же вы лично побеспокоились, батоно Леван, позвонили бы, я прислал бы за материалом...

— Кому ж беспокоиться о моих делах, если не мне самому! Я оставлю вам номер телефона. — Заместитель министра достал авторучку и стал писать ею на обороте последней страницы своей статьи, но в авторучке не оказалось чернил, перо только царапало бумагу.

Джаба положил на стол свою авторучку. Заместитель министра поднял голову, на мгновение остановил взгляд на Джабе — словно сфотографировал его лицо.

— Спасибо! — Кебурия написал номер телефона и вернул Джабе авторучку.—Спасибо! Если понадоблюсь— позвоните, — сказал он Георгию. — Буду весьма благодарен.

Джаба стоял за спиной у Кебурия. Телефонный номер, выведенный непривычно крупными цифрами, невольно привлек к себе его внимание.

СМЕРТЬ ТРУСЛИВОГО ДВОЙНИКА

Взвизгнули шины, проехав юзом по асфальту, скрип тормозов ввинтился в уши Джабе. Водитель еле сумел остановить машину, высунулся из приоткрытой дверцы и, кажется, бранится. Пусть ругается сколько хочет, сначала перейдет через улицу Джаба, а потом может проехать он... Вот так. Что случилось? Проезжай, проезжай, братец, и помни, что у человека два глаза, а у машины — четыре... Гм, с чего это женщины шарахаются от Джабы — неужели он так уж пьян? Шарахаются, обходят стороной и тем больше привлекают к себе его внимание... Удивительная вещь женское платье — не завершается, а обрывается где-то посередине. Какая-то неоконченная поэма... А ноги у Джабы вовсе не заплетаются. Если угодно, он пройдет точно по прямой линии, как канатоходец по своей веревке. «Вот, смотрите! Пройдет кто-нибудь так же прямо? А вы пугаетесь, вы хотите, чтобы я непременно был пьян... Что ж, буду, по-

жалуйста... Пеняйте на самих себя... Вот, я уже пьян».

Джаба не мог оторвать взгляд от высокой женщины, ожидавшей автобуса на остановке. Озаренное тусклым светом уличных фонарей, мерцало, фосфоресцировало ее белое лицо.

Только не ошибись, Джаба,— это богиня. Сейчас главная задача — не ошибиться. И не попадаться на глаза никому из знакомых.

Джаба крадучись, на цыпочках убрался прочь от освещенного места и спрятался в тени, под висячим балконом соседнего дома: чтобы его не заметили знакомые.

Тень, отбрасываемая балконом, ходила ходуном. Через площадь была переброшена проволока, на проволоке висел большой электрический фонарь; ветер раскачивал его, и улица колебалась у Джабы под ногами. Джаба прислонился к стене и закрыл глаза... И все сразу исчезло, он забыл обо всем. Не было ни улицы, ни пронизывающего ветра, ни хмеля в голове — только упорная мысль сверлила мозг. Джаба тщетно пытался вызвать в памяти лицо и имя одного очень близкого друга и не мог. Был у него когда-то друг — да, был наверняка, потому что Джаба явственно различал его место — на улице, в комнате, на небе, — видел его силуэт, пространство, которое тот обычно занимал. Сейчас силуэт был прозрачен, на этом месте зияла пустота, и Джаба мучился, стараясь заполнить ее воображением. Ах, какой хороший это был друг — Джабе хотелось быть с ним всегда, ни на минуту не расставаться. Кто это был? Куда он делся? Когда пропал?

На перекрестке завизжали в блестящих желобках рельсов трамвайные колеса, и улица вновь обступила Джабу, хмель вновь затуманил его.

Он подзывал такси, но водители не останавливались. Время от времени, когда Джаба преграждал путь очередной машине, со всех сторон раздавались испуганные возгласы.

— Молодой человек, садитесь в машину, а то милиция вас заберет!

Словно с неба донесся до Джабы женский голос.

Он обернулся. За спиной у него стоял таксомотор. Где-то вдалеке глухо рокотал двигатель. За рулем сидела женщина средних лет в коротком синем пальто из искусственной кожи. Она перегнулась назад, ловко дотянулась до дверной ручки и открыла заднюю дверцу.

Джаба сел в машину. Такси тронулось.

— Видите — милиция! — показала женщина-водитель в окошко. — Я избавила вас от холодного душа.

Такси почему-то направилось в сторону университета.

«Пусть едет, куда хочет!» — подумал Джаба.

— У вас дверь не закрыта, — женщина остановила машину, еще раз перегнулась назад и захлопнула с силой заднюю дверь. — Скажите свой адрес, пока не заснули.

Джаба испугался — как бы в самом деле не заснуть. Но еще больше пугала его перспектива быть доставленным домой. Ему не хотелось сейчас возвращаться к себе. Он сам не знал, чего ему хотелось. И тут он вспомнил о Гураме.

— Площадь Марджанишвили! — пробасил он, испытывая удовольствие оттого, что так легко обманул водителя.

— Ки, батоно! Есть!

В машине его слегка укачало, и он ненадолго задремал. Ему пригрезилось, что за рулем сидит мама. Она всю ночь искала Джабу, нашла наконец его на улице и сейчас отворачивала лицо, чтобы сын не узнал ее. И при этом улыбалась в душе оттого, что Джаба назвал не тот адрес.

Джаба открыл глаза, перегнулся через спинку переднего сиденья. Ему захотелось посмотреть на лицо этой немолодой, с проседью, женщины, сидевшей за рулем. Непременно надо было узнать, какова та, кого он принял за собственную мать.

Машина влетела на мост. Здесь студеный ветер буйствовал, точно спущенный с цепи. Полный ярости, он врывался в машину через все окошки и щели, налетал на Джабу со всех сторон.

— Ну вот — приехали!

Автомобиль подтащил, подмял под себя площадь

и опрокинул себе на голову высокий дом, вздымавшийся напротив.

Джаба вышел из машины, порылся в карманах.

— Спасибо, сынок! Только не вздумай куда-нибудь завернуть!

...Словно кто-то встал бок о бок с Джабой, подставил ему плечо. Это был лестничный поручень. Джаба повис на нем всей своей тяжестью. Поручень не отступал от Джабы и, сковав его, понемногу уводил все выше и выше.

Отец и мать Гурама в Москве. Гурам один. Наверное, спит. Джаба разбудит его... Велика важность — пусть проснется!

«А может, его и вовсе нет дома. Тем лучше, я уйду и... пусть сам меня ищет, если хочет... Уши ему надеру! Отругаю хорошенько негодника! Все забыл, все — детство, школу...»

Снова вспомнился Джабе тот, потерянный его друг. Нет, не Гурам и не Нодар, а кто-то другой, еще более близкий. К нему спешил обычно Джаба, чтобы поделиться любой своей радостью или печалью. Он знал: друг порадуется его счастью, друга огорчит его горе — и от этого радость самого Джабы удвоится, а печаль его утихнет. Какой замечательный друг! Кто же это был? Быть может, он умер — почему же Джаба не помнит об этом?

Джаба очнулся от своих мыслей, посмотрел назад, на убегающие вниз ступени. Лестничный поручень миновал квартиру Гурама и увел Джабу на следующий этаж. С грохотом низвергающегося обвала сбежал оттуда Джаба — кажется, упал по пути и ушиб колено.

Квартира оказалась незапертой — Джаба ввалился в переднюю.

— Гурам!

Пошатываясь, направился он к отворенной настежь двери, ведущей в комнаты. Там, за нею, было темно,— казалось, дверь выкрашена в черный цвет. На этом черном четырехугольнике возникла фигура Гурама. Встревоженный, в одной майке и в трусах, выскочил он в переднюю.

— Откуда ты взялся? Разве было незаперто? — Он щелкнул замком входной двери. — Не мог посту-

чать? — Топая босыми ногами, он побежал назад, к комнатной двери, закрыл ее. Потом схватил Джабу за локоть и потащил на кухню.

— П...приехали? — Джаба показал на комнату; он подразумевал родителей Гурама.

— Приехали.

Вот они на кухне. Гурам зажег свет, закрыл дверь. Джаба зацепился за стул и с размаху сел. Лампочка под потолком слепила его — он невольно жмурился.

— Прости, что я разбудил те...тебя... Похоже, что и ты тоже в...выпил.

— Если ты это заметил, значит, не так уж сильно пьян.

— Я не п...пьян... А ты сердишься, потому что тебя разбудили. Но не...го...говоришь мне ничего... Я сейчас уйду.

Джаба почувствовал, что Гурам ничего не имеет против этого, и обиделся. Ему стало жалко себя до слез: так мало дорожит им старый друг!..

— Как х...хочешь, — он посмотрел Гураму в глаза. — Только сначала еще одно слово... Ты не ответил на мой вопрос... Не ответил дав...веча, у нас... Ты сказал, что Дудана нед...достойна меня, помнишь? И отказался об...объяснить... Скажи, что ты... что ты имел в виду... и я уйду.

— Куда ты пойдешь!

— Если не ответишь... Если не дашь удов...удовлетворительного ответа, я не п...прощу тебе оскорб...бительного отзыва о Дудане... Да, ос...оскорбительного! Между нами все б...будет кончено.

— Как напился, так и вспомнил? — Гурам растирал обеими руками озябшие плечи.

— Да, вспомнил... Что ж такого?.. Думаешь, я пьян и не способен рассуждать? Нап...против, мыслю еще острей...

— Посиди тут,— сказал Гурам. — Я сейчас вернусь. Он вышел.

Грубым, повелительным показался его тон Джабе. И на душе у него стало еще горше.

«Все!.. Разошлись, потеряли друг друга... Навсегда!»

На столе выстроились в ряд три бутылки коньяка. В первой оставалось лишь несколько капель на дне,

вторая была опорожнена наполовину, третью не успели еще раскупорить. Рядом, на тарелке завивалась фестонами потемневшая яблочная кожура. На полу валялся обломок плитки шоколада и — пара остроносых женских туфель.

Вошел Гурам — одетый, в шлепанцах.

— Выпьем, раз мы и так уж пьяны!

Джабе он показался протрезвевшим.

— Я пришел сюда потому, — сказал Джаба и взял рюмку, — что завтра уже не мог бы прийти.

— Почему?!

— Ваш дом ведь сносят...

— Ах, да... — настороженное выражение исчезло с лица Гурама.

— Ты же с...сам сказал, что сносят... Я хотел посмотреть еще раз... Где мы готовили уроки... Выпускные экзамены помнишь? Тут, на кухне, мы химию зубрили...

— Сидели на этих самых табуретах, — подхватил Гурам без особого энтузиазма, постучав пальцем по ножке табурета.

— Дай мне этот табурет. На память!

— Бери! — усмехнулся Гурам.

— Я не шучу, взаправду.

— Взаправду и забирай.

— Спасибо. Когда уйду, зах...хвачу с собой. За эти табуреты! — Джаба осушил рюмку.

— Присоединяюсь! — Гурам отпил немножко из своей.

— А теперь говори — почему недостойна меня Дудана? — Джаба стукнул по столу кулаком, потом оглянулся и тихо, про себя проговорил: — Простите, тетя Эльза.

— Завтра скажу.

— Говори сейчас!

— Джаба, клянусь тебе чем хочешь, завтра непременно скажу.

— А сейчас я, по-твоему, пьян, да? Но я во...вовсе не пьян. Ты же знаешь, я люблю Дудану... Люблю так сильно, что... Разве я не должен тебе рассказать? Кому же еще, как не тебе? Так сильно, что... завтра же

уведу ее к себе, на мой чердак... И ты будешь шафером...

— Джаба!

— Ты будешь, ты! — закричал Джаба; потом опять, спохватившись, обернулся с виноватым видом и поднес палец к губам: — Извините меня, тетя Эльза!— Помолчав, он продолжал: — Ты знаешь, что я сделал? Я надул весь мир...

— Как это ты ухитрился? — отозвался с сухим смешком Гурам.

— Смейся, смейся... А я надул! Сейчас весь мир думает, что познакомился с двумя благородными людьми, жителями Тбилиси... Но напрасно думает, ошибается... Я женюсь на Дудане... Обманешь ты весь мир? Ты и меня не обманешь! Надо быть журналистом, надо, чтобы тебе доверяли, — тогда все в порядке... Впрочем, у тебя тоже блестящая будущность. Ты режиссер. Сначала сними что-нибудь, а там посмотрим... Дудана с завтрашнего дня будет жить у меня, мы с тобой вместе пойдем за нею.

Мысли Джабы сплетались, сцеплялись, разбегались самым затейливым образом, не подчиняясь никаким законам. Он помнил, о чем идет речь, только пока говорил, а через минуту мог начисто забыть предмет разговора.

— Давай поговорим завтра. А сейчас я ничего не понимаю из того, что ты говоришь, да и ты меня вряд ли поймешь. Бери рюмку, выпьем! Будь счастлив! — Гурам выпил свою рюмку до дна.

— Как я могу быть счастливым, когда ты так исподличался?! — вскричал вдруг Джаба; глаза у него покраснели.

Гурам вскочил.

— Эй, товарищ, следи за собой! Что ты болтаешь?

— Я давно уже слежу, — снова перешел на шепот Джаба. — Нодар тут ни при чем. Письму Нодара я вовсе не поверил. Я и так все знаю... Знаю, да, знаю сам... И ты прекрасно знал, что я люблю Дудану, но нисколько не посчитался...

— Ах, так это все работа Нодара?

— Не посчитался, ни во что не поставил... Не Ду-

дана меня... А ты недостоин Дуданы, Дудана и плюнуть на тебя не захочет, а ты этого не хочешь понять!

— Плюнуть не захочет? — Лицо у Гурама стало мертвенно-бледным.

Джаба искал какое-нибудь убийственное, разящее слово, такое, чтобы оно поразило Гурама в самое сердце, свалило его замертво.

— Гурам, ты развратник... Да, развратник и ме...меришь всех, весь свет на свой аршин.

— Плюнуть не захочет?

— Нет! Дудана не такая, Дудана совсем иная.

— Идем! — Гурам легонько подтолкнул товарища пониже затылка; пальцы у него были как ледяные сосульки. — Идем!

— Оставь меня! — вскричал Джаба, но встал.

Гурам прошел через переднюю, толкнул комнатную дверь и наполовину скрылся во мраке.

— Иди сюда! — Он потряс кулаком в воздухе и повторил: — Иди сюда, ты, слепец!

Ужасное предчувствие лишило Джабу всех сил. С расширенными глазами он кое-как доплелся до двери и позволил грубой, бесцеремонной руке Гурама втащить себя в непроглядную черноту за нею. Словно курок пистолета, щелкнул выключатель, и белый, яркий свет лампы на столике залил все вокруг.

Джаба схватился за стену, чтобы не упасть. Он почувствовал, как замерло сердце у него в груди, помедлило, словно колеблясь — остановиться навеки или продолжать биться, — потом вдруг отчаянно затрепыхалось и послало горячую волну крови в мозг. Это и есть кровоизлияние? Джаба явственно видел, как сочилась кровь из лопнувшего сосуда, и в каждой капельке крови отражалась обнаженная Дудана.

Дудана спала на тахте. Она лежала навзничь, сбросив одеяло. Одна нога у нее была согнута в колене, словно она поднималась по лестнице, голова запрокинулась, вся она как бы стремилась куда-то ввысь, впивая неописуемое блаженство. Горячая тень ее груди мерно поднималась и опускалась на стене.

Казалось, захлопнули тысячу окон, заперли тысячу дверей, выключили все мысли — осталась только одна светлая точка, как бы виднеющийся вдали выход из

туннеля. Лишь простейшая, элементарная мысль, выраженная в простейших словах, могла протиснуться сквозь это тускло светящееся отверстие.

— Она простудится! — Собственный голос послышался ему, как мяуканье. — Как бы она не простудилась...

Он был словно осужден на смерть. И сейчас имел единственное право — спросить, какая его ожидает казнь: повешение? расстрел? И Джаба спросил:

— Почему она не просыпается? — Он почувствовал, как по щеке у него скатилась слеза.

— Захмелела немного, — услышал он голос Гурама.

Эти такие земные слова несколько отрезвили Джабу. Он еще шире раскрыл глаза.

— Когда это случилось? — Джаба показал пальцем в сторону тахты. — Когда она вышла за...замуж?— Он говорил как бы из потустороннего мира.

— Замуж она не выходила.

Лишь сейчас Джаба явственно увидел Гурама. Гурам стоял тут же, перед Джабой. Он наклонился к лампе и погасил ее.

— Вы еще не расписались?

— Я пока не собираюсь... — Гурам вышел в коридор. — И Дудана не собирается плевать на меня, помни это!

Джаба застрял в дверях. Гурам обернулся к нему — глаза у него блестели, губы кривились в улыбке, от которой Джабу воротило с души.

Вдруг светлая точка, далекий выход из туннеля, взорвалась, стала расширяться, трещина побежала по туннелю, повалились стены, рухнул свод — и над головой у Джабы внезапно открылось небо, затянутое багровыми облаками.

Откуда-то появилась у него тысяча рук, руки сами собой сжались в кулаки, и Джаба замолотил ими по этому отвратительному, мерзкому, источающему яд лицу... Немедленно уничтожить, погасить эту липкую улыбку, стереть с этого ядовитого лица его низменное выражение, иначе Джаба сойдет с ума! Глаза Джабы, полные бешенства, испугали Гурама. Он бросился на кухню и захлопнул за собой остекленную дверь.

Джаба вышиб ногой стекло. Отлетевший осколок, видимо, попал в Гурама — он выпустил дверную ручку.

Джаба ворвался на кухню и грохнул кулаком, как кувалдой, Гурама по голове. Гурам вцепился обеими руками ему в горло, сжал пальцы изо всех сил.

Джабе показалось, что у него сейчас лопнут щеки, дыханье перехватило, глаза полезли вон из орбит, но он не почувствовал боли. Лицо Гурама сводило его с ума — этот гнусно кривящийся рот мог еще изрыгнуть грязные слова!

Яростным движением он оторвал от своего горла пальцы Гурама, и вновь появилась у него тысяча кулаков.

Лицо!

Лицо!

— Она простудится — говорил я тебе!.. Она простудится!.. Говорил я тебе... Говорил я тебе... Говорил...

Пронзительный женский крик сковал его; Джаба уронил руки. Нетрудно было догадаться, кто кричит. Он стоял спиной к выломанной кухонной двери, но не обернулся — только прислушался. Казалось, откуда-то издалека донеслись до него приглушенные рыдания.

Внезапно кулак Гурама стукнулся о его грудь. Это не произвело на Джабу особенного впечатления. Он ответил ударом обеих ладоней снизу, в подбородок,— как бьют по волейбольному мячу. Гурам отлетел к радиатору, рухнул на пол, словно рассыпался на части.

Джаба тяжело дышал. Он не мог заставить себя обернуться — ему казалось, что там, распростершись на полу, плачет Дудана. Он не знал, что делать. Потом понял, что это ему только чудится, и нерешительно повернулся. Захрустело под ногами битое стекло. Джаба вышел из кухни. При виде зияющего темного четырехугольника комнатной двери в нем снова вспыхнула злость. Он опять ворвался на кухню. Гурам вытирал ладонью кровь с разбитой скулы и смотрел на свои запачканные пальцы. Ярость Джабы утихла. Он зацепился за табурет, в сердцах схватил его.

— Это мое! — буркнул он сердито.

Медленно спускался он по лестнице. Табурет громыхал, цепляясь за ступеньки, но Джаба ничего не

слышал. Лишь выйдя на улицу, он заметил, что держит что-то в руке, поспешно вернулся в парадный и сунул табурет за дверь.

Площадь была погружена в дремоту. Утомленный суматохой долгого дня, автоматический светофор точно бредил во сне: желтый... красный... желтый... зеленый... желтый...

Джаба пересек площадь, обернулся, посмотрел на дом, из которого вышел, долго не мог оторвать взгляд от окон квартиры Гурама.

Горло у него сжалось, он не мог сдержать рыданий. Отвернувшись к витрине магазина, точно на этой пустынной, темной площади, его кто-нибудь мог увидеть, он вытирал слезы кулаками, как ребенок. Ему казалось, что все пропало, погибло все человечество, жизнь на земле прекратилась, он больше не услышит смеха, этот спящий город никогда не откроет глаз. Скоро настанет утро, взойдет солнце — и увидит мертвую землю. А Джаба желал всей душой — о, как страстно желал Джаба! — чтобы в мире продолжалась жизнь.

Тут он неожиданно вспомнил того самого близкого друга, что был у него, когда-то, того, к кому он неизменно стремился, с кем делился всеми своими радостями и печалями... Пустота заполнилась, силуэт ожил, и Джаба увидел этого сердечного, преданного друга: это был он сам — жизнелюбивый, стойкий Джаба.

РОЖДЕНИЕ

Девять часов утра. Джаба пересекает улицу у дома шахтеров. Он быстро шагает, ничего не видя вокруг себя, ничего не чувствуя. Знакомый проспект заботится о нем: переводит его через улицу у надписи «Переход», останавливает посередине проезжей части, чтобы пропустить вереницу автомобилей, держит на остановке в ожидании автобуса и сажает именно в тот номер, который ему нужен.

Десять часов. Джаба поднимается по лестнице райисполкома, держа в руках фотоаппарат — авось его, как корреспондента, пропустят к начальнику жилотдела без очереди.

Перед кабинетом Бенедикта нет никого. «Прием от 2 до 5 часов», — читает Джаба. Толкает дверь — она заперта.

— Зибзибадзе принимает в кабинете председателя, — говорит кто-то за его спиной.

Это сотрудница райисполкома, она стоит в дверях противоположной комнаты.

— Председателя?

— Да. На пятом этаже, — женщина указывает вверх пальцем и движением бровей.

— Он назначен председателем?

— Пока еще нет, но... — улыбается сотрудница. — Председателя перевели на другую работу, и Зибзибадзе сидит в его кабинете. — Она опять поднимает одновременно палец и брови.

Не дожидаясь лифта, Джаба взбегает по лестнице на пятый этаж.

В приемной председателя райисполкома за небольшим столом без тумб и ящиков сидит худощавый молодой человек. Он вскакивает и преграждает Джабе путь перед самой дверью кабинета.

— Вы к кому?

— К товарищу Зибзибадзе.

— По какому делу?

— Это я скажу ему самому.

— И все-таки, что вам нужно? — У молодого человека полна горсть семечек; он безостановочно лузгает их.

— Доложите, что пришли из журнала «Гантиади».

— Хорошо, — говорит молодой человек и спокойно садится за свой стол. — Сейчас у него совещание. Подождите.

— Я очень спешу.

— Прошу подождать, — молодой человек указывает на стул.

Джаба нервничает, курит сигарету за сигаретой. Комната наполняется молочно-голубоватым дымом. Молодой человек, технический секретарь, вооружившись большим синим карандашом, по-видимому, что-то рисует. На подбородке у него — прилипшая шелуха от семечек. Джабу это раздражает, но он ничего не говорит секретарю. Не хочется.

Наконец молодой человек встает и прикрепляет кнопками к стене надпись: «Курить строго воспрещается».

Аккуратно нарисованные буквы сразу поворачиваются лицом к Джабе, — едва родившись, приступают к исполнению своих обязанностей.

Джаба вытягивает из пачки новую сигарету, но не закуривает: не стоит связываться.

Технический секретарь по-прежнему сидит у своего стола и орудует карандашом. Должно быть, готовит еще одну надпись: «Не задерживайтесь без дела» или «Просьба закрывать дверь».

«А дома у тебя, Джаба, дверь сама закрывается?»— сказала Джабе учительница, когда он в первый раз пришел в школу. Весь класс заливался смехом.

Вдруг молодой технический секретарь вскакивает — видимо, безошибочное чутье извещает его, что к двери кабинета подошли изнутри, хотя оттуда не доносится ни звука.

Джаба встает вслед за секретарем. Волнение расслабляет его, он чувствует себя обессиленным, как после долгой болезни. А может быть, он и в самом деле давно уже болен?

Из кабинета выходят трое. Один, длинный как жердь, смотрит на Джабу так, словно перед ним невесть какая невидаль; кажется, один глаз у него стеклянный. Другой, низенький, шагает, откинувшись назад всем корпусом,— очевидно, чтобы не волочить по полу огромное брюхо. Третий, которого они ведут, встав с двух сторон, поражен странным недугом: он безостановочно роется в карманах.

Технический секретарь приглашает Джабу в кабинет.

При виде Бенедикта Джаба успокаивается; теперь важно одно: не тянуть.

— А-а, товарищ Алавидзе, мое почтение! Привет будущему зятю, привет! — Бенедикт отделяется от стола и спешит с распростертыми объятиями навстречу Джабе. — Слушай, где ты пропадаешь, я давно уже тебя жду, звоню тебе беспрестанно. В Москву ездил? Давно ли вернулся? Я тебе тоже приготовил хорошенький подарок, да, да, мой Джаба, я тоже... Он там,

в моем кабинете, — он показывает пальцем вниз, на пол.

— В прежнем кабинете?

— Хе-хе... Не знаю, посмотрим... Придется его сменить, иначе нельзя, придется... С помощью друзей и доброжелателей! Сейчас пошлю за ордером, посмотришь своими глазами. Поставим на бланке вашу фамилию — и дело в шляпе.

Бенедикт тянется к кнопке звонка. Джаба отводит его руку и садится за стол, в кресло председателя райисполкома. Бенедикт делает вид, что не замечает его нахальства.

— У меня к вам маленькая просьба, батоно Бенедикт.

— Пожалуйста, мой милый, ты мне такую услугу оказал, что я любую твою просьбу обязан исполнить.

Джаба закуривает сигарету и пускает струю дыма в потолок.

— Одолжите мне сто тысяч рублей.

Бенедикт хватается обеими руками за сердце, медленно опускается на стул.

— Откуда я возьму, дружок, сто тысяч? Да я столько денег сосчитать не сумею!

— Вы должны мне их одолжить.

— Да ты что, с ума сошел?

— Ну, тогда пусть будет двести.

— Двести рублей? — к Бенедикту возвращается румянец.

— Двести тысяч... У тебя все равно еще много останется!

— Да ты что, смеешься надо мной, что ли? — кричит Бенедикт.

— А если меня назначат сюда — как тогда?— Джаба стучит пальцем по ручке председательского кресла.

У Бенедикта перекашивается лицо. Нижняя губа и подбородок у него дрожат, как в лихорадке, он пытается что-то сказать, но не может.

«Довольно. Теперь перейдем к делу», — думает Джаба. Он берет телефонную трубку и набирает номер со словами:

— Раз ты отказываешься одолжить, я вынужден...

Первое, что бросилось Джабе в глаза, когда он во-

шел в кабинет, был блестящий телефонный аппарат на столе: Джаба сразу почему-то подумал о заместителе министра внутренних дел. В памяти всплыл номер телефона — крупные цифры, выведенные его, Джабы, вечной ручкой.

— Это министерство? Попросите товарища Кебурия... Из журнала «Гантиади»... Алавидзе... По какому делу? У нас печатается его статья, он сам просил позвонить... — Джаба поднимает глаза; Бенедикт медленно, незаметно отступает к двери — так медленно и незаметно, что Джабе кажется: Бенедикт стоит на месте, а дверь движется к нему... Джаба улыбается в телефонную трубку:— Здравствуйте, батоно Леван. Это Алавидзе, из редакции «Гантиади». Спасибо, прекрасно... Мы получили от вас фотодокументы, все в порядке... Да, в декабрьском номере... Спасибо, передам... Батоно Леван, — Джаба дышит с трудом, ему не хватает воздуха, хотя он ни с кем не разговаривает: в последнюю минуту он набрал не тот номер, и никто ему не ответил. Сейчас Джабу интересует, как будет вести себя Бенедикт, он должен проверить, правда ли все то, в чем он Бенедикта подозревает. — Батоно Леван, у меня к вам спешное дело... Прошу вас, записывайте за мной... Вы слушаете? На Чалаурской улице, в доме номер пятьдесят семь, — говорит Джаба с расстановкой; Бенедикт стоит, прижавшись к двери, похожий на чучело какого-то животного, — записали? Сейчас объясню, в чем дело. В этом доме живет некто Бенедикт Зибзибадзе, взяточник... — Джаба чувствует, как оживает чучело и, рассвирепев, бежит к нему. — Прошу вас немедленно обыскать его квартиру... — Джаба видит перед собой Бенедикта с револьвером в руке; блестящая сталь отливает синевой; у него сразу пересыхает во рту, словно он глотнул пламя. — Батоно Леван, он вооружен. Посмотрите в книжном шкафу, в томах сочинений Бальзака... — Какое-то неодолимое упрямство или инерция возбуждения растягивают губы Джабы в улыбке; инстинкт самосохранения подсказывает, что сейчас его может спасти разве что шутка.— Будьте осторожны, батоно Леван, он вооружен! Вот, слушайте, если не верите! — Замороженная страхом улыбка превращает лицо Джабы в безжизненную мас-

ку, он поднимает вверх телефонную трубку и закрывает ею маячащую перед ним точку — дуло револьвера. — Слушайте, батоно Леван!

Это было ошибкой, последним, решающим толчком. Черная пластмассовая трубка разлетается вдребезги, раздробленная пулей. Джаба хватается обеими руками за голову и отлетает назад, ударяется о спинку кресла. Последнее его зрительное впечатление — бегущий к двери Бенедикт... Он тянется к фотоаппарату, лежащему перед ним, хочет снять эту картину... Смутная мысль, что все это уже когда-то было, отрывается каплей от его сознания и испаряется, превращается в ничто.

Соленый мрак — необъятный, бездонный океан — ходит ходуном, бурлит, грызет берега. Прошел миллиард лет, а он все не может уместиться в своем ложе и, наверно, никогда не привыкнет к нему. В глубине океана плывет Джаба. Он так мал, что не различает сам себя.

«Это монера, одноклеточное существо, — говорит учитель Цабо. — Она размножается делением».

Наконец Джабе удалось выбраться на поверхность океана. Он осматривается, глядит по сторонам.

— Мама! — обрадованно кричит он.

Мать стоит на берегу. Зеленые косы достают ей до щиколоток, лицо ее сияет, как солнце, подол ее — горные склоны, покрытые дремучими лесами, с ее груди низвергается белопенный водопад.

— Что дальше?— спрашивает Джаба.

Мать наклоняется, опускает руки в воду, ласкает сына. Джаба понемногу растет. С удивлением рассматривает он свое вытянутое, трубчатое тело. Трубка всасывает воду, потом мышцы ее сокращаются, и она ныряет в глубину.

«Это гидра, дети, многоклеточное существо низшего уровня»,— слышится в классе голос учителя.

— Дальше, мама, дальше!

Волны качают Джабу, он то приближается к матери, то удаляется от нее. Мама наклоняется снова, зачерпывает горстью воду, а вместе с нею и Джабу, ласкает его. У Джабы отрастают плавники, появляются жабры; взмахнув сильным хвостом, он исчезает в волнах.

Вольно скользит он по океанским просторам, подплывает к островам, погружается в пучину, но скоро все это надоедает ему, и он поднимается на поверхность.

— Дальше, мама, что же дальше?

Мать задумывается. Она думает долго. Зеленые косы ее недвижны, леса на подоле платья замерли. Мама колеблется, она словно боится — как бы не совершить ошибку. Наконец она наклоняется, вытаскивает Джабу из океана и сажает его на землю...

«Встань и отвечай урок!» — учитель стоит у окна, зайчик, отбрасываемый его очками, дрожит на стене.

«Амфибия, — начинает Джаба, — это переходная ступень между водяными и земными существами...»

— Дальше, мама, дальше!

Джаба прыгает с ветки на ветку; шелестят мягкие листья. Паря, опускаются на землю оборванные им красные и белые цветы. Так, по деревьям, пробежал Джаба через весь лес. Кажется, за ним никто больше не гонится...

— Дальше!

...Джаба греет руки у костра, огромная его тень колеблется на стене пещеры.

— Дальше! Что дальше, мама? Будет еще что-нибудь?

Мать подходит к нему, садится рядом, гладит Джабу по голове.

— Ты теперь уже большой, сынок, научился ходить, говоришь, есть у тебя разум. Теперь все зависит от тебя одного. Я не скупилась на труды — ничего для тебя не пожалела. Каким будешь ты, такими будут и твои дети...

...Воздух впервые попал Джабе в дыхательное горло, и он заплакал. Ревет громко, протяжно, на всю комнату.

Комната очень большая. Потолок высокий, как само небо. Джаба вскочил, убежал от матери в соседнюю комнату. Там хлопочут военные.

— Вы записываетесь в добровольцы? — спрашивает офицер.

— Да.

— Тогда познакомьтесь! — приказывает офицер су-

рово, точно давая боевое задание, и подводит Джабу к красивой женщине.

Джаба подает ей руку; сердце у него сжимается: половина лица у женщины обожжена и исполосована шрамами.

Женщина понимает, что Джаба заметил это, и плачет.

Джаба проходит в следующую комнату. «Мама, наверно, ищет меня. Как быть? Вернуться?»

Посередине комнаты стоит Ангия; он углублен в какое-то занятие. Джаба прячется за дверью и следит за ним через замочную скважину. Ангия раскладывает на столе столярный инструмент. Потом наклоняется и ставит на пол маленького Бенедикта.

— Плачь! — приказывает он, глядя на него сверху.

Бенедикт плачет.

— Смейся!

Бенедикт смеется.

— Умри!

Бенедикт умирает.

— Воскресни!

Бенедикт оживает.

Ангия чрезвычайно доволен. Он нагибается, подхватывает Бенедикта и зажимает его в горсти. Потом открывает дверь и выглядывает на улицу. Убедившись, что за ним никто не следит, он быстро высовывает руку в дверь и выпускает Бенедикта. Бенедикт бежит без оглядки и смешивается с толпой где-то вдали, на людной площади. Ангия снова берется за инструмент и начинает мастерить второго Бенедикта...

— Нале-е-во!

Песок пустыни слепит Джабе глаза, но он и бровью не ведет: сейчас нарушать строй ни в коем случае нельзя.

Полководец сидит на коне, вздымая над головой обнаженную саблю.

— Храбрые мамелюки! — обращается он к войскам. — Враг напал на нашу землю... Кровь за кровь!

Женщина с обожженным лицом раскрывает классный журнал, останавливается перед строем и читает список, вызывает по списку:

— Любовь!

— Здесь! — откликается Джаба.

— Храбрость!

— Здесь! — повторяет Джаба.

— Страх!

— Нет! — Джаба гордо глядит на полководца.

Женщина подходит к Джабе, целует его.

Надвигается враг; он уже миновал линию пирамид. Впереди идут танки. Джаба поднимает радиорепродуктор, как автомат, и уничтожает их. Но враг не дрогнул — он упорно наступает, идет вперед. Вражеские войска уже совсем близко. Джаба изумлен: каждый солдат — Бенедикт! В первой шеренге, во второй, в третьей, в первом взводе, во втором, в третьем, все — Бенедикты, одни Бенедикты, только одетые в военную форму. Все вместе, одновременно, прицеливаются на Джабу из револьверов и все вместе, одновременно, стреляют...

Он открывает глаза, переводит взгляд с потолка на высокое окно, видит в его раме оголенные ветви деревьев. Потом его внимание привлекают кровати, покрытые белоснежными простынями. И вдруг он осознает все.

Мама сидит рядом на стуле, повернувшись к нему спиной, и разговаривает с каким-то стариком. Старик полулежит на соседней кровати, откинувшись на высоко взбитые подушки. Рука Джабы выползает из-под одеяла и теребит край халата Нино.

Мама мгновенно, словно пораженная ужасом, поворачивается к нему, падает на колени перед кроватью, покрывает руку Джабы поцелуями.

— Джаба, сыночек! Джаба, сыночек! — Больше она не в силах ничего выговорить. Глаза у нее наполняются слезами. Но от этого ее радость еще явственнее, еще очевидней.

— Сообщите Руруа! — кричит кто-то в коридоре.

— Спасен! Спасен! Как обрадуется профессор, пожалуй, сразу и не поверит!

Это, должно быть, сиделка; схватившись обеими руками за щеки, она пятится к двери палаты.

«Руруа? Это Руруа делал мне операцию?»

Джаба почему-то сгорает от стыда.

Больные приподнимаются на постелях. Некоторые даже встают с кроватей, собираются около него, толпятся за спиной у мамы. У Джабы кружится голова. Он чувствует, что не может пошевелить шеей, и догадывается, что она зажата в лубках.

— Ну-ка, все по своим постелям! Профессор идет!

Джаба видит в дверях лицо Михаила Руруа, вытянутое то ли от волнения, то ли от профессионального любопытства, улыбается и теряет сознание.

ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ

17 декабря

Вот уже неделя, как мама не дежурит около меня по ночам. Я с трудом убедил ее, что это излишне. Мне казалось, что ее горе, ее тревога затягивают мое выздоровление. На кровати по соседству со мной сменился уже третий больной. Я же, наверно, смертельно надоел и своей кровати, и палате, и врачам. Сейчас рядом со мной лежит один азербайджанец. Бедняге уже один раз сделали операцию, но, зашивая, неправильно уложили кишки в брюшину. Его привезли с животом, свернутым набок, и здесь оперировали вторично. Заметив седину у меня в волосах, он обещал мне такую краску, что, по его словам, даже дети мои никогда не поседеют...

Вчера Нодар развивал такую «теорию»: А, В и С довелось жить в одно и то же время. Они никогда не встретятся и не будут знакомы с Д, Е и F, которым предстоит родиться через сто лет, не смогут полюбить их или стать их врагами. А, В и С, которым выпал жребий жить на земле вместе, могут общаться лишь друг с другом; возможность взаимоотношений с другими людьми (с будущими людьми — с *D*, *E* и *F*) исключена. Отсюда следует, что человек должен использовать свою жизнь для любви, должен любить своего ближнего, «товарища по столетию». Если им овладеет ненависть, он уйдет из мира, не испытав того великого счастья, которое дарит человеку любовь. Жить — значит

любить; ненавидеть — то же самое, что не жить.

Я сказал, что это вздор, глупость: если ты не испытываешь ненависти к тому, кто ее достоин, значит, ты не любишь того, кто как будто любим тобой.

23 декабря

Гомеостат! Четырехкабинный душ — пережиток старинной бальнеологии. Сейчас его собираются использовать для проверки способности приспособления к коллективу членов будущих космических экипажей. Две трубы подают горячую и холодную воду. Вода распределяется поровну между всеми четырьмя кабинами, и температуру ее трудно вытерпеть, хотя вымыться, кое-как все же можно. Но если кто-либо из принимающих душ пожелает сделать воду у себя погорячей и повернет соответствующий кран в кабине, у остальных троих вода остудится. Естественно, все они бросятся к своим кранам, станут наперебой крутить их, и в конце концов все спутается — все четверо окажутся под холодным душем. И вот, того космонавта, который захотел улучшить свои условия за счет товарищей, не пустят в космос (журнал «Наука и техника»).

Если бы возможно было устроить гомеостат на миллион кабин! С его помощью удалось бы в один прием выявить и разоблачить всех мошенников, всех любителей поживиться за чужой счет!

Бенедикт попал в аварию не во Мцхете, а около Дигоми. И вовсе он не столкнулся с дорожным катком, как говорили. Его автомобиль налетел на полном ходу прямо на будку автоинспекции. Так посмеялась над ним судьба: хотел убежать от закона — и прикатил к милиции на собственных колесах! Ему сделали сложную операцию с трепанацией черепа. Если бы он погиб, я не стал бы жалеть, а сейчас мне почему-то его жалко. Он совершенно потерял память, никого не узнает, не помнит названий самых обыкновенных предметов. Словом — разучился говорить. У него ум двухлетнего младенца, так что его учат всему с самого начала, — так сказал мне профессор Руруа. Он не помнит даже и того, что ел час тому назад, более того — самое слово «есть» начисто позабыл.

— Предупредите ваших коллег, чтобы они ни в ко-

ем случае не учили его этому слову! — попросил я профессора.

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Почему?

— Опасно: «есть» — «жрать» — «глотать». А значит — хватать, хапать! Раз уж воспитание ведется с самого начала, лучше научить его не «есть», а «питаться».

Руруа улыбнулся.

Шутки шутками, а мне все же как-то жаль Бенедикта. Сегодня мне рассказали, что он узнал своего младшего сына, стал его целовать, а из глаз у него катились слезы.

Старший сын Бенедикта пропал, две недели его ищут и не могут найти. Должно быть, Ромул решил построить собственный город.

Пока к Бенедикту не вернется разум, его не могут судить. А разум, возможно, никогда к нему не вернется.

25 декабря

Тамила! Тамила! Тамила приходила ко мне! Я совсем было забыл ее. И совсем не ожидал ее посещения. Почему-то мне хотелось целовать ее руки. Она сидела около меня и щебетала. Она была похожа на раковину из небесных глубин, в которой еще не заглохли звуки неба; голос ее отдавался музыкой у меня в ушах.

28 декабря

Перечитал дневник и вспомнил: как я боролся с собой, чтобы не вписать в него имя Дуданы! И вот оно все же оказалось на этих листках. Дудана ведь тоже однажды навестила меня, когда я лежал больной дома...

Кровь моя бурлит, струится по жилам — где-то во мне, словно на магнитофонной ленте, записывается песня о Тамиле, и новая запись стирает старую — песню Дуданы.

В самом деле это так или только кажется мне?

Медсестра отмечает мою температуру на табличке, висящей у меня в головах. Я попросил показать мне

эту табличку. Кривая моей температуры за последний месяц оказалась похожей на горную цепь с чередующимися вершинами; цепь замыкается пологим склоном, постепенно переходящим в равнину. Наверно, меня скоро выпишут.

29 декабря

Профессор Руруа рассказал мне...

Он сидел дома, принимал больных. У входа позвонили, он сам пошел открывать. В дверях стоял коренастый, плотный человек в военной форме, по погонам — полковник, и почему-то улыбался.

Профессор принял его за пациента, пригласил в кабинет. Полковник последовал за ним.

— Садитесь!

Полковник смотрит профессору в глаза и многозначительно улыбается.

— На что жалуетесь?

— Не узнаете меня, батоно Михаил? А ведь сами вызвали меня на сегодня!

Это был тот самый шофер!

1 января

Мама оставалась со мной допоздна. Когда пробило двенадцать часов, она расцеловала меня, положила мне в рот, по обычаю, кусочек гозинаки[1] и ушла.

Мне не спалось — я бодрствовал чуть ли не всю новогоднюю ночь. В окно ко мне смотрела луна. Я беседовал с нею в душе.

Я сказал ей: «Новогодняя луна 1957 года! Клянусь, через год или два снова мы встретимся с тобой, в этот же час... Я буду тогда совсем другим — и у меня будет чем гордиться, клянусь тебе!»

Потом я попытался насильно усыпить себя, но из этого ничего не вышло. Я лег на спину и расслабил все мышцы. Но стоило мне задремать, как необычный, странный звук разбудил меня. Я прислушался. Это был тихий металлический звон, и раздавался он совсем

---

[1] Гозинаки — грузинская сласть из меда и орехов; приготовляется обычно под Новый год.

близко. В палате все спали. Я никак не мог догадаться, откуда он доносится. Я сел в постели — звон умолк. Я лег — он возобновился. Долго я ломал себе голову в недоумении — и вдруг, случайно положив левую руку себе на грудь, все понял. Мерно, мощно билось у меня под рукой мое сердце, я ощущал как бы удары молота под ключицей, они отдавали в спину, и, к моему удивлению, биение это сообщалось постели. Неплотно привинченный никелированный шарик в спинке кровати воспринимал пульсацию и ритмично позванивал, как бы отсчитывал эти мерные удары.

От кровати биение моего сердца передавалось, наверное, полу, от пола — больничному зданию, а от здания сообщалось всей земле. И если яблоко притягивает землю с такой же силой, как земля — яблоко и вычисление этой силы не составляет труда для физиков, то ведь можно сконструировать чувствительный прибор, который позволил бы определить, какое влияние оказывает сердце человека — скажем, хотя бы мое сердце! — на всю землю?

МИЛЛИОННАЯ ВЕСНА СО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБВИ

Тамила держала в руке цветущую ветку сирени. Она нюхала сирень и, понюхав, подносила ветку к лицу Джабы. Но Джаба отворачивал голову и начинал разглядывать прохожих.

— Словно это не цветы, а крапива! — сказала Тамила с упреком.

— Будь ветка в моей руке, я нюхал бы с удовольствием, а так мне неохота.

Тамила хотела свернуть к мосту Челюскинцев, но Джаба предложил пройти по Плехановскому проспекту до Верийского моста. Они собирались подняться на Мтацминдское плато.

Улица, дома сверкали под лучами майского солнца. Прохожие щурились, как бы осторожно приучая глаза к яркому свету после туманных зимних дней. Длинные тени, протянувшиеся с тротуара на проезжую часть, порой пугали водителей мчавшихся мимо автомобилей, заставляли их резко замедлить ход.

На телефонном аппарате, прикрепленном к стене дома, сидела желтая бабочка.

— Вот увидишь — сейчас она перепорхнет на ветку, — сказала Тамила и поднесла сирень к автомату.

Бабочка улетела.

— Догадалась, что цветок не мог так быстро вырасти из земли! — сказал Джаба.

— Или, как ты, приняла сирень за крапиву.

— Не кусайся, как крапива!

Тамила засмеялась.

— Я ведь твой папа — ты помнишь об этом?

— Помню.

— Ну, так веди себя смирно!

Странное желание владело Джабой с некоторых пор: ему хотелось, чтобы перед ним не иссякали препятствия, чтобы он всегда и во всем наталкивался на сопротивление. Он знал, что так оно и будет независимо от его желания, что так устроена жизнь, но сейчас он сам искал трудностей. И препятствия должны быть настоящими препятствиями, трудности — настоящими трудностями, чтобы преодоление их стоило усилий. Он боялся, как бы препятствия не обошли его стороной, не встали на пути у кого-нибудь другого, тогда ведь этот другой, а не Джаба закалится в борьбе с ними, другой, а не он будет жить полной, настоящей жизнью!

Ему не нравилось, что Тамила так быстро, так легко осваивается, сближается с ним. Он решил не идти навстречу своему чувству, не давать ему ходу, не раздувать огня, а предоставить свободу самой любви и ждать, чего она достигнет без помощи тех, кого собралась сделать своими пленниками. Быть может, так ему скорее удастся постичь глубину или ничтожество любви Тамилы...

Джаба поднес руку к голове, потрогал пальцем зажившую рану. Он то и дело машинально щупал свой шрам — неужели на этом месте больше не вырастут волосы?

Тамила проследила взглядом за его рукой.

— Джаба! Ведь ты был на волосок от гибели! А если бы...

Джаба усмехнулся.

— Этот страх уже не застал меня на свете: я успел раньше потерять сознание.

Тамила была прелестна — свежая и благоухающая, как сирень в ее руке. Джаба никогда не думал, что походка может так красить женщину. Тамила при каждом шаге как бы стремилась оторваться от земли, взвиться в воздух — и тотчас же возвращала себя испугавшейся на мгновение земле. Перед Джабой двигалось белое изваяние, как бы намеренно незавершенное, чтобы возбудить в смотрящем на него творческое воображение. Казалось, ваятель закрыл глаза, провел руками вдоль безжизненной мраморной глыбы — и внутри ее возникло живое человеческое тело, которого никто не мог увидеть, не разбив оболочки.

— Джаба, тебе нужен Важа?

Он не сразу понял, о чем спрашивает Тамила, наконец вспомнил.

— Нет, можешь его подержать. Заучила что-нибудь на память?

— Да. Знаешь, Джаба, я вчера читала письма Пушкина. Боже, какой же это был изумительный человек! Как он любил Натали... Почему теперь не пишут писем?

— Потому что мы все живем в одном городе.

— Хочешь, я поссорюсь с тобой и уеду куда-нибудь, а ты пиши мне письма. Будешь писать?

— Нет. Я приеду сам.

— Хорошо. Только привези с собой и письмо.

Джаба не мог удержаться от смеха.

— Ты знаешь, Джаба, когда я кончила читать, мне вдруг показалось, что я была знакома с Пушкиным, совсем-совсем близко знакома... Что его похоронили каких-нибудь два дня тому назад. И мне было так больно!

— Я тоже был на похоронах.

— Знаю, я тебя видела. Между нами было трое или четверо саней.

— Правда? А как у нас лошадь упала, ты тоже видела?

— Да. Я так испугалась!.. Боже мой, как мне нравится вон та девушка!

— Какая девушка? — Джаба оглянулся.

— Вон там, на площади, у остановки! — Тамила показала пальцем в ту сторону.

У Джабы ослабели ноги. Он остановился, а с ним остановилась и Тамила. Около автобусной остановки стояла Дудана. Она смотрела куда-то вдаль, через площадь, не замечая ничего вокруг. Казалось, она одна в чистом поле, прикованная к месту каким-то потрясшим ее зрелищем.

«Еще под машину попадет!»

— Подойдем к ней поближе! Правда, какая красивая девушка?

«Ждет автобуса? Нет... И никого не ждет. Куда она смотрит?»

Он проследил за взглядом Дуданы и вздрогнул, неприятно пораженный. Дома, в котором жил Гурам, уже не было — от него оставалась лишь задняя стена, возвышавшаяся над кучей развалин. Джаба узнал обои в темно-вишневых цветах, нишу, в которой Гурам держал книги, раму кухонной двери, ту комнату... Вон там стояла тахта, в том пространстве, где сейчас роится блестящая пыль... Гурам ввел Джабу туда и показал ему тахту... На столике горела лампа, — там, где сейчас раскачивается оборванный конец проволоки... Вот это все и приковало к месту Дудану. Эта проволока, эти обои, это пустое пространство, где она лежала тогда обнаженная... и куда сейчас смотрит вся улица.

Дудана быстро поглядела по сторонам — ее как будто ошеломило все это многолюдье; Джабе показалось, что она вскрикнула, почудилось, что она прижала руки к груди, сорвалась с места и исчезла в дверях магазина «Одежда».

— Что с ней? — повернулась к Джабе Тамила; взгляд ее затуманило подозрение, она каким-то образом почувствовала, что Джаба мог ответить на этот вопрос. Но она не получила ответа. Джаба стоял на месте, словно окаменев. По лицу Тамилы можно было ясно прочесть, как в уме у нее взвихрилась тысяча вопросов и как потом родился взамен и как бы в ответ на них один, самый главный вопрос.

Они шагали молча. Перешли через мост. Стали подниматься по спуску Элбакидзе.

«О чем сейчас думает Тамила? Когда-нибудь я расскажу ей все».

Мельком, словно из мчащейся машины, увидел он Дудану, и многое ускользнуло от его внимания. Сейчас ему хотелось подробнее вспомнить виденное: лицо Дуданы, каждую его черту, оголенную стену разрушенного дома, людную площадь, толпу на автобусной остановке... Как проехал синий автобус и закрыл от Джабы Дудану... Кто-то окликнул в эту минуту Джабу, а кто, он сейчас не может вспомнить... Дудана стояла в тени, граница света и тени на асфальте проходила у самых носков ее белых туфель. По тротуару рядом шел старик генерал. Что делала в это время Тамила?.. Дудана круто повернулась и побежала, скрылась в магазине. У входа в магазин стояла продавщица мороженого. От толпы на остановке отделился кто-то знакомый... Нодар? Да, сейчас Джаба ясно вспомнил: это был Нодар. Он прошелся перед магазином, заглянул внутрь через зеркальную витрину, повернул назад... Потом исчез, Джаба не заметил, в какую сторону он направился. Не вошел ли и он в магазин?

Джаба очнулся. Он стоял и смотрел вдаль, через улицу, через реку. Тамила стояла рядом.

Джаба признался самому себе: он предложил Тамиле пройти по Плехановскому проспекту для того, чтобы бросить взгляд на дом, в котором в последний раз видел Дудану. Может быть, Дудана сейчас очень несчастна? Может быть, она не знала, что с нею происходит, да и сейчас не понимает, как все это случилось? Может быть, она думает: такова жизнь, таковы люди — споткнешься, и все тебя покинут, и ты ни для кого больше не существуешь. Ходишь по этому людному городу совсем одна, как по пустыне, и встречаешь тени исчезнувших людей, чтобы на каждом шагу с новой силой обжигала тебя когда-то причиненная ими боль...

Может быть, Дудана сейчас очень несчастна? И, может быть, Нодар понял это?

Сам того не заметив, он повернул назад, к мосту.

— Джаба!

Он остановился. Тамила подошла к нему, взяла его за отвороты пиджака.

— Джаба, ты должен был сразу подойти... Почему ты не подошел?

Больше она ничего не смогла выговорить. Руки ее бессильно повисли вдоль тела. Глядя в землю перед собой, она чуть кивнула на прощание и побрела по улице. Она уже не стремилась к небесам, не отрывалась от земли при каждом своем шаге; казалось, все горе, все отчаяние мира навалились на нее, пригнули к земле ее хрупкие плечи.

— Тамила!

В два длинных шага, в два прыжка, Джаба догнал ее.

Долго стояли они молча. Каждая набегающая секунда как бы уничтожала злые чары предыдущих. Наконец потеплело.

— Пойдем, — сказал Джаба.

Перед кассой воздушно-канатной дороги не было никого. Джаба взял билеты и сделал знак Тамиле, приглашая ее с собой. Тамила стояла поодаль под большой елью и вытирала платком руку, — должно быть, нечаянно дотронулась до дерева и испачкалась в липкой смоле. Но терла она руку слишком уж усердно, как бы показывая, что вот, случилась такая досадная вещь, и она теперь из-за этого не может сдвинуться с места. На самом же деле ее тревожило совсем другое...

— В чем дело, Тамила? — Джаба ласково коснулся ее щеки, провел рукой по густым ее волосам.

— Джаба...— Платок задвигался еще быстрей, но Тамила сейчас, должно быть, не видела своих рук — и вообще ничего не видела. — Джаба... Когда тебе больше не захочется бывать со мной, когда...

— Тамила...

— Когда ты решишь, что мы больше не должны встречаться, когда мы уже не будем так близки друг другу...

— Тамила, почему...

— И когда ты меня больше не... Совсем не... Ни чу-

точки... Ты скажешь тогда, как мне поступить? Как быть после, когда тебя уже не будет со мной... Скажешь? Потому что я не знаю...

— Тамила!

Она сжала его руки повыше локтей своими слабыми руками, и Джабе показалось, что он сейчас упадет на колени.

Совсем другая, изумительная девушка стояла перед ним. В памяти Джабы промелькнули университетский двор, первая встреча с Тамилой, и он понял, что девушка эта была изумительной и тогда, только он, Джаба, не заметил...

Словно он стал вдруг обладателем какой-то необычайной драгоценности, и это обязывало его жить отныне совсем по-иному. Словно он внезапно стал самым замечательным человеком в мире, только этого никто не знал, кроме него самого.

Вагон канатной дороги скользил над самыми верхушками деревьев, как впервые взлетевший птенец. Посередине овального вагона стоял в одиночестве проводник. Пассажиры, повернув к нему спины, прилипли к окнам и смотрели вниз. Город постепенно уходил в глубину.

Джаба стоял около Тамилы, положив руку ей на плечо. К его удивлению, именно сейчас ему почему-то не думалось о Тамиле. Вспоминались то одни, то другие знакомые люди — словно он вызывал их в воображении, чтобы поделиться тем новым, что вошло в его жизнь. Полчаса тому назад он прошел мимо театра Марджанишвили, не вспомнив о дяде Никале. Как знать — может, после Джабы костюм Меркуцио взял у дяди Никалы кто-нибудь другой, и старый суфлер теперь уже этому другому пеняет за невозвращение костюма. Вдруг Джабе почудилось, что дядя Никала умер, что ему, Джабе, говорили об этом, только он забыл... Может, это ему приснилось?.. А не умер ли старик в самом деле? Надо почаще навещать людей, и они никогда не умрут. Потом Джабе вспомнился другой старик, воскресший из мертвых Самсон, и он подумал, что Самсон, наверное, навестил Бенедикта в больнице, чтобы поблагодарить его за уход и заботу. Будь Бенедикт в своем уме, вот бы пришел в ужас

при виде Самсона! Олицетворением самой смерти показался бы ему старик!

Джаба посмотрел из вагона вниз, на крыши, и стал искать взглядом дом Бенедикта.

«Наверно, уже проехали над ним».

...Они шли по главной аллее парка. Миновали качели, тир, карусель.

— Устала! — улыбнулась Тамила, закинула голову и вздохнула полной грудью. — Что за воздух! Прямо с неба стекает!

Они стояли на круглой площадке. Почва была глинистая, белесая, их удлиненные тени темнели на ней, точно рвы. Небо было чистое, синее, как зеница младенца. И посредине этого огромного глаза, как пробудившаяся мысль, сияло солнце.

— Джаба! — окликнула спутника Тамила. — Посмотри на свою тень, а потом наверх.

— И что же?

— Увидишь ее на небе.

Джаба посмотрел на свою тень, потом поднял взгляд.

— Ничего не вижу!

— Не так... Долго надо смотреть. Расставь ноги шире, вот так. Теперь раскинь руки. Так. Не шевелись. Смотри на тень, не своди с нее глаз, пока я не скажу.

Тамила и сама раскинула руки. Долго стояли они, застыв в этой позе. Джаба боялся пошевелиться. Краем глаза он видел и тень Тамилы. Он собирался уже сказать, что устал, что с него хватит, и тут услышал команду Тамилы:

— Смотри наверх!

Джаба взглянул на небо и пошатнулся: ему показалось, что земля ушла у него из-под ног, что он взлетел в пространство. На синем куполе неба простерлась его тень — огромная, неуклюжая, с раскинутыми руками. Слева от нее виднелся другой силуэт, поменьше, не такой четкий и почти прозрачный, — это была тень Тамилы.

— Я думал, ты разыгрываешь меня, — сказал, не поворачивая головы, Джаба. — Кто тебя научил этому фокусу?

— Мой папа.

— Долго тень продержится? На небе?
— Не очень.
— А мою тень ты видишь?
— Вижу, но неясно. А ты мою?
— Я тоже.

Так, закинув головы, они как бы беседовали с небом. У Джабы от напряженного вглядывания пестрило в глазах; обе тени, его и Тамилы, представлялись ему огромными алыми облаками.

«Сейчас наши тени вмещают несчетное множество звезд,— думал Джаба. — Они объемлют миры, отделенные друг от друга миллионами километров... Наши тени объединяют эти миры».

Джаба, не глядя, нащупал около себя руку Тамилы и сжал ее пальцы. Плечо Тамилы коснулось его плеча.

А в небе недвижно застыли два силуэта, словно ожидая какого-то знака с земли.

ШАПКА, ЗАКИНУТАЯ В НЕБО

ГЛАВА I

Это утро запомнится мне надолго. Смутный рассвет, казалось, медлил, выбирая цвета и оттенки для неба на целый день. А пока молочно-голубым телеэкраном мерцало утро в окне моей комнаты. Экран этот еще не был тронут изображением, и только привычные звуки раннего утра — щебет проснувшихся птиц, шарканье дворницкой метлы и гул редких машин — наводили на мысль, что телевизор включен и вот-вот начнется передача.

Тревожный телефонный звонок перекрывает мирные утренние шорохи и усиливает сходство всего происходящего с телевизионной передачей. Вот на экране вырисовываются контуры моей комнаты. Я вскакиваю с кровати и беру трубку. Оперуполномоченный, убедившись, что у телефона именно я, а не кто-нибудь другой, приступает к изложению дела. При этом он сразу меняет тон на сугубо официальный. Сообщение его сухо и лаконично. Только факты: подросток пятнадцати или шестнадцати лет упал с третьего этажа... Несчастный случай или самоубийство... а возможно, это... одним словом, есть подозрения, и небезосновательные. Надо расследовать. Он диктует адрес и просит меня поспешить.

«Глупости, — успеваю бросить вслух, направляясь в ванную, — глупости! — бормочу в пригоршню холодной воды. — Пятнадцатилетний мальчишка и самоубийство? Невероятно!» — заключаю, бегло окинув взглядом свое изображение в зеркале.

Теперь в кадре наш видавший виды «газик», который несется по сонным пустым улицам к новому жилому массиву. Я сижу рядом с водителем, в ногах у меня «следовательский» портфель. «Газик» замедляет ход на рытвинах с осторожностью человека, берегущего вывихнутую ногу, ковыляет по ухабам. Я поеживаюсь от утреннего холодка. Теплое дыхание города сейчас спрятано в домах, квартирах, комнатах. Через какой-нибудь час люди высыплют из подъездов на улицы — и сразу станет теплее.

«Нет, так тоже нельзя, — говорю я себе, — ни в чем не разобравшись, заладил: «Глупости! невероятно!» Это может только помешать следствию. Я должен отбросить все предупреждения, чтобы прийти туда, как первоклассник на первый урок».

Дорога стала ровнее, и «газик» увеличивает скорость, под ветром скрипит брезентовый верх. Переднее стекло покрывается мелкими каплями дождя. Не нравится мне тот дождь, следы, — если таковые, конечно, имеются,— смоет и перепутает. Правда, дорога пока совсем сухая, как будто наша машина перехватывает дождь на полпути и не дает ему обрушиться на землю.

Настроение у меня паршивое. Чем ближе к месту происшествия (несчастный случай? самоубийство? или...), тем слабее ощущаю злость, которую должен был бы испытывать по отношению к воображаемому преступнику и к самому факту преступления. Ясно, версия самоубийства сыграла в данном случае не последнюю роль. Ловлю себя на мысли: только бы это не подтвердилось. Пусть я столкнусь с неслыханным злодеянием, но только не это.

— Кажется, здесь, — шофер высовывается из машины и тормозит. Знает, что на месте происшествия «лишних» следов быть не должно.

Краем глаза замечаю, как заспешили к «газику» сотрудники милиции. Во дворе, притихшие и растерянные, толпятся люди, но сейчас я смотрю не на них. Взгляд мой прикован к простыне, резко белеющей на пыльном асфальте. Я вскидываю глаза на дом. На балконах четвертого и пятого этажей висит белье. Почему я посмотрел наверх? Уже не подумал ли я, что простыня упала, случайно упала с балкона? Или просто хотел прикинуть высоту третьего этажа, откуда упал тот, кто сейчас лежал под этой нестерпимо белой простыней?

— Сперва я решил, что он под машину попал, — говорит старший лейтенант милиции и показывает на две жирные черные полосы, уходящие под простыню и вновь появляющиеся у другого ее края.— Потом думаю, может, его машина стукнула и отбросила, стал внимательно осматривать и заметил вот это, — он наклоняется, приподнимает простыню и показывает мне узкий, похожий на шрам, глубокий след, перерезающий подошвы ботинок. Потом лейтенант выпрямляется и показы-

вает мне на второй этаж, откуда свисают обрывки проволоки, на которой обычно сушат белье.

— Понятно, — говорю я. — А где врач? Врача вызывали?

— Не смогли с ним связаться. А «скорая» сейчас приедет. — Лейтенант милиции снова наклоняется, чтобы снять простыню.

— Пока не надо, — говорю я с деланным спокойствием и поворачиваюсь к людям, все также молча стоящим во дворе.

— Есть кто-нибудь у этого мальчика? — спрашиваю я.

Все молчат. Странно. Было бы понятнее, если бы кто-то рыдал, рвал на себе волосы. Или все это уже позади?

— Матери плохо стало. Ее увели к себе соседи с первого этажа. Она и сейчас там.

— А где отец?

— Спит. Он ему не отец... отчим...

— Так где же он?

— Спит. Пьяный.

— Он знает?

— Нет. Соседи не стали его будить. А я как раз сейчас собирался подняться. — Старший лейтенант опять посмотрел наверх.

«Спит... Соседи не стали будить!..» Изображение на телеэкране становится мутным и расплывчатым. Предметы распадаются на мириады мерцающих точек. Ничего разобрать невозможно. Я возвращаюсь на землю. Удивительная тишина стояла во дворе. Дождь перестал. Я стоял, отделенный от всех белым прямоугольником простыни. Милиционеры выстроились вдоль невидимой линии, переходить за которую воспрещалось. У входа в котельную стоял низенький пожилой человечек в ветхой соломенной шляпе. Как на костыль, он опирался на ржавую водопроводную трубу. Из окна противоположного дома высовывался пожилой мужчина. В этой напряженной тишине особенно неуместно было беспечное пение дрозда. Откуда оно неслось? Может, из этого окна, откуда высовывается старик. Может, дрозд сидит у него в клетке и поет?

По двору взад и вперед ходит старушка в длинном темном платье. Время от времени она всплескивает рука-

ми и в отчаянии ударяет себя по бедрам, покачивая головой. За старушкой следует маленький мальчуган с игрушечной тележкой. Как только тележка переворачивается, он огорченно качает головой и звонко шлепает себя по голым ножкам.

И внезапно я понял, что все ждут меня, моего решения, действия, приказа, и тогда мне показалось, что я молчу уже целый век, что я все упустил, проворонил, растерял, позволил всем тайнам разбежаться по своим глухим норам.

— Кто вам сообщил о случившемся? — обратился я к старшему лейтенанту. Вопрос прозвучал, как упрек, как выговор.

— Первый я увидел! — услыхал я за своей спиной и, обернувшись, увидел, что ко мне идет, постукивая железкой, тот самый старик в соломенной шляпе.

— Ты что — сосед?

— Истопник я, в котельной.

— В мае месяце отопление включаешь?

— Хватит, сколько зимой топил, теперь ремонтирую.

— В пять утра начинаешь ремонт?

— Нет, в пять я спал.

— Где?

— В котельной.

— Что это? — я взял у него трубу и — уже не знаю, как это у меня получилось, конечно, по неопытности! — одним словом, я заглянул в нее, словно желая проверить, не старались ли с нее смыть какие-нибудь подозрительные следы. Потом я долго корил себя за такой необдуманный поступок.

Истопник засмеялся:

— Ишь ты, прямо как труба подзорная!

— Не забывай, с кем разговариваешь! — прикрикнул на него старший лейтенант.

— Почему запаздывает врач? — Я перевел разговор.

— Не знаю. — Лейтенант посмотрел на часы. — Я звонил десять минут назад.

— Адрес верный назвали?

— Пятнадцать-б. Все правильно.

— Ну, рассказывай, что же ты видел? — Я отдал истопнику его «костыль».

Солнце еще не взошло, а старик так щурил глаза, словно спасался от беспощадных лучей. Эту привычку я замечал за многими крестьянами. Наверно, она связана с работой в поле под палящим солнцем.

— Ничего особенного я не видел, — истопник снова оперся на трубу, как на костыль. — Услышал шум — вроде кто-то упал, выбежал из котельной... Эта труба у меня в подвале заместо задвижки, от собак... Выбежал, значит, вижу, кто-то лежит. Я сначала решил — пьяный, пусть, думаю, лежит, отсыпается. Потом смотрю, что-то не то, подошел поближе и сразу узнал. Уж такой уважительный мальчик был, как идет мимо, непременно здоровается.

— Дальше?

— Что дальше... Стал людей скликать. Позвонил куда надо. Тут и они пришли. — Старик кивнул на старшего лейтенанта.

— Откуда звонил?

— Из той квартиры, куда сейчас мать отвели.

— След от машины тогда уже был?

— След? — Истопник задумался. — Не помню... Наверное, был, не по нему же она проехала.

— У кого в доме есть машина? — Я взглянул в сторону железных гаражей.

— У него и еще...

— У кого это «у него»?

— Да у отчима и у того, на пятом этаже. — Старик указал на противоположный дом.

Судя по следу, машина направлялась отнюдь не в гараж. Не сговариваясь, мы с лейтенантом пересекли двор и очутились возле елки с ободранной корой.

— Бампер «Волги», — уверенно произнес лейтенант. — Я уже проверял.

И вдруг я вспомнил, что до сих пор не высказал терзавших меня сомнений. Мне показалось, что я молчал слишком долго и что молчания этого уже ничем не восполнить.

Мы стояли вдвоем, но я все-таки отвел лейтенанта еще немного в сторону.

— По телефону вы говорили о самоубийстве. Какие у вас основания?

— Вот протокол, уважаемый Заал! — Он с готов-

ностью протянул мне протокол устных показаний. Он давно держал этот листок в руке, видимо, думая, что я знаю о его существовании, и ждал только знака, чтобы передать его мне.

Гражданка Муджири, проживающая по Виноградной ул. № 15-б, свидетельствовала, что в течение двух последних недель ее сосед Иродион Парменович Менабде держал взаперти своего пасынка Паату Хергиани.

Почему он не отпускал ребенка в школу, в чем провинился Паата — гражданка Муджири не знает, только каждый вечер из квартиры Менабде доносились крики и плач мальчика. Раз или два, спускаясь по лестнице, она слышала голос Иродиона Менабде. Он кричал: «Я тебя убью, негодяй, за то, что ты меня на весь город осрамил! Лучше бы ты под машину попал или в реке утонул!..»

Иродион Менабде бил мальчика. Об этом гражданке Муджири рассказывала мать Пааты Хергиани...

По тому, как поспешно отвернулся лейтенант, значительно более опытный в таких делах, чем я, я понял, что не сумел скрыть волнения. Да, я ужасно волновался... Что же получается? Отчим довел мальчика до самоубийства? Нет, я не мог в это поверить. Всем своим существом я был готов бороться за свое убеждение, заключавшееся в том, что ребенок, подросток не мог пойти на такой шаг.

«Сегодня, сейчас, в наши дни, — думал я разгоряченно, — когда я, когда мы все живем на этой земле, в этом городе, не может мальчишка кончить с собой. А если это так, значит, я виноват, значит, все мы виноваты...» Нет, я не мог смириться с этой мыслью, тогда все теряло смысл — солнце, цветы, радость.

Выходит, что в это утро я не преступника искал, а спасал свою собственную веру в жизнь.

«Из тебя судьи не получится, — часто говорил мне отец, — ты слишком веришь в добро... А следователь— и подавно! Ты даже не можешь смотреть, как курицу режут...»

А впрочем, я ведь еще ничего не выяснил. Может, парень под машину попал, может, случайно из окна вывалился... Все может быть. Да и врач еще не сказал своего слова. Все еще впереди.

— Выберите двух понятых и следуйте за мной, — приказал я старшему лейтенанту. — Надо вызвать автоэксперта...

— У мальчика на руке часы, — начал неуверенно лейтенант.

— Знаю. Проследите, когда они остановятся,— подхватил я.

— Понятно. Чтобы узнать, когда их завели...

— Попросите врача без меня осмотра не начинать,— крикнул я уже из подъезда.

Этер Муджири дверь открыла не сразу. Серые глаза ее под воспаленными веками были влажны от слез. Она пригладила ладонями обесцвеченные краской волосы и провела меня в комнату. На столе — рассыпанная горка ткемали, в пепельнице несколько еще не успевших обсохнуть косточек. Узнав, кто я такой, Этер Муджири подтвердила свои показания и сказала, что в протоколе все записано верно.

— Вы уверены, что Иродион Менабде выразился именно так или его слова вы привели по памяти?

— Нет. Он говорил точно так.

— Вы так хорошо запомнили?

— Я не могла этого забыть, — она нервно оглядела стол, потом достала из кармана своего желтого халата сигарету, помяла ее в пальцах, сигарета лопнула, и ей пришлось взять другую. Глубоко затянувшись, она повторила: — Он сказал именно так.

— А вы не могли ошибиться? Вдруг это кричал кто-нибудь другой?

— Оба раза? Но я прекрасно знаю голос Иродиона. Мы давно знакомы.

— Давно? Ведь ваш дом заселен всего год назад.

— Мы — соседи по старой квартире... К сожалению.

— Как по-вашему, зачем Паата чуть свет спустился во двор? — осторожно спросил я.

— Ни на рассвете, ни в полночь Паата не мог никуда спуститься, — раздраженно ответила женщина.

— Почему же не мог?

— Потому что его заперли, понятно вам это или нет? — В голосе ее звенели слезы.

— Зачем его заперли? Чтобы он не ходил в школу?

— Не знаю... Наверно. Однажды утром Паата убе-

жал, но отчим поймал его на лестнице и снова запер. — Этер Муджири опустила голову, дым от сигареты заструился над самым полом.

— Где находится комната мальчика?

— Лоджия у них перегорожена пополам. Паату он запирал в правой половине. Пока отчим был на работе, Мака выпускала сына.

— Ясно, — сказал я, хотя все было по-прежнему неясным и запутанным. — Вы одна живете в этой квартире?

— Да. — Этер Муджири, прежде чем ответить, опять нервно огляделась по сторонам. Потом резко поднялась и, не прощаясь, вышла из комнаты.

Я достал авторучку и принялся составлять постановление о возбуждении дела, сознавая, что немного поспешил, что, возможно, даже ошибся, но поступить иначе я не мог. Что-то подсказывало мне, что следствие не даст никакого материального подтверждения моим подозрениям относительно преступления, если таковое имело место, или несчастного случая. Только скрупулезное изучение жизни мальчика, с детства до сего дня, могло что-нибудь прояснить. Помню, один знакомый эксперт рассказал мне занимательный случай. Изучая почерк обвиняемого, он обратил внимание на то, что тот пишет букву «о», начиная не слева, как обычно, а справа. Даже такая мелочь требует подробнейшего анализа физической и психической структуры личности. Возможно, в детстве человек подражал кому-то, кто обладал таким странным почерком, и сохранил привычку на всю жизнь. Так вот, эта самая буква навела эксперта на одно интересное воспоминание: точно так писал его дядюшка. И что же? Дядюшка с обвиняемым, как выяснилось, учились в одной школе, у одного и того же учителя, обладавшего своеобразным почерком, который переняли у него все его ученики...

Так вот. Дело-то я возбудил, но тотчас почувствовал, какая страшная тяжесть легла на мои плечи. Какая ответственность. Я стоял перед входом в лабиринт. Тысяча извилистых тропинок — каждая ведет в душу незнакомого человека. Мне предстоит одолеть эту самую сложную и таинственную в мире дорогу, не упустив ни стона, ни смеха для того, чтобы раскрыть, расследовать, понять, почему одно сердце вдруг перестало биться.

Разумеется, прокурор может со мной не согласиться и упрекнуть меня в том, что я возбудил дело, не имея на то никаких оснований, потому что пока в руках у меня нет конца нити, способной вывести из лабиринта.

— Нам еще придется встретиться с вами, — обратился я к Этер Муджири, которая вышла из соседней комнаты, изменившаяся до неузнаваемости. Туфли на высоком каблуке, узкое яркое платье преобразили ее, «настроили», словно музыкальный инструмент.

— Простите, что я вас оставила, но я опаздываю на работу. — Она прошла вперед и открыла мне дверь.

В подъезде меня поджидал старший лейтенант с двумя понятыми.

— Мать все еще без сознания? — спросил я.

Лейтенант кивнул.

— Я возбудил дело.

— Я так и понял.

Дверь была открыта, но я все же постучал, а заметив кнопку звонка, нажал на нее. Раздалась мелодия, напоминавшая отрывок из старинного менуэта. Я снова прижал пальцем кнопку. Заводные куклы в напудренных париках заскользили в заученных пируэтах, многозначительно и таинственно кивая головами. И пока я пытался разгадать их знаки, они спрятались, растворились, исчезли.

— Кто там? — хрипло донеслось из глубины коридора. — Мака, открой, кто-то там пришел.

Я снова позвонил: раз проснулся, выйдет...

— Мака! Ты что, оглохла?!

Вслед за этим раздалось шарканье шлепанцев и на пороге появился полный рыжеватый мужчина. Его пронзительные бегающие глазки, почти не видные за опухшими веками, так и сверлили нас.

— В чем дело? Что вам надо? — Синие глазки наконец остановились в узких прорезях, обнаруживая испуг и робость, вызванные милицейской формой.

Мужчина вышел за порог, стараясь незаметно прикрыть за собою дверь. «Что случилось?» — испуганно и в то же время раздраженно спрашивал он.

— Вы ничего не знаете?

— Кто оставил дверь открытой? И где вообще моя жена?

На нас пахнуло винным перегаром.

— Ваша жена внизу у соседей, — ответил старший лейтенант. — Мальчик упал и разбился.

— Упал... Разбился... — нелепая ухмылка растянула его губы, но тотчас исчезла.— Паата?! — Он все понял и, толкнув дверь, побежал по коридору в глубь квартиры. Мы последовали за ним.

Иродион Менабде кинулся к дверям, ведущим в лоджию. Он дважды повернул ключ в скважине и, толкнув плечом дверь, застыл на пороге в позе смертельно раненного человека. Рука его безжизненно соскользнула с ручки. Тут я заметил, что тело его едва заметно устремляется вперед, как в замедленной киносъемке. Немного отставшие руки поспешили вслед за повелителем, словно замешкавшиеся слуги, потянулись к развороченной постели, как будто хотели врасплох застать кого-то и удержать, остановить перед распахнутым настежь окном. Иродион, казалось, окаменел возле этого окна. И я имел возможность убедиться в том, что лицо его в самом деле было неестественно распухшим.

Я внимательно осмотрел лоджию. Под потолком горела лампочка без абажура. Под ней — опаленная мошкара и ночные бабочки. На подушке — две книги: Ремарк и Галактион Табидзе. Рядом с кроватью — книжный шкаф, на столе стакан с остатками чая и тарелка с куском яблочного пирога. У самого входа в лоджию — глубокое коричневое кресло, в кресле — пестрый фирменный пакет центрального универмага, из которого выглядывает клетчатая ковбойка. Новая. Ненадеванная, словно выставленная напоказ.

Иродион Менабде все стоял у окна. На лице его можно было прочесть безграничное удивление и упрек. Но когда я взглянул на него еще раз, убедился, что эти чувства я сам приписывал ему, хотел видеть его таким, исходя из версии: если он не виноват, сейчас должен чувствовать изумление и в глубине души укорять пасынка за сумасбродный поступок. На самом же деле лицо Иродиона Менабде было безжизненно, как маска, и весь он казался окаменевшим навечно.

Я еще раз окинул взглядом лоджию. Попробовал рукой перегородку — некапитальная, из дикта. Выглянул в окно и представил себе, что стою там, внизу, где белеет

простыня, и смотрю оттуда на растерянного Иродиона Менабде. Попробуй узнай, что он сейчас испытывает, о чем думает. Потом я вижу себя рядом с ним. Что ж, я сдержан, стою на страже закона, даже не пытаюсь вывести из оцепенения ошарашенного человека. И во мне растет уверенность, что в его поведении не было ни фальши, ни притворства, что он никогда не мог представить той картины, которая сейчас открылась его взору... И тем не менее виновность его не исключена.

Во двор въезжает «скорая помощь». Я вижу ее как бы и сверху, из окна, и снизу, откуда смотрю на себя и на Иродиона Менабде со стороны. Не успевая разобраться, где же я сейчас на самом деле, громко кричу доктору в белом халате, чтобы он меня подождал. Пока сбегаю с лестницы, врач уже отходит от мальчика, лежащего под простыней, и устремляется к машине. Он явно спешит, из ушей торчат шнуры фонендоскопа.

— Скорей, помогите мне,— кричит он санитарам, пытаясь вытащить из машины носилки.

— Что такое? — Я не понимаю, в чем дело.

— Он жив!.. Быстрее, быстрее!..

ГЛАВА II

Меня часто упрекают в том, что я нетерпелив, что в спешке пропускаю важные детали, не изучив дело досконально, вынужден возвращаться к нему и все начинать сначала. А приступая вторично, опять-таки теряю из виду многое, считая, что все это я уже знаю. Возможно, те, кто обвиняет меня в поспешности, правы. Но я бы хотел действовать еще в тысячу раз быстрее, чтобы поскорее раскрыть то, чему суждено стать известным только через тысячу дней. Хотел бы знать, каким будет мир завтра, какие радости и печали сулит он знакомым и незнакомым мне людям. По-моему, теперь время идет значительно быстрее. Для ученого, конечно, минуты, секунды, часы остались теми же. Но стоит ему выйти из своей лаборатории, как и для него время мчится быстрее. Прочтет он, скажем, в газете, что эксперимент, над которым он бьется, успешно проведен где-то позавчера вечером, или услышит по радио, что к Венере послана

космическая станция. Наш бедный ученый потрясен. Несмотря на огромный поток информации, он не представлял себе, что человечество за такой короткий срок шагнуло так далеко вперед. Он растерян, начинает сомневаться в собственных силах. А Земля с прежним неистовством, с прежней торжественностью вертится вокруг Солнца. Весной покрывается зеленью, пьянит ароматом распустившихся цветов. Затем приходит зима и как великий художник одной-единственной белой краской наносит на землю контуры лесов и гор. Реки по-прежнему устремляются к морям. Гонимые вечной неудовлетворенностью морские волны льнут к берегам, таким знакомым и все-таки манящим. Но человек меняется. Он спешит. Меня охватывает странное чувство — зависть, смешанная с сожалением, когда я представляю мысли и поступки человека, который будет жить через сто лет. Но я смиряюсь с тем неизбежным фактом, что меня уже не будет в живых.

Для наших предков будущее содержало меньше новизны, чем для людей современных. Умирая, наши современники теряют несравненно большую возможность познать и увидеть, чем, допустим, те, кто расстался с жизнью в эпоху Рима или Вавилона.

Паата должен был пережить меня. Должен был увидеть то самое грядущее, в котором меня уже не будет. Я говорю «должен был», потому что врачи потеряли всякую надежду его спасти и настолько смирились с мыслью о смерти, что часто продолжают эту страшную мысль вслух.

Я был так подавлен, что в первые дни после происшествия вместо того, чтобы заняться следствием, погрузился в размышления. Я предоставил своим мыслям полную свободу. Каждой версии я позволял развиваться в любом направлении, пока она не оказывалась в тупике. Мне хотелось в тот же самый день, в то же утро, никого не допрашивая, ничего не расследуя, понять, что́ все-таки произошло. Я старался представить себе жизнь Пааты от рождения до той злосчастной минуты, словно я мог уберечь его от того, что случилось. Я спешил разобраться во всем этом.

Сначала мне казалось, что мое нетерпеливое стремление докопаться до истины объясняется профессио-

кальной привычкой и обыкновенным человеческим любопытством. Но потом я понял, что я просто спешил избавиться от тяжкого груза неизвестности, вызывавшего огромную душевную боль. Это открытие меня обескуражило. Так, значит, я пекусь только о себе? О своем спокойствии и благоденствии? Мозг сверлила мысль о самоубийстве мальчика, и я убеждал себя в ее ошибочности. Стоило мне представить последние минуты, когда Паата принимал роковое решение, как я приходил в ужас и уверял себя, что это глупость, безумие, что не могла такая мысль созреть в голове ребенка. Не убедив себя в этом, я не мог успокоиться и заснуть.

Смешно, но я ни на минуту не допускал, что справедливой может оказаться противоположная точка зрения. Я обеими руками отмахивался от коварного вопроса: «А что, если именно так оно и было?» Эта мысль подбиралась ко мне, росла с пугающей быстротой. Я спешил прогнать ее прочь, отталкивал от себя, она скатывалась вниз, но тотчас с завидным упорством снова преследовала меня, крепнущая и все более грозная.

Что ж, если это так, значит, виноват я и все живущие сегодня на земле. Но ведь невозможно, чтобы все люди, до единого, были виновны? Этот слабый аргумент успокаивал меня, но ненадолго, до той поры, пока не приближалась мрачная тень ненавистного подозрения.

Я больше не мог так жить. Боль росла, и я понимал, что надо как можно скорее залечить эту незаживающую рану, а не растравлять ее. Я ощутил дело Пааты не как служебное поручение, а как собственную беду, тяжкую болезнь, с которой надо разделаться.

Так оно и было в действительности. Я пекся о своем душевном равновесии.

* * *

— Садитесь, пожалуйста! — Я указал истопнику на стул. — Простите, забыл ваше имя-отчество.

— Эх, какое там еще имя! Не больно я знаменит. Пиши — слесарь-истопник, и ладно.

— Истопников много.

— В том-то и дело, что много... Чего вызывали? Я уже сказал все, что знал...

— Мне надо еще кое-что уточнить... Снимите пиджак, если вам жарко.

— Спасибо. Ладно, пиши: Дата я, Кавтиашвили.

— Давно в Тбилиси живете?

— Да уж не помню. Лет десять, наверно...

— Дети у вас есть?

— Откуда им быть, когда жены нет.

— И не было?

— Никогда.

— Отчего так?

— Оттого, что не женился — и весь разговор!— Он сердито комкал в руках старенькую соломенную шляпу.

— В деревне родня осталась?

— Никакой. Отца с матерью не помню, как померли, я совсем мальцом был. Двоих старших братьев тоже рано потерял. Родственники, конечно, остались, но, чтоб не соврать, даже не знаю, где они живут. Да и сами они не больно мной интересуются...

— Чем вы в деревне занимались?

— Пахал, сеял, полол. Работал, чтоб себя прокормить.

— Себя одного?

— Да. Колхозу от меня подмога была невеликая,— еще мне приходилось помогать. — Старик вздохнул и покачал головой.— В том-то и беда моя, что никому я ничего не сделал. Уйду — и следа на земле не останется.

— Не надо так думать.

— Думай не думай, так оно и есть. От силы еще два годика протяну, а там, глядишь, господь и приберет; а что я сделал? Ничего. Даже щенка не вырастил.

— Ну, почему же. Вот вы говорили: сеял, пахал...

— Пахал! Для себя самого, а другим — ничего. Что жил, что не жил — толку никому никакого.

Старик совсем расстроился. Было видно, что думал он об этом не в первый раз.

— Не прав ты, дед!

— Тебе, может, моя жизнь лучше известна?

— Может, и лучше.

— Ну, так давай рассказывай! — Он насмешливо

сощурился и в ожидании моего конфуза уселся поудобнее.

— Ты говоришь, что никому за всю жизнь добра не сделал. А я не поверю, что друга никогда советом не поддержал, нуждающемуся руки не протянул.

— А ты поверь! — рассердился старик, и я понял, что не на меня обращен его бессильный запоздалый гнев, а на его собственное прошлое, должно быть, безрадостное и тяжелое. — У меня, может, и друзей никаких не было и никому я не помогал.

— Что ж так? — Я улыбнулся, боясь, что он совсем разобидится.

— А вот так! Я и в деревне-то не жил, а за околицей на самом краю домишко мой притулился.

— И все равно не поверю, чтоб ни разу человек на собрании не выступил, не поспорил ни с кем, чтоб его ни разу не похвалили или не покритиковали.

— И чего ты ко мне пристал? Подумаешь, дело какое. Приходил на собрание, сидел и молчал.

— Так и сидел? И сосед ни разу не сказал: подвинься, мол, я рядом сяду?

— Может, и говорил, да я запамятовал.

— Неужели ты и ребенка не приласкал никогда? — не выдержал наконец я и сразу понял, что попал в точку.

Дата Кавтиашвили посмотрел на меня долгим взглядом. Твердо сжатые губы его расползлись в улыбке, которая осветила морщины, глубокие, как шрамы, сердито сомкнутые брови расправились. Все лицо его просветлело, как светлеет небо на рассвете, и в зеленоватых глазах засияла яркость распустившихся по весне почек.

— Отчего же ребенка не приласкать? — смущенно проворчал он.

— А ведь дети добра не забывают.

— Как раз у детей память короткая.

— Не согласен. Ребенок может забыть того, кто его приласкал, но сама ласка — великая сила. Он будет сравнивать ее с холодностью других людей, и, следовательно, ты не забыт, не думай.

— Думай не думай!.. Я как тот камень, что валяется где-то со дня сотворения мира. Об него даже ни-

кто не споткнулся ни разу. Лежит себе полеживает, а из других камней люди дома строят.

— Человек — не камень. Он думает, мыслит — этого уже достаточно. Никто не ходит по земле напрасно. Может, ты когда-нибудь что-нибудь сказал в нужный момент или подоспел куда-то в нужную минуту...— Я на мгновение запнулся: в какие философские дебри увлек меня этот упрямый старик! Но раз начал — надо кончать.— Допустим, двое дерутся, оскорбляют друг друга, ослепленные злобой, готовы на все, кажется, убить могут. Но тут мимо проходит человек, усталый, погруженный в свои заботы. Он не глядит на дерущихся, но они вдруг затихают, расходятся. Гаснет злоба, разум берет верх.

— Вот ты рассказываешь, а я припоминаю, что так оно и было. — Старик поглядел на меня с удивлением.

— А не будь тебя, произошло бы непоправимое несчастье, — осмелел я, — и никто другой не мог появиться там в ту минуту.

— Никого там и не было, я один, — удивление не сходило с напряженного лица старика, он словно пытался вспомнить что-то важное. Вдруг он спросил:— Может, это и есть след?

— Почему бы и нет? Как знать, не спугнул ли твой кашель среди ночи воров. А ты об этом не узнаешь. Нет, бесследно с земли не уйдешь, если даже очень этого захочешь.

— Хорошо говоришь, как по-писаному, — не сдавался старик.— А если мой кашель влюбленных спугнул да разлучил навеки?

— Что ж, и так бывает. — Я засмеялся, он ответил коротким нервным смешком. Я было подумал, что мои слова растопили ледяную броню прожитых стариком лет и прошлое наконец показалось ему не таким беспросветным. Но теперь я понял, что до конца он мне не поверил, оттого и смеется несмело, натянуто. Не позволяет сомнениям поколебать сложившуюся уверенность. Дата Кавтиашвили молчал, но такую боль выражало его лицо, что я больше не сомневался в том, что недавний смех был всего лишь попыткой скрыть набежавшие слезы.

— Итак, начнем, товарищ Кавтиашвили! — сказал я, берясь за бумагу и перо.

— Начинай, я для того и пришел, — еще одна неуловимая перемена в его лице, и теперь оно выражает досаду. Может быть, старик сожалеет, что разоткровенничался не к месту с незнакомым человеком?

Он еще раз повторил то, что рассказывал мне во дворе, и добавил одну деталь. Первым на его крик из окна выглянул Георгий Ландия, тот, у которого птички. Он, видимо, не спал, быстро сбежал вниз, и они вдвоем позвонили в милицию. А машина проезжала, по его мнению, раньше, потому что в первый раз его разбудил какой-то шум. И когда он увидел ободранное дерево, понял, что треск его и разбудил. Хотя машина Иродиона Менабде и без аварии кого хочешь разбудит, так она гудит и фыркает.

— Машина старая?

— Старая, вся разбитая. Он ее почему-то не ремонтирует. Злые языки говорят — боится, что если он ее обновит, будет слишком в глаза бросаться.

— Сколько времени прошло между вашим первым и вторым пробуждением?

— Не знаю,— старик пожал плечами.— Ночью солнце без ног, не движется.

— Раз вы сразу заснули, видимо, еще не успели выспаться.

— Наверно.

— Горел ли свет в комнате мальчика?

— Горел.

— Вы знакомы были с Паатой?

— Какое тут знакомство? Спускался он во двор, играл...

— Во что играл?.. Вы давно здесь работаете?

— Как дом заселили. Больше года.

— Так во что он играл?

— На велосипеде катался. Мяч гонял. Однажды... В общем, как всякий мальчик.

— Что — однажды?

— Разделились они на две команды, в воротах положили сумки...

— В футбол, значит, играли?

— Угадали.

— Очевидно, летом дело было или весной, а вы зимой только топите, не так ли?

— Почему только зимой? Сейчас разве зима, что я от котельной не отхожу,—ремонт идет. Нет, стоял март, солнечный март, и дети играли в футбол. А впрочем, это не важно.

— Какой вы обидчивый, дед! Продолжайте, нам это очень важно.

— Да ничего интересного. Я просто так вспомнил.

— Дело ваше.— Я притворился равнодушным.

— Ну ладно, раз уж начал... Значит, бросили сумки прямо на асфальт и стали играть, как вдруг во дворе появился незнакомый парень, взрослый, уж борода с усами растет. Стоит и смотрит, вроде игрой любуется. Мяч залетел в соседний двор, и товарищ Пааты побежал за ним. Тут незнакомый парень хватает портфель того мальчишки, который за мячом побежал, вытряхивает книги прямо на землю и уходит. Паата за ним. Видно, портфель был из дорогой кожи, иначе бы этот хулиган так за него не цеплялся. Но, убедившись, что Паата ему не уступит, парень выпустил сумку из рук и кулаком ударил Паату в лицо. Паата, конечно, в долгу не остался. Обменявшись тумаками, они разошлись, так что вернувшийся с мячом парнишка даже не узнал, какая драка разгорелась из-за его сумки. Игра возобновилась, а усатый присел на ступеньку и чего-то ждет. Мальчишки играли долго, дотемна, он все сидел. Наконец мяч покатился к тому крыльцу, где он устроился. Он сначала хотел бросить его играющим, но увидел, что за мячом идет Паата, передумал и голову опустил, будто ничего не заметил... А Паата доверчиво так подошел и за мячом нагнулся, тут усатый подскочил сзади, повалил его, сел верхом и ну колотить, да все норовил в лицо...

— А вы? Что же вы? — не удержался я.

— Я далеко был. Закричал на негодяя, да он только взглянул в мою сторону и опять за свое принялся: понял, что, пока я доберусь до него, он смыться успеет. Так и вышло, я подбежал, а он наутек, только на бегу все штаны подтягивал.

— Товарищи не заступились за Паату?

— Нет.

— Даже хозяин портфеля?

— Все растерялись. Никто не ожидал, что столько времени можно таить на сердце зло. Ребята впервые столкнулись с такой подлостью...

— А родители?

— Мать спустилась во двор, до ночи искала обидчика, плакала...

— Отец? То есть отчим?

— Крикнул сверху: так, мол, тебе и надо, не лезь, куда не просят. Бедный Паата долго потом с перевязанной головой ходил.

Я долго думал над рассказом старого истопника. Старался представить, какой след оставил этот случай в душе Пааты. Затаил ли он в сердце злобу на обидчика или вскоре забыл о нем. Уверенный в людской справедливости, возможно, он впервые столкнулся с низостью, мстительностью. Может, его детское воображение поразило вновь совершенное открытие, мысль о том, что этот парень, безобидно наблюдавший за игрой, был способен на преступление, мог убить человека. Какие выводы он сделал для себя из этого открытия? Стал осторожным, излишне предупредительным, взвешивал каждое свое слово, чтобы не навлечь на себя опасность? А ведь отсюда всего один шаг до того, чтобы закрыть на правду глаза, сложить оружие, когда понадобится выступить в защиту справедливости.

— Продолжайте, — вернулся я к делу.

— Да продолжать-то нечего. Все я вроде рассказал.

— Я слышал, что в последнее время отчим часто наказывал Паату, запирал его дома...

— Чего не знаю, того не знаю. И врать не буду. Одно только скажу — давно я его во дворе не видел.

— Говорят, будто он сам выбросился...

— Это ложь.— Старик не дал мне договорить.

— Почему?

— Потому что этого не может быть. — В его голове звучала такая уверенность, что я удивился.

— А все-таки, почему?

— Хотя бы потому, что была ночь.

— При чем здесь ночь?

— А при том... Было еще темно, когда я проснулся.

— Не понимаю.

— Господи! Да я же объясняю, было темно, и земли бы сверху он не увидел.

— Простите...

— Кто на такое дело решается, непременно должен сначала увидеть, куда прыгает, иначе ни за что не прыгнет.

— А вы почем знаете? — не уступал я, хотя и чувствовал, что старик близок к истине.

— Знаю. Так уж человек устроен.

— Скажите, раз знаете. Для следствия это весьма существенно. — Я нарочно заговорил официальным тоном.

Но он молчал, и я подумал: может, он сам когда-нибудь пытался... Кто знает... Слова его так походили на правду, но! В лучшем случае — это находка для красноречивого адвоката. Следователю же здесь не за что уцепиться.

Я дал старику прочесть и подписать протокол. Он спросил:

— Еще будете вызывать?

— Не думаю... посмотрим.

Он встал, неловко, обеими руками нахлобучил на голову свою ветхую шляпу и пошел к выходу, с таким трудом переставляя ноги, словно подошвы прилипали к паркету.

— Будьте здоровы, и спасибо за ценные показания, — сказал я.

Ему было не под силу обернуться ко мне на ходу, поэтому получилось, что он кланяется пустому коридору.

— Будь здоров, сынок... А ты, кажется, прав, никто, кроме меня, там появиться не мог.

— Что вы сказали? — Я не сразу понял, о чем он говорит.

В коридоре прохаживался высокий мужчина.

— Простите, вы Заал Анджапаридзе? — обратился он ко мне.

— Я.

— Я получил повестку. Моя фамилия Ландия. Георгий Ландия. — Он проводил глазами удаляющегося истопника.

— Заходите. — Я пригласил нового свидетеля в кабинет. Это был высокий седой мужчина с добрым спокойным взглядом. Садясь, он достал из кармана сигареты. Я придвинул к нему пепельницу и предупредительно чиркнул спичкой.

— Представьте себе, я впервые попал в прокуратуру, — заметил он, закуривая, и почему-то посмотрел на потолок. — Большая беда приключилась, такого и врагу не пожелаешь...

— Если не ошибаюсь, вы — актер?

Не люблю официальных допросов: фамилия? имя? год рождения? профессия? Я предпочитаю заводить непринужденную беседу, как в поезде со случайным попутчиком. Мне кажется, из этого я извлекаю больше пользы: человек проникается доверием, делается откровеннее, искреннее. Не люблю запугивать — известно ли де вам, что ложные показания наказуются со всей строгостью закона и т. д. Соответствующий параграф кодекса выписан у меня крупными буквами и лежит на столе под стеклом. Обращен в сторону собеседника. Так что каждый и без меня прочтет. А вот обвиняемого я обычно предупреждаю, что эта статья его не касается, что он вообще может не отвечать на вопросы. Но мне кажется, он понимает, что ложные показания добра и ему не принесут.

— Вы угадали. Я актер, но бывший. Сейчас на пенсии. — Он смутился, отвел глаза в сторону, но быстро справился с минутным замешательством, и на лице его снова появилась легкая, едва заметная улыбка.

— В ТЮЗе играли, верно?

— Совершенно верно. В театре юного зрителя.

— Я вас помню. По-моему, в роли шерифа.

— Да, в «Робин Гуде».

— И еще, кажется, в «Проделках Скапена»?

— Нет-нет, в «Проделках» никогда не играл.

— Простите, перепутал. Плохо помню. Немало лет уж прошло. У вас, наверно, самые приятные воспоминания о театре?

— О детях. Больше всего я скучаю без детей. Так и вижу зал — как огромный удивленный глаз. Это для меня одно и то же...

— Что, простите?

— Зрительный зал и детские глаза. — Ландия, улыбаясь, рассеянно смотрит в окно. — На сцене герой в опасности, в безвыходном положении, — в зале тишина, все, как один, затаили дыхание. Но вот герой с честью вышел из трудного испытания — сразу радостно в зале, легко дышится.

— Да, дети особенно переживают все приключения героев, — поддержал я.

— А смерти они просто не признают. Помню, когда артисты выходили кланяться после «Сурамской крепости», в зрительном зале поднималась буря: «Где Зураб? Покажите Зураба!» Артистка, исполнявшая роль Зураба, освобождалась раньше и к концу спектакля успевала переодеться. Поэтому кланяться она не выходила. Но ребята не успокаивались: «Покажите Зураба! Где Зураб?» Вы, может, помните актрису Твалиашвили, она великолепно была в этой роли! И что же начиналось в зале, когда заживо замурованный в Сурамской крепости Зураб выходил на сцену! Я боялся, что наши зрители свалятся с ярусов...

— Вас, должно быть, любил Паата.

— Паата? — Он не сразу сообразил. Потом махнул рукой. — Эх, бедный Паата! Не знаю... Я ничего особенного для него не сделал.

— Дети любят актеров.

— Возможно... Паата вырос на моих глазах. В старом доме мы тоже жили по соседству... — Ландия замолчал, видимо, вспоминая о чем-то. — Был такой занятный случай, — он улыбнулся. — Лет пять назад, я как раз в «Арсене» играл, — замечаю, что Паата перестал со мной здороваться. Понимаете, даже не смотрит в мою сторону. Чем же, думаю, я мальчонку обидел? Ведь до этого мы прямо неразлучными друзьями были. Как-то раз столкнулся я с ним на лестнице, здороваюсь, а он молчит, исподлобья смотрит. Надо, думаю, выяснить отношения. Может его дома против меня настроили? Но зачем? Подхватил я Паату под мышки и хотел поднять, как делал это в пору нашей дружбы. Но куда там. Он стал вырываться, ногами в воздухе заболтал, потом презрительно отвел мои руки в сторону и гордо прошествовал мимо.

— Значит, до этого случая вы с Паатой общались?

— Я же говорю вам — неразлучными друзьями были. Потому я и удивлялся. Однажды захожу к ним домой, встречает меня Мака и лукаво этак улыбается. Заходите, говорит, уважаемый сосед, но только знайте, что в этой семье есть у вас кровный враг. Кто же это такой? — спрашиваю. — Да Паата! Повела я его в театр на «Арсену», а вы как раз Георгия Кучатнели играли, Паата до сих пор вам убийства Арсены простить не может.

Георгий Ландия улыбнулся и замолчал. Потом добавил:

— Может, на Паату особенно повлияло то, что мы с Кучатнели тезки?..

Я достал бумагу для протокола. Ландия сразу стал серьезным, даже руки сложил на столе, как прилежный ученик.

— Расскажите все, что знаете... Простите, вы прочли это? — Я указал на выписку, лежащую под стеклом.

— Спасибо. Прочел. Даже несколько раз. Не очень складно составлено.

— Так, я вас слушаю.

— Должен вам сказать, что в последнее время я страдаю бессонницей. Иродион Менабде иногда доставал мне дефицитные лекарства — у него среди фармацевтов есть знакомые. Но ничего не помогает — нормальная доза на меня не действует, а увеличивать боюсь из-за сердца. Сплю плохо. Сижу ночами — пишу, творю, если можно так выразиться... А зачем? Кому это нужно? — сам не знаю. За воспоминания взялся...— Ландия привычным жестом нащупал колпачок авторучки и только теперь заметил на костюме чернильное пятно (я заметил это пятно, когда он входил в мой кабинет).

— В ту ночь я как раз не спал, — продолжал Ландия, откручивая колпачок авторучки. — Выглянул в окно — я живу на пятом этаже, — заметил свет в окне Пааты. Видел его самого часов в двенадцать...

— Он был одет?

— В майке и трусах. Потом свет горел еще долго, но мальчика я больше не видел. Должно быть, он спал или читал... Так я, во всяком случае, думал.. Простите, можно листочек бумаги, благодарю вас...— Ландия стал вы-

тирать залитое чернилами перо. — Лег я в четыре часа, но заснуть не смог, слегка вздремнул. В пять услышал во дворе шум и выглянул в окно. Вижу, Иродион Менабде, пьяный, ходит вокруг своей машины и ругается. Может, спуститься, помочь, спрашиваю. А он в ответ: спи, старый хрыч, ведь не зря же я тебе лекарства достаю!.. Будьте добры, еще бумаги... — Я передал ему чистый лист, и он завернул в него ручку, но в карман ее класть не стал. — И тут как раз я снова увидел Паату.

— Паату? — я насторожился. — Одетого?

— Да. — Он выглянул в окно и сразу спрятался. Я проследил, как Иродион нетвердым шагом зашел в подъезд и закрыл окно: наступало утро, и я боялся, что шум помешает мне уснуть... Ну, а дальше — услышал крик нашего истопника, выбежал, но, к сожалению, поздно... Помочь уже ничем не мог... — Георгий Ландия нервно вертел в руках завернутую в бумагу авторучку. — Помочь ничем не мог, — повторил он, словно надеясь, что его реплика поможет мне подхватить диалог. Но я молчал, и ему пришлось продолжать: — Хотел сейчас сказать: слава богу, что Паата не разбился насмерть, но вовремя спохватился: стоит ли себя обманывать? Мне известно, что положение его безнадежное.

— Сколько времени прошло с того момента, когда Менабде скрылся в подъезде, и до того, как вы услышали крик?

— Я же сказал, что заснул, и поэтому не могу сказать точно. Не говорил? Простите... Может, час, а может, десять минут... Трудно сказать, сейчас так быстро светает, как на сцене.

— Когда спустилась во двор мать Пааты?

— Мы позвонили в милицию от Ксении Сургуладзе, которая на первом этаже живет. Она, конечно, как узнала, подняла крик, разбудила Маку... Та, несчастная, кинулась вниз... А я тем временем пытался разбудить Иродиона, но тщетно! Он только храпел в ответ. Слишком я с ним церемонился: надо бы встряхнуть его как следует, чтобы проснулся да протрезвел, и сказать все, что следовало... Но у меня духу не хватило.

— Вы не знаете, почему Менабде запирал мальчика дома и не пускал в школу?

— Лично я ничего об этом не знаю. Только слыхал краем уха, что Паату выставили с уроков.

— Почему?

— Будто бы он какой-то девочке покоя не давал.

— Девочке?

— Да-да, будто бы влюблен был в нее и все такое. Но что такое любовь в этом возрасте? Какие-нибудь наивные знаки внимания, особой симпатии — и только!

— Откуда вам известна эта история?

— Да весь наш двор ее обсуждал.

— Вы не можете вспомнить, кто именно говорил об этом?

— Боюсь, что нет.

— А если постараетесь?

— Не совсем понимаю, какое это имеет значение?

Мне показалось, что моя настойчивость обидела Георгия Ландия, и я ответил как можно мягче:

— В нашем деле каждая мелочь имеет огромное значение.

— Пожалуйста, если это так важно. Говорила Этер Муджири, других не помню.

— Этер Муджири?

— Да. А вы ее знаете?

— На основании ее показаний мы возбудили дело, но об этом пока не надо никому говорить.

— Ясно.

— Может, вы слышали когда-нибудь, что Менабде плохо относится к пасынку, бьет его, обижает? Особенно в последнее время?

— Нет, ничего такого не слыхал. Тем паче в последние дни.

— А прежде?

— И прежде ничего не замечал. Может, он и бранил и наказывал мальчонку, но ведь это естественно.

— Квартира Менабде прямо напротив вашей...

— Совершенно верно. Но я никогда не видел, чтобы Иродион бил ребенка.

— И раньше, когда вы жили на старой квартире?

— И раньше... Только раз...

— Я вас слушаю...

— Да нет, просто так вспомнилось... — Ландия задумчиво улыбнулся.

— Продолжайте, пожалуйста...

— Это к делу не относится... Однажды Иродион пригласил меня на встречу Нового года. Паате тогда было лет пять...

— Значит, вы еще жили в старом доме?

— Конечно.

— Очень интересно.

— Да нет же. Это даже в протокол заносить неловко.

— Я и не заношу. А для меня любая подробность жизни Пааты очень существенна.

— Это все мелочи, другой на моем месте вовсе внимания не обратил бы, но на меня почему-то подействовало... Сидели мы с Иродионом, в нарды играли, а Мака на кухне возилась. Возле нас примостился Паата с новенькой машиной.

— Ух, какой у тебя грузовик прекрасный! — говорю я ему. А он в ответ с гордостью: — Это мне Дед Мороз принес. — Паата показал на порог: — Принес и сюда поставил. Машину и конфеты шоколадные. Полный кузов.

— Брось глупости болтать! — оборвал ребенка Иродион. — При чем здесь Дед Мороз? Мама вчера купила машину и, когда ты заснул, положила под дверь. Понял?

— Иродион! — Я пытался его остановить.

— Внушают детям всякие глупости... — настаивал на своем Иродион. — Ребенок должен знать правду... Неплохо бы нам жилось, если бы Деды Морозы подарки бесплатно раздавали!

Паата смотрел на нас расширенными, остановившимися глазами. И я понимал, что рушится целый мир, любовно выстроенный детской наивностью и фантазией.

— Мама! Ведь правда, Дед Мороз принес мне машину! — плакал Паата, и я долго потом слышал его отчаянный крик. — Скажи мне, правда? Мамочка...

Я встал из-за стола и подошел к окну. Георгий Ландия замолчал. Я стоял и курил, бессознательно отмечая про себя все, что видел за окном. Вот перед прокуратурой остановилась черная «Волга», из нее вышел наш прокурор. С ним еще двое. Вошли в здание. Красный свет перекрыл движение. Как похожи автомобили на нетерпеливо грызущих поводья коней. Наконец дали зе-

леный свет, машины табуном ринулись вперед, но теперь растерянно заметались посреди мостовой девочки-школьницы, не успевшие перейти улицу. Но вот они успокоились, стоят, заключенные в белый овал на перекрестке, который автоинспектора называют «островком безопасности». Тут хоть умри, а ни одно колесо не переедет заветной черты. Я вернулся к столу. Георгий Ландия курил не затягиваясь.

— Вы, Иродион Менабде и Этер Муджири, на старой квартире были соседями. Верно?

— Да.

— Расскажите, какие отношения связывали Этер с Иродионом?

— Обыкновенные, соседские... Не понимаю, какое это может иметь значение для следствия.

— Я же вам сказал, что на основе показаний гражданки Муджири я возбудил дело. Только об этом пока никого оповещать не следует.

— Да, я понимаю.

— Этер Муджири показала, что Менабде бил и оскорблял пасынка, всячески унижал его и третировал. Не могла ли она сгустить краски, чтобы не сказать — выдумать чего-нибудь, движимая желанием свести личные счеты?

— Как вам сказать? — замялся Ландия, — вы следователь, вам виднее. Я одно знаю... Только этого не надо записывать.

Я положил ручку на стол.

— Так вот: Иродион собирался жениться на Этер Муджири... С первой женой он разошелся. Детей у них не было. Усыновлять чужого ребенка он не захотел, вот и расстались. Потом Иродион стал ухаживать за Этер Муджири. Все думали, вот-вот женится, как вдруг он привел Маку с Паатой...

— Этер Муджири была раньше замужем?

— Да, она три года прожила с мужем и разошлась.

— Детей не имела?

— Нет.

— Все понятно. Спасибо.

Красота Маки, матери Пааты, успела поразить меня уже в тот миг, когда я зашел к соседке и увидел ее, без чувств лежавшую на диване. Тогда же пришла мне

в голову мысль, которую я совсем некстати выразил сейчас вслух:

— Странная пара — Иродион и Мака... Не подходят они друг другу... — Я прикусил язык и отругал себя за несдержанность.

— О-о, Иродион безумно любит свою жену. Видимо, любовь эта компенсирует все его недостатки... Мака относится к нему с уважением. Иногда кажется, что она жалеет его, старается убедить мужа в том, что он такой же человек, как и все, что он имеет полное право на любовь, счастье...

— Не совсем вас понял.

— Понять это трудно, — Ландия улыбнулся. — Постараюсь вам объяснить свою мысль. Иродион Менабде боится жизни, ему кажется, что существованием своим он кому-то мешает, что за это его ненавидят, преследуют, травят. Я твердо верю, что жизнь каждого человека имеет какой-то высокий смысл, оправдывающий появление его на свет, но складывается впечатление, что Иродион не ведает о назначении каждого из нас, и мечется, терзаемый сомнениями: имею ли я право на любовь и счастье? Может, все, кроме меня, видят, что я этого права лишен и потешаются надо мной? Он живет в постоянном страхе, тщательно обдумывает каждый свой шаг, боясь ошибкой, промахом, невзначай брошенным словом подтвердить правильность мнения, которое якобы сложилось на его счет у окружающих. Иродион давно перестал различать выдуманные им самим страхи от реальных. Он борется неустанно с первыми и вторыми и терпит всякий раз поражение.

— Все это известно Маке?

— Думаю, что да. Потому она и жалеет его. Иродион даже того боится, что у него такая красивая жена. Сколько раз, подвыпив, он проговаривался: имел ли я право жениться на Маке? Кто знает, что думают об этом мои сослуживцы? Или мой начальник?.. При этом он так испуганно поглядывал на дверь, словно ждал чьего-то появления. Даже не просто чьего-то, а появления официального лица, которое именем закона призовет его, Иродиона Менабде, к ответу. «Товарищ Менабде,— скажет строго официальное лицо, — кто дал вам право жениться на красавице? Почему вы ввели в заблуждение

общественность? Вы знаете, какое суровое наказание ждет вас за обман и очковтирательство?» Я хорошо представляю себе, как терялся бедный Иродион перед этим воображаемым стражем закона. Мака однажды рассказала соседке Ксении Сургуладзе, как Иродион вдруг вбежал к ней на кухню и без всякой связи с чем бы то ни было выпалил: «Но зато я жизнью готов для тебя пожертвовать!» Мака, конечно, не поняла, в чем дело, отчего так взволнован Иродион. Он смутился и объяснил свое поведение дурным сном. «Не пугайся, мне приснилась чепуха какая-то, — оправдывался он, — просто никто не знает, как я люблю тебя, вот и завидуют мне, ненавидят...»

Георгий Ландия замолчал. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, я протянул ему протокол.

— Прочтите, пожалуйста, и подпишите.

Георгий Ландия извлек из бумаги свою злополучную авторучку прежде, чем я сообразил предложить ему свою, и подписал протокол. Когда он ушел, я еще долго вспоминал его добрую рассеянную улыбку. Она неожиданно напомнила мне наш деревенский родник. В период опрыскивания виноградников воду из него выбирали до последней капли, и казалось, что он иссяк. Но если не спешить, а постоять над ним немного, нетрудно заметить, как увлажнится сухое дно и выбьется из недр земных на поверхность живительная струя. Такой же неиссякаемой была улыбка старого актера. Она была результатом многолетнего общения с детьми. Он просто заразился от них этим умением улыбаться. Ну, скажите мне, пожалуйста, разве так уж часто люди плачут без причины? А улыбаются без причины часто, даже очень часто! Выражаясь языком спорта, радость и улыбка — исходная позиция для человека. Правда, жизнь наносит ему довольно болезненные удары, случается, даже с ног сбивает, но невидимый и могучий вестибулярный аппарат радости неистребимой улыбкой восстанавливает равновесие и увлекает вас вперед, к будущему счастью.

Я собирался к прокурору и приготовил все нужные бумаги, когда в кабинет без стука вошел крупный представительный мужчина и направился прямо к моему столу:

— Разрешите войти?
— Но вы уже вошли...
— Прошу вас без церемоний, я сейчас в таком настроении, что мне не до вежливости.
— А в чем, собственно, дело?
— Вы Заал Анджапаридзе?
— Допустим.
— Это вы мне прислали? — Он протянул мне повестку.
— Мы.
— А при чем здесь я?
— Пока мы все «ни при чем». Для того вас и вызывают, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват.
— И все-таки, какое я имею к этому отношение?
— В ту ночь именно вы кутили с Иродионом Менабде.
— Ну и что? Разве я не имею права выпить со своим начальником, если он мой приятель?
— Почему вы не садитесь?
— Потому что вы мешаете людям работать, вызываете ни в чем не повинного человека да еще угрожаете: в случае неявки вам грозит то-то и то-то.
— В повестке не совсем такая формулировка, — мягко поправил я.
— Не вижу разницы, смысл один и тот же. Знаю я эти судейские фокусы.
— Садитесь. Если вы будете так горячиться, у нас с вами ничего не получится.
Он презрительно поглядел на меня с высоты своего внушительного роста и махнул рукой:
— Эх, разве вам докажешь! Все равно вы думаете, что я... что мы... В общем, скорее допрашивайте, я спешу.
Он сел.
— На работу вы представите справку о том, что были к нам вызваны.
— Работа... меня мало волнует. — Он хотел выразиться покрепче, но сдержался.
— В котором часу вы расстались после попойки?
— Может, в три, а может, в четыре. Не помню. Я был пьян.
— Иродион поехал домой?

— Да. Еще меня завез по дороге. Уж не Иродиона ли вы подозреваете? Как будто ему своего горя мало. Вот чудаки!

— Пока что мы никого не подозреваем, а хотим выяснить, как все произошло. Скажите, не вспоминал ли Менабде за столом своего пасынка?

— Как будто вспоминал, а впрочем... — Вдруг он просительно и угрожающе вскинул обе руки вверх. — Ради бога, не делайте из меня доносчика!

— Вы прочли это? — Я указал на бумагу под стеклом.

— Да, видел. — Он небрежно окинул взглядом выписку.

— Я знаю, что видели. Меня интересует, прочли или нет?

— Вот наказание!.. Ну вот, читаю, прочел... — Мне показалось, что он немного успокоился, но я ошибся: он снова вскинулся: — Послушайте, нельзя же все время угрожать! За неявку — одно, за ложные показания — другое. Что я вам, преступник?

— Никто вам не угрожает, возьмите себя в руки и отвечайте: что говорил Менабде о своем пасынке?

— Да ничего нового, только то говорил, что все и раньше знали.

— А что вы знали раньше?

— Я же просил вас — без фокусов. Не притворяйтесь, что вы ничегошеньки не знаете! У меня своих неприятностей хватает, а тут еще... — Он вскочил и нервно зашагал по комнате.

— Сядьте и успокойтесь. Почему Менабде жаловался на Паату?

— Потому что Паата его осрамил!

— В чем это заключалось?

— Вы хотите, чтобы я поверил, будто вы не знаете, что Паата влюбился в свою одноклассницу?!

— Я не знал, что это позор.

— Девчонке проходу не давал... Что вы, не знаете современную молодежь? Ох, я бы им всем!.. Я сказал Иродиону: зачем ты его дома запер, ведь экзамены на носу. Лучше бы в другую школу перевел. А он говорит мне: все равно Паата побежит туда, лучше я его дома

подержу... — Он помолчал и после паузы добавил: — Что поделаешь, Иродион боится.

— Кого?

— Кого-кого! Министра боится.

— Какого министра?

Тут мой свидетель окончательно вышел из себя:

— Перестаньте меня разыгрывать! Если вы ничего не знаете, сначала ознакомьтесь с делом, а потом трепите людям нервы.

— Я прошу вас отвечать на вопросы.

— Нет уж, простите, я пошел. Мне сейчас не до вас и не до кого на свете, у меня у самого зарез! — Он провел ребром ладони по тучной шее.

— Гражданин, остановитесь, я ведь с вами не в игрушки играю. И здесь не детский сад.

— А по-моему, именно детский сад с игрушками. Я ухожу.

— Вы пожалеете об этом!

— Ну вот, опять угрозы! — Он был уже возле дверей, как вдруг остановился и с горечью бросил: — Вы бы лучше настоящими бандитами занимались, но это дело опасное, трудное, верно?

— Верно, — согласился я. — Тем более, что я не знаю, о чем и о ком вы говорите.

— В том-то и беда, что знаете, но не принимаете никаких мер!

— Откуда у вас такая осведомленность о работе наших органов?

— Работа! — насмешливо протянул мужчина. — Тоже мне, деятели! Даже на след напасть не могут! Попадись только они мне в руки, я им покажу...

— Не выражайтесь! — Я встал из-за стола не на шутку рассерженный.

— А я сына своего ругаю... Мой сын! Хочу — ругаю, хочу — совсем убью! Убью, если попадется мне в руки! — Он прямо зубами скрипел от злости.

Я заинтересовался и спросил:

— Что он такого сделал, ваш сын?

— Разорил! По миру пустил! — возопил, обращаясь к потолку, нервный свидетель. — Недавно я потерял отца, горячо любимого папочку, — он порылся в карманах и извлек полоску черного шелка, которую наши-

вают на рукав в знак траура, — вот, видите? Решил я к годовщине его смерти поставить памятник. Пусть все видят, как я отца уважаю. Весь год деньги собирал, по копеечке копил, а он, паршивец, взял и фр-р-р! — все по ветру пустил.

— Ваш сын?

— Мой собственный.

— И много было денег?

— Если очень интересуетесь, скажу, мне чихать! — Снова было распетушился мой собеседник, но окончил фразу каким-то потухшим и плачущим голосом: — Ни много, ни мало, шестьдесят тысяч[1].

— И куда же ваш сын скрылся с этими деньгами?

— Он еще меня спрашивает! Откуда я знаю?! К черту, к дьяволу!.. Он жениться собирался, наверно, вместе и сбежали. Его барышни тоже нигде не видать.

— Значит, они поженились.

— Вы еще смеетесь! — Он подскочил ко мне так близко, что я почувствовал на лице его разгоряченное дыхание.

— Я лишь высказываю предположение. — Я постарался сказать это как можно серьезнее, хотя мне было ужасно смешно.

— Вам легко шутить, деньги-то не ваши... Бедный отец! Теперь все будут говорить, что у него негодный сын.

— Сколько лет было вашему отцу?

— Немного не дотянул до девяноста восьми... А почему вы спрашиваете?

— Просто так. Неужели ваш сын совсем не оставил денег?

— Как же! Расщедрился, семь тысяч оставил...

— По-моему, для памятника этой суммы вполне достаточно.

— Нет! Вы только послушайте, что он говорит! Вокруг не могилы, а дворцы, а бедный папочка будет лежать под семитысячным гранитом!

— И все-таки мне кажется, сумма приличная. — Я на всякий случай отстранился от вспыльчивого посетителя

---

[1] События, описанные в романе, происходят до денежной реформы 1961 года.

и коварно продолжал: — Я бы на вашем месте позаботился о сыне с невесткой, подкинул бы им еще деньжонок — ведь молодым и квартира нужна, и мебель, на все не хватит...

Но я напрасно боялся: мой собеседник только таращил воспаленные глаза и безуспешно пытался справиться с прыгающей челюстью. Махнув в отчаянии рукой, он кинулся к выходу.

ГЛАВА III

Десять часов вечера. Лежу одетый и смотрю в потолок. На его белой чистой поверхности мои мысли делаются зримыми. Впечатления, воспоминания, неуловимые ощущения обретают силуэт, иногда даже окраску и устремляются к центру, освещенному лампочкой кругу, где начинают так невыносимо сверкать, что я отвожу глаза и стараюсь смотреть в сторону, в угол, где потолок сходится со стеной и откуда, как мне кажется, выплывают образы, созданные моим воображением.

Гоню от себя сон, боюсь — засну и прервется течение мысли. Кто знает, куда она приведет меня, с чем столкнет. А если я засну, наутро могу встать и мысли потекут совсем по другому руслу, и то, что мне надлежало узнать, навек останется непознанным. Естественно, что я волнуюсь. Это мое первое самостоятельное дело. И такое сложное! Почему его доверили именно мне? Ведь столько опытных следователей! Признаться, я опасался, что прокурор мне вежливо откажет и передаст дело другому. Но он, видимо, решил, что настал срок меня испытать. Если так, то еще ничего. Но меня другое подозрение мучит, может, и не такое уж безосновательное, как на первый взгляд кажется. Аргументы укладываются в логическое построение, как листья на ветке, листья эти распускаются и зеленеют, потом так же естественно вянут и осыпаются. Ветка оголяется и сохнет. Это и страшно, потому что остальные ветки моих рассуждений покрыты густой вечнозеленой листвой!

«Бог тебя наказал, внучек!» — часто говаривала моя бабушка. Помню, однажды старший брат пошел на мельницу, а меня не взял. Он шел с товарищами и не

хотел с маленьким в дороге возиться. Я долго плакал и за стол, накрытый на балконе, сел, весь опухший от слез. Собиравшийся все утро дождь наконец хлынул, и ветер заносил на балкон крупные частые капли.

«Пусть льет, — злорадно подумал я, — пусть совсем смоет эту противную мельницу вместе с Вахтангом!»

Не успел я подумать, как тарелка с горячей кашей опрокинулась на мои коленки, и я взвыл от боли.

— Это тебя бог наказал, — говорила бабушка, посыпая содой мои ожоги, — нельзя другому зла желать.

В другой раз, когда я вырвался из слабых бабушкиных рук и побежал смотреть на деревенскую драку, из которой запомнился мне только страшный блеск топоров, зацепился пальцем босой ноги за могучие корни столетнего ореха и чуть сознание не потерял от пронзившей всего меня боли. И все же тогда я успел подумать, что меня бог наказал за то, что я бабушку не послушался.

Это было в далеком детстве, но на всю жизнь запала мне в душу бабушкина уверенность в том, что не только поступки, но и мысли людей имеют последствия и результаты. Что мысль так же видима и осязаема, как дождь или топор, что желание — доброе или злое, — порожденное сердцем или мозгом, стремится выполнить свое назначение.

Когда я повзрослел, — уж не знаю, то ли под влиянием бабушки, то ли в силу стечения обстоятельств, — не раз замечал тесную связь между устремлениями, наклонностями людей и событиями вокруг них разыгрывающимися. Наверное, это естественно, и я понимаю, что был наивен, пытаясь объяснить сложные явления действительности полумистической бабушкиной формулой.

Дата Кавтиашвили, старый истопник, никого не спасал от смерти, никого не укрывал под гостеприимным кровом, никому не помогал ни словом, ни делом, не нажил за долгую жизнь ни друзей, ни врагов — и теперь страдает от мысли, что, покидая этот мир, не оставляет за собой следа. Ему кажется, что, не появись он на свет вовсе, ничего на земле не переменилось бы. Но как он не прав! Тот скромный хлебный колосок, который он выращивал, чтобы прокормить себя, взошел густой ни-

вой, может, где-то неподалеку, а может, в заморской стране, и кормит теперь других людей. Тропинка, которую он протоптал, старик Дата, как ни одинока и затерянна, а все равно пересекается с путями других людей — разных и многочисленных. Нет, человек не исчезает бесследно, если даже живет и умирает в той самой каморке, в которой родился.

— Что за мысли лезут тебе в голову, Заал? — спросил я у человека, сидящего напротив меня за следовательским столом, бледного и взволнованного.

— Боюсь, как бы мои выдуманные страхи не оказались правдой.

— А что это за страхи? — Я был куда увереннее своего измученного сомнениями собеседника.

— Думается мне, что на земле все переплетается так тесно...

— Дальше?

— Так тесно, что люди, живущие на разных краях света, которые никогда не видели друг друга и, возможно, никогда не увидят, оказываются связанными невидимыми, но прочнейшими узами. Поступок одного человека влияет на судьбу многих и наоборот, но так, что никто из них и не подозревает об этом.

Он говорил убедительно, но мне не хотелось соглашаться.

— Сложно закручено: не подозревая, влияют!..

— Да-да! Самый ничтожный мой проступок, который невозможно взвесить на самых точных весах, пусть на йоту, но все же меняет обстановку, в которой я живу, и если каждый человек, соседствующий со мной, тоже совершит самый незаметный проступок и его мирок так же изменится, как мой, ты не станешь отрицать, что в таком случае из наших крошечных провинностей сложится одна большая вина...

— Не понимаю, говори яснее, Заал!

— Все это не может не отразиться на судьбе ни в чем не повинного, не известного нам человека.

— Скажи-ка прямо, что ты хочешь сказать.

Заал долго не отвечал, словно хотел переложить на меня всю тяжесть предстоящего признания.

— Почему Паата решился на такой отчаянный шаг, — прошептал он.

— Я еще не знаю, так ли это, ведь расследование только началось.

— Но ты не можешь отрицать, что в любом случае имело место событие, из ряда вон выходящее: либо его выбросили, либо он сам выбросился...

— И что же? Ты готов в этом винить себя?

— И себя и тебя.

— Меня? Интересно.

— Мы оба живем не так, как надо.

— Ну, конечно! — язвительно подхватил я. — И наше недостойное поведение повлияло на судьбу Пааты Хергиани.

— Да, наше поведение в совокупности с проступками других людей.

— И все-таки, в чем ты меня обвиняешь?

— Во многом.

— Давай тогда поменяемся местами. Ты будешь следователем, а я обвиняемым.

Так и сделали.

— Заал Анджапаридзе, — начал он торжественно и официально, — вы обвиняетесь в том, что бросили, позабыли прекрасную девушку после того, как долго и настойчиво добивались ее дружбы и любви.

— Какую девушку? — Я притворился удивленным.

— Ах, вы не помните? Еще лучше! Мы вам напомним.

— Вы имеете в виду Наи Ратиани? — спохватился я.

— Да. Именно ее.

— Я протестую против выражения: «добивались любви и дружбы».

— Вы хотите сказать, что она сама с первого взгляда влюбилась, очарованная вашими модными усиками? Нет, мой друг, я-то знаю, к каким ухищрениям вы только не прибегали для того, чтобы привлечь ее внимание!

— Но я любил ее. И сейчас люблю. — От нападения я перешел к защите.

— Вам только кажется, что вы любите, как раньше казалось, что без нее вы дня не проживете... Вы ведь даже ни разу ей не сказали о своей любви!

— А разве это обязательно?

— Не сказали, потому что боялись ответственности! А вы хотели...

— Глупости! — рассердился я. — Я ничего не хотел, кроме...

— Кроме, простите?

— Я хотел быть рядом с ней, никогда не расставаться.

— А теперь? Вам теперь и этого не хочется?

Я почувствовал, что угодил в ловушку, и сделал слабую попытку вырваться:

— Собственно говоря, с чего вы взяли, что она меня любит?

— А-а, попался!

— Мы встретились... а потом разошлись...

— Здорово! Встретились, разошлись! Прекрасная была встреча... Вспомним, как это случилось. Наи шла по проспекту Руставели к площади Ленина, спешила, а ты околачивался возле кинотеатра. У тебя так коленки и подкосились, когда она мимо прошла. Стоял солнечный осенний день. Ты даже жмурился от удовольствия, вдыхая запах опавшей листвы... Наи была в скромном розовом платье, широкий подол не скрывал стройных ног. Хрупкая тень Наи скакала по стенам домов, мимо которых она проходила. Вряд ли ты был способен в ту минуту принять какое-нибудь решение. Ты просто пошел за ней, как завороженный, быстро обогнал ее, затерявшись в толпе, потом повернул назад и пошел навстречу, чтобы разглядеть лицо девушки, так внезапно тебя поразившей. Но она опять прошла мимо, не заметив тебя...

— Потом Наи говорила, что тогда почувствовала на себе чей-то взгляд, — вставил я.

— Ничего она не говорила, — возразил мой обвинитель, — это ты сам придумал.

— Нет, говорила, припомни, как следует, — настаивал я.

— Допустим. Это не имеет решающего значения. Короче говоря, ты последовал за девушкой на почтительном расстоянии и едва не потерял ее из виду, как вдруг заметил с радостью, что она поворачивает к публичной библиотеке. Почему с радостью? Да потому, что это давало тебе надежду познакомиться с нею поближе. В регистратуре тебе выписали разовый пропуск, потому что ничего, кроме именного абонемента в плавательный бассейн, у тебя с собой не оказалось.

Ты выждал время, достаточное для получения выписанной книги, и рассчитав, что девушка уже заняла свое место за столом, вошел в читальный зал. Тебе хотелось попасть туда после нее: вновь пришедший всегда привлекает к себе внимание — пусть мимолетное, — но тебе так хотелось, чтобы она тобой заинтересовалась! Увы, девушки не оказалось ни в общем зале, ни в периодике, ни в научном. Обескураженный бродил ты по тихим коридорам, сбросив бесполезную теперь маску библиотечного завсегдатая. Ты мечтал увидеть девушку и уже согласен был на то, чтобы она догадалась, что сюда ты попал исключительно ради нее. Пугаясь неожиданной встречи, ты старался подтянуться и выглядеть как можно привлекательнее.

— Но это ложь!

— Нет. Истинная правда. Ты придирчиво осматривал свой костюм, прическу, лицо, стараясь угадать, понравишься ли прекрасной незнакомке... Наконец ты наугад толкнул какую-то дверь и очутился в фонотеке, о существовании которой прежде не знал. В маленькой комнате едва умещалось семь столов (ты их сосчитал значительно позднее, когда пришел сюда в третий или четвертый раз). Два стола оставались свободными; за остальными столами сидели люди в наушниках — кто откинувшись на стуле и самозабвенно прикрыв глаза, кто подавшись вперед и подпирая руками голову. Она сидела прямо, сцепив под подбородком тонкие длинные пальцы, и смотрела на тебя... Правильно я говорю?

Я вздохнул:

— Правильно. Я смутился...

— Ты смутился и так растерялся, что чуть было не повернул назад, но, вовремя спохватившись, направился к каталогу, делая вид, что выбираешь пластинку. Обратиться к сотрудникам фонотеки боялся, не желая выдавать свою неопытность. Сквозь приоткрытую дверь ты увидел бесшумно вертящиеся диски магнитофонов и подумал: интересно, что она слушает?

Комната с высоким потолком была двухэтажной, наверх вела крутая деревянная лестница, на антресолях размещались полки с пластинками и пленками. Со стен строго и вопрошающе на тебя смотрели портреты великих композиторов. Не удержавшись от соблазна блес-

нуть эрудицией, ты спросил, есть ли записи Клемперера и Вальтера, хотя тебе ничего не было известно об этих именах, кроме того, что это были знаменитые западные дирижеры. Но так хотелось в ее глазах показаться искушенным знатоком музыки!

— Я и сейчас не знаю, что это за дирижеры! — засмеялся я.

— Я о том и говорю. Но все твои старания не увенчались успехом. Как только тебе принесли наушники, девушка поднялась и ушла. Ты почувствовал себя глубоко оскорбленным, и прекрасная музыка впервые в жизни не доставила тебе удовольствия. Минут пять ты высидел, потом, придумав какую-то причину, не заботясь о ее правдоподобии, покинул фонотеку. Ни в библиотеке, ни на улице девушки не было. Всю неделю не было ее и в фонотеке, хотя ты стал ежедневным исправным посетителем и слушателем. Тебя одолевала тоска, ты стал походить на классического влюбленного, и новая роль где-то даже пришлась тебе по душе.

— Это не роль, — обиделся я. — Я не притворялся.

— Тогда, может, не притворялся, а потом притворялся. На восьмой день ты решил в последний раз попытать счастья... Кстати, именно это решение обнаружило всю поверхностность твоего чувства. Какая-нибудь неделя поиска и ожидания показалась тебе великой жертвой. Ты должен был тогда же понять, что движет тобой простое любопытство, подстрекаемое самолюбием или тщеславием, в те дни такое же далекое от истинной любви, как и сегодня... Итак, на восьмой день девушка сидела на прежнем месте, слушала музыку и время от времени что-то записывала в свою тетрадь. Она вскинула на тебя большие задумчивые глаза, и тебе показалось, что она все понимает. Ты смущенно уткнулся в каталог, не зная, как себя вести дальше. В соседней комнате все так же приглушенно шелестели магнитофоны. Молодой человек, дежуривший возле них, позвал сотрудницу фонотеки: «Феридэ, я принес тебе Риту Павоне, иди сюда, послушаем». Он поставил пластинку совсем негромко, чтобы не мешать посетителям, но ты все равно расслышал, какой теплый и проникновенный голос был у юной итальянки. Пока ты рылся в каталоге, девушка сняла наушники и вышла из фонотеки. Тетрадь

и ручку она оставила на столе. В комнате в этот момент никого не было, и это укрепило твое странное решение. Ты подошел к столу и поднял включенные наушники. Еще раньше, чем услышать музыку, ты ощутил легкий аромат духов и смутился: в этом невинном, на первый взгляд, прикосновении было что-то интимное, недозволенное. Но как сладок запретный плод! Как хотелось приникнуть к наушникам, хранящим тепло ее щеки, услышать музыку, которую она любила. Музыку ты, к счастью, узнал, это была Пятая симфония Бетховена. Эта пластинка была у тебя дома. И ты любил прокручивать ее еще с университетских времен. И если тебе не изменяла память, проигрывалась последняя часть. Ты тихонько отошел от стола и стал дожидаться возвращения девушки, чтобы осуществить свой замысел до конца.

Она вскоре вернулась и села на свое место.

— Пожалуйста, еще раз финал, — попросила она дежурного, надевая наушники. — Да-да, отсюда, большое спасибо! — Она благодарно улыбнулась.

Ты впервые услышал ее голос и так поразился, словно произошло неслыханное чудо.

— И после этого ты продолжаешь утверждать, что я не любил! — горько усмехнулся я.

Мой двойник не стал спорить.

— В ту минуту, может, и любил, не спорю, но теперь...

— И теперь люблю.

— Теперь тебя приятно щекочут воспоминания.

— А ты жесток, братец, — заметил я обидчиво.

— Каков уж есть, — развел он руками.

— Я докажу тебе, что ты ошибаешься, — запальчиво воскликнул я, но он отмахнулся.

— Спорить будешь потом, а сейчас слушай... Наконец появилась Феридэ, сотрудница фонотеки, хорошенькая молодая женщина.

— Простите, что заставила ждать, что вы хотели? — справилась она любезно.

— Пятую симфонию Бетховена. — Тебе самому твой голос показался удивительно фальшивым.

— Пятую, по-моему, слушают. — Феридэ посмотрела в сторону Наи.

— Слушают? — Ты притворился удивленным и тоже поглядел на девушку. Она почувствовала на себе ваши пристальные взгляды и сняла один наушник.

— У вас пятая? — спросила Феридэ.

— Да, а в чем дело? — Наи поняла, что ты «ждешь» ту же запись, и так заспешила, словно чувствовала себя виноватой. — Я сейчас, сию минуту кончаю, — как будто она могла ускорить финал симфонии. Смущение и неловкость так шли ее нежному лицу, что ты влюбился без памяти и стал судорожно придумывать, как быть дальше. Ведь сейчас она прослушает пленку до конца и уйдет, а ты останешься тут сидеть, как дурак!

Тогда ты решил выйти из фонотеки и дожидаться Наи на улице. Она появилась очень скоро, улыбнулась тебе и сказала:

— Вы можете идти, пленка свободна...

Ты стоял, согретый ее лучезарной улыбкой, забыв обо всем на свете. И по тому, как ты медлил, как откровенно любовался ею, она догадалась, что здесь что-то не так, и насторожилась. Ты понял, что сейчас ни в коем случае нельзя бежать за ней. Но ты и так был счастлив безмерно. Она сама заговорила с тобой, улыбнулась тебе... Эта улыбка показалась тебе каплей из теплого волнующего моря, которое пока еще оставалось неведомым.

— Смотри не увлекайся, как бы не утонуть в этом море, — заметил я.

— Увлекся-то как раз ты, хотел заплыть за флажки, а получил веслом по голове... Разочарованный, ты изменил прежним мечтам.

— Не будем говорить о том, чего не знаем, — прервал я его.

— Не заставляй лгать свою память, — с упреком взглянул на меня мой непримиримый следователь. — Ты еще раз увидел Наи, когда она выходила из консерватории вместе с друзьями. Ты услышал, как ее зовут, и в тот же день кинулся к своему приятелю Тазо, Тенгизу Мерквиладзе.

— Наи? — Тазо задумчиво потер подбородок. — Ты, наверное, имеешь в виду Наи Ратиани? Знаю, знаю. Что-нибудь случилось?

— Да, Тазо. Случилось.

— Тогда я вас непременно познакомлю. Она немного молода для тебя, но ничего... Прекрасная пианистка Наи. Но учти: соперников у тебя будет много...

Время шло. А удобный для знакомства случай все не представлялся. Ты часами простаивал возле консерватории, внушая себе, что, завидев Наи, ты сам подойдешь к ней и представишься. Но ты знал, что никогда на это не решишься. Когда надежда почти иссякла, судьба над тобой смилостивилась, и в один прекрасный вечер ты увидел, как Наи выходит из консерватории. Несмотря на то, что она была одна, подойти к ней ты, разумеется, не посмел и поплелся следом к остановке. Возле оперы Наи заговорила с каким-то пожилым мужчиной. Ты спрятался за аркой оперного театра и жадно вслушивался в беззаботную болтовню и смех Наи. Ее удлиненная тень лежала возле твоих ног. Стоило тебе сделать шаг, как ты сливался с этой густой трепетной тенью и радовался этому, как влюбленный школьник.

Вдруг кто-то подкрался к тебе сзади и поднес к твоим глазам газету, свернутую трубкой. Чьи-то сильные руки так сжали тебя, что ты не мог обернуться.

— Тебе бинокль необходим, раз ты предпочитаешь издали людей разглядывать! — засмеялся Тазо, когда ты высвободился из его могучих объятий.

— Идем, познакомлю! — Он подтолкнул тебя вперед. — Скорей! А то уйдет.

Пока ты мялся в нерешительности, автобус и в самом деле подошел.

— Ну вот, видишь, — рассердился Тазо и кинулся к остановке, чтобы удержать девушку, которая уже поднималась в автобус.

Она грустным взглядом провожала удалявшийся красный огонек и рассеянно слушала Тазо, который завел пустейшую беседу о каких-то лекциях, концертах, новых преподавателях. А тебя вдруг обуяло такое волнение, что ты едва не сбежал. Тазо словно угадал твои намерения, притянул тебя за рукав поближе и представил Наи.

— Мы, кажется, знакомы, — с улыбкой проговорила Наи, протягивая тебе руку. Твое волнение и растерянность достигли предела, когда ты ощутил в своей руке ее тонкие пальцы, ты невнятно пробормотал свое имя, задыхаясь от восторга и счастья: она тебя помнила!..

— Вот так мы и познакомились, — прервал я красноречивого двойника.

— В тот вечер... — продолжал он, но я остановил его.

— Не надо, хватит.

— Но почему же? Сейчас начнется самое главное.

— Я все прекрасно помню.

— Но ведь до сих пор...

— До сих пор слушал, а дальше не хочу.

— Ты просто не представляешь, что я скажу.

— Вполне представляю! — Я вскочил со стула. — Сейчас ты скажешь, что мы с Наи часто виделись, вместе ходили в кино и театры. Чем больше я поддавался ее очарованию, тем тверже становилось убеждение, что она должна принадлежать мне и только мне, что на всем свете больше нет человека, который был бы ее достоин. Я сам придумывал за нее желания и капризы и сам выполнял их с наслаждением. Я писал стихи, где возносил до небес красоту и талант Наи. Конечно, ты скажешь, что счастье это было быстротечным, что ревность — вечная спутница любви — изуродовала мое чувство и меня самого сделала мелким и ничтожным. Я не выносил, когда Наи осыпали комплиментами, более того — похвала ее педагога вызывала у меня дикий приступ ревности. А что я испытывал после концертов, когда поклонники окружали Наи и лезли со своими поздравлениями и поцелуями! Наи стояла среди них торжествующая и сияющая, а я мрачный стоял в стороне. Ты, разумеется, будешь меня уверять, что Наи только обо мне помнила, искала меня глазами, жаждала только моего одобрения. Я все знаю, что ты можешь сказать. А каково было мне, когда она стала участницей конкурса и ей надо было так много заниматься, что наши встречи почти совсем прекратились? Ты назовешь мое поведение низкой местью и спросишь: как я мог на глазах у Наи ухаживать за другой девушкой и всюду появляться вместе с нею... Впрочем, называй это как хочешь, и кончим.

— Э-е, брат, ты пропустил главное, так дело не пойдет, — злорадно заметил мой обвинитель.

— Я же сказал: довольно!

Но он не слушал меня:

— Ты не мог примириться с мыслью, что Наи не

бросит ради тебя любимого дела, не мог простить Наи дружеского общения с коллегами — старыми и молодыми, красивыми и некрасивыми, не мог допустить частых поездок на гастроли. Потому что везде и всюду тебе мерещился соперник. Ты искал следы измены в ее глазах, в лице, вместо того чтобы ценить ее любовь и преданность. Наконец, когда терзания твои достигли предела и ты внушил себе, что теряешь любимую, ты решил потребовать от нее неопровержимого, главного доказательства ее любви и готовности принадлежать тебе. Ты позволил себе перепрыгнуть ступеньки, ведущие к сближению, и стал добиваться...

— Ты циник! — Я не желал более его слушать.

— И вот тут-то ты и получил веслом по голове, а употребив специфический термин, — пощечину. Должен заметить, что это был случай, когда действия обороны не превышали мер, необходимых для самозащиты. — Каждое слово моего безжалостного двойника было пронизано смертельным ядом. — Ты хоть раз подумал, на какие страдания обрек девушку? Вместо того чтобы прийти с повинной, признать, что твое безобразное поведение было достойно еще более суровой кары, вместо того чтобы просить прощения, ты дал волю своему болезненному самолюбию и прибегнул к самому подлому способу: решил отомстить любящей тебя девушке и перестал с ней встречаться.

— Ты кончил?!

— Не кончил. Я бы мог назвать еще целый ряд провинностей и мелких проступков, но пусть это будет в другой раз.

— И на том спасибо! А что ж ты сам? Ни в чем не виноват.

— Как же! И я не святой. Но ты не хотел каяться, поэтому я тебе все и припомнил.

— Но какая все-таки связь между нашими ошибками и случаем с Паатой?

— Я ведь уже объяснял тебе. Мне кажется...

— ...что всякий проступок ведет за собой нескончаемую цепь последствий, — заученным тоном продолжал я, — и таким образом каждый из нас может оказаться соучастником преступления. Честно говоря, мне надоела эта твоя нелепая теория.

— Может, она и нелепая, но в данный момент я иначе мыслить не могу. Я не имею права расследовать это дело, пока чувствую себя виновным.

— О, великий, невиданный под солнцем следователь! — возопил я не без злорадной иронии. — Первое же дело, которое тебе доверили, ты распознал с закрытыми глазами! Твоя гениальность не нуждается в таких мелочах, как дознание, опрос свидетелей и пр., и пр. Ты после минутных раздумий безошибочно указал виновного, выволок его на свет божий. И что же? Им оказался ты сам, собственной персоной! Какой великолепный ход, как это просто и в то же время гениально. Только мой совет: никому об этом своем гениальном открытии не говори. Чего доброго, не поймут и кретином объявят!..

Я засмеялся вслух и посмотрел на часы. Одиннадцать. Быстро встал, пригладил волосы и вышел на проспект Руставели. Погруженный в свои мысли, я отвлекся от них только возле шахматного клуба, где под демонстрационной доской, несмотря на поздний час, горячо спорили болельщики. В другой раз я бы непременно остановился и принял участие в обсуждении, кто же все-таки выиграет отложенную партию и станет чемпионом мира. Но сейчас я спешил, так спешил, как никогда в жизни.

«А вдруг она увидит меня из окна и догадается? Впрочем, я ведь могу идти к товарищу. К Отару, допустим? А если она поздоровается, что мне делать? Господи, разумеется, ответить!.. Ну ладно, а что, если она стоит у окна и молчит — не окликает меня? Остановиться и заговорить самому?»

Сердце у меня так колотилось, словно Наи была уже совсем близко. Вообще-то до дома ее оставалось совсем немного. Вот круглый скверик, обнесенный решеткой. В летний зной он не раз одаривал нас тишиной и прохладой.

Всей кожей ощущали мы невидимую, но такую явную границу между плотным зноем улицы и текучей прохладой сквера. Сделаешь шаг вперед — холодно, назад — жарко! Как в забытой детской игре.

Но сейчас этой границы нет, стоит первая половина мая, и повсюду разлита весенняя прохлада.

«Сколько времени я ее не видел? Как она, интересно? Может, ее и вовсе нет в городе?» — но я почему-то был уверен, что Наи в Тбилиси и я ее непременно увижу. Я свернул на безлюдную, погруженную в вечерний сумрак улицу Барнова.

Однако почему так тихо? Обычно отсюда я уже слышал чуть приглушенные расстоянием звуки рояля. Весь репертуар Наи я знал наизусть. Особенно любил я одну старинную мелодию. Кажется, так и вижу тонкие пальцы Наи на поющих клавишах. Но здесь бдительная память еще раз заставила вспыхнуть мою щеку... Мелодия умолкла. Близость цели подсказала мне походку глубоко задумавшегося человека.

Вот и железные ворота, такие знакомые, а теперь запретные. Обычно их закрывали в двенадцать, а я засиживался у Наи и потом перелезал через острые пики ограды. Но кто это вышел из ворот и, пройдя под освещенными окнами, кому-то помахал рукой? Кажется, это Тазо! Хорошо, я успел спрятаться, и он меня не заметил. Но что он делал у Наи в такой поздний час?

Я все еще стоял в своем темном убежище, прекрасно понимая, что прячусь не от Тазо, а от страшных подозрений. Я боялся выйти на свет и очутиться со своей ревностью лицом к лицу. Не знаю, как долго я простоял бы в чужом подъезде, если бы не приближающийся стук каблучков. Я сообразил, что могу испугать женщину, и вышел на тротуар.

Я старался ни о чем не думать и поступать так, как на моем месте вел бы себя обычный прохожий. Вот я поравнялся с домом Наи. Яркий прямоугольник окна лежит на тротуаре, в прямоугольнике две тени. Всякий невольно поднимет голову. Поднимаю и я. У окна стоят Наи и Мелита. Мелита высовывается, Наи прячется в тени.

— Заал? Ты куда в такой поздний час? Здравствуй!

— Здравствуй, Мелита. Да вот решил заглянуть к Отару. — Я сделал вид, будто только что увидел Наи, и молча кивнул ей. Губы Наи шевельнулись. Она, видимо, что-то сказала, но я не расслышал.

— Отар давно уже спит, — лукаво улыбнулась Мели-

та, всем своим видом давая понять, что не сомневается в причине моего появления.

— Нет, он уезжает, и я должен его проводить, — твердо отвел я все ее намеки.

— Где ты пропадал столько времени? — не сдавалась Мелита.

— Да как тебе сказать. Служба, дела...

— Вы с кем это разговариваете? — раздался из комнаты голос тети Тамары, матери Наи.

— С Заалом, тетя Тамара, — охотно отозвалась Мелита.

— До свидания, Мелита, — заторопился я. Потом повернулся к Наи и сказал: — До свидания.

Она ответила почти шепотом, по обыкновению поправив спадавшие на лоб волосы. Я успел заметить ее платье без рукавов, потому что нестерпимо белели в темноте ее открытые плечи.

Я не шел, а на крыльях несся, как первоклассник, получивший первую пятерку. Господи, какой же я дурак! Как я мог на нее обижаться! Она же необыкновенная девушка! Волшебница! Конечно, волшебница, если одним взглядом она сумела превратить меня в маленького Залико, которому снится принцесса из сказки, рассказанной на ночь. Правда, принцесса молчала, но Залико знал, что она хочет сказать: «Я так давно жду тебя, Заал. Всех царевичей и королевичей я перехитрила и ни с чем отправила восвояси, потому что знала, что ты вернешься. Сегодня истекал назначенный срок — и ты пришел».

Как хорошо, что Мелита стояла у окна. Вообще-то Мелиту я не очень любил, но сейчас она появилась очень кстати. Мелита — эстрадная певица, поклонников у нее масса, хотя мне ее голос кажется довольно бесцветным. Впрочем, она красивая, и этим можно обьяснить ее успех. Я часто говорил Наи, что не понимаю этой дружбы, — уж очень они были разные! Но Мелита любила Наи и на правах соседки проводила с ней больше времени, чем мне хотелось.

Я не должен был врать про Отара, надо было дать Наи почувствовать, что я пришел сюда ради нее. А что получилось? Будто я иду к товарищу и случайно увидел Наи. Так мы могли и на улице встретиться! Что изме-

нилось? В глазах Наи я остался тем же отвергнутым и мстительным неудачником. Нет, ужасно глупо я себя повел, сам все испортил! Теперь вся надежда на Мелиту. Она, как на афише, прочла на моем лице все мои тайны и, наверно, сейчас со смехом объясняет Наи, что привело меня к ее дому.

А все-таки что делал там Тазо? И почему Мелита мне не сказала, что он только что был у них. Ведь она знает, что Тазо мой друг... Два года назад Тазо говорил, что Наи чересчур молода. Но сам-то он на добрых шесть лет старше меня. Странный человек Тазо. В трех институтах учился и ни одного не кончил. С детства увлекался музыкой, а поступил на архитектурный. Обнаружил какую-то сложную связь между музыкой и архитектурой, оставил институт и поступил в консерваторию. Потом занялся физиологией и выдвинул предположение, что напряжение мускулатуры и нервных волокон нарастает или убывает по той же системе, что музыкальные звуки. Вообще все, чем он интересовался, так или иначе было связано с музыкой. Тазо говорил о минорном и мажорном состоянии организма. В подтверждение приводил горло, которое называл термометром нашего внутреннего психического состояния. Голосовые связки напрягаются по-разному, когда мы кричим от боли, когда иронически насмехаемся, когда плачем или смеемся.Тазо предполагал использовать музыку для составления языка программ кибернетических машин. Для каждой группы слов Тазо старался подобрать мелодию.

Пожалуй, из всех моих знакомых Тазо — самый одаренный, но у него сильно затянулся тот смутный и сложный процесс, который предшествует творчеству, созиданию. Боготворящий во всем систему, сам он работал без всякой системы.

В детстве Тазо повредил ухо и при самой страстной любви к музыке не может долго слушать оркестр. Может, это и породило у него чисто механический подход к музыке. В непримиримое противоречие впали духовные устремления и физические возможности, в данном случае — недостаток. Примирить одно с другим Тазо стремился при помощи «беззвучной музыки». Он мечтает придумать формулу, которая бы из соответствующего настроения создавала мелодию.

Тазо так и пышет новыми идеями. Он всегда встречает меня, оживленно размахивая руками, пристрастно допрашивает, все ли мне понятно. Потом вдруг умолкает, уставясь в одну точку, и я вижу, как гаснет, улетучивается недавнее вдохновение. «Дальше, дальше, я тебя слушаю!» — подбадриваю я его, хотя и понимаю, что он уже остыл и теперь искусственно подогревает себя. «Одним словом, я еще не додумал до конца, надо будет над этим поработать», — сдается он наконец, и это значит, что к этой идее он больше не вернется, она уступит место новой.

Тазо терпеливо сносит шутки и дружеские насмешки, однако, если высказать ему серьезные сомнения, он забросает аргументами и доказательствами, лишь бы защитить свое «открытие».

Как-то я сказал ему, что пора хотя бы одну из его теорий (он любил, когда по отношению к нему употребляли это слово) сформулировать окончательно и перенести на бумагу. Ответ прозвучал для меня более чем неожиданно. «Я в десять раз быстрее закончил бы все свои дела, если бы не один щекотливый вопрос. Как ни странно, большую роль здесь играет женщина...»

Я, признаться, не понял, шутит он или говорит серьезно, но расспрашивать не стал, хотя и долго думал: что он все-таки имел в виду.

«Т. Мерквиладзе» неровными буквами выведено под кнопкой звонка. Кнопок много, как пуговиц на мундире, — Тазо живет в густонаселенной квартире. Дом старый, балкон свисает над Курой, входная дверь забрана литой чугунной решеткой, где среди причудливых орнаментов можно разглядеть инициалы бывшего владельца дома. Теперь в доме много жильцов, очень часто они выходят не на свой звонок и, открыв дверь чужому гостю, недовольно бурча, возвращаются к себе. Когда я прихожу поздно, мне всегда открывает дверь Люся — высокая, синеглазая женщина. Кажется, будто она всегда кого-то ждет. Я не совсем понимаю Тазо, когда он, загадочно улыбаясь, говорит, что без Люси он бы совсем пропал.

Итак, Люся открыла мне дверь и, моргая намазанными ресницами, сказала:

— О, Заал, известный полуночник! — Покачивая на ходу бедрами, она скрылась в своей комнате.

На балконе показался Тазо. Я иду по длинному балкону, который заворачивает то вправо, то влево, столбы и перила густо увиты плющом, и это придает жилищу моего друга вид таинственный и экзотический.

— Я разбудил тебя? — осведомился я у Тазо.

— Нет. Где ты был?

— В Тбилиси.

— В ресторане?

— Почему непременно в ресторане? Просто в городе.

— Я сам только оттуда. — Тазо потягивается, игнорируя мою плоскую шутку. — Садись. Ты где все-таки был?

— Там же, где и ты, — сердито бросаю я.

Он не обращает внимания, видимо, думает, что я продолжаю острить.

— Выпьешь чего-нибудь? — Тазо идет к буфету.

— Ничего не надо.

Я смотрю на рояль с открытой крышкой. На пюпитре — ноты, испещренные карандашными пометками. Огрызок карандаша лежит тут же, на последней клавише. Рядом с роялем — магнитофон, большой письменный стол завален книгами и бумагами. В соседней комнате гремит радио. Слышимость прекрасная — комнаты соединены между собою дверью, которой, правда, давно не пользуются.

Тазо смотрит на часы.

— Сейчас передача окончится.

— Как он? — киваю я в сторову двери.

— Плохо. Все время жду: вот-вот заплачет и закричит его жена. Ужасное состояние... — Внезапно Тазо оживляется: — Знаешь, о чем он меня попросил? Сейчас я тебя удивлю! Представь себе, заказал мне музыку для панихиды.

— Что-о?

— Да-да. Мне, говорит, слышать тошно, как на каждой панихиде один и тот же «Плач Маро»[1] исполняют... Можно подумать, что его каждый день хоронят.

---

[1] Плач Маро — ария из оперы З. Палиашвили «Даиси».

Соседа Тазо, дядюшку Александра, я знал давно.

Старый фронтовик, он весь изранен: одна нога отнята по самое бедро, вся грудь и шея в шрамах и самое страшное — крошечный осколок мины, засевший где-то возле легкого. Поздно обнаружили его врачи, оперировать было рискованно, да и сам дядя Александр отказался от хирургического вмешательства. Удивительный он был человек, о смерти говорил с такой снисходительной улыбкой, как сын о капризном и упрямом отце. Чувствовал, что не сегодня-завтра придется ему примириться с неуживчивым родителем, и на лице его можно прочесть следующее: «Что поделаешь? Все мы — дети смерти».

— Значит, плохи дела, если дядя Саша о собственной панихиде заботится, — заметил я.

— Я стал его успокаивать: мол, рано вам о смерти думать, а он обиделся: я, говорит, никогда тебя ни о чем не просил, и в единственной просьбе ты мне не должен отказывать.

— И что же ты решил?

— Я такую программу составил, братец ты мой, что ты сам не откажешься!

— От чего? От смерти?

— Ну хотя бы от небольшой панихиды, — Тазо, улыбаясь, стал загибать пальцы: — Вступление ко второй части седьмой симфонии Бетховена — раз, «Гадание Кармен» — два, «Плач Фредерико» — три...

— В вокальном исполнении? — заинтересовался я.

— Нет! Одни скрипки... Да, чуть не забыл, третья — прелюдия Шопена. Так, это займет примерно полчаса, а панихида длится минимум час. Надо еще подумать.

— Ты, я смотрю, увлекся, — ехидно заметил я.

Тазо покраснел.

— Представь себе, вошел в роль. Я и сам поймал себя на том, что занялся этим делом с удовольствием.

— Ты — палач и больше никто! Небось упиваешься мыслями о панихиде, когда все будут подходить и шептать тебе на ухо: «Неужели это вы составляли программу? Бездна вкуса! Позвольте вас поблагодарить». Ты будешь пожимать всем руки и раскланиваться.

— Нет, я тебе серьезно говорю. Я так прилежно этим занялся, словно к защите диссертации готовлюсь.

— Все очень просто — у тебя наконец появилась цель и реальная задача.

Тазо обиделся. Ему кажется, что я ничего не понял и подозреваю его в бессердечии. Он перестает улыбаться и, указав на магнитофон, говорит:

— Я кое-что задумал. Ведь дядя Саша такой музыкальный, у него абсолютный слух...

— И что же ты задумал?

— Не скажу... Вернее, скажу, но не сейчас. — Тазо достает початую бутылку коньяка, рюмки, хлеб и сыр.— Рассказывай, что у тебя нового? Наставляешь людей на путь истинный?

— Да не очень-то их наставишь. — Отвечаю не думая, так как голова занята одной мыслью: «Зачем Тазо был у Наи?» — Мне сейчас одно дело поручили, — говорю я рассеянно.

— Ясно: кто-то кого-то щелкнул по лысине, и тебе поручили разобраться...

— Послушай, Тазо... Мальчишка погибает.

— Ты, между прочим, обещал пригласить меня на первое же дело о покушении на честь юной красавицы при ее участии и согласии...

— Тазо, здесь очень серьезное дело...

— Ничего не знаю. Раз обещал — держи слово.

— Ты понимаешь или нет — мальчишка погибает!— закричал я.

— Что с тобой? — растерялся Тазо и после паузы тихо проговорил: — Прости. Я не понял. Теперь рассказывай.

Я рассказал обо всем в двух словах скупо и неохотно.

— Да-а, — протянул Тазо. — Запутанная история. Тебе ее не распутать. Если парня спасут, он сам обо всем расскажет. Пей, чего не пьешь?

— Спасут... В том-то и дело, что надежды почти никакой.

— Я тоже не верю в возможность самоубийства, — раздумчиво проговорил Тазо, — но основания у меня иные... Это не совсем потому, что ребенок — вообще оптимист, потому, что он еще не изведал всей горечи жизни и т. д. Нет. Ребенок еще многого не понимает, я думаю, он и страданий не осознает, как бы нечеловече-

ски его ни мучили... Кстати, дядя Саша рассказал мне историю одного самоубийства. Покончил с собой солдат, которому взрывом оторвало обе ноги. Так вот дядя Саша считает, что он не потому так поступил, что все равно был обречен и не сегодня-завтра должен был умереть, а потому, что боялся страдания, боли. Ведь самоубийство — иногда результат эгоизма. Парадоксально звучит, верно? Я тоже ему сказал, что парадокс. Получается, что, желая избавиться от мучений, человек накладывает на себя руки.

Я почему-то вспомнил, какую боль испытал, ознакомившись с делом Пааты Хергиани, и как спешил докопаться до истины, чтобы поскорее сбросить с души тяжкий груз. Не эгоизм ли руководил мною?

— Бедный мальчик,— вздохнул Тазо — Ничего не поделаешь, так уж, видно, на роду написано ему было...

Меня взорвало от его тона:

— При чем здесь этот глупый фатализм?

— Факт остается фактом: с ним случилось то, что должно было случиться...

— Может, ты скажешь, что и мое появление сегодня у тебя тоже было предопределено свыше? — Я едва удержался, чтобы не съязвить по поводу его визита к Наи. — Или, скажем, выключил дядя Саша радио — это тоже судьба?

— Ты прекрасно во всем разобрался, только мешают вопросительные знаки в твоей тираде. Вот именно, все, что сейчас происходит, давно уготовано нам судьбой!

— И то, что я тебе сейчас двину, тоже уготовано?

Тазо смеется:

— Ясное дело. Так же, как и то, что получишь от меня сдачи. Все судьба.

— Значит, ты вообще исключаешь случайность как философскую категорию?

— Если расшифровать эту самую случайность, получится необходимость. Но в том-то и дело, что мы не умеем ее расшифровывать и потому называем случайностью.

— По-твоему получается, что существует прямая зависимость между тем, в какую пещеру вошел наш первобытный предок — в правую или левую, и тем, какой коньяк у нас на столе — три звездочки или четыре.

— Видишь ли, предок мог войти в левую пещеру, а не в правую, и это повлекло бы за собой другую необходимость, не обязательно связанную с качеством этого коньяка... Вот смотри, — Тазо взял карандаш и провел по чистому листу бумаги прямую линию, — скажи, изменится ли эта линия в дальнейшем? Я не говорю об изменениях, недоступных нашему глазу.

— Сама по себе не изменится

— Значит, ее теперешняя форма необходима. — Тазо снова провел карандашом по бумаге. — Ведь я не знал, как продлю эту линию или где остановлю карандаш — в той ли точке, в этой ли...

— Что ты этим хочешь сказать?

— Забыл... Интересная мысль пришла в голову, да жаль — вылетела... Пей, ты что-то сегодня не в настроении. С таким чутким сердцем нельзя быть следователем. Малейшая провинность так настораживает тебя, как будто...

— Провинность или преступление?

— Интересно, почему ты не можешь примириться с существованием в мире зла? Либо это происходит от того, что ты хочешь, чтобы все были хорошими и добрыми, либо... Вот в этом «либо» и кроется загвоздка... Либо ты сам боишься зла, боишься, что оно нанесет тебе лично непоправимый урон, покалечит, погубит. В чем же истинная причина твоей боли и беспокойства? В первом или во втором? По-моему, во втором, Заал! Да-да, ты боишься стать жертвой зла. — Тазо замолчал, почесывая голову. — Но это не так уж плохо придумано, а? Если все будут бояться зла, все невольно будут с ним бороться, пока оно не исчезнет. Но не все боятся и далеко не все борются, почему так?

В дверь постучали.

— Входите, тетя Нино! — крикнул Тазо.

Я встал, чтобы поздороваться с женой дядюшки Александра.

— Тазо, ты выиграл, Саша готов выполнить любое твое желание!

— Я в своей команде уверен, — отозвался довольный Тазо. — А что там в политике нового?

— Парижские переговоры сорвались... Опять происки империалистов.

— Да, этого следовало ожидать,—подтвердил Тазо.

— А самое главное забыла, — огорчилась тетя Нино, — зачем пришла-то, забыла, ну и ну... — Она ушла, покачивая головой.

Мы с Тазо вернулись к своим спорам, но я был рассеян и всеми силами старался удержать вертящийся на языке вопрос: «Тазо, друг мой любезный, что ты все-таки делал у Наи?!»

— Войной попахивает срыв таких важных переговоров, — разглагольствовал Тазо.

— Они не посмеют начать.

— Ты знаешь, я провожу удивительный эксперимент... Как у тебя дела обстоят с математикой? Неважно? Так я и думал. А без математики — никуда, понимаешь? Шагу нельзя ступить без математики.

Тазо выудил из ящика толстую замусоленную тетрадь.

— Что это такое? — удивленно спросил я.

— Я вывел теорему Пифагора, — гордо сообщил он, будто совершил великое открытие.

— Большое дело! Открой учебник геометрии...

— А если его нету? — загадочно улыбнулся Тазо.

— Не понимаю.

— Нету ни учебников, ни заводов, ни цивилизации. Ты остался наедине с природой, и весь вопрос в том, сможешь ли ты создать паровой двигатель.

— По-моему, ты уже спишь, и тебе кошмары снятся.

— Ты угадал, старина! Мне снится страшный сон: будто атомная война разрушила и уничтожила все на свете. Остался я один. Смогу ли я повторить самые примитивные изобретения человечества? Смогу ли высечь огонь, создать паровой котел?

— Но если все погибнут, зачем тебе паровой котел?

— Погибнут, конечно, не все... Кто-нибудь да уцелеет. Родится первый ребенок после атомной катастрофы, и все начнется сначала... Мы введем новое летосчисление. Я тебе советую провести такой эксперимент.

— А чем ты растопишь свой котел? — Я сделал вид, что Тазо меня убедил, и мне осталось уточнить кое-какие детали.

— У меня есть увеличительное стекло.

— А что вы будете есть?

— Я об этом еще не думал. Неужели не найдется хоть одного зернышка пшеницы или кукурузы?

— Допустим, найдется. Но что ты будешь делать, если после атомной катастрофы уцелеет мужчина, а не женщина? Тоже будешь вводить летосчисление.

— Хватит, не смеши меня, — улыбнулся Тазо. — Я тебя серьезно говорю: через месяц у меня будет паровой котел.

— Начни писать фантастические рассказы — самое время.

— Уже написал.

— Теперь ясно, отчего ты свихнулся. Но ты, между прочим, о друзьях не заботишься: что будет со мной, если я останусь один на земле, я ведь не разбираюсь в паровом котле и даже теорему Пифагора не помню.

— Ты погибнешь, если не сменишь профессию.

— Это почему же?

— Потому что не нужна будет ни милиция, ни прокуратура.

— Напрасно ты так думаешь. Я лично готов привлечь тебя к строжайшей ответственности.

— Это за что же?

— Соберу я всех оставшихся после катастрофы людей и скажу: смотрите на этого человека, он предрекал конец мира, тем самым накликал беду. Смерть предателю!

— Ты опять за свое. Даже среди уцелевшей пятерки ищешь виноватого.

— И буду искать, если даже уцелеет один.

— Э-э, — разочарованно протянул Тазо, — ты не туда повел, не развил тему! — Тазо встал и потянулся, отчего создалось впечатление, что он перелил свое крупное могучее тело в сосуд другой формы.

— Тенгиз! Ты меня слышишь? — донеслось из-за двери.

— Слышу, тетя Нино!

— Саша говорит, английские футболисты приезжают в конце мая, совсем забыла...

— Спасибо! — крикнул Тазо, а вполголоса добавил: — Если так будет продолжаться, никакой панихиды я им не устрою.

— Они ведь знают, что у тебя радио испорчено... Вот и сообщают тебе последние известия.

Я почувствовал, что пора уходить, но не мог уйти, не выяснив, зачем Тазо был сегодня у Наи.

Уже возле самых дверей я обернулся и без всякой связи с предыдущим спросил:

— Тазо, зачем ты был сегодня у Наи?

Мне показалось, что он побледнел и попытался скрыть растерянность за деланной улыбкой.

— Почему это тебя интересует? — Он уже овладел собой и легко, как игрушку, подхватил с полу 32-килограммовую гирю.

Сколько бы раз я за нее ни брался, никогда не мог поднять выше подбородка.

— Ты можешь ответить или нет?

Собственно, по какому праву я его допрашиваю?

— Сейчас не могу. — Тазо продолжал выделывать с гирей самые сложные упражнения.

Я вспомнил, как эту двухпудовую гирю притащили Тазо на рождение четыре девушки и среди них Мелита — поздравить его с 32-летием.

— Я не понимаю, почему ты не можешь сейчас ответить? — явно нервничал я. — Почему ты ходишь к Наи.

— А ты можешь ответить, почему ты не ходишь к Наи?

— Это мое дело.

— Ты подсказал мне прекрасный ответ. Это мое дело, почему я хожу к Наи.

— Как хочешь. Мне было просто интересно узнать...

— Наверно, интересно, раз ты специально для этого явился ко мне и просидел весь вечер.

— Может, ты и прав. — Я взялся за ручку двери.

— Потренируешься? — Он с размаху перекинул ко мне гирю.

Я невольно подался назад.

Тазо довольный засмеялся:

— Тогда прощай. Не обижайся, я все тебе объясню, но не сейчас.

Я пожал плечами и прикрыл за собой дверь.

Город спал.

Спала и ночь, раскинув по крышам руки, таинствен-

ная и молчаливая. Я шел по улице и, как карлик на великана, взирал на дремлющее ночное пространство.

ГЛАВА IV

С детства знаком мне безотчетный страх, вызываемый сущим пустяком: безобидный пень вдруг представится грозным чудовищем. Едешь, бывало, ночью по деревенскому проселку, знакомому до каждого камешка, и вдруг вздрогнешь и поежишься от необъяснимого страха. Одно только странно: я не спешил убегать, а напротив, заставлял себя приблизиться к страшному видению и убеждался, что это всего-навсего вязанка хвороста, упавшая с телеги какого-нибудь ротозея.

Кому не знакомы эти детские страхи, когда, ощутив прикосновение чего-то холодного и скользкого, в ужасе скидываешь одеяло и вскакиваешь, повинуясь желанию немедленно, не мешкая ни минуты, освободиться от гнетущего необъяснимого страха и боли.

Вот такой же, примерно, ужас испытываю я перед неопределенностью, неизвестностью. Я готов на отчаянный шаг, лишь бы избавиться от гнетущего чувства бессилия перед грозной, загадочной силой. Но поди раскуси ее сразу! Это в детстве было просто: побежал и увидел, что кровожадный дракон — всего-навсего корявое дерево. А теперь нужны долгие недели, а то и месяцы кропотливого труда, чтобы проникнуть в недобрую тайну преступления...

Школьный коридор пуст. До звонка еще целых двадцать минут. Я с интересом рассматриваю стенгазеты. Особенно занимают меня детские рисунки. В них каждая линия, самая нелепая на взгляд взрослого, несет огромную смысловую и эмоциональную нагрузку. Вот какая-то девочка нарисовала себя и свою сестру. Стоят на ножках-спичках две куклы, похожие, как близнецы, взявшись за растопыренные руки. Для усиления сходства юная художница даже шнурки на ботинках нарисовала одинаковыми. А вот отважный Киквидзе на лихом коне. За ним черной тучей вьется бурка, такая широ-

ченная, что под ней умещается весь отряд с грозно занесенными саблями.

В застекленной витрине — экспонаты кружка «Умелые руки». Здесь и вырезанная из дерева крошечная люлька, и миниатюрные пандури с капроновыми ниточками вместо струн. Кажется, тронь — заиграют. Макет Загэса, весь величиной с тетрадный лист. Я загляделся: все честь честью, только что не журчат целлофановые струи Куры, и памятник Ленину скопирован с удивительной точностью. Рядом с образцами традиционной грузинской чеканки кто-то нацарапал карандашом:

1. Образы дворян в творчестве Давида Клдиашвили.
2. Поэзия Галактиона Табидзе.
3. Тема дружбы народов в советской грузинской литературе.

Может быть, это вопросы из билета, а может, темы контрольной работы.

В конце коридора я остановился перед газетой школьного литературного кружка. Обратил внимание, что девиз взят из Галактиона Табидзе: «Поэзия прежде всего!»

Девочки выступали в газете со своими сказками. Одна писала о зеленом листочке, который гордился тем, что раньше всех распустился, и свысока смотрел на своих запоздавших собратьев. Бахвальство его было вскоре наказано. Он увял прежде всех остальных листьев.

Вторая сказка была посвящена приключениям маленькой снежинки, которая жила на маленькой серой тучке и каждый день умирала от страха, как бы солнце ее не растопило. Однажды, не дожидаясь восхода, она сорвалась с облака и полетела вниз, трепеща от ужаса. В дороге ее застал рассвет, и что она видит? Все небо усеяно такими же снежинками, как она сама. Весело приплясывая, устремились они к земле. И, приободрившись, маленькая снежинка подумала: «То-то детишки обрадуются!»

Когда взошло солнце, снежинка вновь затрепетала от страха, но солнце сделало вид, будто не заметило снежных хлопьев, опускающихся на землю.

Вдруг мой взгляд остановился на аккуратных буковках, которые складывались в такое до боли знакомое

имя: «Паата Хергиани». Так вот оно что! Паата писал стихи. Четыре строчки под названием «Новогоднее утро». Я переписал их в свою записную книжку, предварительно заучив наизусть.

Туфельки быстро по снегу бегут —
Ночь новогодняя следом приходит.
Елки в игрушках и елки в снегу,
В нашем кругу и в лесном хороводе.

Это коротенькое стихотворение, по-детски наивное, написанное рукой еще неопытной, показалось мне проникновенным и поэтичным. Оно дышало зимней свежестью и новогодней сказочной таинственностью. В лесу, где стояли заснеженные ели, было тихо и торжественно. А в доме, где на белоснежных простынях спала хозяйка маленьких туфелек, было тепло и уютно, и в углу нарядно мерцала новогодняя елка...

Утром я имел беседу с директором школы, высоким седым мужчиной, педагогом старой закалки. Одно его присутствие заставляло подобраться и взвешивать каждое свое слово. Я думаю, не только ученики этой школы не посмели бы развязно при нем держаться, так он был строг и подтянут.

Он мне сказал, что Паату никто из школы не исключал, просто отчиму посоветовали перевести мальчика в другую школу во избежание недоразумений, но тот совету не внял, а запер пасынка дома. Директор несколько раз обращался к Иродиону Менабде с просьбой отпустить Паату в школу, но тот упорно стоял на своем. Я спросил, во избежание каких недоразумений мальчика рекомендовалось перевести в другую школу. Директор стал объяснять мне, в каком сложном и мало изученном возрасте находятся подростки. Каждый организм по-своему реагирует на половое созревание. Один погружается в мучительные кошмары, другой, напротив, проникается нежнейшей любовью ко всему окружающему и как бы заново видит мир. С особой остротой воспринимает такой подросток краски, звуки, пропорции, вся красота мира сосредотачивается для него в какой-нибудь представительнице противоположного пола. Паата влюбился в Ингу любовью неосознанной, ребяческой. Директор выразил уверенность, что ника-

кие низменные устремления и грязные помыслы не касались возвышенного чувства Пааты. Более того, ему, как старому педагогу, эти отношения казались естественными и абсолютно приемлемыми. Но, к сожалению, вмешались взрослые. Мещанка с апломбом, мать Инги, от безделья донимающая дочку назойливым вниманием, сыграла во всей этой истории самую дурную роль. Выдавая свое бестактное вмешательство в жизнь девочки за эталон материнской заботливости, эта женщина не давала дочери шагу ступить. Паата ни от кого не скрывал своего отношения к Инге. Он носил ее сумку или рюкзак — во время экскурсий, всегда старался держаться возле нее, но никогда его внимание не выходило за рамки приличий. «Мне известно, — сказал директор, — что во время летних каникул Паата с Ингой переписывались. Я попросил Ингу, и она принесла письма Пааты. Ничего неожиданного я в них не прочел. Обычные детские впечатления — о книгах, кинофильмах. В одном письме Паата писал: «Я очень скучаю, мне тебя очень недостает». По-моему, ничего страшного. А мать Инги забила тревогу, стала выяснять: что за мальчик, что за семья... Все разузнав, еще больше заволновалась: как-де это — безотцовщина, пасынок, достаток в семье скромный, положение не видное. Инге совсем житья не стало: где была? С кем? Опять с Паатой? Не смей с ним встречаться! Попалось как-то матери на глаза стихотворение, которое Паата посвятил Инге. Самое невинное сочинение, романтическое и возвышенное. Но какой шум подняла эта женщина! Она требовала, чтобы Паату исключили из школы, грозилась снять меня с работы. — Директор улыбнулся. — Ну, а я не посмотрел, что она жена министра, и выставил ее из кабинета.

Когда я попросил директора показать мне письма Пааты, он ответил, что Инга забрала их обратно. Я поинтересовался, чем же эта история кончилась и почему все-таки Иродион Менабде запер пасынка дома, и в ответ услышал следующее:

После урока физкультуры, когда девочки и мальчики разошлись по своим раздевалкам, а часть ребят еще толпилась вокруг преподавателя, в зал вошла классная руководительница Гванца Шелиава и объявила, что за

отличные успехи школьники награждаются путевками на теплоходный маршрут Батуми—Одесса. Паата, не помня себя от радости, спеша поделиться с Ингой новостью, вбежал в женскую раздевалку, где в силу несчастливой случайности оказалась мать Инги (урок физкультуры был последний, и она явилась за дочерью). Можно себе представить, какую безобразную сцену она устроила! Все ее попытки объявить Паату бандитом и растленным типом не увенчались успехом. Тогда она принялась «обрабатывать» своего мужа — министра. Тот вспомнил, что Иродион Менабде служит в подведомственном ему учреждении, и заявил: «Товарищ Менабде и работу провалил, и за сыном присмотреть не может». Видимо, эти слова дошли до слуха Иродиона. Он решил не обострять отношений с начальством и убрать Паату с глаз. Должно быть, у него и впрямь рыльце было в пуху, раз он так министерского гнева испугался.

Я сообщил директору о своем намерении побеседовать с преподавателями и одноклассниками Пааты. Он одобрил мое решение и сказал: «Ступайте поговорите с ними, и вы убедитесь, каким прекрасным мальчиком был Паата Хергиани».

Прозвенел звонок, и в коридор хлынула смеющаяся, галдящая волна. Я не мог разглядеть лица детей, как ни старался, все они сливались в кипящем водовороте. Я с трудом пробрался к учительской, мне не терпелось узнать, здесь ли классная наставница Пааты. Я уже открывал дверь, когда почувствовал чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся и увидел маленькую большеглазую женщину. Не знаю почему, но я сразу догадался, что эта молодая миниатюрная женщина в школьных туфельках на низких каблуках и есть Гванца Шелиава.

— Простите, — смущенно сказала Гванца Шелиава, — если не ошибаюсь, вы Заал Анджапаридзе.

— Да, я.

— Пожалуйста, пройдемте со мной. — Она привела меня в кабинет истории, весь увешанный картами: карта крестовых походов, владения арабского халифата, завоевания древнего Рима. В углу — стенд с портретами выдающихся исторических деятелей. Под каждым

портретом — биография, выведенная старательной детской рукой.

— Вы, наверно, догадываетесь... — начал я, но Гванца Шелиава меня мягко прервала:

— Я знаю, зачем вы пришли в школу. У моего класса еще один урок, а после него они придут сюда.

— Кто — они?

— Ближайшие друзья Пааты.

— Вы давно руководите классом? — спросил я. Она казалась мне очень молодой, и я хотел узнать, как давно она работает в школе.

— Когда скончалась их прежняя наставница, класс передали мне.

— Мне было бы интересно узнать, как реагировал Паата на замечания, на плохие оценки.

— Как и все. У меня он двоек не получал.

— Какой недостаток в характере Пааты вы могли бы назвать? — Я сам был недоволен вопросами, которые задавал: бессвязные и необязательные.

Гванца задумалась.

— Паата умел чрезвычайно увлекаться, если, конечно, это считать недостатком. Многие наши педагоги порицали его за излишнюю восторженность и склонность к преувеличениям. Паата умел радоваться чужой удаче, как своей собственной. Вообще он отличался чуткостью и повышенной эмоциональностью. Я лично считала, что с возрастом это пройдет и сдержанность возьмет верх над чувствительностью. Паата был ласков, как теленок, многим это казалось притворством, а я видела, что он просто не может совладать с напором эмоций... Мальчик он был не по годам развитый, много читал... — Вдруг Гванца замолчала и подняла на меня огромные, ставшие виноватыми глаза. — Да что ж это я делаю,— с тихим отчаянием проговорила она, — о живом говорю, а все в прошедшем времени, как будто его уже...

Гванца Шелиава говорила тоном человека, пережившего большое горе, но умеющего держать себя в руках. Я не уставал дивиться ее огромным лучистым глазам. Наверное, таких больших глаз не бывает ни у джейранов, ни у ланей. Каждый поворот этих глаз был значителен и нетороплив и напоминал мне движение небесных светил. Они излучали какое-то внутреннее сия-

ние и, должно быть, светились во тьме, распространяя вокруг себя добрую силу, волнующую и успокоительную одновременно. Они обладали даром исцеления, и ты готов был доверить им свои сердечные раны. Сквозь тонкую кожу на висках и запястьях просвечивали голубые жилки. Одна из них доверчиво и беззащитно билась в ложбинке на шее, и от этого казалось, что ты становишься свидетелем жизни сердца Гванцы Шелиава, наблюдаешь, как рождаются в ней мысли и настроения. Необычайно женственная, она казалась созданной из какой-то неведомой материи. Не одно сердце, без сомнения, ранила красота Гванцы Шелиава, хорошо еще, на страже этой красоты стояли глаза, которые каждого мужчину превращали в рыцаря, защитника чистоты и невинности.

Воображение мое уже отождествляло Гванцу Шелиава с героинями славного прошлого, осиянными ореолом святости и подвига. И все-таки я заставил себя вернуться к делу.

— Не можете ли вы рассказать, чем кончился тот неприятный случай на уроке физкультуры?

Странную скованность ощущал я, допрашивая Гванцу. С небывалой силой одолевали меня сомнения: имею ли я право требовать от нее искренности и правдивости? Мне казалось, что я ловлю на ее лице тень недоверия, словно она хотела спросить: а кто ты, собственно говоря, такой, что смеешь допрашивать меня. Сам-то ты разве безупречен, что позволяешь себе взвешивать на весах правосудия чужие провинности и добродетели? «Должно быть, и Пилат в глазах Христа читал подобные сомнения», — подумал я скептически.

— Я вам лучше о другом случае расскажу, — очень тихо, почти шепотом, проговорила Гванца Шелиава. — Это произошло примерно через месяц после того, как я начала работать в школе. Только боюсь, вы не поверите...

— Я вам верю, — твердо произнес я.

— Я так говорю, — она словно бы оправдывалась передо мной, — потому что история эта невероятная... Но вы спросите у тех ребят, которые были с Паатой в больнице, они подтвердят.

— Я никого спрашивать не буду, потому что абсо-

лютно вам доверяю,— повторил я, но следовательская привычка взяла свое: — Что за больница? Когда это было?

Но, казалось, Гванца не слышала моих вопросов. Справившись с волнением, она начала рассказывать.

— В тот день по расписанию было подряд два урока математики. После первого урока учительница вышла из класса, оставив на столе журнал и свою сумочку. Вернувшись, она зачем-то открыла сумку и вдруг вскрикнула. Пятисот рублей, которые, как она помнила, лежали в кошельке, не было. Дети растерянно переглядывались и молчали. Пришла классная руководительница — пожилая больная женщина. В ее многолетней педагогической практике это был первый случай. Она изо всех сил старалась крепиться и не высказывать волнения, но в лице ее не было ни кровинки и руки предательски дрожали. Она попросила всех выйти из класса, вышла в коридор сама и велела ученикам поодиночке заходить в пустой класс. Взявший деньги должен был положить их на место. Таким образом, никто бы не узнал, кто из двадцати семи учеников виновен в пропаже. Однако, когда последний из них прикрыл за собой дверь, сумка по-прежнему пустовала. Значило ли это, что дети не брали денег? История получила огласку, невзирая на то, что классная наставница утверждала, что никто из ее подопечных кражи совершить не мог, директор пригрозил вызвать милицию и расформировать класс. Ребят продержали взаперти до восьми часов вечера. Не знаю, что происходило там, за закрытой дверью, только и после этого никто не признался. Паата все время твердил, что среди них виноватых нет, но никто ему не верил.

Через два дня классную наставницу положили в больницу. Нервное потрясение обострило неизлечимую болезнь, которой она давно страдала. Врачи не скрывали, что положение безнадежное, и мы со дня на день ждали печальной вести. Ребята вообразили, что в болезни любимой учительницы обвиняют их, и совсем расклеились, стали придираться друг к другу, сделались недоверчивыми и резкими. Дружный когда-то класс распадался, и мы ничем не могли помочь.

Сейчас я перехожу к главному, только сначала я

хочу описать тот день, когда это происходило, сырой, осенний день с небом, давящим тяжестью пропитанных дождем облаков. Все вокруг было одноцветным и безрадостным, и мои ученики уходили после уроков понурые и молчаливые. Я боялась, что подозрение, все время незримо присутствующее в последние дни, разобьет то доверие, которое установилось между мной и детьми за время моей работы в школе. Поэтому я старалась как можно больше времени проводить с ними. Так вот, значит, когда мы выходили после уроков, навстречу нам кинулась учительница математики, вся какая-то растрепанная и растерянная. С трудом переводя дыхание, она сбивчиво стала извиняться перед ребятами. Бедняжка чуть не плакала: оказывается, ее муж, уезжая в командировку, взял у нее из сумки деньги и оставил записку, чтобы она их не искала. Записка затерялась, и только сегодня все выяснилось... Вы бы посмотрели в ту минуту на нашего Паа'у. Глаза у него расширились и наполнились светом, как у человека, который всю жизнь заблуждался и только сейчас прозрел... — Гванца запнулась, подыскивая подходящее сравнение. — Я хочу, чтобы вы ясно представили, что происходило с Паатой. Он полной грудью вдохнул воздух, и тут радость перехватила ему горло. Он только смог выкрикнуть: «Эге-гей!», сорвал с головы шапку и обеими руками подбросил ее вверх и — что самое забавное — ловить ее не стал, а сорвался с места и побежал. На бегу он обернулся и рукой дал знак товарищам следовать за ним. Так всей гурьбой они и побежали.

— Куда?

— К своей классной наставнице.

— В больницу?!

— В больницу. Их, конечно, не пустили, тогда Паата перемахнул через высокий забор. Но его все равно задержали и повели к дежурному врачу. Тот стал ему втолковывать, что учительнице очень плохо и ее ни в коем случае нельзя беспокоить. «Ты понимаешь, — говорил врач, — она почти без сознания. Она и не узнает тебя». «Узнает, — упрямо твердил Паата, — непременно узнает... Я должен сообщить ей новость, такую, что ей сразу станет лучше. Вы только пропустите меня

к ней...» В конце концов его пропустили. Сначала он прошептал на ухо больной радостное известие — не хотел, чтобы другие услышали, но потом ему пришлось повторить очень громко: «Деньги нашлись! Мы говорили правду — никто из нашего класса их не брал, и вы, пожалуйста, ни о ком из нас не думайте плохо, любите нас всегда, как любили раньше». Учительница притянула Паату к себе и не смогла удержать слез: «Всегда»,— повторила она, — ты сказал «всегда», Паата?»

— Когда она скончалась?

— В тот же вечер. Паата чудом успел.

— Хорошо, что он не дал ей утерять веры...

Гванца неожиданно встала:

— Звонок. Сейчас придут дети. — Она понизила голос. — У меня к вам просьба: не говорите, откуда вы, не надо...

— Хорошо. Если только они уже не знают...

— Не знают. Я сказала, что вы руководитель шахматного кружка, в котором занимался Паата. — Последняя фраза прозвучала у нее по-детски просительно и виновато.

Я улыбнулся: мне самому требовался наставник по шахматам.

Гванца испуганно прошептала:

— А вдруг они его знают?

— Но там наверняка не один руководитель, — успокоил я.

Дверь приоткрылась, и в кабинет проскользнула высокая круглолицая девочка. При виде меня она смутилась и закусила губу. Следом за нею появилась еще одна девчушка и два мальчика.

— Садитесь. — Гванца указала не знающим куда деваться от смущения ребятам на длинную скамью.

Они молча расселись и вопросительно взглянули на Гванцу.

Я не знал, была ли в числе вызванных Инга, но во мне росла уверенность, что эта рослая круглолицая девочка, — скорее девушка — с вздымающейся под школьным передником грудью, и есть Инга. И она, наверно, знает, кто я такой и зачем пришел, потому и не смотрит мне в глаза... Вторая девочка по сравнению с Ингой выглядит совсем ребенком. Мальчишки — оба

вихрастые с едва заметным пушком над губой. Один — робкий и стеснительный, с большим лбом и вдумчивым взглядом. Другой — побойчее, резкий излом бровей и капризный, упрямый рот выдают характер своенравный и строптивый.

— Вы все из одного класса? — спросил я как можно непринужденно.

— Да. — По школьной привычке они поднялись, отвечая старшему.

— Садитесь, садитесь. С первого класса вместе учитесь?

Все четверо снова сделали попытку встать, но я рукой их остановил.

— Кто из вас играет в шахматы? — Я вспомнил о своей роли.

— Я, — поднялся строптивый.

— С Паатой тебе приходилось играть?

— Да. Мы часто играли, — он почему-то взглянул на Гванцу, — только не в школе.

— И кто же выигрывал?

— То я, то он.

— Чаще Паата, — заметил большелобый.

— Ничего подобного!

— Забыл, как три раза подряд он у тебя выиграл?

— Ну и что же! Вот он поправится, и я у него выиграю.

«Только они верят в выздоровление Пааты, — с горечью подумал я, — только дети могут в это верить».

— Ты тоже играешь в шахматы? — спросил я большелобого.

— Да.

Теперь стояли оба мальчика.

— Как тебя зовут?

— Каха.

— А тебя?

— Гизо.

Девочки назвались прежде, чем я успел к ним обратиться.

— Мери.

— Инга...

— Легенду о происхождении шахмат знаете? — Я призвал на помощь все свои знания.

— Конечно, знаем, — за всех ответил Гизо. — Нам рассказывали, когда мы по Индии путешествовали.

— Где-где? — Мне показалось, что я ослышался.

— По Индии. — В глазах Гизо играли лукавые искорки. Он рад был своему преимуществу в нашей беседе.

В разговор вмешалась Инга:

— Мы не взаправду путешествовали. Паата такую игру придумал...

— Мы не только в Индии были, и в Америке, и в Африке. — Гизо обиделся, что друзья выдали его тайну.

— Да, — подтвердила Инга, — однажды мы увидели часы, которые на Центральном телеграфе...

— Там на циферблате — десять стрелок, — вставил Гизо.

— Не десять, а больше, — поправил его Каха.

— Эти часы, — продолжала Инга, — показывают время в самых крупных городах мира...

— Одна стрелка показывает, который час в Лондоне, другая — в Риме, — не удержался Гизо.

— Тогда сам рассказывай, — обиделась Инга и замолчала.

— Нет-нет, продолжай, я просто так.

— Паата всегда спрашивал: интересно, а что сейчас происходит в Париже или Нью-Йорке? И начинал фантазировать...

— Мы тоже рассказывали все, что знали об этой стране или о городе, — опять вмешался Гизо. — Каждый выбрал себе стрелку. Моя была голубая, у Инги — синяя... Инга, хочешь, расскажи сама... Ну, ладно... Когда мы проходили мимо телеграфа, каждый смотрел на часы и рассказывал про тот город, где стояла его стрелка. Кто не мог ничего рассказать — проигрывал. Это была очень интересная игра. Правда, Инга? Пожалуйста, говори ты дальше...

Но Инга молчала, опустив голову.

Тогда Гизо охотно продолжал:

— А Инга еще придумала путешествовать по часовой стрелке...

Внезапно Инга встала со скамьи и, с трудом сдерживая слезы, пробормотала:

— Разрешите мне выйти... Я... — Она умоляюще смотрела на Гванцу.

— Ступай, ступай, Инга, — поспешила успокоить девочку Гванца. Когда девочка выбежала в коридор, учительница тотчас вышла за ней.

Дети растерянно глядели на меня. Видимо, они ждали, что я начну расспрашивать о причинах странного поведения Инги. Гизо наклонился к Кахе и довольно громко прошептал: «Инга воображает, что только она одна любила Паату». «Ничего она не воображает», — с досадой отозвался Каха.

— Вы ссорились с Паатой? — спросил я у ребят.

— Случалось, — ответил Гизо, поднимаясь со скамьи.

— И тебе случалось? — обратился я к Кахе.

— В этом году мы ни разу не ссорились, в позапрошлом, правда, бывало.

— А Инга ссорилась с Паатой?

— Нет. Иногда дулись друг на дружку.

— А ты, Мери?

— Мы никогда не ссорились, — вздохнула Мери. Я встал:

— Спасибо вам, ребята, можете идти.

Они поспешно кинулись к дверям, только Каха немного замешкался.

— Скажите, пожалуйста, спросил он, — а меня примут?

— Куда?

— В кружок.

— В какой кружок? — удивился я.

— В шахматный.

— Видишь ли в чем дело, Каха, я там уже не работаю. Но если ты хорошо играешь, я уверен, что тебя примут... Гизо, подожди-ка минутку, у меня к тебе один вопрос.

Гизо подошел.

— В самые последние дни кто из вас видел Паату?

— Каха, — не задумываясь, ответил мальчик.

Пришлось снова вернуть уходящего Каху.

— Каха, ты был у Пааты накануне того дня, когда это случилось?

— Был. — Каха заметно волновался. — Мы собирались назавтра пойти на Тбилисское море, и я зашел узнать, пойдет ли с нами Паата.

— И что же он ответил?

— Обязательно, говорит, пойду, если пустят. Он очень обрадовался.

— Вспомни, пожалуйста, что еще он сказал.

— Он спросил, где мы собираемся и скоро ли вернемся.

— Ты не помнишь, он говорил «вернемся» или «вернетесь»?

— Нет, «вернемся», — твердо повторил Каха, — потому что он был уверен, что пойдет с нами, но мы все собрались утром, а его не было, тогда пришла классная руководительница и сказала, что...

— Все ясно... Ну и сумка у тебя, Каха! Ты что, на весь класс учебники носишь?

— Сумка-то у него всегда полная, а вот про голову этого не скажешь,— сострил Гизо.

Когда мальчики вышли, в кабинет вернулась Гванца Шелиава.

— Вы отпустили ребят?

— Да. Мне трудно с ними разговаривать.

— Я вам так благодарна за то, что вы тактично с ними обошлись. Особенно с Ингой... Признаться, я боялась, что вы... Словом, что вы дадите ей почувствовать... Она и так очень страдает. Садитесь, отчего вы стоите?

Я собирался уходить, но почему-то охотно сел. Я не мог сопротивляться обаянию ума и доброты, которое излучала Гванца, подобно тому, как цветущая липа источает аромат. Я был весь во власти одного желания: узнать, что кроется за этой удивительной внешностью, какие мысли и желания будоражат эту чуткую душу. Скажу больше — я уже не представлял себе, как я мог жить, не зная Гванцы Шелиава, и как буду жить дальше, не видя ее. Я твердил себе, что это глупость, что всякая красивая женщина вызывает желание побыть с ней подольше, не расставаться. Это все так. Но одно я знал твердо: впервые я встретил женщину, чье внутреннее содержание влекло меня значительно сильнее красивой внешности...

— Простите, я отнял у вас столько времени. — Положительно в ее обществе я терял дар речи. Мне хотелось сказать, что я приду еще раз уточнить кое-какие обстоятельства, но вместо этого я произнес: — Какие славные у вас ученики.

— Да, — просто согласилась она. — Я их очень люблю. — Она неожиданно вскинула на меня свои большие глаза: — У вас есть дети?

— Нет. — Другой женщине я бы постарался беспечным тоном ответить, что я холост и свободен, но, повторяю: с Гванцей я не мог разговаривать с беспечной небрежностью.

Гванца подошла к шкафу и вынула небольшой сверток. Это оказалась мальчишечья шапка с козырьком.

— Это и есть т а шапка?

Гванца кивнула.

— Шапка Пааты, которую он подбросил вверх, когда узнал, что деньги нашлись?!

Я представил себе, как, подкинув шапку, Паата побежал в больницу, за ним товарищи. А шапка упала и осталась лежать на земле. Гванца подняла ее...

Голос Гванцы вернул меня к действительности:

— Паата помчался в больницу, позабыв о шапке. До нее ли было! Я принесла ее в школу, но Паата на следующий день не пришел. Уборщица спрятала шапку и долго не могла найти. Только вчера отыскала и принесла со слезами...

Я хотел спросить, для чего Гванца Шелиава так старательно заворачивает шапку, но сдержался. Я заметил, что вообще остерегаюсь задавать ей вопросы, а если задаю, то совсем не те, что надо бы. Я молча любовался точными и легкими движениями ее пальцев, пока она заворачивала шапку в газету. Но вот она кончила и вопросительно на меня посмотрела. Мне следовало бы откланяться, но я не двинулся с места.

— Простите, меня ждут в учительской.

Я нехотя встал.

— Спасибо вам большое за все. До свидания.

Я увидел в ее блестящих глазах свое отражение — маленький растерянный человечек стоял, не зная, куда девать руки.

— До свидания. — Гванца Шелиава повернулась и унесла с собой крошечного человечка.

— Мне очень жаль, что нам пришлось познакомиться при таких печальных обстоятельствах, — проговорил я, идя за ней по школьному коридору.

— А я вас еще по университету помню, — улыбнулась Гванца. — Я была на первом курсе, когда вы защищали диплом...

ГЛАВА V

Почти каждое утро я звонил в больницу. Вторая неделя была на исходе, а Паата все не приходил в сознание. Его с трудом вывели из состояния клинической смерти и не без оснований опасались, что второй приступ может оказаться роковым. Одним словом, надежды почти не было никакой.

Я часто задавал себе вопрос: принимал бы я так близко к сердцу трагедию Пааты, будь он развязным хулиганом, приносящим родителям и учителям одни сплошные огорчения? Думаю, что в таком случае я переживал бы еще больше, ибо не стал бы винить во всем одного Паату. Напротив: я бы твердо знал, что в гибели его виновны окружающие, допустившие, чтобы он вырос плохим. А теперь я безмерно сожалел о случившемся и не мог побороть стыда, снедающего меня при мысли, что ему ежеминутно грозит гибель, а я официально, по-деловому расследую причину этой гибели и даже зарплату за это получаю. Ничего не поделаешь... И еще — боролись во мне два противоречивых желания. С одной стороны — доказать, что Паата не кончал с собой, а с другой — раскрыть во всей его глубине и мерзости вину Иродиона Менабде...

Но следствие шло своим чередом, истина медленно и постепенно прокладывала себе дорогу среди моих сомнений и заблуждений...

Не без интереса ознакомился я с личным делом Иродиона Менабде. Здесь были собраны его автобиографии, написанные в разное время, трудовая книжка, справки и характеристики из учреждений, где он когда-либо работал.

Прокуратура потребовала также документы из архивов военного комиссариата и республиканского суда.

Вот, допустим, такой факт: после окончания института Иродиона Менабде призывают в армию. Идет война, товарищи Иродиона уходят на фронт, а он является в военкомат весь распухший — глаз не видно. Врачи в недоумении пожимают плечами, но от армии его освобождают. Получив освобождение, Иродион расхаживает здоровехонький. Его опять вызывают на комиссию, он снова является опухший; как отпустят — он здоров. Тогда его дело передают экспертам-медикам. Ему угрожает привлечение к ответственности за симуляцию в военное время. Но медики устанавливают, что это не симуляция. Внезапная отечность — результат нервного потрясения. Попробуй призови труса в армию и отправь его на фронт так, чтобы от страха с ним не случилось шока! Иродиона освободили от воинской повинности...

В 1945 году он работает в городской больнице (часть здания тогда занимал военный госпиталь). Почему-то не указано, кем он работает, какую должность занимает. После войны Менабде расходится с первой женой, из больницы его увольняют вместе с завхозом «за злоупотребление служебным положением». Из бумаг видно, что начальник пытался втянуть Иродиона в какие-то махинации. С работы его увольняют, но под суд не отдают. После больницы Иродион работает в транспортном отделе треста. Здесь его привлекают к судебной ответственности при следующих обстоятельствах: Иродион Менабде работает на строительстве Дигомского жилого массива, под его руководством самосвалы привозят песок на стройку с дальних карьеров. (Мне кажется, «дело» Иродиона Менабде достойно учебника психологии как пример того, какую фантазию будит в человеке трусость и угодничество!) Главный инженер стройки — любитель чужими руками жар загребать — быстро раскусил, что из Менабде веревки можно вить... Вызывает он Иродиона и начинает пробирать за плохую работу: я-де тебя уволю и к ответственности привлеку... Перепуганный Иродион, хоть и работал не хуже других, не стал доказывать свою правоту,

а внял «добрым людям», шептавшим, что «главный» берет взятки. Фантазия его заработала, и вот до чего он додумался: подговорил сторожей Земо-Авчальской ГЭС ночью на несколько часов открыть шлюзы и пустить поток из водохранилища на стройку... (И как не побоялся этот трус риска: аварии, возможных человеческих жертв!) После «наводнения» на стройке осело столько песка, что только оставалось оформить его «доставку» на самосвалах... Денежки потекли в карман главному. А Иродион лишился покоя. Отнюдь не от сознания своей вины, а все из того же страха. Холодный пот прошибал при мысли о том, что милиции и прокуратуре все давно известно. Неторопливо собирают там доказательства его виновности и, многозначительно улыбаясь, потирают руки — хотят застать его врасплох. Нет, не доставит им Иродион Менабде такого удовольствия! Нервы его не выдерживают, и он сам является с повинной. Два года отсидел, сидел бы еще, да, спасибо, амнистия подоспела. В 1950 году Иродион Менабде женится на Маке Хергиани. В 1956 году получает сообщение о реабилитации родителей, скончавшихся в ссылке. В настоящее время заведует гаражом одного из министерств. В основном обеспечивает транспортировку химического сырья для медицинских препаратов. Год назад получил строгача с последним предупреждением, теперь дрожит за свое место... Вот, пожалуй, и все.

В кабинете у прокурора сидел какой-то старичок. Сначала он с любопытством принялся меня разглядывать, водрузив на нос очки, потом так же внезапно потерял к моей персоне всякий интерес и, сцепив руки на животе, завертел большими пальцами.

— Что нового, Заал? — бодро спросил прокурор и, не дожидаясь ответа, широким жестом указал в сторону своего посетителя. — Ты, конечно, знаешь нашего уважаемого Левана Антоныча?

Я еще раз поклонился старичку и только сейчас сообразил, что передо мной — заслуженный юрист республики, в свое время снискавший славу лучшего знатока права, Леван Андриадзе. Он снова поглядел на меня сквозь очки и не спеша протянул мне легкую

старчески сухонькую ручку, которую мне пришлось самому нащупать, чтобы заключить в рукопожатие.

— Знаю, — поспешил я загладить свое замешательство.

Старичок, довольный, заулыбался.

— Ничего, дружок, скоро и тебя будут знать. Ты еще молод...

— Заал скоро заставит говорить о себе весь мир,— позволил себе сыронизировать прокурор.

— Не сомневаюсь. Сейчас за любое дело возьмись — оно громкое, — серьезно, словно не поняв шутки, подхватил Андриадзе.

— Не надо преувеличивать, нарушений всегда хватало, — мягко возразил прокурор.

— Но такого, как сейчас, не было никогда! Во всем мире людей охватила какая-то лихорадка, они все себе позволяют... Я получаю судебный бюллетень, так хронику просто читать не могу, не по себе становится. А ведь меня удивить не так просто. Впрочем, это разговор длинный, а я спешу. Меня в президиуме ждут, я ведь у них почетный член.

— Если вы подождете буквально пять минут, я вас подвезу, — пообещал прокурор, и старичок снова опустился в кресло.

— Так что новенького, Заал? — повторил свой вопрос прокурор.

— Вчера я был в школе. Говорил с ребятами. Накануне того дня они собирались на экскурсию...

— Что из этого следует? — рассеянно спросил прокурор, роясь в бумагах.

— Паата очень обрадовался и сказал, что непременно пойдет на Тбилисское море...

— Ты знаешь, Заал, над твоей версией собираются тучи. Ты составил протокол школьного допроса?

— Я их не допрашивал. Я просто с ними беседовал.

— Нам не беседы нужны, а документы. Дальше?— Он явно куда-то спешил и хотел побыстрее меня спровадить.

— Я должен вызвать министра и его жену.

Я почувствовал на себе пристальный, удивленный взгляд.

— Это обязательно?

— Да. Во всяком случае, жену...

— Так вот, вызывай жену, а министра оставь в покое. Впрочем, это, возможно, еще хуже...

— Вызвать их сюда или мне самому подъехать?

— Дело твоей тактичности.

— Вызову так, как всех, на общих основаниях.

Прокурор смотрел на меня с любопытством и немного сердито.

— Министр никуда не убежит, успеешь его вызвать. Лучше займись делом, оно у тебя пока с места не сдвинулось... Я понимаю, что тебе не терпится похвастать: такое, мол, дело веду, что самого министра допрашиваю. Зачем тебе, в конце концов, министр понадобился?

— Иродион Менабде — его подчиненный, в той же системе работает...

— Знаю, — отрезал прокурор.

— Как же дело может сдвинуться, если самых необходимых свидетелей я не могу допросить...

— Каких это — самых необходимых?

— Мать Пааты, например... Ей очень плохо. Я бы не хотел сейчас ее тревожить.

— Твое джентльменство до добра не доведет. Ну, допустим. Кого же еще ты хотел бы допросить?

— Иродина Менабде вы мне рекомендовали не трогать — собираем материал. Когда налицо будет состав преступления, мы его не только вызовем, но и под стражу возьмем... Если и семью министра не трогать, то мне делать нечего.

Леван Андриадзе поднял руку и зашевелил губами, собираясь что-то сказать.

— Послушай-ка меня, дружок, — наконец заговорил он, стараясь не утерять мысли, — вызывай своего министра и допрашивай: ничего с ним не случится.

Я направился к выходу.

— Зайдешь в конце дня! — крикнул мне вслед прокурор.

* * *

Еще издали я увидел — возле моего кабинета нервно прохаживался Иродион Менабде. Завидев меня, он ухватился за ручку двери и попытался ее открыть.

— Вас вызывал кто-нибудь? — вежливо осведомился я, отпирая дверь.

— Пока нет, но, кажется, собираются, — дерзко ответил он и следом за мной, без приглашения, вошел в кабинет.

— Кто же это собирается?

— Если не ошибаюсь, вы!

— Откуда у вас такие сведения?

— Мир не без добрых людей.

— Садитесь, раз уж пришли. Но я не собирался вас вызывать, мы пока изучаем материал, расследуем.

— Интересно, что же вы расследуете? И кто вам дал право копаться в моих личных делах?! Расследуют! Как будто я что-то скрываю.

— Вот мы и выясняем, скрываете или нет.

— Но почему именно я? Почему не другой, не третий?

— Потому что не другой, не третий, а именно вы — отчим Пааты Хергиани.

— Удивляюсь я вам, молодой человек! Вы как-никак юрист, а позволяете себе прислушиваться к бабьим сплетням. Если меня спросить, я тоже мог бы многое порассказать.

— Придет время — и вас спросят.

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня с жалостью и презрением, как на глубоко заблуждающегося человека.

— Меня спрашивать нечего, тут все ясно: мальчишка во сне перепутал дверь с окном...

— Надел брюки, ботинки — и все это во сне?

— Ничего он не надевал, а заснул одетый, зачитался...

— Странно. У меня есть справка из поликлиники, где лечился Паата. Врачи считают его абсолютно здоровым и нормальным...

— Вполне возможно, — недоверчиво пожал плечами Менабде.

— И припадками он не страдал, и лунатиком не был. Обычно дети, если встают по нужде, не просыпаясь, то повторяют тысячу раз пройденный путь и ни в коем случае не вываливаются из окон.

— Тогда, может, вы скажете, что же все-таки случилось? — насмешливо предложил Иродион.

— Пока я могу сказать только то, что подтвердили эксперты и медики: мальчик разбился при падении. Но что? как? и почему? Пока не выяснено.

— А ваше личное мнение? — Он почему-то сам испугался своего вопроса.

— Сейчас рано об этом говорить.

Мой ответ придал ему смелости.

— Не такому, как вы, следователю в этом деле разбираться...

— Почему же? Объясните подробнее.

— А чего объяснять!.. Вы ко всякой болтовне прислушиваетесь. Как можно верить этой потаскушке, как?! Мне вы не верите, а ей поверили, почему? Что она — с выражением говорит или голос у нее приятный?

— О ком вы говорите?

— О соседке своей, Этер Муджири. — Он деланно рассмеялся. — Обидел, видите ли, в жены не взял! Оказывается, я должен на всякий уличной девке жениться! Вот она и мстит, да как мстит; чуть ли не в убийстве меня обвиняет. Так мне, дураку, и надо, с кем связался! Сам себя погубил...

— Я не знаю, какого поведения гражданка Муджири, но жениться на ней вы все-таки собирались?

— Кто вам это сказал? — Он так вздрогнул, словно невидимый великан тряхнул его за шиворот.

— Вы сами только что говорили. С первой женой вы разошлись потому, что у нее не было детей...

— Это тоже я сказал только что? — Великан продолжал трясти Иродиона Менабде, и слова срывались с непослушных губ против его воли.

— Потом вы сблизились с Этер Муджири, своей соседкой, собирались на ней жениться, но в решающий момент раздумали: она была в разводе и за три года жизни с мужем...

— Ясно! Это все она наболтала.

— А вы мечтали о наследнике и не хотели бездетную жену...

— Доложила, со всеми подробностями!..

— ...И вы женились на Маке Хергиани. Правда, у нее был ребенок, но это ли не гарантия, что она и вам родит наследника...

Я хотел было продолжить, но передумал. Еще представится случай, тем более что моя версия не содержала ничего приятного для слуха Иродиона Менабде: шло время, а Мака все не беременела. Тогда Иродиона охватило сильнейшее подозрение, которое, к ужасу его, подтвердили врачи. Жены, ни первая, ни вторая, не были виноваты в его несчастье — бесплодным был он сам. Теперь не оставалось ни сомнений, ни надежд. Примириться с этим было трудно. Как? И за что?! Такая несправедливость, такая суровая кара! Когда у всякого проходимца, ничтожества есть дети, он, человек обеспеченный, солидный, неглупый, обречен на оскорбительное бесплодие.

И гнев обиженного судьбой Иродиона Менабде обрушился на пасынка, самое существование которого он воспринимал как напоминание о собственном бессилии...

— На что это похоже! — поднял голову Менабде.— Мальчику угрожает смерть, а вы... вы терзаете родителей, как будто нам своего горя мало. Можно подумать, что вы только и ждали этого, чтобы накинуться на меня, когда я убит горем, подавлен...

Я насторожился:

— Говорите яснее. Чего я ждал?

— Ну, этого... — Он замялся, и я не углядел, как отекло и побледнело его большое мясистое лицо.

— Как раз меня интересует, что вы под этим словом подразумеваете. Чего «этого» я, по-вашему, ждал?

Он смотрел на меня растерянно и ненавидяще, и растерянность постепенно вытеснила злобу с его лица.

— Я, между прочим, не на допрос явился, — наконец выговорил он. — И не собираюсь отвечать на глупые вопросы. Должен заметить, что подобным образом вы не то что преступника, но и мальчишку, укравшего варенье, не заставите признаться. Лучше не

перебивайте, дайте договорить... Я удивляюсь, как вам позволяют таскать в прокуратуру родителей, когда ребенок на пороге смерти. Это и есть ваши гуманные законы?

— Вас никто, кстати, никуда не таскал, вы сами пришли. Я вас вызывать не собирался и супругу вашу пока тревожить не хочу.

В это время отворилась дверь кабинета и вошел Леван Андриадзе. Он сначала внимательно поглядел на меня и, убедившись, что я тот, кого он ищет, пошел к столу шаркающей старческой походкой.

— Я вот зачем пришел, — он показал рукой, что я могу садиться. — Вспомнил интересный эпизод из нашей истории. Когда-то царица Тамар обратилась к святейшему синоду, — а в те времена правосудие вершила церковь, — со следующими словами: «Восстановите справедливость, защитите истину, отлучите неправедных и греховных, опросите каждого. И начните с меня...» — Леван Андриадзе торжественно поднял указательный палец. — Слышишь, сынок? Начните с меня, и пусть не сокроет от вас истины ни слава и богатство власть имущих, ни бедность и бесправие нищих». Ты понял меня?

— Понял. Отлично сказано.

— Мы все равны перед законом: царица Тамар, министры, ты и я. Вот так-то. Иначе не может быть никакого правосудия. Извините, что помешал. — Старик поклонился в сторону Иродиона Менабде и пошел к выходу. Я проводил его и подумал, что Леван Андриадзе так и не дождался, пока прокурор освободится и отвезет его на своей машине.

Когда я вернулся в кабинет, Менабде все еще сидел у стола.

— Покажите мне донос Этер Муджири, — протянул он руку жестом требовательным и одновременно просительным.

— Никакого доноса нету. Есть протокол — мы записывали с ее слов.

— Назовем это протоколом, дайте мне прочесть. Должен же я знать, что она там наболтала.

— В свое время узнаете. А возможно, мне и не придется вас вызывать.

— Я в этом уверен, но мне просто интересно, в чем меня обвиняют.

— Гражданка Муджири ни в чем вас не обвиняет, она рассказала только то, что видела и слышала.

— Вы уверены, что все это она видела и слышала?

— Я проверяю факты.

— Ну-ну, действуйте. А сами-то вы что вменяете мне в вину?

— Пока ничего. Собираю материал.

— Тогда что же вам от меня надо?! — Он повысил голос.

— Не кричите. Я вас не вызывал. И вы можете идти.

— Утешьте человека, скажите, какой срок полагается за клевету. Я эту дрянь все равно за решетку посажу...

— Кстати, у меня был ваш сослуживец, — прервал я Иродиона.

— И что же? — Он так и подскочил на стуле.

— Сын его обчистил, шестьдесят тысяч рублей увез в свадебное путешествие.

— В этом, я надеюсь, не меня обвиняют.

— Что вы! Разумеется, нет. Несчастный человек только и живет надеждой, что вы одолжите ему денег. Ему надо памятник на могиле отца поставить.

Иродион Менабде сокрушенно покачал головой:

— Напрасно вы, молодой человек, стали следователем. Это я вам по-дружески говорю. Может, в дальнейшем из вас и выйдет толк, когда вы наберетесь ума и опыта, но пока... Вы так наивно пытаетесь меня расколоть — прямо смешно! Разве я скрываю, что у меня есть деньги? Двадцать лет копил, честным трудом. По̀том, так сказать, и кровью. В месяц по пятьсот рублей откладывал. За двадцать лет немало набежало. Все в ажуре, не придерешься. Почему другу не одолжить, не помочь в трудную минуту? И еще премии не забудьте. — Менабде достал из кармана замусоленные бумажки. — Эх, ничего-то вы, юноша, не знаете. Жизни не знаете. А время какое? Вот мы с вами сегодня сидим, разговоры разговариваем, а завтра война может начаться. Атомная, между прочим, и ни вас, ни меня, ни города нашего благословенного —

как ни бывало! Думали вы когда-нибудь об этом? Вот то-то же!

Пока он разговаривал, я разглядывал его разношенные желтые полуботинки. Кожа вздувалась и топорщилась, повторяя форму суставов и пальцев. Привольно чувствуя себя под столом, полуботинки терлись друг о друга, соприкасались подошвами, одним словом, жили независимой и беспечной жизнью. И я, глядя на них, подумал, что Иродиона вовсе не волнуют проблемы войны и мира, что он лжет и притворяется.

— Вы никогда не убедите меня, будто огромные запасы атомного оружия останутся неиспользованными. Это не картошка, которую капиталисты сбрасывают в море, чтобы взвинтить цены на рынке. Вот и живем, как на вулкане. Нервы не выдерживают. Молодежь на западе разлагается: наркотики, убийства, абстрактная живопись... Да и у нас некоторые позволяют себе...

— Что же они себе позволяют?

— Например, расхищать социалистическую собственность. Я, скажем, за двадцать лет службы лишней копейки в карман не положил. А какое это имеет значение, если в один прекрасный день мир рухнет. Вот почитайте, — он протянул мне сложенную вчетверо газету. — Я прочел и так расстроился, что весь день работать не мог. Прочтите, если вам не трудно. — Он ткнул пальцем в обычную информацию: «Это случилось в Нью-Йорке». Описывалась учебная тревога, с оглушительными сиренами, с толпами горожан, устремившимися в убежища.

Я кончил читать и снова посмотрел на самодовольные желтые полуботинки. Нет, их не волновала учебная тревога в Нью-Йорке. Они беспечно ерзали под стулом, блаженствовали, словно слепые животные, греющиеся на солнце.

— Что, страшно? — с победоносным видом спросил Иродион. — Теперь ответьте мне, какое преступление может идти в сравнение с этим? — Он постучал пальцем по газете и уточнил: — В сравнение с войной?

Я не выдержал:

— Но война только кончилась, когда вы махинировали с песком на дигомской стройке. Чем же это объяснить?

Менабде вскочил, словно ужаленный. Загремел отброшенный стул.

— Вы... вы... ответите за это! Вы ставите мне в вину то, в чем я сам добровольно признался и за что понес наказание. По нашим законам за прошлое всю жизнь ответственности не несут. Что вам от меня в конце концов нужно? Что такого наговорила эта шлюха? Ну, поколачивал я парня, бранил, но в тот вечер пальцем его не трогал, еще и подарок принес,— шмыгая носом, он продолжал плаксиво: — Можно подумать, что вас отец не выдрал ни разу. — Он вдруг снова разъярился: — А впрочем, оно и видно, что мало тебя, молокососа, били! — При этом он так резко откинул назад голову, словно опасался пощечины. — Вы... вы даже в студенты не годитесь! Пора бы сообразить, что у меня есть алиби: я пришел пьяный и повалился спать. Все случилось, когда я спал. Я ничего не видел и ничего не знаю!

Он кричал, а я с удивлением следил, как распухает его квадратное лицо, и думал: «Если я и знаю что-нибудь, так только одно: передо мной подлинный Иродион Менабде».

— Напрасно вы прячетесь за свое алиби, оно только подтверждает вашу виновность.

— Вы, наверное, шутите, молодой человек!

— Какие тут могут быть шутки! Я говорю о том, что в отношении Пааты у вас было постоянное алиби. Когда ему было трудно, вас никогда не было рядом, как надлежит отцу. Он всегда был для вас не сыном, а пасынком. Вы никогда не пытались заглянуть ему в душу, разделить с ним его радости и горести. Впрочем, вы ко всем относились так же безразлично. Занимала вас только собственная персона, заботила одна мысль: найти местечко потеплее. А у вас алиби на все случаи жизни. Мимо вас, не коснувшись, не задев, прошла война. Люди голодали, страдали, гибли, совершали подвиги, а у вас было алиби. — Я ругал себя за несдержанность, но остановиться уже не мог. Я должен был высказаться до конца. — Хотите, я скажу, почему вы так боитесь войны? Да всего только потому, что она может лишить вас привычного комфорта. А надо бы только таких, как вы, отправлять на бойню, пусть бы

трусы и приспособленцы пожирали друг друга, как тарантулы. Это была бы последняя война в истории человечества!..

Иродион Менабде распухал у меня на глазах, но не сдавался.

— Вы сводите со мной личные счеты. Сначала я думал, что вы меня не помните, но теперь я вижу, что ошибся. Все вы помните и хотите мне отомстить. Но я буду жаловаться!..

Я недоуменно пожал плечами, не понимая, о чем он говорит.

— Что вы несете, Менабде? Роль какую-нибудь играете?

— Играете как раз вы, но бездарно! Не притворяйтесь, будто не узнаете меня. Года не прошло после нашего знакомства. Правда, напился ты тогда, братец, здорово. Нализался и оскорбил порядочных людей. Я и мои друзья вытолкали тебя из-за стола взашей, как и следовало. Вспомнил теперь?.. Прекрасно! Но я не позволю, чтобы вы, злоупотребляя своим служебным положением, мне мстили. Причем так низко, по-бабьи, исподтишка, когда у человека горе... Не-ет, я этого так не оставлю. Пойду по инстанциям!

Желтые полуботинки гневно оскалились и вздернули свои тупые носы, нетерпеливо топчась на месте, — ближе подойти они не решились.

— Не к лицу советскому юристу, используя служебное положение, сводить личные счеты. Вы за это поплатитесь, вас совсем разжалуют, с работы снимут. — Каждую фразу Менабде сопровождал энергичным взмахом поднятого указательного пальца, словно стрелял из пистолета. Но вот палец остановился, как будто истощив запас пуль. Нет, осталась, одна, последняя: — Я сейчас же пойду и напишу на вас жалобу, куда следует.

С этими словами он вышел из кабинета.

Самое удивительное, что Иродион Менабде говорил правду. Год назад мы с ним действительно встретились. И вот при каких обстоятельствах. В прошлом году Грузию посетила группа деятелей итальянской прессы. Мой друг Шио — автор двух романов и нескольких

сборников — пригласил итальянцев на обед (один из рассказов Шио совсем недавно появился в каком-то итальянском журнале). Мы с Тазо присоединились к Шио и повезли гостей обедать за город.

Итальянцев сопровождала переводчица-москвичка, тоненькая живая блондинка, Галина.

Расторопный Шио успел предупредить директора ресторана, что с нами иностранцы. Тот засуетился, велел накрыть для нас стол в саду (дело было в июне). Сначала мы с Тазо смущенно отмалчивались, но после двух выпитых бокалов языки наши развязались, и Тазо принялся доказывать итальянцам, что никому пока еще не удалось создать совершенную музыку, которая не меняла бы характера от перемены темпа исполнения. Для наглядности Тазо пропел популярную арию из оперы Верди со скоростью плясовой. Узнать знакомую музыку было трудно, и Галина, переводя гостям парадоксальную мысль Тазо, вполголоса пропела арию в нормальном темпе. Гости смеялись, расценивая выступление Тазо, как остроумную шутку. Плохо же они его знали!

Смеялись в тот вечер много. Подшучивали над Шио, который боялся собак. По саду бродил огромный пес, безобидный и добродушный. Как только он появлялся возле нашего столика, Шио пересаживался со своим стулом. А пес, как назло, приставал именно к Шио, терся о его колени в ожидании подачки. За соседним столом я заметил маленькую девчушку, которая прижимала к груди резиновую надувную собачку. Я, будучи уже не очень трезвым, попросил у девочки игрушку. Вопросительно поглядев на мать, она протянула мне собачку. Я подкрался к Шио и, к всеобщему удовольствию, напугал его. Вряд ли кого-нибудь могла испугать лупоглазая и лопоухая игрушечная собачонка, но Шио хотелось рассмешить гостей, и он превосходно разыграл испуг.

Галина все чаще поглядывала на часы, боялась опоздать в театр, и Шио встал, чтобы произнести последний тост.

— Я не был в Италии, — сказал он, — но видел полотна гениальных итальянских мастеров. И я думаю, если их собрать воедино, они займут солидную часть

итальянской земли. Так вот, эту часть Италии я видел и могу сказать, что был там. Поэтому сегодня я хочу выпить за вашу прекрасную родину и за ту божественную ее часть, которую мне довелось посетить.

Гости были растроганы, а одна дама даже попросила разрешения записать столь поэтический тост, чтобы потом прочесть его соотечественникам.

— Счастливчик! — шепнул Тазо смущенному, но довольному Шио. — Мало твоих рассказов печатают, а теперь еще тосты публиковать начнут.

Когда мы шли к выходу по густой зеленой аллее, кто-то окликнул Тазо, и ему пришлось оставить нас и присоединиться к компании немолодых, подвыпивших мужчин. Они сначала заставили его выпить, потом сами стали пить за его здоровье. Мы задерживали гостей, поэтому Шио предложил нам остаться, а сам увез итальянцев в город.

— До дна, до дна, Иродион! — слышалось из-за деревьев. — А то премиальных в этом месяце не получишь!

То ли пирующие меня заметили, то ли Тазо меня выдал, но вскоре и я оказался за сдвинутыми столами.

Я, признаться, сердился на Тазо: какая необходимость была присоединяться к этим малознакомым и малоприятным людям? Только на том основании, что один из присутствующих знал его дядюшку? Но Тазо уже успел опрокинуть три внушительных стакана и, видимо, был расположен продолжать в том же духе. После долгих уговоров мне тоже пришлось последовать примеру друга, и я понял, что отделаться от наших новых друзей будет не так-то легко. Тогда я начал поглядывать на часы и громко напоминать Тазо, что нас ждут иностранцы. Услышав, что уже девять часов, один толстяк вскочил из-за стола и завопил, что должен бежать на вокзал, встречать жену. Но не тут-то было! Тамада усадил его на место и предложил всем перевести на часах стрелки, чтобы никто не следил за временем и не знал, который час.

Тамада, как выяснилось, верховодил не только за столом, он был руководителем того учреждения, где служили эти почтенные мужи. Поэтому все подчини-

лись его нелепому распоряжению: одни со смехом, другие неохотно стали переводить стрелки своих часов. Колышущийся от хохота сосед поднес к моим глазам часы, которые показывали половину первого, другой совал мне под нос циферблат с растопыренными стрелками — шесть часов! У третьего часы показывали пять минут четвертого, у пятого — без четверти десять... У меня закружилась голова, и я закрыл лицо руками... В глазах рябило от пузатых шестерок, тощих единиц, головастых девяток, безмозглых четверок... А стрелки? Потерявшие смысл, бездушные, то насупленные, то глупо ощеренные, торчащие, как нафабренные усы, или раскинувшие руки, словно распятые...

Я затряс головой, пытаясь сбросить пьяную одурь.

— Ах ты, хитрец! — набросился тамада на толстяка, который спешил на вокзал. — Провести меня хочешь! Не выйдет! Дай сюда руку! — С этими словами он снял с бедняги часы и забросил их в кусты.

— Убьет! Убьет меня жена, если я ее не встречу,— захныкал толстяк.

Под одобрительный гул тамада выбросил и свои часы. И тут началось! Словно все только и ждали знака, чтобы предаться пьяному безумству. Каждый поднимался со стула, снимал часы, забрасывал их как можно дальше и, удовлетворенный, плюхался на место.

— А ты что же, Иродион? Часиками дорожишь или выделиться из коллектива хочешь? — ядовито спросил тамада.

— Часы-то у меня золотые.

— Мне плевать на твое золото! Снимай!

— А что же гостя не заставляешь?

Я понял, что говорят обо мне.

— Ему простим. Молод еще, зелен.

У меня голова раскалывалась — от пьяного шума, нелепости происходящего, от выпитого вина.

Стараясь остаться незамеченным, Иродион Менабде встал из-за стола и нырнул в кусты. Он вернулся очень быстро, бросил на стол три или четыре пары часов и, надевая свои, заискивающе улыбнулся тамаде.

— Э-э, так дело не пойдет, — нахмурился тот.— Дай-ка сюда!

Он бросил злосчастные часы на землю и раздавил их каблуком.

И все опять последовали его примеру: один пытался бутылкой размозжить свои плоские круглые часы, другой метил часами в дерево, третий примостил часы на край стола и колотил по ним камнем. Мне казалось, что они издеваются над живыми, разумными существами, сами безмозглые и бездушные.

Я выскочил из-за стола, потому что меня нещадно мутило. Мне казалось, что я умираю, небо обрушивалось на мою голову, в глазах было темно, и я проваливался в бездонную, бескрайнюю пропасть. Землю затопили бесчисленные минуты. Достигнув незримой черты, они разбивались, распадались на секунды, мгновенья, на самые мельчайшие доли секунды — тысячные и миллионные. Вспугнутой стаей вдруг взмывали они в воздух, где в беспорядочной пляске соединялись с веками, безжизненными, безликими тысячелетьями и снова рассеивались и неуловимым пеплом оседали на земную кору. Время, рассеченное, искромсанное, потеряло четкость и определенность, и я тщетно искал свое время, напрасно пытался обрести пусть самый безрадостный день, но мой собственный. Все распадалось, никто и ничто не желало объединения с себе подобными. И только пепел осыпался на землю.

Шевелящиеся черные секунды назойливой мошкарой облепляли меня, и голова моя гудела, как колокол в бурю...

Когда я вернулся к столу, меня встретили недружными воплями.

— Внимание! — неожиданно для самого себя закричал я. — Минутку тишины! Я хочу что-то сказать.

Я вцепился обеими руками в край стола, чтобы не упасть, поочередно оглядел всех присутствующих и, когда дошел до тамады, решительно произнес:

— Вы — просто варвары!

Наступила мертвая тишина, и я мог теперь продолжать не повышая голоса:

— Настоящие дикари, мне стыдно за вас!

Все возмущенно повскакивали с мест, а тамада схватился за карман, и его стали рьяно удерживать, словно он собирался достать револьвер.

— Я тебя проучу, сопляк!— ревел он.

— Не беспокойтесь, я сам с ним расправлюсь,— подскочил ко мне Иродион Менабде и, набрав в легкие побольше воздуха, нечеловеческим голосом заорал:

— Убирайся отсюда, ублюдок! — При этом он поглядывал на тамаду: ценит ли тот его усердие.

— Дикари!— повторил я.

— Убирайся! — Он толкнул меня, но не очень сильно.

— Дикари!

— Убирайся! — Он яростно вращал глазами и для вида отталкивал удерживающих его дружков.

Тазо я увидел только на следующий день. Сцены с часами он, оказывается, не видел, так как заснул за столом, и, как очутился дома, не помнил. Зато я помнил все слишком хорошо.

В конце дня меня снова вызвал к себе прокурор. Он иронически улыбнулся.

— Пока ты искал виновного, тебя самого обвинили. Читай! — Он протянул мне исписанный лист бумаги.

— О чем он пишет в конце?

— Ты так спрашиваешь о конце, как будто начало тебе известно.

— Догадываюсь, что́ там может быть.

— Ты проговорился, как настоящий обвиняемый!— посерьезнел прокурор. — Раз ты догадываешься, значит, ты знал об этом раньше. Зачем же...

— Он сам сказал, что будет жаловаться.

— Это не так просто, как тебе кажется. Дело в том, что Менабде тебе дает отвод на том основании, что ты сводишь с ним личные счеты и будто бы мстишь ему.

— Разве он имеет право требовать отвода? Ведь он еще не участник процесса.

— К сожалению, уже участник.

— Как же так?

— Ты уже допросил его.

— Но он сам явился, неофициально. Держался вызывающе, ну, и я вышел из себя, наговорил лишнего.

— Следователь не должен выходить из себя.

— И все же он не имеет права давать отвод.

— Имеет. Ты слишком явно высказывал подозрения на его счет. Он увидел, что взят на мушку, и выдумал: да, мне охотник не нравится, он со мной старые счеты сводит. Менабде — воробей стреляный.

— Не имеет он права отвод давать! — твердил я свое.

— Ладно, оставим это. Ты мне лучше другое скажи, — прокурор играл спичечным коробком. — Ты в самом деле собираешься министра вызывать? — Он надел коробок на указательный палец и уставил его мне в грудь.

— Да, хочу узнать его мнение относительно Иродиона Менабде. Он должен его хорошо знать.

— Но друзья и сотрудники Менабде тоже ведь могут рассказать о нем. — В голосе прокурора мне послышались просительные нотки. — Почему именно министра беспокоить?

— Потому что, помимо всего прочего, он отец этой девочки. Из страха перед ним Менабде запер Паату дома. Я хочу проверить, насколько основателен был этот страх.

— Хочешь, я дам тебе один совет? Если тебе так необходимо свидание с министром, — а кто не хочет познакомиться с влиятельным человеком? — он заговорщицки улыбнулся, — позвони ему, объясни, в чем дело, скажи, что хотел бы побеседовать с его женой, и спроси, где и когда удобнее это сделать.

— За совет спасибо, но я им не воспользуюсь. — Я встал, давая понять, что продолжать этот разговор не намерен.

ГЛАВА VI

— Алло! Попросите Заала!

— Я слушаю.

— Алло, алло! Мне нужен Заал!

— Это я, Тазо!

— Что-то плохо слышно, подожди, я перезвоню.

Кладу трубку и жду. Я не один. Передо мной сидит

сотрудник Иродиона, тот самый, у которого сын сбежал с деньгами. Он подписывает протокол. Сегодня он ведет себя спокойнее, получил от сына письмо: дорогой папочка, обо мне не беспокойся, живу со своей женой, как бог!

— Я надеюсь, вы мне ничего не припишите за то, что я у Иродиона деньги одолжил. Что в этом такого? По-вашему, получается, если директору жена изменяет, главному бухгалтеру изменяет, значит, и мне должна изменять? Нет уж, простите! Я за других не отвечаю! Деньги одолжил — спасибо, но пусть сам за себя отвечает.

Снова телефон.

— Слушаю! — Делаю знак, что мой посетитель свободен.

— Теперь слышно, — говорит Тазо. — Заал, ты можешь зайти ко мне сегодня в семь?

Таинственность его голоса настораживает.

— А в чем дело? — спрашиваю.

— Мелита достала билеты на концерт...

— Мелита? — Я совершенно уверен, что мое сердце услышало это имя, так близко стоящее рядом с именем Наи, раньше, чем оно достигло моего слуха.

— Да, Мелита. Наи тоже идет. — Тазо молчит. Я безуспешно пытаюсь проглотить ком, застрявший в горле, и борюсь с сердцебиением.

— Я непременно приду ровно в семь. Спасибо, — наконец говорю я и вешаю трубку.

В половине седьмого я стою перед подъездом Тазо и зачем-то составляю слова из инициалов бывшего владельца дома: «Д. С.». Открывает мне Люся.

— Спасибо. Опять я вас побеспокоил.

— Пока ваш приятель изволит встать да натянуть свои брюки, вы тут истомитесь. Какой вы сегодня нарядный, Заал! Уж не жениться ли собрались?

— Да нет. Просто знал, что вы мне откроете, и хотел вам понравиться.

— О-о, все вы обманщики, я вам не верю, — кокетливо грозит пальчиком Люся, но я вижу, что моя ложь доставляет ей удовольствие.

— Я говорю чистую правду, — продолжаю наивную игру.

— В таком случае ваша цель достигнута, вы мне нравитесь.

— Благодарю. Я сегодня — счастливейший человек на земле. — Я отвешиваю театральный поклон.

— Как легко вас сделать счастливым! Если бы всем для счастья было нужно так мало!

— А что им еще нужно, не понимаю!

— Прекрасно понимаешь, Заал, не притворяйся.

— Ты отличная девушка, Люся. Ты просто цены себе не знаешь.

Тазо спит. Я бесцеремонно проникаю в комнату и разглядываю вещи, которые в полутьме кажутся какими-то новыми и таинственными. Тазо лежит на спине, беззаботно посапывая. Рот у него полуоткрыт, словно он приготовился проглотить лакомый кусочек. Я ощущаю некоторую неловкость от того, что разглядываю спящего, но не спешу его будить. Меня охватывает какое-то таинственное чувство: рядом живой человек, и он не знает, что ты здесь. Совсем другое дело, если бы он видел тебя, засыпая. Но сейчас каждая вещь в комнате приобретает новый необычайный оттенок: книги, ноты, картины, даже гиря, мирно дремавшая в углу. Как будто ничего этого давно нет и я хожу и воскрешаю в памяти прошлое: вот здесь я любил сидеть, за этим столом справляли мы день рождения Тазо, Мелита включила магнитофон... Прекрасное было время... Как мне было хорошо в этой комнате, среди этих немудреных вещей, с этим чудаком, который сейчас мирно посапывает во сне. Что снится ему? Музыка? Наи? Может, он влюблен в нее? По-моему, Тазо проснулся, но притворяется спящим. Сажусь за рояль, наигрываю его любимую мелодию и слышу хриплый со сна голос:

— Молодец!

Тазо встает, потягиваясь.

— Уже семь?

— Почти.

Из соседней комнаты все время доносится грустная музыка.

— Ты давно пришел? — Тазо так пытливо на меня смотрит, словно боится, не выдал ли во сне какую-нибудь тайну.

— Только что. Послушай, кто пригласил меня на концерт, ты или Мелита?

— А почему ты пропустил Наи?

— Наи не стала бы меня приглашать.

— Ты совершенно прав! Наи о тебе и думать забыла. (Зачем он так?!) Но мы сейчас зайдем за ней в консерваторию, у нее занятия кончаются в восемь часов.

— Я никуда не пойду.

— Пойдешь, как миленький.

Тазо берет полотенце и направляется в ванную.

— Ты просто сумасшедший.

— Неправда. Во всяком случае в эту минуту я абсолютно нормален.

— Это еще надо доказать.

— Брось!

— Нет, серьезно. Докажи мне, что ты не сумасшедший. Интересно, как тебе это удастся.

— Ладно, пока ты умоешься, я буду думать.

— Учти, что ты этим ничего не докажешь. Сумасшедшие тоже думают!

Тазо выходит. Вещи в комнате постепенно приобретают свой обычный вид: стакан — просто стакан, стул — как стул. А совсем недавно вместо них было воспоминание о стакане, о стуле. Все равно чье воспоминание, мое или Тазо, потому что он спал и не имел никакой реальной связи с этим миром. Если бы я ушел до его пробуждения, он бы никогда не узнал, что я здесь был.

— Опять эта плачущая музыка.

— Что это? Радио? — спрашиваю у Тазо, который входит, крепко растираясь полотенцем.

— Ты должен знать, что это. — Он заговорщицки улыбается.— Заказ!

— Значит, живого человека хоронишь! — возмущаюсь.

— Да не выдумывай! — махнул рукой Тазо. — У дяди Александра такой тонкий слух, что многие композиторы позавидуют. И в то же время он совсем не приобщен к музыке. Сейчас, по-моему, он открывает для себя целый мир. Во всяком случае он без конца проигрывает мои записи. Надоест — потребует новые.

— Опять траурные? — съязвил я.

— Не обязательно, достаточно ему почувствовать вкус к хорошей музыке, его потом не оторвешь, и о смерти уже некогда будет думать.

— Поздравляю тебя, Тазо! — насмешничаю я беззлобно. — Ты опять совершил переворот в науке. На сей раз в медицине — с помощью все той же музыки. Благодарное человечество тебя не забудет.

— Напрасно ты смеешься. Это же очень просто. Вот послушай: дядя Саша, дожив до шестидесяти лет и обладая абсолютным слухом, не сталкивался с серьезной музыкой. Конечно, время от времени слушал радиопередачи и концерты, но случайно, не придавая этому значения. Но я убежден, что с самого рождения подспудно, неосознанно он ждал встречи с музыкой. Если же встреча наконец состоится, он найдет тогда новые силы, которых в себе и не подозревает, и выживет. Непременно выживет! Ты не знаешь, на какие чудеса способна музыка! Как сильно действует она на нас, грузин. Разве не волшебство — наше многоголосие? Когда не знающий ни одной ноты крестьянин раскладывает на голоса сложнейшие мелодии. Со мной был интересный случай. Сижу я как-то за деревенским столом и напеваю вполголоса мотив из Вагнера. Неожиданно мой сосед — самый обыкновенный колхозник — начинает мне вторить, и через несколько минут могучее многоголосие взмывает к потолку. Можешь себе представить мой восторг. — Тазо безуспешно пытается перед зеркалом завязать галстук. — Эх, Заал, грузины не случайно никогда не были фанатиками в религии. Господа бога им благодарить не за что. Наша история — сплошные нашествия и кровопролитные битвы. Четырехсотлетнее чужеземное иго, арабы, монголы, турки, персы... Жгли, резали, топтали... Кто знает, сколько талантов — композиторов, астрономов, поэтов — все свои способности отдавали не по назначению — сабле и седлу...— Тазо сердито сдергивает с шеи галстук и протягивает мне: — Завяжи.

Пока я тружусь над модным узлом, Тазо продолжает философствовать:

— Ты читал, как двое американских ученых, китайцев по происхождению, Ян и Ли, получили Нобелевскую

премию за открытие закона асимметрии в микромире?

— Нет, не читал.

— Темнота. Это же переворот в физике! Какой-то ученый заметил, что их открытие наверняка имеет глубокую внутреннюю связь с таким явлением, как асимметрия восточного искусства. Воспитанные на симметрии, западные ученые вряд ли выдвинули бы гипотезу об асимметричности мира. А посмотри на наши памятники! Древние зодчие, словно боясь прогневить бога совершенством форм и пропорций, смещали орнамент от центра в сторону: смотри, мол, господи, как мы беспомощны! Ты помнишь окна на южной стене Светицховели? С первого взгляда они совершенно одинаковые, а приглядишься — не имеют ничего общего. Кто знает, как поразили бы сегодня мир потомки этих мастеров...

— Поэтому ты и галстук завязываешь асимметрично?— Я знаю, что Тазо рассердится. Так и есть — надувается, как ребенок.

— Не дуйся. Лучше посмотри, как прекрасна симметрия, узел — в центре и все как надо.

— Спасибо,— буркнул Тазо.

— Ты мне скажи, как тетя Нино реагирует на твою музыку? — перевожу я разговор на другую тему.

— Она со мной не разговаривает, обиделась. Я, говорит, понимаю, что Саша — человек больной, но ты, как ты мог?! Запретить ему проигрывать записи она не может, боится его нервировать, только уши затыкает и выбегает из комнаты.

Тазо до блеска начищает ботинки.

Я курю.

— Совсем забыл тебе сказать, Тазо! У тебя появился могучий соперник, я тоже начал совершать открытия.

— В какой области?

— Позавчера ко мне заявился Иродион Менабде, отчим Пааты....

— А как Паата?

— Плохо.

— Не приходил в себя?

— Нет.

— Значит, ничего нового?

— По-моему, я на верном пути. От такого человека, как Менабде, всего можно ожидать. Кстати, ты его знаешь.

И я напомнил Тазо тот злополучный вечер в загородном ресторане.

— Лица его я не помню, но как они безобразно пели! — Тазо болезненно морщится. — Ты прав, так могут петь только преступники и рецидивисты.

— Тебе бы судьей быть у эскимосов, там процесс выигрывает тот, кто лучше поет.

— В таком случае тебя бы всегда признавали виновным! — парирует Тазо.— Так что же ты все-таки открыл?

— Алиби не существует.

— Не понимаю.

— Я говорю, что алиби не существует. Вообще. Никакого. Если ты сегодня живешь фальшиво и подло, ты виноват во всем, что произойдет завтра.

— Ты опять за свое.

— Постой, еще одно: допустим, ты живешь плохо, но думаешь, что никому не делаешь зла, только себе — сокращаешь свою жизнь, калечишь свою душу! Ты глубоко ошибаешься, ты вредишь тем самым всем окружающим!

— Неясно...

— Потому что ты — член общества, и если все будут жить дурно, хорошего общества не построить.

— Кажется, понял. Значит, если я до сего дня живу холостяком, соблазняю женщин, нигде не служу — да и не учусь толком, значит, я виноват в том, что Паата разбился?

— Совершенно верно!

— Ну так вяжи меня и суди. Или, может, все же сходим сначала на концерт?

— Не смейся, Тазо. Я говорю серьезно.

— Я тоже. Только я убежден, что рядом с добром непременно должно существовать зло. Тогда люди будут все время начеку. Допустим, зла немного, но оно сильно, а если добро слабее, то его больше. Равновесие между ними невозможно: то одно перевешивает, то другое. И я начинаю склоняться к мысли, что зло —

врожденное свойство человеческой натуры, а добро — благоприобретенное.

— Ошибка! Как раз добро — врожденное, а зло приобретенное, иначе добра не могло быть больше, как ты сам только что утверждал.

— Давай отложим этот мудрый спор. Мы можем опоздать, — миролюбиво предлагает Тазо, облачаясь в пиджак.

В дверь стучит тетя Нино.

— Тенгиз, сынок, скорее, Саша волнуется, что ты спутник не увидишь.

Мы оба срываемся с мест. Неужели так просто, невооруженным глазом можно увидеть спутник?

Тетя Нино семенит за нами:

— Только с одним условием я тебя прощаю, Тенгиз, если ты заберешь назад свою пленку.

— Заберу, если дяде Саше не нравится.

— В том-то и дело, что нравится, — чуть не плачет соседка. — Ты ему скажи, что она тебе позарез нужна.

— Ладно, так и быть, скажу.

— Скорее, скорее! — кричит дядя Саша и сует в руки Тазо маленький театральный бинокль, — вот он летит, видишь?

— Нет, ничего не вижу, — огорчается Тазо и вдруг радостно: — Вижу, вижу!

По спуску Элбакидзе бегут мальчишки, задрав головы и протягивая руки к небу. Самый маленький из них остановился и, разинув рот, смотрит вверх, видно, никак не разглядит того, что видят все. Медленно ползет в гору троллейбус. Водитель протирает рукавом стекло и, вывернув шею, старается поймать в небе движущуюся звезду. Навстречу спускается грузовик с прицепом; трамвайные рельсы, которые он везет, свешиваются с кузова и, ударяясь о мостовую, высекают из булыжника искры. Шофер переключает скорость, пытаясь разглядеть спутник, искры гаснут.

Яркая звездочка движется по небу.

— На, смотри. — Тазо великодушно передает мне бинокль, инкрустированный перламутром. Я с трудом нахожу в небе удаляющийся теплый огонек.

— Ну вот и до этого дня я дожил, — счастливо

вздыхая, произносит дядя Саша. Мы осторожно передвигаем его кровать на место. — Значит, скоро человек полетит.

— Сначала на животных испытают воздействие космоса, — авторитетно поясняет Тазо, — а потом только человек полетит.

Я возвращаю бинокль дяде Саше, он ласково поглаживает его рукой.

— Дожили мы с тобой и до полета в космос!

— Это заслуженный бинокль, — говорит мне Тазо,— он видел Чехова, Шаляпина, Месхишвили...

— Сару Бернар! — кричит из кухни тетя Нино.

— Илью Чавчавадзе, — добавляет дядя Саша. — Это бинокль моей тещи, великая была театралка.

— Мама даже Николая второго видела в ложе Мариинского театра. — Тетя Нино входит в комнату.

— Какое счастье, — иронизирует дядя Саша.

— А потом всю войну Саша с этим биноклем не расставался.

— Верно,— улыбается дядя Саша. — Сам не знаю, зачем он был мне нужен? Наверное, генералом втайне мечтал стать и в бинокль осматривать вражеские позиции. Ротный командир отобрал его у меня в самом горячем бою: здесь, говорит, не балет. Когда в госпитале лежал — вернули.

— Тогда вы на мине и подорвались?

— Эх, лучше бы этот осколок, — он показывает на спину, — во вторую ногу попал.

— Болит?— спрашивает Тазо.

— Так давно болит, что и замечать перестал. Только он, проклятый, не вылазит, боится, что фашисты разделаются с ним — ведь не смог он убить сержанта Александра Пирцхалаву. Не знает, дурак, что война давно кончилась и ему нечего бояться.

— Тунеядец ваш осколок, дядя Саша, ведет паразитический образ жизни, — неуклюже сострил я.

— Совершенно верно, — подхватил дядя Саша,— вылез бы на свет, посмотрел бы, что вокруг делается. А он сидит, — и не ржавеет, главное, не тупеет, все равно как новенький... Прочел я тут недавно интересную вещь, оказывается, во время этой войны, каждые три секунды умирало по человеку... Вот я и думаю,

как же я все-таки уцелел в остальные две секунды... Вы что переглядываетесь, ребята, небось спешите куда-нибудь?

— Есть такое дело, дядя Саша, — смутился Тазо, — немного спешим.

— Тогда бегите, я вас задерживать не буду.

— Я хотел у вас пленку попросить, она мне может понадобиться. — Тазо не умеет врать и предательски краснеет.

— Не выдумывай. Это тебя Нино подучила!

Рядом с кроватью замечаю магнитофон, дядя Саша любовно прикрывает его рукой.

— Отдай, Сашенька, на что она тебе! Тенгиз другую тебе принесет, — просит тетя Нино.

— Я не выдумываю, пленка мне вправду нужна.— Тазо не может скрыть улыбки.

— Я тебе обещаю, Нино, включать магнитофон только в твое отсутствие!

— Осрамил на всю улицу! Люди скажут, что я по живому мужу панихиду справляю, — вздыхает тетя Нино.

Тазо многозначительно мне подмигивает.

Мы стоим перед консерваторией. Я с нетерпением жду Наи. Сейчас мне достаточно увидеть ее, услышать ее голос, чтобы почувствовать себя счастливым. Но я знаю и другое; потом я осмелею, крылья желаний моих окрепнут... Все это уже было.

— Войдем в здание и постоим перед аудиторией,— предлагает Тазо, — а то ее непременно кто-нибудь задержит.

Я замечаю, как бережно Тазо упомянул Наи: дескать, не она сама заговорит с кем-нибудь и опоздает, а с ней заговорят и задержат.

Сейчас я так же смущен и взволнован, как в первый день, когда стоял на остановке и ждал удобного момента, чтобы познакомиться с Наи. Все было как в сказке, как во сне. Прекрасное видение растаяло, исчезло, я остался с протянутыми руками, а Тазо сжалился надо мной и сказал: «Нет, это не сон, она в самом деле существует, идем, я тебе ее покажу».

И вот я покорно иду за своим проводником и не

могу избавиться от недостойной ревности и зависти: ведь ему так просто пойти и увидеть ту, которую я все еще не могу отделить от мира мечты и сказки.

Консерваторские вахтеры, не менее свирепые, чем Сцилла и Харибда, пропускают Тазо — он здесь свой человек, а с ним и меня. Вся атмосфера здесь только способствует развитию моих фантазий. Мраморная лестница взлетает вверх, отовсюду несутся обрывки воздушных мелодий. Из-за высокой белой двери, как самая чистая и прекрасная музыка, выходит Наи. Она в цветастом нарядном платье, и, чтобы не нарушить сказочной атмосферы, я думаю про себя: богиня прикрыла наготу свою полевыми цветами. При виде меня Наи смущается и, не желая выдавать смущения, улыбается не мне, а Тазо, и берет его под руку.

«И невидимой сделалась богиня, закутавшись в покрывало из тумана, и лишь взору могучего Тезея красота ее небесная открылась», — горько и насмешливо подумал я. Почувствовав себя уверенней, Наи решила, что, не роняя собственного достоинства, вполне может поздороваться со мной. «Свои тонкие, длинные пальцы она, сжалившись, ему протянула, и он, тотчас пав на колени, прижался к ним жаркими губами».

Возле учебного концертного зала Наи вдруг остановилась и, указывая на кого-то, взволнованно заговорила:

— Это он, Тазо! Я его узнала! Спроси и убедишься, что это он.

Тазо убегает, и я остаюсь с Наи.

— Что случилось? — Голос изменяет мне, и неудивительно: мы так давно не оставались вдвоем!

Наи продолжает смотреть в ту сторону, где скрылся Тазо, но отвечает очень быстро:

— Вчера мы с Тазо стояли вот на этом месте, а в зале студент четвертого курса играл вторую рапсодию Листа. Играл хорошо, и я заметила, что Тазо внимательно слушает...

«Наи! Как я выдержал без тебя столько времени! Без твоих рук, без твоего голоса!»

— Студент доиграл рапсодию с блеском почти до конца и почему-то не взял трех заключительных аккордов. Мы ждали, что вот-вот после затянувшейся па-

узы эти аккорды все-таки прозвучат. Но нет, студент ушел, и Тазо не смог его догнать. Тогда Тазо вбежал в зал и могучим форте исполнил финал. Интересно, правда? По-моему, Тазо был слегка навеселе.

«Наи, милая, как хорошо, что ты спросила: «интересно, правда?» Из всего, что ты рассказывала, только этот вопрос относился непосредственно ко мне».

Возвращается сияющий Тазо:

— Это он! Ветер, говорит, распахнул окно, упал горшок с цветами, я вскочил, чтоб поднять и не стал доигрывать, спешил...

— Ты сказал, что доиграл за него рапсодию? — спрашивает Наи с улыбкой.

— Сказал. Благодарю, говорит, по гроб жизни обязан.

Мы останавливаем такси, Наи садится впереди, мы с Тазо — сзади.

— Ни за что не довезешь нас за пять минут до филармонии, — подзуживает водителя Тазо.

— За три довезу, — обещает тот, и мы летим, как на крыльях. Наи только успевает испуганно ойкнуть. Волосы Наи, отнесенные ветром, щекочут мое лицо. Мне кажется, они шелестят: «Нет, нет, нет!» Но почему же? И до каких пор?! Эти плечи, такие хрупкие и такие непокорные, этот зовущий и наивный вырез платья, обладающий великой властью сделать меня несчастливейшим из несчастных или осчастливить навеки...

Нас встречает разобиженная Мелита:

— Не могли не опоздать?

Она сердито стучит каблучками. Серебристое платье тесно охватывает ее ладную фигурку, на запястьях звенят браслеты.

В зале уже темно, и мы, согнувшись, на цыпочках, пробираемся на свои места. Только садимся, медленно и торжественно раскрывается занавес, как будто нас именно ждали. Пока женщина-конферансье объявляет программу, — сегодня выступает знаменитый французский мим, — я разглядываю публику — глаза постепенно привыкают к темноте. И вдруг в ложе второго яруса я вижу Иродиона Менабде и рядом с ним... Нет, я, кажется, схожу с ума. Неужели это Этер Муджири? Та самая, которую Иродион обещал сгноить в тюрьме?

Сейчас они сидят, склонившись друг к другу, как голубки, и жуют конфеты. Так, так. Очень хорошо. Только бы они меня не заметили. Видно, здорово перепуган Менабде, если решился на такой шаг. Завтра Этер Муджири явится ко мне и откажется от своих показаний. Но меня провести тоже не просто. Я только удивляюсь, как Иродиону удалось обломать обманутую невесту, — не жениться же он на ней пообещал?! Либо он действительно виноват в случае с Паатой, либо боится, чтобы другие его грехи не вывели на чистую воду.

— Ты куда смотришь? — шепчет Мелита.

Я стараюсь следить за происходящим на сцене, но мысли мои все время возвращаются к ложе. Я злюсь на себя: ведь завтра Этер Муджири придет в прокуратуру (я послал ей повестку), и я все узнаю, зачем же сейчас портить себе удовольствие?

— «Клетка», — объявляет конферансье.

Темная сцена слегка освещается. Мим сидит, спрятав лицо в ладонях. Он медленно поднимает голову, медленно встает, и я понимаю — свет на сцене означает пробуждение героя, сам он остается в полном мраке. Актер осторожно подходит к авансцене и, словно ударившись обо что-то, потирает лоб. Мне кажется, я так и вижу, что он расшибся до крови. Он шарит вокруг руками, пытаясь определить, на что он наткнулся. И вдруг застывает на месте, нащупав ладонями непреодолимую преграду. Руки движутся вправо, влево, вверх, вниз — везде одно и то же. Стена? Нет. Актер сжал кулаки и просунул между ними лицо. Ясно, что, схватившись за прутья решетки, он старается пролезть между ними, но тщетно. Нога высовывается только по колено. Тогда он на цыпочках подходит ко второй стене в надежде обнаружить дверь. Ищут ладони, ищут пальцы — ничего! Наконец, остается последняя стена, четвертая. На нее вся надежда. Почти с нежностью ощупывает он железные прутья, как будто молит, чтоб надежда его не обманулась. Но выхода нет. Отчаявшийся герой наконец принимает решение. Он идет к первой стене, хватается за прутья и пытается их раздвинуть. По лицу ручьями стекает пот, но человек лишь удваивает усилия. И побеждает. Довольный, гордый, он пролезает между прутьями решетки. Лицо его сияет от

счастья: он свободен, вся жизнь у него впереди! Высоко подняв голову, он идет к авансцене и вдруг опять натыкается на что-то. Он останавливается в ужасе, воровски-испуганно шарит перед собой руками: вверх-вниз, вправо-влево... Нет! Он не ошибся! Снова клетка, большая, в которую была заключена первая, поменьше. Снова железные прутья, снова решетка... Человек прячет лицо в ладонях. На сцене гаснет свет.

Потрясенный зал не сразу разражается аплодисментами, но зато потом они шквалом обрушиваются на актера. И я только теперь понял, что в начале номера свет на сцене означал не пробуждение героя, а рождение, а все остальное — жизнь его в стране, превращенной в клетку.

Я невольно взглянул в сторону ложи, где сидел Иродион Менабде, и с удивлением обнаружил, что он собирается уходить. Вид у него был недовольный, а может, взволнованный? Он застегнул пиджак и дал знак Этер Муджири, чтобы она следовала за ним. Она, видимо, не прочь была остаться, но ослушаться не посмела. Встала, поправила прическу и вышла из ложи.

Что случилось? Спешат они куда-то или концерт им не понравился? Конечно, Иродиону такое не по вкусу — ни песен, ни танцев, одна пантомима. А возможно, Иродион увидел в зале министра или — что тоже вполне возможно — меня? Конечно, если они заметили меня, их волнение легко объяснимо. Нет. Вряд ли... А может быть? Нет, это исключено... А все-таки?.. Не «клетка» ли подняла бурю в душе Иродиона. Настоящий Шекспир, прямо сцена из «Гамлета»... Если так, то давайте, уважаемый Иродион, поднимем этот тост... Нет-нет, только до дна... Ах, вы спешите? Ничего не знаю... О каком времени вы говорите? К черту время и все часы, вместе взятые... Давайте выпьем... за искусство!

ГЛАВА VII

Вагон девятый. Полка — верхняя. Лежу и прислушиваюсь к голосам, льющимся из коридора: детское лепетанье, мужской басовитый смех, женские искусственно-любезные голоса. В соседнем купе — молодоже-

ны: кутаисец Вахтанг везет в свой родной город уроженку Тбилиси — Кетино. В поезде свадьба продолжается. Дружки невесты не хотят уступать первенства за столом до самого Сурамского тоннеля.

Я долго не могу уснуть. Перед глазами — события недельной давности, неожиданные, неприятные... Я сидел у себя в кабинете и выписывал ордер на арест Иродиона Менабде. Я счел, что дольше оставлять его на свободе не следует. Появление его с Этер Муджири на концерте подтвердило мои наихудшие подозрения. Либо он хочет запутать тот верный след, на который я напал, либо заботится о сокрытии преступлений, органам пока не ведомых.

В кабинете было накурено и голубой сигаретный дым тянулся от пепельницы к потолку. Создавалось впечатление, что пепельница висит на голубой ленте. Но вот лента всколыхнулась: дверь бесшумно приоткрылась, и на черном ледерине я увидел белые тонкие пальцы с яркими ногтями.

— Войдите, — крикнул я, и рука исчезла. Затем дверь отворилась, и вошла Этер Муджири. Я думаю, выражение всего лица и, особенно, глаз она предварительно отрепетировала дома перед зеркалом и теперь устремила на меня грустный, проникновенный взгляд, смягченный улыбкой смущения: мол, не хочу навязывать вам своего горя. Вырез ее платья был так велик, что оно рисковало соскользнуть с плеч. Она в отчаянии ломала руки и явно ждала, что я спрошу, что с ней. Но я молчал и терпеливо ждал, с чего она начнет свой монолог. Ничего для меня неожиданного Этер Муджири не сообщила. Она сказала, что много лет назад Иродион Менабде нанес ей тяжкое оскорбление. Ослепленная обидой, она решила ему отомстить и оклеветала его, оболгала честного человека. С того дня, как она подписала протокол, нет ей покоя. Пришла покаяться. Наказывайте, как хотите, но показания свои я беру обратно!

— Что вы, что вы! — вежливо изумился я. — Вы снабдили нас бесценным материалом. Каждое ваше слово подтвердили соседи.

— Никто не мог этого подтвердить, — вскинулась

она, — потому что никто, кроме меня и Маки, этого слышать не мог, а Маку вы еще не допрашивали.

— В таком случае, позвольте вас спросить: что слышали вы с матерью Пааты и чего не могли слышать соседи?

Этер Муджири пыталась заплакать, но у нее не получилось.

— Может, вы под впечатлением концерта решили отказаться от прежних показаний? — спросил я, отметив про себя, что моя осведомленность произвела на нее достаточно сильное впечатление.

Я подробно объяснил ей, что она напрасно старается, что все равно прокуратура дело Иродиона Менабде расследует до конца. Она захныкала, стала ссылаться на трудную жизнь, нервы: иной раз так расходятся нервы, что готов, кажется, самого близкого человека под удар поставить.

Я смотрел, как она трет сухие глаза надушенным платочком, и думал: странные есть люди, во всем винят время, жизнь, как будто время и жизнь существуют отдельно от людей...

...Мы уже проехали Хашури. В дверях моего купе появляется группа туристов, они непринужденно располагаются на полках и засыпают. В вагоне становится тихо, только неутомимый тамада витийствует в соседнем купе:

— Нет, погодите! Мы еще не доехали до середины тоннеля, значит, я еще хозяин и могу поднять тост за счастье молодых...

Наконец мы проезжаем длинный тоннель, постом тамады завладевает родственник жениха, пошли новые тосты. А я все ворочаюсь на верхней полке и в тысячный раз переживаю все заново.

...Не успела выйти Этер Муджири, как меня вызвал к себе прокурор. Я знал, зачем он меня вызывает: я уже приготовил повестки для министра и его супруги.

— Заал, дорогой, ты только не подумай, что мы тебя недостаточно уважаем или ценим, — он старался смягчить неприятное сообщение, — но тебе не повезло: первое самостоятельное дело и такое запутанное. Давай передадим его более опытному коллеге.

Я стоял и чувствовал, как по спине у меня ползет холодная струйка пота.

— Вы решили удовлетворить просьбу Менабде о моем отводе?

— При чем здесь Менабде? — разводит руками прокурор. — Дело слишком затянулось, ты повел его не совсем правильно...

Вдруг я понял, откуда ветер дует.

— Предварительное дознание ты провел поверхностно, осмотр места происшествия несерьезен, подозреваемый у тебя до сих пор на свободе, — перечислял прокурор.

— Раньше у меня не было оснований, сегодня он будет задержан.

— Сегодня уже поздно. Повторяю: никто не сомневается в твоих способностях, но ты сам знаешь, что опыта тебе недостает. Мы и решили передать это дело другому следователю, чтобы...

— Чтобы я не вызывал министра... — прервал я.

— Подумай, что говоришь! — Обычно сдержанный прокурор стукнул кулаком по столу.

Но я не сдавался:

— ...и его жену...

— Глупости болтаешь! — Прокурор стукнул кулаком по столу, наливаясь краской до корней волос, словно столбик спиртового термометра.

— ...Потому что боитесь испортить отношения с влиятельным лицом, — не унимался я.

— Как ты, оказывается, наивен. Боюсь, что ты не достоин звания юриста.

— Возможно. Но вы испугались министра.

— И это говоришь ты, такой честный, порядочный человек? Клянусь совестью, я своим ушам не верю!

— Ладно бы только ушам. А сердцу своему вы верите?

— Ай-ай-ай, не ожидал я от тебя такое услышать,— сокрушенно покачал он головой. — Как же, я, оказывается, в тебе ошибался.

— Разрешите идти? — Я закрыл за собой дверь.

Назавтра прокурор пришел ко мне сам, примирительным тоном сказал, что не сердится на меня и относит все за счет моей молодости и горячности. Но

дело он все-таки передал другому, так как, по его мнению, я допустил слишком много ошибок.

Тогда мне не оставалось ничего другого, как только попроситься в отпуск. Тем более что Тазо, Мелита и Наи уехали на море, и мне хотелось к ним нагрянуть.

— Что ты, что ты! — испугался прокурор. — Какой отпуск, мы в делах по горло!

Но, подумав, согласился и отпустил меня на неделю.

И вот теперь я еду на побережье.

Вагон спит, даже красноречивый тамада угомонился. Мерно покачивается на крючке круглая войлочная шляпа, словно отсчитывает секунды. Ночная лампочка испускает таинственный синий свет. Я слышу далекие голоса и звуки: завывание ветра, в детстве казавшееся особенно страшным, журчанье родника, скрип арбы. Нет, они не пропали бесследно, эти звуки, они спят в глубине моего сердца, и встрепенувшись, наполняют его зеленым весенним шумом и напоминают, кто я и откуда родом.

Где-то в коридоре забыли закрыть окно, и ущелье Квирилы врывается в вагон запахом сырости и прохлады.

«Наделал ошибок!» Не ошибается тот, кто ничего не делает! Я бы даже так сказал: тот, кто не существует. Бога оттого и нет, что он не сделал ни одной ошибки, непогрешим! Оттого люди и усомнились в его существовании. «Наделал ошибок!», как будто кому-нибудь удавалось обойтись без них.

Тот бог, в которого я верю, наверняка, часто ошибается: злу приписывает благородные качества — разум, проницательность, волю, артистическую способность перевоплощаться, он невольно служит злу, как наивный мальчишка, которого воры заставили пролезть в форточку. Как огорчается бог, узнав, что его надули! Чего только не придумывает, чтобы исправить допущенную ошибку! Не он ли позволяет угадать виновного по неестественно распухшему лицу?

А ведь Иродион испугался, я даже письмо от него получил, без подписи, правда. «Я надеюсь, вы меня простите, я погорячился и потребовал вашего отвода. Неужели вы, человек великодушный и благородный, станете за это мстить и т. д.».

Я вспомнил забавный случай из жизни Иродиона, рассказанный кем-то из сослуживцев. Иродиона назначили директором большого гаража, а заместителем — одного инженера, который давно мечтал о директорской должности. Иродион, как узнал, слег от страха, что заместитель будет мстить ему из зависти. Потом он изо всех сил лебезил перед заместителем, работал плохо, чтобы его сняли, а того назначили.

Трус Иродион Менабде, а страх — плохой в жизни советчик.

Купе растворяется в синем, потустороннем свете ночника, и мне кажется, что я поднимаюсь куда-то ввысь. Это происходит оттого, что сон увлекает меня в свое царство. Проверив ряды своих верноподданных, он обнаружил мое отсутствие и властно призывает меня к себе. Глаза слипаются, но беспокойная мысль гонит сон прочь и заставляет сердце биться учащенно. Совсем близко я вижу огромные глаза и свое отражение в них, ясное и выпуклое, как в стереоскопе. Приоткрываются губы, обнаруживая ровный ряд влажно поблескивающих зубов... Гванца заворачивает в газету синий картуз, как разумные живые существа, действуют гибкие пальцы. Это шапка Пааты, которую он подбросил вверх в минуту величайшей радости. Мне хочется спросить Гванцу, зачем она так бережно заворачивает шапку и куда собирается ее нести, но я не осмеливаюсь.

— Ты можешь сказать мне, Гванца, отчего человек закидывает в небо шапку?

Гванца усаживает меня за парту, а сама идет к доске.

— Мне кажется оттого, что ему самому хочется взлететь в небо, — задумчиво отвечает Гванца.

— Может, люди когда-то умели летать?

— Кто знает, — Гванца улыбается, — может, летали и были счастливы. А теперь, когда кто-то особенно, невыразимо счастлив, он подбрасывает вверх свою шапку, охваченный желанием взлететь.

— Скажи мне, Гванца, может ли злой, нехороший человек ощутить огромную радость, испытать настоящее счастье, закинуть в небо шапку?

— Нет. На это способен только тот, кто в минуту

восторга забывает обо всем на свете, а дурные люди никогда не забывают себя и свою злобу, поэтому им никогда не закинуть шапки в небо.

— Как бы я хотел испытать такую радость, чтобы...

— Это непременно случится, Заал. Надо только ждать.

— Ты удивительная девушка, Гванца.

— Я — самая обыкновенная.

— Мне кажется, я знаю тебя давно...

— А я вас помню еще по университету, вы защищали диплом, а я была на первом курсе...

— Ты в самом деле меня запомнила?

— Если я не ошибаюсь...

— Какая ты хорошая, Гванца...

— Простите, я спешу...

— Не уходи...

— Меня ждут в учительской. До свидания!

— Гванца, постой, дай мне сказать только одно слово! Я никогда не посмею говорить с тобой о любви, позволь мне хотя бы побыть с тобой немного... Куда ты несешь эту шапку?

— Пойдешь со мной?

— Гванца!

Гванца остановилась. Некоторое время она стояла ко мне спиной. Потом едва заметным движением повернула голову, и я увидел ее лицо, чистое и светлое, словно луна, выплывшая из-за темного облака волос.

— Пойдешь со мной туда, куда я несу эту шапку?

— Гванца!

Мы летели над городом, и от небывалой высоты захватывало дух. Внизу голубой жилкой билась река. Стаи птиц то сопровождали наш полет, то исчезали, не выдержав палящих лучей солнца. Наши тени пробежали по крышам домов и заскользили дальше, по лугам и полям, не отставая от нас. Наконец Гванца протянула руку:

— Это здесь!

Мы опустились вниз и очутились перед круглым дворцом, который сверкал, как хрустальный. Когда Гванца отперла высокие ворота, изнутри на нас повеяло гробовым молчанием. Тишина, казалось, выглянула на мгновение для того, чтобы заманить нас к себе.

Гванца взяла меня за руку и повела за собой. Мы шли в полной темноте, и пространство вокруг нас гудело, как морская раковина. Я боялся оступиться или наткнуться на что-нибудь, но живительное тепло, исходящее от Гванцы, вселяло в меня уверенность. Но вот Гванца остановилась, я услышал какой-то щелчок, сопровождаемый искрой, все вокруг окрасилось в бледно-лиловый цвет, который постепенно перешел сначала в желтый, а потом в голубой. Мы стояли в зале, таком просторном, что я не мог охватить его взглядом. Я поднял голову и увидел над собой белые облака. Теперь я понял, что крышей волшебному дворцу служило небо, и этот мерцающий голубоватый свет шел сверху. Когда облака уплыли, я не мог удержать крика восторга и удивления. Я на какое-то мгновение забыл о земле и почувствовал себя лучом, затерянным во вселенной, который, увидев в небе нечто, не виданное прежде, устремился ввысь.

Все небо было усыпано шапками, которые сверкали и переливались, как звезды. Воздух вокруг них струился и дрожал, словно они говорили о чем-то и хотели, чтобы земля, чтобы весь мир узнал о том, что́ с ними приключилось. Казалось, они наполнят все вокруг радостным щебетом, как золотые птицы, застывшие в воздухе перед тем, как сесть на дерево.

— Что это, Гванца? — воскликнул я пораженный.

— Это мое небо, Заал, — ласково отозвалась Гванца, — и закинутые в небо шапки.

— Ты показывала кому-нибудь это чудо? — Я, разинув рот, разглядывал мерцающие в синем куполе звезды.

— Ты — первый. Но я хочу, чтобы люди приходили сюда и видели это.

Гванца развернула шапку Пааты и подбросила ее вверх. Обдав нас легким ветерком, шапка быстро взлетела, постепенно из синей становясь прозрачной. Подобно комете источала она яркий слепящий свет и, наконец, найдя свое место в небе, застыла, словно звезда.

Мечтательным взглядом Гванца проводила шапку Пааты, по-детски раскрыв пухлые губы.

— Это сказка, Гванца? Ответь мне, это сказка?

— Нет, не сказка. Ведь не каждая шапка остается

здесь, а только та, которую закинул человек, испытавший великое счастье.

Я сорвал с головы свою серую кепку и что было силы подбросил ее вверх. Как птица с подбитым крылом, закружилась она в воздухе, и упала к моим ногам.

Гванца засмеялась:

— Вот видишь. Я же говорила...

Я теребил шапку в руках и чувствовал себя бесконечно несчастным: значит, я не способен испытать радости и самозабвения, значит, у меня бедная, унылая душонка.

— Гванца, давай объявим всему свету: «Внимание! Внимание! Детям и взрослым, женщинам и мужчинам! Просим всех, испытавших великое счастье, сообщить нам об этом! Наше небо коллекционирует счастье, только и только счастье!»

— И все придут к нам со своими радостями, — смеясь, подхватывает Гванца. — И у нас соберется счастья видимо-невидимо, и мы разделим его между всеми. Не забудем и тех, кого обидела судьба.

— Дата Кавтиашвили... — вдруг вспомнил я.

— Кого?

— Дата Кавтиашвили, — повторил я.

— Всем хватит — и ему и другим. К нам будут ходить школьники — мальчики и девочки, как на экскурсию, и я буду им рассказывать историю каждой шапки, закинутой в небо.

— Какая ты хорошая, Гванца!

— Я... я вас еще по университету помню.

— Ты говоришь правду? Неужели ты меня запомнила?

— Я была на первом курсе, а вы на последнем.

— Гванца!

— Простите, меня ждут в учительской...

— Гванца, не уходи, я хочу сказать тебе... Где ты, Гванца-а!

Я открыл глаза и сразу зажмурился от яркого света, в нос ударил свежий солоноватый воздух.

— Море? — спросил я, и чей-то незнакомый голос ответил:

— Давно уже море.

Я стал торопливо одеваться. Девушка-туристка про-

должала спать крепким сном, и ее войлочная шапка раскачивалась в такт движению поезда. Я подошел к окну, до последней минуты не поднимая головы, чтобы увидеть все море сразу, целиком, и насладиться его величием.

ГЛАВА VIII

Берег полон купающимися. Живой коричневой лентой окаймляют они мыс. Я иду вдоль линии прибоя, одетый, с маленьким чемоданом в руке, и сам себе напоминаю фотографа, рыскающего по пляжу в поисках клиентуры. Я высматриваю Тазо, уверен, что среди загорелых тел сразу увижу его могучие плечи. А с ним наверняка Наи и Мелита. Но Тазо не видно на берегу: либо он в море, либо вообще не явился на пляж.

Я ступаю на узкий деревянный мостик, здесь в море впадает неглубокая, но сердитая речушка. Море заглатывает ее, как великан — слюну. Подхожу к стеклянной коробочке павильона — может, они еще завтракают. Но за столиками на тонких алюминиевых ножках их тоже нет. Я начинаю думать, что мне никого не найти, пока я не разденусь и не смешаюсь с купальщиками. Так и есть: только разделся, смотрю, из воды выходит Мелита и, осторожно ступая по камням, пробирается к своему месту.

Мокрым платком она прикрывает обгоревшие плечи и ложится ничком. Я на цыпочках подкрадываюсь поближе и слащавым голосом начинаю:

— Извините, девушка, вода холодная?

— Искупаетесь и узнаете, — не поворачивая головы, отрезает Мелита, видимо, привыкшая к заигрываниям.

— У меня такая кожа нечувствительная, что я холодное от горячего не отличаю, — говорю первую пришедшую на ум глупость.

— Тогда обратитесь к врачу.

— Врач говорит, пусть вас полюбит красивая девушка — и все пройдет.

— Вам что, делать нечего?! — Мелита гневно вскакивает и, узнав меня, радостно и растерянно улыбается:

— О-о, Заал! Какой ты молодец, что приехал! Ведь мы здесь совсем одни.

— А где же Тазо?

— Он по дороге завернул в деревню, к своим, и до сих пор не приехал.

На камнях замечаю платье Наи — синее в белый горошек. И полотенце, должно быть, ее и босоножки. Вдруг мне с такой силой захотелось увидеть ее сию минуту, сейчас же, как будто она была не здесь, рядом, а где-то далеко-далеко.

— Что ты улыбаешься? — заглянула мне в лицо Мелита.

— Я?

— Вон Наи.— Мелита протягивает руку к морю.— Видишь, в голубой шапочке. — В глазах Мелиты загораются озорные искорки: — Если бы ты подплыл к ней незаметно... Постой, куда сорвался! Расскажи, что нового в Тбилиси.

— Весь Тбилиси здесь, — крикнул я на ходу.

Как только я вошел в воду, увидел, что Наи плывет к берегу. «Неужели увидела!» — обрадовался я, но, как выяснилось, преждевременно: Наи снова повернула и поплыла в море. Мне остается всего несколько взмахов, чтобы настигнуть ее, но я хочу появиться перед ней внезапно: поэтому ныряю, чтобы обогнать ее под водой. Однако план мой срывается по той простой причине, что под водой я, вместо того, чтобы сделать рывок вперед, как завороженный слежу за размеренными изящными движениями рук и ног Наи. Они казались исполненными смысла и значения, ясного только обитателям морских глубин. Для меня же они оставались прекрасными, но таинственными и неразгаданными. Когда я вынырнул, Наи была далеко, и я решил, что не стоит ее догонять: пусть у меня будет своя тайна. Она ведь не знает, что я наблюдал за ней под водой. И потом, если я догоню ее, все равно, усталый и запыхавшийся, толком ничего не скажу.

Я выхожу на берег. Мелита в темных очках рассматривает журнал:

— Не догнал?

— Все равно перемирие на воде не считается.

— Верно. На земле провинился, на земле и покай-

ся.— Мелита все знает, поэтому я говорю с ней откровенно.

— Советую тебе присматривать за Наи, — шепчет Мелита. — Видишь вон тех парней, которые в шахматы играют, это физики, вчера они весь день по пятам за Наи ходили. У них даже шеи удлинились.

...Из моря выходила Наи. Сначала показалась ее гордая головка на стройной шее, потом хрупкие плечи и маленькая крепкая грудь, потом тонкая талия и плоский, как хевсурский щит, живот. Понятно, почему бедные физики скривили себе шеи. Мелита машет Наи рукой. Наи останавливается, но, узнав меня, почти бежит к нам. Физики перестают делать вид, что увлечены шахматами, и пристально меня разглядывают.

Наи стоит передо мной, вся осыпанная каплями морской воды, словно утренней росой. Мне начинает казаться, что каждая клеточка ее тела вдруг обрела память, но этому телу, еще ничего не изведавшему, не испытавшему, запоминать было нечего.

Я вскакиваю, подстегнутый восторгом: Наи заметно рада моему приезду.

— Когда ты приехал?

— Час назад.

— Жарко в Тбилиси?

— Не очень.

— А где Тазо? — Этот вопрос относится к Мелите.

— Тазо — предатель, — Мелита надулась.

— Вот увидишь, завтра он непременно приедет, — говорит Наи.

Я снял просторную комнату неподалеку от девушек, с расчетом на приезд Тазо. Дом был старый, двухэтажный, с большим фруктовым садом, колодцем. Во дворе под душ приспособили железную бочку, вода в ней нагревалась солнцем. За беседкой, увитой виноградом, висел гамак. Отсюда было видно море, и верхняя планка ворот удивительно точно сливалась с линией горизонта.

Я представил себе, как хозяин, строивший дом, нет-нет да поглядывал на море, сверяя постройку с далеким горизонтом. Кто знает, может, древние колхи так и строили свои крепости и жилища.

Тазо не приехал и на следующий день. Вечером за Меликой зашли ее местные родственники и увезли ее в Сухуми. Мы с Наи остались вдвоем. Я долго маячил перед ее окном, наконец осторожно стукнул в стекло. Наи лежала, держа в руках какие-то ноты. Она сделала неопределенный знак рукой, и я не понял, выйдет она или нет. Снова пришлось вышагивать перед домом. Видимо, Наи сжалилась надо мной, открыла окно и сказала, что сейчас оденется и выйдет.

Она вышла в закрытом спортивном джемпере, с распущенными волосами. В руках у нее была книга в светлом переплете. Со стороны наша прогулка, наверное, выглядела смешной. Наи быстро шла впереди, почти бежала, я едва поспевал за ней. Я понимаю, почему она так спешила: ей казалось, что медленная прогулка будет означать примирение, сближение. Но вдруг Наи споткнулась о камень и чуть не упала. Она словно свалилась с вершин неприступности и гордости, и я едва удержался, чтобы не подхватить ее на руки, такой она стала маленькой и беспомощной. Если бы я мог прижаться к ее лицу, заглянуть ей в глаза, она бы ничего не смогла от меня скрыть и мы бы выяснили все раз и навсегда...

— Надо осмотреть городок, а то так и уеду, ничего не повидав, — беспечно проговорил я.

— Ничего здесь нет интересного, — отозвалась Наи. — Только море... Сядем?

У входа в парк стояла длинная деревянная скамейка на гнутых чугунных ножках.

Удивительно, как быстро темнеет на юге. Вокруг нас — непроглядный мрак и таинственно шелестит молодая листва. Сквозь листву вдруг прорвался яркий свет, словно одновременно вспыхнула целая армия светлячков.

— Маяк! — Наи пересела на самый конец скамьи, чтобы деревья не мешали ей смотреть. Я тоже пересел и опять оказался рядом с ней.

— Я вчера подсчитала, он восемь секунд горит, а тридцать две секунды отдыхает.

— Сейчас проверим. — Я начинаю считать.

Когда маяк загорается, мы обнаруживаем возле скамьи собаку. Она миролюбиво помахивает хвостом,

как бы просит разрешения расположиться поблизости.

— Собака спокойнее чувствует себя рядом с людьми, — говорит Наи, откидываясь на спинку скамьи, и вскрикивает: — Ой, забыла! Я же спину на солнце сожгла!

— И у меня плечи горят, даже через рубашку чувствуется, — не успевая обдумать свой поступок, беру руку Наи, хочу приложить ее к своему плечу, но, увы! — пальцы крепко вцепились в белый переплет книги. Я надеялся, что она возьмет книгу в другую руку, но нет! Книга неприступной стеной воздвиглась между нами.

Как можно беспечнее я говорю:

— Пойду посмотрю, что за башня такая, — киваю в сторону виднеющейся неподалеку башенки.

— Сейчас не стоит, — спокойно отвечает Наи, — темно, ничего не увидишь.

— Что делать, завтра могу уехать в Тбилиси, так что откладывать не стоит. — Сам прихожу в ужас от своей нелепой лжи. — Ты здесь меня подождешь?

Наи молчит. Видимо, на нее подействовало мое напускное безразличие: как, мол, хочешь, мне все равно, я буду осматривать достопримечательности курорта, и до тебя мне нет дела. Это новая манера — нагловатая и самоуверенная — где-то мне нравится, хотя одновременно я сам себе становлюсь противен.

— Нет. Я пойду с тобой, — немного растерянно говорит Наи.

Теперь мы идем медленно: темно, и тропинка незнакомая. Помогая Наи перейти через овражек, опять натыкаюсь на твердый корешок переплета.

Мы с трудом добрались до башни, почва вокруг нее была глинистая и сырая. Наи благоразумно остановилась поодаль, а мне, чтобы не сдаваться, пришлось месить ногами грязь. Заглянув внутрь башни, я убедился, что издали она куда поэтичнее, чем вблизи.

Обратно мы шли медленно и молча, не замечая веток, которые били по лицу влажными от росы листьями. Я ничего не видел вокруг, кроме деревьев и тени Наи. Сейчас все решится. Если бы рука Наи покоилась в моей ладони! Я уверен, что тепло ее пальцев подсказало бы мне первое слово. Но книга! Этот вездесущий бесстрастный белый прямоугольник, которым Наи поль-

зовалась, как щитом, незаметно и ловко отражая мои коварные атаки. Я готов был разорвать бумагу на куски, если бы мой гнев неожиданно не вынудил меня произнести такую простую и трудную фразу:

— Наи, я виноват, прости и давай помиримся.

— Я не сержусь на тебя.

— Я люблю тебя, Наи... Больше, чем когда-либо...

— Когда-либо... — повторила Наи, и в ее тоне мне послышалась горечь.

Она шла впереди, почти скрытая от меня густым ночным мраком, а я видел ее такой, как сегодня утром на пляже, — всю в сверкающих водяных брызгах.

— Ты что-нибудь сказала? Я не расслышал.

— Я сказала, что давно уже на тебя не сержусь.

Я обнял ее за плечи, якобы для того, чтобы она не оступилась, и только хотел прижаться щекой к ее лицу, как увидел, а скорее не увидел, а почувствовал, как она подняла свой верный щит, и моя щека уткнулась в холодный гладкий коленкор. Господи! Я бы с великим удовольствием закинул эту книгу на край света! Но я только взял ее у Наи и вежливо осведомился:

— Что за книга? — Наверно, никогда еще гнев не выливался в такие безобидные слова.

— «Песнь о Роланде», — ответила Наи.

— Зачем ты ее носишь с собой? — не удержался я. — Вместо сумочки, что ли? Кладешь туда деньги, платок?

— Зачем мне деньги в полночь?

— Но и читать в такой темноте не очень удобно.

— Я ее давно прочла, а сейчас хочу подарить своему другу на день рождения.

— Тогда отчего же ты не поздравила этого друга?

— В том-то и дело, что его здесь нет.

— Я помню «Песнь о Роланде», на лекции по истории права профессор рассказывал, как судьбу Ганелона решал исход поединка. Ганелон был предателем, победил воин, который обвинял его в измене.

— А если бы он не был предателем, победил бы другой воин?

— Тогда не было бы эпоса.

— Значит, главное в эпосе — измена?

— Нет. Главное в нем — любовь и подвиг.

— А ты помнишь Альду?
— Невесту Роланда?
— Да. Помнишь?
— Не очень хорошо.
— Помнишь, как она умирает?
— Нет.
— Когда ей сообщают о гибели Роланда, она падает замертво, потому...
— Потому что она его очень любила.
— Потому что он был самый смелый и самый благородный.
Я принял это как упрек в свой адрес и обрадовался, потому что того, к кому абсолютно равнодушен, упрекать не станешь.
— Что делать, Наи, я не похож на Роланда. Но если такого, как он, предали, меня тем более легко предать.
Я почувствовал, как Наи насторожилась.
— А что, если мы вернемся домой, а там Тазо?..— вдруг спросила она.
— Почему ты вспомнила Тазо? — я с трудом сдерживался, чтобы не закричать: «При чем здесь Тазо!»
— Потому что сегодня день его рождения,—просто ответила Наи.
— И эта книга?..
— Да, и я бы преподнесла ему эту книгу.
Все ясно! Значит, весь вечер не книга стояла между мной и Наи, а Тазо! Нет, с меня хватит, я сегодня же еду в Тбилиси. Чутье меня не обмануло. Что ж, хорошо, по крайней мере, теперь я знаю, что ревновал не напрасно.
До самого дома мы шли молча. В комнате Наи горел свет, наверное, Мелита вернулась.
— Спокойной ночи, — подчеркнуто вежливо поклонился я.
— Ты, наверное, голоден, заходи к нам.
Какой властью обладал надо мной ее голос!
— Спасибо, не хочется.
— Ты, наверное, расстроился, что забыл про день рождения Тазо, но мы что-нибудь придумаем, не огорчайся.
«Она еще надо мной смеется!» — свирепо думал я, ворочаясь с боку на бок в своей постели.

Всю ночь я прощался со своей любовью. Спал я или бодрствовал, боролся с дремотой или наоборот,— старался заснуть, не уставал твердить про себя одно и тоже: «Прощай, Наи... Во всем виноват я один... Прощай...»

Утром я взглянул на море, сверкающее под косыми лучами солнца, вдохнул прохладный плотный воздух и призвал на помощь спасительное войско воспоминаний. Чувствуя себя полководцем, я распределил силы по своему усмотрению: вспомнил все улыбки и добрые слова, которые Наи адресовала мне, ее поступки, в которых выражалось ее расположение. Таким образом, я вернул потерянную было надежду.

В Тбилиси я не уехал.

Первым, кого я увидел, выйдя на пляж, был Тазо. Он шел одетый, как и я три дня назад, и тащил огромный чемодан. Мы обнялись и расцеловались, как люди, давно не видевшие друг друга. Тазо рассказал, что в деревне у них умер сосед и отец не позволил ему уехать, пока похоронный ритуал не был завершен.

Через полчаса мы вчетвером сидели на пляже и с огорчением наблюдали, как портится погода. Солнце с трудом прорывалось сквозь тучи и освещало то один, то другой уголок пляжа. Отдыхающие не падали духом и плескались у самого берега, лишь самые отчаянные решались заплывать за флажки. Наи и Мелита поддразнивали Тазо, будто он специально задержался в деревне, чтобы не отмечать день своего рождения. Тазо вполне серьезно оправдывался и жаловался, что вместо веселья его там поминки ждали! Я думал, что Наи достанет «Песнь о Роланде» и вручит подарок Тазо, но она почему-то не спешила поздравить его, а может, просто забыла книжку дома. Злосчастные физики, с приездом Тазо лишившиеся последней надежды, уныло бродили вокруг нас, и мы степенно раскланивались с ними, как научные сотрудники солидного института, часто сталкивающиеся в коридорах.

— Давайте искупаемся, — предложила Наи.

— Тазо боится, — поддела Мелита моего самолюбивого друга.

— Я не волны боюсь, а того, что все расценят мой поступок как бахвальство. В такую погоду купаются

только пижоны, чтобы покрасоваться перед публикой, так сказать, пощекотать нервы.

— Тогда пошли все вчетвером! — вырвалось у меня.

Без особого энтузиазма мы подошли к воде. В эту минуту как нарочно с ревом разбилась о берег огромная волна и, шипя, пенистым языком облизала нам ступни, намочила одежду и поползла вперед, словно желая настичь берег, убегающий в горы. Лежавшие на пляже женщины с криком вскочили и побежали, спасая обувь и платья. Мы нерешительно переглянулись, но следующая волна кротким ягненком ластилась к берегу, и Тазо нырнул, за ним Мелита. Я заметил, что Наи дрожит.

— Если боишься, давай останемся, — предлагаю я.

— С тобой, и с Тазо не боюсь.

— Ты не должна бояться, ты лучше нас плаваешь.

— Я на берег выходить не умею, — жалобно говорит Наи, беспомощностью своей вызывая в душе моей настоящую бурю. Какая она маленькая, незащищенная! И я говорю как можно мягче:

— Не волнуйся, мы тебя выведем. Только сейчас смотри внимательно, и, как только волна приблизится, ныряй!

Мы скользнули под высокую волну, коброй изогнувшуюся в прыжке, и вынырнули, как мне показалось, где-то посреди моря. Тазо и Мелита то поднимались на гребень волны, то исчезали в пучине, как будто катались на гигантских качелях. Наверное, каждый из нас не без ужаса думал о том, как мы выберемся на берег. А море продолжало жить своей жизнью и, не тратя сил, кидало нас, как щепки. Мы ведь тоже без особого труда сдерживаем трепещущие крылья бабочки.

Наи все чаще оглядывалась на берег.

— Ты прекрасно плаваешь, Наи, — сказал я, чтобы приободрить ее немного.

— Смотри, Заал, пчела! — Наи подняла руку, и на руке действительно сидела пчела.

— Оставь, нам сейчас не до нее!

— Но она живая.

— В таком случае она тебя ужалит, как только обсохнет.

— Помоги мне вынести ее на берег.

— Дай, я сначала тебя вынесу.

Наи поплыла к берегу, высоко над водой подняв руку с пчелой. Хорошо, Тазо ее остановил.

— Плывите вперед спокойно, не торопясь, — распорядился он, — я буду подстраховывать. Если волна захлестнет — не пугайтесь... У берега не пытайтесь нащупывать ногой дно, плывите, пока возможно, потом дождитесь отлива и бегом на берег, пока новая волна не настигла. Ну, пошли!

На берегу собралась большая толпа. Видно, наша затея была и впрямь не из безопасных. Плыть становилось все труднее. Море не спешило расставаться со своей добычей. Я чувствовал себя беспомощным щенком в пасти разъяренного льва, который, правда, не сжимал своих смертоносных челюстей, чтоб убить меня, но и не отпускал на волю. Наи выбилась из сил, хотя и молчала, мы с Тазо переглянулись, и оба заспешили к ней на помощь.

— Держись за меня! — Тазо подставил обессилевшей Наи свое плечо.

— Я только немного передохну, — виновато с трудом шевеля непослушными губами, прошептала Наи.

— Сколько угодно! — молодецки отозвался Тазо.

Первой на берег вынесло Мелиту. Она, правда, успела вскочить на ноги и, прихрамывая, побежала от настигающей волны. Очутившись вне опасности, она потерла разбитые коленки, по-моему, собиралась заплакать, но неожиданно рассмеялась.

Тазо подтолкнул Наи вперед, и она побежала, на каких-нибудь полшага опережая свирепую пенистую волну. Но вот Наи в безопасности, а волна сердито выплевывает на берег камешки и с рокотом отступает.

Конечно, мы поступили неразумно, риск был большой и ненужный. Но зато как сблизило нашу четверку это маленькое приключение. Мы словно возвратились домой после многолетнего, полного риска, путешествия, в котором наша дружба выдержала испытание на прочность.

Тазо с подобающей пышностью отметил день своего рождения — угостил нас отличным обедом, и все было бы прекрасно, прояви мы чуть больше выдержки.

А случилось вот что: за соседним столиком сидела громоздкая старуха с мальчуганом лет шести. Мальчик ел суп, а сам глаз не сводил с полосатой кошки, сидевшей на пороге. Было ясно, что ему не терпелось скорее покончить с нудным обедом и поиграть с кошкой. Старуха давно кончила есть и теперь сидела, высокомерно поглядывая вокруг. Ей не хватало только лорнета, но мое воображение мгновенно пририсовало этот необходимый атрибут.

Мальчик доел суп и, как и следовало ожидать, кинулся к кошке. Его остановил грубый окрик:

— Сейчас же вернись!

Он покорно вернулся на свое место.

— Бабушка накормила тебя обедом, а ты даже не благодаришь ее? — выговаривала мальчугану старуха.— Где твоя благодарность?

Пока она это говорила, ее рука как-то незметно оказалась на уровне губ ребенка, и он, подняв испуганные глаза, поцеловал эту руку раз, другой, третий...

— Спасибо, бабушка! — Он выжидающе смотрел на нее, надеясь получить прощение.

— Впредь не забывай об этом! — наставительно погрозила пальцем старуха.

Я не выдержал и резко, вместе со стулом повернулся в сторону старухи.

— Как вы смеете! Что вы себе позволяете?!

Девушки пытались нас удержать, но поздно — мы с Тазо уже стояли над дрожащей от негодования бабой-ягой.

— Я прошу вам выйти отсюда! — как можно спокойнее проговорил Тазо.

Старуха направила на нас свой невидимый лорнет и неожиданно громко завопила:

— Официант! Вызовите милицию! Эти хулиганы меня оскорбляют!

— Стыдно, ребята, старуху обижать, — урезонивали нас посетители столовой.

— Вы, наверное, не видели, как она издевалась над ребенком, — непослушным от волнения голосом проговорила Наи.

— Видел, но что делать? Это нас не касается.

— А кого касается?! — Тазо вырвался из рук Мелиты.

— Если вы не вызовете милицию, я все запишу в жалобную книгу, — неистовствовала баба-яга.

— Успокойтесь, молодые люди! Раз мнения разделились, надо разобраться! — Еще один посредник выискался!

— Какие тут могут быть мнения! Это просто безобразие и издевательство! — не утихал Тазо.

Я почувствовал резкую боль в руке и одновременно сильный удар в щиколотку. Себя не помня от злости, я оглянулся и увидел мальчугана, который в ожидании расправы прикрыл лицо и голову ручонками. Я обомлел. Нет, он не бабушку защищал; раб защищал своего господина, который завтра опять будет истязать его. Мне захотелось плакать над этим маленьким искалеченным созданием. Тазо, словно угадав мои мысли, тронул меня за плечо:

— Пошли отсюда! Не могу я здесь оставаться.

— Убегаете, герои? — вслед прокричала старуха.— Все равно я вас найду, это вам так не сойдет.

Мы шли и гордые и пристыженные одновременно, с ощущением, что не победили врага окончательно. Может, опустившаяся ночь помешала? Не просить же у бога задержать в небе солнце, чтобы сегодня же мы могли отпраздновать победу!

— В первый раз такое вижу! — возмущался Тазо.

— Вы, мальчики, выпили и немного все преувеличили, — успокаивала нас Мелита.

— Куда еще преувеличивать? — негодовал Тазо.

Наи шла молча. Я вспомнил слова, которые часто повторяла моя бабушка: всякое желание, доброе или злое, не остается втуне, порожденное человеческим разумом, оно крепнет, объединяется с родственными мыслями и желаниями и стремится выполнить свое назначение в этом мире.

Мелиту дома ждала телеграмма из Тбилиси, ей надо было срочно выезжать на предгастрольные репетиции. Наи тоже заспешила в город: давно не занималась, всю экзаменационную программу забыла. Одним словом, наша компания распадалась.

Мы с Тазо играли в шахматы, Мелита складывала чемодан. Наи варила кофе. Тазо вертел в руках проволоку, которую подобрал на дороге. Я присмотрелся и заметил, что не так уж просто он с этой проволокой балуется, вот сейчас, например, сделал двойку и показывал кому-то из девушек. Поглощенный этим странным открытием, я делал одну ошибку за другой, потерял коня и пешку. После Тазо согнул проволоку буквой «ч». Ага, сообразил я, назначает свидание на 2 часа. Прекрасно! Лучше всякого телефона, кусок проволоки и — свидание назначено.

— Сдаюсь! — Я встал.

— Наконец-то! Партия-то давно проиграна.

— Спать пора! — Я демонстративно зевнул.

— Не сваливай свой проигрыш на сонливость.

— Спокойной ночи!

— Заал, ты кофе не будешь пить? — мягко спросила Наи.

— Спасибо, не хочется, — ответил я, даже не глядя в сторону Наи, потому что был уверен, что Тазо именно ей назначил свидание.

— Заал в последнее время как-то странно ведет себя, как будто мы чужие, — заметила Мелита.

— Что ж, благодарю за лестное замечание.— С этими словами я вышел и направился к себе. Примерно через час появился Тазо.

— Ты что, старик, свихнулся? — накинулся он на меня.

— Я промолчал. Он зажег свет и лег с книгой.

— Странный ты человек.

Молчали мы долго. В конце концов я не выдержал:

— Не опоздай на свидание.

Он уронил книгу и удивленно уставился на меня:

— Откуда ты знаешь?

— Случайно подслушал телефонный разговор.

— Я тебе однажды уже сказал, что ты дурак. Сейчас могу повторить.

— Не такой я дурак, как вы думаете. До двух часов времени много, мы можем все выяснить.

— Во-первых, свидание у меня не в два, а в двенадцать, ты единицу проглядел, а, во-вторых, выяснять тут нечего.

— В таком случае, скажи хотя бы, с кем у тебя свидание.

Тазо вскочил и поднес к моему носу свой внушительный кулак.

— Одевайся сейчас же, пойдешь вместо меня и увидишь, кто меня будет ждать...

— Нет. Я хочу, чтобы ты сам мне сказал. Клянусь тебе, я не лишусь сна от ревности, тут же повернусь на бок и захраплю.

— Вставай и иди на мост!

Я видел, что Тазо не шутит, подозрения мои его серьезно обидели.

— Но сейчас только половина двенадцатого. — Я попытался отшутиться.

— Пока я не поколотил тебя, вставай и иди. На месте объяснишь, почему и как ты там оказался.

Его искреннее возмущение пристыдило и отрезвило меня: ослепленный ревностью, я, кажется, сморозил глупость.

— Ты слышишь или нет! Вставай и иди! — У Тазо дрожал голос.

— Тазо, — я сел на кровать и посмотрел на побледневшее лицо своего друга. — Ты правду говоришь, Тазо?

— А ты сомневаешься? Как ты только мог подумать? Не стыдно? Ты ведь оскорбляешь меня.

— Тазо!.. Одевайся скорее и уходи, уходи, пока я окончательно не свихнулся и не убил тебя!

Утром мы проводили Мелиту на аэродром. Она почему-то не разговаривала с Тазо, и глаза у нее были заплаканные. Она распрощалась с нами и исчезла в облаках.

Погода совсем испортилась, лил беспросветный дождь, волны смыли с берега все человеческие следы и вернули ему первозданный облик, и только цветные навесы на пляже свидетельствовали о том, что когда-то здесь был пляж и в море плескались курортники.

В полдень Наи заявила, что она едет в Сухуми за билетами на вечерний поезд. Погода все равно плохая, а экзамен на носу. Совсем неожиданно для себя я тоже решил ехать, — вдруг вспомнил, что слишком легко

уступил дело, на которое положил столько сил, что трусливо покинул поле битвы, чтобы избежать волнений и жить спокойно. Заботясь о себе, забыл обо всем. Забыл Паату! Думая об этом, я покраснел, несмотря на то, что был в комнате один. Значит, справедливый упрек получил я от сердца, того самого сердца, которое влекло меня сюда к Наи.

Тазо и без того был не в настроении, а узнав о моем решении, и вовсе скис: ну вот, оставляете меня одного. Все-таки он решил остаться и немного отдохнуть.

Мы приехали на вокзал за час до отхода поезда. Сидели в ресторане, пили холодный «боржоми» и смотрели, как мощные фары электровоза выхватывают из темноты все новые и новые дождевые потоки. Ресторан постепенно наполнялся до нитки промокшими пассажирами.

Тазо посмотрел на часы и, пообещав скоро вернуться, куда-то исчез. По радио объявили посадку, а Тазо все не было. Мы прождали его добрых полчаса, и Наи взволновалась. Она продолжала искать Тазо на платформе, натыкаясь на чужие чемоданы и ящики. Наконец подали сигнал к отправлению, но мы напрасно вглядывались в полумрак, иссеченный дождем, — Тазо не было видно. Матово поблескивали мокрые рельсы, пузырились под хлесткими струями лужи, и Наи не замечала, что с крыши капает вода и мочит ее плащ. Состав мягко двинулся, и только тогда я увидел Тазо, который догонял наш вагон, перепрыгивал через лужи, наверняка перекрывая рекорды при каждом прыжке. Он что-то бережно прижимал к груди.

— Вот он! — закричал я, потому что не мог ошибиться. Это был Тазо, такой мокрый, как если бы его только что вытащили из моря. Поезд набирал скорость, и он бежал все быстрее, пока наконец одной рукой не схватился за поручень. Второй рукой он, сильно размахнувшись, забросил в тамбур огромную охапку цветов. После этого он еще долго стоял на удаляющейся платформе и махал нам обеими руками, пока вовсе не скрылся из глаз.

Наи собрала все цветы, которые рассыпались в тамбуре, и радовалась подарку, как ребенок. Цветы и в самом деле были необыкновенные: благоухающие каме-

лии, белоснежные олеандры и упругие, яркие гладиолусы. Наше купе превратилось в небольшой цветник, на полу валялись зеленые листья и осыпавшиеся лепестки, стоял терпкий и влажный цветочный аромат. Мне казалось, Наи никогда не устанет бережно перебирать стебли и заворачивать их в мокрую бумагу, чтоб не завяли за ночь. Утром, едва проснувшись, она кинулась к букету и с радостью обнаружила, что цветы совсем свежие.

Она грустным взглядом провожала каждый опавший лепесток, пока мы шли к стоянке такси. Оберегала свой букет в машине, как только могла, не доверила его мне даже на лестнице. Мне пришлось отпирать дверь, потому что руки Наи были заняты. Пока я складывал чемоданы в передней, она вошла в гостиную, чтобы поставить цветы в вазу, и вдруг остановилась перед большим зеркалом, словно увидела в нем что-то для себя неожиданное.

Я вошел в комнату за ней следом и увидел в зеркале хрупкую совсем юную девушку, с трудом обхватившую обеими руками огромный, словно сноп, букет цветов. Наи напряженно вглядывалась в свое отражение, как будто хотела понять что-то очень для себя важное.

Потом она резко повернулась, бросила цветы на стол и выбежала на балкон.

— Мелита! Мелита! — звала она так, как обычно зовут на помощь, и не удивительно, что Мелита прибежала встревоженная, в длинном домашнем халате.

— О-о, Наи, ты приехала! Заал, извини, я в таком виде. Как вы доехали?.. Боже, какие роскошные цветы!..

— Мелита... Это тебе... Это твои цветы... Тазо просил передать. — Голос Наи показался мне сухим и натянутым.

Но Мелита этого не почувствовала:

— Какой он внимательный! Молодец Тазо! Конечно, ему пришлось тебя побеспокоить, но я так счастлива!

Мелита собрала беспорядочно разбросанные цветы и, прижав их к груди, так же как Наи, первым делом подошла к зеркалу.

Я невольно сравнивал ее с Наи: та робким зайчонком выглядывала из-за цветов. Какие они разные!..

— Сейчас я их поставлю в воду и вернусь,— пообещала Мелита. — Погода исправилась?

— Нет, дождь.

Не успела Мелита выйти, как Наи прижалась к стене и горько расплакалась.

— Наи! Что с тобой, Наи?!

Я, наверное, неумело утешал ее, потому что она только больше расстраивалась. Я никак не мог оторвать ее рук от заплаканного лица.

— Наи, не плачь. Ну, я невнимательный, глупый, я тебя не достоин! Не умею дарить цветов!

Она отрицательно качала головой и лишь крепче прижимала к лицу мокрые от слез пальцы.

— А может, Тазо вовсе не Мелите, а тебе подарил эти цветы?

— Не-ет...

— Я тебе столько цветов принесу, ставить будет некуда, только не плачь. Скажи, кто тебя обидел, кто виноват?..

— Я-а са-а-ма-а... виновата...— Наи еще глубже засунула голову в дверную нишу и зарыдала совсем по-детски.

— В чем же ты виновата? Отвечай и не плачь, ради бога!

— В том, что тебя злила...

— Ну и прекрасно, я не сержусь. Я ведь тоже однажды тебя обидел...

— Обижала, мучила...

— А я все равно не сержусь и люблю тебя.

— И я люблю, и всегда любила, и все равно обижала...

— Где твой платок... Вытри слезы, не плачь...

Я наконец отнял от лица ее горячие руки и стал целовать соленые от слез тонкие пальцы. Она повернула ко мне мокрое, но сияющее лицо с губами, еще дрожащими от недавних рыданий, и я прижался ртом к этим влажным ждущим губам и забыл обо всем на свете.

ГЛАВА IX

Первым делом я распахнул окна в кабинете, чтобы впустить свежий воздух. Потом закурил сигарету и стал ходить от стены к стене, собираясь с мыслями. Мне надо было обдумать все аргументы для предстоящего поединка с прокурором. Наверное, я походил на ту легендарную реку, которую приказал уничтожить персидский царь Кир за то, что в ней утонул его любимый конь. Царь велел вырыть каналы, разветвить реку, дабы она измельчала и иссякла. Мне предстояло вернуть фактам первоначальное русло, собрать все растерянное и забытое за эту неделю. Я чувствовал себя человеком, создающим из ничего нечто цельное и стройное. Я был упоен своей силой и могуществом, я не представлял себе препятствия, которого бы запросто не мог преодолеть. Я был уверен в своей способности проникнуть в любую тайну, постичь непостижимое.

Вера моя была так сильна, что казалось, она существует вне и помимо меня, трепещет в самом воздухе, заражает других людей, заинтересованных в деле Пааты Хергиани.

Если это не так, то чем объяснить, что именно сегодня, без всякого вызова и приглашения, пришла ко мне мать Пааты, Мака Хергиани, высокая светловолосая женщина, которая в тот страшный день лежала без чувств в комнате соседки и которую я после этого ни разу не видел.

Она была в закрытом сером платье, которое мне сначала показалось черным, и я вздрогнул: ведь Паата был еще жив!

Горе и страдание не смогли убить в этой женщине ее удивительной красоты. Каждое движение ее было проникнуто девичьей грацией и гибкостью, тонкие черты лица отражали малейшее изменение в ее настроении, выдавали напряженную духовную жизнь большие печальные глаза.

Когда она села, я спросил о Паате. Наверное, сотни раз за день ей приходилось отвечать на этот вопрос, и она спокойно отвечала, потому что именно в этом состояла теперь ее жизнь. Она сказала, что приехал профессор из Москвы и предлагает повторную операцию,

что она, должно быть, согласится, потому что большого риска здесь нет — мальчик все равно обречен.

Она говорила медленно и спокойно, и, казалось, слезы из глаз текли сами по себе, независимо от ее воли.

Она очень старалась не выдавать своего горя, не навязывать его мне, поэтому быстро вытерла слезы и достала из сумки конверт.

— Я хочу, чтобы вы прочли эти письма.

С одной стороны, я не имел права их брать, потому что был отстранен от следствия, но ведь я не собирался мириться с этим несправедливым решением, я все равно доведу это дело до конца! Поэтому я взял конверт, достал письма, свернутые солдатским треугольником, и вопросительно посмотрел на Маку.

— Это отец Пааты... писал мне... с фронта, — девическим румянцем окрасилось бледное лицо.

— Вы хотите, чтобы я ознакомился с этими письмами?

— Да, если вы располагаете временем.

— Я бы хотел знать, имеют ли они отношение к делу...

— Я их нашла у Пааты, в кармане брюк, в которых он был в тот день... В потайном кармашке.

— Зачем он их носил с собой?

— Не знаю. Он их сам отобрал.

— Писем было много?

— Да, я их храню в чемодане, никто об этом не знал, даже Иродион.

— Где лежал чемодан?

— В лоджии, в стенном шкафу. Когда Иродион уезжал, я доставала их и перечитывала.

— Возможно, Паата когда-нибудь заметил, как вы их доставали, и заинтересовался или случайно наткнулся, когда искал что-нибудь...

— Не знаю. Он прочел все.

— Откуда это вам известно?

— Письма все перепутаны, а я их складывала по порядку.

— Вы предполагаете, что он прочел их именно в ту ночь?

— В другое время это было невозможно, стенной шкаф был заперт, а в тот день я забыла ключ в дверце.

— Значит, если писем, вы говорите, много, он их читал всю ночь... Мог ли он понять, что это письма от отца.

— Конечно.

— Вам кажется, есть какая-нибудь связь между...

— Я ничего не знаю. Я только хочу, чтобы вы прочли эти письма, — она подняла на меня свои горестные серые глаза. — Я знаю, что вы подозреваете Иродиона. Он — тяжелый человек и плохо относится к Паате, но... — Она не договорила. И я не стал настаивать.

— Разрешите? — Я раскрыл первый треугольник.

Она кивнула, снова залившись краской.

Письмо было любовное. Обычное письмо влюбленного юноши, готового весь мир положить к ногам своей избранницы. В этом письме он за что-то просил прощения. Во втором письме было уже много горечи, вызванной разлукой с любимой. В третьем — какой-то сержант сообщал Маке Хергиани подробности гибели ее мужа.

Зачем эти письма Паата спрятал в карман брюк? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен прочесть все письма и понять, почему он выбрал именно эти три.

— Паата говорил вам, что утром собирается с товарищами на Тбилисское море?

— Да, и я обещала его отпустить. — Мака разрыдалась, спрятав лицо в ладони.

Каждый ее всхлип болью отзывался в моем сердце и, когда, казалось, сострадание и сочувствие во мне вытеснили все остальные чувства, вдруг взошло золотое всемогущее солнце и осветило самые затаенные уголки моего сознания. И я прозрел, и все понял, и готов был рассказать обо всем этой плачущей, потерявшей надежду женщине, но что-то меня удержало. Еще немного, какой-нибудь шаг, мгновение, и в цепи моих рассуждений все звенья будут на месте, тогда попробуй разорви их!

— У меня к вам большая просьба.

Она подняла голову и перестала плакать.

— Я понимаю, как дороги вам эти письма и как тяжко отдавать их в чужие руки, но я бы хотел получить их все — на два-три дня.

Она ответила не сразу.

— Мне страшно...

— Я обещаю вам беречь их как зеницу ока.

— Вам это необходимо?

— Я хочу понять, почему ваш сын выбрал именно эти три письма и какое впечатление они произвели на него, когда он читал их в ту ночь.

Мака Хергиани быстро поднялась со стула, снова поразив меня девичьей легкостью и хрупкостью, долгим взглядом поглядела мне в глаза и, не прощаясь, вышла из кабинета.

Мне показалось, что она тоже поняла и хочет мне помочь, должна помочь.

До самого вечера я ждал. Курил сигарету за сигаретой, расхаживал среди голубого табачного тумана. Когда я почти перестал надеяться, она пришла и молча протянула мне пакет, аккуратно перевязанный шелковым шнурком.

В тот вечер я должен был идти к Наи, но не пошел, заперся у себя и разложил на столе письма. Большинство из них было написано карандашом, лежали они вразброс, и мне захотелось сложить их по порядку. Раскладывая листочки по датам, я старался не вчитываться в отдельные фразы, как стараешься не слушать разговор о фильме, который только предстоит посмотреть, о книге, которую должен прочесть. Никогда не думал, что меня так взволнует одно только присутствие в моей комнате писем чужого, незнакомого человека. Письма эти принесли с собой особый запах — то ли слабых духов, то ли старой истертой бумаги — запах прошлого.

В ту ночь я не помнил ни о чем, кроме прекрасной и возвышенной любви, которой были посвящены письма Гочи Хергиани.

3.8.42.

Мака, родная!

У меня к тебе просьба: напиши, что приедешь сюда. Я хоть и знаю, что это невозможно, все равно буду счастлив.

Как же я стосковался без тебя!

Взглянуть бы на тебя хоть одним глазком, чтобы ты даже не заметила, и то — мечта несбыточная.

Вчера я забежал к твоим. Мама приняла меня так тепло, что я с трудом сдержался, чтоб не расцеловать ее. Когда я пришел, она гладила и все было так просто, по-домашнему, что мне уходить не хотелось.

Хочется мне крикнуть на весь мир, что люблю тебя бесконечно. Если бы люди тысячу лет назад не создали бога, я бы придумал религию сегодня, потому что боготворю тебя. Ты улыбаешься, да? А я прошу у тебя прощения за то, что люблю тебя так сильно и все-таки недостаточно!

Твой Гоча.

9.12.42.

Одно твое имя, Мака, так действует на меня, только удивляться можно. Повторяю — и кажется, что впервые слышу его. У слов есть странное свойство — произносишь их десятками лет и вдруг однажды услышишь как бы по-новому. Начнешь разглядывать его, как рисунок, разбирать, как музыку, и покажется оно исполненным таинственного смысла и значения. Может, это оттого, что когда-то давно оно, это слово, имело совсем другой, ныне забытый смысл. Если вдруг на улице я слышу твое имя — я весь напрягаюсь и готов к бою, как будто кто-то на тебя покушается.

В руке у меня — самый обычный карандаш, но когда я пишу, мне кажется, ты выглядываешь из него наружу, как будто он волшебный, и я тороплюсь исписать его, чтобы увидеть тебя всю, целиком. Но сам останавливаю себя: что я буду делать потом? Надо растянуть это блаженство, чтоб оно длилось подольше.

Целую тебя один-единственный раз.

11.2.43.

Без тебя время тянется бесконечно. Я чувствую, как длинен час, как нескончаем день, а когда я с тобой — вообще не замечаю, как бегут секунды.

Иногда я думаю, Мака, что эта война разразилась для того, чтобы разлучить всех влюбленных. Помнишь, как вражда разлучила Монтекки и Капулетти? Но любовь победит. Я чувствую, что мне очень скоро при-

дется принять участие в этом единоборстве со смертью. И я с радостью готовлюсь к этому.

Если ты не веришь, что ты для меня необходима, как воздух, что я дышу тобой, то лишь потому, что ты сама — щедра и неиссякаема, как воздух, и просто не замечаешь, когда я вдыхаю тебя в свои лёгкие. Хочу иметь легкие, как гигантский мех, чтобы при каждом вздохе ты чувствовала, как я от тебя зависим.

Если прибегать к поэтическим сравнениям, ты больше всего похожа на весну — солнечную, благоуханную, цветущую. А я — как горный ледник, растопленный твоими лучами. Знаешь ли, какими бурными потоками низвергаются тающие снега в долину? Но ты не должна бояться, у ног твоих я разольюсь ласковым синим морем, и волны мои будут ластиться к тебе, как прирученные хищники...

Знаешь, какую странную робость испытываю я всегда перед чистым листом бумаги. Так трудно написать первое слово. Но я успокаиваю себя тем, что бумаге, будь она существом разумным, вряд ли хотелось бы оставаться нетронутой. Мне кажется, чистый лист завидует исписанному, и тогда я набираюсь смелости и пишу.

Ты не обидишься, если я скажу, что твоя душа иногда мне кажется белоснежным листом бумаги, на котором твоя любовь позволит мне начертать свои желания и мечты. А вдруг я ошибусь и не то напишу, не то сделаю? Ты разгневаешься и, как полагается богине, превратишь меня в дерево или в камень. Что ж! У меня только одна просьба, лучше уж преврати меня в коротенькую мелодию, которую ты будешь напевать, когда тебе станет грустно. И я опять буду с тобой.

Твой Г о ч а.

(Письмо, найденное в кармане Пааты)

5.5.43.

Неужели все кончено?! Мака! Скажи мне, неужели все кончено?! Наверное, ты рассердилась на то, что я выпил, и не захотела со мной разговаривать? Я все понимаю и согласен, что ты была права. Но я не верю, что ты так легко можешь разлюбить меня. Скажи, что

мне это просто показалось, что я напридумывал всякую чушь и сам в нее поверил. Я вспоминаю все, что ты мне сказала в тот вечер, и выискиваю среди жестоких слов (наверно, я их заслужил, потому что был пьяный и противный) такие, которые бы могли рассеять мои страшные подозрения. Я не хочу, чтобы это письмо было последним, потому что я не могу без тебя.

Я надоел тебе, верно? Приходил каждый день, покорно выполнял все твои капризы. И ты перестала уважать меня. Но если я мог тебе надоесть, значит, ты меня не любила, потому что я, видя тебя каждый день, полюбил тебя еще сильнее...

Прости, если сегодня я поступил бестактно, обидел твоих спутников — родственников и друзей, не знаю, кто они. Я был не трезв...

Мака, может, я все преувеличиваю и ничего такого не произошло? Прости мне мои каракули, чем сильнее я тебя люблю, тем хуже пишу. Поэтому не верь каллиграфическим любовным письмам...

Совсем забыл, что ты меня не любишь и длинных писем, да еще неразборчивых, читать не станешь.

Напиши мне только одну фразу: «Гоча, тебе все это просто померещилось». Ладно?

12.5.43.

Какой бедной и в то же время какой великолепной была наша свадьба, Мак! Как трогателен был Отар в роли шафера. Все было бы прекрасно, если бы не пришлось сегодня уехать. Но я не верю, не верю, что это была первая и последняя ночь, которую нам суждено провести вместе.

Моя мама больше меня самого переживает мой внезапный отъезд. Я очень боюсь за ее здоровье и очень надеюсь на тебя, Мака... Когда не стало отца, мама кричала во сне, и я будил ее, чтобы прервать кошмары, терзавшие ее по ночам. Ты — умница и все понимаешь, поэтому кончаю об этом. Если не застáну тебя дома, положу это письмо в карман твоего халата. Ты будешь читать его, и мы хоть еще несколько мгновений сможем побыть наедине.

22.6.43. Бухара.

Как ты далеко, Мак! Несколько тысяч километров сейчас между нами. И все-таки приятно сознавать, что мы с тобой хотя бы на одной планете. Если бы мы пешком двинулись навстречу друг другу, я не знаю, через сколько месяцев мы бы увиделись. А в общем, не так уж далеко Бухара, правда? Наше училище готовит офицеров противотанковой артиллерии. Нас обучают старые кадровые военные — опытные педагоги. Но я даже во время занятий, очень напряженных и трудных, умудряюсь думать о тебе. Вижу тебя, как ты стоишь на перроне, прощально вскинув руку. Ты плакала, когда я уезжал? И я не мог тебя утешить! Разве я заслуживаю хоть одной твоей слезинки, Мака? Сколько же я должен совершить добра, чтобы оправдать твою любовь, доверие, твои слезы!

В ту горькую минуту расставания я как будто увидел тебя впервые в жизни и снова полюбил с какой-то новой, особой силой, и позавидовал тому парню (неужели самому себе?), которого ты будешь любить и ждать до самой смерти.

Ты и сейчас со мной, в моих чувствах, мыслях, в сердце, в каждой клеточке моего тела, и я возьму тебя с собой, когда попаду на фронт, и буду защищать до последней капли крови.

Неужели найдется на свете сила, которая заставит меня смириться с разлукой?

...Когда состав двинулся, я видел, как ты беспомощно и отчаянно кинулась за вагоном. Но мы ехали быстро, и ты терялась в толпе провожающих. Только твою тонкую руку я еще долго различал среди леса вскинутых в прощальном взмахе рук. Но мне казалось, что я вижу тебя всю, от головы до пят, вижу слезы на щеках, вижу твои широко распахнутые глаза. И ты уплывала, улетала назад, в последней надежде занеся вверх ладонь, а я стоял, стоял на месте, как прикованный, как солдат на своем посту...

9.11.43. Бухара.

Поздравляю, Мак! Наши взяли Киев! Мне хочется плясать от радости, и я с нетерпением жду, когда же нас отправят на фронт. Мне даже как-то обидно, что Киев освободили без меня. Боюсь, что нас не выпустят до конца войны, хотят продержать еще около года. А зачем мне тогда звание младшего лейтенанта, я лучше сейчас в бой пойду рядовым!

Если бы ты знала, как ты мне нужна, как без тебя плохо! Что тебе стоит появиться здесь у меня, хоть на один час, ты же волшебница, ты все можешь! Если ты этого не сделаешь, я убегу из Бухары и явлюсь к тебе. Ночью, когда все будут спать. Сброшу свои громыхающие сапоги во дворе, прокрадусь в твою комнату и сяду на кровать. Поцелую тихонько, чтоб не разбудить, и скажу, что люблю тебя, что тоскую, не могу... Потом еще раз скажу, что люблю тебя, и еще, и еще раз, пока тебе не надоест. Скажи, Мак, ты не забыла меня? Может, просто помнишь, что любила кого-то, а кого — не знаешь, забыла! Ведь бывает так. Я шучу, не сердись! Я так полон тобой, что ни о чем другом не могу писать.

Твой Гоча.

P. S. Бываешь ли ты у моей мамы?

2.3.44.

Вчера получил два твоих письма, два конверта, голубых, как твои глаза. Я заглянул в их глубину, и мне показалось, что я вижу слезы. Ты плачешь? Что случилось? Не болен ли малыш? Очень тронуло меня описание похорон генерала Леселидзе. Этот талантливейший и отважный воин был достоин самой пышной церемонии. Из твоего письма я впервые узнал о геройской и мученической гибели футболистов-киевлян. Сюда эта страшная весть еще не дошла. Я прекрасно помню вратаря Трусевича, виртуозный был игрок, настоящий артист в своем деле! Все наши курсанты — ребята молодые, еще незнакомые с горечью потерь, поэтому гибель известных всему Союзу спортсменов они восприняли как гибель родных, близких людей. Политзанятия,

на которых я вслух прочел твое письмо, превратилось в митинг, и только решительное вмешательство полковника остудило горячие головы.

Письмо не кончаю, срочно бегу на артподготовку.

Не забудь фотографию сына...

. . . .

В твоем письме не разобрал одно слово. Весь день думаю, что это за слово, и не могу угадать. Готов оставить неразгаданными все тайны в мире, только не это слово! Я серьезно готовлюсь к выпуску, тренируюсь в расчетах; иногда мне вдруг кажется, что все люди погружены в эту грозную математику смерти, весь мир, и я в том числе, бредит кровью. Тогда я бегу в библиотеку, беру какой-нибудь сборник стихов, например, «Античные поэты об искусстве», и с наслаждением читаю:

«Дальше паси свое стадо,
пастух,
Чтобы Мирона телку, точно
живую,
Тебе со стадом коров
не угнать».

Это Анакреонт писал о скульптуре великого ваятеля древности Мирона.

...И я успокаиваюсь.

12.7.44

Мака, это письмо пишу тебе перед самым выходом на линию огня. До передовой всего 15 километров. Весь день я проверял вновь прибывшую технику. Никому этого дела не доверил — воевать-то буду я, значит, должен отвечать за все! Мы проходили через города и деревни, освобожденные 3—4 дня назад. Сегодня прошли Ковель, облик города так изувечен, что трудно представить, каким он был до войны. Все подступы к городу заминированы, кажется, нет клочка земли, не грозящего взрывом. Людей не видно совсем, руины и пожарища.

Прости за краткость, но времени в обрез. Зайди к маме, успокой ее. Привет всем, кто меня помнит. Не забывай меня, Мака. Если мне суждено погибнуть,

что ж — ничего не поделаешь! Но если вернусь — берегись!

Гвардии младший лейтенант Гоча Хергиани.

P. S. Не думай, что я хочу похвастаться своим званием, здесь ко мне все так обращаются, и я привык. Как Паата? Научился ли он ходить? Или еще не время? Я забыл, в каком возрасте малыши начинают ходить.

(Письмо, найденное в кармане Пааты)

11.11.44

Мака, любимая!

Сам удивляюсь, что среди того ада, который вокруг, умудряюсь тебе писать. В двух шагах от окопа рвутся бомбы, дымятся осколки. Сейчас ночь, дождь льет стеной. В такие минуты мозг особенно напряжен. Вчера мы отбили атаки 16-ти танков. Сегодня их будет больше. Пушки противника нацелены прямо на наши окопы. Я пока не имею права стрелять. Моя задача остановить вражеские танки. Самые томительные часы ожидания. Сейчас бы с удовольствием почитал «Трех мушкетеров». Действует на настроение и дождь. Наши батареи молчат, мы готовимся к могучему броску — до самого Берлина. Враг стреляет всю ночь напролет — изматывает нам нервы. Фрицы хотели испортить нам праздник Октября. Небо то и дело бороздили вражеские снаряды. Но мы решили относиться к этому, как к праздничному фейерверку. Стрельба продолжается. Хочу отвлечься, но трудно думать о чем-нибудь другом, когда в двух шагах немецкие танки.

Я боюсь завтрашнего дня. Пойми меня правильно, я не смерти боюсь. Мне только страшно, что я больше никогда тебя не увижу. Моя любовь растет, как великан в сказке, — за день становится на год старше.

Каждое твое письмо — для меня настоящий праздник. Я как будто вижу тебя и разговариваю с тобой наяву. Прочту письмо — и начинаю сначала, как будто что-то пропустил или забыл. И так — до бесконечности. Думаю, здесь дело не только в войне; так было и будет и в мирное время и вообще всегда, пока мы с тобой существуем и любим друг друга.

Я это письмо пишу сейчас только для того, чтобы еще раз сказать тебе, как ты необходима мне, я почему-то представляю тебя прелестным ребенком, безобидным и беспомощным, которого хочется подхватить на руки и расцеловать. И сдерживаешься только из-за родителей, с которыми не знаком.

Мне часто приходилось заставлять себя не «приставать» к чужим ребятишкам, чинно проходить мимо. А теперь у меня есть ты и Паата!

Пиши почаще, Мака! И если боишься несчастливых чисел, совсем не ставь дату. Только пиши. Твои письма сейчас для меня — все.

Ого, кажется, танки пошли. Повторяю: я не боюсь смерти, боюсь только, что никогда больше тебя не увижу! Какой я глупый, правда? Когда прочтешь это, пожалуйста, громко повтори вслух: «Ты глупец, Гоча! Не смей думать и писать такие вещи!» Повтори и засмейся, ладно?

Когда Паата вырастет, скажи ему, чтобы он любил людей. Остальное придет само.

Прощай, моя любимая, моя незабвенная!

Прощай, мое одиннадцатое ноября!

(Третье письмо, найденное у Пааты)

9.12.44.

«Уважаемая Мака! (Простите, не знаю, как Вас по отчеству).

Пишет Вам друг гвардии младшего лейтенанта Гочи Хергиани, радист артиллерийской части, гвардии сержант Олег Максименко.

Я долго думал, писать ли мне о том, что случилось, вдруг Вы еще не знаете. Но мне сказали, что Вам сообщили, и тогда я решил обо всем написать, потому что я был все время рядом с лейтенантом Хергиани, и если я не расскажу, как он погиб, то никто уже не расскажет, потому что в живых никого из нашего расчета не осталось.

14 ноября в десять утра наши пошли в наступление под прикрытием артиллерийского огня. Мы почти вплотную подошли к окопам противника. Враг, конечно, от-

крыл контрогонь со своих батарей, который очень мешал нашей пехоте, особенно на правом фланге. Батарея эта находилась как раз напротив. Гоча высчитал, где находились вражеские пулеметы, дал приказ орудиям. Мы в два счета уничтожили батарею врага. Тогда Гоча вместе со мной и пятью автоматчиками обошел нашу пехоту и направился к разгромленной батарее противника. Мы преодолели опасный путь, ежеминутно рискуя подорваться на мине, так как окопы отступавших фашистов были заминированы. Снаряды вокруг нас рвались беспрерывно, пули так и вжикали. Но Гоча упорно вел нас вперед... Я только потом понял, какой план созрел у него в голове. Разбитая батарея противника была расположена на опушке леса. Совсем неподалеку, замаскированный между кустов и деревьев, стоял второй вражеский эшелон, сильным огнем отвечавший на наши атаки. Гоча установил здесь свой наблюдательный пункт, рация моя заработала, и мы стали передавать артиллеристам новые ориентиры. Все бы хорошо, да не заметили мы, как из окопа выскочил немецкий обер-лейтенант, кинулся к орудию и положил наших автоматчиков всех до одного. Мы с Гочей стояли за деревом. Снаряд разнес дерево в щепы, а нас волной отбросило метров на пять. Благодаря этому дереву мы уцелели, но нам тоже досталось: меня в руку ранило, его в плечо. Но он сгоряча не почувствовал боли, выскочил с револьвером и на врага, тот, собака, после выстрела убитым притворился, а на самом деле Гоча его только ранил. Тут только Гоча заметил, что кровь из раны так и хлещет. Я, говорит, думал, контузия. Я стал его уговаривать в медпункт бежать, он, конечно, ни в какую, только сердито сверкнул на меня своими черными глазищами. Ну, я разорвал на себе рубаху, кое-как ему рану перевязал и сам удивляюсь — как он боль такую терпит.

Гоча повернул орудия немецкой батареи и как саданет по фашистским гадам. Те небось ахнули! Вдруг видим: обер-лейтенант недобитый по траве к своим ползет. Воскрес, собака! Гоча и говорит мне: давай его сюда, живого!

Только я к нему кинулся, как он изловчился, гад, откуда-то нож вытащил и себя в самое сердце, тут же подох.

Полтора часа Гоча отдавал приказы со своего наблюдательного пункта. Нет-нет, да из орудий немецких пальнем. Я еще несколько раз просил его в медпункт пойти. Да разве он пойдет! Часа через два пришла к нам подмога, тут мы с Гочей к своим двинулись, полтора километра ползти пришлось под пулями... Гоча еще минут 20 на своей батарее огнем командовал, а я бегом к командиру части: так, мол, и так, Хергиани тяжело ранен, а в медпункт не идет. Тот — раз в машину и к нам. Выругал Гочу, любя, конечно, а тот только улыбается, как малец провинившийся. А сам побледнел, аж до синевы, и вот-вот сознание потеряет.

Мы его подхватили — и в машину. Больше я своего дружка закадычного, Гочу Хергиани, не видел...

В медпункте операции ему делать не стали — условий не было и специалистов для такого сложного ранения. Повезли в госпиталь, а он по дороге от потери крови скончался...

Но я не считаю его мертвым. Такие смелые, добрые ребята не умирают, потому что память о них живет в сердцах родных и близких.

Простите, если Вашу рану разбередил своим письмом, но я не имел права молчать.

Остаюсь с уважением

гвардии сержант Олег Максименко».

ГЛАВА X

Я долго не мог прийти в себя и сидел, уставясь в одну точку. «С уважением гвардии сержант Олег Максименко. С уважением гвардии сержант Олег Максименко»...

Мне трудно было отделить себя от автора писем, которые сейчас лежали передо мной. Было горько, что так преждевременно прервалась моя жизнь, что я не встретился со своей женой, не увидел маленького сынишку, не вернулся к матери... Одно хорошо, что я до конца был искренним, что любил всем сердцем, был прав перед всеми и перед собой — выполнил свой долг до конца.

«С уважением... гвардии сержант... Олег Макси-менко...»

Я с удивлением присматривался к себе: не знал я за собой способности к такой самоотверженной любви и многого еще не знал. Мне показалось, что я выше стал, старше, добрее.

Телеэкраном мерцало рассветное окно. Шуршала прилежная дворницкая метла, щебетали ранние птахи.

Я стоял у окна и с удовольствием наблюдал за предсмертными судорогами мрака. Люблю утро.

Паата, должно быть, в такое же время кончил читать письма, и, я думаю, законная гордость за отца так же распирала ему грудь. Нет. Не было у него никаких оснований выбрасываться в окно. Накануне мать обещала отпустить его с товарищами на Тбилисское море.

Паата с нетерпением ждал встречи с друзьями, которых давно не видел, встречи с Ингой...

Два письма из трех отобранных он наверняка хотел прочесть товарищам, а, может, и учителям? Ему хотелось, чтобы они узнали о подвиге его отца. Понятно, почему он отобрал письма, присланные с поля боя. А вот третье письмо, где Гоча Хергиани просит у любимой прощения за какой-то проступок, Паата, наверное, хотел показать Инге. Он боялся, что Инга обижена на него, и хотел дать ей почувствовать, как остро переживает он свою ошибку, свою неосмотрительность. Так же, как когда-то переживал его отец. И потом, это письмо дышало такой великой любовью и страхом потерять любимую, что Паате, несомненно, хотелось, чтобы Инга прочла его... и догадалась обо всем.

На рассвете во двор въехала машина, и Паата услышал пьяный голос отчима. Он испугался, что Иродион не позволит ему пойти на экскурсию и долгожданная встреча с друзьями сорвется. Но Иродион заснул, и Паата решил, не дожидаясь его пробуждения, выбраться из лоджии, чтобы незамеченным выйти в коридор. (Лоджия была перегорожена, и вторая ее половина выходила в кухню). Таким образом, Паата вылез из окна только затем, чтобы, минуя перегородку, влезть снаружи во вторую половину лоджии и через кухню пройти в коридор.

Карниз был достаточно широк, во дворе никого не

было, дома все спали — операция обещала быть удачной. Никакого самоубийства не было — Паата поскользнулся и сорвался с карниза.

Истина вдруг засияла передо мной, как жемчужина, обнаруженная в раковине: Паата и не думал о самоубийстве, он спешил встретиться с друзьями, с нетерпением ждал наступления дня, обещавшего быть таким прекрасным.

Мне показалось, что я снял с себя и со всех людей, живущих в этом городе, на этой земле, груз тяжкого обвинения.

Правда, радость моя была мгновенной: пока жизнь Пааты была в опасности, я не мог считать себя счастливым.

В девять часов утра я был у Наи, объяснил ей, почему не мог прийти накануне, оставил письма, потому что не мог не поделиться с ней открытием, так внезапно обогатившим меня, сказал, что через несколько часов зайду за письмами, и направился в прокуратуру. Там я нашел следователя, которому передали дело Пааты Хергиани, и показал ему копии писем, найденных у мальчика в кармане. Мой коллега чувствовал явную неловкость, нервно постукивал каблуком по паркету, ерошил седую шевелюру и, наконец, сказал, что для серьезных выводов ему необходимо прочесть все эти письма.

Я искренне обрадовался — он шел тем же путем, что и я, значит, я не ошибся! Я охотно пообещал доставить все письма к концу дня. Когда я собрался уходить, коллега задержал меня и, смущенно хмурясь, заговорил о том, что я не должен на него обижаться, потому что дело это ему передали вопреки его желанию. Он добавил, что Иродиону Менабде все равно не избежать наказания. Если обвинение в гибели пасынка будет снято, вряд ли он выпутается из других своих грязных делишек. Прокуратуре стала известна еще одна махинация, в которой он принимал участие. Его заместитель, не без его ведома, очевидно, включил в число списанных легковых машин две совсем новые и, продав их втридорога каким-то частным лицам, деньги положил себе в карман. Возможно, поделившись выручкой с начальством. Во всяком случае, из страха или ради денег Иродион поставил свою подпись на фальшивом документе. Ордер

на арест Менабде выписан. Одно удивительно, он выгораживает заместителя и всю вину берет на себя...

Я думал о Маке. Сначала сын... Теперь муж... Интересно, почему она все-таки вышла за Иродиона Менабде? Наверное, в рассказах соседей есть доля истины: после гибели Гочи Мака осталась с ребенком на руках и больной матерью. Иродиону приглянулась красивая вдова, и он одаривает ее знаками внимания: то лекарство дефицитное достанет, то малышу игрушку принесет, то продукты. Мака чувствовала себя кругом обязанной и не могла такому «добряку» отказать. Ей казалось, что и для мальчика лучше, когда в доме мужчина...

Я думаю, она вскоре поняла свою ошибку, но из жалости не оставляла Иродиона, все надеялась выправить его изуродованную душу, убедить в том, что не только вражда и злоба существуют в этом мире.

Говорят, однажды Мака взяла сына и ушла из дому. Иродион заперся и в течение шести дней не выходил на улицу. Соседям пришлось высаживать двери. Своего он достиг: на седьмой день Мака вернулась.

Наи сидела на тахте, забившись в угол, и плакала. Перед ней были разложены письма Гочи Хергиани. «Ты кончила?» — спросил я, хотя было ясно, что она прочла их и не один раз. Я стоял возле тахты, сам взволнованный не меньше, чем Наи. Вдруг она обхватила мои колени руками и прижалась к ним лицом. Я и вовсе окаменел, хотел сначала поднять ее, но потом почувствовал, что не надо ее тревожить: что-то важное происходило сейчас в душе моей любимой. Пусть сегодня я не узнаю об этом, но завтра или через какой-то промежуток времени я почувствую, что она изменилась...

Наи позвонила через два дня.

— Заал, ты меня слышишь?

— Прекрасно слышу.

— Ты один в комнате?

— Один.

— Тогда слушай. Приходи сегодня вечером.

— Непременно приду.

— Мы пойдем в кино или еще куда-нибудь... Ты только приходи.

— Хорошо, Наи...

— Я буду ждать.— Она положила трубку.

Я не сразу понял, в чем дело, даже стал набирать номер ее телефона, чтобы выяснить, но вовремя спохватился: Наи говорила совсем-совсем о другом...

Весь день я ходил, как помешанный, никого не узнавал, ничего не соображал. Только все время напевал про себя, и в каждый мотив упорно вплеталось имя Наи.

...Возле стеклянного кафе «Аквариум» я почему-то остановился и уставился на милиционера, который чинно расхаживал вдоль белой линии посреди мостовой. Какая-то сила подтолкнула меня к нему. А впрочем, я могу объяснить, почему я это сделал. Мне вспомнился один случай.

Мне было лет семь или восемь, когда отец вернулся из двухлетней командировки. Помню, как он сидел за столом и смотрел на меня и на маму. Наверное, целый час глаз с нас не сводил, словно хотел наглядеться за те два года, что был в разлуке с семьей. Назавтра мы с отцом поехали в деревню, где жила бабушка. Как только мы сошли с поезда, пришлось разуться — в деревню вела грязная проселочная дорога. Отец засучил брюки, и мы двинулись в путь. Отец жадно оглядывал все вокруг: линию белоголовых гор вдали, дома и сады, крестьян, везущих на базар нагруженные арбы. Встречные приветствовали отца, но не узнавали его,— он давно уехал из деревни. Наконец, отец не выдержал и, остановив одного почтенного крестьянина, спросил, как добраться к такому-то дому. Я даже рот разинул от удивления — отец спрашивает о собственном, родном доме, где родился и вырос и где сейчас жила бабушка. Я знал дорогу назубок, а он у чужих спрашивает!

Незнакомец степенно провел рукой по усам и начал подробно объяснять. Теперь я понимаю, как приятно было слышать отцу знакомые с детства названия. Прекрасной музыкой звучали в его ушах такие обыденные слова, как родник, сельсовет, перекресток...

Вот и я шел сейчас к милиционеру с желанием услышать названия, связанные с Наи, с домом, с улицей, где она жила, где она ждала меня сегодня... вечером...

Милиционер, видя, что я перехожу улицу в недозволенном месте, взялся за свисток, но я опередил его.

— Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Барнова?

Он шумно выдохнул воздух, набранный в легкие для грозного свистка, и недоверчиво на меня покосился.

— Мне нужен пятьдесят третий номер, — уточнил я.

Он несколько смягчился и начал объяснять. А я упивался названиями улиц, переулков, скверов, с которыми было связано столько воспоминаний!

— Мне нужен дом, в котором живет Наи Ратиани,— не удержался я от соблазна вслух произнести заветное имя.

— Иди-иди, — улыбнулся милиционер, принимая меня за пьяного, — сам знаешь, где живет Наи Ратиани. Не мешай, а то совсем в другое место тебя отведу.

Даже в грозных устах этого стража порядка имя Наи звучало божественной музыкой. И я полюбил этого милиционера, как родного, как, впрочем, любил сегодня все человечество.

— Поцелуй меня, — попросила Наи, когда мы вышли из кино.

. . . .

— Поцелуй меня, — снова сказала она, прячась за чугунной решеткой парка.

— Теперь здесь,— прислонилась она к дереву.

. . . .

Словно ей хотелось освятить нежностью и любовью все, мимо чего мы с ней проходили в тот вечер.

Войдя в комнату, она первым делом задернула занавески и погасила яркую люстру. Легкий аромат цветов как-то сливался с приглушенным светом торшера.

— Наи, — я не узнавал своего голоса и повторил как можно тверже. — Наи...

— В чем дело, Заал?— ласково отозвалась она.— Знаю, знаю, ты сейчас потребуешь кофе.

— Нет, кофе ты меня угостишь завтра утром.

— Что-о?

— Завтра утром, потому что я не уйду отсюда или уйду вместе с тобой!

— Заал!

Мы долго, очень долго сидели молча. Я не помню, когда я погасил свет, как погасла лампочка, скрытая

голубым абажуром. В комнате было темно, и только бледный свет проникал в окно с улицы. И в этом мерцающем полумраке я увидел Наи, увидел, какой белизной сверкнули ее грудь и бедра, не тронутые загаром. Она искала что-то, склоняясь к стульям, к тахте, шаря рукой по стене, и плавные движения ее складывались для меня в стройной ошеломляющий танец. Наконец она отыскала ночную рубашку и сразу стала невидимой. Я только услышал, как ступает она по полу босыми ногами, и почувствовал, что она совсем близко, по волне тепла, захлестнувшего меня прежде, чем она подошла.

...К утру определились узоры на занавесках, проявились краски. Наи спала. Или не спала. Лежала, прижавшись к моему плечу.

Так завершилась,—а может, только началась? — история нашей любви. Мы нашли друг друга и отныне будем вместе. И нам предстоит долгий путь с неизбежными находками и потерями, радостями и печалями.

В то утро я вспомнил, как плакала Наи, читая письма Гочи Хергиани, и думал о том, как было бы хорошо, если бы Мака позволила еще многим людям прочесть эти письма. Кто знает, может, она бы и разрешила, но Иродиона боится... А что Иродион?.. Его дела плохи. До чего же ботинки на хозяина похожи. Прямо карикатура, дружеский шарж. «Гав-гав-гав!» — лают желтые полуботинки. По извилистой горной дороге летит грузовик, груженный мышьяком. На ящиках сидит Иродион Менабде, пьет водку прямо из горлышка. Вдруг на дороге появляется какая-то старушонка, машет рукой, чтобы машина остановилась. Шофер тормозит. Иродион — или его ботинки? — злобно, по-собачьи, оскаливается, рычит на старуху, та в долгу не остается. Шофер поминутно оглядывается и не замечает, как грузовик сползает с дороги в реку. Старуха повисает на дереве и злобно хихикает, глядя, как машина погружается в воду вместе с мышьяком, и Иродионом, и желтыми полуботинками...

К реке подходит стадо, коровы жадно пьют, помахивая хвостами, через минуту валятся наземь с раздутыми животами. Пьет собачонка, лакает красным языком

черную воду, падает замертво. Женщина поднимает ведро из колодца, к воде проникают ребятишки — распухают и задыхаются. Вянет трава вокруг отравленной реки, умирают птицы, бабочки, стрекозы. А река несет свои ядовитые воды дальше, к морю, сливается с синими волнами и — нет моря! Осталась огромная рыба, раздутая и страшная.

— Вот,— говорю я Дата Кавтиашвили, старому кочегару, — это тоже след, который оставляет за собой человек!

— Упаси господи! — отмахивается Дата. — Разве о таком следе я говорю.

Я поднимаю голову и вижу небо, усыпанное звездами, или шапками, закинутыми в небо?

— Гванца! — зову я громко.

— Я здесь, Заал! — Она сидит, склонившись над вышиванием. Медленно откидывает со лба челку, и лицо ее, как светлая луна, выплывает из-за облака волос.

— Гванца! Теперь я счастлив. Я люблю замечательную девушку, и она меня любит. Я так счастлив, что мне хочется взмыть в воздух и летать — как птице. Я тоже хочу закинуть шапку в небо!

Гванца смотрит на меня испытующе:

— Однажды ты пытался, но твоя шапка упала обратно на землю.

— Но сейчас она улетит, я уверен, и останется в небе!

— Попробуй, я буду только рада.

Я подбросил свою кепчонку изо всех сил и не успел глазом моргнуть, как она ракетой взвилась в небо и застыла там мерцающей звездочкой.

И тут я услышал плач. Гванца плакала громко, навзрыд, обеими руками утирая слезы.

— Гванца, что с тобой?! Почему ты плачешь!..

— Знаешь... Знаешь, что я скажу, детям, когда они придут в мой дворец на экскурсию? Я скажу, что эта шапка принадлежит человеку, которого я любила, очень любила... и сейчас люблю...

— Гванца! — Я не мог собраться с мыслями и только повторял ее имя, как попугай. — Гванца, послушай! Ну, посмотри мне в глаза. — Она подняла на меня свои грустные, мокрые от слез глаза, и я совсем растерялся.— Гванца, понимаешь, ты — идеал, недоступное бо-

жество, я не решался... Я боялся, что ты прогонишь меня, засмеешь...

Кажется, она перестала плакать, вздохнула прерывисто и повторила:

— Я им скажу, что это шапка человека, которого я любила.

— Да, да. Сегодня. Приходите, непременно. Мы вас ждем. Что ты сказала? Внезапно? Да... Так получилось.

Я просыпаюсь. Наи говорит по телефону.

После свадьбы мы еще дня два никак не могли встать из-за стола. Наконец, в воскресенье Наи и Мелита взбунтовались: ведите нас в театр, в кино, куда-нибудь! Но билетов в театр мы не достали, а в кино опоздали.

— Тогда пошли в ресторан, — сказала Мелита, — а то вы все без нас ходите.

Мы с Тазо долго «отнекивались», но в конце концов оказались в ресторане.

И вот золотым тбилисским вечером мы идем по Университетской улице, взявшись за руки.

— Как дела, Заал? — подмигивает Тазо. — Как тебе нравится семейная жизнь?

— Заал, может, съездим на море? — улыбается Мелита.

— Тебе не холодно, Наи? — спрашиваю заботливо.

Мимоходом заглядываем в магазин, где продают телевизоры. Мы с Тазо вспоминаем, что сегодня интересная игра, и, к неудовольствию наших спутниц, торчим возле экрана до конца тайма. Правда, они тоже потом увлеклись и болели не меньше нашего.

Выходим из магазина и шествуем дальше по улице, освещенной поздними закатными лучами. Лето.

— Позвольте узнать, уважаемый юрист, — кривляется подвыпивший Тазо, — исправили ли вы допущенные следствием ошибки?

Я отвечаю ему вполне серьезно:

— Знаешь, Тазо, почему люди усомнились в существовании бога? Потому что он никогда не делал ошибок.

— Ты мне лучше скажи, как Иродион Менабде поживает?...

— Я говорил тебе, что он своего заместителя выго-

раживал? Мы выяснили, почему он это делал. Однажды этот самый заместитель записал на магнитофон вечеринку, на которой Менабде какой-то анекдот рассказал. Когда раскрылась махинация с машинами, он пригрозил Иродиону: если не возьмешь всю вину на себя, я эту пленку куда следует доставлю. Иродиону со страху стало плохо. Вызвали «скорую». Он, по обыкновению, на глазах у врачей стал опухать, даже пуговица на воротничке отскочила... Сигареты есть?

Тазо пошарил по карманам и двинулся к гастроному.

— Что вам купить, девушки? — галантно осведомился я.

— Шоколад,— заявила Мелита.

— И тебе тоже, Наи?

Она кивнула.

Мы подошли к прилавку. Продавца не оказалось на месте.

— Вот этот, — указала Мелита.

Я, недолго думая, зашел за прилавок и встал на место продавца.

— Выходи сейчас же, а не то тебе достанется, — зашептала Мелита, но я уже вошел в роль.

— Не угодно ли торт, абсолютно свеженький, только что привезли! Советую вам взять.

Вдруг я заметил двух мальчуганов лет девяти — десяти, которые таинственно перешептывались, считали на ладошках мелочь. Наконец, один из них подошел к прилавку и попросил сто граммов конфет. Я почему-то сразу вспомнил Паату с его машиной, нагруженной новогодними конфетами. Как скоро я забыл о нем, поглощенный своим счастьем!

Я насыпал в кулек конфет, которые мне показались самыми лучшими, и протянул мальчонке.

— Что я вижу?— изумился я, когда он высыпал на прилавок мелочь.— Разве ты не знаешь, что сегодня по распоряжению директора, мы все выдаем бесплатно? Нет, дружок, забирай свои деньги, и верни их маме.

Краем глаза я заметил, что в дверях, ведущих, очевидно, на склад, показался изумленный продавец.

Не менее изумленный мальчик, забыв даже поблагодарить меня, отошел к своему приятелю, и они оба наблюдали, что же будет дальше.

К прилавку подошел пожилой раздражительный мужчина в шляпе.

— Яблочного торта, конечно, нет? — сварливо справился он.

— Яблочный торт есть?— крикнул я продавцу.

Он только кивнул, вытаращив глаза.

— Старый? — не успокаивался покупатель.

— Абсолютно свежий. — Я лихо прикрыл торт крышкой.

— Сколько я должен?

— Сколько?— крикнул я продавцу.

— Двадцать рублей, десять копеек.

— Вы что, новенький? — спросил покупатель.

— Нет. Я был в отпуске.

Он протянул мне деньги, и я чуть было не взял их, но вовремя вспомнил о мальчуганах, которые еще не успели уйти.

— Возьмите свои деньги, гражданин,— сказал я вполне официально,— сегодня мы все раздаем бесплатно, по распоряжению директора.

Продавец молчал. Я поглядел на ребятишек и понял, что убедил их окончательно.

— Слушай, ты из отпуска вернулся или... — Нервный покупатель не договорил, но я понял, что он хотел сказать: «или из сумасшедшего дома».

Я улыбнулся и повторил:

— Сегодня все бесплатно. Не верите, — спросите у этих товарищей, — я указал на ребят, и они радостно закивали в подтверждение моих слов.

— Вы напрасно думаете, что я не возьму этот торт, — рассердился мужчина в шляпе, направляясь к выходу. — Расплачивайтесь сами за свои шуточки.

Мальчики последовали за ним, и я вышел из-за прилавка.

— Один торт, два шоколада, полкило конфет, — доложил я продавцу и, расплатившись, присоединился к Тазо, Наи и Мелите.

— Заходите почаще! — крикнул мне вслед продавец.

— Ты что, свихнулся! — накинулась на меня Мелита.

— По-моему, сошел с ума, вот и полез за прилавок — бесстрастно констатировал Тазо. — Раз и навсегда.

— Было бы достаточно одного раза, зачем же навсегда!— пошутила Мелита.

— Недостаточно! — Я почему-то разволновался.— Недостаточно! Не кажется ли вам, что мы слишком рассудочно живем и слишком разумно поступаем?

Мы шли еще долго, бесцельно и медленно, пока со стадиона не хлынула толпа, и нам пришлось повернуть, потому что идти против общего движения было невозможно. Улица наполнилась голосами, смехом, гулом, и среди этого многолюдья я снова вспомнил Паату. Неужели он не выживет? Не выскользнет из цепких рук смерти? Если верить моей бабушке, то это зависит от меня и Наи, Тазо и Мелиты, от всех этих горячо спорящих и жестикулирующих людей.

Не знаю. Но если верить тому, что даже самая безобидная мысль не исчезает бесследно, что добрые и злые помыслы влекут за собой самые неожиданные последствия, значит, права моя старенькая бабушка, и все в этой жизни зависит от нас.

1970

ПОВЕСТИ



ЗЕЛЕНЫЙ ЗАНАВЕС

Памяти Ушанги Чхеидзе

1

Пол студии был завален обрывками магнитофонной ленты. Леван и Гизо сидели посреди комнаты и терпеливо рылись в пыли. Когда кто-нибудь из них замечал на замусоренном паркете короткий обрывок ленты, обрадованно подхватывал его с восклицанием:

— Вот еще!

Они искали кусочек пленки, который Леван по ошибке отрезал от очень важной записи.

«Как это у меня получилось, — сокрушался Леван,— и именно теперь...»

«Если мы не найдем, на папу будут сердиться»,— думал Гизо.

Когда они обыскали всю студию, Леван кинулся к большим магнитофонам, стоявшим вдоль стен, словно комоды, выложил собранные обрывки лент и вытащил пробку из склянки с ацетоном. Время не терпело: надо было срочно найти пропавшее слово, которое он случайно отрезал. Если до тех пор позвонит председатель радиокомитета и пожелает прослушать запись, он что-нибудь придумает: в конце концов сам продекламирует или попросит кого-нибудь произнести это злосчастное слово, запишет его и приклеит к пленке. Председатель вряд ли разгадает, в чем дело, но вдруг передачу назначат на сегодняшний вечер. Что тогда? Тогда председатель позвонит этому странному человеку, легендарному Уча Аргветели, сначала справится о его здоровье, подбодрит его, а потом скажет: «Нам очень понравилась запись, батоно Уча, большое вам спасибо, сегодня вечером будет передача, в таком-то часу вы можете себя

послушать...» И что тогда? Тогда произойдет такое, что даже подумать страшно — великий актер сразу узнает чужой голос и...

Если бы эта неприятность произошла с записью какого-нибудь другого артиста, Леван бы так не убивался, каким бы выдающимся этот артист не был. Другой, наверно, тоже узнал бы чужой голос, рассердился, пожаловался начальству, Левану объявили бы выговор, возможно, даже с работы бы сняли. Но Уча Аргветели не рассердится и жаловаться не станет — эта история просто доконает его.

Леван на своем веку видел многих умирающих, многих близких провожал в последний путь, но никогда так остро и ощутимо не переживал он близости смерти, как в доме Уча Аргветели. Великий артист был похож на собственное глиняное изваяние. В эту статую вдохнули душу, но так скупо, с таким сатанинским расчетом, чтобы он дышал и в то же время не дышал, жил и одновременно не жил. Злой бес проник и в мозг артиста, едва заметно сдвинул там какие-то важные клетки и внушил ему, что он больше никогда не сможет сразиться с затемненным залом, выйти на освещенную разноцветными огнями сцену, вдохнуть прохладный воздух кулис...

— Папа, давай я перемотаю пленку! — предложил Гизо.

— Да, конечно, — отвлекся от своих мыслей Леван и жадно вздохнул: только теперь он ощутил, что пока думал, почти перестал дышать от тревоги и напряжения.

Собранные с полу и склеенные обрывки образовали длинную коричневую гирлянду. Гизо закрепил один ее конец на серебристом диске магнитофона и начал аккуратно наматывать на кассету, не сводя глаз с череды склеенных кусков, ползущих один за другим. Какой-то из них содержал в себе потерянное и такое необходимое слово и, казалось, Гизо пытался увидеть это слово на гладкой матовой поверхности пленки.

— Готово! — сказал Леван, вытирая пальцы платком и невольно оглядывая пол, не осталось ли еще где-нибудь кусочка.

Волнение отца передалось и Гизо. Наступал решаю-

щий момент: если в этой склеенной пленке нужной записи не окажется, тогда...

Леван старался не думать об этом, отгонял от себя недобрую мысль.

— Ты готов?

— Да, папа!

— Ну, давай посмотрим,— Леван проверил, правильно ли поставил Гизо кассету: все было в порядке. — Включаю, — сказал он. — Слушай внимательно, я могу пропустить.

— Хорошо, папа!

— Ты помнишь это слово?

— «Быть!..»

— Да... Ну, слушай как следует...

Леван быстро нажал на серую пластмассовую кнопку. Закрутились бобины, натянулась и поплыла пленка.

Отец и сын затаили дыхание.

Сначала раздались звуки рояля. Леван сразу вспомнил, что утром на студии записывали молодого пианиста. Худой горбоносый юноша, видимо, ревниво берег свою славу: замучил Левана — один пассаж заставил раз десять переписать. Потом выбрал наиболее удачную запись, остальную пленку Леван отрезал и выбросил. Вслед за роялем шла какая-то эстрадная песенка на иностранном языке. Потом магнитофон умолк — очевидно, Леван и Гизо собрали чистые куски пленки. И наконец, друг за другом пошли обрывки передач, готовившихся сегодня на студии:

«Радостно замирает сердце...»

«Находясь в Москве, Норберт Винер заявил...»

«Колхозники Нагомари в нынешнем году собрали...»

И дальше — совсем уже невнятные обрывки слов, мелодий, эстрадной и симфонической музыки... Только потерянного слова не было слышно.

Пленка кончилась.

Отец с сыном переглянулись.

Леван недоуменно развел руками, покрутил ладонями, словно грел их над огнем. Потом повернулся и еще раз беспомощно оглядел замусоренный пол.

— Куда же оно подевалось!— спросил Гизо.

Леван выглянул в окно: утром шел дождь, теперь туман уплыл в сторону Мамадавити, и его бледные кло-

чья цеплялись за кустарник, покрывающий склоны горы; телевизионная антенна, построенная на Мтацминде, рассекала пополам бледный диск солнца.

— Улицы до сих пор мокрые, — проговорил Леван.— Сколько человек входило и выходило, кусочек пленки мог прилипнуть к мокрой подошве — и все! — Леван отошел от окна.

— Папа,— сказал Гизо, — а может, он не произносил этого слова, или ты поздно включил микрофон...

— Все было в порядке,— махнул рукой Леван. — Я виноват...

— Папа... А если переписать отдельно следующее слово?

— Не понимаю...

— «Не быть»?

— И что же?

Леван про себя усмехнулся; он понял, что хотел сказать сын.

— Убрать «не»» и получится «быть»!

Леван подавил улыбку и терпеливо объяснил:

— «Не быть» произнесено совсем в другом регистре, почти шепотом. А если мы последуем твоему совету, то получится монотонное бормотанье, как у дьяка на клиросе... Это поймет не только Уча Аргветели, но и самый обычный слушатель.

— Папа,— снова заговорил Гизо, он очень хотел что-то придумать, спасти положение и, главное, ему хотелось, чтобы инициатива принадлежала ему.

— Папа, ты ведь хорошо помнишь его голос, может, попытаться...

— Ты думаешь, я не пытался?— Леван опять понял сына с полуслова. — До твоего прихода я битый час промаялся у микрофона — как заправский артист и так менял голос и этак, записывал, слушал себя... И ничего! Конечно, я помню его голос... Забыть его невозможно. Он до сих пор звучит у меня в ушах, но повторить его я не могу. Мое горло устроено по-другому...

Внезапно дверь отворилась, и в студию заглянул коренастый лысоватый мужчина. Стекла его очков в коричневой оправе отражали дневной свет, проникавший через окно, и поэтому его глаз не было видно. Леван побледнел: это был председатель радиокомитета.

— Ну как, принял он тебя?— спросил председатель, стоя на пороге. Видимо, от ответа Левана зависело, останется он или уйдет.

— Принял, батоно Котэ!

— Да ты что!— Председатель закрыл дверь и вошел в студию.—Теперь отражали свет его крупные, белые зубы.— И ты записал?

— Да, конечно...

— Так почему же не сообщил мне?

— Я только пришел и вот...— смешался Леван, невольно кладя руку на плечо сына.

— О, Гизо, приветствую тебя!— воскликнул председатель.— Ты что-то зачастил к нам. Это, наверно, неспроста.— Председатель обернулся к Левану.— Не собирается ли он тебя сменить?

— Не знаю, может, собирается,— деланно рассмеялся Леван.

— Я видел на детской выставке радио, которое собрал Гизо... Признавайся, не ты ли ему помогал?

— Нет, он сам сделал.

— Тогда будь осторожен!— улыбнулся председатель, ласково проводя рукой по волосам мальчика.

Отблеск его очков заиграл на металлической обшивке магнитофона.

— Что же ты записал?

— «Быть или не быть...»

— О, прекрасно, прекрасно! — Председатель потер руки. — Он волновался?

— Очень, батоно Котэ!

— И все-таки?

— Сначала долго лежал в кресле и молчал... Я подумал, что он забыл обо мне, потом встал... Начнем, говорит. Прошелся по комнате, остановился у микрофона. Но как только я включил магнитофон, и бобины закрутились... Он задрожал и не смог произнести ни слова.

— Ты смотри!

— Тогда мы решили закрыть аппаратуру простыней. Это он сам придумал. Я не ожидал, что он будет мне помогать, что ему так хочется выступить... Мы повесили простыню так, чтобы он не видел магнитофона... Он встал, приготовился... Но опять ничего не получилось,

— Невероятно! Дальше! Дальше!

— Тогда он вышел в соседнюю комнату, пригласил меня туда. Может, говорит, здесь получится... Извинился... Я перенес магнитофон, все наладил. Смотрю, он стоит у окна, перед занавесом, одной рукой за него держится — так и начал монолог...

— Да я слышал про этот занавес, — с грустью проговорил председатель. — Возле этого окна ему впервые стало плохо.— Наткнувшись на вопрошающий взгляд Левана, он продолжал: — Из театра он вернулся поздно... Это было двадцать лет назад... Хотел открыть окно. Что-то или кто-то там ему померещился, голова закружилась, он упал... И больше Уча Аргветели в театре не появлялся... Окно закрыли занавеской.

— Он больше не выходил на сцену? — спросил Леван.

— Однажды попытался. Весь сезон готовился. Я помню, что творилось в Тбилиси: все только и говорили о его возвращении в театр... Но он с трудом доиграл первое действие, и его увезли в больницу.

— И сегодня,— сказал Леван, — закончив монолог, он рухнул в кресло, натянул одеяло и затих... Я подумал... Всякий бы подумал на моем месте, что он умирает...

— В этом его болезнь и заключается.

— В чем же, батоно Котэ?

— Ему кажется, что он уже ничего не может... Стоит ему что-нибудь сделать, как он ложится и застывает, как будто истратил весь запас сил. Вся беда в том, что он не только по отношению к себе так подозрителен. Он так и глядит тебе в глаза: не обманываешь ли ты его, не смеешься ли над ним...— Председатель замолчал и спустя некоторое время спросил встревоженно: — Не совершили ли мы ошибки?

— Что вы, батоно Котэ, вы сделали доброе дело. Бесценная запись останется людям.— Леван невольно покраснел. — Он просил поблагодарить вас за внимание и память.

— Ты правду говоришь?

— И кроме того, кто знает, что может случиться. Ведь каждый день...— Леван не закончил своей мысли.— Я сказал ему: если вы себя неважно чувствуете,

мы сделаем запись в другое время. Он испугался, схватил меня за рукав: нет, говорит, давайте сегодня...

— Он играл?

— Не понимаю.

— Я спрашиваю, играл ли он, когда читал монолог? Двигался?

— Нет, стоял, иногда чуть заметно покачивался...

— Может, как раз в это время он играл,— с грустью проговорил Котэ, — думал, что играет и видел свою игру, а ты, конечно, ничего видеть не мог... Запись он прослушал?

— Я предложил ему, но он так разволновался... Руками замахал: нет, говорит, не надо... Я больше не напоминал об этом.

— Избегает, боится, — сказал Котэ, — чувствует, что голос уже не тот и не хочет поверить окончательно.

— Вы не хотите послушать, батоно Котэ? — неожиданно вырвалось у Левана, и он едва не прикусил язык: конечно, в обычное время он должен был предложить председателю прослушать запись, но он забыл, что...

— Сейчас я спешу, — сказал Котэ, направляясь к выходу. У Левана и Гизо отлегло от сердца. — Прослушаю завтра утром... Передачу назначим на двенадцать часов. Хорошо, что я вспомнил: надо будет позвонить сестре Уча Аргветели и предупредить ее.

Председатель вышел и тут же снова заглянул в дверь:

— У тебя нет сегодняшней «Правды»? — спросил он у Левана.

— К сожалению, нет.

— Французы в Сахаре атомную бомбу взорвали.

— Ну и дела!

— Вот именно!— покачал головой Котэ и закрыл за собой дверь.

Леван снова засуетился, снова беспомощно оглядел пол. Тревога его усилилась, ибо теперь он точно знал срок — к завтрашнему утру он должен исправить свою ошибку. Но возможно ли ее вообще исправить?

— Папа, — снова заговорил Гизо, — а может, ты пойдешь и объяснишь, так, мол, и так, извинишься... В конце концов надо записать всего лишь одно слово...

— Ты с ума сошел!— Леван обернулся к сыну. — Куда я должен пойти?

— К Уча Аргветели... Извинишься, скажешь, что...

— Ты слушал дядю Котэ?

— Слушал.

— Значит, плохо слушал... Аргветели ведь не поверит, что я случайно отрезал кусок пленки... Решит, что он плохо прочел, что нам не понравилось, никому не понравилось, и мы ищем повода заставить его прочесть монолог лучше... Нет, это его поразит в самое сердце!

Леван надел шапку.

«Папа что-то придумал»,— решил Гизо и тоже поднялся. Они вместе вышли из студии и спустились по лестнице.

Солнце высушило северную сторону проспекта Руставели, и прохожие теснились на этом тротуаре. Южная сторона казалась темной от тени, отбрасываемой домами, и от неиспарившейся влаги. Две осени царили на проспекте — одна граничила с летом, другая с зимой.

Леван и Гизо перешли улицу.

— Я зайду в театр,— сказал Леван,— может, встречу кого-нибудь... А ты что будешь делать? Пойдешь домой?

2

Артист лежал в длинном вытертом кресле, укрытый по грудь тонким байковым одеялом, которое верно стерегло угасающее тепло его тела, словно собирая его, согревая и возвращая обратно владельцу. Один конец одеяла свисал на пол, из-под него выглядывали лишь носки войлочных тапочек. Вцепившиеся в колени бледные пальцы были скрючены. Кисти рук набухли от напряжения. Было похоже, что внезапная мысль застала его в такой позе — и он окаменел, замер.

Под густыми сросшимися бровями сияли огромные голубые глаза, и казалось, что их свет озаряет белые стены комнаты. Кресло чуть-чуть, едва заметно покачивалось, или так казалось оттого, что колыхался зеленый занавес, закрывавший окно и город, за этим окном расстилавшийся. Сколько лет не раскрывался этот занавес! Состоявший из двух полотнищ, он был скреплен

посередине ниткой и только над полом слегка расходился, как это рисуют обычно на пригласительных билетах.

Артист пытался что-то вспомнить и не мог... Минуту назад... Или утром... А может, вчера?.. Что-то его встревожило, испугало... Как будто вместо крови в жилах текла горькая желчь, сердце словно оборвалось и перекатывалось в груди... Что-то повергло его в ужас минуту назад... Или сегодня утром... А может, вчера... Он никак не мог вспомнить, восстановить в памяти, знал лишь одно, что его обидел человек, человек растревожил и без того мятущуюся душу. Но кто же? Сегодня он не видел никого, кроме сестры, которая сейчас сидит в соседней комнате и, кажется, стегает для него теплое одеяло... Близятся холода, вот-вот снег пойдет... Никто не приходил, кто же его так разволновал?.. Ах да, приходили из радиокомитета... Они измучили его, и сам он исстрадался... Да, они были из радио, но они не сказали ему ничего плохого или обидного... Кажется, ничего такого не сказали...

И в больших голубых глазах наливались кровью тончайшие нити, разрозненные и извилистые, словно покинутые на полпути мысли.

Уча Аргветели смотрел на занавес; занавес скрывал окно, скрывал город, который он так давно не видел, на которой так давно не смотрел из этого окна. Артисту вспоминалась его молодость, вспоминались те теплые ночи, когда, возвратившись из театра, он открывал окно и любовался городом. Как будто без этого спектакль оставался незаконченным и роль недоигранной. Часто он приходил домой с друзьями, и это означало, что до рассвета стонала гитара, звенели бокалы с вином, а выходившие на балкон молодые люди в рассеянном свете луны, смешивающемся с огнями ночного города, таинственно шептались о Великом режиссере, который, оказывается, искал пьесу для театра. Новой действительности нужно было новое искусство, и создавать его надо было им (могли ли они тогда об этом думать!) — молодым актерам, беседовавшим на балконе теплыми ночами. Время летело с неумолимой быстротой, торопило, не давая созреть, набраться мастерства, искусство требовало жертвы и не терпело пустоты.

Великий режиссер, как волшебник, должен был зимой заставить расцвести саженец, которому полагалось цвести весной. И он выбрал самый крепкий и выносливый саженец — это был юный Уча Аргветели. К этому дичку на протяжении многих лет Великий режиссер, словно садовник из сказки, прививал то черенок смоковницы, то стебель крапивы, то великую любовь, то великую ненависть. Саженец стойко сносил ураганы и грозы, пока не надломились щедро плодоносившие ветви и в древесине не завелся червь. Новый театр твердо встал на ноги, молодые актеры выросли в мастеров и надежным пополнением подступили к той высоте, которую раньше оборонял один Уча Аргветели...

Так что же это все-таки было? Или кто был? Кто взволновал его? Или обидел? Нет, не помнит, забыл, а ведь должен бы помнить, потому что это случилось совсем недавно... Минуту назад или нынче утром... А может, вчера...

Пройденные года теперь представляются артисту лестницей, настоящей лестницей, где радости и муки следовали друг за другом, словно ступени. Вот 1921 год — первая ступенька, над ним — 1922-й, затем 1923-й, 1924-й — поднимается вверх Уча Аргветели. То с легкостью одолевает ступени, то свинцом наливаются душа и тело, но все равно идет вперед, поднимается все выше и выше. Вот 1925 год, за ним 26-й, 27-й, 28-й... На последней ступеньке — дата: 1934. Вот оттуда сорвался Уча Аргветели, слетел в мрак преисподней. Наверху остался привычный и любимый мир, а сам он летит и летит вниз, сердце замирает, как во сне, он боится разбиться и испустить дух. Но падение бесконечно, ибо оно — века, повернутые вспять и летящие кувырком... Девятнадцатый... восемнадцатый... семнадцатый... шестнадцатый...

. . . .

«...— Кто убил командора?
— Фуэнте Овехуна!»
« — Кто убил командора?
— Фуэнте Овехуна!»

. . . .

...Летящего в воздухе Уча заметил рыцарь в доспехах — пришпорил свою тощую клячу и с копьем наперевес поскакал следом...

Уча узнал его, конечно, узнал... Когда-то он мечтал воплотить образ великого идальго на сцене. Это была его заветная мечта. Думал об этом и Великий режиссер, но...

...Дон-Кихот скрылся за облаком пыли, за облаком белой пыли, поднятым над выжженным сельским проселком...

...А Уча летит сквозь века... Какая-то женщина в черном выглядывает из окна... Испуганная, отчаявшаяся... Уча машет ей рукой и вдруг слышит ее крик:

«Он вошел в синагогу!..»

И окно исчезает, гаснет. Исчезает дорогая его сердцу Юдифь[1]... И летит Уча сквозь века...

...Гм, странно. И смешно... В этом замке, среди этих древних, покрытых мохом стен, Уча бродит как привидение... А Гамлета играет другой... Молодой актер — только-только борода начинает расти — такой же, каким был Уча когда-то... И он тоже преследует Учу — наверно, принимает его за тень отца... И Уча кричит из своей преисподней: «Клянитесь!» И знает, что́ скажет сейчас Гамлет: «Успокойся, мятежный дух!» И зрительный зал содрогнется, один вздохнет, другой уронит слезу...

...И так повторяется ежедневно. Каждый день он срывается со ступеньки с датой 1934 и летит в бездонный колодец вечности, следует за бесконечной, спутанной нитью воспоминаний и по этой же нити возвращается к своему креслу, к недугу и к зеленому занавесу. Он окидывает взглядом комнату и теперь уже спокойно, неторопливо, не тревожась, листает страницы прошлого; вспоминает своего Кваркваре[2], и нерв улыбки легко подчиняет себе полные губы; вспоминает «Затмение солнца» и смеется про себя, хохочет. В такие минуты взор его туманится от внутреннего клокотания, и глаза влажнеют от слез блаженства...

Живо вспоминаются голодные дни юности... Студенческий кружок... Приглашенный режиссер и невесть откуда набежавшие многочисленные «артисты». Все очень просто: по капризу режиссера на сцену выносили настоящие кушанья.

---

[1] Юдифь — героиня пьесы «Уриэль Акоста».
[2] Кваркваре — герой одноименной пьесы П. Какабадзе.

...А он смеется, смеется, дух захватывает от горького смеха... И в конце концов, память всегда возвращает его к одному и тому же: воображение непременно облачает его в плащ датского принца, дает ему в руки рапиру, чтобы он мог, чуть склонившись, подозрительно блеснуть глазом на Лаэрта («Как! И рапира с ядом?»), и тут всплывает лицо Великого режиссера. Он напряжен, глаза мечут искры, его тайное волнение передается окружающим, и актеры внимают ему: «На караульном посту произошел странный случай: после того как часы пробили полночь, стоявшим на посту солдатам явилась тень покойного короля. Вот и сейчас приближается полночь, и стоящий на посту Франциско признается: что «озяб и нá сердце тоска...»

...Спектакль начинался с музыки, из глубины сцены до первой кулисы тянулась лестница Эльсинорского замка.

...Гамлет появлялся наверху, в начале лестницы: измученный подозрениями, смятенный, лишившийся сна Гамлет шел из дворца. При этом он был так возбужден (Гамлет или Уча?), что бессознательно волочил за собой плащ...

Он вспоминает, как на первой репетиции Великий режиссер с криком вскочил на сцену, разорвал ему на груди колет, расстегнул манжеты, растрепал всю одежду... И в самом деле, мог ли Гамлет в таком душевном смятении быть одетым с иголочки...

...По лестнице он спускался медленно, часто останавливаясь. Одолев последнюю ступеньку, в глубокой скорби прислонялся к стене. Здесь музыка умолкала. И после длительной паузы он начинал свой первый монолог... Речь его постепенно набирала силу и, достигнув кульминации, исторгала у актера нервический смех...

«Чувства, больше чувства!» — слышит Уча голос Великого режиссера.

«Чувства, больше чувства!..» Это требование привело к тому, что радости и горести Гамлета Уча сделал своими собственными, начал думать его мыслями, смотреть его глазами, слышать его ушами. Уча вошел в образ и слился с ним, поначалу отвлеченный, туманный образ Гамлета растворился в его существе, поглотил его

целиком. С ним происходили странные вещи: как только он оставался один, пусть даже на улице, он старался вспомнить какую-нибудь сцену из пьесы и вызвать в себе соответствующие эмоции. Прохожие провожали его удивленными взглядами.

...Он шел медленно, обессиленный тяжкими мучительными раздумьями (это было в третьем акте), чтобы хоть в молитве найти облегчение. Он был почти невменяем и настолько погружен в себя, что не замечал (кто: Гамлет или Уча?) спустившегося с ноги чулка. Он шел с разорванным воротом, с безумным взглядом, внешне как будто скованный, но внутренне смятенный; входил в часовню, опускался на колени, хотел молиться,— но не мог, и после долгого молчания начинал знаменитый монолог, берущий свои истоки далеко в необозримом пространстве мыслей.

«Быть иль не быть, вот в чем вопрос...»

...А потом Уча бежал от сцены, ибо сцена казалась ему враждебной, бежал от зрителей, ибо зрители больше не узнавали его. С первых же дней болезни заперся он в своей комнате, безумно тоскуя по знакомому запаху театра, по игре разноцветных столпов света, по мягкому шороху занавеса и резкому скрипу подъемника в кулисах. Ему не хватало общения с коллегами и тех знакомых реплик, после которых он начинал обычно свои монологи...

И однажды силой воображения он превратил маленькую комнату в зрительный зал, сам перевоплотился в тысячу зрителей, в тысячу глаз и ушей, и взор свой, и слух устремил на зеленый занавес.

Спускавшийся с потолка до самого пола зеленый занавес раскрывался каждый вечер, раскрывался в его воображении, и на подоконнике разыгрывалась та пьеса, которая шла в нескольких кварталах отсюда, на сцене театра. В первые годы эта блаженная иллюзия казалась ему действительностью. Уча помнил наизусть каждый эпизод и каждую паузу, и происходило удивительное: когда запертый в своей комнате Уча открывал глаза, что означало конец воображаемого спектакля, то через несколько минут под балконами его дома проходили зрители, вышедшие из театра.

Но постепенно притуплялась в нем способность вы-

зывать видения, забывалась последовательность сцен, он не мог вспомнить реплики. Время шло, менялся репертуар. Появились новые драматурги, ставились новые, неизвестные ему пьесы, и фантазия его уже не справлялась с их преображением. Он больше не отождествлял занавеску на окне с театральным занавесом, не оживлял на подоконнике крохотные фигуры актеров. Уча Аргветели не имел ни малейшего представления о том, что происходило в его любимом театре. Это было невыносимо! Это было все равно, как если бы он не знал, что происходит с ним самим — спит он или бодрствует, живет или больше не дышит.

И в один из зимних вечеров он надел пальто, поднял до ушей меховой воротник, спрятал подбородок в теплый шарф и украдкой покинул дом. Никем не узнанный он сидел на галерке и смотрел новый спектакль. Это было одиннадцать лет назад, во время войны...

...Прохладные знакомые пальцы коснулись его лба, Уча вскинул глаза — над ним стояла сестра с пузырьком в руке.

— Выпей, Уча!

— Так скоро?

— Разве скоро, четыре часа прошло.

Уча, как послушный ребенок, открыл рот и проглотил чайную ложку бесцветной и безвкусной жидкости.

— Нино... Что ты сейчас сказала?.. Что прошло?

— Четыре часа прошло...

— Ах...

Он вспомнил!!!

Часы...

Нынешним утром его растревожили часы...

Наконец-то он вспомнил...

Нет, не утром, это было вчера!

Его напугали часы...

Он вспомнил все.

— Уча, измерь температуру!

Нино оттянула ворот свитера и просунула ему под мышку градусник.

Уча не сводил глаз со стенных часов... Тогда они тоже работали... И так же беззвучно качался маятник... Когда он родился... Изучал грузинскую азбуку... Увидел девушку, которая должна была стать его женой... Когда

впервые вышел на сцену... И когда сорвался с последней ступеньки с датой 1934... Когда в полном одиночестве лежал в траве, и никто в целом свете не знал, где сейчас Уча Аргветели...

Кто знает, сколько еще лет отсчитает этот маятник, перекинет их справа налево, слева направо и отбросит в прошлое...

Да, часы растревожили его, но другие часы. Про них он прочел в журнале. Журнал принес знакомый поэт — из театральной библиотеки. В нем статья о современном испанском театре, из-за которой он и принес ему журнал. Уча прочел статью тайком — сестра запрещала ему читать. Он утомился, собирался уже заснуть, как вдруг его внимание остановил броский заголовок: «Без одной минуты двенадцать...»

Он заинтересовался, прочел первые строчки и потом уже не мог оторваться. Не любопытство, а скорее страх заставил его прочесть статью до конца. Французский журналист писал об угрозе атомной войны и кончал так: «В США выходит «Бюллетень ученых, работающих над атомом», на первой странице этого бюллетеня изображены часы, стрелки которых показывали, что до двенадцати осталось восемь минут. После взрыва первой водородной бомбы изображение изменилось — теперь часы показывают без трех минут двенадцать. Может, ныне в нашем распоряжении вообще осталось каких-то шестьдесят секунд?»

Раз в месяц Уча просил почитать ему газету, когда недуг немного ослаблял свои тиски. Нино читала ему тихим, успокаивающим голосом. И Уча считал, что он в курсе всех событий. Однако Нино, посвятившая всю жизнь уходу за братом, многое скрывала от него. Прочитанная статья потрясла больного до глубины души. Он не думал, что дело дошло до того, что миру угрожает страшная, быть может, последняя война...

«Через несколько часов после атомной войны на земле исчезнет род человеческий», — писал французский журналист.

Всю ночь Уча думал об этом, и внезапно его как громом поразило, ему показалось, что это он виноват во всем. Если бы Аргветели не заболел, если бы он не провел эти двадцать лет взаперти, если бы он остался в

театре, продолжал потрясать зрителей, исторгать слезы, плакать, смеяться, бушевать на сцене, волнами волшебства будоражить каждый вечер переполненный зал, то он поставил бы такую пьесу, сыграл бы такую роль, произнес бы такой бессмертный монолог, вложил бы в каждое слово самого себя с такой страстью, искренностью, силой, любовью и возмущением, что затряслись бы, задрожали бы все злодеи и злоумышленники. Да, так было бы, если бы болезнь не приковала его к постели.

...И тут же смутился — представил себе, что его мысли станут известны грядущим поколениям, и они лишь посмеются над его страхами.

Всю ночь он не находил покоя.

Утром заставил Нино позвонить в радиокомитет. Год назад ему принесли магнитофон, научили, как им пользоваться и попросили: «Когда вы почувствуете себя лучше, батоно Уча, и когда у вас будет желание, почитайте что-нибудь, запишите на пленку...»

Но ему за целый год так и не удалось подняться с постели, и, конечно, он забыл, как пользоваться магнитофоном. Только нынешним утром он попросил сестру позвонить на радио.

3

— Хорошо, папа, я пойду домой,— сказал Гизо.

— Возможно, я опоздаю!

— Ладно,— кивнул головой Гизо: дескать, понимаю, почему ты опоздаешь; он повернулся и побежал вслед за автобусом к остановке.

— Деньги у тебя есть?— крикнул вдогонку ему Леван.

Гизо был уже далеко. Он остановился, достал из кармана рубль и помахал им в воздухе, высоко подняв руку.

Возле театра имени Руставели Леван замедлил шаг, Оглядел людей, высыпавших на солнышко; заметив группу молодых актеров, направился к ним.

— Бондо... Можно тебя на минуточку? — окликнул Леван одного из актеров, остановившись посреди тротуара.

От группы отделился молодой брюнет в коричневом ратиновом пальто, без шапки, подошел к Левану, пожал ему руку.

— Вы домой?

— Нет... У меня к тебе одна просьба, Бондо,— начал Леван.

— Ради бога, хоть десять! — улыбнулся молодой актер.

— Знаешь, Бондо... Я записал на пленку выступление Аргветели.

— Не может быть! — Глаза у Бондо загорелись. — Вот это я понимаю! Значит, голос его сохранится для потомков... Но как вам это удалось?

— Он сам пожелал!

— Сам?! Удивительно... — воскликнул Бондо и внезапно задумался.— Я помню, когда мы учились в Театральном институте, директор повел нас к нему домой. Всем хотелось увидеть живого Аргветели. Мы сидели молча... Директор нас представил хозяину. Он смотрел на нас, кивая директору головой. Ничего необычного в его поведении не было, но мы ждали, следили за каждым его жестом, ловили каждую перемену в лице. Теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, Уча Аргветели все понял и обиделся. «Вы знаете, что такое театр? — обратился он к нам, глядя каждому прямо в глаза.— Испытывали ли вы когда-нибудь на сцене трепет? Чувствовали ли озноб вдохновения? Ведомо ли вам мгновенное помрачение ума? Знаете ли вы, что такое слезы? Плакали ли вы когда-нибудь? — Тут он усмехнулся и добавил: — Да, наверно, плакали, когда мама не давала денег на кино... Впрочем, нет, ведь и это слезы, пролитые во имя искусства». — Он засмеялся презрительно.

Они стояли посреди улицы и ждали, когда пройдет поток транспорта.

— Вы сказали, что у вас ко мне просьба? — напомнил Бандо.

— Да... Ты должен ненадолго пойти со мной на студию!

— С удовольствием... А в чем дело?

Бондо часто приглашали на студию для участия в радиопьесах, он думал, что и на этот раз...

— Я потерял слово в одной записи, и ты должен его восстановить, — сказал Леван.

— Потеряли слово? Как это?

— Делал монтаж, отрезал кусок пленки, выбросил — и не могу найти.

— С удовольствием, — повторил Бондо. — А какое слово?

— «Быть»!

— Гм, — хмыкнул Бондо. — Ничего себе «быть»! Уже пять минут мы стоим и не можем перейти улицу.

— За последние годы количество автомобилей в Тбилиси резко возросло, — заметил Леван.

— Не только в Тбилиси, и не только автомобилей! — сказал Бондо, посмотрев в небо. Потом обернулся к Левану. — Вы читали сегодняшнюю газету?

— Не успел... В Сахаре произвели взрыв, да?

— Да... Уже и в Сахаре, скоро нигде не останется и клочка чистого неба.

На перекрестке наконец-то вспыхнул зеленый свет, освобождая путь пешеходам. Зато перед красным светом в нетерпении застыл караван машин.

Леван и Бондо вошли в здание радиокомитета.

— Так что это за запись, батоно Леван? — спросил в лифте Бондо.

— Уча Аргветели!

— Что-о?! Нет, батоно Леван, нет... Не обижайтесь, но... Такой дерзости я себе не позволю! — всплеснул руками молодой актер.

— Я тебя очень прошу. — Голос у Левана прерывался от волнения. — Может, ты постараешься как-нибудь... У меня просто нет другого выхода!

— Нет, батоно Леван, нет... Узнают и засмеют меня! Нет, это совершенно невозможно!

Так говорил Бондо, но, выйдя из лифта, по пятам следовал за Леваном. Молодому актеру в мечтах рисовалась слава, которая ждала его в том случае, если ему удастся повторить голос, интонацию великого артиста и навечно запечатлеть и себя вместе с ним на одной пленке. Бессмертие было совсем рядом.

Они вошли в студию звукозаписи. Леван запер дверь.

— Снимай пальто, — сказал он Бондо, заправил в магнитофон пленку. Перемотал и снова посмотрел на

друга. Молодой актер был бледен от волнения. — Ты готов? Послушай сначала монолог Аргветели... Слушай внимательно!

4

Всю ночь метался Уча Аргветели. Разорванные, рассеченные мысли лишили его сна, и утром он не мог вспомнить, спал ли вообще. Закрывавший окно зеленый занавес, был в белой раме рассвета.

«Утро», — подумал Уча Аргветели и хотел было повернуться к часам, но тело не подчинилось ему, заупрямилось, как будто кто-то другой лежал в постели, дряхлый, умирающий, а воля и желание артиста остались без плоти, без оболочки. Уча почувствовал, что нынешней ночью смерть вырвала еще один корень его души.

Первый раз он умер, когда ушел из театра. Сейчас умрет вторично, по-настоящему, как вторично рождаются в минуту большого счастья.

Стенные часы пробили девять раз.

Часы напомнили о статье французского журналиста.

Уча Аргветели войну представлял себе так: на земле никогда больше не будут исполняться произведения великих композиторов... Это казалось ему невероятным, это было невозможно... Они должны оставаться, уцелеть, все и вся должны жить... И может, вместе со всем останется и голос Уча Аргветели, который отныне запечатлен где-то и переживет его, если... если только чего-нибудь стоит.

В молодости он увлекался «игрой», придуманной им самим: бродил по горам родной Имеретии, останавливался где-нибудь в лесу или на берегу ручья, где, может быть, раз в году случайно окажется кто-нибудь из жителей окрестных сел, и громко пел арии из классических опер. Вместо деревьев и трав старался пережить красоту и величие неслыханных тут прежде мелодий.

Где теперь была свежесть чувств! Теперь он похож на утомленную, состарившуюся землю, плоть которой пронзает боль всего человечества: так пуля проходит сквозь тело, и если не убивает человека, то делает его калекой.

...Как мало живет человек... Как удивительно мало... Может, эта причина и породила искусство!.. За свою короткую жизнь человек не успевал исчерпать свой божественный дар, и, поняв это, он создал искусство...

Ведь и лаконичные народные поговорки — тоже искусство, предназначенное для того, чтобы человек в двух словах мог выразить самую сложную мысль, чтобы на это у него не уходило и минуты лишней. Если бы человек жил тысячу лет, возможно, он вообще бы не обрел дара речи и не создал бы искусства. Если это так, то можно не жалеть, что у нас короткая жизнь...

Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла Нино. Глаза ее были еще опухшими ото сна. В руках она несла пузырек с лекарством и ложку.

— Ты хорошо спал? — Она положила руку ему на лоб.

— Плохо... Сегодня... — Уча выпил лекарство.

— Что «сегодня»?

— Сегодня мне что-то неможется, я даже встать не смог.

— Ничего, станет теплее, и у тебя все пройдет. Знаешь, какое сегодня солнце!

— Правда?! — воскликнул Уча и представил дома, облепившие крутые склоны, освещенные золотистыми лучами. Когда-то именно таким видел он из своего окна родной город. Теперь, наверно, многое изменилось.

— Уча, звонили с радио... Вчера я не сказала тебе.

— Зачем звонили? — У него перехватило дыхание.

— Сегодня в двенадцать часов передача.

— Который теперь час?

— Без двадцати.

— Нинико, включи радио и оставь меня одного!

— Но ты должен позавтракать! — напомнила сестра.

— Сейчас, я все равно ничего не смогу проглотить Нино, дорогая, не обижайся, включи радио и выйди, пожалуйста!

Нино включила радио, передавали какую-то сказку для детей.

Уча был снова один в своей комнате. Он поправил одеяло, застегнул ворот теплой рубахи, пригладил ладонью волосы и весь обратился в слух.

Сейчас передадут прочитанный им монолог. Уча собственными ушами услышит свой приговор, и судьба его будет решена.

Смерти он боялся не потому, что его положат в землю и он никогда больше ничего не увидит, не услышит, не почувствует, исчезнет из этого мира и никогда не вернется... Нет. Смерть могла уничтожить ту последнюю надежду, которая поселилась в этой комнате с первых же дней его болезни, надежду, которую он давно берег и лелеял: он верил, что от того большого огня осталась хоть крохотная искра, и, кто знает, может, эта искра еще превратится в пламя...

Но если он услышит по радио свой голос, вялый, как тряпка, если навсегда погас тот невидимый внутренний огонь, который достигал самых дальних рядов галерки и согревал... Тогда не о чем больше жалеть, тогда, возможно, и не стоит дольше жить...

«Человечьим духом пахнет...» — громыхал в репродукторе Бакбак-дэв[1].

Детская передача подходила к концу.

Радио умолкло, и в комнате наступила могильная тишина. Где-то далеко глухо гудел город — тысячи голосов, слившиеся в неясный гул. Уча украдкой взглянул на часы и тотчас прикрыл глаза. Стрелки подходили к двенадцати. В эфире что-то щелкнуло, и женщина-диктор объявила:

— Тбилисское время двенадцать часов. Послушайте передачу: «Народный артист республики Уча Аргветели».

Диктор начал с детства Учи: заставил его побегать по деревенским проселкам, повел на речку купаться, с ранних лет обнаружил в нем актерский талант. Затем Уча подрос. Диктор отправил его в город и определил в гимназию, потом быстро переводил из класса в класс, из города в город, из труппы в труппу, из одного театра в другой. Он безжалостно разлучал артиста с незабываемыми картинами его прошлого, с месяцами, днями и безжалостно вел его к 1934 году, к той ступени, когда Уча сорвался... Далее диктор перешел на скороговорку, несколько раз упомянул о недуге, приковавшем

---

[1] Бакбак-дэв — персонаж грузинской народной сказки.

артиста к постели... Но он не сдается... Благодарные зрители... Он продолжает... Славное поколение... Золотыми буквами... Неизгладимый след... И наконец:

— А теперь прослушайте монолог Гамлета из третьего акта. Исполняет народный артист республики Уча Аргветели!

Уча затаил дыхание... Кого-то испугался, чего-то устыдился, от наступившей паузы озноб прошел по коже. Вот сейчас радио скажет, решит, продлится ли его биография. Скажет сурово, прямо, не скажет, а швырнет правду ему в лицо. И Уча в ту же минуту поймет, горька эта правда или сладка, губительна или спасительна. Поймет, ибо, к несчастью, по сей день сохранил тонкий слух... Нет, это невозможно, вынести это нельзя, он сейчас позовет сестру и попросит выключить радио. Успеет ли она? Тогда он сам, сам встанет... Сейчас, не мешкая, иначе, кто знает, что сотворит с ним голос того, второго Аргветели или голос Гамлета...

Уча с трудом сполз с кровати, схватился обеими руками за спинку стула, оперся на нее и вместе со стулом стал передвигаться к радио... Но тут он услышал мощный выдох, дыхание, от которого быстрее забилось сердце, как будто заработали гигантские мехи, и веянием живительного ветра обдало артиста, он сначала изумился, потом не мог сдержать восхищения, еще через минуту испугался и, наконец, растерялся: «Боже, этот голос... Этот прежний голос, голос моей юности, моя сталь в горле — та же, что и двадцать лет назад, а я считал, что она давно расплавлена... Боже, неужели это так... неужели сохранилась искра, та самая, о которой я мечтал, которую ждал, на которую надеялся, ради которой жил все эти годы... Какой мощный вздох у меня получился — как будто ураган пронесся, как будто эхо в гулком ущелье — прозвучало это: быть»... Мое «быть»...

Гамлет (по радио).

...Иль не быть, вот в чем вопрос.

Уча Аргветели. На одно слово, только на одно слово хватило у меня этого огня, но и этого достаточно. Я никогда не дам угаснуть этой искре. Раздую

ее, разожгу... На одно слово, лишь на одно хватило меня...

Гамлет (по радио).

...Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.

Уча Аргветели... Каждый год мы проживаем тот день и час, в который нам суждено умереть... Интересно, что делаем мы в этот час, в эту минуту? Наверно, смеемся, или глубоко задумываемся, или сладко спим, или переживаем истинное счастье. А может, в этот день, час, в это мгновенье мы всегда грустим? Может, именно теперь наступает мой час?

Гамлет (по радио).

...Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны?

Уча Аргветели (опираясь на стул, подбирается к зеленому занавесу, скрывающему окно). Нет, только не теперь! Пусть не сейчас настанет мой роковой миг! Не сейчас! Я не хочу! Я должен увидеть мир из этого же окна, как и в тот день, когда я в последний раз простился с ним... Может, моя искра разгорится еще ярче... Птица в полете попеременно расправляет и складывает крылья, но ни один художник не нарисовал в воздухе птицу со сложенными крыльями... Никто не рисовал подурневшую красавицу, никто не воспевал уснувшего воина.

Гамлет (по радио).

Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли.
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться.

Уча Аргветели (подвигается к зеленому занавесу). Быть, быть, я говорю! Пусть политиканы перестанут лицедействовать! В наш век истина должна выйти на сцену в своем подлинном обличье, и говорить она будет собственными словами. Народ не станет слышать ничего выдуманного, не будет аплодировать вымыслу, ибо человечество хочет жить... Если бы я был солнцем, то все равно бы захотел стать человеком, чтобы смотреть на солнце...

Гамлет (по радио).

Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом...

Уча Аргветели (приблизившись к занавесу). За этим занавесом дышит зрительный зал — мое прошлое и мое будущее... Я сейчас впущу в комнату большой мир... мою страну... Ко мне войдет жизнь, с которой так трудно расставаться...

Нино (заглядывает в комнату и вскрикивает). Уча!.. Уча!

Уча Аргветели собрал последние силы, и, когда он крепко ухватился за край ткани, по губам его пробежала улыбка. Потом одним рывком, с шумом и шелестом он отдернул до конца большой зеленый занавес, скрывавший его окно.

1961.

ДЕВЯТЫЕ ВРАТА

1

Гогита уже давно скрылся из глаз, но я все не отхожу от окна, хочу представить весь путь от нашего дома до сада филармонии. Наверное, мой сын шагает уже по проспекту Плеханова, впереди — Гурген, он иногда оглядывается, чтобы поторопить Гогиту. Гогита, как ящерка, проскальзывает сквозь уличную толпу. Гогита — уже совсем взрослый, ему скоро тринадцать, и привычка у него появилась смешная — теребить ежеминутно свой отросший чуб.

«Мамочка, хоть сегодня пойдем в кино, — попросил он перед уходом. — Гурген проведет тебя бесплатно. Я тебя очень прошу...»

Гогита все замечает. Я, конечно, стараюсь, не подавать виду, но он все понимает. Однажды он застал меня плачущей и ничего не спросил... Он замкнутый и скрытный — вроде меня.

Теперь они, должно быть, переходят улицу. «Осторожно!» — говорит Гурген, указывая на мчащийся им наперерез автобус, но Гогита, конечно, не слушает и перебегает на другую сторону, чуть не угодив под колеса.

Сердце у меня сжимается — а вдруг, в самом деле...

Гурген — наш сосед. Точнее — мы стали его соседями. Вот уже второй год, как мы приехали из Батуми и сняли квартиру в этом доме. Гурген — тбилисский армянин. Армянского языка он не знает и объясняется на смеси грузинского с русским. У него доброе сердце, у этого двадцатипятилетнего парня.

Наверное, они уже подходят к филармонии...

Миновали гостиницу...

Прошли мимо кондитерской...

Наконец зашли в сад.

Гогита теперь окончательно скрылся из виду, и я отхожу от окна.

Я успокоилась, будто в самом деле проводила его до самой службы... служба? Как вырвалось у меня это слово! Разве два месяца назад, могла я думать, что мой мальчик начнет служить, хотя нет, не служить, а работать, и станет приносить домой заработанные деньги.

Гурген — механик в летнем кинотеатре. Вообще у него золотые руки, чего он только не умеет! Вот недавно научил Гогиту обращаться с фотоаппаратом, теперь учит его играть на аккордеоне.

«Отпустите его со мной, — уговаривал меня Гурген, — лето, в школу он не ходит, потрудится немного — и денег заработает, и удовольствие получит — кино бесплатно посмотрит».

На старинном низком комоде тикают ходики. Двадцать минут девятого.

И опять перед глазами стоит мой Гогита. Сейчас он выходит из зимнего кинотеатра «Октябрь» и спешит к филармонии — переносит пленку в круглых металлических коробках. Потом он заберет вторую часть и вернет первую, потом вернет третью и возьмет четвертую. Вот это и есть его работа. Летнее кино и зимнее — рядом, в двух шагах друг от друга, поэтому им часто отпускают одну пленку, особенно в дни премьер.

Я стараюсь не заснуть. В 11 часов пойду встречать Гогиту. Он так радуется, когда видит меня у выхода. Нам достаточно трех часов, чтобы соскучиться друг без друга. Гогита обязательно скажет: зачем ты пришла, спала бы себе спокойно, ведь я не один, а с Гургеном (а в душе подумает, что мог бы и один добраться до дому — не маленький).

...Рядом с ходиками — фотография в металлической рамке — я и Бакар. 11 лет назад. Гогита как раз болел корью. Бакар — в морской форме, он тогда работал старшим в ремонтном депо Батумского порта. Я в белом шелковом платье и в пушистом берете. Как я любила фотографироваться! Бывало, снимет меня кто-нибудь из знакомых, а карточку не пришлет. Я годами помню и все мечтают эту карточку получить. Интересно бы сейчас поглядеть на такую фотографию! Волшебной силой обладают старые снимки. Так и кажется, что хотят они что-то сказать, сообщить тебе о том, чего ты не замечала на протяжении многих лет, хотя оно находилось рядом с тобой и имело большое значение для твоей судьбы. Но фотографии молчат, не хотят говорить всего, или не могут, и только смотрят на тебя. Удивительно — собственное лицо иногда кажется таким

странным. Наверное, любому из знакомых выражение твоего лица известно лучше, чем тебе самой...

Я гляжу на фотографию и горько усмехаюсь в душе. Могла ли я тогда думать...

Глупо сниматься вместе, пройдет время и безжалостно надсмеется над тобой. Та самая улыбка, которая навечно запечатлена на фотографии, превратится в насмешку над тобой, многозначительно глянет на тебя: легко быть вместе на картоне!

Я оглядываю комнату — найти бы какое-нибудь дело, чтобы убежать от мыслей. Я знаю, что все равно никуда мне от них не скрыться, что в конце концов они одолеют меня, но каждый вечер я все-таки начинаю борьбу с ними, не желая сдаваться заранее. Но заняться мне решительно нечем. Со стола давно убрано, посуда вымыта, белье выглажено еще с утра... Ах, да! Ведь у меня порвался чулок!

Я поднимаю подол своего домашнего халата и, нагнувшись, гляжу на ногу. До самой щиколотки потянулась длинная петля, и кожа белым лучом просвечивает сквозь нее.

Починка чулка не спасла меня. Рукоделье, должно быть, создано для длинных, бесконечных мыслей, а я взялась за него, чтобы, наоборот, от этих мыслей избавиться.

Из кухни доносится звон посуды. Я радуюсь — это, наверное, тетя Пело готовит ужин. Пойду помогу ей. Тетя Пело — наша хозяйка, муж ее — пенсионер, старый железнодорожник, умер четыре года назад, и она осталась совсем одна. Поэтому, должно быть, приняла нас к себе охотно и денег запросила очень мало.

— Нет, Элико, детка, не беспокойся, у тебя своих дел достаточно!— говорит тетя Пело и отнимает у меня сковородку, сбивалку и бутылку, побелевшую от муки, которой она раскатывает тесто. Ступай отдохни, я сама управлюсь...

Внезапно она замолкает, а потом спрашивает меня:

— Гогита уже ушел?

Она старается не глядеть мне в лицо, хотя я знаю: ей интересно, плакала я сегодня или нет, но она сдерживается, чувствуя, что мне неприятен любопытный, испытующий взгляд.

Я опять возвращаюсь в комнату, распускаю перед зеркалом косы и причесываюсь, запускаю в волосы все десять пальцев — ищу седые волосы. Один волосок есть и у Гогиты, ему было пять лет, когда я его обнаружила.

«Элико, срезала бы ты волосы, — говорил мне Бакар, — куда такие длинные!»

И эту его просьбу я не выполнила.

Это он сам мне сказал: такую незначительную просьбу — и ту не смогла выполнить. Сказал — и стал прядь моих волос на палец накручивать. Раньше он не обратил бы внимания и не запомнил бы, выполнила я или нет его просьбу...

...Нет! И расчесывание волос придумано для тяжелых бесконечных мыслей... Не хочу, не могу... Мое лицо в зеркале еще раз убеждает меня, что я обманываю себя, что никуда мне от мыслей не деться.

Подхожу к шкафу с книгами: знакомые корешки, знакомые названия. Вот эту книгу я начала, да так и не кончила...

Мне вспомнились герои романа — два брата, оба инженеры... работают над изобретением телевизора, волнуются, появится или нет на экране изображение — в этом месте я как раз остановилась... Младший брат у телевизора один, увидит он или нет на экране брата и любимую девушку, находящихся в соседней комнате. Если увидит,— значит, они победили...

Я, помню, читала вслух, а Бакар ужинал. Вдруг он прервал меня. «Вот теперь заработает их изобретение,— засмеялся он, — и младший увидит на экране, как старший брат целует его любимую. Вот увидишь, если не так!»

Но было не так.

«А чего же тогда автор уверял нас, что девушка нравится и старшему», — с упреком бросил Бакар.

...Нет, ничего не получается. И читать не могу, и делать ничего не могу, со всех сторон наступают воспоминания, наплывает лицо Бакара... Что он наделал, господи, что он наделал! Глаза у меня наполняются слезами, сердце сжимается, дрожит подбородок, я без сил опускаюсь на стул и, чувствую себя разбитой и опусто-

шенной, покоряюсь мыслям, словно рабыня. Так было вчера, позавчера...

И так же, как вчера и позавчера, как месяц назад, вспоминаю тот день...

Это было в прошлом году, вечером девятнадцатого октября...

После обеда Бакар и Гогита пошли в цирк. Я осталась дома варить айвовое варенье. И вообще я не люблю цирк. Тетя Пело помогала мне чистить айву, мы сидели в кухне и мирно беседовали.

Вдруг зазвонил телефон!

— Кому это я понадобилась! — проворчала тетя Пело, отбросила нож, отряхнула передник и пошла в свою комнату. Скоро она вернулась.

— Тебя, дочка!— сказала она, берясь за нож.

«Наверное, Бакар,— подумала я,— взял все-таки и мне билет, хочет, чтобы я тоже пошла... Придется пойти, за вареньем тетя Пело присмотрит».

— Элене?— раздался в трубке мелодичный мужской голос. Тут же у меня промелькнули лица нескольких знакомых, я даже успела подумать, кто, откуда звонит и по какому делу. Но все мои предположения оказались ошибочными.

— Да, это я!

— Простите, что я вас беспокою, но...— мужчина говорил по-русски, очень чисто, без обычного для всех нас акцента.

— Кто это говорит?

— Вы меня не знаете...— Мне показалось, что голос задрожал.— В данный момент это не имеет значения... я хотел... я считаю своим долгом предупредить вас, сообщить весьма неприятную вещь...

Я представила себе всякие ужасы... Гогита... Бакар... Этот человек, наверное, звонит из милиции...

— Что случилось, говорите, прошу вас! — закричала я.

— Все еще можно поправить. Это зависит от вас...

«Зависит от меня?»

Что может от меня зависеть!

Наверняка он меня с кем-то путает!

— Простите, вы куда звоните?— спросила я неволь-

но по-грузински. Человек, видимо, не понял, и я повторила свой вопрос по-русски.

— Я звоню к вам, именно к вам... Я долго сдерживался... Но больше не могу... Я ничего не смог сделать. Я чувствую, что поступаю не очень красиво, мужчина не должен так унижаться, но другого выхода у меня нет...

Я почему-то подумала, что какой-то мальчишка решил развлечься, взялся за телефон, чтобы в шутку объясниться мне в любви. Сейчас он заявит, что другого выхода у него нет и он кончает с собой и только я могу его спасти...

— Знаете, что я вам скажу,— проговорила я сердито,— вы найдите для подобных шуток кого-нибудь другого. А если осмелитесь позвонить еще раз, я сообщу в милицию!

Я повесила трубку и направилась к кухне. На полпути меня остановил звонок.

— Оставьте, тетя Пело! Какой-то бездельник развлекается!

Но телефон упорно продолжал звонить, действуя на нервы нам обеим.

Решив как следует отругать нахала, я подняла трубку.

— Молодой человек...

— Я не молодой человек. Мне давно за пятьдесят...— Теперь я явственно услышала, что голос дрожит. — Я не хотел вам говорить прямо, но, видно, придется сказать. Если вы дорожите своей семьей — следите за вашим мужем...

— Как вы сказали? Следить за мужем... — Теперь и у меня задрожал голос.

— Бакар ежедневно встречается с некой особой, они все время вместе... Ездят за город... Я предупреждаю вас, чтобы вы вмешались вовремя... Если вы любите вашего мужа... — Мужчина повесил трубку.

У меня на губах застыл вопрос: «Кто вы такой? Откуда вам все это известно?»

Я долго стояла, не опуская трубки, сигналами зловещей тревоги раздавались в ней короткие, частые гудки. Я не знала, что мне делать, что думать. Мне казалось, что земля уходит у меня из-под ног. Шутка? Или

правда? Если это была шутка, почему я не рассмеялась от души: что он болтает, этот парень, или этот мужчина, которому за пятьдесят! Почему я сразу вспомнила нередкие в последнее время упреки Бакара, что я мало уделяю ему внимания, что я все время утомлена, что я забываю, что он живой человек, мужчина... Почему я вспомнила все это?

А если все, что говорил этот человек, правда, почему я не заплакала и не почувстовала себя самой несчастной женщиной на свете? Наверное, слишком счастливой... да, слишком счастливой казалась мне беспечная жизнь, если я посчитала случившееся глупой шуткой, и, наверное, слишком сильным было желание сохранить это счастье, чтобы поверить правде.

Я все дрожала, каждый нерв во мне был напряжен до предела. Я чувствовала, что уже не смогу безмятежно болтать с тетей Пело. Со всех сторон нахлынули на меня тяжкие мысли, самые незначительные события прошлого предстали в новом свете. Улыбка Бакара, его ласка, его «ухожу» и «опаздываю» наполнились новым содержанием. Словно со всего спала маска, и улыбка стала лицемерной, ласка — лживой.

— Что с тобой, Элико?— услышала я взволнованный голос тети Пело.

— Звонил мой брат, — (я ухватилась за первое, что пришло мне в голову),— у него заболел ребенок. Он просит меня привести врача.

— Иди, дочка, иди скорей! Бедняжка, сейчас все болеют гриппом.

Не знаю, поверила ли мне тетя Пело, но я должна была сию минуту увидеть Бакара, убедиться, что все ложь, что я по-прежнему счастлива, что у меня крепкая семья: прекрасный сын и любящий муж.

Через пять минут я уже бежала по набережной к цирку. Не помню, как я оделась, не знаю, что собиралась сказать Бакару. Может, он должен был сегодня встретиться с той женщиной. Но зачем он тогда взял с собой Гогиту? Чтобы обмануть меня?.. А кто этот мужчина, что мне звонил? Откуда он знает Бакара? Или откуда он узнал, что Бакара нет дома?

Бесчисленные тревожные вопросы вспыхивали в мозгу и не отступали, не исчезали, как не исчезают в бур-

ном море мутные волны. И все вопросы оставались без ответа, достигали неведомого берега и разбивались об него. И мне казалось, что все это игра, что когда-нибудь мне в самом деле кто-то вот так позвонит, я взволнуюсь и выбегу на улицу искать Бакара, но сейчас... Сейчас я только играю, пока ничего не случилось... Мне просто захотелось пойти в цирк...

Я прошла мимо здания шелкоткацкой фабрики. Сколько раз я заходила сюда в дни зарплаты, чтобы взять у Бакара деньги на обед...

Бакар не остался в аспирантуре, окончил заочный и увлекся изобретательством. Начал работать на фабрике. У него уже шесть патентов на изобретения. Может, он уже и седьмой получил, не знаю... Второй месяц я ничего не знаю о его делах...

«Зачем ты кончала филологический, — часто говорил мне Бакар, — изучила бы лучше иностранные языки, сидела бы себе дома (можно подумать, что я сейчас не дома сижу), ученики бы к тебе приходили...»

Цеха шелкоткацкой фабрики были ярко освещены. Доносился слаженный гул станков, за каждым окном колыхались радуги пестрых нитей.

Я вышла на площадь Героев и взглянула на цирк. Круглое здание, взгромоздившееся на гору, длинная лестница, освещенная с обеих сторон лампионами. По лестнице спускались люди. Я спряталась в тени дерева и начала вглядываться в толпу...

Прошел целый век, лестница опустела, а Бакара не было видно. Страшное подозрение закралось мне в душу. Неужели он обманул меня и пошел куда-то в другое место? Но Гогита? Вдруг мной овладел страх, страх, что подозрения мои могут подтвердиться... Я не думала, что при виде Бакара страх этот усилится...

Они шли как приятели, огромный, широкоплечий Бакар и маленький, хрупкий Гогита. Мои любимые, самые любимые люди на свете... Бакар курил, Гогита о чем-то оживленно ему рассказывал. Я не часто видела на лице моего сына такое счастливое выражение. Я вздрогнула, растерялась: а как я объясню, почему я здесь? Я представила себе их удивление и побежала, побежала как пристыженная одураченная девчонка, которая думает, что, если она спрячется, стыд пройдет сам по себе.

Поздно ночью, когда за занавеской, натянутой между книжным шкафом и буфетом, раздалось глубокое спокойное дыхание Гогиты, Бакар приподнялся на своей кровати и шепотом спросил:

— Почему ты не спишь?

— Не знаю... не спится...

— Ты случайно не больна?

Почему мне его голос показался таким теплым, ласковым. Угрызения совести, наверное, рождают излишнее сочувствие.

— Нет, я не больна... Все уже прошло.

Кровать заскрипела, я думала, Бакар собирается перейти ко мне, но ошиблась, он снова лег.

— Я как раз сегодня на работе думал: уж не беременна ли ты?

— Нет, Бакар!— Невольно я усмехнулась так горько, что спохватившись, добавила, чтобы он ни о чем не догадался:— Я бы сказала тебе.

А про себя я подумала: «Как ты наивен, мой любимый, до чего же ты наивен...»

— Тетя Пело спросила меня, как твой племянник. С ним что-нибудь случилось?

— Ничего!— сказала я, почему-то вдруг почувствовала, что если я сейчас не выскажу всего и не разберусь во всем, потеряю покой и не засну.

— А почему звонил твой брат?

— Звонил не он. Звонил какой-то мужчина.

— Мужчина? А что он хотел?

— Не знаю, какой-то русский...

Наступила мертвая тишина. Я почувствовала, как Бакар затаил дыхание.

— Русский... А что он сказал? — проговорил он с трудом.

— Да ничего...— Я тихонько рассмеялась, как заранее смеется рассказчик веселого анекдота. — Проследите, говорит... дурак был какой-то... проследите за своим мужем... наверное, он не туда попал... Ваш муж, говорит, ежедневно встречается с одной женщиной... Господи, сколько на свете ненормальных!.. Они, говорят, за город ездят... я чуть не лопнула со смеха...

Только тиканье ходиков раздавалось в комнате, тиканье ходиков и дыхание Гогиты.

— Ладно, спи теперь... Мне завтра рано вставать,— услышала я голос Бакара, какой-то угасший.— Не следует со всеми вступать в разговоры.

— А что мне было делать, — я словно с трудом сдерживала смех. — Я положу трубку, а он снова звонит... пришлось выслушать!

— Ладно, спи...

Было темно, и я знала, что Бакар благодарен темноте, которая не дает мне видеть его лица. Было темно, и казалось, что мы тоже переговариваемся по телефону.

После долгого молчания Бакар произнес:

— Наверное, ребята с фабрики выпили и решили нас разыграть... Узнаю кто — уши оборву!

Он снова замолчал, а потом добавил нарочито сонным голосом:

— Или ты кому-то нравишься...

Он глубоко вздохнул и размеренно задышал, желая показать мне, что спит.

Но до рассвета Бакар не сомкнул глаз.

Прошло два дня, и мне все стало казаться глупостью. Ко мне вернулось хорошее настроение. Я старалась угодить Бакару, словно желая получить прощение за свою подозрительность, крепче полюбила его. В душе я смеялась над тем болтуном, а еще больше — над собой.

Но на четвертый день снова зазвонил телефон. Теперь незнакомец говорил со мной рассерженно. Вы что, по-русски не понимаете, сказал он мне, чего вы ждете сложа руки? Собственного несчастья?! Но он не назвал ни своего имени, ни имени той женщины...

И так он звонил мне каждую неделю на протяжении двух месяцев. Позже гневный его тон сменился просительным — казалось, что он на коленях умоляет меня... Бакара во время его звонков, как правило, не бывало дома. И я поняла, что незнакомцу известен каждый шаг Бакара и этой женщины...

И только тогда я убедилась, что никакая это не шутка и что я по-настоящему несчастна.

Бакар смеялся надо мной. «Сегодня не звонил твой поклонник?» — спрашивал он, возвращаясь с фабрики. Если я отвечала отрицательно, он выражал мне «сочув-

ствие» и «утешал»: еще позвонит, не волнуйся! Если же в тот день звонок состоялся, я дословно передавала ему наш диалог. Бакар со смехом отвечал: «Этого человека следует поблагодарить за то, что он тебя развлекает».

Теперь, когда я вспоминаю все это, мне становится жаль Бакара — как он старался, как играл, чтобы рассеять мои подозрения.

Потом мужчина перестал звонить, шли недели, а телефон молчал. Я опять собралась было посмеяться над собой, над своими страхами, и ужасами, как однажды....

В один прекрасный день меня вызвали в школу за четвертными отметками Гогиты. Учился Гогита хорошо, и я всячески его поощряла. На обратном пути я решила зайти в «Детский мир» и купить ему какой-нибудь подарок. Гогита знал, что ранее обещанный двухколесный велосипед я ему купить не смогу, и думал, что бы выбрать подешевле.

В троллейбусе было тесно. Мы стояли, и я не знала, огорчаться мне или радоваться тому, что в последнее время Гогите не уступали места, значит, он уже совсем взрослый, а если кто и уступал — он ни за что не садился.

Позади меня кондукторша требовала у какого-то пассажира мелочь. Не помню, обратила ли я сразу внимание на их разговор или потом восстановила его в памяти. Наверное, потом...

— Что делать, дорогая, у меня нет мелочи! — отвечал кондуктору мужчина.

Я услышала этот голос — и быстро оглянулась. Среди пассажиров я заметила высокого мужчину, который с виноватой улыбкой глядел на кондуктора и, видимо, рылся в карманах.

— Когда садитесь в троллейбус — надо позаботиться о мелочи, — так многозначительно внушала ему кондукторша, словно уличала его в роковой ошибке.

— По-моему, вы тоже обязаны...— Пассажир все так же виновато улыбался.

«Он!— мелькнуло у меня в голове.— Его голос!»

Я задрожала и отпустила руку Гогиты, чтобы он не заметил моего волнения.

— Я сейчас выхожу, — продолжал мужчина.— Постараюсь в другой раз...

Кондукторша была сердита и ничего не ответила.

Троллейбус остановился у магазина минеральных вод. Мой незнакомец протиснулся к задним дверям. Я схватила Гогиту за плечи и немного резко подтолкнула его к выходу.

— Мама, а почему мы выходим здесь?— удивленно оглянулся Гогита.

— Пройдем пешком, по дороге в другие магазины заглянем...

На широком тротуаре, между газоном и домами, были выставлены столы с книгами — как раз проводилась неделя детской книги. Незнакомец, сложив руки за спиной, остановился у одного из столов. Казалось, что если исчезнут вдруг столы с книгами и продавцы, и вся улица, и весь город, он все будет стоять, сложив за спиной руки и уставившись в одну точку. Я не знала, что делать: стоит ли при Гогите завязывать с незнакомцем разговор. Но раздумывать было некогда, мужчина мог уйти....

Я осторожно тронула незнакомца за рукав. Он удивленно оглянулся — из-под седоватых бровей глядели на меня умные голубые глаза...

— Простите...— начала было я, но язык мне не подчинялся.

— Я слушаю вас...

«Это он!»

— Простите, что я беспокою вас... Я Элико, Эленэ, жена Бакара... Если я не ошибаюсь, вы мне звонили...

В его глазах отразилась лихорадочно заработавшая мысль. Он быстро нашелся.

— Вы ошибаетесь. Я не знаю вас, я в этом городе вообще ни с кем не знаком!— Сказав это, он повернулся ко мне спиной.

Я покраснела от неловкости.

— Простите...— я глупо усмехнулась. — Сколько дураков на свете, от безделья звонят куда попало... Развлекаются...

Незнакомец резко обернулся. Его спокойное лицо неузнаваемо изменилось, гнев и грусть мелькнули одновременно в его глазах и горькой складке губ.

— Развлекаются?! Вы сказали, развлекаются! — Он усмехнулся.

— Да... Мне ваш голос показался знакомым. Видимо, я ошиблась, простите!

— Нет, вы не ошиблись. Я действительно звонил вам! — Он сказал это так просто, будто ничего не случилось, будто он давно знаком со мной, знает мой характер и привычки, предвидит заранее все мои вопросы и ответы, и ничему не удивляется! — У вас хороший слух,— добавил он,— но теперь наша встреча не имеет уже никакого смысла.

— Почему! Что случилось! — вскрикнула я, невольно привлекая внимание прохожих.

— Как я просил, сколько умолял... — Мужчина протянул ко мне руки, и на лице его выразился неподвластный словам упрек в том, что я очень легко могла помочь ему, — и не захотела. Но в ту же минуту взгляд его изменился, на лице появилось ничего не говорящее выражение. — Теперь уже поздно. Майя добилась своего, не знаю, как это ей удалось... Она ушла от меня.. Три недели назад.

— А кто это — Майя?!

— Моя бывшая жена.

— Та самая женщина, с которой...

— Та самая... — подтвердил мужчина и, холодно кивнув, отошел от меня.

Земля сдвинулась и не могла остановиться, почва колебалась у меня под ногами. Чтобы не упасть, я оперлась на плечо Гогиты и только тогда заметила в его больших растерянных глазах совсем новое, незнакомое выражение.

Гогита недостаточно хорошо знает русский язык. Я убеждена, что он не мог до конца понять нашего разговора. Мне самой хотелось рассказать ему все, своему сыну первому доверить свое горе. Но я совершила бы недоброе дело...

Гогита самозабвенно любит отца, Бакар для него все, и отец, и самый близкий и любимый друг... Я помню, часто глядя на них, думала о том сильном чувстве, которое называется мужской дружбой.

Бакар не удивился. По-моему, он даже обрадовался, что я все знаю. Сам я никогда бы не смог признаться, сказал он.

— Думай обо мне, что хочешь, презирай, ругай, хоть к смерти приговаривай, только поверь — все получилось помимо моей воли, я долго с собой боролся, но ничего, тщетно. Я сам не понимаю, что со мной происходит. Клянусь тебе, Элико, Гогитой клянусь, я не знаю, как это все могло случиться...

— Уходи! — сказала я. — Уходи!

И Бакар ушел.

Господи, неужели существует на свете бóльшая боль? Сначала тебя выбирают из всех и говорят, что ты — самая красивая, самая умная и самая желанная, что ты приносишь радость... А потом вдруг ты убеждаешься, что все это ложь... Оказывается, ты не была единственной для этого человека... Другая со своей любовью оказалась более привлекательной, более желанной. Душа другой показалась богаче, жизнь с ней — интереснее... И будут они теперь вместе, и ты не узнаешь ни об их радостях, ни о печалях, так же как ты сама скрывала свои заботы и радости... Словно ты жива и мертва в одно и то же время. Вроде ты уже не существуешь, не живешь, исчезла... И тебе только кажется, что ты живой человек...

Я знала, что Бакар еще зайдет, зайдет за своими вещами, книгами.

В тот вечер я была одна. Тете Пело прибавили пенсию, и она пошла в железнодорожное управление за какой-то справкой. Гогита смотрел телевизор — передавали соревнования по боксу. Я закрыла дверь в коридор и пошла в ванную.

От горячей воды кожа сразу покраснела, окошко в ванной запотело. Не знаю, сколько времени прошло, когда сквозь шум душа я услышала, как скрипнула дверь. В коридор кто-то входил. По звуку шагов я узнала Бакара. Дверь в ванную была приоткрыта... но... вода так шумела, что я не могла слышать, что кто-то вошел... не могла... из-за того, что шумел душ...

— Ух!—смущенно воскликнул Бакар, быстро повернулся, собираясь выйти, но внезапно остановился, слов-

но какая-то сила подтолкнула его и закружила голову. Он посмотрел на меня и застыл.

— Выйди! — сказала я. — Сейчас же выйди!

Я хотела крикнуть ему: убирайся, но не решилась.

— Элико!..— Он опустил голову, но снова поднял ее и стал глядеть на меня. Сделал в мою сторону неуверенный шаг и дрожащим голосом произнес: — Прости меня.

Какой-то тайный голос подсказал мне, что это была не просто просьба о прощении из-за того, что он вошел в ванную, речь шла о большем. Я поняла, что эти слова родились у Бакара здесь, сейчас, что до сих пор он не думал просить прощения. И все-таки я почувствовала себя бесконечно счастливой. В этот короткий миг, словно порох, взорвалась в моем существе буйная радость и обожгла блаженством каждый мускул...

— Выйди! — повторила я, прикрываясь большим полотенцем.

— Я жду тебя!— прошептал Бакар и вышел, вынося за собой струю пара. Едва он вышел, у меня вырвались рыдания. Я закусила губу от горечи. Если бы я могла отделиться от своего тела. Я не хотела такой ценой сохранить мужа.

Бакар ушел... Хорошо, что он ушел, сумел одолеть свое безволие, унес с собой минутную страсть. У него теперь новая любовь, и к старой он не вернется. Я дала ему возможность одуматься — и он ушел.

Целый месяц о нем ничего не было слышно. Никто не встречал его. Он не прислал нам ни копейки. Потом пришла повестка из суда: Бакар подал заявление о разводе. Я сослалась на болезнь и отправила в суд письменное согласие. Ребенка я просила оставить мне. Где-то в глубине души я надеялась, что из-за моей неявки суд отложат и нас не разведут.

Нас развели... Словно орех, раскололи нашу семью и разделили пополам самую сердцевину.

Что я скажу Гогите? Он так любил отца!.. Если Бакар опаздывал с работы, он не отходил от окна, хныкал — где отец. Потом подрос и уже стеснялся так откровенно выражать свои чувства, стал более сдержан. Но я видела — он по-прежнему любит отца. Это было бессознательное стремление к более сильному сущест-

ву, которое может спасти от любой беды, разгадать все загадки жизни, без участия которого никакой цены не имели радости и успехи. Все это Гогита чувствовал, как олененок ощущает величие оленя-вожака.

Что мне было делать? Как унизить в глазах сына такого дорогого для него человека? Унизить? Я не была уверена, что Гогита осудит отца. Нет, надо придумать какую-нибудь очень искусную ложь...

Но пока я придумывала причину — правда опередила меня: Гогита услышал разговор соседей. Весь день он ходил мрачный, ничего не брал в рот, дулся на меня. Я была удивлена: он вел себя так, как если бы я не пустила его на день рождения к товарищу или не дала денег на покупку лыж или боксерских перчаток. Но вскоре я поняла, в чем дело: Гогита думал, что мы с Бакаром просто повздорили и отец рассердился и ушел. Так было однажды, года три назад. И Гогита верил, что Бакар вернется через неделю-другую, как и тогда, после той глупой ссоры.

Но время шло, а Бакар не возвращался. Гогитой овладевало беспокойство. Он не говорил мне ничего, видимо считая меня виноватой в уходе отца. Он чувствовал, что я тоже переживаю, и не хотел добавлять мне огорчений. Раз или два он звонил на фабрику, но с отцом ему поговорить не удалось. Тогда он решил прямо пойти туда...

В тот вечер, когда он вернулся домой, я чуть не вскрикнула, открыв ему дверь. Не знаю, что меня напугало. Казалось, ничего особенного с ним не произошло. Он не выглядел ни взволнованным, ни подавленным неожиданной страшной вестью. Но передо мной стоял другой Гогита, — казалось, что из его глаз кто-то старательно выклевал все детство, не оставив искорки наивности и доверчивости...

— Ты видел отца?

— Нет... он в отпуске...

Он снял ботинки и, совсем как взрослый (или мне это только показалось), прилег на тахту.

— А где же ты был столько времени?

— У начальника цеха...

Сердце у меня сжалось: «Неужели они ему все сказали!»

— Ну и что? Сказал он, где отец?

— Он не знает...

— А что же он тогда знает?

— Ничего... Он даже не знал, получаем мы деньги или нет.

Только у мстителя мог быть такой безжалостный взгляд, как был у моего сына.

— Что... деньги? — Я сделала вид, что удивляюсь.

— Ты, говорит, еще несовершеннолетний, и до восемнадцати лет он обязан тебе платить!

Гогита подложил руки под голову и уставился в потолок. Я чувствовала, как ему сейчас тяжело. Его предал отец, самый дорогой, самый сильный и самый справедливый человек на свете.

Теперь Гогита все знает, знает, почему ушел отец, знает, что я не виновата. Но странно — он все-таки ждет отца. Мне он в этом не признается, но я замечаю: он старается больше читать (чтобы потом рассказать отцу), возится с конструктором (чтобы потом показать ему). Прошел всего месяц, и он надеется...

— Мама, а на сколько дней берут отпуск? — спросил он вчера, когда мы возвращались домой...

...Ой, уже половина одиннадцатого!

Я так быстро вскочила, что уронила стул, хорошо еще, он зацепился за тахту, не то бы проснулась тетя Пело.

На столе я заметила пирог, не помню, когда тетя Пело успела его занести, и поблагодарила ли я ее... Да, кажется, поблагодарила, а пирог она не занесла, а заглянула в открытую дверь и окликнула меня... Хорошо, Гогите будет чем полакомиться...

Сейчас окончится последний сеанс, через двадцать минут Гогита освободится. Я бы не пошла за ним, но боюсь, он не дождется Гургена и побежит домой один.

Я не смогла отказать ему — сейчас каникулы, бесплатное кино так соблазнительно!

Его зарплата?.. Смешно, но я до сих пор почему-то верю, что все изменится. Мне кажется, если Бакар узнает, что Гогита работает, — его замучает совесть, он поймет, какую ошибку допустил, и вернется.

Но Гогита не понимает, и не может понять, что его заработок и удовольствие — для меня сейчас не самое

главное. Я ставлю чайник на плитку, тихонько запираю дверь и спускаюсь по лестнице, я должна спешить,— чтобы Гогита не ушел, не дождавшись меня.

Улица совсем пуста. Неужели так поздно?

2

Я переключил скорость и повел машину по подъему. Толчок разбудил Майю, она глубоко вздохнула и села удобнее. Ее не стало видно в зеркальце, прикрепленном впереди над стеклом. Зеркало словно ослепло. Я сдвинул его так, чтобы видеть Майю. Теперь мне хорошо был виден ее белый гладкий лоб, чуть вздернутый нос и выразительные губы. Я понял, что она не спит.

На рассвете мы выехали из Саирме. Завтра нам выходить на работу. Кончился наш отпуск и наше... свадебное путешествие.

Как избегаю я этих слов, стараюсь их забыть, но, наверное, именно поэтому они ежеминутно приходят мне на ум.

У нас с Элико никакого путешествия не было. Нам тогда было не до этого... После я каждый год обещал повезти ее в Ленинград, Ригу или за границу по путевке... А в этом году я получил наконец отпуск, взял напрокат «Москвич» — и мы поехали в путешествие. Через четырнадцать лет после свадьбы... Но моя жена такая же красивая и молодая, я так же безумно люблю ее, так же клянусь ей, что дороже ее нет у меня на свете никого, что нас ничто не разлучит, кроме смерти... Все так же, но мою жену теперь зовут Майей, у нее другое лицо, другой характер, другие привычки...

Я не могу сказать, что не любил Элико, что ошибся в своем выборе. Кто знает, может, именно теперь я ошибаюсь... Это узнается позже, может, еще через четырнадцать лет.

Но произошла удивительная история. Меня околдовали! Еще никто не видел заколдованного человека. Это обычно так говорят, чтобы усилить впечатление. А я, наверное, первый человек на земле, которого в самом деле околдовала женщина. Должно быть так, потому что я в полном сознании и понимаю, где

мудрость, а где глупость. Я считаю себя порядочным человеком, знаю цену семье, понимаю, что не следует бросать на произвол судьбы жену с ребенком. Знаю, что меня ждут упреки, чувствую, что меня вспоминают каждый день и, возможно, проклинают. Но я ни перед чем не остановился, ни перед чем...

Причина всему — гордость Майи. Кто не видел женщины, возгордившейся из-за своей неземной красоты? Эта гордость врожденная, она рождается вместе с красотой, с красотой и умирает, как свет рождается и умирает с огнем. Но у Майи была совсем другая гордость. Здороваясь с вами, она не улыбалась, не была ни холодной, ни любезной, словно выполняла докучную обязанность. Со мной она здоровалась слабым кивком головы, только потому, что так уж принято — приветствовать сослуживцев. Ни один мускул не дрогнет на ее лице — кивнет и пройдет мимо. Так вот этот пустяк, этот кивок, безликий, ни о чем не говорящий, уничтожал тебя и заставлял думать, что ты вообще не существуешь, а если и существуешь, то напрасно — лучше бы тебе вовсе не родиться, потому что красивейшая из женщин не замечает тебя. Небрежный кивок ее следовало понимать так: «В тебе нет ничего, что было бы достойно крупицы моего внимания».

Позже я заметил, что Майя такова со всеми на фабрике. Для нее, казалось, мужчины не существует вообще. Никто не был достоин ее близости. Я сравнивал себя с одним из бесчисленных рабов, преданных своему повелителю. Но повелитель и знать не знает о его существовании. И у раба постепенно возникает ненависть, жажда мести за то, что сравняли с землей его человеческое достоинство. Он, как воздуха, жаждет свободы, ему мерещится павший к его ногам порабощенный повелитель, и это видение наполняет блаженством измученную душу...

Однажды я представил себе, что где-то в далеком городе далекой страны так же гордо ходит юноша, он не замечает женщин вокруг себя. Они ему не пара... он ждет другую... Я очень ясно представлял себе лицо этого юноши, его горделивую походку, его улыбку, выражение лица, потому что я не мог поверить, что в мире нарушено равновесие — и нет нигде ровни для

Майи. Но постепенно эта далекая страна и город стали стираться в моем воображении, исчез и выдуманный юноша, а его лицо, улыбка и походка стали походить на мое лицо, мою походку, мою улыбку.

Я ходил как лунатик. Приходил в себя только когда встречался с Майей. Ее безжалостная красота обливала меня холодом, я дрожал, потому что чувствовал, что в ее спокойных глазах я не больше чем песчинка. Спокойных?.. Покой был только первой завесой, за ним в бездонных зрачках пряталась вторая завеса — трепетная и волнующая, приоткрыть которую могла только сильная игра страстей. И я хотел исполнять в этой игре заглавную роль. Я решил заполучить ее во что бы то ни стало — силой или доброй волей, хитростью или в открытую. Я не считался с тем, подходит мне эта роль или нет, принадлежит ли она мне по праву.

Майя приходила на фабрику всегда нарядно одетая, входила в свой кабинет, надевала белый халат и садилась в ожидании больных. Немного портило ее обилие украшений...

Вот и сейчас, я вижу в зеркале брильянтовые сережки в ее ушах, тонкую золотую цепочку, которая уходит за глубокий вырез платья. Если я опущу зеркало — увижу и ее руки, украшенные кольцами и толстым серебряным браслетом... Я хотел повернуть зеркало, как вдруг заметил, что брильянт в сережке загорелся алым пламенем, словно зерна граната. Я поглядел на дорогу и увидел такую прекрасную картину, что не мог вздохнуть от восторга.

— Майя, Майя!— отчаянно закричал я, чтобы она проснулась и тоже насладилась этой красотой. Мы приближались к перевалу. Нам оставалось совсем немного до вершины. Впереди, по самой седловине, шла арба, медленно и лениво, будто вовсе с места не двигалась. Между дорогой и колесами арбы проглядывал кусочек неба, внезапно заполнившийся красным солнцем. Создавалось впечатление, что быки ступали по воздуху, к солнцу.

— Майя, проснись, Майя!

Я остановил машину, опасаясь, что мы слишком скоро догоним арбу и прекрасное зрелище исчезнет.

Я перегнулся к Майе и тихонько коснулся рукой ее щеки.

— Майя, милая, погляди, как красиво!

Она потянулась, провела кулачком по глазам и быстро подалась вперед.

— Что случилось?

— Ты только взгляни! — Я указал рукой на вершину. Я не глядел больше на солнце, пылающее меж колесами арбы, я глядел на Майю. Никогда ничего не доставляло мне такого счастья, как блеск ее восторженных глаз. Я и теперь не хотел лишить себя этой радости. Майя глядела на солнце, а я на Майю. И не могу сказать, кто из нас в эту минуту испытывал большее удовольствие.

— О, Бакар!— Она потерла лоб, словно пытаясь разгладить морщинку восхищения, возникшую между бровями: — О, Бакар... Ты видишь! — она говорила так, словно сама обнаружила эту красоту и замечала в ней больше, чем я.

Арба ушла под гору... Исчезли быки, солнечный диск сначала приник к силуэту аробщика, сидящего на облучке, потом перекатился на копылья и мягко опустился на вершину. Мне показалось, что он подскочил, словно мяч, и застыл.

Мы оба затаив дыхание глядели на солнце, взобравшееся на верхушку горы, которое поглотило арбу и теперь ждало нашей машины.

Когда мы одолели подъем, солнце внезапно отлетело далеко-далеко, и между нами и солнцем всплыл бескрайний мир — зеленеющая имеретинская равнина и села, прилепившиеся к склонам гор.

Когда мы подъезжали к Лихи, дождь перестал. Раскаленный спуск дымился под солнцем, и дорога высыхала на наших глазах. Пушистые, умытые, сверкающие облака летели к солнцу, как белые бабочки.

Я ехал с выключенным мотором, и мы бесшумно скользили по спуску. Я экономил последние капли бензина, чтобы добраться до Хашури. Майя теперь сидела рядом со мной. После сна ей было холодно, и она накинула на плечи мой пиджак. Она глядела на ущелье и о чем-то думала.

— Бакар!

Я повернул голову — мол, слушаю. Она слишком

долго молчала, потом, вероятно, сама почувствовала это и вдруг заговорила.

— Бакар... когда мы выедем на прямую дорогу, ты посадишь меня за руль?

— После Хашури,— ответил я, понимая, что она хотела сказать совсем другое, но не подал виду и продолжал:— А кто тебя научил править?

Она оживилась, но тут же печаль затенила ее лицо. Ее выразительные черты с удивительной быстротой отмечали малейшие изменения в настроении.

— Отец!— ответила она, откидываясь на спинку сидения, и опять взглянула на ущелье. — Я была тогда на втором курсе.

«Отец», — повторил я про себя.

Смерть этого человека разъяснила мне тайну непомерной гордыни Майи, которая делала вид недоступной и отнимала у меня надежду на ее любовь...

Когда из России пришло известие о смерти отца, Майя заплакала. Майя плакала! Мне это казалось невероятным! Слезы смягчали ее холодное лицо. Майя плакала, я не верил своим глазам, уверенный, что даже смерть отца не сможет вывести ее из равновесия. И когда через десять дней Майя опять вернулась в Тбилиси, я увидел нежную, ласковую женщину. Она казалась такой несчастной, что я даже пожалел ее. Все удивлялись ее перемене. Неужели ее холодность и высокомерие были только маской? Неужели смерть так сильно подействовала на нее и вернула ей человеческую доброту? В конце концов я понял: она была из состоятельной семьи и, пока отец был жив, не нуждалась ни в чьей помощи, ни в чьем сочувствии. Наверное, в душе смеялась она над мужчинами, которые пытались привлечь ее своей высокой должностью...

— Бакар! — услышал я голос Майи.

«Сейчас она скажет», — подумал я.

— Я боюсь... Бакар!

— Чего!

— Боюсь возвращаться в Тбилиси.

Я засмеялся.

— Мне кажется, Сергей поджидает нас у самого въезда в город и что-нибудь сделает.

Я захохотал, чуть не выпустив из рук руля, но по-

чувствовал, что смех получился вымученный. Он походил на смех актера, который только и ждал реплики партнера, чтобы разразиться хохотом.

«У Сергея есть на это право», — подумал я.

Мы молчали. Потом я спросил:

— Ты любила его когда-нибудь?

— Только один день.

— Знаю, — прервал я, — тот самый день, когда вы расписались... до рассвета.

— Да, до рассвета! — повторила Майя, быстро взглянув на меня.

Майя училась на третьем курсе медицинского института, когда вышла замуж за Сергея. Он тогда работал в больнице — был ассистентом ее отца. Не знаю, как это случилось. Как они отступили от мечты.

Духовно богатый и сильный человек может ввести женщину в новый мир, сделать ее счастливой.

Такого мира Сергей, наверно, создать не мог. Может, из-за большой разницы в возрасте. Сергей всячески оберегал «своего ангела» (так он называл Майю)... О разводе не было и речи, но «ангел», окончив институт, расправил крылья и полетел за Кавказский хребет, в Тбилиси. Сергей часто приезжал ее навестить.

Однажды я встретил Майю на спуске Элбакидзе. Она была очень взволнована, щеки у нее пылали от гнева. Это было вскоре после смерти отца. Я остановил ее.

— Что с вами?

— Ничего!— ответила она, продолжая свой путь, немного, правда, замедлив шаг.

Она не хотела говорить, а мне не хотелось спрашивать вторично. Она шла впереди меня, оставляя за собой слишком сильный, но приятный запах духов.

— Какие у вас хорошие духи, Майя! Как они называются?

Только я это произнес, как она остановилась, раскрыла коричневую сумочку на длинном ремешке и заглянула в нее. Запах усилился.

— Ой, пузырек сломался! — с сожалением воскликнула она, осторожно двумя пальцами доставая осколки и бросая их под дерево. Она доставала осколки и выбрасывала, но они все не кончались.

— Так ничего не выйдет.— Она достала из сумки гребешок и четырехугольное зеркальце и протянула мне.— Простите, Бакар, но вам придется подержать это минутку.

Потом она передала мне паспорт и золотые часы без браслета, потом мокрый от духов розовый платочек и деньги. Пустую сумку она вытряхнула. Нежно зазвенели об асфальт мельчайшие осколки стекла.

— Вы что, уронили сумку?

— Нет!

— Ударили обо что-нибудь?

— Да... об голову! — сердито ответила она.

— Об голову? — удивился я.

— Я зашла в магазин выпить воды, — она посмотрела в сторону проспекта Руставели, — меня окружили ребята, стали болтать глупости.

— Ну и что дальше?

— Никак не отставали...

— И тогда?

— Тогда я ударила одного сумкой по голове...

Она протянула руку за своими вещами. Я все отдал ей, кроме паспорта.

— Можно, я посмотрю твою... вашу фотографию?

— Пожалуйста.

Я раскрыл ее паспорт. На этой девической карточке у Майи было такое детски-наивное выражение лица, что я полюбил ее в эту минуту еще сильнее. Я не мог оторвать взгляда от карточки. Тогда я думал, что никогда больше ее не увижу, и хотел навсегда запомнить Майю в юности.

— Какая ты была очаровательная! — невольно вырвалось у меня.

— Давай! — Майя, наверное, обиделась, забрала у меня паспорт и потрясла им в воздухе, чтобы высушить.

— Раскрой, иначе не высохнет! — посоветовал я.

Майя послушалась, отделила друг от друга слипшиеся страницы и вдруг поднесла паспорт к самым глазам. Потом она обратила ко мне посветлевшее и удивленное лицо и воскликнула изменившимся голосом:

— Боже мой, я свободна, Бакар, свободна!

Она, как ребенок, подпрыгивала на месте, словно танцуя. Подол ее платья описывал в воздухе изящные

спирали. Я стоял, удивленный, оглядываясь по сторонам — не привлекает ли поведение Майи внимание прохожих. Потом Майя подбежала ко мне совсем близко, чуть не касаясь щекой моего лица, и раскрыла передо мной паспорт.

— Погляди... Ничего нет!

Штамп регистрации брака под воздействием спирта бесследно исчез.

— У нас есть еще бензин?— Голос Майи отвлек меня от мыслей. Стрелка стояла на нуле.

— Кончился!

— А как же мы едем?

— Тихо!— приложил я палец к губам. — Машина еще не знает, что бензин кончился.

Майя рассмеялась, привлекла меня к себе и поцеловала.

Через минуту мы стояли на дороге и махали каждой проезжающей машине.

— Я не должна была говорить — и машина бы не догадалась, что нет бензина, — улыбнулась Майя.

— Да, не должна была... Иногда и людям не следует указывать на их недостатки, тогда они и сами их не замечают...

— Когда это «иногда»?

— Когда они думают, что хорошо прячут свои печали, а на лице, кроме печали, ничего не написано.

— Ты ошибаешься! — Майя нагнулась и сорвала у края дороги одуванчик. — Я не скрываю никаких печалей. Я просто думаю.

— Это одно и то же.

— Не хочу — и все же думаю, все время думаю... Не о Сергее... чем больше проявляет он свою любовь, тем...— Майя не кончила, сильно дунула на одуванчик.

— А о ком же ты думаешь?

— Об Элико! Я сделала ее несчастной.

— Глупости! Ты не любишь Сергея, а я не люблю Элико. Мы любим друг друга, и в этом никто не виновен...

— Гогита?!

— Мой сын?

— Да! Его же ты любишь.

— Ну и что с того?

— А то, что ты два месяца не видел его... Бакар, я не хочу, чтобы меня проклинали...

— Глупости!

— На улице каждый мальчик напоминает мне Гогиту. Они смотрят на меня, и я не знаю, что думать, может кто-нибудь из них в самом деле Гогита.

— Может быть. Но он не знает тебя.

— Эх, что ты знаешь о детях!

— Подожди, я сейчас... — Я сорвался с места, увидев остановившийся поодаль грузовик.

Через двадцать минут мы уже сидели в хашурском ресторане, в маленьком кабинете, стены которого были обиты темной плотной тканью.

Официант принес бутылку «Свири». Мы наполнили бокалы, чокнулись, мелодично зазвенел хрусталь. Майя немного отпила и поставила бокал на стол.

— Бакар, я не рассказывала тебе?.. Когда я училась в школе, по соседству жила одна старуха, она была верующая, я не раз заставала ее на коленях перед иконой. Она очень меня любила... Однажды она завела меня в свою комнату и, как страшную тайну, доверила: я, говорит, каждую ночь слышу во сне колокольный звон... И звон-то такой, что колокола обязательно должны быть золотые... Вот уже год, как со мной это происходит.

— А потом?

— Потом она стала смотреть на меня очень сердито, редко разговаривала. А еще позже призналась: после того как я тебе это рассказала, колокола перестали звонить. Я боюсь, говорит, нет ли в тебе злого духа?..

— Почему ты это вспомнила?

— Если бы эти колокола раздражали старуху, беспокоили бы, не давали бы ей спать, она могла рассказывать об этом всему городу, они бы не перестали звонить, а напротив — звонили бы еще упорнее, но поскольку они доставляли ей удовольствие, нашли причину — и перестали...

— Колокола?!

— Да, колокола... Так же, как твоя машина нашла причину и остановилась.

— Майя, ей-богу, я не понимаю, что ты хочешь этим сказать... Я, наверное, опьянел... Не обижайся... объясни мне... очень тебя прошу...

— Бакар...— Майя осушила свой бокал. — Бакар, почему для того, чтобы сделать доброе дело, надо бороться, страдать, а зло существует само по себе. И чтобы совершить его, не надо никаких усилий... Оно происходит само по себе. Понимаешь — само? Сам по себе поднимается ураган и все рушит, сама по себе разливается река и затопляет поля, сам по себе рушится дом и погребает под собой людей, но сам по себе он не отстраивается и люди не оживают.

— Если ты пройдешь мимо такого дома, плохо тебе придется, — засмеялся я. — Кирпич падает вниз и никогда не взлетает вверх!

— Вот об этом я и говорю. Почему все гадает, стремится вниз...

— Это не совсем так — ведь существует сам по себе теплый солнечный день... красивые полевые цветы. Мы ведь не тратим ни сил, ни времени на то, чтобы их вырастить.

— Но зато надо иметь право, чтобы любоваться этими цветами. Все свое детство, юность ты должен учиться, работать, создавать семью... — у Майи прервался голос,— создать что-нибудь, чтобы потом иметь право валяться на лугу и вдыхать аромат трав и цветов...

— Вот ты и сама ответила на свой вопрос.

— Нет, я считаю, что раз я появилась на свет, моя доля всего должна принадлежать мне без всяких усилий.

— Ты ошибаешься, прелестный философ, природа думает иначе. Ей нужно, чтобы, кроме тебя, на свет появлялись другие, после еще другие, еще — и так без конца... У нее свои счеты, она не считается с законами общества... природу ты не обманешь,— сказал я и почувствовал, что наша беседа невольно пошла по опасному пути.

Майя странно на меня взглянула, словно я был не я, а какой-то посторонний человек...

— Это значит... природа обманула нас с тобой?

Некоторое время мы молчали, потом я проговорил:

— Наверное...

— Чтобы появлялись на свет еще и еще нам подобные...

— Наверное так, Майя...

— И чтобы забыть тех, кто уже появился и существует?— Глаза у нее расширились и застыли.

Я налил ей вина.

— Кого мы забыли?

— И чтобы мы не помнили, что мы наделали, что натворили?

— А что мы такого сделали, Майя?

Майя выпила вино и поднялась.

— Мы — ничего, это все природа... Мы здесь ни при чем! — произнесла она насмешливо и повернулась к дверям.

— Пошли?

— Пошли, а то я... кажется, опьянела.

Я понял, что и сейчас Майя хотела сказать что-то другое, но не сказала. Мы вышли на улицу. Вокруг моего красного «Москвича» крутились мальчишки. То ли цвет их привлекал, то ли необычная надпись «прокат». Со станции доносилось пыхтенье паровоза и гомон пассажиров. На городе, освеженном дождем, постепенно подсыхала белая рубашка из камня и асфальта.

Майя пошла вперед. Я давно не глядел на нее издалека. И теперь глядел с восторгом и думал, что из всех искусств, наверное, раньше всех возникли живопись и скульптура.

Мне вспомнилась лекция в нашем фабричном клубе. Это было год назад. Нас задержали после работы. Председатель профкома сказал, что пригласили лектора и неудобно, если будет присутствовать мало народу. Клуб был полон. Старенький скромный лектор что-то бубнил о противопожарных средствах. Он не беспокоился, слушают его или нет. Сообщил он всем известные сведения о том, что огонь опасен. Огонь, оказывается, с незапамятных времен вызывал пожары, дерево загорается легче, чем, скажем, железо. Наверное,

председатель профкома знал об удивительных познаниях лектора и заранее принял меры — запер двери клуба. Но молодежь вспомнила школьные и студенческие проделки: ребята тихонько выбирались из окна и прыгали в сад. В конце концов мне надоело зевать, и я тоже убежал. Спрыгнув, я невольно поглядел на окно. На подоконнике сидела на коленях Майя и никак не решалась спуститься. Я поднялся на цыпочки и протянул ей руки. Она доверчиво наклонилась ко мне, и я почти на руках спустил ее на землю... С тех пор мои руки, мои десять пальцев искали Майю, стремились к ней... А сейчас вот она, стоит передо мной, опираясь на машину, и смотрит в небо. Я знал, о чем она думает. Наш разговор неожиданно дошел до того предела, замечать который не хотел ни один из нас,— и прервался.

Но каждый продолжал про себя спор, стремясь прорваться сквозь этот предел. Майя — для себя, я — для себя. Наверное, оба одинаково, одними и теми же словами.

— Я без тебя не выдержу ни минуты, Майя!

— И я тоже, Бакар!

— Поэтому мы на все должны закрывать глаза...

— Но я постоянно чувствую, что глаза мои закрыты насильно, и я открываю их...

— И что же ты видишь?

— Широко раскрытые глаза Гогиты, слезы в глазах Элико, гневный взгляд Сергея и еще чьи-то огромные глаза...

— Глупости, Майя, никто не имеет права... Существует же какой-то предел всему. Восемь ворот у меня открыты: «Входите, пожалуйста», никому не мешаю, но в девятые врата не войдет никто, я ведь имею право что-то запретить людям...

— Да, но нужно тогда быть уверенным, что на свете нет никого, кто имел бы право открыть эти запретные врата...

— Майя...

— Что, Бакар?

— Не будем говорить о правах... Не будем говорить ни о чем. Мы вместе — и, кроме смерти, ничто не разлучит нас.

— Да, Бакар, ничто, кроме смерти...

Майя быстро отвела свои губы от моих и прошептала:

— Стыдно, нас могут увидеть!

Из окна машины я украдкой оглядел улицу, кишащую людьми. Наверное, нас кто-нибудь заметил, но это не имело для меня никакого значения, так я был одурманен лаской, таким острым блаженством было пронизано все тело.

Я погнал машину, и очень скоро мы выехали из города на ровную асфальтированную дорогу. Монотонно и глухо гудел мотор. Шоссе набегало на нас и, казалось, обматывалось вокруг колес. Вдалеке виднелись вершины гор. Незаметно, как стрелки часов, они сдвигались и меняли место. Мы мчались на восток, словно соревнуясь с землей.

Майя что-то напевала и, казалось, не помнила обо мне вовсе. Но ее длинные пальцы, лежавшие на моем плече, передавали тайные ее желания и мысли. В открытые окна врывался ветер, трепал ее волосы, остужал разгоряченное лицо. Мне казалось, что я слышу, как бьется в ее жилах кровь, как приближается с глухим гулом к ее глазам всепоглощающий, палящий огонь... Головокружительная скорость, дыхание, прерывистое, как порывы ветра, мозг, затуманенный вином, и страсть, как горячий скакун... все вместе бросилось Майе в голову, и глаза ее затуманило желание. Не знаю, так ли это было или мне хотелось, чтобы было так.

Майя включила радио, словно почувствовав, что обязательно будет музыка и обязательно такая же пылкая, стремительная, бурная и неиссякаемая. Передавали «Прелюды» Листа. Музыкальные пассажи, убежденные в своем могуществе, упорные, повторяющиеся по спирали поднимались выше и выше, и с каждым повторением становились все более требовательными... Теперь и я уже не мог сдерживаться, музыка увлекла меня, я пел, не слыша сам своего голоса.

Вдруг стало темно. Не прекращая пения, я выглянул в окно. Большое белое облако перегоняло нас, его тень, оставленная позади, волочилась по земле, как длинный шлейф. Потом тень устремилась вперед и

между передними колесами машины и ее краем осталась узенькая полоска света, которая стала расти, словно тень невидимыми лучами поливала дорогу. Перед нами мчался огромный черный безумный заяц и не думал сворачивать с дороги.

— Бакар, давай обгоним, Бакар!— по-детски нетерпеливо кричала Майя, схватив меня за плечи и быстрым движением пальцев выдавая свое волнение и жажду скорости.

Дорога была прямая, как стрела. Машина летела, и тень, скользящая перед нами, расстилалась под колесами, как соблазнительная и обманчивая приманка, будто махала нам рукой, звала куда-то и снова убегала.

— Быстрей, быстрей, Бакар!— кричала Майя.

Я взглянул на спидометр — стрелка колебалась около ста. «Неужели облако движется с такой скоростью? Или у тени — своя скорость?»

— Догоняем, Бакар, догоняем! — хлопала в ладоши Майя.— Мы догоняем облако... природу, саму природу! Понимаешь?!

Солнечная полоса между колесами и тенью в самом деле сократилась, но все же тень не подпускала нас к себе, еще стремительнее неслась она вперед, напуганная упорным преследованием.

Вдали я увидел шлагбаум через железнодорожную линию. К переезду приближался поезд. Потом я увидел, как опустилась полосатая стрела, как пронесся состав и над всем этим — над шлагбаумом, домиком сторожа, зелеными вагонами — прошла гибкая и неуловимая тень нашего облака. Когда я затормозил у переезда, поезд уже прошел, но небритый, черный, как уголь, железнодорожник не спешил поднимать шлагбаум.

— Скорей, товарищ, чего вы смотрите! — таким отчаянным тоном закричала в окно Майя, словно какая-то великая цель, великая истина убегала у нее из-под рук.

Железнодорожник бегом бросился к шлагбауму и торопливо закрутил ручку.

— Бакар, теперь я сяду за руль. Ты же обещал мне! — Майя вышла из машины и обошла ее.

— Все равно не нагоним, Майя, туча ушла очень далеко...

— Нагоним, вот увидишь... Ты слишком осторожен, Бакар!

Я знал, что Майя хорошо водит машину, но помнил и о том, что сейчас она немного возбуждена, а впереди не такая уж ровная дорога. И все-таки отказать я ей не мог. До сих пор я был неотделимой частью машины, теперь Майя слилась с рулем, а я не находил себе места и чувствовал себя бесполезным предметом; руки мои невольно потянулись к рулю, когда Майя чудом избежала столкновения со встречной машиной...

Я помню, как Гогита подносил к лицу стакан с водой маленькой пухлой ручонкой, как терялось за стаканом все личико, а я закрывал глаза и ждал звона осколков... Такое чувство было у меня и сейчас.

Каждый мускул, каждый нерв Майи подчинился одному стремлению. В глазах у нее мелькали искры детского шаловливого упорства. Мы обгоняли и не могли обогнать тень облака. У нас в руках было три чуда человеческого гения — огонь, колесо и мотор. Но облако, которое появилось в мире раньше первых признаков жизни, видимо, чувствовало себя свободнее и увереннее.

И я радовался, что мы не могли его обогнать, радовался нашему поражению. А Майя словно стояла перед самой решающей минутой в жизни,— так ей хотелось победить, освободиться, подняться ввысь и оттуда, с высоты, глядеть вниз высокомерно и значительно.

Она быстро протянула руку и выключила радио, и я понял, что темп музыки мешал ей, замедлял скорость ее стремления, и мы летели навстречу ветру, подъемам и спускам, но облако, подобно времени, убегало от нас.

— Смотри, обгонишь, и нас оштрафуют. — Я попытался пошутить.

— Я должна раздавить эту тень, уничтожить, — твердила Майя.

А у меня перед глазами снова стоял Гогита. Как радовался бы он сейчас — смеялся, хохотал...

...Однажды я проснулся на рассвете. Было уже темно, но за занавеской, между буфетом и книжным шкафом горел свет. «Наверное, Гогита оставил,— подумал я,— читал перед сном и забыл...» Я приподнял занавеску и вижу — Гогита сидит, уставясь в последнюю страницу толстой книги, и из глаз у него текут слезы. Всю ночь он просидел над «Спартаком»... Наверное, плакал над сценой гибели героя... Я тихонько опустил занавеску.

— Обогнали, обогнали! — неожиданно воскликнула Майя и, на секунду оторвав руки от руля, подняла их вверх. — Я же говорила тебе, что догоню!

Мы мчались по мосту через реку Пция, по длинному мосту с белыми перилами. В самом деле, тени облака не было видно. Он куда-то исчез, этот черный безумный заяц. Я только хотел присоединиться к Майиной радости, как вдруг слева, на склоне холма, я увидел мою тень... Да, мою, потому что моим было это облако, потому что опять оно неслось впереди, скашивая по пути нивы. Только теперь оно сменило направление или дорога наша убежала от него и свернула куда-то в сторону. Я поглядел на Майю. Она изменилась в лице, странно заблестевшими глазами поглядела на меня, и мне показалось, что... Нет, клянусь чем угодно, ничего, кроме упрека, не выражали ее глаза. Она вся сникла, потеряла охоту говорить, и я понял, что Майя покорилась судьбе.

Майя покорилась!

До самого Тбилиси за рулем сидел я.

Городские шумные улицы вернули Майе хорошее настроение. Она наклонилась ко мне, поцеловала в плечо и прошептала:

— Бакар, пойдем куда-нибудь сегодня вечером. Мы так давно нигде не были!

Я улыбнулся.

3

Пока первый проекционный аппарат останавливался окончательно, Гурген успевал заряжать второй. Узкий пучок света, словно спасаясь из плена, проникал в четырехугольное окошко, вырезанное в стене, сказоч-

ным дзвом рос, расширялся и бросался на экран по ту сторону зала.

Зрители не замечают, как один аппарат сменяет другой, и Гогита раньше не замечал. А из будки киномеханика все видно. Проходя сквозь четырехугольное окошко, узкий пучок света распускается лучами, разделяется, словно пальцы на руке, эти пальцы разрывают голубые клубы табачного дыма, поднимающегося над партером, и заставляют людей на экране двигаться, разговаривать, смеяться.

Гогита стоит на коленях на табуретке и смотрит через тесное окошко киномеханика на экран. Там давно уже заперты в большой комнате люди, они ищут предателя. На первом сеансе Гогите удалось посмотреть только две части. Тогда собравшиеся подозревали человека, который все время смеялся. Потом они допрашивали красавца, одетого в поповскую рясу. Но оба оказались невиновны. Теперь обвиняли совсем другого, и Гогита затаив дыхание глядел на экран.

— Иди, Гогита, а то не успеешь! — Легкое прикосновение руки Гургена показалось Гогите ударом. Он не сдвинулся с места.

— Ты слышишь, пора идти! В воскресенье, когда работать будет другой, придешь и посмотришь от начала до конца...

Огорченный Гогита с трудом заставил себя спуститься со скамейки.

— Гурген, а что такое камин?

— Камин — ну, печка такая... А ты думал — камень? У камина стоял руководитель подполья, как раз в ту минуту, когда ворвались фашисты... А ну, скорей, одна нога здесь, другая — там! А не то бобина уже кончается!

Гогита взял белую круглую металлическую коробку и спустился по лестнице. Вскоре он появился в партере, пробежал, согнувшись, между последним рядом и ложами, чтобы не помешать зрителям (хотя если бы он на цыпочки поднялся — и то бы никому не помешал). Зал был обнесен деревянной оградой. У входа стояла тетя Марго и, раскрыв рот, смотрела на экран. Она и не заметила, как пробежал Гогита.

«Это потому, что я выхожу, — подумал Гогита,— а

ну, пусть войдет кто-нибудь, моментально за шиворот схватит».

В саду было много народу — кончилось первое отделение концерта, и публика вышла подышать. Гогита с трудом пробирался между гуляющими. Он, кажется, кого-то толкнул, и только пройдя уже несколько шагов извинился, удивив запоздалой вежливостью совсем другого человека. Мысли его вертелись вокруг фильма и той большой, запертой комнаты. Он пытался представить, что произошло потом.

«На нашего руководителя нашпионил кто-то из членов подполья, — объяснял ему Гурген, — ну, фашисты пришли и убили его... А теперь, через десять лет, эта женщина созвала всех, чтобы выяснить, кто предатель».

«На нашего руководителя?» — удивился Гогита.

«Ну да, они же французские коммунисты...»

«Через десять лет?»

«Конечно! Предатель — всегда предатель!»

«А женщина тоже воевала с немцами?»

«А как же? Что, по-твоему, женщина не человек?!»

«А почему она пряталась в подполье?»

«Чтобы истребить фашистов и чтобы был мир и росли такие карапузы, как ты...»

Гогита почему-то думал, что среди собравшихся в комнате нет изменника.

«Он бы ни за что не пришел, — решил он, но тут же сообразил:— Если бы он не пришел, все бы поняли, что именно он предатель... Нет, он бы, конечно, пришел, вроде ни в чем не виноват».

— Эй, Гогита! — С высокой каменной стены, обвитой плющом, спускался Бондо, ногами, он, как слепой, нащупывал опору, руками цеплялся за вьющиеся побеги. Наконец он спрыгнул на землю.

— Я тебе помогу, а ты меня после в кино проведи. Идет?— спросил он, отряхивая штаны.

— Я спешу! — махнул рукой Гогита и быстро пошел дальше.

Бондо — школьный товарищ Гогиты, он все фильмы смотрит здесь, в другие кинотеатры и не ходит. А зачем ему? Живет он тут же, рядом. Перелезет через

стену, прильнет к ограде и смотрит себе — хоть до полуночи, если никто не прогонит.

Гогита вышел на людный проспект и повернул направо. Пестрая реклама кондитерской, казалось, заигрывала с мальчиком — гасла и зажигалась, словно подмигивала. К ней присоединились другие рекламы, и Гогита шел, обитый то красным, то зеленым, то оранжевым светом.

У входа в зимний кинотеатр Гогита остановился перед большой цветной афишей. На ней была изображена та самая женщина с длинными ресницами, которая через десять лет собрала всех членов подполья, чтобы найти предателя.

«А может, она сама и есть предательница?» — мелькнуло у Гогиты, и сердце у него радостно сжалось,— угадал!

Тонкий прозрачный воздух всколыхнулся, словно молоко, и откуда-то возникла коварная Эвтибида, которая погубила Спартака и его войско... За то, что он любил Валерию...

Гогита еще раз взглянул на женщину с длинными ресницами, и женщина тоже взглянула на Гогиту, но сразу отвела глаза в сторону.

«Виновата, — твердо решил Гогита, — она одна во всем виновата!..»

Через пять минут Гогита опять появился под афишей с двумя коробками под мышкой. Он крепко прижал их к ребрам и побежал, что было сил.

Фойе и круглые лестницы, поднимающиеся в амфитеатр, напомнили ему об отце. В прошлом году они были здесь на дневном сеансе. Отец сказал: «После «Чапаева» я здесь не был». «Чапаева» он видел давно, когда Гогиты еще не было на свете. У него был билет на ночной сеанс — на два часа ночи! Такое творилось! Последний сеанс кончался на рассвете...

Гогита спешил, боясь как бы у Гургена не кончилась пленка, тогда мальчишки в зале поднимут крик. Гогита сошел с тротуара, чтобы прохожие не задерживали его.

Вдруг ему показалось, что отец вернулся домой. Мама открыла ему дверь, и они обнялись.

«Сегодня у него кончается отпуск!» — вспомнил Гогита, и от волнения у него перехватило дыхание.

«Где ты до сих пор?»— спросила мама.

«А разве ты не знаешь»,— улыбнулся отец.

«Знаю, прекрасно знаю», — мама нахмурилась.

«Нет, Элико, ты ошибаешься... Ты не думай напрасно. Не знаю, кто такую глупость выдумал... Я работал над новым изобретением!»

«Ну и что с того?»

«Мне хотелось быть одному... А дома Гогита мне мешал».

«Что же ты изобрел?» — насмешливо улыбнулась мама.

«О-о, такую замечательную машину! Ты только представь себе — нарисуешь ты на бумаге мяч, положишь в машину — оттуда выскакивает настоящий мяч да еще бутсы в придачу. Или нарисуешь лыжи, положишь в машину — получай готовые... А где Гогита?»— спросил отец и заглянул в комнату.

— Поднимись на тротуар! — прямо над ухом услышал Гогита голос милиционера и почувствовал на плече его руку.

Он вернулся на тротуар, добежал до входной арки и вошел в сад. «Отец, мой отец...»

Неожиданно для самого себя он поставил следующее условие: если он до того момента, как добежит до Гургена, будет повторять про себя только эти слова, отец обязательно вернется, не сегодня — так завтра.

Гогита наклонил голову, чтобы не отвлекаться и не глядеть на духовой оркестр, играющий на веранде, и не видеть никаких знакомых — если такие вдруг встретятся. Он начал свою главную, решающую мысль, состоящую из слов:

«Мой отец...»

Гогита быстро шагал, до него неясно доносились обрывки разговоров между гуляющей публикой.

— Слетал я, поглядел матч и на другой день обратно...

«Мой отец...»

— И хорошая была игра?..

«Мой отец...»

— Гия, не рви цветы! Милиционер оштрафует.
«Мой отец...»
— Ты что, ослеп, на людей натыкаешься! — набросился кто-то на Гогиту.
— Гогита, эй, Гогита!
Это был Бондо.
«Мой отец... мой отец...»
— Гогита, ты оглох! — бежит за ним Бондо, но Гогита боится поднять голову, он только ускоряет шаг.
«Мой... отец...»
— Ты просто не хочешь меня провести! — Бондо схватил его за руку, но Гогита яростно вырвался и побежал.
— Подумаешь, зазнался со своим кино!
«Мой отец... мой отец...»
В будке Гургена Гогита снова взобрался на скамейку и, безмерно счастливый, уставился в окошечко — он выполнил свое условие, и отец обязательно вернется, сегодня или завтра...
— Где ты был столько времени? — Гурген казался рассерженным.
Гогита почему-то хотел сказать, что встретил отца и поэтому запоздал, но сдержался. Он не хотел, чтобы кто-нибудь, кроме него, знал, что сегодня отец обязательно придет домой.
— На улице полно народу — я бежать не мог,— ответил Гогита Гургену.
— Надо было раньше идти. Немного — и лента бы кончилась!— упрекнул Гурген.
Но Гогита уже был весь поглощен происходящим на экране и ничего не слышал.
— Гурген! — прошептал он. — Я догадался, кто предатель!
— Догадался или в том кинотеатре посмотрел, поэтому и опоздал?
— Нет, сам догадался! Эта женщина предательница!
Гурген заправил новую ленту в аппарат, включил автоматический перевод и испытующе поглядел на Гогиту — не думает ли он провести его и убедить, что не смотрел фильма в зимнем кино.
— Эту женщину уже допросили... Она не виновата!
— Не виновата?! — воскликнул Гогита, взглянув на

Гургена широко раскрытыми глазами. Он обрадовался своей ошибке, обрадовался, что эта женщина никого не предавала.

Теперь он уставился на экран с еще бóльшим интересом. Ни одно слово, ни одно движение не ускользало от его внимания. Если что было непонятно, он спрашивал у Гургена, не поворачивая головы. Гурген разъяснял все по-своему, но понятно и исчерпывающе. Потом опять наступило время бежать за пленкой, за последними двумя частями.

Гогита нехотя оторвался от окошка, чтобы во второй раз не получить от Гургена выговора.

— Тогда расскажи мне, чем все это кончится! — потребовал он «вознаграждения».

— Нет, так неинтересно... Принесешь — и сам увидишь!

Гогита в этот раз быстро прошел расстояние между кинотеатрами. В парке не осталось гуляющих, и на улице стало меньше народу. Он быстро вернулся обратно, прошел мимо тети Марго и нагнулся, чтобы не мешать зрителям в ложе. Он думал, как бы мать не пришла за ним раньше времени и не помешала досмотреть две последние части, которые он нес под мышкой.

Случайно он кинул взгляд на экран поверх голов зрителей и остановился, словно околдованный человеком с хитрыми глазами, который до сих пор сидел молча и незаметно, а сейчас заговорил и, разводя руками, в чем-то уверял остальных, убеждал с пеной у рта. «Может, это он?» — подумал Гогита, меняя место. Но целиком экрана все равно видно не было — его закрывали головы зрителей.

Гогита оглянулся назад. Под круглой ложей шел широкий выступ. Он переложил обе коробки в одну руку, поставил ногу на выступ и приподнялся. Отсюда был виден весь экран. Широко раскрытыми глазами Гогита вгляделся в темную ложу, чтобы убедиться, не мешает ли он кому-нибудь, и увидел красивую, очень красивую женщину. Такую, пожалуй, Гогита никогда в жизни не видел. Женщина увлеченно глядела на экран, одна рука ее лежала на перилах ложи, и широкая рука какого-то мужчины прикрывала ее пальцы. Гогита по-

смотрел на мужскую руку, потом на плечо — и вдруг узнал. Узнал и вскрикнул. Но ни одного звука не вырвалось из его горла. Радость или неожиданность лишили его голоса. Он еще раз крикнул, позвал этого человека, но крик опять получился беззвучным. Гогита онемел, как немеют во сне, когда кажется, что задыхаешься, что не хватает воздуха...

Он спрыгнул с выступа и побежал к выходу, словно стремился вернуть утерянный голос. Он промелькнул мимо тети Марго, которая не успела сказать ни слова, только удивленно поглядела ему вслед.

Гурген открыл дверь, перепрыгнул сразу через три ступеньки и поглядел в сад через затемненный партер. Гогиты не было видно. «Ну, хватит, довольно! С завтрашнего дня я его с собой брать не буду!» — решил он, торопливо поднимаясь обратно по лестнице. Он оставил дверь открытой, ударил ладонью по одному диску проекционного аппарата, снял крышку и поглядел: остался моток величиной с кулак, и тот таял на глазах, становился все меньше, пленка, пританцовывая и извиваясь, словно стружка, перематывалась на другой диск. «Пол-минуты... Если Гогита не придет — все», — подумал Гурген. Он сунул нос в узкое четырехугольное окошко, пытаясь отсюда разглядеть сад, но не успел, раздался знакомый звук: так шуршала пленка, когда целиком переходила на другой диск.

— Эх! — махнул Гурген и включил в зале свет.

Словно только этого и ждавшие зрители недовольно оборачивались, шумели, свистели.

— В такой момент прервали!

— Сапожник!

— Наверное, просто пленку не принесли!

— Вот он, идет! — кто-то узнал спускавшегося в партер Гургена.

— Наверное, конец он сам будет рассказывать...

Гурген бросился к тете Марго, будто она была во всем виновата. Он протянул к ней руки — ладонями вверх и почти закричал.

— Где Гогита, я спрашиваю!

— Откуда я знаю. Вошел и сразу обратно выбежал!

— Что-о! Выбежал?! А ленты?

— Я не заметила. Наверное, и ленты были у него, он туда побежал, — указала тетя Марго в глубину сада. — Я думала, ему понадобилось выйти...

Гурген сорвался с места, перескочил через газон и побежал по аллее. Так мне и надо, — думал он. — Мальчик развлечется... Он-то развлечется, а меня снимут — и будет тогда развлечение...»

В туалете Гогиты не было. Гурген громко окликнул его, потом раскрыл все двери. «Скандал!» Он выбежал в сад и с криком «Гогита!» снова помчался по дорожке. Он весь вспотел и был вне себя. Встреть он сейчас Гогиту — обругал бы его как следует и поколотил бы с удовольствием.

Вдруг он заметил у зарослей сирени черную тень, перепрыгнул через подстриженные кусты и очутился под сиренью.

Гогита сидел на земле и тихо плакал. Он даже головы не поднял.

— Что ты сидишь здесь? Где пленка? — вспылил Гурген, схватил мальчика за плечи и сильно тряхнул.— Давай сюда пленку, там публика с ума сходит!

Две коробки с пленками валялись рядом в траве, но Гурген их не заметил. Гогита солгал.

— Я их спрятал! — сквозь слезы проговорил он.

— Ты что, с ума сошел? Куда спрятал? Давай сейчас же! — Гурген снова тряхнул Гогиту, поднял его и поставил на ноги.

— Не... не дам...

— Ей-богу, я сейчас убью тебя. Ты откуда взялся такой на мою голову! Давай пленку...

— Пусть она уйдет... — рыдал Гогита.

— Кто уйдет, что ты болтаешь!

— Та женщина...

— Ты что бредишь! — Гурген едва сдерживался. Руки у него так и чесались.

Гогита заплакал громче, из глаз градом полились слезы, он весь задрожал.

— Та женщина, что сидит... с отцом в ложе... пусть она уйдет.

Женщина... с отцом....

Гурген сразу все понял. Ему стало жаль Гогиту.

Женщину эту он видел с Бакаром на улице. Он опустил Гогиту и мягко проговорил:

— Ладно, я ее выгоню, ты только дай мне пленку.

Гогита не переставал плакать, не мог справиться с рыданиями, набегавшими, как волны.

— Слышишь, что я говорю! Ты что, хочешь, чтоб меня с работы выгнали!

— Пусть она уйдет...— упрямо повторял Гогита, утирая кулаком слезы.

Гурген нагнулся и начал шарить в траве. Он раздвинул ветки сирени и, словно страус, сунул туда голову. Коробок не было видно. Он снова рассердился, чуть не бросился на Гогиту с кулаками, но сдержался. Понял, что таким образом только усложнил бы дело.

Из кинотеатра доносились нетерпеливые выкрики зрителей.

— Идем, забирай ленты, — Гургена вдруг осенило. — Своими глазами увидишь, как я ее выгоню. — Он решительно перепрыгнул через кусты на дорожку, посыпанную толченым кирпичом, и пошел к кинотеатру. — Вставай, чего сидишь! Бери ленты!

Все в зале увидели, что механик вернулся с пустыми руками, но свист и крики не усилились, а напротив — прекратились. Вдруг стало очень тихо. Киномеханик открыл дверь в ложу и заговорил с каким-то мужчиной. Партер любопытно вытянул шеи.

Бакар и Майя, как заводные куклы, быстро и дружно повернули к дверям головы.

— Гурген?! — воскликнул Бакар, вставая и путаясь в ножках стула. — Ты что, здесь работаешь?

— Летом. У меня к вам дело... Если можно, на минутку...

— Дело?.. Сейчас?..

«Что-нибудь про Элико и Гогиту!..» — подумал Бакар.

— На одну минуту, — повторил Гурген и вышел из ложи.

Бакар знаком дал понять Майе, что сейчас вернется, и вышел вслед за Гургеном.

— Так получилось... — у Гургена стал заплетаться язык, — что придется уйти... Вам и той женщине...

Тысяча сердец забились в Бакаре, и тысяча умов заработали в нем.

— Как это уйти!.. Что ты говоришь — я не понимаю!

— Так получилось... Вы должны уйти, иначе кино не будет... Гогита спрятал пленку...

«Гогита?! Пленка?!»

— Он у меня работает... Надо же мальчику подработать!.. Я вас прошу, уходите... Вместе с ней... Или пусть она одна... Меня же снимут с работы!

— Гогита?! Пленка?!— повторил Бакар вслух.

Он все понял. Он не чувствовал себя, своего тела, не видел своих рук, не представлял, есть ли у него лицо. Не знал, происходит ли это все на самом деле или все ему только кажется и вот-вот исчезнет.

Он смог только выдавить из себя.

— Гогита... работает?

Гурген спешил, ему было не до того, чтобы посочувствовать Бакару или упрекнуть его, хотя желание сделать и то и другое у него было.

— Гогита спрятал пленку... Пусть, говорит, эта женщина, которая с отцом, уйдет... Меня же снимут... Я прошу вас...

В это время из ложи вышла Майя. Она взглянула на Бакара и вздрогнула.

— Что случилось?— Она обернулась к Гургену. — В чем дело?

Откуда-то появился милиционер. Видимо, его внимание привлек шум и группа любопытных вокруг ложи. Он раздвинул толпу, поднялся по ступенькам и пристально оглядел Бакара и Гургена, стоящих друг против друга. Потом он перевел взгляд на Майю и сразу же оценил создавшееся положение.

— Почему нарушаете порядок, граждане! — обратился милиционер к Бакару, одним глазом поглядывая на Гургена, верно ли он действует. Выражение лица киномеханика подтверждало необходимость его вмешательства.

— Я прошу вас, уходите... Или пусть эта женщина уйдет, чтобы Гогита видел... Иначе будет скандал...

— А ну, выходите сейчас же, гражданин! — оживился милиционер и взял Бакара за руку.

— У-у-у! — загудел зал, засвистел, захохотал.
— С-с-с!
— Нашли место!
— Дайте человеку досмотреть!

Бакару казалось, что он во сне, в страшном, кошмарном сне. На одну минуту он поверил, что сейчас проснется и все рассеется — умолкнут эти безобразные выкрики, исчезнет этот грубый милиционер, сотрется этот невообразимый позор. Но сон оказался бесконечным, как сама явь.

— Э-э-э!
— У-у-у!
— С-с-с!
— Дайте им фильм досмотреть, а потом сажайте! Люди деньги платили, — иронически произнес кто-то.

Майя вся сжалась, съежилась от стыда, не знала, куда спрятаться, и старалась сделать вид, что она ни при чем. С деланным удивлением глядела она на публику, словно желая сказать — ничего особенного не произошло, чего вы расшумелись.

Но она чувствовала, что игра ее была тщетной. Тогда она прислонилась к стене и застыла, словно жучок, который притворяется мертвым в минуту опасности.

— Граждане! Пройдемте в отделение! — не отставал милиционер.

Бакар грозно взглянул на милиционера. Но почувствовал, что, сопротивляясь, только усложнит дело. Надо было смириться с этим позором. Он взял Майю за руку, опустил голову и быстро пошел к выходу.

Перед милиционером тут же возник Гурген, что-то прошептал ему на ухо, и тот сразу успокоился.

Насмешливыми дружными аплодисментами проводили зрители выдворенных из ложи.

Бакар и Майя, словно привидения, прошли мимо тети Марго.

А Гурген выбежал в сад и бросился к зарослям сирени.

Прерванный сеанс возобновился. Зал затих. Голоса доносились только с экрана — там все еще не могли обнаружить предателя.

Гогита сидел под кустами и сухими остановившимися глазами следил за отцом. Он не дышал и, кажется, даже не мигал. Где-то внутри в нем дрожали беззвучные рыдания.

«Что я наделал... как я осрамил отца... Теперь он не вернется, никогда! — кусал губы Гогита. — Только бы мама не пришла... Не увидела бы этой женщины... Только бы мама не пришла...»

Отец шел, словно пьяный. Это был его отец, отец, которого он столько времени не видел! А сзади шла высокая красивая женщина. Отец был в новом костюме и казался шире в плечах. Он шел, понурившись, и так качался, будто при каждом шаге ноги его куда-то проваливались. Эта женщина, быстро и мелко ступая, шла за ним, словно хотела обогнать, но не обгоняла. Чем ближе подходил отец к выходу, тем чаще он останавливался и оглядывался по сторонам, наверное, искал Гогиту и не знал, что Гогита здесь же, рядом...

— Па-па! — Крик Гогиты раскроил тишину.

Бакар обернулся и застыл. Женщина тоже остановилась...

Эта женщина, эта красивая женщина, красивее которой Гогита никогда не встречал, не знает, как любит отец Гогиту... Она, наверное, думает, что он любит только... ее. Нет, она не знает... Сейчас она убедится в этом и уйдет, сама уйдет...

Отец все стоял и вглядывался в темные кусты. Гогита выбрался на дорожку и побежал ему навстречу. Он улыбался и бежал. Бежал изо всех сил, так, что сердце готово было выскочить.

Отец ждал его, но все так же, не двигаясь, он даже бровью не повел...

А эта женщина не сводила с Гогиты глаз... Сейчас она увидит, сейчас убедится... как любит отец Гогиту, и уйдет...

Отец, наверное, удивлен тем, что Гогита так быстро бегает. Он еще не видел, чтобы Гогита так мчался.

Десять... пять шагов осталось. Гогита раскинул руки, чтобы обнять отца. Но внезапно наткнулся на что-то твердое, в глазах у него потемнело, и он упал. Во мраке вспыхнули искры, закружились, бросились в голову и взорвались там.

Потом на минуту установилась тишина, и Гогита понял, что отец ударил его.

Отец ударил!!!

— Что ты наделал, Бакар!

Совсем близко, у самого уха услышал Гогита взволнованный женский голос и почувствовал под головой, на шее, прикосновение нежной дрожащей руки.

«Как ты мог, Бакар... ребенка! Ведь он ни в чем не виноват!»

«Отец ударил его!»

«Ой, сыночек!»

Это был уже другой голос. Не другой, а голос матери. Она все же пришла, пришла за ним. Гогита попытался открыть глаза, но не смог. А может, и открыл, но ничего не увидел.

«Что ты сделал? — плакала мама. — За что? За что?»

И теперь мать ласкала, гладила его по лицу.

— Оставьте меня!— крикнул отец маме и той красивой женщине. — Оставьте меня обе!

И Гогита внезапно оторвался от земли, и очутился в воздухе. Он ощутил знакомый запах табака, запах отца. Только отец мог так легко поднять его на руки, только отец был таким сильным... его отец... пришел... вернулся... взял Гогиту на руки...

И Гогита поцеловал его. Что это было — рукав пиджака, щека или волосы, он не понял, но поцеловал, потому что почувствовал, что он последний раз с отцом, он никогда, никогда не простит этого человека — самого сильного, самого дорогого и самого несправедливого на свете.

1963

РАССКАЗЫ



ГОБОЙ

У каждой профессии есть свое надоедливое однообразие, утешал себя Димитрий, когда вечером, помахивая своим неразлучным гобоем, входил в здание оперы. Он молча, привычным кивком головы, приветствовал оркестрантов, раскрывал черный деревянный футляр и пробегал по клапанам короткими пальцами. В зале медленно гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы, суетились в поисках места запоздавшие зрители; к пульту подходил дирижер, поднимал палочку, и начинался очередной спектакль. Если, случалось, приезжал на гастроли какой-нибудь знаменитый певец, Димитрий в паузах тихонько привставал на цыпочки, чтобы получше его разглядеть и послушать. А так ничто не нарушало каждодневного однообразия.

Кажется, с тех пор как Димитрия приняли в оперный оркестр, — а было это тридцать пять лет назад, когда партии Абесалома и Хозе еще пел Сараджишвили, — ничего не изменилось. Классический репертуар Димитрий знал почти на память, а новые и хорошие оперы создавались не часто, поэтому дни премьер не приносили ничего такого, что могло бы взволновать старого музыканта — строгого ценителя искусства.

Конечно, после премьер писали рецензии, хвалили постановщика, возносили певцов и где-нибудь в конце мимоходом отмечали, что «оркестр звучал отлично».

Кроме такой похвалы, Димитрий за всю свою жизнь больше никакой не получал. Разумеется, если в «отличном звучании оркестра» подразумевался и его гобой.

Надо сказать, что вместе с другими музыкантами Димитрий был награжден медалью за участие в концертных бригадах во время войны, вместе с другими и Димитрий получал благодарность за хорошую работу,

но все это было отмечено походя — «некоторые оркестранты... и другие»...

Боже упаси! Димитрию и в голову не приходило, что он лучше других и потому его следует как-нибудь отличать. Нет. Но иногда на улице, а чаще дома, перед самым сном, как закроешь глаза, вспомнятся юные годы, родное село, деревенские парни и девушки, седобородые старики и он сам со своей неразлучной свирелью. Скольким односельчанам доставлял он удовольствие этим нехитрым инструментом, сколько юных сердец волновал, сколько раз старики отечески целовали его в лоб и просили сыграть еще. И все это — успех, всеобщее признание, восхищение и уважение — принадлежало только ему, Димитрию, и никому больше.

Да... А большой город словно поглотил юношу. Талант его затерялся среди тысячи таких же, как он, а может, и лучших. Теперь уже эта тысяча волновала сердца зрителей, и тысяча завоевывала аплодисменты. Правда, был среди них и Димитрий, но только как часть целого, как капля в водопаде.

Ну, а дальше... Свыкся со своей долей Димитрий; днем — репетиция, вечером — спектакль, поздно ночью — домой... днем — репетиция, вечером...

Нет, нет, погодите! В тот вечер, о котором я хочу рассказать, произошел необычайный случай, который вернул скромному, безвестному артисту радость, изведанную в далеком отрочестве.

Давали «Даиси». Вернувшись с репетиции, Димитрий даже не стал доставать гобой из футляра, только завернул футляр в свежую газету и часов в семь вышел из дому. Он давно уже привык заворачивать гобой в газету. Однажды на улице компания подвыпивших молодых людей подняла на смех низкорослого, тщедушного Димитрия. «Оставьте его, — презрительно бросил один из них, — он весь не больше своей дудки». Гуляки захохотали. Ничего не сказал им Димитрий, только с того дня стал заворачивать футляр в газету.

Димитрий осторожно пробирался по людной улице, стараясь никого не задеть, не обеспокоить.

Взглянув на витрину кондитерской, Димитрий вспомнил, что жена просила купить чего-нибудь к чаю.

Выйдя из магазина, он заспешил, толпа гуляющих

мешала скорому шагу, и он сошел с тротуара, не заметив идущего сзади троллейбуса. Димитрий успел, правда, вскочить на тротуар, но в самый последний момент. Раздалось несколько испуганных возгласов — прохожие думали, что его сильно ударило.

И как раз в ту минуту, когда троллейбус промчался мимо, обдав его пылью, гулом и невежливо дунув в лицо, как раз в ту минуту, кто-то позади Димитрия явственно произнес:

— Ты знаешь, кто этот человек?

Димитрий с трудом удержался, чтоб не оглянуться, но шаг резко замедлил, будто кто-то схватил его за ворот. Удивительно, как он почувствовал, что эти слова относились именно к нему.

— Кто?— спросил приятный женский голос.

Димитрий напрягся, словно сейчас решалась его судьба. Внезапно стало очень тихо, и в этой тишине он ждал приговора.

— Без этого человека не смогут начать «Даиси»,— произнес мужской голос, снижаясь до шепота.

У Димитрия дух захватило, словно гром грянул средь ясного неба. Радость или чувство, большее, чем радость, охватило его. А сердце, этот крошечный комочек, так дернулось и с такой силой заколотилось в груди, что чуть не перевернуло худенького Димитрия. Залившись краской, он робко оглянулся, пытаясь в толпе отыскать говоривших.

Сзади шли молодые люди, улыбались ему. Следом за ними — пожилая чета, наверное, муж с женой, они тоже глядели на него приветливо.

А дальше — снова молодая пара.

А за ними старики.

Высокие и ростом поменьше, худые и толстые. Нарядные и веселые.

Столько народу, что и улицы за ними не видно.

Столько, что земля не выдерживала непосильной тяжести и легонько покачивалась под их шагом.

Город словно сдвинулся с места и пошел вслед за Димитрием.

«Кто же это мог быть?» — думал Димитрий. Тут опять промчался троллейбус, опять напугал Димитрия, и когда он пришел в себя, оглянулся, на него смот-

рели совсем другие глаза, улыбались совсем другие лица.

«Кто же?» — опять подумал Димитрий и начал рассматривать идущих впереди. «Без этого человека не смогут начать «Даиси», — повторил он про себя и невольно пропел вступление к опере. В самом деле, вступление начинает гобой. Его мелодия — грустная жалоба, еле сдерживаемый стон. Потом вступает кларнет и за ним — весь оркестр. Гаснет где-то жалоба, оркестр мечется, борется, яростно сопротивляется. Но сила его иссякает, и снова гобой повторяет свою мелодию — как грустное воспоминание о прошлом.

«Конечно же, без меня им не начать!» — едва не вырвалось вслух у Димитрия, и он заметил, что уже не идет, а почти бежит к театру.

Теперь все уступали ему дорогу.

Все глядели на него.

Все улыбались ему.

И казалось, все шепотом повторяли слова того незнакомца.

Внезапно Димитрия кто-то остановил. Он увидел своего соседа.

— Ты куда так спешишь? Ведь еще рано!

— Что поделаешь, такая наша служба, надо являться раньше!— по обыкновению проворчал Димитрий, но в душе у него через край переливалось блаженство... Кроме этих давно привычных слов, он знал и другие, совсем на них не похожие, но соседу его ничего про них не было известно.

Он завел какой-то нудный разговор, но Димитрий слушал его невнимательно и только тогда, когда собеседник чересчур насел на него и потребовал подтверждения какому-то своему замечанию, он рассеянно отозвался: да-да, продолжая думать о своем и глядя в одну точку.

За кулисы Димитрий вошел, весело насвистывая, чувствуя удивительную легкость во всем теле. Ему хотелось выкинуть какую-нибудь ребячью шалость: вспрыгнуть на сложенные горкой стулья или дать кому-нибудь шутливый щелчок. Он прошел между пультами и положил на свое место гобой. Тут ему страшно захотелось курить. Выходить из театра уже не было смысла. Оста-

валось мало времени. Димитрий по крученой лестнице поднялся на второй ярус и купил в буфете «приму». Прохаживаясь по коридору и жадно затягиваясь, он то и дело поглядывал сквозь раскрытую дверь ложи на сцену, скрытую занавесом. Из оркестровой ямы доносились звуки настраиваемых инструментов. Какое наслаждение доставляли ему сейчас эти обрывки невнятных мелодий, эти короткие минуты до начала спектакля.

За первой сигаретой последовала другая. У него даже голова закружилась. Он снова подошел к буфетной стойке и попросил стакан минеральной воды. Он сам поймал себя на том, что специально оттягивал возвращение в оркестр. «Поглядим, как они без меня начнут»,— думал он, испытывая одновременно какое-то двойственное чувство: страх, что вдруг начнут без него, и уверенность в невозможности этого.

Фойе опустело, закрыли дверь ложи. Димитрий быстро сбежал по той же лестнице и прошел за кулисы. Пройдя коридор, ведущий в оркестр, он остановился у открытой двери и застыл: в зале уже гасли люстры, словно кто-то приспускал фитиль огромной лампы. Суетились в поисках места запоздавшие зрители. Все было как обычно, только дирижер у пульта, напряженно щурясь, глядел на дверь, видимо, волновался.

— Где ты до сих пор! Тебя ждет дирижер!— укоризненно и взволнованно прошептал контрабасист. Димитрий даже покраснел от удовольствия. Он быстро нашел свой стул, прошелся короткими пальцами по клапанам, глубоко вдохнул в легкие воздух — и начал.

Никто, кроме дирижера, не заметил, что в тот вечер гобой слегка фальшивил.

1958

В ГОРАХ

С высокой скалы взлетел черный коршун, промелькнул в ущелье и, затрепетав крыльями, будто прощаясь с землей, стал подниматься все выше и выше. Бледная

тень птицы понеслась впереди и заскользила по заснеженному склону горы. Хищник плавно взмывал вверх, а тень его, распластанная по снегу, то спускалась в бездонные пропасти, то взбиралась по крутым скалам. Но вот коршун остановился над ледниковой расселиной, покружился на месте и застыл в воздухе. Тень его послушно остановилась. И вдруг оба вместе — один с неба, другая с земли камнем устремились на что-то пахучее и возбуждающее аппетит, похожее на обломки желтого камня.

Далеко, метров на двадцать выше, на огромном поле Гергетского ледника стоял человек в черных очках и смотрел вниз. Он как зачарованный наблюдал рождение дня; у самых его ног всходило солнце, и небо, будто только что проснувшееся дитя, не могло глядеть на яркий свет. Мир, потягиваясь, пробуждался после ночного сна.

А человек уже успел утомиться, он тяжело дышал и жадно глотал воздух, словно путник, истомленный жаждой. Вдруг он вздрогнул, заметив коршуна, взвившегося над расселиной.

«Съел, наверное, печенье, которое я оставил»,— подумал человек.

Коршун пулей помчался к раздражающей черной точке на безукоризненно белом пространстве. Человек быстро вскинул короткое ружье, висевшее на плече стволом вниз, и нажал на курок пальцем, неуклюжим от толстых рукавиц. Коршун испуганно рванулся и исчез в тумане.

Человек снова остался один, наедине с этими первобытными горами, нагими облаками и небом, никогда не видавшим городов.

Человек отвернулся от низины и стал лицом к горам. Здесь также все было белым; в тумане, словно в взболтанном молоке, виднелся Казбек. Перед ним лежал огромный язык ледника, словно высунутый небом из бледных губ.

Человек наклонился за ледорубом, который уже успел запорошить снег. Буквы, вырезанные на ручке, тоже заснежены, и имя получилось белое-белое: «Аслан».

Он закрепил на запястье ремешок ледоруба и с тру-

дом вытащил ноги, глубоко завязшие в снегу от долгого стояния.

Второй год Аслан работает гляциологом на Казбекской высокогорной метеостанции. После окончания университета он переменил немало мест, но всем был недоволен: со студенческой скамьи мечтал он о «хорошем заработке»; мечта эта никак не сбывалась. Тогда Аслан махнул на все рукой и начал работать на метеостанции. Здесь ему в самом деле предложили высокую ставку.

Теперь он гляциолог — так называют специалистов по ледникам. Он следит за движением Гергетского ледяного массива, измеряет толщину снежного покрова. Снег питает ледник, ледник — реку, река в свою очередь питает электростанции, те приводят в движение огромные заводские станки, машины, выжимающие виноград. Аслан составляет подробные отчеты и посылает их в Тбилиси. Первый год за ним по пятам следовали сотрудники станции — Аслан не знал гор, да и дышать с непривычки было тяжело.

А сегодня он заупрямился, — хватит за мной, как за младенцем, ходить. Начальник сначала и слышать не хотел о том, чтобы пустить его одного, но потом, видимо, посчитался с самолюбием парня и согласился.

И Аслан пошел один, совсем один. Он давно готовился к этому событию — одиночество привлекало его.

Он взял с собой печенье, конфеты, компот. «Зачем тебе ружье?» — спросил начальник... «Когда-то я был охотником, возьму на всякий случай». — Этот ответ Аслан приготовил заранее.

В самом деле, зачем ему ружье? Об охоте он и не помышлял, какие тут могут быть звери? Не стрелять же по скалам!

«Нужно совсем не двигаться, если хочешь почувствовать настоящее одиночество, — подумал он. — Как пошевелишься, сразу кажется, будто кто-то стоит рядом».

Аслан просунул палец под очки и протер запотевшие стекла. За пальцем проник невыносимый режущий глаза свет — это сверкал снег. «Здесь без очков ослепнешь», — подумал Аслан, почесывая плечо.

Он улыбнулся, вспомнив один случай времен сту-

денчества. Как-то он шел с однокурсницей по проспекту Руставели. У девушки были темные, горящие, ну прямо как головешки, глаза и губы нежные, приоткрытые, словно лепестки розы. Так помнит Аслан. Ну и вот, Аслан так же, как теперь, просунул руку под сорочку и почесал плечо. У девушки вспыхнули щеки, и губы стали казаться не такими алыми, — бесцеремонность Аслана смутила ее. Она ничего ему не сказала, но ускорила шаг, словно собиралась бежать. Ее удерживала именно та тактичность, которой недоставало Аслану.

Аслан тогда учился на первом курсе. С тех пор он многому научился, замкнулся в строгие рамки правил поведения. Его они всегда стесняли, эти рамки, но в конце концов он вынудил себя со старшими быть почтительным, с детьми — ласковым. Бранился он только про себя, а вслух старался говорить приятное.

А здесь, в тишине, вдали от мира, где нет людской суеты, где не ждешь ни с кем встречи, где никто не наблюдает за тобой и не стесняет тебя, где ты один, ты — и больше никого... тут делай, что хочешь и как хочешь, поступай, как тебе заблагорассудится. Никто тебе не сделает замечания, никто за тебя не покраснеет, не покраснеешь и ты сам...

Аслан пошел быстрее, он приближался к фирновому полю. По его расчету скоро должна показаться снегоизмерительная вышка, которую в прошлом году вместе с другими сотрудниками метеостанции он принес сюда, укрепил и отметил высоту снега.

В самом деле скоро он увидел ее и размеренным тяжелым шагом пошел по подъему. Он вспомнил, что альпинисты рассчитывают свои силы и не берут подъемов с ходу, но как они это делают — он не знал.

От ветра вышка слегка раскачивалась. Она стояла на голом склоне, воткнутая глубоко в снег. На верхушке, как флажок, прикреплена жестяная табличка, которая свободно болталась на ветру. На табличке выведено: «1957.15.VI» — дата четырехмесячной давности и отметка высоты — «4155 м над уровнем моря». Значит, Аслан поднялся всего на 800 метров от станции. Он наклонился и поглядел, до каких пор поднялся снег, записал цифру в книжку, поставил число и прилег там же на снегу.

Вот и все. За этим он сюда и поднимался, на такую высоту. В эту минуту он казался себе всемогущим. Он лег на спину, свободно раскинув ноги, прикрыл руками глаза и отдался мыслям. Он долго думал о своем прошлом, настоящем и будущем, о друзьях и родных. Ему виделась беспечная, сытая жизнь, теплая постель, знакомые женщины.

Когда ему на подбородок упала первая снежинка, Аслан этого не заметил, увлеченный приятными мечтами. Он только небрежно провел рукой по лицу, словно отгоняя мошку. Следующая снежинка растаяла на щеке, другая забралась за воротник. В одну минуту желтая штормовка Аслана стала белой. Но Аслан и этого не видел, он все лежал, закрыв глаза. Когда он наконец отнял ладони от лица — едва удержал крик.

Весь небосклон, казалось, состоял из снега.

Ветер соединял снежинки в пушистые хлопья.

Жестяной таблички на вышке не было видно.

Единственное, что еще можно было разглядеть, — был сам Аслан, его руки и ноги.

И Аслан вскочил, в испуге, с трудом отыскал ледоруб и, вконец растерянный, бросился искать свои следы. Нашел.

Этот след сейчас был единственной надеждой, единственной нитью, которая могла вывести его к людям. Он ковылял по спуску, но чем дальше, тем бледнее становился след, проложенный утром, отпечатки ботинок теряли свои очертания и превращались в маленькие, едва заметные ямки.

«Будь осторожен,— говорил ему накануне начальник, — в горах погода меняется так быстро, в себя прийти не успеешь. Чутки, словно звери, горы; если ты идешь смело — они проникаются к тебе уважением, если заметят, что трусишь, — не пощадят».

И все-таки с какой молниеносной быстротой, испортилась погода, как внезапно изменилось все вокруг, будто Аслан раскрыл глаза и обнаружил, что затерялся в совсем ином мире.

Вот вам и горы! Они подобны гордой женщине: если ты не знаешь ее, не пробуй с ней заговаривать — обрежет, обольет гневом и презрением.

У Аслана оставалась единственная надежда на спасение, и та исчезала, таяла на глазах. Вот, кажется, и не видно уже следов... Или он просто не видит?..

Не видит?..

Да, не видит, они исчезли у него под ногами. Стоял Аслан, оглушенный ужасом, с исказившимся от страха лицом. В этом сгущающемся тумане не было видно ни гор, ни неба. Оставленный сзади новый след занесен снегом, и Аслан похож на человека, упавшего с неба или выросшего из земли. На этом огромном, необозримом плато была одна-единственная точка — место, где стоял сам Аслан. На минуту он представил своего знакомого горца, который каждую неделю ходил проводником на Казбек с экспедициями, который с завязанными глазами мог пройти Гергети и Чечи, Девдораки и Абано.

«Вот тебе и одиночество», — с горечью подумал Аслан. Он еще не знал, что такое непогода в горах, вблизи от пропастей.

Собранная за время отдыха энергия внезапно покинула его, он почувствовал сильную усталость и с трудом вытаскивал из снега отяжелевшие ботинки. Аслан часто терял равновесие и опирался на ледоруб. Сначала он надеялся скоро привыкнуть к ходьбе по такому снегу, но когда закружилась голова и потемнело в глазах, он весь сжался и затих — страшная мысль поразила его. Закрыв глаза, он стал шарить по карманам, достал банку с компотом и с жадностью выпил все до дна. Потом он достал конфеты и начал их сосать, скупо собирая во рту сладкую слюну и потом глотая ее, словно эликсир жизни. Постепенно страх, превратившийся в живое существо, невидимым драконом вонзил в него клыки, безжалостный и бессердечный, белоглазый ужас. Сильное желание спастись, выжить вдруг подтолкнуло Аслана, вынудило его идти дальше. Он согнулся, встал на четвереньки и стал искать свои утренние следы.

Тщетно.

Вдруг снег стал оседать под ним. Из-под земли послышался глухой гул. Волна воздуха ударила Аслану в лицо. Воздух был холодный, словно пропущенный через ледяное сито. «Я на краю пропасти!» — пронзила мозг страшная мысль. Аслан выкрикнул какое-то несущест-

вующее, непонятное слово и на четвереньках, как зверь, отпрыгнул назад.

Снегопад прекратился так же внезапно, как и начался. Немного, на один маленький шажок отступил туман и загустел, стал плотной стеной. Аслан пришел в себя. Он лежал на снегу, ломило ушибленные руки и ноги, в голове стоял странный звон. «Наверное, я замерзаю, ведь я не двигался с тех пор, как упал»,— подумал он и дернулся, как ящерица, которую пристукнули камнем. Он вполз на вершину снежного холма и только сейчас заметил пропасть. Голубоватая ледяная стена глядела на него чудовищным глазом, подернутым мутной пеленой. Вода на дне, как паук, дожидалась своей жертвы. Аслан знал свойство этой воды: сама по себе она не замерзает, но стоит попасть в нее постороннему предмету, будь то камень или комок земли, птица или человек, она в ту же минуту кидается на него, слоями оборачивает вокруг лед, сжимает и замораживает.

Не отрываясь от снега, Аслан испуганно отполз назад, из кармана его куртки выскользнул карандаш и полетел в пропасть. Аслан невольно взглянул вниз, и ему показалось, что карандаш всплыл на поверхность и, высунув кончик, тут же застыл. Аслан пересилил себя и поднялся. Туман немного рассеялся, и теперь безнадежность его положения стала еще очевидней. Он со всех сторон был окружен пропастями, он был у них в плену. Выбраться отсюда было невозможно, и любая попытка так же бессмысленна, как прыжок с самолета. Правда, между этими расселинами существовала дорога, которая, по счастью или по несчастью, вывела сюда Аслана, но отыскать ее было немыслимо. Один ложный шаг — и очутишься в пропасти.

Через четыре-пять часов опустятся сумерки, настоящие вечерние сумерки. И тогда уже и Аслана никто не отыщет и он сам не найдет дороги. А остаться здесь ночью — без палатки, без спального мешка — значило умереть.

Несколько раз подступал к нему страх смерти. Наконец сердце как будто примирилось с этой мыслью, и тогда заработал рассудок. Сам по себе, словно сторонний доброжелатель.

В кармане у Аслана была капроновая веревка, креп-

кая и надежная. Он выберет самое узкое место самой маленькой пропасти, закрепит во льду ледоруб, привяжет к нему один конец, другой прикрепит к поясу — и перепрыгнет через расселину. Руками он уцепится за противоположный край. Если не удержится — не беда, повиснет над пропастью, взберется обратно по веревке и снова попытает счастья. Но когда все было готово, Аслан почувствовал, что страх не позволяет ему решиться на этот отчаянный прыжок. Он не альпинист и никогда им не был. Он неопытен и труслив. Он топтался на месте, словно усталая собака, хотел кричать, но и этого побоялся. С пеной у рта, с отвисшей челюстью, быстрыми нервными движениями он ощупывал свое тело, чтобы убедиться, что он еще жив. Он, оказывается, очень любил себя.

«Как нелепо я гибну... Гибну? Я?! Почему я должен погибнуть? Почему? Почему?..» Он закрыл лицо руками и зарыдал. Ему стало жалко себя, хотелось приласкать свои крепкие плечи, в которых играла горячая кровь, короткие и некрасивые, но такие знакомые пальцы, которые после его смерти такими же и останутся, только он этого уже не увидит...

В небе показалась какая-то тень. Это был коршун. Аслан уставился в землю. Вот здесь он будет лежать, у самого края пропасти, съежившийся, навеки застывший, а коршун долго не посмеет подлететь к трупу. Будет приближаться постепенно, сначала усядется вдали, потом перелетит пропасть и сядет у его головы, около глаз, бесстрашно вскочит на ствол ружья... В самом деле — ружье! Он совсем забыл, что у него есть ружье!

Уцепившись за новую одежду, он начал думать, как использовать ружье. Нет, ружье ему не помощник. С горя он хотел было прицелиться в коршуна, но даже не смог поднять рук и нажать курок. Он весь дрожал и уже начинал замерзать от долгого сидения на снегу.

Приятная дрожь прошла по телу, разум затуманился. Аслан задремал и не хотел, чтобы что-нибудь помешало сну, который сковал его мускулы и уже подбирался к мозгу. Где-то глубоко сидела мысль, что надо написать письмо, которое завтра или послезавтра найдут на его замерзшем трупе. Он не раз слышал, что аль-

пинисты поступают таким образом... Эта сладкая дремота, эта пьянящая, дурманящая дремота была такой приятной, такой уютной... Он уже видел смерть, которая не шла к нему, не приближалась, а напротив — вместе с его дыханием выходила из тела и росла, раздувалась и удалялась от Аслана.

Внезапно раздался оглушительный грохот — будто горы рушатся. Сорвавшиеся с вершин валуны сдвинули огромную массу рыхлого снега и, на мгновение оглушив окрестность, также внезапно затихли на дне пропасти. Аслан раскрыл глаза. И тут же им овладел страх, страх, что он засыпает, погибает. Этот шум, эта коварная гора, мечущая камни, которая погубила, должно быть, немало альпинистов, для Аслана оказалась спасительницей. С новой силой забилась в нем жажда жизни. Он должен выдержать всю ночь, должен выдержать вот так, окруженный пропастями, не засыпая. Если он не заснет — он спасен. Но выдержит ли он?

Аслан протер снегом глаза и стал растирать щеки. Наклоняясь за снегом, он вдруг застыл, как завороженный уставился на белую поверхность, на которой явственно проступали... Ну да, он не мог ошибиться! Явственно проступали...

— Следы тура!.. — прошептал Аслан, пораженный неожиданным открытием. — Следы тура! Господи, неужели...

Аслан пополз вперед, устремленный к одной-единственной цели. Он хватался за ускользнувшую было жизнь, как утопающий за соломинку, уцепился за аккуратно следующие одна за другой ямки следов. Он крепко, будто когтями, впивался пальцами в снег, продвигаясь вперед, как ищейка, обнюхивая свежий след. Наверное, тур заблудился в сумерках и не стал прыгать через расселины, а пошел в обход, выбирая путь безопаснее. Если бы ему приходилось перемахивать через пропасти, след ложился бы длинной полосой, но он шел не спеша, — значит, нашел тропку — и пошел по ней, по дороге, которая должна вывести из проклятого кольца пропастей. Нет, Аслан не обречен! Горы словно сжалились над ним и послали ему спасителя.

Аслан больше не обращал внимания на расселины, не боялся сорваться, он всецело доверился турьему сле-

ду. Этот след был для него сейчас самой большой истиной и мудростью. Про себя он беседовал с туром. Льстиво обращался к нему. «Мой дорогой, мой любимый, какая же ты умница! Куда до тебя человеку! У него и соображения на это не хватит!..» Он заискивал перед туром, так, на всякий случай, чтобы доброе животное не скрыло от него свой след.

След петлял по узкой седловине между пропастями. Да, человек, будь он семи пядей во лбу, не отыскал бы этого пути.

Аслан остановился передохнуть, вспомнил, что позабыл ледоруб на холме, почувствовал, как оттягивает плечо ружье, но не посмел оставить его, словно готовился к решительной битве и хотел быть во всеоружии.

Переход через седловину походил на скольжение по лезвию ножа. Аслан полз на животе, ободрав всю одежду, чувствуя, как холодит тело лед. Снег окрасился кровью.

На западе небо пожелтело, потом заалело, и на нем возник бледный диск солнца. От вершины ледника к востоку спешили тучи, словно по срочному вызову, оборванные и расползшиеся. Теперь ясно были видны вершины Орцвери и Спартака, и между ними, чуть пониже, горы Кавказского хребта, словно звенья небрежно брошенной цепи.

Аслан продолжал карабкаться, не упуская из виду следов, хотя это было уже не нужно. Он вышел на безопасное место. Он поверил в это не сразу. Сел на снег и улыбнулся, но на лице не мелькнуло и тени улыбки, оно не подчинялось выражению радости, привыкшее за это время к ужасу и отчаянию.

Небо немного очистилось, горные вершины осветились лучами солнца. Словно ничего в природе и не происходило. Аслан спасен. Он опять принадлежал миру, был с людьми, он завтра же может поехать в Тбилиси и посидеть в ресторане. Он может напомнить начальнику, что тот обещал подарить ему авторучку, в которой запаса чернил хватает на два месяца. Он вспомнил, что год назад видел такую ручку у администратора сухумской гостиницы. «Поеду на море, — решил Аслан, — что может быть лучше: пароходы, женщины, вино...»

Аслан потер кончики пальцев снегом, смочил их слю-

ной, поднял разорванную рубаху и приложил к ране. Почувствовал ожог. Пошарил в карманах, нашел конфету, облепленную крошками табака, и с наслаждением принялся ее сосать.

Он долго сидел так и глядел на следы тура, которые круто сворачивали влево и исчезали за перевалом. Но Аслан не думал о туре, он любовался красотой заката, бесконечностью мира, расстилавшегося у его ног, и дорогой, которая через два-три часа приведет его на метеостанцию. Там его напоят горячим чаем с коньяком, накормят теплым, только что выпеченным хлебом, спросят, почему он задержался, и Аслан скажет, будто бы он специально оттягивал свое возвращение, потому что хотел испытать себя. Потом расскажет, как очутился среди пропастей. А про то, как боялся смерти? Нет, про это не стоит. А про тура? Про его следы? Возможно — да, а может, и нет, — смотря, как пойдет разговор.

Аслан поднялся, опираясь на ружье как на палку, и устало волоча ноги, поплелся по спуску. «И все же какие все черствые, — подумал он о своих товарищах,— ведь могло же со мной что-нибудь случиться, а они даже не вышли меня выручать!» Аслана передернуло, он вспомнил, как он ждал смерти, обессиленный, замерзший, валяющийся на снегу, как труп. Вспомнил, как схватился за турий след, словно срывающийся в пропасть— за слабую поросль моха. И вдруг почувствовал себя оскорбленным; гм, тур... подумаешь! Если бы не его, Аслана, воля и выдержка, он был бы уже мертв!

Шел Аслан, и одна мысль сменяла другую. Теперь он обратился к прошлому. Перед глазами встала та девушка, с горящими, как головешки, глазами, подруга по институту, которая теперь работает в Абастуманской обсерватории и все еще не замужем. «Поеду в Абастумани, — подумал Аслан. — Что может быть лучше: воздух, сосны и — она!»

Он осторожно спустился по тропинке, змеей скользящей в овраг, и внезапно остановился. На обрывистой противоположной стороне, над которой стеной возвышалась высокая гладкая скала, стоял тур, выставив рога в боевой готовности, и любопытными глазами смотрел на Аслана. Он бы, наверное, убежал, напуганный появлением человека, но... все дороги вокруг отреза-

ны... бежать некуда. Он может прыгнуть только сюда, к Аслану...

Животное застыло, как изваянье. Тур и тогда не двинулся, когда человек громко засмеялся и устало опустился на колени, обеими руками взявшись за свою «палку», словно впервые ее увидев. Потом человек поднял «палку», приложил к плечу, и сразу превратился в черную точку. Наивно и доверчиво тур глядел на человека... Но что это?! Из точки вырвалось пламя... Только это успел заметить тур, в глазах у него потемнело, в ушах оглушительно загудело, ноги подкосились, и он сорвался вниз. От выстрела зарычали горы, словно раненый лев. Долго-долго гремело эхо, передавая все дальше и дальше страшную новость...

Тур лежал прямо перед Асланом, он дернулся несколько раз, потом застыл, повернувшись к небу, — вольный сын гор...

Аслан подбежал к добыче. Он был в восторге: убить тура — этим бывалые охотники-горцы и те гордятся! А тут Аслан, горожанин, уложил такого зверя с одного выстрела! Как обрадуются товарищи, какой шашлык будет у них вечером!

Аслан достал из кармана капроновую веревку и размотал ее. Только великан мог бы взвалить на плечи огромную тушу. «Ничего, что-нибудь придумаю». Аслан не мог удержать радостного биения сердца. Он узлом связал конец веревки, теперь он накинет петлю на задние ноги тура, и...

Внезапно налетевший ветер зашевелил волосы на голове Аслана. Первая снежинка опустилась на ствол ружья.

Аслан встревоженно поглядел на небо...

Неизвестно откуда взявшаяся бурая туча, коршуном развернувшая крылья, словно грозный хозяин гор, надвигалась прямо на Аслана и росла с быстротой молнии, словно войско, по пути собирающее воинов.

Вот она уже растянулась на все небо, отрезала вершины гор, бесцеремонно дунула Аслану в лицо холодным мутным туманом, коварно подкралась сзади и, окутав его со всех сторон, закрыла ему все пути. Добившись своего, она удовлетворенно вздохнула и, как неумолимый палач, принялась завязывать Аслану глаза.

«Я погиб», — мелькнуло у него в голове, и эта мысль расслабила все его тело.

Он закрыл лицо руками, словно пытаясь с закрытыми глазами разглядеть то, что скрыл от него туман.

Вокруг ничего не было видно: ни тура, ни ружья, ни дороги. Ни надежды не оставалось никакой, ни сил на что-то надеяться. Утренняя непогода казалась бледным сном. Теперь сон этот сбывался с десятикратной силой.

Небо совсем исчезло, Аслану казалось, что земля уходит у него из-под ног, что наступает первобытный хаос. И в этом небытии странным и никчемным казалось существование человека. И гневные, полные мщения дикие тучи, снег и ветер, внезапно сгустившийся мрак, — все злые силы природы, объединились, заключили между собой союз, чтобы вершить суд и вынести приговор этому лишнему, никчемному существу...

...Стоял октябрь, и внизу, в долине, у крестьян, вышедших на сбор винограда, пальцы были сладкими и липкими от густого виноградного сока.

1958

ЗОЛОТЫЕ РЯСЫ

Редактор просматривал оттиски. Перекладывая из одной руки в другую скомканный платок, он поминутно отирал потную шею.

Серый крутящийся вентилятор каждые десять секунд поворачивался к столу, обдавая приятной прохладой, шуршал газетными страницами, сдувал упавший на стекло пепел и снова отворачивался, посылая искусственный ветер в другую сторону. Две стеклянные стены кабинета были задернуты плотной темной шторой. За шторами под полуденным солнцем пылал город. Редактор был не один. Чуть поодаль в желтом кресле сидел молодой человек в коричневых брюках и коричневой пикейной сорочке, изрядно помятой. Задрав голову, он внимательно разглядывал стены, видимо, чувствуя себя крайне неловко. Он совсем недавно вошел в кабинет,

причем спросил позволения только после того, как закрыл за собой дверь, и при этом многозначительно улыбнулся. Редактор не решился попросить его выйти и молча указал на кресло.

И вот теперь он читает оттиски, а перед глазами все стоит эта странная улыбка, которая явно подразумевала какое-то взаимопонимание, которое якобы должно существовать между ним и молодым человеком. Редактор время от времени вскидывает глаза на юношу, но никак не может вспомнить, кто он такой и откуда он его знает.

Редактор испытывает определенное неудобство из-за того, что в эту неподвижную, густо заквашенную жару юноша сидит в кресле, обитом теплым сукном. Ему от этого становится еще жарче, и он ежеминутно ждет, что гость вскочит с жаркого кресла и пересядет на легкий деревянный стул. Но юноша будто прилип к сидению.

Редактор продолжает работать.

На столе стоит черный пластмассовый стакан с цветными карандашами. Отточенные кончики их походят на нераспустившиеся бутоны.

Редактор достает из стакана красный карандаш и перечеркивает четвертую страницу огромным косым крестом. В кабинет входит ответственный секретарь, побледневший от усталости и бессонницы. Юноша чуть приподнялся в кресле, кивнул вошедшему и опять приклеился к сиденью смутным коричневым пятном.

— Эту страницу придется набрать заново! — проговорил редактор.

— Что-нибудь новое?— без всякого выражения, как затверженный урок, спросил секретарь, упираясь обеими ладонями в стол.

— Да... материал о Хиросиме, пятнадцатая годовщина...

Секретарь, как видно, растерялся, не совсем уяснив себе связь между словами «Хиросима» и «годовщина».

— А-а... взрыв атомной бомбы, — понял он наконец. — Какой объем?

— Подвал.

Секретарь взглянул на последнюю страницу.

— Не поместится!

— Надо поместить.

— Если не сократить — не пойдет. Или перенесем на завтра «Постановление».

— Да что ты! Пожарники нас заедят!

— Тогда будем сокращать.

— Ну, бог с тобой, сокращай, — вздохнул редактор,— только сначала надо послать в типографию, пусть наберут.

— Ясно, — сказал секретарь, протягивая руку за текстом.

— Я сам пришлю. — Редактор прикрыл рукопись рукой.

Секретарь вышел, редактор искоса взглянул на желтое кресло.

— Вам придется немного подождать!

Молодой человек улыбнулся и в знак согласия кивнул головой.

Редактор придвинул ближе отпечатанный на машинке текст и принялся читать. Ему вспоминались брошюры об атомной бомбе и Хиросиме, прочитанные в разное время. Автор статьи щедро использовал существующую до него литературу, но внес и свою долю — писал гневно и страстно. И у редактора снова и снова вставал перед глазами город, исчезнувший, как одуванчик под ветром, берег из асфальта и бетона, и на стене — испарившийся, ставший бесплотной тенью силуэт человека, и памятник 11-летней девчушке на площади сегодняшней Хиросимы.

В статье для редактора не было ничего нового — кроме одного: он никогда не слыхал, что член экипажа, который сбросил атомную бомбу на сто тысяч мирных жителей, Роберт Льюис, постригся в монахи, чтобы искупить свой грех.

Редактор насмешливо подумал: «Гм, замолить грехи... Какой же бог должен быть у такого грешника!»

Он погрузился в эти мысли, прикрыв глаза ладонями. Откуда-то из бездонной тьмы всплыли пестрые точки и за каждой точкой — своя мысль. Мысли появлялись и гасли, как искры. Потом все исчезло, очистилось, и только одна картина всплыла в сознании и застыла. Картина эта была так горяча, что к ней нельзя было прикоснуться... В центре возвышалась голая гора желто-бело-

го цвета, на вершине ее стоял монастырь, и к нему по раскаленной желто-белой тропе шел согнутый в три погибели монах... Он был в золотой рясе, заляпанной мутными красными пятнами...

«Где ему взять такого бога!..» — опять подумал редактор.

Его отвлек неприятный скрежет спички о коробок. Он вздрогнул и не увидел, а почувствовал, как взвилось над головкой пламя, самое маленькое в мире пламя.

— Вы разрешите? — опять улыбнулся юноша и вместе со словами выпустил бледное облачко табачного дыма.

— Пожалуйста. (Он всегда спрашивал позволения после).

— Простите, если это вас беспокоит...

— Ничего... я сейчас вернусь.

Редактор взял статью и вышел. Когда он возвратился, молодой человек стоял у стеклянной стены, отодвинув штору, и глядел с пятого этажа вниз, на машины, стоявшие в узком тупике. В руках, заложенных за спину, он теребил связку ключей.

— Я вас слушаю! — произнес редактор и выключил вентилятор. Словно сопротивляясь, вентилятор судорожно забил резиновыми крыльями и, обессилев, затих.

Юноша быстро обернулся и, протянув руку, с улыбкой пошел к столу.

— Здравствуйте, вы меня не узнаете? — Щеки его порозовели.

— Лицо знакомое, но... — Редактор замялся.

— Я однажды привез вас на машине из Коджор...

— Ах, да... Ну, конечно...

— Было уже поздно, и вы спешили в Тбилиси.

— Да-да... припоминаю...

— Я довез вас до самого дома. Вы и теперь там живете?

— Да, там же. (Что я делал в Коджорах?)

— Теперь вы меня узнали?

— Разумеется. Садитесь, пожалуйста.

— Но я был с вами знаком и раньше. — Юноша придвинул к столу желтый венский стул.

— Когда же?

— Вы тогда редактировали спортивную газету... Я кое-что крапал, и...

— Вспомнил! — Редактор улыбнулся. (Парень писал короткие рассказы, однажды его, кажется, напечатали.)

— Тогда я был студентом!

Редактор замешкался и вдруг забыл, о чем, собственно, шел разговор.

— Да, студентом... Вы учились на филологическом. Верно?

— Я окончил экономический!

— А где вы служите? (Сказал бы уже быстрее, зачем пришел!)

— Я служу... — Юноша не закончил фразы.

— Наверное, вам уже не до рассказов, — деланно улыбнулся редактор.

— Времени нет... Пять лет прошло с тех пор... хотя... Хотя иногда я кое-что пописываю! — Гость опустил голову и стал ногтем ковырять стол.

«Понятно! — подумал редактор. — Принес рассказ. Если раз напечатаешь — потом пиши пропало!»

— Покажите! — Он протянул руку. Юноша не удивился, словно он уже говорил о том, что принес рассказ. Достал из заднего кармана брюк сложенные вчетверо листки, расправил их, прогладил ладонью на краю стола и передал редактору.

«Чемпион», — прочел заглавие редактор, быстро взглянул на последнюю страницу и отложил рассказ в сторону.

— Зайдите послезавтра за ответом.

Молодой человек заерзал так, что стул сдвинулся с места, и на лице у него появилось просительное выражение.

— Я вас умоляю, прочтите рассказ сейчас же. Я хочу... я...

«Чего он нервничает? — подумал редактор. — С работы, что ли, его сняли, раз он через пять лет снова за рассказы взялся!..»

— Деньги меня совсем не интересуют. — Голос у юноши задрожал. — Мне надо, чтобы этот рассказ напечатали... Я даже подписывать его не буду...

— (Новости!) Если напечатаем, то вы и подпишитесь, и гонорар получите. (От него легко не отделаешься!) Только бы рассказ был хороший!

— Он вам обязательно понравится — вот увидите!

Редактор закурил, придвинул к себе рукопись и включил вентилятор.

На первых страницах рассказа был описан большой мотокросс, неровные дороги, искусственные препятствия, зрители, их преждевременные выводы, общее волнение и напряженность. Потом автор вводил главного героя и его спортивного соперника. С начала же чувствовалось, что один из них будет победителем. Победителя брали в сборную Союза и посылали на международные соревнования. («Это главное», — решил редактор.) Но соперничество юношей не ограничивалось спортом — тут была замешана девушка. Она стояла в толпе зрителей и в волнении прижимала к груди букет цветов.

Сюжет был очень избитый. Редактор читал много подобных рассказов.

«И что он нашел тут интересного? Было бы о чем писать!» — думал он с досадой, но чтения не прервал.

...Начало соревнований, возгласы комментаторов по радио, переживания спортсменов и зрителей — солнце и пыльная дорога, перевернувшиеся на трудном повороте мотоциклы.

«...Джумбер вырвался вперед, следом за ним мчался Шота...

На нескольких километрах, оставшихся до финиша, Джумбер собрал последние силы, перегнулся ловко, как акробат, и мастерски прошел самый опасный поворот. Он летел как пуля, подгоняемый одной-единственной мыслью: он должен прийти первым во что бы то ни стало...

Но что это? Всего в двухстах метрах на дороге — мальчик с самокатом. Ветер дует ему в лицо, и он, наверное, не слышит мотоциклетного гула. Джумбер, не раздумывая, затормозил. Мотоцикл замедлил ход, но эта мгновенная задержка оказалась роковой. Мотоцикл Шота, насмешливо треща, промчался мимо, сам Шота

с насмешливой улыбкой оглянулся на соперника... и как раз в это время коляска его мотоцикла задела мальчугана.

От удара мальчик завертелся, как волчок, и это верчение словно на время сохранило ему равновесие, но потом он как подкошенный упал на асфальт. Мотоцикл Шота исчез за поворотом...

Джумбер быстрее молнии оказался около мальчика и схватил его на руки. Тот был без сознания. Из рассеченного лба хлестала кровь, выпачканная чернилами рука, беспомощно свесившись, качалась, словно останавливающийся маятник. Не тратя ни минуты на размышления, Джумбер положил мальчика в коляску, завел мотор и свернул в узкую улочку. Через некоторое время с шоссе до него донесся рокот мотоциклов — это были отставшие участники кросса.

Всего три минуты понадобилось ему, чтобы выехать на широкий городской проспект. Милиционеры провожали его продолжительными свистками, записывали номер, но Джумбер ни на что не обращал внимания. Весь рукав у него был в крови; взглянув на мальчика, он понял, что тот еще жив. И еще быстрее помчался мотоцикл, словно обрел крылья, неуловимым призраком несся он по улицам и площадям. Прохожие останавливались и качали ему вслед головами.

А Джумбер видел Шота, который, наверное, первым пришел к финишу и, счастливый, улыбающийся, принимал от болельщиков цветы. «Должно быть, он не заметил, что задел мальчика, иначе бы остановился, — думал Джумбер, — конечно, не заметил...» Он не сводил глаз с высокого здания больницы, которое белым облаком надвигалось на него.

Мчался Джумбер, летел самым первым к самому желанному в своей жизни финишу».

Редактор кончил читать, но не дал понять этого автору, сидел так же не шевелясь и не отрывая глаз от рассказа.

Прочитанное взволновало его совсем чуточку, но взволновало..., и этого было достаточно... Он хотел подольше сохранить это чувство и боялся, что оно пропадет, стоит ему заговорить.

«Честное слово, я от него этого не ждал,— думал

редактор,—никак не ждал. Работы еще много, но отсюда может вылупиться рассказ».

Он взглянул на юношу. Тот волновался, нещадно теребя пальцами папиросу.

— Неплохо!— проговорил редактор и улыбнулся, и к удивлению своему на лице своего посетителя вместо радости прочел какую-то затаенную печаль.

— Вам в самом деле понравилось? — прошептал автор.

— Кое-что придется исправить... Но это мелочи... например... некоторые детали вы упустили из виду.

— Какие?— встрепенулся юноша.

— Например, вы забыли о девушке, которую любят оба героя... Или не надо вообще ее упоминать, или...

— Эта девушка выдумана!— воскликнул молодой человек.

— А разве все остальное не выдумано? — заглянул ему в глаза редактор.

— Да-да! Все выдумано! Все! — схватился за эти слова автор.

— Кроме того, — продолжал редактор, — в мотоциклах с коляской во время соревнований всегда сидит второй спортсмен, чтобы на поворотах удерживать равновесие. Этого вы тоже не учли... потом... во время кросса вдоль всей трассы стоят обычно наблюдатели, которые следят за тем, чтобы не работал городской транспорт и не ходили пешеходы... Никто бы не выпустил на дорогу ребенка с самокатом...

— Нет, мальчик был в самом деле!— прервал его автор.

Редактор быстро поднял голову и удивленно уставился на юношу.

— Не понимаю... Все выдумано или было на самом деле?

Тот непонятно улыбнулся, откинулся на спинку стула и неожиданно рассмеялся.

— Дело в том... Простите, что я смеюсь... Я ничего не понимаю в мотокроссах. Дело в том, что мотоциклы тут ни при чем, в действительности это были автомобили...

— Вы хотите сказать, что в рассказе...

— Никакого рассказа, все было на самом деле.

— Как, на самом деле?

— Обыкновенные автомобили ехали по обыкновенному шоссе.

— Где? Когда?

— По дороге из Пасанаур.

— И ребенка, стало быть, сбила машина?

Парень кивнул.

Редактор встал, засунул руки в карманы и поежился. Его смутил неожиданный поворот дела, вернее — странное превращение юноши. Словно до сих пор кто-то невидимый запрещал ему говорить, кто-то проверял каждое его слово, а теперь он стал многословным и откровенным, будто хватил лишку.

— Как это случилось?

— Точно так, как в рассказе, только...

— Только вместо мотоциклов были автомобили?

— Да... Никакого кросса не было!

— Вы присутствовали при этом или...

— Я все видел собственными глазами!

Редактор нервно заходил по кабинету. Молодой человек следил за ним как завороженный.

— Ну так расскажите наконец, как это было?

Юноша понурил голову и опять зацарапал ногтем стол, потом заговорил, словно кто-то схватил его за шиворот и вытряхивал из него по одному слову.

— Было две машины...— начал он.

— Да.

— Впереди «Волга», сзади «ЗИЛ», черный...

— Да.

— «ЗИЛ» шел на обгон, «Волга» не давала дороги...

— Дальше...

— Когда переехали мост... увидели ребенка...

— Оба водителя?

— Наверное...

— Потом?

— «Волга» затормозила... «ЗИЛ» обогнал ее, и...

— Наехал на мальчика!

Юноша кивнул.

— Кто же это был!— проговорил редактор и внезапно обернулся к рассказчику.— Вы не запомнили номера?

— Нет... Он обогнал меня слишком быстро.

— Обогнал? Так где же вы были, не понимаю. Где вы стояли?

— Я? Где я мог стоять...

— Наверное, далеко, иначе бы вы запомнили номер!

— Нет... я был близко... то есть...

— То есть?

Молодой человек вскочил, бросился к вентилятору и выключил его.

— Из-за этого шума я ничего не слышу! — Он махнул рукой. — Я не помню номера и не знаю, кто сидел в той машине!

— Да, но в «Волге»? Ведь «Волга» остановилась, шофер вышел и взял ребенка... Вы, наверное, подошли ближе.

— А для чего вам номер «Волги»? Ведь виноват не ее водитель.

— Да, но, может, как раз он запомнил номер «ЗИЛа»!

— Ничего он не запомнил.

— А откуда вы это знаете?

— Я... я сам сидел в «Волге»!

Редактор удивленно развел руками.

— Так, значит, это вы спасли ребенка. К чему же такая скромность? Зачем вы это скрывали? Теперь все ясно. Вы описали этот случай в своем рассказе, только иначе, в другой обстановке... понятно...

Юноша молчал. Он опять вернулся к желтому креслу и утонул в нем.

— Бедный мальчик... — проговорил негромко редактор, подходя к стене и отгибая штору, — катил свой самокат.

— Он ехал на велосипеде!

— Дальше,— редактор резко обернулся.

— Наверное, учился ездить... потому что вел велосипед зигзагами... Он напугал меня, и я затормозил.

— А те, в черном «ЗИЛе», обогнали вас и наехали на него!

— Обогнали и наехали, — словно эхо, повторил парень.

— Удалось спасти мальчика? — Глаза редактора с вопросом и надеждой устремились к юноше.

Тот молчал.

— В какую больницу вы отвезли его?— спросил редактор, думая про себя, что везти раненого из Пасанаур в Тбилиси было бы не очень умно. Слишком далеко. — В какую больницу?— повторил он, тяжелыми шагами подходя к креслу. — Не помните? — Страшное подозрение закралось ему в душу. — Что вы молчите!

— Я никуда его не отвозил! — закричал юноша и вскочил как безумный.

Редактор вздрогнул, но не отступил.

— Не кричите! Отвечайте, куда вы дели ребенка.

— Я никуда не отвозил его... Если бы я это сделал, если бы!..

— А что, что вы сделали?!

— Я тоже, тоже не остановил машину. — Молодой человек прикрыл лицо руками и застонал.

Наступила мертвая тишина, когда кажется, что ничего на свете не происходит, только время идет быстрее и неумолимее, чем обычно. Оба долго стояли, будто окаменев. Наконец, юноша заговорил, с трудом подбирая слова:

— Я не мог, я никак не мог его забрать.

Редактор подошел к своему столу, сел, перекинув ногу за ногу, и взглянул на потолок.

— Вы сами скажите... Вот вы, опытный человек, вы много видели, много читали, — юноша почти плакал и, согнувшись, беспомощно протягивая руки, приближался к столу, — ну, скажите сами, если бы я остановил машину и забрал его, кто бы мне поверил, что это не я, что не я на него наехал... Что я только хотел его спасти, разве в это кто-нибудь поверит?!

Редактор молчал, так же упорно глядя в потолок.

— Вы скажите... вы сейчас думаете, что по отпечаткам шин милиция отыскала бы настоящего виновника, но ведь там был бы только след моей машины — я затормозил, а не он... Вы молчите. Но кто мне поверит, кто, что не я наехал на ребенка. Я бы не смог доказать своей правоты...

— Зачем вы солгали в рассказе? — спросил редактор, обращаясь к потолку.

— Я хотел...— Глаза юноши засветились невесть откуда взявшейся радостью.— Я хотел хотя бы в рассказе

представить то, чего не смог сделать в жизни... Я хотел обмануть себя... И даже поверил, поверил тому, что написал...

— Я спрашиваю, почему вы солгали в рассказе?!

— Вы думаете, я не хотел написать правду? Если бы вы знали, как ужасны муки совести! Я не спал, не улыбался с того дня. Каждый кусок поперек горла становился. Разве я не хотел сказать правду? Но тогда мне бы не поверили вообще! Кто бы мне поверил, если бы я явился и сказал, что...

— Куда вы явились?! — Редактор снова вскочил и грозно взглянул на внезапно сжавшегося юношу. — Вы еще ни слова правды не сказали! — пронзительно зашептал редактор, словно чувствуя, что для выражения гнева ему не хватит голоса, — ни слова!.. Сначала подсунули мне этот рассказ, потом заявили, что все это не выдумка, а истинное происшествие. Потом выяснилось, что вы сами сидели в «Волге» и отвезли ребенка в больницу, потом вы признались, что никуда его не отвозили и вообще не думали останавливать машину!— Редактор уже кричал и так размахивал указательным пальцем, будто хотел скинуть его, избавиться — и не мог...— Теперь я ничему не верю!

— Послушайте...

— В той машине сидели вы!

— Что вы говорите!

— Да-да, вы сидели в той машине, и вы наехали на ребенка.

Юноша внезапно подался назад, выпрямился, как пружина (редактор не представлял себе, что он так высок ростом), и лицо у него вспыхнуло, кулаки невольно сжались, и он холодно произнес:

— Не говорите глупости! Подумайте, о чем вы говорите! Вы никогда бы не узнали этой истории и никто никогда бы не узнал, если бы не рассказал я сам... Меня это мучило, и я решил открыться кому-нибудь. Мне хватает своих переживаний. Я сам расплачиваюсь за свой проступок, за то, что я забыл, что я человек... Теперь я признался, покаялся. Вы можете не прощать меня, и другие тоже... Но мне все равно стало легче... Я... Я больше не чувствую себя виновным...

Юноша быстро повернулся и вышел из кабинета, но

перед глазами редактора еще долго стояло его бледное лицо.

В оставленную открытой дверь заглянул ответственный секретарь.

— Что случилось с этим юношей?— спросил он, но заметив, что редактор взволнован, не стал дожидаться ответа и перешел к делу. — Вот материал о Хиросиме. Все-таки придется сокращать!

Редактор, словно оглушенный, застыл на своем стуле, обхватив голову руками. «Я не чувствую себя виновным», — звучали в ушах последние слова странного посетителя. «Почему людям кажется, что если они покаются в своих преступлениях, — им все прощается?— думал он. — Почему они думают, что жертва — будь то бессонница, или голод, или другие муки — принесет облегчение тому, кто по их милости никогда больше не ощутит ни голода, ни бессонницы?»

Редактор видел, как в комнату вошел секретарь, слышал, что он что-то говорил, но понял только одно слово — Хиросима! Секретарь говорил о Хиросиме.

И он опять вспомнил летчика, который стер с лица земли больше ста тысяч живых людей, сдул целый город, как одуванчик, и потом пошел в монастырь искупать грехи...

«Какой же великодушный бог должен быть у такого грешника!»

И вокруг опять все погасло, и только уже знакомая картина выплыла из глубины воображения. Эта картина была горяча, так что к ней нельзя было прикоснуться, она была желто-белая... В центре ее возвышалась огромная голая гора, тоже желто-белая. На вершине ее стоял монастырь, и по желто-белой раскаленной тропинке шел, согнувшись в три погибели, монах в ослепительно сверкающей золотой рясе с мутными красными пятнами... Внизу, у начала тропинки, клубилась пыль... По подъему шли и другие, и они тоже были в золотых, запятнанных кровью рясах...

— Стол, стол горит!

Редактор пришел в себя. Над ним стоял секретарь и гасил в пепельнице папиросу, на столе дымилось черное пятнышко.

— Чуть не устроили пожар! — улыбнулся секре-

тарь. — Вот мы набрали Хиросиму. — Он положил на стол узкие гранки. — Но в подвал не умещается, придется сократить... Как мы решили...

Редактор взял со стола статью и тут же вернул ее секретарю.

— Не позволю, ни одного слова! — Он встал.

— Понятно! — негромко проговорил секретарь и собрался было уходить, как вдруг вспомнил:

— Да, в самом деле, что случилось с тем юношей? Он выбежал очень взволнованный. Очередной «непризнанный гений»?

— Он уверял меня в своей правоте, — медленно и значительно произнес редактор и, заложив руки в карманы, прошелся по кабинету.

— В какой правоте?

— Он, видите ли, не стрелял!

— Н-не понимаю. В кого не стрелял?

Редактор в замешательстве взглянул на секретаря. Постепенно лицо его прояснилось, и он горько улыбнулся своим мыслям.

— Ничего... Я расскажу тебе как-нибудь после! — сказал он.

1961.

СОДЕРЖАНИЕ

КИПИАНИ ЭДИШЕР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
КРАСНЫЕ ОБЛАКА

Редактор коллегии *Г. Сартания*
Редактор издательства Л. Шахназарова
Художник А. Тодрия
Художественный редактор Д. Зенаишвили
Технический редактор А. Якимова
Корректоры В. Раев, Э. Урушадзе

ИБ-3191
Сдано в набор 29.11.1984 г.
Подписано в печать 10.07.1985 г.
Формат 84×108 1/32
Бум тип. № 1
Гарнитура журн. рубл.
Печать высокая
Усл. печ. л. 33,18
Учетн.-изд. л. 33,41
Усл. краскооттиски 33,495
Тираж 70.000 экз.
Заказ № 166.
Цена 2 р. 30 к.

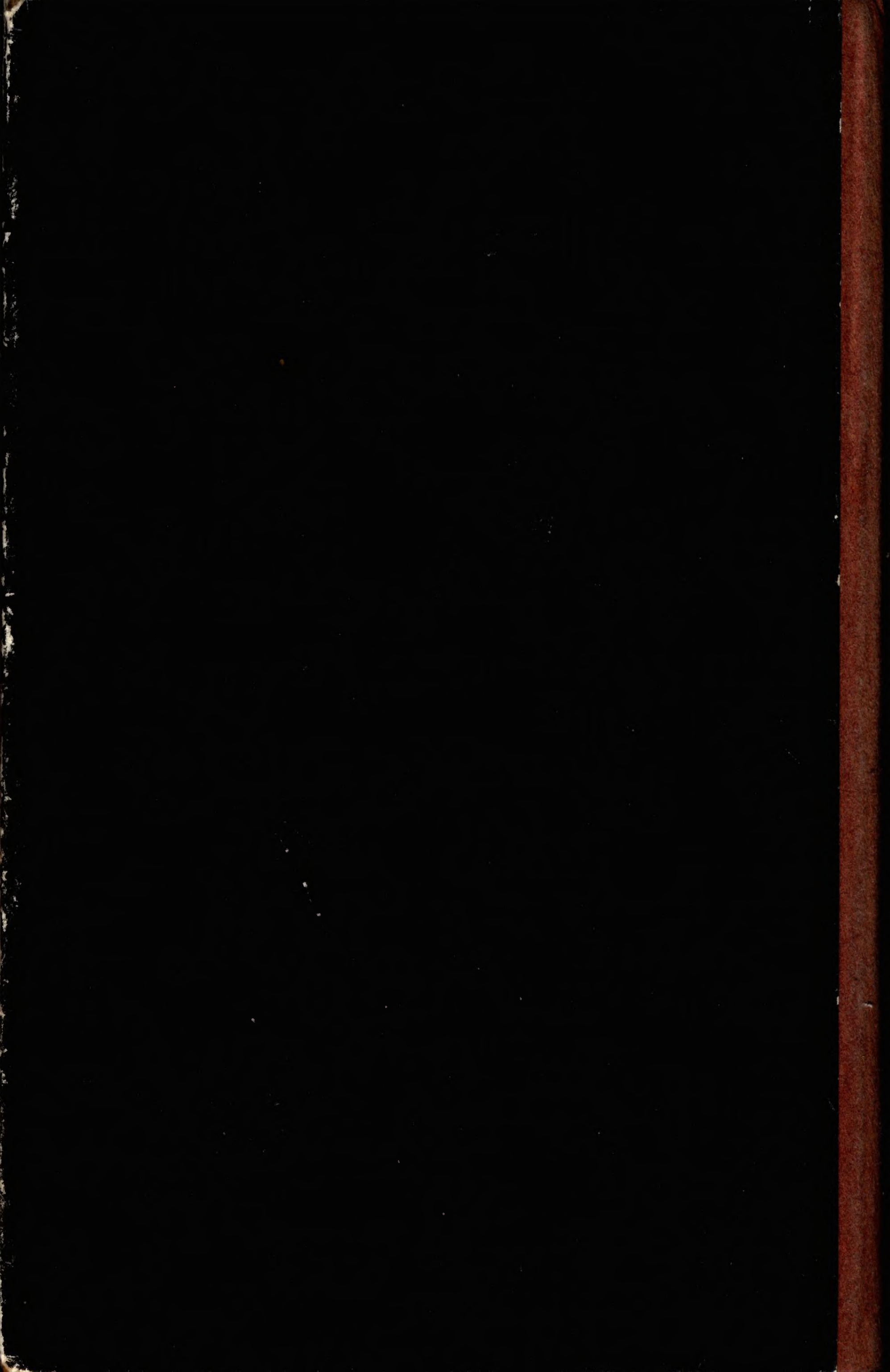
Издательство «Мерани»
380008 Тбилиси, пр. Руставели, 42
Отпечатано на Тбилисской книжной фабрике им. И. Чавчавадзе Госкомиздата ГССР, 380059 Тбилиси, пр. Дружбы, 7, с матриц типографии издательства «Таврида» Крымского ОК КП Украины, 333700 Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

ედიშერ ლავრენტის ძე ყიფიანი

წითელი ღრუბლები

(რუსულ ენაზე)






ЭДИШЕР
КИПИАНИ
КРАСНЫЕ ОБЛАКА